

Ю.МАНН  
„СКВОЗЬ ВИДНЫЙ МИРУ СМЕХ...“





Ю.МАНН  
„СВОВОЗЬ ВИДНЫЙЙ МИРУ СМЕХ...“





*«...Я почитаюсь загадкой для  
всех, никто не разгадал меня  
совершенно».*

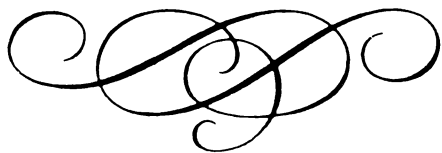
Из письма Гоголя матери от 1 марта  
1828 г.







Ю. МАНН  
„СКВОЗЬ ВИДНЫЙ  
МИРУ СМЕХ...”



*Жизнь Н. В. Гоголя*  
1809–1835



МОСКВА 1994



На суперобложке: Портрет Н. В. Гоголя. *А. Иванов. 1841 г.*

**Ю. В. Манн**

«Сквозь видный миру смех...»: Жизнь Н. В. Гоголя. 1809–1835 гг./ Вступ. ст. С. Бочарова. — М.: МИРОС, 1994. — 472 с.: илл.

ISBN 5-7084-0078-1

Книга представляет собой наиболее полное научно-объективное исследование жизни писателя, тех факторов, которые определили становление и движение искусства Гоголя. Высокая историко-литературная достоверность счастливо соединяется в ней с художественностью изложения.

Именно поэтому книга адресована всем интересующимся русской литературой и прежде всего учителям словесности и школьникам как чтение и образец глубокого филологического исследования.

Изд. № Ф30(03)  
ISBN 5-7084-0078-1

© Манн Ю. В., 1994  
© Московский институт  
развития образовательных систем, 1994

## **БИОГРАФИЯ КАК ИССЛЕДОВАНИЕ**

*Автор этой книги открывает ее словами С. Т. Аксакова о том, сколь исключительную трудность заключает в себе биография Гоголя. Безусловно, не в недостатке сведений заключается эта трудность, потому что сразу же по смерти писателя началась работа множества собирателей по накоплению таких сведений, и два фундаментальных сводных труда — П. А. Кулиша и, особенно, В. И. Шенрока — объединили уже к концу XIX столетия обширнейший материал. Но все же недаром оба биографа осторожно назвали свои труды — «Записки о жизни» и «Материалы для биографии». Предполагалось, что настоящая биография впереди, но вот прошло сто лет после Шенрока, и лишь сейчас в той книге, что перед нами, является столь полное жизнеописание, которое, наконец, заслуживает названия биографии Гоголя.*

*Полнота жизнеописания столь тщательная, что она стремится, по-видимому, исчерпать накопившийся фактический свод, а также, где возможно, пополнить его, — таково одно из отличий этого труда (например, заметим, что автор хочет учесть все сколько-нибудь значимые человеческие связи Гоголя и каждому из спутников дает особую биографическую справку). Другое свойство его — характер и качество исследовательской проработки труднообозримого материала — эпизодов, звеньев, этапов жизни Гоголя. Ю. В. Манн обратился к биографии Гоголя после того, как сорок лет занимался с разных сторон его искусством, и мы видим, читая книгу, как исследовательская ориентированность в мире Гоголя помогает биографу на каждом шагу. Жизнеописание продвигается, пожалуй, неспешно, то и дело задерживаясь на таких местах, на которых в жизни писателя завязывались узлы, которые предстояло ему в дальнейшем распутывать в творчестве. Перед нами в этой книге только первая часть пути писателя, даже скорее всего еще не первая половина; судя по принятому масштабу повествования, труд будет трехтомным. Гоголь только еще на пороге приступа к «Ревизору» — а между тем столько*



*уже завязок будущей творческой драмы исследователь-биограф сумел нащупать в намеках и непроросших пока психологических зернах, тающихся в письмах и странных поступках молодого Гоголя.*

*Да, полноту освоения накопившегося запаса сведений в этой книге надо признать замечательной, — тем не менее трудность, о которой писал Аксаков, сохраняется в силе и делается еще поразительнее на столь заполненном фоне. Потому что немало «белых пятен» в биографии Гоголя, которые можно заполнить новооткрытыми фактами, но есть в ней такие «белые пятна», какие ничем не заполнить. Нам, наверное, так достоверно и не узнать, что его погнало в первый раз за границу летом 1829 года, как отнестись к его известию о любовной страсти, от которой нужно было бежать, как он объяснял в письме матери? И к последующим туманным признаниям того же рода в письмах товарищу (Данилевскому)? Мы привыкли не слишком верить этим признаниям и скорее видеть в них плоды фантастического творчества Гоголя. Но иначе судит об этом Ю. В. Манн: его позиция биографа — презумпция доверия к гоголевским свидетельствам. Они могли быть по-гоголевски преувеличенно-риторичны, Гоголь был склонен к мистификациям, но в серьезных случаях — автор книги исходит из этого — он был правдив. Надо сказать, что для биографа Гоголя это нелегкая позиция, поскольку требует постоянного преодоления сложившейся традиции большего или меньшего недоверия. Такое неполное доверие к гоголевским словам возникло давно, причем со временем на простую привычку биографов проверять гоголевские утверждения на фактическую достоверность наложилось гораздо более тяжкое идеологическое недоверие к сокровеннейшим заявлениям писателя, особенно, конечно, позднего Гоголя. Сейчас, отрясая прах идеологического литературоведения недавних десятилетий, история литературы наша все более приучается верить Гоголю: ведь пора же нам отнестись с доверием, например, к важнейшему творческому признанию автора «Мертвых душ» и «Выбранных мест» о том, что своих уродов, своих героев он брал из своей же души; отнестись с доверием и попытаться понять, каким же не только художественным, но и психологическим процессом был связан этот необыкновенный писатель со своими неприглядными персонажами, — задача как для исследователя творчества Гоголя, так и для его биографа, который в следующих томах биографии непременно встретится с этой задачей.*

*И все же — если вернуться к любовным мотивам в нескольких письмах молодого Гоголя — может ли биограф не задаться вопросом,*

что же стоит за ними биографически? Но в том-то и дело, что биограф, исчерпав всю сумму сведений, ничего не знает об этом; не может дать к этим письмам никакого реального комментария. Он может допустить, как это делает, исходя из своей позиции доверия, автор настоящей книги, что за этими намеками скрывались какие-то неизвестные нам события, но у него не меньше, кажется, оснований заподозрить здесь психологическое фантазирование или даже мистификацию. В том-то и заключается та ни с чем не сравнимая трудность биографии Гоголя, о которой говорил С. Т. Аксаков. Она не в последнюю очередь в том, что есть в жизни этого человека, обследованной со всех сторон, такие пробелы, на заполнение которых у биографа нет особой надежды. Но, конечно, сами по себе психологические признания в письмах матери и Данилевскому составляют очень значительный факт его биографии, и автор книги прав, говоря, что летний эпизод 1829 года явно недооценен в биографии писателя. Независимо от событий, бывших или не бывших, эмоционально, внутренне он, конечно, знал, о чем говорил, когда писал Данилевскому, уступи он страсти, она бы его превратила в одно мгновение в прах. Именно это, как мы знаем, случается с гоголевскими героями: «...вместо его лежала куча золы... сгорел совсем; сгорел сам собою». Читатель предлагаемой книги заметит, сколь пристальное внимание автор ее уделяет эротической теме в творчестве молодого Гоголя; такое внимание не совсем обычно в нашем гоголеведении, а между тем образами женской красоты и ее могучего значения в мире, спасающего и губящего, спасающего или губящего, наполнена проза Гоголя, начиная от первого произведения в печати, под которым он поставил свое имя, — статьи «Женищина» (1831) — до письма «Женищина в свете» (1846); и коренится эта сокровенная философская тема Гоголя в глубинах его психологии и загадках его биографии.

Жизнь и творчество — привычная формула; но всякий писатель — это своя, особая связь жизни и творчества, и всякому биографу писателя приходится иметь дело с этой формулой как со своей особой проблемой. У Гоголя его человеческая жизнь и его писательское творчество были связаны так, как не были связаны они ни у кого в русской литературе до Гоголя, включая и Пушкина. Другой из дружественного семейства Аксаковых, Иван Сергеевич, писал И. С. Тургеневу на следующий день после похорон Гоголя, что «в нем не было двух жизней и двух лиц отдельных: писателя и человека, члена общества». Писательский подвиг Гоголя творился за счет его чело-



веческой жизни: «Так много, казалось, изводилось жизни самого художника на писанные им строки», — вспоминал тот же И. С. Аксаков. Но завершился путь художника духовным событием, имевшим смысл искупительной жертвы одновременно и творческой, и человеческой жизнью. Все тот же И. С. Аксаков сказал об этом последнем событии, что оно представляет «такую великую, грозную поэму, смысл которой еще долго останется неразгаданным». Тем же словом определил последний акт жизни Гоголя, каким назвал художник жанр своего произведения. Две поэмы Гоголя — художника и человека.

В биографии Гоголя, которая перед нами, обе поэмы еще впереди. Многое и главное впереди: перед нами начало Гоголя-писателя, начало пути. Но начало, хорошо проработанное в направлении будущего, главного пути. Будем надеяться, что продолжение этой книги не за горами.

С. Бочаров

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Вскоре после смерти Гоголя хорошо знавший его С. Т. Аксаков заметил, что его биография «заключает в себе особенную, исключительную трудность, может быть, единственную в своем роде» (МВД, 1853, № 35). И он же определил причины, порождающие эту «трудность».

Жизнь Гоголя была бедна внешними событиями; собственно, его «дни» — это его «труды», сменяемые короткими или долгими паузами. «У Гоголя постоянно было два состояния: творчество и отдохновение». Не очень-то выигрышный материал для биографа! Вместо яркой череды событий и приключений он почти исключительно должен иметь дело с такой тонкой и неуловимой материей, какую представляет собою внутренняя жизнь. И все это усугублялось особенностями гоголевского характера.

Гоголя отличала необычайная скрытность. «Даже с друзьями своими он не был вполне или, лучше сказать, всегда откровенен, — продолжает Аксаков. — Он не любил говорить ни о своем нравственном настроении, ни о своих житейских обстоятельствах, ни о том, что он пишет, ни о своих делах семейных». Бывают авторы, которые идут навстречу своим читателям, равно как и исследователям, предоставляя в их распоряжение нечто вроде путеводной нити. Гоголь, наоборот, — словно отступает от нас, уклоняется. Эпитет «загадочный» часто применяется к Гоголю-художнику: мы говорим «загадочное произведение», «загадочное творчество». С не меньшим правом можно было бы сказать: «загадочная жизнь».

Отсюда заведомая неполнота гоголевских биографий. В начале нашего века один из исследователей сетовал, что Гоголь не дождался «и через 100 лет после своего рождения обстоятельной и всесторонней биографии» (Заболотский, с. 1). А ведь имелись уже двухтомная работа П. Кулиша, четырехтомный труд В. Шенрока... На сегодняшний день создано еще несколько ценных и интересных гоголевских жизнеописаний — в нашем литературоведении и в зарубежном<sup>1</sup>, — и

тем не менее время от времени можно услышать слова, повторяющие сетование дореволюционного ученого.

Предлагаемая книга, как это отчетливо сознает ее автор, тоже не решила всех задач. Но пусть она будет хотя бы шагом к будущей и, увы, неблизкой цели создания «обстоятельной и всесторонней биографии», преодолевшей неимоверное сопротивление и трудность материала.

Среди причин, обусловивших эту трудность, пожалуй, главное место занимают не бедность жизни внешними обстоятельствами, не скрытность и замкнутость характера, а нечто другое, на что указал тот же Аксаков. «Натура Гоголя, лирически художественная, беспрестанно умеряемая христианским анализом и самоосуждением, проникнутая любовью к людям, непреодолимым стремлением быть полезным, беспрестанно воспитывающая себя для достойного служения истине и добру, — такая натура в вечном движении, в борьбе с человеческими несовершенствами...» При всем постоянстве черт гоголевской натуры, с молодых лет в ней пробудился сильнейший стимул — стимул к изменению, в результате чего рисунок внутренней жизни выходил чрезвычайно изменчивым и прихотливым. Многое не улавливалось сторонними наблюдателями не только потому, что Гоголь перед ними скрытничал, но и потому, что считал свое состояние недостойным, временным и подлежащим преодолению. Он таился, уходил, «ускользал», так как изменялся или, по крайней мере, стремился к изменению.

Поэтому любая биография Гоголя, в том числе и предлагаемая, — это не только его жизненный, но и «духовный путь», как назвал свою известную книгу К. Мочульский (1934).

Какое же место займет в настоящем труде Гоголь-писатель, Гоголь-художник? Сразу же замечу, что в двойственном понятии «жизнь и творчество» акцент поставлен на первом слове. Это не значит, что «творчество» выносится за скобки или, как говорят, элиминируется, — вовсе нет. Это лишь значит, что «творчество» берется в определенном ракурсе.

Любое произведение — это не только «объективный текст», получивший право на свое собственное, самостоятельное существование, но и единокровное детище автора, несущее на себе его родимую печать. Неплодотворно сводить содержательный объем произведения к этой печати, но столь же бесполезно отбрасывать ее с порога. Непозволительно не наличие различных подходов, а их смешение,



когда, скажем, в художественном тексте видится сколок жизненных обстоятельств автора, когда персонаж отождествляется с его творцом и т. д.

Но существует более тонкая зависимость — и она-то является предметом нашего внимания, — когда творчество вырастает из жизненного и духовного опыта писателя, стимулируется этим опытом, становясь таким образом решением не только общечеловеческих и общенациональных, но и сугубо личных проблем.

Ограничусь, пожалуй, этими самыми необходимыми, поневоле схематичными предпосылками. Их конкретизация и воплощение в материал — дело дальнейшего изложения.

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## РОД ГОГОЛЯ

В одном из первых произведений Гоголя, в повести «Пропавшая грамота», вошедшей в «Вечера на хуторе близ Диканьки», есть строки: «Эх, старина, старина! Что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь про то, что давно-давно, и года ему и месяца нет, деялось на свете! А как еще впутается какой-нибудь родич, дед или прадед, — ну тогда и рукой махни: чтоб мне поперхнулось за акафистом великомученице Варваре, если не чудится, что вот-вот сам все это делаешь, как будто залез в прадедовскую душу, или прадедовская душа шалит в тебе...» Давно замечено, что в этих словах запечатлено могучее родовое чувство, преемственно связывающее потомка с предками. Минувшее не только волнует и одушевляет — оно живет в сегодняшнем дне, и «прадедовская душа» невольно «вызначаивается» (любимое гоголевское словечко) в душе современника.

Но странное дело: родовое чувство, о котором здесь говорится, почти исключительно направлено на чудесные, диковинные события, случившиеся с кем-нибудь из предков, ну хотя бы с тем же прадедом. Это еще яснее выражено в начале другой повести — в «Вечере накануне Ивана Купала», где какой-нибудь старинной страшной истории, от которой «всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове», отдано предпочтение перед рассказами «про наезды запорожцев, про ляхов, про молодецкие дела Подковы, Полтора-Кожуха и Сагайдачного».

Правда, все это говорит не Гоголь, а один из его повествователей, некий дьячок \*\*\*ской церкви. Однако, как мы увидим, мироощущения автора и его героя здесь во многом совпадали.

Но вначале — несколько слов о предках писателя. О Гоголе не скажешь, как об известном его персонаже, что «происхождение» его «темно и скромно»; но все же немало в его родословной неясного, запутанного, а то и просто фантастического.

В более или менее достоверных, хотя и скудных, чертах вырисовывается генеалогия Гоголя до четвертого колена, чему мы обязаны

двум старым исследователям — священнику Ал. Петровскому и Ал. Лазаревскому. В 1902 году, когда отмечалось пятидесятилетие со дня смерти писателя, почти одновременно они опубликовали свои сообщения. К этому времени еще был жив троюродный брат Николая Васильевича — Владимир Яновский, один из старейших священников Миргородского уезда. Отец Владимир, как писал встречавшийся с ним Ал. Петровский, «сохранил у себя все уставные грамоты своих духовных предков, в свою летопись занес родословную последовательность фамилии Гоголей-Яновских, а в своей ясной и твердой памяти сохранил много глубоко задушевных и интересных воспоминаний из жизни своего великого сородича...» (Петровский, с. 2). На этих материалах, прежде всего на уставных или, точнее, *ставленных* грамотах, то есть таких документах, которые возводили их владельцев в духовный сан, и основывались оба автора. Сопоставляя их сообщения, мы получаем следующую, повторяю, скупую схему гоголевской генеалогии.

Первым известным лицом в этой родословной был выходец из Польши Иван Яковлевич (фамилия его не названа), назначенный в 1697 (или в 1695) году викарным священником Троицкой церкви в городе Лубны. Определение «викарный» свидетельствует о том, что он принадлежал к католическому вероисповеданию<sup>2</sup>. Спустя четверть века, в 1723 году, Ивана Яковлевича перевели в новооткрытую Успенскую церковь села Кононовка в том же уезде; возможно, к этому времени он уже перешел в православие. В ставленной грамоте говорилось, что «Божиею милостию... посвящен во иерея Иван Яковлевич, муж благоговейный, всяким перее опасным истязаниям прилежно испытанный...». Затем должность священника в той же церкви перешла к его сыну Дамиану Иоанновичу (по другой транскрипции — Демьяну Ивановичу), о котором известно то, что у него уже была фамилия Яновский. Скорее всего, она была образована от имени его отца — Иван, по-польски — Ян.

Николаю Васильевичу Гоголю Демьян Иванович приходился прадедом.

После Демьяна Яновского родословная раздвоилась, ибо у Демьяна Ивановича было два сына — Афанасий и Кирилл. Первый оставил духовное поприще, а второй сохранил и род занятий, и должность своего отца: Кирилл сделался священником той же самой Успенской церкви села Кононовка. Священниками стали и оба сына Кирилла — Меркурий и Савва. Меркурий Кириллович унаследовал приход отца



в Кононовке, а Савва Кириллович переехал в село Олефировка (или Олиферовка) того же Миргородского уезда.

Мы подошли, собственно, уже к гоголевскому времени, и оба брата-священника оставили некоторый след в биографии писателя. Отец Меркурий особенных симпатий у Гоголя не вызывал; больше того — беспокоясь об имущественных делах своей матери, Николай Васильевич еще в гимназическую пору предупреждал, что «алчный поп», то есть отец Меркурий, «с жадностью следит наше имение и... пользуясь правом родства, уже зажилил порядочный кусок» его. Отношения же с отцом Саввой у семейства Гоголей складывались, по-видимому, более благоприятно; по крайней мере, когда будущий автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» в поисках малороссийского материала обратился с различными просьбами к родным и землякам, Савва Кириллович снабдил его подробным описанием одежды дьячка, которое тот занес в свою «Книгу всякой всячины, или Подручную энциклопедию». Остается еще добавить, что именно к этой линии принадлежал Владимир Яновский, послуживший источником сведений о гоголевской родословной, — сын Саввы Кирилловича, он занимал должность священника в той же Олефировке.

Другая же, «светская» линия родословной прямиком привела к Николаю Васильевичу. Афанасий Демьянович, первым изменивший семейной профессии, приходился ему дедом. Родился он в 1738 году, учился в Киевской духовной академии, но не приняв духовного сана, поступил в 1757 году в гетмановскую канцелярию. «В той же канцелярии оставался он и при Румянцеве (П. А.), наградившем Афанасия Гоголя, по его словам, в 1782 году (год введения в Малороссии общерусских учреждений) чином полкового писаря» (Лазаревский, с. 9). Будучи поповичем, человеком скромного достатка, Афанасий Демьянович женился на дочери бунчуковского товарища, представителя знатного казацкого рода Семена Семеновича Лизогуба. Возможно, выгодная женитьба помогла ему упрочить свое положение: вышел в отставку Афанасий Демьянович в чине секунд-майора. До коллежского асессора (соответствовавшего чину майора) дослужился и его сын Василий. Впрочем, о Василии Афанасьевиче, отце писателя, мы поговорим потом отдельно.

Но откуда появилась фамилия «Гоголь»? И прапрадед, и прадед писателя ее не знали; Яновскими оставались представители и всей боковой, «духовной» ветви рода, идущей от священника Кирилла Демьяновича. Впервые частицу «Гоголь» присоединил к своей фами-

лии Афанасий Демьянович. Точнее говоря, он таким образом составил свою фамилию, что второй частью, привеском оказался Яновский, а Гоголь вышел на главное место: Гоголь-Яновский. Последовательность имен отражала, в глазах владельца, меру их значительности: посягая на фамилию Гоголь, Афанасий Демьянович приобщался к древнему роду, куда более заметному, чем род Яновских, такому роду, который повышал общественный вес и репутацию семьи.

Судя по выписке из решения дворянского собрания Киевского наместничества, Афанасий Демьянович добился своей цели: выписка гласила, что означенное собрание, рассмотрев 19 октября 1784 года «доказательства, представленные от полкового писаря Афанасия Гоголя-Яновского» (именно так!), постановило внести его вместе с детьми «в родословную дворянскую Киевского наместничества книгу, в первую часть», и подтвердило его право на наследственные имения, в том числе и на деревню Ольховец, якобы пожалованную самим королем польским Яном Казимиром (Кулиш, 1854, с. 201–202).

Но, удовлетворив амбициозные и имущественные притязания Афанасия Демьяновича, это решение не внесло никакой ясности в действительную генеалогию Гоголей. Удостоверялось, что род происходил от полковника Андрея Гоголя; между тем такое лицо совершенно неизвестно. Известен же Евстафий (или Остап) Гоголь, полковник брацлавский, подольский или поднестрианский. В бурно кипящей истории Украины XVII века он играл довольно видную роль: был сподвижником Богдана Хмельницкого, переходил из стана в стан, держал руку поляков, русских, турок, пока наконец окончательно не стал под знамена Польши, за что был пожалован не только землями, но и титулом гетмана. Скорее всего, именно его имел в виду Афанасий Демьянович — но почему же он перепутал имя? Ал. Лазаревский объясняет это тем, что в грамоте, которую тот представил дворянскому собранию, имя полковника совсем не названо, но при этом отмечено, что прежним владельцем Ольховца был Андрей; отсюда был сделан вывод, что Андреем звался сам полковник. «Таким образом, праправнук уже *не знал* имени своего прапрадеда, хотя это был человек видный, о котором можно было справиться и в книгах...» (Лазаревский, с. 8). Но можно предположить и другое: именно потому, что Евстафий Гоголь был человек достаточно известный, Афанасий Демьянович предпочел не докапываться до истины и удовлетвориться нарочитой двусмысленностью документов, которая явно играла ему на руку.

Но на этом не кончались противоречия и несообразности в представленных Афанасием Демьяновичем документах: говорилось, что деревню Ольховец от Яна Казимира Андрей Гоголь якобы получил в 1674 году; между тем Ян Казимир еще шестью годами раньше отрекся от престола и уехал в Париж. Реального Евстафия Гоголя награждал другой король, Ян Собеский, владевший польским престолом (под именем Яна III) после 1673 года.

Наконец Афанасий Демьянович утверждал, что его дед Иван (Ян) был сыном Прокопа и польским шляхтичем (РА, 1875, № 4, с. 452). Прокоп (Прокопий) — действительно существовавшее лицо, сын Евстафия Гоголя. И это еще более затемняло реальную картину: ведь в таком случае дед Иван, владевший приходом в селе Кононовка, должен был иметь отчество Прокофьевич, а не Яковлевич, как это следует из других документов. О далеком пращуре еще можно было иметь неверные сведения, но не знать имени и социального статуса своего деда — в это уже поверить трудно. «Можно думать, что Афанасий Гоголь умышленно скрыл факт священничества своего деда Ивана, потому что не любила перерождавшаяся в дворянство козацкая старшина связывать свое происхождение с лицами духовного и посполитного состояния» (Лазаревский, с. 10). Возможно, именно так. Факт тот, что родословная Гоголей не переходила плавно в родословную Яновских, обе линии не связаны, между ними существует какой-то разрыв, объяснить который пока не представляется возможным<sup>3</sup>.

Но самое интересное то, что этот разрыв мало беспокоил самого Гоголя; едва ли он вообще замечал какую-нибудь аномалию в своей генеалогии. В конце концов в биографии исторического деятеля, и особенно художника, отношение к родословной не менее важно, чем сама родословная. То, как воспринимает он свою связь с семейной традицией, характер мироощущения и, так сказать, ориентации в мире, и есть самое главное для его творчества. Эти мироощущение и ориентация в свою очередь возникают из духа эпохи, подсказываются ее преобладающим направлением.

Бывают эпохи, когда ощущение преемственности необычайно обостряется, причем обнаруживается оно двояко — и в общественной, корпоративной, и в личной, приватной форме. Не только народ и нация, но и малые его ячейки и клетки, какими являются семья или отдельное лицо, пристально всматриваются в прошлое, чтобы найти в нем корни своего бытия, почерпнуть уверенность в дне сегодняшнем

и завтрашнем. Именно в такую эпоху воспитывался и развивался Гоголь — эпоху Отечественной войны 1812 года и вызванного ею общественного и духовного подъема, декабристского движения, а в сфере литературной и художественной — еще и расцвета предромантизма и романтизма, превративших идею самобытности и национальной характерности в программную установку.

На этом фоне мироощущение Гоголя выглядит не совсем обычным. Конечно, общественное, национальное чувство преемственности автор «Тараса Бульбы» всецело разделял и выразил его ярче и сильнее, чем кто бы то ни было другой. Но вот чувство семейное, сугубо личное...

Когда в 1849 году мать Николая Васильевича обратилась к нему с просьбой помочь собрать «какие-нибудь сведения насчет герольдии», тот долго медлил и наконец откликнулся таким письмом: «Сколько я помню, то дело по этой части было окончено совершенно и окончательно еще при покойном отце. Он говорил один раз при мне, что происхождение дворянства нашего записано в 6-ю книгу. Теперь нужно узнать, после ли записки оказалось сомнение. Отец мой доставил также грамоты и документы. Это я тоже помню. Теперь нужно узнать, не пропали ли эти грамоты.... Впрочем, насчет всего этого не советую вам особенно тревожиться. Все это сущий вздор. Был бы кусок хлеба, а что в том, столбовой ли дворянин или просто дворянин, в шестую ли книгу или восьмую записан. (Если не докажется происхождение от полковника Яна Гоголя, то род будет записан в 8 книгу). Шестая книга, конечно, почетнее, но права почти те же» (XIV, 106).

Письмо свидетельствует о том, что после известной нам акции Афанасия Демьяновича сомнения относительно родословной не улеглись и всплыли на поверхность, когда мать Гоголя, в середине 1830-х годов, решила хлопотать о внесении рода в дворянскую книгу Полтавской губернии (прежде он вписан в книгу Киевского наместничества). «Герольдические» дела обсуждались и при мальчишке Гоголе, но, судя по всему, особенно он в них не вникал, так как к традиционным ошибкам прибавил и свои собственные. Яном назывался прапрадед Николая Васильевича священник Иван (Ян) Яковлевич; между тем он говорит о «полковнике», подразумевая, видимо, мифического Андрея Гоголя, то есть реального Евстафия Гоголя. Смешение можно объяснить только незнанием, но никак уже не хитростью или затаенной целью: хитрить в частном письме к матери не было никакой



необходимости. В конце концов Гоголь готов совершенно искренне отказаться от притязаний на более почетную, древнюю родословную, придавая всему делу сугубо практический оборот («был бы кусок хлеба...»).

Нужно учитывать также, что судьба не один раз, а дважды — так сказать, с двух сторон — подвергала Гоголя испытанию на родовое чувство, а вернее, родовое тщеславие. Ведь и со стороны бабки, жены Афанасия Демьяновича, был он не худосочного рода. Считалось, что отец Татьяны Семеновны, бунчуковский товарищ Семен Семенович Лизогуб, — внук гетмана Скоропадского. В родословной Лизогубов выделялась и другая фигура — Василий Танский, полковник и известный писатель, автор популярных в свое время интерлюдий на украинском языке. Татьяне Семеновне Василий Танский приходился дедом и, следовательно, Николаю Гоголю прапрадедом. Все это были «карты» крупные. Но, кажется, ни разу он ими не козырнул. Ни в житейских обстоятельствах и перипетиях, ни тем более в творчестве, к чему, как известно, ревнители семейной славы прибегали нередко и в прошлые, да и в наши дни.

Гоголь не имел обыкновения приобщать своих предков к персонажам исторического сочинения. А ведь мог бы сделать это, по аналогии с восхищавшим его пушкинским «Борисом Годуновым», хотя бы в «Тарасе Бульбе». Полковник Евстафий Гоголь жил во времена суровых схваток с поляками и татарами и принимал участие в тех же событиях, что и герои повести, но на ее страницах ему не нашлось места. Есть, правда, в «Тарасе Бульбе» гоголь, и даже «гордый гоголь», но явно не тот: «...блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем...»

Обычные мотивы введения реальных биографических фигур в художественное повествование — подключение авторской точки зрения на все происходящее, иногда открытой, иногда замаскированной; затем более крепкая связь сферы истории со сферой частной жизни в ее подчас приватном, семейном выражении. И, конечно, самоутверждение автора, когда притязаниям людей незнатных, пришлых, неродовитых противопоставлялась прочная укорененность (реальная или мнимая — другой вопрос) в своей истории. Нельзя отрицать, что последнее обстоятельство было весьма чувствительным и важным для создателя «Бориса Годунова». Но не для Гоголя. Мы сталкиваемся в данном случае с совершенно другим типом ориентации, да и с другим типом психики.

Никакая громкая слава предков не смогла бы удовлетворить самолюбия Гоголя, мечтавшего о собственной славе и высоких деяниях. Пример достославного пращура, если бы Гоголь и представлял отчетливо его жизненный путь и судьбу, только бы оттенил его собственную слабость и болезненно ранил самолюбие. Такой пример мог играть лишь роль соревновательную и побудительную, и то скорее абстрактно, а не в конкретном характере деятельности.

Дело не только в том, что фигура полковника Евстафия, переходившего из стана в стан, была довольно пестрой и переменчивой. Об этом Гоголь мог и не знать. Сама пространственная и историческая сфера его деятельности, а не то чтобы ее содержание, не в состоянии была вместить в себя идеальные устремления молодого Николая Васильевича. Он по-сыновьи любил Украину, жалел ее и гордился ею; он думал, что со временем сможет сделать для нее что-то очень полезное; но в своих мечтаниях он видел себя деятелем общегосударственного, общероссийского, а не провинциального масштаба. Максималист Гоголь на меньшее не согласен.

Значительно позднее, в «Выбранных местах из переписки с друзьями», Гоголь писал о «гордости родом и званием». В это время писатель вообще осуждает гордость; но в пору своей молодости он так не думал, иные виды «гордости» были ему вовсе не чужды. Однако от «гордости родом» Гоголь действительно был свободен. Получилось даже так, что гордое сознание своего призвания отодвигало в тень и умаляло эту самую родовую гордость.

И все-таки в одном по крайней мере тщеславные усилия Афанасия Демьяновича не оказались бесследными: его внук унаследовал двойную фамилию — Гоголь-Яновский, подписываясь ею и в гимназии, и в первые годы петербургской жизни. Иногда, впрочем, писал он только «Н. Гоголь», а с конца 1830 года и вовсе отбросил вторую часть.

Своему ученику Михаилу Лонгинову — Гоголь занимался с ним с конца 1830 или начала 1831 года — он сказал: «Зачем называете вы меня Яновским? Моя фамилия Гоголь, а Яновский только так, прибавка; ее поляки выдумали» (Воспоминания, с. 71).

Реплика по-гоголевски лукавая, но в ней заключается тот смысл, что отказом от «прибавки» Гоголь демонстрировал свою причастность общероссийской стихии, по отношению к которой польское начало мыслилось им как чуждое, а украинское — как часть целого.

## ОТЕЦ

Но вернемся к родословной Гоголя. Отец его Василий Афанасьевич (1777—1825) тоже поначалу вступил было на духовное поприще, обучаясь в Полтавской семинарии. Но духовного сана, как и родитель его, не принял. После семинарии хотели послать Василия Афанасьевича в Московский университет, но план почему-то расстроился. Молодой человек служил в армии, получив чин корнета (Шенрок, т. 1, с. 377), а затем определился на службу при Малороссийском почтамте, директором которого был бывший министр, родственник гоголевской семьи Д. П. Трощинский.

В 1805 году Василий Афанасьевич вышел в отставку с чином коллежского асессора и, занимаясь хозяйственной деятельностью в своем имении, больше уже не служил. Выполнял лишь обязанности, как сегодня бы сказали, общественного характера: когда Трощинского выбрали в повитовые маршалы (предводители дворянства), он взял Василия Афанасьевича к себе в секретари. А во время войны 1812 года «принимал участие в заботах о всеобщем земском ополчении и... как дворянин, известный честностью, заведовал собранными для ополчения суммами» (ИВ, 1902, № 2, с. 660). Одно время он даже исполнял вместо Трощинского обязанности повитового маршала.

Современники говорят о Василии Афанасьевиче как о человеке интересном, обладавшем разнообразными дарованиями. Он сочинял стихи, был «бесподобным рассказчиком», увлекался садоводством.

Каждой аллее в своем имении Васильевке он давал названия, вроде Долины спокойствия; сооружал гроты, мостики, подстригал деревья. Несмотря на стрижку деревьев, симпатии хозяина, видимо, больше склонялись к неправильному, неупорядоченному садоводству, о чем свидетельствует его запись: «Бакон (т. е. Бэкон. — Ю. М.), Милтон и Аддисон установили вкус и дарование в аглицком садоводстве» (Дурылин, с. 10).

Василий Афанасьевич хотел, чтобы в его саду уют сочетался с естественностью, свободой; чтобы это был маленький, «домашний» Эдем. Прислуге он строго запретил стирать белье в пруду посреди сада, так как шум мог испугать соловьев.

Скромную жизнь на лоне природы воспевал Василий Афанасьевич и в своих стихах:

Одной природой наслаждаюсь,  
Ничьим богатством не прельщаюсь,  
Доволен я моей судьбой.  
И вот девиз любимый мой.

(С, 1913, кн. 4, с. 251.)

При этом, рассказывают, Василий Афанасьевич был франт, носил лощеную матросскую шляпу и умел понравиться женщинам.

Примечательна история его женитьбы. Но вначале надо сказать о женитьбе его отца, отнюдь не будничной, не тривиальной. Поскольку богатые и знатные Лизогубы не соглашались выдать дочь за Афанасия Демьяновича, тот тайком увез ее из дома — совсем как Афанасий Иванович в «Старосветских помещиках» (возможно, эту деталь писателю подсказал реальный факт из биографии его деда). В семье помнили подробности давнего романтического эпизода. «Рассказывали, как она [Татьяна Семеновна Лизогуб] забрала свои золотые и серебряные и прочие вещи, ушла из родительского дома, где-то повенчалась; за это родители рассердились: ничего ей не дали...» (Головня, с. 36). Потом родные сжалились над молодыми и выделили им хутор Купчинский, переименованный позднее в Яновщину — по фамилии владельца, а затем и в Васильевку — по имени Василия Афанасьевича.

Ухаживание Василия Афанасьевича за своей будущей женой, сватовство и женитьба протекали совсем в другом духе, соответствовавшем его характеру, тихому, сентиментальному и склонному к мечтательности. Своей невесте он потом говорил, что сама царица небесная указала ему на нее, явив во сне образ ребенка, младенца, которому еще не исполнилось года. Увидев как-то годовалую девочку в соседской семье, у Косяровских, Василий Афанасьевич понял, что это она, и затем, как рассказывает сама избранница, «следил за мной во все возрасты моего детства» (Кулиш, 1856, т. 1, с. 17). Продолжалось «слежение» лет тринадцать (Марья Косяровская вышла замуж четырнадцати лет) — пример постоянства и целеустремленности, достойный героя рыцарского или галантного романа.

Чтобы завоевать сердце возлюбленной, Василий Афанасьевич прибег к маленькой хитрости. «Когда я, бывало, гуляла с девушками к реке Пслу, — рассказывает Марья Косяровская, — то слышала приятную музыку из-за кустов другого берега. Нетрудно было догадаться, что это был он. Когда я приближалась, то музыка в разных направлениях сопутствовала мне до самого дома» (ИВ, 1902, № 2, с. 661).

Остается добавить, что сразу «после венца» Василий Афанасьевич, чтобы дать выход своим чувствам, читал с женой любовно-авантюрный роман Хераскова «Кадм и Гармония» (Дурылин, с. 93)<sup>4</sup>.

Сентиментально-мечтательная настроенность Василия Афанасьевича породила в гоголевской литературе спор о том, кто же он был в действительности. Одни биографы писали, что это типичный «старосветский помещик», что между четой Гоголей-Яновских и четой Товстогузов невозможно найти никакого различия. Другие считали, что идиллические представления о Василии Афанасьевиче далеко не соответствовали реальности, о чем свидетельствуют его письма к жене, полные разного рода хозяйственных распоряжений и советов.

Василий Афанасьевич, например, просит «приказать приказчику: 1-е, чтобы берег плотину в случае наводнения; 2-е, чтобы на прудах открывали духи, чтоб не задохлась рыба; 3-е, если тепло будет и время позволит людям, то понимать [так!] рыбы на прудах, а именно брать средней величины карасей и щук да мелких плоток и карасей. Не брать же корофов, самых больших щук и окуней». Или такие не менее детальные распоряжения: «Естли послал прикащик в Ярьски пильщиков, то резать дерево на доски толщиной в полтора вершка, а тоньше на шалевку (т. е. на теснину, тес. — Ю. М.)». «Назначенные на продажу молодые быки нужно повыучить и продавать на лигачах (лигати — надевать веревку на рога. — Ю. М.), подобравши по шерстям и по росту попарно — продавать от 28 до 48 ср. пару, смотря по быкам».

Д. Иофанов, опубликовавший эти письма, сделал отсюда вывод, что «только в отношении раннего периода жизни Василия Афанасьевича <...> можно говорить о его сентиментально-мечтательных настроениях» (Иофанов, с. 15). А затем, мол, как видно из писем, настроения и интересы его изменились на 180 градусов. Но едва ли это так. Ведь своей любви к соловьиному пению Василий Афанасьевич не изменил и Долину спокойствия, кажется, не переименовал.

Д. Иофанов и те ученые, с которыми он спорит, исходят из анти-тетического представления о человеке: дескать, он может быть или таким или другим; третьего не дано. Между тем практицизм и идеальность, как известно, вовсе не исключают друг друга. Если «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», то можно питать в душе поэтические устремления и в то же время оставаться «дельным человеком», заботясь о благополучии своих близких.



К тому же и дух времени вполне благоприятствовал такой «раздвоенности», так как вовсе не требовал единства и однородности поведения. Наоборот, жизнь резко делилась на ее высшие и низшие проявления, на «поэзию» и «прозу». Одно дело — идеальные переживания; другое дело — хозяйство и быт. Да и у повседневного быта существовало две стороны — интимная, домашняя, и этикетная, казовая. В одном стиле писались хозяйственные распоряжения, в другом — письма любовные или, скажем, письма к высоким покровителям, каким был для Василия Афанасьевича Д. П. Трощинский. «Это — стиль преувеличенной почтительности, переходящей в подострастие, столь характерный для польского и украинского шляхетства» (Дурылин, с. 8). Следует добавить: стиль, столь характерный и для сентиментально-куртуазной, галантной литературы, поклонником которой являлся Василий Афанасьевич.

Все это не мешало ему быть сметливым хозяином, вести дело справно и нерискованно.

Гоголевское имение принадлежало к среднезажиточным поместьям: в нем насчитывалось (правда, по более поздним данным — от 1835 г.) свыше тысячи десятин земли и около двухсот душ мужского пола (ко времени же женитьбы супругов, по словам Марьи Ивановны, «в деревне нашей» «было 130 душ» — Крутикова, с. 247). Жили безбедно, но чего действительно постоянно не хватало, так это денег. Причиной была натуральная система хозяйства, при которой лишние деньги — редкость. Случалось, что и Трощинский испытывал денежную нужду, и тогда он обращался с просьбой о займе к Василию Афанасьевичу...

О практической сноровке Василия Афанасьевича говорит то, что Трощинский поручал ему разные хозяйственные дела. Он «вел сношения с управителями, экономами и другими лицами, служившими у Трощинского» (ИВ, 1902, № 2, с. 662), — словом, являлся как бы главным управляющим.

Обязанностью Василия Афанасьевича было заботиться не только о материальных, но и о духовных потребностях своего родственника.

«...Так как старик очень любил малороссийские пьесы, то их сочинял и устраивал обыкновенно родственник племянника его Гоголь, отец известного Николая Васильевича Гоголя» (ИВ, 1891, т. 44, с. 363). Рядом со знакомой уже нам приверженностью к садоводству и к сочинению стихов умение писать и «устраивать» — то есть ставить и исполнять украинские комедии — свидетельствуют о новых гранях

художественной одаренности Василия Афанасьевича. Эта одаренность была у него в крови: не говоря уже о Василии Танском, славном комедиографе, прекрасно рисовала сельские пейзажи Татьяна Семеновна. Картины ее, вставленные в рамы, под стеклом, украшали ту комнату, в которой прошло детство ее внуков, в том числе и Николая Васильевича.

Драматургия, похоже, принадлежала к любимому виду творчества Василия Афанасьевича. Он писал пьесы и на русском языке, о чем свидетельствует сохранившийся отрывок одной из них (Назаревский, с. 324; Иофанов, с. 49—50). Пьеса была явно сатирической, выдержанной в традициях русской комедии классицизма, с ее прямым, порою прямолинейным обличением порока. Что это за пороки, хорошо видно из имен персонажей: один из них Мотов; другой, его слуга, видимо, Урвалов (Мотов называет его Урвалушкой). Это все типичные словесные маски, принятые в комедийном репертуаре: в параллель с Мотовым можно поставить, скажем, «*Мота*, любовью исправленного» (название комедии В. И. Лукина), а с Урваловым — *Урывава* Алтынникова (персонаж комедии М. И. Веревкина «Так и должно»).

На этом фоне украинские пьесы Василия Афанасьевича выделялись в лучшую сторону. Одна комедия, «Собака-вівця», известна, правда, только по краткому пересказу содержания; но другая, «Простак, або хитрощі жінки, перехитрені москалем», дошла до нас полностью и неоднократно издавалась (первый раз в журнале «Основа», 1862, кн. 2). В этой пьесе, как отметил еще В. В. Гиппиус, отсутствует нравоучение; игра страстей — хитрости и сластолюбия — разворачивается нескованно и легко. Терпит поражение простодушие, выигрывает хитрость; но последняя в свою очередь становится жертвой еще большей хитрости. При таком ходе дел, в ситуации «обманутого обманщика», берет верх в конечном счете не герой, а сама жизнь, ее непредсказуемая логика, ибо никогда нельзя сказать, что выигравший — самый хитрый и что не сыщется за его спиной другой, еще более искусный. В этом и состоит моральный эффект пьесы, вытесняющий прямолинейную дидактику и нравоучения. Любопытно, что именно по такой логике (хотя, разумеется, при иной стилистической и эмоциональной тональности) построит впоследствии Гоголь действие одной из своих пьес — «Игроков»...

Вообще переключки между «Простак» и произведениями Николая Гоголя очевидны, и многие из них давно уже отмечены, например, отмечено, что «любовный треугольник»: Солопий Черевик —

Хивря — попович в «Сорочинской ярмарке» — точно соответствует расстановке героев: Роман — Параска — дьяк — в комедии Василия Афанасьевича. Близость эта закреплена четырьмя эпиграфами «Сорочинской ярмарки», заимствованными Гоголем из комедий своего отца.

Но еще важнее сама манера гоголевского комизма, которая складывалась не без влияния Василия Афанасьевича.

В «Простаке» есть такая сцена: Параска, чтобы остаться одной и встретиться с любовником — дьяком, уговаривает простодушного мужа пойти на охоту на зайца — и не как-нибудь, а в сопровождении свиньи.

Уже в наши дни этот эпизод вызвал критическое замечание ученого-литературоведа: «Пьеса Гоголя-отца не лишена недостатков. Трудно поверить автору, что Параска смогла убедить старого крестьянина Романа в том, что поросенок может заменить собаку во время охоты на зайца» (Иофанов, с. 64). А то, что свинья Ивана Ивановича вбежала в присутствие Миргородского суда и украла прошение Ивана Никифоровича, — это правдоподобнее? «Необыкновенное происшествие», говоря словами Гоголя, берется как данность, как нечто само собою разумеющееся, не нуждающееся ни в какой мотивировке. Если же мотивировка дается, то своеобразно — псевдосерьезно, что еще более увеличивает эффект нелепицы: так опровергается сплетня, будто «Иван Никифорович родился с хвостом назад»: мол, всем известно, что «у одних только ведьм, и то у весьма немногих, есть назад хвост» и т. д. Обаяние юмора — в его неаффектированности, вкрадчивой естественности, непреложности. Такому юмору Гоголь учился у людей, окружавших его в детстве, у отца.

Дом Василия Афанасьевича был своего рода маленьким клубом, куда соседи, привлекаемые гостеприимным и веселым хозяином, приходили, чтобы послушать других и рассказать что-то самим. Балагурили в «истинно малороссийской манере» (Кулиш, 1854, с. 6) — то есть многие часы проводили за смешными разговорами, предметом которых становилось все на свете.

При всей неполноте сведений о художественных занятиях Василия Афанасьевича можно сделать вывод об их многосторонности и разностильности. Сентиментальный и чувствительный в иных своих стихах, обличитель в русской комедии, он обнаружил задатки тонкого юмориста в комедиях украинских, которые несравнимо значительнее

всего остального, написанного им. Специалисты не случайно отводят Василию Гоголю место в истории украинской литературы.

Чтобы завершить тему художественных занятий Василия Афанасьевича, нужно упомянуть еще о том, что он умел петь и играть на музыкальных инструментах. Один из корреспондентов, посылая свою песню, обращается к нему «как охотнику петь и имеющему часто приятнейший случай аккомпанировать в песнях дамам» (Иофанов, с. 60).

Что же касается здоровья, то крепким физическим сложением Василий Афанасьевич не отличался. Когда он еще был учеником Полтавской семинарии, учитель Стефан Гординский обходился с ним бережно, «соображаясь всегда силам его телесным, которые усматриваются “невелики”» (ИВ, 1902, № 2, с. 658). Почти символической была и служба Василия Афанасьевича в Малороссийском почтамте по причине каких-то таинственных «продолжительных припадков», мешавших ему надолго уезжать из дома.

Был Василий Афанасьевич мнительен: раз приснилось ему, что он в церкви, а «когда во сне бываешь в церкви, то наяву бывает печаль». Сама «царица в порфире» подошла к нему и предрекла: «Ты будешь одержим многими болезнями». «И точно, — говорит Марья Ивановна, — он страдал многими недугами и, наконец, лихорадкой, которая продолжалась у него 2 года...» (Гоголь, 1913, с. 252).

Со временем мнительность и болезненное состояние Василия Афанасьевича усилились.

## МАТЬ

Марья Ивановна (1791—1868) вышла замуж за Василия Афанасьевича в 1805 году, совсем еще ребенком. Будущий муж очаровал ее своей чувствительностью, любовью, приятностью обхождения, но для того, чтобы решиться на замужество, понадобилось вмешательство ее влиятельной родственницы, тетки Анны Матвеевны Трощинской. «Она еще не успела испытать, что такое любовь, она была занята еще куклами, но, по приказанию или по совету тетки, должна была повиноваться, несмотря на то, что она была первая красавица, а отец, говорят, был некрасив» (Головня, с. 4).

Насчет отца, то есть Василия Афанасьевича, вопрос спорный: А. С. Данилевский, бывавший в доме Гоголей с детских лет, находил его довольно красивым. Но относительно Марьи Ивановны все знав-

шие ее сходились на том, что это была «дивная красавица» (Воспоминания, с. 45).

Портрет, выполненный неизвестным художником, передает нам ее тонкие черты лица, с узким овалом, маленьким ртом и спокойным взглядом больших, продолговатых глаз. Облик родовитой польской красавицы.

Глаза ее были «карие, нежно-внимательные» — как и у ее сына Николая Васильевича.

Выглядевшая ко времени замужества совсем еще девочкой, Марья Ивановна и впоследствии всегда казалась моложе своих лет. Все, кто встречался с ней, в один голос говорят о ее молодости.

С. Т. Аксаков, впервые увидевший Марью Ивановну весной 1840 года, когда ей исполнилось уже сорок девять лет, писал: «Взглянув на Марью Ивановну... и поговорив с ней несколько минут от души, можно было понять, что у такой женщины мог родиться такой сын. Это было доброе, нежное, любящее существо, полное эстетического чувства, с легким оттенком самого кроткого юмора. Она была так моложава, так хороша собой, что ее решительно можно было назвать только старшею сестрою Гоголя» (Воспоминания, с. 119).

Похвала художническим способностям матери Гоголя может показаться комплиментарно преувеличенной. Напомнив, как жестоко ошибалась Марья Ивановна, приписывая своему сыну, начинающему писателю, авторство некоторых ничтожно журнальных сочинений, один из исследователей приходил к выводу: «Было бы <...> явным преувеличением считать ее женщиной, наделенной тонким «эстетическим чувством», как это делает С. Т. Аксаков» (Июфанов, с. 90). Однако мемуарист говорит не о разборчивости вкуса, не о зрелости эстетического выбора, а лишь о том, что Марья Ивановна «полна» «эстетического чувства». Под этим следует понимать открытость впечатлениям изящного, отзывчивость на художественные произведения, в том числе и комические по своей природе. С. Т. Аксаков подметил в ней еще «оттенок самого кроткого юмора», что позволяло ей, видимо, отнюдь не безучастно присутствовать при веселых рассказах и балагурстве ее мужа.

По уровню же своего развития, глубине эстетического суждения Николай Васильевич очень скоро превзойдет свою мать, чья провинциальная ограниченность будет вызывать у него неприкрытое раздражение. Но на первых порах ему важнее была сама атмосфера

любви и заинтересованности в искусстве, которая установилась в родном доме.

Это вовсе не означает, что жизнь в Васильевке протекала легко и безоблачно. Несчастливым брак Марьи Ивановны, несмотря на ее раннее замужество, не назовешь — скорее наоборот. Она с каждым годом все больше и больше привязывалась к мужу, ставшему ее первой и единственной любовью. Василий Афанасьевич, со своей стороны, относился к жене с трогательной ласковостью, гордился ее красотой, называл Белянкою — за белый, необычайно нежный цвет кожи.

Но было нечто, омрачавшее их жизнь — и с годами все больше и больше. Это — недомогание, причем не только физическое. Мнительность мужа отзывалась и многократно усиливалась в сознании Марьи Ивановны, с ее врожденной склонностью к мрачным мыслям и предчувствиям. Современник свидетельствует: «Добрая, религиозная, сострадательная, готовая всегда помочь, М. И. Гоголь вместе с тем была крайне впечатлительна и подозрительна, бывали дни, недели, целые месяцы, когда впечатлительность М. И. Гоголь доходила до крайних пределов, достигала почти болезненного состояния» (Трахимовский, с. 33). Дочь ее Анна Васильевна говорит, что мать отличалась «очень подозрительным» характером и «расстроенным воображением» (Трахимовский, с. 38). «По самому ничтожному поводу ей представлялись нередко большие страхи и беспокойства» (Шенрок, т. 1, с. 57).

Недобрыми предчувствиями, «страхами и беспокойствами» обыкновенно сопровождалась ее мысли о близких — о муже, а потом и детях. Ей постоянно казалось, что их подстерегает что-то ужасное и роковое.

## НИКОША

Николай не был первенцем в семье: Марья Ивановна уже несколько раз рожала, но дети были слабыми и, не прожив месяца, а то и нескольких дней, умирали. Поэтому в ожидании новых родов напуганная мать переехала из Васильевки в местечко Большие Сорочинцы, находившееся в тридцати пяти верстах от гоголевского поместья. В Больших Сорочинцах жил знаменитый в ту пору на Украине врач Михаил Яковлевич Трахимовский (или Трофимовский,

как его иногда называли на русский лад), на которого сильно надеялась Марья Ивановна<sup>5</sup>.

Кроме того, она дала обет: если родится мальчик, назвать Николаем — в честь чудотворного образа Николая, хранившегося в диканьской церкви и называвшегося Николаем Диканьским.

Мальчик появился на свет 20 марта 1809 года в доме Трахимовского.

Дома этого сейчас не существует — он сгорел во время Великой Отечественной войны — и нам остается лишь возможность взглянуть на него глазами тех, кто успел в нем побывать и запомнил увиденное.

На исходе прошлого века путешествие по гоголевским местам предпринял известный писатель В. А. Гиляровский. В Сорочинцах на Преображенской улице Гиляровский нашел интересовавший его дом — он принадлежал некоему Павлу Моисеевичу Ерьско, коллежскому ассессору. Сквозь деревья садика белела мазанка под железной крышей, заменившей прежнюю, ветхую кровлю. Открылась дверь. «Особое, совершенно особое чувство благоговения испытывал я в этой чисто выбеленной комнате с четырьмя окнами — два по одной, два по другой стороне». «Нет ни Трахимовского, нет ни Гоголя, ни лиц, с которых он рисовал свои незабвенные типы, а стены домика, слышавшие первый крик великого писателя, целы, и мы среди них...» (РМ, 1900, кн. 2, с. 126).

Новорожденного крестили спустя два дня в Спасо-Преображенской церкви, находящейся на той же улице, о чем было записано в церковной метрической книге, под номером 25-м: «Марта 20 у помещика Василия Яновского родился сын Николай и окрещен 22. Молитствовал и крестил священнонаместник Иоанн Беловольский». В графе о «восприемнике» назван «господин полковник Михаил Трахимовский» — сын доктора Михаила Яковлевича<sup>6</sup>.

Первые дни после рождения ребенка прошли в большой тревоге. Марья Ивановна впоследствии рассказывала, что мальчик «был необыкновенно слаб и худ» и что «долго опасались за его жизнь» (Воспоминания, с. 458). Лишь «через шесть недель он был перевезен в родную Васильевку-Яновщину».

Очень скудны сведения о первых годах жизни Николая. По воспоминаниям домашних, он был очень впечатлителен, развивался быстро, проявлял недетскую сметливость и понятливость. К пяти годам по рисованным, игрушечным буквам Никоша (так звали мальчика в семье) выучил алфавит, писал мелом и разбирал слова.



Пяти лет пристрастился к стихотворству — по-видимому, под влиянием или даже по прямой подсказке отца. Когда Василий Афанасьевич брал с собою в поле Никошу и младшего сына Ваню (он появился на свет через два года после рождения первого сына), то «обычно задавал им дорогою темы для стихотворных импровизаций: «солнце», «степь», «небеса». Старший сын отличался находчивостью в ответах на такие задачи» (Воспоминания, с. 460).

Рассказывают, что однажды к Василию Афанасьевичу приехал сосед по имени — знаменитый писатель В. В. Капнист — и застал пятилетнего Никошу с пером в руке. Капнист, — рассказывает Марья Ивановна, — «взял у него бумагу и увидел из этой нескладицы нечто похожее на рихму [так!] и сказал, как нужно его поручить отличному учителю» (ЛН, т. 58, с. 770).

Г. П. Данилевский, с которым Марья Ивановна поделилась воспоминаниями, приукрасил этот эпизод: вышло нечто вроде благословения начинающего художника со стороны маститого: «Из него будет большой талант, дай ему только судьба в руководители учителя-христианина!» (Воспоминания, с. 458). Но так или иначе, Капнист обратил внимание на литературные склонности мальчика.

Реальность этого эпизода вообще ставят под сомнение на том основании, что Марья Ивановна, поведавшая о нем, склонна была фантазировать и приписывать сыну несуществующие заслуги. А также на том основании, что дочь Капниста Софья Васильевна Скалон не сказала ни слова об этом в своих воспоминаниях. Однако отвергать с порога этот эпизод неоправданно. С. В. Скалон «промолчала», ибо, как известно, далеко не все, в том числе и не все достойное памяти, отражается в мемуарах. Что же касается фантазирования Марьи Ивановны, то оно обычно имело определенную направленность: любящая мать готова была увидеть в сыне автора не принадлежащих ему сочинений или изобретений, но при этом вовсе не придумывала несуществующее.

Перенял Николай от отца и «жаркую страсть к садоводству». Поэтому он очень любил раннюю весну, когда закипала работа. «Это-то время было обширный круг моего действия, — вспоминал он позднее в письме к матери. — Живо помню, как, бывало, с лопатой в руке глубокомысленно раздумываю над изломанною дорожкой...» (X, 90). Обширный сад в «аглицком» вкусе, с гротами, мостиками, прихотливо вьющимися дорожками, будоражил воображение мальчика, увлекал своей естественностью и непредсказуемостью.

В это время у Гоголя закладывалась своеобразная эстетика сада — свободного, неприглаженного, асимметричного, живого, — которая нашла отражение не только в его творчестве (памятный всем сад Плюшкина), но и жизненных пристрастиях и поведении. Один из соучеников Гоголя по Гимназии высших наук рассказывал: «...всегда, когда у него была свободная минута, он отправлялся в лицейский сад и там подолгу беседовал с садовником о предметах его задач. — Ты рассаживай деревья не по ранжиру, как войска в строю, один подле другого на рассчитанном расстоянии, а так, как сама природа это делает, — говорил он. И, взяв в руку несколько камешков, он бросал их на поляну, добавляя при том: “вот тут и сажай деревцо, где камень упал”» (ИВ, 1902, № 2, с. 557).

В мальчишке рано пробудилось обостренное внимание к таинственному и страшному, к тому, что романтики называли «ночной стороной жизни».

Однажды произошел случай, оставивший глубокий след в сознании Гоголя. Рассказ его передала впоследствии А. О. Смирнова-Россет.

«Было мне пять лет. Я сидел один в Васильевке. Отец и мать ушли. Оставалась со мною одна старуха-няня, да и она куда-то отлучилась. Спускались сумерки. Я прижался к уголку дивана и среди полной тишины прислушивался к стуку длинного маятника старинных часов. В ушах шумело, что-то надвигалось и уходило куда-то. Верите ли — мне тогда уже казалось, что стук маятника был *стуком времени, уходящего в вечность*. Вдруг слабое мяуканье кошки нарушило тяготивший меня покой. Я видел, как она, мяукая, осторожно кралась ко мне. Я никогда не забуду, как она шла, потягиваясь, а мягкие лапы слабо постукивали о половицы когтями, и зеленые глаза искрились недобрый светом... Мне стало жутко! Я вскарабкался на диван и прижался к стене... «Киса, киса!» — пробормотал я, и, желая ободрить себя, соскочил и, схватив кошку, легко отдавшуюся мне в руки, побежал в сад, где бросил ее в пруд и несколько раз, когда она старалась выплыть и выйти на берег, отталкивал ее шестом. Мне было страшно, я дрожал, а в то же время чувствовал какое-то удовлетворение, может быть, месть за то, что она меня испугала. Но когда она утонула и последние круги в воде разбежались — водворились полный покой и тишина, — мне вдруг стало ужасно жалко «кисы». Я почувствовал угрызения совести. Мне казалось, что я утопил человека. Я страшно плакал и успокоился только тогда, когда отец,

которому я признался в поступке своем, меня высек» (РС, 1902, № 9, с. 487)<sup>7</sup>.

Рассказав об этом эпизоде, мемуаристка отметила: «Какая глубина чувства» (Смирнова, 1989, с. 71), — и это, конечно, справедливо; но точнее было бы говорить о глубокой спутанности и драматической переплетенности чувств, которые владели ребенком.

Тотчас приходит на память литературная параллель к эпизоду — случай с панночкой из «Майской ночи». «...Ушел сотник с молодой женою в свою опочивальню; заперлась и белая панночка в своей светлице. Горько сделалось ей; стала плакать. Глядит: страшная черная кошка крадется к ней; шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку: кошка за нею. Перепрыгнула на лежанку: кошка и туда, и вдруг бросилась к ней на шею и душит ее. С криком оторвавши от себя, кинула на пол; опять крадется страшная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела отцовская сабля. Схватила ее, и бряк по полу — лапа с железными когтями отскочила, и кошка с визгом пропала в темном углу».

Кошка — воплощение злой силы; среди обличий, которые принимает ведьма, кошка — одно из самых частых. «Ведьмы... превращаются в клубок, в кошку, в различные и бесчисленные фантастические образы» (Маркевич, с. 83). Гоголь впитал это представление народной демонологии, усвоил его так, что оно проникло в глубокие пласты души. Поэтому одним лишь испугом при встрече с кошкой не объяснить всего, что произошло, — понадобилось некое внутреннее предрасположение, особенно тревожное состояние. Мальчику «стало нудно» («по-малороссийски нудно, что по-русски грустно», — поясняет Смирнова-Россет) — чувство, близкое ощущению покинутости перед лицом страшной силы времени. Встреча с кошкой происходит в обезлюженном, вымершем мире, когда ощущение тревоги возрастает до степени ужаса и толкает к жестокому поступку.

Но способный к жестокости мальчик способен также к глубокому раскаянию, когда все случившееся вдруг выступает в совершенно ином свете, и в несчастной «кисе» он видит не воплощение злой силы, а безвинно загубленное Божье создание...

О другом детском переживании, запечатлевшемся на всю жизнь, мы узнаем из собственного рассказа Гоголя. Это переживание сугубо религиозного характера.

Позднее, говоря о том, что сестре его Лизе необходимо внушить «правила религии», ибо «это фундамент всего», Гоголь дает матери

совет, как это лучше сделать: «Не учите ее какому-нибудь катехизису, который тарабарская грамота для дитяти. И это немного тоже сделает добра, если она будет беспрестанно ходить в церковь. Там для дитяти тоже все непонятно: ни язык, ни обряды. Она привыкнет на это глядеть как на комедию. Но вместо всего этого говорите, что Бог все видит, все знает, что она ни делает. Говорите ей поболее о будущей жизни, опишите всеми возможными и нравящимися для детей красками те радости и наслаждения, которые ожидают праведных, и какие ужасные, жестокие муки ждут грешных. Ради Бога, говорите ей почаще об этом, при всяком ее поступке, худом или хорошем. Вы увидите, какие благодетельные это произведет следствия. Нужно сильно потрясти детские чувства, и тогда они надолго сохраняют все прекрасное» (X, 281–282).

Строки эти требуют комментария. Семейство Гоголя было религиозным, очень религиозным, — собственно, ничего отклоняющегося от нормы в этом не было. Отличалось оно особенным вниманием к формальному отправлению обряда, ко всем знакам благочестия и благомыслия.

В начале нашего века исследователь, еще заставший в живых сестру Николая Васильевича Ольгу, собиравший изустные сведения и неизвестные документы из гоголевского семейного архива, пришел к выводу: «Не говоря о том, что посещение церковных служб временно в обязанность всем, в семье Гоголя особенно любили посещать, по возможности пешком, святые места, монастыри, как, например, в Диканьке, Будищах, Лубнах и т.п. В Васильевке долгое время находился большой, обитый железом сундук, с проделанным в крышке отверстием, чрез которое бабушка часто опускала деньги, предназначенные на устройство храма. ... На столе у них постоянно лежало евангелие, а любимым чтением матери, бабушки, а потом и Ольги Васильевны были Четьи-минеи, в старинных кожаных переплетах. Религиозно-мистическое настроение часто даже склонялось в сторону аскетизма, выражавшегося в изнурительном посте...»

Источником этих настроений была Марья Ивановна, перенявшая их, в свою очередь, от матери, Татьяны Семеновны. Что же касается Василия Афанасьевича, то, со своим многосторонним характером, склонностью к озорству и домашнему эпикуреизму, он не во всем разделял строгое направление жены, но и не перечил ему, во всяком случае сколько-нибудь резко.

А как же Никоша, сделавшийся главным объектом религиозно-нравственного воспитания матери? Мальчик послушно делал все, что от него требовалось, но обряд не затрагивал глубин его сознания, порою же даже коробил его своей неэстетичностью и формализмом. Спустя несколько лет Гоголь смог в этом признаться матери.

Но одновременно он поведал и о другом, о чем раньше тоже никогда не говорил. «...Один раз — я живо, как теперь, помню этот случай. Я просил вас рассказать мне о страшном суде, и вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность» (X, 282).

Вот что довелось испытать мальчику — не просто волнение, а потрясение, когда мысль доходит до самого дна души и нерасторжимо сливается со всем существованием. Гоголю необыкновенно ясно представилось, что ни один его поступок, ни одно слово не окажутся утаенными от Всевышнего, что все будет в конце концов взвешено, оценено и повлечет неотвратимый приговор — награду или наказание. И в этом приговоре нельзя уже будет ничего поправить, потому что невозможно взять назад свершившееся, дурное намерение или поступок... Мысль простая до тривиальности, но когда Гоголь вник в нее всеми чувствами, он ужаснулся.

И подобно другому сильному детскому переживанию, вызванному гибелью кошки, — рассказ о страшном суде гулким эхом отозвался в творчестве Гоголя.

В одной из ранних его вещей, в «Главе из исторического романа», «дьякон, исполнившись, видно, Святого духа, начал представлять нечестивым весь грех беззаконного житья их, и какие на том свете будут им муки, и как будут они плясать в пекле, только не по своей воле, а подгоняемые горячими вилами чертей».

А в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь предвещает уже от своего имени: «...соотечественники! страшно!... Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чужа исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...»

Отношение Гоголя к отправлению религиозного обряда с годами менялось: впоследствии, как мы еще будем говорить, обряд перестанет казаться ему тягостной формальностью. Но переживание будущего страшного суда останется тем же, разве что усилится и обострится. Гоголь «прожил жизнь под террором загробного воздаяния» (Мочульский, с. 88). Идея этого «террора» зародилась в раннем детстве, после потрясшего его навсегда рассказа матери.

Примечательна эта двойственная природа страха, обнаружившаяся уже с детских лет: Гоголь боялся и злой, ирреальной силы; боялся и силы высшей, божественной.

Воспоминание об этом рассказе освещает еще одну черту характера мальчика — его способность к мучительному раскаянию — собственно, о том же говорит и эпизод с кошкой.

Гоголь обвиняет себя в эгоизме, говорит, что «никого особенно не любил, выключая только вас», то есть матери, — и это признание было истолковано некоторыми исследователями в том смысле, что он равнодушно и холодно относился к отцу. Однако слова Гоголя подразумевают и то, что он осознал греховность этого чувства, что он постарался с ним расстаться, обратить в нечто противоположное и что стимулом для подобных усилий послужило потрясение от рассказа матери («...это заронило и произвело впоследствии во мне самые высокие мысли»).

К матери, с ее бесконечной ласковостью и нежностью, Гоголь всегда был ближе. От отца — дальше. Он и сам замечал эту отдаленность, осуждал себя; его любовь была в некотором смысле рассудочной — так бывало у него и впоследствии, и это наряду с ощущением всей ее непреложности усиливало мучительное чувство несовершенства. Так повелось уже с детства.

Положение мальчика в семье заставляло его бороться со своим эгоизмом, преодолевать его. Вначале Гоголь рос один, и как первенец, родившийся после детей, умерших в младенчестве, как дитя, буквально испрошенное Марьей Ивановной у Бога (обет ее Николаю Диканьскому), приковывал к себе всю любовь родителей. Но когда ему шел второй год, появился брат Ваня (умерший в 1820 г.). Потом родились сестры: Марья в 1811 году, Анна — в 1821, спустя два года — Лиза, а позднее, в 1825, — Ольга. В семье стало пятеро детей (кроме того, еще двое — Таня и другая Анна — умерли в раннем возрасте). Никоша был среди них самый старший. И с годами он приучался думать и заботиться о брате и сестрах.

## «ПО ТУ СТОРОНУ ДИКАНЬКИ И ПО ЭТУ СТОРОНУ ДИКАНЬКИ...»

Пространство, входившее в кругозор Никоши, было невелико и измерялось несколькими десятками верст. Бóльшую часть времени мальчик проводил в Васильевке; бывал в Яресках на реке Псёл, где Гоголи владели частью хутора. Очень любил ходить в рощу в двух с половиной верстах от Васильевки, называвшуюся Яворивщиной.

К храмовым праздникам родители отправлялись на богомолье в уже упоминавшиеся Диканьку, Будищи, Лубны, а также в Ахтырку, куда стекался народ из многих мест Полтавской и Харьковской губерний. Наверное, и Никоша бывал с родителями на этих праздниках.

Ближайшее к Яновщине селение — Диканька, место дорогое гоголевской семье. Здесь в Николаевской церкви висела икона, перед которой Марья Ивановна молилась о сохранении жизни ее ребенка.

Любопытно, что именно в диканьской церкви будет служить один из персонажей и рассказчиков первой гоголевской книги повестей дьяк Фома Григорьевич; что именно диканьскую церковь распишет кузнец Вакула в «Ночи перед Рождеством». Правда, не уточнено, о каком храме идет речь: в Диканьке, помимо Николаевской, находилась еще Троицкая церковь, построенная в екатерининские времена.

Известна была Диканька и связанными с нею историческими воспоминаниями. Пушкин еще не написал «Полтаву» (где, кстати, фигурирует Диканька), но все знали, что нынешний владетель селения министр внутренних дел князь Виктор Павлович Кочубей — правнук «страдальца» Василия Леонтьевича Кочубея, — казненного Мазепой за то, что известил Петра I о готовящейся измене. В Николаевской церкви показывали сорочку, в которой, по преданию, Кочубей принял мученическую смерть. А рядом с церковью рос огромный дуб — «мазепинский дуб», — под сенью которого, как говорили, Мазепа встречался с Матреной, Кочубеевой дочерью (у Пушкина — Марией).

Все эти исторические воспоминания и ассоциации никак не отразятся в будущей книге Гоголя. Писатель вынесет в ее название слово «Диканька» и тем самым подчеркнет роль этого понятия, но, как и всё у Гоголя, оно отнюдь не локализованное, не исторически аффектированное. Мы говорим: Диканька — некий центр художественной вселенной, которую открыли «Вечера...» («по ту сторону Ди-



каньки и по эту сторону Диканьки...» — фраза из «Ночи перед Рождеством»), но это так и не совсем так. Фактически Гоголь переместил этот центр за пределы Диканьки, в некий хутор, где живет пасечник, где рассказываются одна история за другой и таким образом составляется будущая книга. Нужно вполне оценить уточнение «Вечера на хуторе близ Диканьки»; эта близость, но не тождественность затем обыгрывается в тексте.

Рудый Панько предвидит, что его встретят как дерзкого выскочку, осмелившегося выйти на литературное поприще: «Дернула же охота и пасичника потащиться вслед за другими!» Он имеет в виду читающую публику, прежде всего столичную, светскую — книга ведь пишется и издается в Петербурге. Но вместе с тем в сетованиях пасечника угадывается и другой адрес. «Слышало, слышало вешее мое все эти речи еще за месяц! То есть я говорю, что нашему брату хуторянину высунуть нос из своего захолюстья в большой свет — батюшки мои! — Это все равно, как, случается, иногда зайдешь в покои великого пана: все обступят тебя и пойдут дурачить... «Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!..» Да что говорить! Мне легче два раза в год съездить в Миргород... чем показаться в этот великой свет». Это уже не о столичном высокопоставленном читателе, а о своем «великом пане», хотя бы и диканьском, — из селения, где у В. П. Кочубея были роскошные палаты<sup>8</sup>. Оказывается, войти в такой дом, несмотря на то, что он совсем рядом, труднее, чем съездить в Миргород.

Словом, автор «Вечеров» строит *свой* художественный мир, со *своим* центром... Но вернемся к реальному пространству гоголевского детства.

Недалеко от Васильевки, на реке Псёл, располагалась Обуховка — родовое имение В. В. Капниста. Автор знаменитой «Ябеды» коротал здесь время, по его словам, «в миру с соседями, с родными, в согласье с совестью моей, в любви с любезною семьей...».

Это строки из стихотворения «Обуховка» (1818), в котором поэт увековечил свое родовое гнездо, представив его наглядно и во всех подробностях. Вот господский дом под соломенной крышей, защищенный горою от северных ветров. Вот Псёл с островами, плотиной, водопадом, мельницей о двадцати колесах, с обширным лесом на берегу. Вот кладбище, где похоронены отец и семеро детей поэта и где, как он предчувствует, скоро будет и его могила.

Описывая «многосенный лес», автор останавливает внимание еще на одной достопримечательности:

Пред ним, в прогалине укромной,  
Искусство, чтоб польстить очам,  
Пологость дав крутым буграм,  
Воздвигнуло на горке скромной  
Умеренности скромный храм.

Современный комментатор Капниста полагает, что здесь подразумевается господский дом (о котором уже шла речь выше), но это не так. Стихотворные строки в данном случае следует понимать буквально: одна из дочерей Капниста рассказывает, что в Обуховке жил старичок француз, некий m-г Asselin, который построил «храмик». «Храмик этот назывался храмом умеренности; близ него были посажены три дерева: сосна, дикий каштан и дуб» (ИВ, 1891, т. 44, с. 348).

Храм умеренности в Обуховке вполне сродни Долине спокойствия в Васильевке или «Храму удовольствия и счастья» в «Афинской жизни» Н. Карамзина (1793), или Храму уединенного размышления в деревне Манилова в «Мертвых душах»... Господствующий вкус проявлялся в сходных подробностях и фактах.

Между семьями Капнистов и Гоголей были самые дружественные отношения. Сохранилось три письма Капниста к Василию Афанасьевичу от 1815 года, из которых видно, что они вместе занимались какими-то хозяйственными делами своего вельможного соседа Д. П. Трощинского.

Василий Афанасьевич и Марья Ивановна с детьми часто гостили в Обуховке. Дочь писателя Софья Васильевна Капнист-Скалон говорила позднее, что она знала Никошу еще «мальчиком, всегда серьезным и до того задумчивым, что это чрезвычайно беспокоило его мать...» (ИВ, 1891, т. 44, с. 363).

В июле 1813 года в Обуховке произошло памятное событие — сюда приехал Г. Р. Державин, приходившийся родственником хозяину дома: вторая жена Державина, его очаровательная Милена, иначе говоря, Дарья Алексеевна Дьякова, была сестрой Александры Алексеевны, бывшей замужем за Капнистом. Знаменитому гостю и его жене приготовили торжественную встречу, тем более что их приезд совпал с пребыванием в Обуховке Д. П. Трощинского.

Случилось в это время быть у Капнистов и родителям Гоголя. Марья Ивановна надолго запомнила эти дни: «Все сбежались с разных домиков, разбросанных по огромному саду, смежному с лесом на берегу Псла, — дети Василия Васильевича, родные, живущие у них

постоянно, разные бедные и гости, в том числе и Дмитрий Прокофьевич Трошинский... И как угощаемы были от радушных хозяев, сколько было разнообразно удовольствий, сколько сюрпризов! Д. П. (Трошинский) и Державин помогали разным остроумным выдумкам» (Гоголь, 1913, с. 249).

Вполне возможно, что свидетелем всего этого был и четырехлетний Никоша. Во всяком случае, он знал обо всем происходившем из семейных воспоминаний.

## УКРАИНСКИЕ АФИНЫ

Так назвал имение Трошинского первый биограф писателя П. А. Кулиш (Кибинцы — «Афины времен Гоголева отца». Кулиш, 1862, с. 20). В географическом пространстве гоголевского детства Кибинцы занимают особенно важное место. Васильевка, Диканька, Обуховка составляли первоначальный облик родной среды — природной, исторической, культурной, этнографической; Кибинцы вносили в этот облик дополнительные, порою самые яркие краски — особенно это относится к сфере культуры, ведь именно здесь находился центр или, по крайней мере, один из центров культурной жизни всей Полтавщины. А кроме того, Кибинцы благодаря фигуре и, так сказать, образу своего хозяина, таили в себе такие стимулы, которые затем отозвались во всем духовном развитии писателя...

Сведения о родословной Дмитрия Прокофьевича Трошинского (1754—1829) противоречивы, однако ясно одно: некогда знатному роду (первым известным его представителем называли родственника Мазепы) предстояло отодвинуться в тень, чтобы затем вновь возвыситься в лице Дмитрия Прокофьевича.

С помощью своего дяди архимандрита Амфилохия Трошинский поступил в Киевскую духовную академию, после успешного окончания которой служил писарем в штабе корпуса, действовавшего в Молдавии. И тут на него обратил внимание князь Николай Васильевич Репнин, командующий этим корпусом, а затем (с 1771 г.) — всеми русскими войсками в Валахии. Репнин так полюбил Трошинского, что не хотел отпускать его от себя: назначенный в 1775 году чрезвычайным и полномочным послом в Константинополе, он взял Дмитрия Прокофьевича с собой секретарем; затем, будучи генерал-губернатором в Смоленске и Орле, Репнин поручал ему заведование своей канцелярией.

В 1787 году через Украину проезжала Екатерина II — с огромною свитою, в сопровождении австрийского, английского и французского послов она направлялась инспектировать вновь приобретенные земли Крыма и Новороссии. На Украине долго помнили это событие и очень гордились им; гоголевский Голова (из «Майской ночи»), например, будет при каждом удобном случае рассказывать о том, как он «удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером». Трощинскому повезло гораздо больше: путешествие августейшей особы стало, как выразился его биограф И. И. Ореус, «зарюю счастья для Дмитрия Прокофьевича» (РС, 1882, № 6, с. 645).

Во время остановки Екатерины II в Киеве в числе других лиц ей был представлен и тридцатитрехлетний Трощинский; одновременно Репнин рекомендовал его в качестве способного и многообещающего чиновника графу Александру Андреевичу Безбородко. Будущий канцлер и князь, Безбородко уже пользовался большим влиянием, имея звание гофмейстера, и заведовал принятием всех прошений, поступающих на имя государыни; неудивительно, что благодаря его покровительству карьера нового служащего стремительно пошла вверх. Трощинский вскоре получил орден св. Владимира 2-й степени, чин действительного статского советника, должность статс-секретаря и — как особую милость Екатерины — имение Кагорлык в Киевской губернии (до этого он уже владел наследственным хутором в Яресках, где был хутор и у Гоголей).

Свое положение Трощинский сумел сохранить и при императоре Павле — и даже упрочить его, став сенатором и тайным советником.

В царствование Александра I начинается тур ведомственных, министерских назначений Трощинского. Будучи членом Государственного совета, он становится главным директором почт, а позднее, получив чин действительного тайного советника, возглавляет министерство уделов, в котором, между прочим, спустя два с небольшим десятилетия будет служить Николай Васильевич Гоголь... В 1806 году Трощинский внезапно увольняется со службы. Официальной причиной послужило «сильное ослабление здоровья», но, быть может, повлияли и какие-то трения и неудовольствия на самом высоком уровне. По крайней мере, племянник его А.А. Трощинский обмолвился многозначительной фразой, что «нередко приключаются ему сильные болезненные припадки, и от чего и в характере своем, от природы горячем и вспыльчивом, теряет некоторую приятность» (РС, 1882, № 6, с. 649).

Получив в июне 1806 года увольнение, Дмитрий Прокофьевич удаляется на родину, в свое новое имение Кибинцы, где благополучно проводит восемь лет. Земляки, разумеется, не могли оставить без внимания столь значительное лицо и выбрали его в 1812 году в губернские маршалы полтавского дворянства. Именно в это время Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский выполнял при губернском маршале обязанности секретаря.

В 1814 году Трощинский стал министром юстиции, сменив на этом посту известного поэта И. И. Дмитриева. Он рьяно взялся за дело: в атмосфере общественного подъема, вызванного победой над Наполеоном, естественно, рождалось желание утверждать справедливость и законность, бороться со взяточничеством, злоупотреблениями, коррупцией. В письме на родину к племяннику А. А. Трощинскому он писал (12 сентября 1814 г.): «Жалейте обо мне, не пеняйте на меня, есть ли [так!] случится пропустить почту, другую, а может быть и несколько, и в молчании моем находите ту отраду, что занятия мои посвящаются долгу службы и пользе угнетаемых, коих голос проникает мою душу» (РС, 1882, № 6, с. 652). Правдолюбие Трощинского подтверждают современники: его называли «бичом справедливости» и «покровителем бедных». С. В. Скалон писала, что он известен «правотою души своей».

Дмитрий Прокофьевич пробыл на посту министра юстиции три года, до тех пор, пока его не постигло тяжелое горе.

Оставаясь всю жизнь холостым, Трощинский имел внебрачную дочь, которая вышла замуж за уланского офицера князя Ивана Михайловича Хилкова. Молодые супруги вместе с ребенком, маленькой Прасковьей, жили в Кибинцах под сенью дома Трощинского. Но в 1817 году Надежда Дмитриевна умерла. Дмитрий Прокофьевич тяжело переживал смерть единственной дочери; здоровье и силы его, необходимые для исполнения многотрудной государственной должности, оказались подорванными. К тому же против Трощинского интриговал граф А. А. Аракчеев, не переносивший людей с независимым и гордым характером.

В августе 1817 года Трощинский подал в отставку. Прожив еще пять лет в Петербурге, он в 1822 году окончательно вернулся в родные места, чтобы проводить время в своих имениях, больше всего в Кибинцах, в обществе родных, знакомых, приживальщиков, чтобы по праздничным и будним дням принимать многочисленных гостей, а нередко и самому выезжать в гости.

Приезд Трощинского к соседу-помещику всякий раз вызывал шумную радость и возбуждение, почти как нисхождение божества к смертным. Капнист с дочерью Катериной как-то встретили его, преобразившись в Филемона и Бавкиду. «И когда спадывала с них изорванная одежда, то они в новом своем виде подходили к Трощинскому с приличными приветствиями в стихах» (Гоголь, 1913, с. 250). Если вспомнить, что в мифе Филемона и Бавкиду навещают Юпитер и Меркурий в образе утомленных путников, то подтекст этой приветственной сценки станет совершенно ясным. Стихи на торжественный случай сочинил, видимо, сам автор «Ябеды».

Родство Трощинского с семьей Гоголя шло по женской линии: родная тетка Марьи Ивановны Анна Матвеевна Косяровская была замужем за братом Дмитрия Прокофьевича — Андреем Прокофьевичем; их сын — уже упоминавшийся выше Андрей Андреевич Трощинский. Родство не самое близкое, однако дававшее Гоголям право пользоваться покровительством могущественного человека, обращаться к нему за помощью и неделями жить под крышей его дома.

Внешне особняк Трощинского в Кишиневе не казался великолепным — деревянный, в два этажа. Но внутри царили богатство и роскошь. В доме было много фарфора, бронзы; хранились коллекции золотых монет и медалей, оружия, табакерок. Гордостью хозяина были личные вещи королевы Марии-Антуанетты — бюро, фарфоровые часы и подсвечники.

Трощинский принадлежал к числу самых богатых людей Украины. У него было около 70 тысяч десятин и более 6 тысяч душ (для сравнения напомним, что Гоголи владели примерно тысячью десятин и двумястами душами), дома в Петербурге и Киеве, движимость в 1 миллион рублей серебром.

Для наблюдения за всем этим сложным хозяйством нужны были доверенные люди. Одно время, мы знаем, обязанности главного управляющего выполнял Василий Афанасьевич; какие-то дела Трощинского вел он совместно с Капнистом. Но со временем Дмитрий Прокофьевич решил, что для порядка в его хозяйстве нужна более сильная рука, и он остановил свой выбор на племяннике Андрее Андреевиче.

Профессиональный военный, участник прусского похода 1807 года, награжденный за взятие Гутштадта и за сражение при Гейльсберге и Фридрихсвальде орденом св. Георгия 4-й степени, произведенный в том же году в генерал-майоры, Андрей Трощинский в 1811 году

вышел в отставку с правом ношения мундира и посвятил себя управлению имениями дяди<sup>9</sup>. Спустя десять лет он женился на Ольге Дмитриевне Кудрявцевой, приходившейся по матери внучкой польскому королю Станиславу Понятовскому. Таким образом, продолжая тему гоголевской родословной, надо отметить, что двенадцатилетний Николай породнился еще и с особой королевских кровей. Но и это обстоятельство, кажется, никогда не было предметом его гордости или даже внимания, несмотря на то, что Ольга Дмитриевна очень хорошо, по-родственному относилась к семье Гоголей, особенно к Марьи Ивановне. Она, например, вызвалась быть крестной матерью сестры Николая Елизаветы.

Гоголи очень часто бывали в Кишиневе, но особенно важны периоды с 1806 по 1814 и с 1822 по 1829 год — то есть время, когда здесь почти безвыездно проживал Дмитрий Прокофьевич. Второй период совпадает уже с отроческой и юношеской порой Николая; первый же приходится на младенческие и самые ранние его годы.

Как показал Д. Иофанов, именно к первому периоду (точнее, к 1812—1813 гг.) относится наиболее интенсивное участие Василия Афанасьевича в домашнем театре Трошинского. Это значит, что самые ранние театральные впечатления, которые, конечно, были и впечатлениями художественными в более широком смысле, закладывались у мальчика в трех-четырёхлетнем возрасте. И очень важно, что они неразрывно были связаны с обликом родных или знакомых людей, проникали в сознание действительно домашним, повседневным образом. На сцене в Кишиневе выступали отец и мать, В. В. Капнист с детьми, князь Хилков, который слыл очень хорошим комиком, его жена Надежда Дмитриевна и многие другие.

Как культурное гнездо Кишиневцы приобрели яркую национальную, украинскую окраску. Трошинский, «живя на покое в Малороссии, был своего рода центром для любителей малорусской старины» (Пыпин, с. 12). Н. А. Цертелев посвятил Трошинскому свой «Опыт собрания старинных малороссийских песней» (СПб., 1819) — первый сборник украинских дум, а Я. М. Маркович — свою замечательную книгу «Записки о Малороссии, ее жителях и произведениях» (СПб., 1798). В Кишиневе исполнялись украинские пьесы (написанные Василием Афанасьевичем), пелись украинские песни. Любимой песней Дмитрия Прокофьевича была «Чайка», которая «аллегорически представляла Малороссию как птицу, свившую гнездо свое близ дорог, окружавших ее со всех сторон» (Гоголь позднее в статье «Взгляд на составление

Малороссии» писал: «...со всех сторон открытое место... это была земля страха...»). И когда пели эту песню, Трощинский «часто закрывал лицо свое рукою и проливал слезы» (ИВ, 1891, т. 44, с. 364).

Надо сказать, к чести Трощинского, что никакой национальной ограниченности у него не было. На его театре ставились и русские (например, фонвизинский «Бригадир»), и, по-видимому, западноевропейские пьесы. Писал для домашней сцены Капнист; он же в конце 1808 года предложил «для смеха» поставить «Трумфа», то есть знаменитую «шутю-трагедию» И. А. Крылова «Подшипа», рекомендуя в качестве исполнителя ролей царя Вакулы или гофмаршала Дурдурана Василия Афанасьевича Гоголя-Яновского (Капнист, с. 453). В доме находилась обширная картинная галерея, включавшая полотна западноевропейских художников. Оркестр исполнял «Бетховена и Моцарта и прочих тогда бывших в славе музыкантов» (Гоголь, 1913, с. 253). Библиотека в Кибинцах насчитывала несколько тысяч томов (РС, 1882, № 6, с. 658); ясно, что такое количество не могли составлять одни только украинские и даже русские книги. К услугам этой библиотеки впоследствии прибегал и Гоголь-гимназист. Для его духовного развития большое значение имел тот факт, что Кибинцы были не местным и этнографически-ограниченным, а общекультурным центром.

Разумеется, культурная жизнь в Кибинцах неразлучна была и с такими забавами и развлечениями, которые отличали быт барского дома, где его обитатели отнюдь не только смотрели пьесы и любовались произведениями живописи. Трапезе и возлиянию посвящалась значительная часть времени; обеды устраивались на широкую ногу, с радушием и хлебосольством, отличавшими украинских помещиков. Особенно пышно праздновались именины хозяина, приходившиеся на 26 октября. Очевидец описал одно из таких торжеств, в котором принимало участие «более 150 человек»: «Могу сказать утвердительно, что гости, включительно с прислугою, в три дня столько проглотили хлеба насущного, рыб, птиц и зверей земных, что если б во время оно припасы сии находились в Ноевом ковчеге, то весьма довольно бы для всего семейства патриарха сего на все время плаванья его поверх пучины» (КС, 1895, т. 51, с. 239).

Трощинский любил приютить и накормить ближнего, но любил и позабавиться за его счет. На экс-министра и вельможу с годами все чаще находили припадки ипохондрии; в такие минуты специальным людям полагалось отвлекать его от тяжелых дум — это были



домашние шуты. Да, в украинских Афинах сложился целый институт «шутов» и тех, кто подстегивал их и приводил в действие, — «шутодразнителей». Шутом был некий Роман Иванович, упоминаемый в письмах Гоголя-гимназиста, и заштатный священник, поврежденный в уме Варфоломей — предмет особенно изобретательных и жестоких забав.

Бывало, что «между ним и Трощинским, садившимся нарочно возле шута, — рассказывал друг Гоголя А. С. Данилевский, — потихоньку подвигали ассигнацию и наблюдали, как, не будучи в состоянии устоять против соблазна, шут наконец ее схватывал и собирался уже ею завладеть, как вдруг, остановленный в своем намерении бесперемонным толчком и бранным словом Трощинского, невозмутимо повторял двусмысленное: “а нехай се вам”» (Шенрок, т. I, с. 69—70).

Иногда в роли шутодразнителя выступал сам хозяин, приказывая выставить шестидесятиведерную бочку с водой, на дно которой бросались золотые монеты. Добровольный или недобровольный добытчик должен был нырнуть и выудить непременно все золотые — тогда они поступали в его распоряжение; если же хотя бы одного не доставало, монеты снова кидали в воду. «Однажды рискнула и кинулась в бочку, — рассказывает другой знакомый Гоголя, Т. Г. Пашенко, — и духовная особа (возможно, отец Варфоломей. — Ю. М.), но неудачно: не дохватила одного только червонца... выдержала порядочную пытку, измочила шелковую рясу и должна была бросить пять или шесть золотых в бочку... Трощинский сидел на балконе с гостями и потешался водолазами...» (Б, 1880, № 268).

И все это видел или знал Никоша, все это откладывалось в нем глубоким слоем первых жизненных впечатлений.

В Кибинцах человеколюбие уживалось с бесчеловечием, культура с дикостью, прямодушие с цинизмом.

Пожалуй, верхом всех шуток была одна, учиненная над тем же Варфоломеем. С. Скалон рассказывает: «Я помню, как один раз так называемые шутодразнители, сделав чучело в виде отца Варфоломея, во весь рост, в его рясе, совершенно с его физиономией и с седой бородой, повесили его на ближайшем дереве, близ балкона, предупредив, однако, об этом Дмитрия Прокофьевича, который пришел и, усевшись на балконе, ожидал, улыбаясь, с нетерпением настоящего отца Варфоломея, чтобы посмотреть, какое коленце он выкинет, увидя своего двойника. Трудно представить себе страх и изумление несчастного Варфоломея, увидевшего себя висевшим на дереве; пе-

рекрестясь, он стал на колени, с приподнятыми руками к небу, искривив жалобно свою физиономию, сказав с большим умилением: «Благодарю Господа, что это не я!» Я и теперь живо представляю себе довольную улыбку на лице Дмитрия Прокофьевича и громкий смех окружавших его! Такими-то шутками нужно было и иногда развлекать задумчивого, мрачного и почти всегда грустного старика Трошинского» (ИВ, 1891, т. 44, с. 365).

Человек, посвящавший себя «пользе угнетаемых» и плакавший от песни, живописующей беды отчего края, находил удовольствие в страданиях ближнего. Противоречие, которое лучше всего можно выразить словами гоголевской «Шинели»: «Как много в человеке бесчеловечья... Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным».

Положение многочисленной родни и друзей Трошинского оказывалось порою довольно сложным. Если вельможа был подобен солнцу, щедро изливавшему на них свет благоденствия, то естественна была и борьба за место под солнцем. В конце 1812 — начале 1813 года Василий Афанасьевич и Марья Ивановна сделали жертвой каких-то сплетен и интриги, закончившейся тем, что Василий Афанасьевич вспылил и удалил жену «из круга большого света», то есть запретил ей выходить на люди или, может быть, отослал ее домой. Узнавший об этом А. А. Трошинский сделал Гоголю-Яновскому выговор за неумение ладить с людьми, ссылаясь на собственный опыт светского человека: «...Когда прямодушно, без хитрости и лести, проживать будете в большом свете, то сочинят еще лучший вам аттестат и такую небылицу в лицах, какой еще, конечно, во сне вам никогда не пригрезится... А потому «поделом... засадили» Василия Афанасьевича «в певческую», — заключает Андрей Трошинский» (Иофанов, с. 35).

Последняя подробность требует пояснений. Дело в том, что у Дмитрия Прокофьевича, большого любителя пения, специально содержались певчие, которые услаждали слух, когда тот играл в шахматы или предавался другим развлечениям. Поскольку среди многочисленных талантов Гоголя-Яновского был и музыкальный, то за проявленную строптивость его отослали заниматься с певцами. Наказали, как школьника, оставив без обеда или не пустив на вакации.

Вспоминая одно из посещений Кибинец, Марья Ивановна жаловалась: «Один Андрей Андреевич истинно как родной брат со мной обходился там, а более никто, мне казалось, что ужаснейшая зависть

меня окружала...» (X, 134). Мнительной Марье Ивановне свойственно было впадать в преувеличения, но она была права в том смысле, что родственники и близкие Трощинского соперничали и старались оттеснить друг друга.

Все это происходило на глазах Никоши, и сложные впечатления от Кибинец и их хозяина с молодых лет западали ему в душу; но глубоко осознал он эти впечатления позднее, к концу гимназического периода. Пока же мальчику виделась преимущественно одна сторона облика и судьбы Дмитрия Прокофьевича, и это имело далеко идущие последствия.

Еще дореволюционный исследователь указал, что на Гоголя производили впечатление не только могущество Трощинского и пребывание его на высших ступенях государственной иерархии, но и сам факт стремительного, почти баснословного возвышения. «Едва ли будет ошибочно предположить, что этот пример стал занимать мысли Гоголя в очень раннюю эпоху его развития» (Коялович, с. 212). В минуту откровенности Гоголь потом скажет, что он «пламенел неугасимую ревностью сделать жизнь свою нужною для блага государства» «еще с самых времен прошлых, с *самых лет почти непонимания*» (X, 111). Это значит — еще до старших классов гимназии и, может быть, еще до поступления в гимназию вообще.

Честолюбие Николая пробудилось очень рано, причем пример Трощинского создавал определенную модель поведения или, точнее, даже — судьбы. Ее первым условием было то, что человек поднимался снизу, из неизвестности, от первых ступеней общественной лестницы к высшим. Именно это прежде всего бросалось в глаза окружающим Трощинского, именно об этом не уставали они напоминать. Дмитрий Прокофьевич, писала Скалон, «был... как говорят, сын казака. Будучи беден, он дошел почти пешком до Киева, чтобы учиться в бурсе (в академии. — Ю. М.). По его рассказам, он бывал принужден целые дни писать для других, чтобы иметь право вечером заниматься в бурсе при чужой сальной свечке» (ИВ, 1891, т. 44, с. 358). Возможно, трудности, преодолеваемые Трощинским, здесь преувеличены: был он сыном не простого казака, а войскового товарища, да и покровительство дяди-архимандрита должно было облегчить пребывание в академии. Но такова была версия судьбы Трощинского, создаваемая не без его подсказок («...по его рассказам»).

Затем непременным моментом этой «модели» являлось и то, что возвышение происходило по заслугам, как естественная награда за

действительные достоинства. «И этот-то человек достиг впоследствии без всякой посторонней помощи, только трудами и своим умом, высокого сана, сделавшись вельможей, полезным слугой отечества, особенно же благодетелем своей родины...» (ИВ, 1891, т. 44, с. 358). «Без посторонней помощи», но и не совсем без нее — и в этом заключалась еще одна, волнующая особенность всего случившегося. Ведь линия судьбы Трощинского круто пошла вверх после его представления Екатерине II, сумевшей в мгновение ока распознать его дарования и безукоризненную честность. Это была помощь свыше, но такая, которая помогла счастливо обнаружиться всему тому, что уже заключалось в природе человека. Это было как бы вмешательство самого рока, безошибочно угадавшего своего избранника.

В произведениях Гоголя дважды повторяется сходная ситуация. Бобчинский просит Хлестакова сказать самому «государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский». Манилов грезит о том, чтобы об его отношениях с Чичиковым доложили государю и «что будто бы государь, узнавши о такой их дружбе, пожаловал их генералами...». Совсем как Екатерина II, пожаловавшая Трощинского действительным статским советником, то есть первым генеральским чином...

Мы далеки от того, чтобы видеть в художественных ситуациях проекцию реальных фактов биографии Трощинского или вообще каких-либо иных конкретных событий. Речь совсем о другом. Человеческому воображению свойственно «проигрывать» встречу с каким-либо высоким лицом, иногда с самым высшим в общественной иерархии. Вероятно, можно отнести такую воображаемую встречу к архетипам человеческого сознания. Подкупающее в подобной встрече — возможность разом «все решить», добиться кардинальных результатов, а ее дразнящая острота в ощущении, что находишься рядом с тем, кто воплощает (или должен воплощать) высший разум, могущество, свет, поэзию... В сознании Гоголя, не только бытовом, но и художественном, возможность такой «встречи» будет играть немалую роль, и эта черта, так сказать, оттачивалась на модели судьбы Трощинского.

Наконец, признак этой «модели» и в том, что достигший высокого положения непременно подвергается нападкам и давлению клеветников и завистников, но мужественно выдерживает все и остается непоколебим. Как писал неизвестный нам «миргородский Пиндар», обращаясь к Трощинскому:

Шипела ль злобная змея —  
В ней жало с ядом умирало.  
Ты прямой шествовал стезей,  
Со славою, как друг народа.

(РС, 1882, № 6, с. 663.)

В свете будущего плана Гоголя посвятить себя юстиции приобретает определенный смысл и тот факт, что именно министром юстиции являлся Трощинский. Еще в 1808 году, до получения им этой должности, «миргородский Пиндар» назвал Дмитрия Прокофьевича «российским *Аристидом*», которому «свои весы вручила мудрая Фемида» — наименование стилистически весьма выдержанное, ибо украинским Афинам уместно было иметь и своего Аристиды, а последнему — и своего Пиндара. Это наименование говорит и о том, что неотъемлемыми чертами репутации Трощинского были справедливость и неподкупность, которые, естественно, привели его к упомянутой должности. Кстати, в окружении Николая он не был единственным, посвятившим себя правосудию — одно время судебские обязанности исполнял В. В. Капнист: он был генеральным судьей I департамента Полтавского генерального суда. Этот факт также влиял на мироощущение Гоголя.

## ПОЛТАВА

В конце лета 1818 года Василий Афанасьевич повез обоих сыновей, Николая и Ивана, в Полтаву для поступления в тамошнее уездное училище. Ехали вместе с Андреем Трощинским, направлявшимся через Полтаву в Воронеж.

Неизвестно, бывал ли Николай в Полтаве раньше — скорее всего, он впервые увидел такой большой город. Подъезжали с северо-запада, может быть, от Решетиловки или от Диканьки. «Самый вид Полтавы с этой стороны, — говорится в опубликованном позднее очерке П. Свиньина, — мало поражает живописностью своего местоположения, несмотря на площадь, уставленную большими каменными домами, сделавшими бы честь самой столице... Зато с другой, противоположной стороны Полтава представляется в самом живописном виде. Город висит на огромной горе, у ног которой расстилается обширный луг, богатый разнообразными группами деревьев, коих как будто растерял близстоящий лес; по лугу извивается река Ворскла, чистая, ясная, знаменитая историческими событиями. Огромная масса косоугого пе-

реламывается тремя долинами, делящими город на три части: Городскую, Подольскую и Заполтавскую. Скаты косогора, обнажая в обрывах свою красноватую внутренность, местами обшитые лесом, спускаются к лугу садами, нагнувшимися от тяжести вишен, яблок, слив, груш и прочих плодов, произрастающих во всей красе под теплым украинским небом» (ОЗ, 1820, № 120, с. 3).

В кругозор гоголевского детства входил губернский город, город Полтавской битвы, замечательных исторических и художественных памятников, собора с иконами итальянских мастеров, нескольких учебных заведений, наконец, театра. Трехэтажное каменное здание для зрелищ было построено еще в 1808 году, а спустя десятилетие сюда была приглашена из Харькова знаменитая труппа Штейна, в которой начинал свою деятельность Щепкин, выступавший здесь в 1818—1821 годах «почти во всех спектаклях» (Гриц, с. 53). Год поступления Щепкина на полтавскую сцену совпал с приездом в город Николая и Ивана Гоголей.

Обоих братьев зачислили в училище 3 августа 1818 года и определили в высшее отделение первого класса, что фактически означало вторую ступень обучения из трех имеющихся: в училище было два класса, но первый подразделялся на два отделения — низшее и высшее.

Основано было это учебное заведение еще в 1799 году (Павловский, 1910, с. 91); первоначально оно существовало как школа, а 2 февраля 1818 года было преобразовано в поветовое (уездное) училище. Ко времени поступления Гоголей училище насчитывало более 140 воспитанников — 135 мальчиков и 6 девочек. Большинство было офицерских детей и дворян, затем шли крестьянские дети, из духовного звания, из мещан и из купцов. В общем, состав разношерстный и социально незамкнутый (Иофанов, с. 120). Видимо, поэтому Андрей Трошинский весьма не одобрял выбора Василия Афанасьевича, но тот оправдывался тем, что не имеет средств доставить детям «лучшее место воспитания».

Чему же обучали Николая и каковы были его успехи? Из сохранившихся ведомостей видно, что круг предметов был довольно широк: тут и русская грамматика, и арифметика, и катехизис, и история церкви, а языка даже три — французский, немецкий и латинский («изучение латинских молитв и заповедей»). Но преподавалось все это поверхностно и урывками, что в немалой степени объяснялось небрежением к своим обязанностям со стороны учителей и особенно директора Огнева.

Крупный чиновник по части местного просвещения, Иван Дмитриевич Огнев (1776—1852) занимал пост директора училища и директора гимназии, и там, и здесь не очень вникая в дело. «Управление его училищами дирекции, — вспоминал один из воспитанников гимназии, — ограничивалось только канцелярскою перепискою». «Он жил вдаль от гимназии и посещал ее, или лучше канцелярию свою, очень редко; в классах же никогда не бывал, и мы видели его только во время годичных испытаний» (ХГБ, 1870, № 33). Надо полагать, что училищу директорского внимания доставалось еще меньше.

Пребывание Гоголя в училище падает на завершение «прекрасного начала» «дней Александровых», когда вольнолюбивые и реформаторские веяния резко пошли на убыль, в том числе и в сфере просвещения. Распоряжения начальства: министра просвещения А. Голицына, попечителя Харьковского учебного округа З. Карнеева и того же Огнева — содействовали тому, что «все дело воспитания и образования юношества» приобрело религиозное направление по преимуществу (Заболотский, с. 14). Характерен такой факт. С давних времен во всех российских школах первой ступени широкое хождение имела книга «О должностях человека и гражданина» (первое издание — 1783 г.; «одиннадцатое тиснение», которое вышло ко времени поступления Гоголя в училище, — 1817 г.). Книга давала начальные сведения в самых различных областях, начиная с того, что мы называем сейчас обществоведением, до домоводства, от морали и этики до науки и искусства. Понятно, что и религия, вопрос «о должностях к Богу» занимали в учебнике большое место, но властям показалось этого мало, и последовал циркуляр министерства (он сохранился в делах училища) о замене «употребляемой ныне в уездных училищах книги о должностях человека и гражданина» чтениями из Священного писания, «каковые ныне по Высочайшему повелению издаются большими таблицами для училища по методе взаимного обучения» (Заболотский, с. 16).

Циркуляр датирован 5 июня 1819 года; следовательно, Николай еще успел позаниматься год по этой достославной книге (учитель Анастасий Савинский пометил, что к июню того же года пройдено «из должностей человека и гражданина до статьи 2») и запомнил ее на всю жизнь. О главном герое повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» мы узнаем, что он, обучаясь в «гадячском поветовом (т. е. уездном — Ю. М.) училище», «перешел... во второй класс, где вместо сокращенного катехизиса и четырех правил арифметики при-

нялся он за пространный, за книгу о должностях человека и за дробь». Это совершенно точно соответствует объему материала, пройденного самим Гоголем, включая и арифметику, знакомство с которой остановилось на десятичных дробях (Иофанов, с. 116, 110).

Что касается отметок Николая, то известно следующее. В феврале 1819 года он аттестуется по способностям — посредствен, по прилежанию — средствен, по поведению — благоденствен. Такие же точно отметки у Ивана.

В мае Николай по способностям аттестуется — средствен, по прилежанию — ленив, по поведению — благоденствен. Ивану выставляются те же оценки.

В июне Николаю дается такая нелестная характеристика: по способности — туп, по прилежанию — слаб, а по поведению — резв. Иван и здесь не отстал от брата, только поведением выделился в лучшую сторону — не «резв», а «тих» (Заболотский, с. 10). (Характерно, что знаком хорошего поведения является *тихость*, а плохого — *резвость*. Эта оппозиция, коренящаяся в детском опыте Гоголя, потом получит отражение в его творчестве: «любителем тишины» является учитель Чичикова, а затем новый учитель Тентетникова; напротив, прежний его наставник «несравненный Александр Петрович» не удерживал «резвостей», «видя в них начало развития свойств душевных...»)

Обычно низкие оценки Николая целиком относят на счет его учителей и скверного преподавания; но делать этого с полной определенностью нельзя: мы не знаем всех причин, мешавших ему успешно заниматься. Кроме того, были же и способные ученики, которые, несмотря ни на что, имели высокую аттестацию, — например Герасим Высоцкий, с которым в будущем судьба еще сведет Гоголя и о котором речь впереди. Но факт тот, что результаты занятий Гоголя были более чем скромные и от месяца к месяцу они неуклонно снижались.

Наконец, 30 июня того же года в торжественной обстановке, в присутствии разных должностных лиц, начиная от гражданского губернатора Полтавы и кончая директором училища Огневым и преподавателями, состоялись экзамены для перевода во второй, последний класс. Но ни Ивана, ни Николая в списках учеников, выдержавших экзамен, мы не находим. Вполне возможно, что они выбыли из училища перед самым экзаменом.

Далее в биографии будущего писателя обозначается белое пятно: след Николая теряется в июне 1819 года и отыскивается лишь к



осени или, самое раннее, к весне 1820 года, когда он стал заниматься с учителем Гавриилом Сорочинским. А что он делал в течение многих месяцев — целого года? Периода, на который приходится учебное время.

Биографы Гоголя никак не отвечают на этот вопрос. Известно лишь, что в этот период произошла трагедия — умер Иван, и что Николай тяжело пережил смерть единственного брата. Считается, что случилось это сразу же после того, как оба они покинули Полтавское училище, летом 1819 года (X, с. 12; Иофанов, с. 123).

Но присмотримся внимательнее к имеющимся данным. Первый гоголевский биограф сообщал, что мальчик *«готовился к поступлению в гимназию в Полтаве на дому у одного учителя гимназии вместе с младшим своим братом Иваном»* (Кулиш, 1856, т. 1, с. 16). Другой биограф писал, что Гоголь был *«отдан вместе с братом для приготовления в местную гимназию к одному из служивших в ней учителей»* и что он *«жил вместе с братом у учителя Спасского»* (Шенрок, т. 1, с. 60, 100).

Оба биографа опирались на разных свидетелей. Шенрок говорил обо всем со слов А. С. Данилевского, друга Гоголя с детских лет, жившего с ним в одно время в Полтаве. Кулиш же в пору написания своей книги не беседовал с Данилевским (он поэтому не упоминает, что Гоголь позднее, в 1828 г., отправился из Васильевки в Петербург именно с Данилевским, что оба друга вместе выехали за границу в июне 1836 г. и т. д.). Свои сведения Кулиш получил от родных Гоголя, прежде всего от его матери. И тем не менее, опираясь на *разные* источники, оба биографа сходятся в том, что и Николай, и Иван вместе брали уроки у учителя Полтавской гимназии, проживая у него на квартире. Данилевский называет фамилию этого учителя — Спасский.

Это лицо совершенно не принято во внимание исследователями Гоголя, так как считается, что мемуарист ошибся. «Среди преподавателей поветового училища такой фамилии нет», — утверждается в комментарии к академическому изданию (X, 387). Однако речь идет об учителе не поветового (уездного) училища, а гимназии; в Полтавской же гимназии действительно был преподаватель с такой фамилией. Это Михаил Исаакиевич Спасский (так!), учитель естественной истории, прослуживший в гимназии около четырнадцати лет и умерший в 1824 году (Труды, с. 251). Конечно, нельзя исключать и того, что Данилевский, за давностью лет, спутал Спасского с другим учи-

телем Гоголя — Гавриилом Сорочинским, но это не меняет, а лишь осложняет общую картину.

Эта картина видится мне следующим образом. К лету 1819 года, перед самым экзаменом, Василий Афанасьевич забирает обоих сыновей из училища, решив подготовить их к поступлению в Полтавскую гимназию другим способом. Он нанимает им учителя из гимназии, на квартире у которого они и живут. Затем происходит трагедия — умирает младший сын; случилось это не летом 1819 года, а позже — возможно, в следующем году (кстати, В. Шенрок называет именно 1820 г. — Т. 1, с. 60). Осенью или немного раньше мы застаем Николая у Гавриила Сорочинского уже одного, без брата.

Что же касается учителя, у которого занимались вместе и Николай, и Иван, то это мог быть или Гавриил Сорочинский, или — что более вероятно — другое лицо, а именно Спаский. Гавриил Сорочинский стал уже вторым учителем Николая.

В пользу второй версии говорят некоторые подробности. В письме к Василию Афанасьевичу от 14 августа 1820 года, обговаривая условия занятий с Николаем, Сорочинский замечает: «Извините, что я мало с вами знаком, а то бы мог уверить вас, что сын ваш в объятиях дружбы» (Июфанов, с. 124). Такая фраза уместна в устах человека, который совсем недавно приступил к своим обязанностям. Это видно также и из того, что Сорочинский только подыскивает для себя и для «Николаши» подходящую квартиру. Есть сведения (об этом ниже), что Сорочинский вообще только в 1820 году устроился на службу в Полтаве, приехав сюда из другого города.

...Итак, в конце лета 1820 года или несколько раньше Николай уже один, пережив смерть брата, начинает заниматься с Гавриилом Сорочинским, готовясь к поступлению в Полтавскую гимназию. К этому времени относятся первые сохранившиеся письма Гоголя, два из них адресованы родителям, одно — бабушке Татьяне Семеновне<sup>10</sup>. В письмах проскальзывают серьезные, совсем взрослые интонации; Николай уверяет родителей, что «поставил для себя первым долгом и первым удовольствием молить Бога о сохранении бесценного для меня здоровья вашего», сообщает, что занимается со старанием и успешно, заслужив одобрение «учителя», то есть Сорочинского.

Сорочинский задумал в домашних условиях пройти всю программу первого класса, подготовив мальчика к поступлению во второй. Он занимался с Николаем латинским и, по-видимому, французским языками и, кроме того, решил посылать его в гимназию «волонтером»

на некоторые предметы по своему выбору, с тем, чтобы тот «не потерял много времени». Так что более чем вероятно, что, не будучи гимназистом, Гоголь иногда посещал гимназию, которая располагалась тогда на Александровской улице в большом деревянном доме, купленном у врача Тишевского (в новое каменное здание, выстроенное для Малороссийского почтамта, гимназия была переведена спустя два года — в 1822 г.). Здесь его и встретил Саша Данилевский, поступивший в гимназию в 1818 году.

Честь открытия того факта, что Гоголь в 1820 и в начале 1821 года занимался с Гавриилом Сорочинским, принадлежит украинскому исследователю Д. Иофанову, который тем самым заполнил белое пятно в биографии писателя. Однако он не выяснил, кто был этот человек, ограничившись предположением, «что Гавриил Максимович Сорочинский служил не в гимназии, а в другом ведомстве и в свободное от служебных обязанностей время обучал и воспитывал Николая Гоголя» (Иофанов, с. 126).

Собранные мною материалы позволяют более точно осветить этот вопрос.

## УЧИТЕЛЬ И СОУЧЕНИК

Во второй половине прошлого века, в 1870 году, в «Харьковских губернских ведомостях» (№ 33) были опубликованы за подписью И. Б. «Воспоминания о Полтавской гимназии и Харьковском университете за полстолетия назад», где есть такое место: «Учитель латинского языка был *Гаврило Максимович Сорочинский*. Сначала, по определении в должность, был очень хорошим учителем. Он имел у себя одного пансионера и, чтобы охотно было ему заниматься дома, пригласил и меня ходить к нему для занятий; мы сблизились; но резвый, остроумный, белокурый мой товарищ, смешил и развлекал не только меня, но и самого учителя так, что часто, смеясь от души, он останавливал его: «Николай, перестань!» Вскоре, однако, товарищ мой оставил Полтаву и поступил в Нежинский лицей: это был знаменитый впоследствии *Николай Васильевич Гоголь-Яновский*. Недолго держался Гаврило Максимович: несчастная страсть к крепкому напитку погубила его; принося ему месячные ведомости, которые он обыкновенно поручал мне готовить, я часто заставлял его — в бесчувственном положении. По представлению директора, он был

удален из службы, и в Харькове, будучи студентом, я встретил его в положении нищего» (курсив в оригинале. — Ю. М.).

Это свидетельство осталось совершенно неизвестным исследователям (на него впервые обратил внимание автор этих строк в заметке, опубликованной в «Вопросах литературы», 1961, № 8, с. 193—195). А между тем оно имеет прямое отношение к биографии писателя.

Прежде всего выясняется, кто таков был учитель Гоголя — не чиновник какого-то полтавского ведомства, а именно преподаватель тамошней гимназии. Этому факту находят новые подтверждения. В изданной И. Я. Кронебергом в 1826 году в Харькове книге «Амалтея», в конце второй части, среди «имен особ, благоволивших подписаться на сию книгу», значится «учитель Полтавской гимназии Гавриил Сорочинский» (с. II). Книга известного латиниста, специалиста по античности интересовала Сорочинского по профессиональным соображениям, ибо он был преподавателем латинского языка.

В малоизвестных воспоминаниях Геевского, питомца Полтавской гимназии, говорится: «Сорочинский, учитель латинского языка, был хотя и не стар и, как можно было видеть, знал свой предмет отлично, но имел слабость пить... пить не чай, не кофе, даже не вино, а просто сивуху и пунши. Он пил запоем месяц, недели 2 или 3...» (Багaley, 1904, с. 1085). Степан Лукич Геевский (род. в 1813 г.) обучался в гимназии с 1825 по 1829 год (Труды, с. 225), после того, как Гоголь уже покинул Полтаву, и он наблюдал завершающую стадию злосчастной болезни учителя. Но началась эта болезнь еще при Гоголе и раньше.

Дореволюционный исследователь В. Л. Василевский на основе документов Полтавской гимназии дает сводку биографических сведений о Сорочинском (Труды, с. 254—255). Гавриил Максимович Сорочинский происходил из дворян, учился в Киевской духовной академии и Московском университете. Во время войны 1812 года и разорения Москвы французами перешел в Харьковский университет, который окончил со степенью кандидата. В 1820 году образовалась вакансия в Полтавской гимназии — умер учитель латинского языка Квятковский, и его место занял Сорочинский. Все было бы хорошо, если бы не пристрастие учителя к «зеленому змию». Ссылаясь на свидетельства его воспитанника, того же Геевского, автор говорит: «Сорочинский отлично знал свой предмет. Часто одна фраза служила ему «прицепкой» проговорить целый час и вызвать из гробницы и катакомб Virgiliев, Горацийев, Ювеналов, Тибулов, тем не менее ученики

не только ничего не понимали, но и не знали склонений и спряжений». Сорочинский все чаще и чаще пропускал уроки; руки у него тряслись, и он мог писать, только придерживая одну руку другою.

Однажды на квартиру Сорочинского нагрянула ревизия — директор гимназии Огнев с полицейским чиновником и уездным лекарем; учитель спал беспробудным сном, хотя уже пробило 11 часов и ему давно полагалось быть на уроках. Это случилось примерно в 1823 году.

Спустя два года, в июне 1825 года, гимназию ревизовал профессор Харьковского университета Василий Сергеевич Камлишинский. «Директор Огнев обратил внимание визитатора на учителя латинского языка Сорочинского, который «от пьянственной жизни» потерял здоровье, а ученики его обнаружили крайне слабые успехи в латинском языке». Гавриилу Максимовичу сделали новое внушение, но это не помогло. В 1827 году училищный комитет Харьковского университета, которому подчинялась Полтавская гимназия, уволил Сорочинского со службы. После этого, совершенно опустившийся, он перебрался в Харьков, где след его затерялся.

Из всего сказанного видно, что Сорочинский был знающим, образованным учителем, может быть, единственно стоящим из всех, с кем до сих пор судьба сталкивала Гоголя. В контексте приведенных сведений полного доверия заслуживают слова мемуариста о том, что мальчик чувствовал себя хорошо и свободно в доме Гавриила Максимовича, что он дал волю природному остроумию, заставляя смеяться и своего товарища и учителя. Кстати, с точки зрения хронологического приурочения это самое первое свидетельство о пробуждающемся комическом даровании Гоголя. До этого мы видели Никошу, как говорила С. Скалон, только «всегда серьезным» и «задумчивым».

Удалось Николаю несколько поправить и свои учебные дела, пополнить знания — настолько, что он сумел впоследствии, хотя и неблестяще, выдержать вступительные экзамены в нежинскую Гимназию высших наук. Большого добиться, однако, не удалось, прежде всего по причине тех особенностей гоголевского наставника, о которых достаточно говорилось выше.

Но кто же был соучеником Гоголя, автором воспоминаний, подписавшимся инициалами И. Б.? Расшифровать подпись помогает следующее место воспоминаний. Говоря о своей страсти к рисованию, И. Б. пишет, что он учился у своего отца, «который был хорошим живописцем, довершив свое образование в этом искусстве у брата

своего в Петербурге, известного художника времен Екатерины». Не подразумевает ли И. Б. под «известным художником времен Екатерины» Владимира Лукича Боровиковского?

Это предположение перейдет в твердую уверенность после того, как мы сопоставим только что процитированные строки с другими — из воспоминаний Ивана Боровиковского о своем дяде-художнике: «Владимир Лукич вызвал было к себе в Петербург и меньшего своего брата, отца моего, который и продолжал у него занятия свои в живописи...» (КС, 1884, т. 10, с. 158). Итак, И. Б., автор воспоминаний и соученик Гоголя, — это Иван Боровиковский, племянник знаменитого художника.

Так несколько затерявшихся строчек из «Харьковских губернских ведомостей» позволяют не только ввести в биографию Гоголя новое, дотоле неизвестное в ней лицо, но и установить связь будущего писателя с представителем одной из самых культурных и художественно одаренных семей на Украине. Поэтому стоит сказать об этом семействе несколько подробнее.

«Живописное искусство было как бы наследственным в фамилии Боровиковских», — замечает Иван Боровиковский. Художниками являлись и его дед Лука Боровик, и брат последнего Иван, и двоюродный брат Демьян.

У Луки Боровика было четыре сына, и все живописцы; младший — Иван Лукич, отец мемуариста, а старший — Владимир Лукич, прославившийся вскоре на всю Россию.

Никаких упоминаний имени Владимира Лукича Боровиковского (1757—1825) в гоголевских текстах не содержится, но трудно представить себе, что оно было неизвестно писателю. Художник родился в Миргороде, и его называли «миргородским мастером». Весь иконостас Троицкой церкви в Миргороде был расписан Владимиром Боровиковским (по предположению исследователя творчества художника, это, в частности, иконы «Богоматерь» и «Христос», находящиеся теперь в Музее украинского искусства в Киеве. — Алексеева, с. 286).

Владимир Боровиковский много раз рисовал людей, в окружении которых протекало детство Гоголя. Его кисти принадлежат два портрета Д. П. Трощинского; один портрет поясной, с видом из окна на село Кагорлык, киевское имение вельможи. Есть у Боровиковского портрет М. М. Трахимовского (1802), крестного отца Николая Гоголя. Хорошие отношения были у художника с В. В. Капнистом. «У по-

томков В. В. Капниста долгое время сохранялось несколько портретов членов его семьи, выполненных Боровиковским» (Алексеева, с. 292). К этой коллекции, возможно, восходит портрет жены поэта А. А. Капнист (урожденной Дьяковой), хранящийся теперь в Литературном музее в Москве. Словом, существовало так много точек пересечения, что едва ли Гоголь не знал и не слышал о своем знаменитом земляке, «самом крупном таланте, какой дала Малороссия русской школе живописи» (Горленко, с. 701).

И в связи со всем сказанным можно провести нить к Гоголю более поздней поры, а именно к его повести «Портрет» (первая редакция опубликована в 1835 г., вторая — в 1842 г.). А еще точнее — к персонажу этого произведения, петербургскому художнику из Коломны, отличавшемуся необыкновенным рвением и преданностью искусству.

«Это был тот скромный набожный живописец, какие только жили в те времена религиозных средних веков. Он мог бы иметь большую известность и нажить большое состояние, если бы решился заняться множеством работ, которые предлагали ему со всех сторон; но он любил более заниматься предметами религиозными и за небольшую цену взялся расписать весь иконостас приходской церкви».

К повести «Портрет» отыскивали и отыскивают разные прототипы, — понятие, не очень подходящее Гоголю, который никогда не рисовал с одного конкретного человека, подвергая подлежащий материал сложной и глубокой переработке. Но если говорить всего лишь о подлежащем материале, то с фигурой художника из Коломны наиболее уместно сопоставить именно Владимира Боровиковского — факт, на который, кажется, еще не обращено никакого внимания<sup>11</sup>.

Дело в том, что Владимир Боровиковский (как и персонаж гоголевской повести) был в значительной мере религиозным живописцем — и по характеру творчества, и по душевному расположению. «Приступая к какой-нибудь важной или серьезной работе, — говорит его племянник Иван Боровиковский, — Владимир Лукич прежде всего отправлялся в церковь и слушал молебен. Приготовив полотно или доску для иконы, он заставлял читать вслух Евангелие или житие святого, которого изобразить предполагал...» (КС, 1884, т. 10, с. 158). «Неподражаемый портретист, — пишет его биограф, — он в то же время — вдохновенный религиозный живописец. Его картины на библейские сюжеты дышат глубокой и наивной верой, переходящей к концу его жизни в мистический восторг» (Горленко, с. 703). Вспомним состояние живописца из «Портрета» (первая редакция) к концу его

жизни: «Он тогда весь обратился в религиозный пламень. Его голова вечно наполнена чудными снами. Он видит на каждом шагу видения и слышит откровения...»

Представляла для Гоголя интерес и сама художественная карьера Боровиковского, а именно тот подъем, который она внезапно претерпела. До поры до времени Владимир Лукич был скромным миргородским живописцем. Но вот «во время столь известного путешествия Екатерины II в Тавриду (1787 г.) киевский губернский предводитель дворянства Капнист заказал ему написать несколько картин для одного из домов, где должна была остановиться царица... Картина понравилась, и судьба художника была решена. Он меняет скромный Миргород на северную столицу...» (Горленко, с. 702). Это было то самое посещение Екатериной II Киева на пути в Крым, которое сыграло решающую роль в судьбе Д. П. Трошинского, и происходило все это по одной и той же «модели»: относительная безвестность, встреча с царствующей особой и стремительное возвышение. «Модели», которая много говорила сердцу честолюбивого Николая Гоголя.

Наконец, важно было и то, что отличила и возвысила большого художника именно Екатерина II. Это могло стать одним из тех фактов, которые затем внушат Гоголю идею выставить ее в «Портрете» в роли истинного покровителя искусства: «Государыня заметила, что... нужно отличать поэтов-художников... что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне...» и т. д.

Примечательными лицами были и другие представители рода Боровиковских. Лев Иванович, второй племянник знаменитого художника, учился в Полтавской гимназии примерно в те же годы, что и его брат Иван, в 1826 году поступил на этико-филологический, то есть словесный, факультет Харьковского университета, который закончил спустя четыре года со степенью кандидата. Служил в Курской, Новочеркасской, а затем Полтавской гимназии, где преподавал историю, литературу и латинский язык (Павловский, 1912, с. 24; Крижанівський, с. 8—38). Но истинной его страстью было собирание памятников украинской народной словесности. «Байки и прибаутки» Льва Боровиковского были изданы А. Метлинским в Киеве в 1852 году, несколько песен — в «Сборнике народных южно-русских песен» того же А. Метлинского, «Шесть малороссийских простонародных баллад» — в «Отечественных записках» за 1840 год (№ 2) и т. д.



В заключение надо сказать еще о том, как сложилась жизнь соученика Гоголя Ивана Ивановича Боровиковского. После окончания Полтавской гимназии в 1824 году он поступил на словесный факультет того же Харьковского университета. Был вначале преподавателем в Курской, а затем в своей родной Полтавской гимназии, где он уже в 1831 году числился учителем «исторических наук» (Труды, вып. 5, с. 136). Позднее он стал инспектором гимназии, преподавал и в Институте благородных девиц. Затем мы видим его редактором «Харьковских губернских ведомостей». На этом посту, который Боровиковский занимал с 1869 по 1879 год, он провел ряд важных реформ: увеличил формат газеты до размера in folio, стал выпускать ее шесть раз в неделю, а затем и ежедневно. «Вообще И. И. Боровиковский, — утверждают историки Харькова, — был ее выдающимся редактором» (Багaley, 1912, с. 787).

Последние годы жизни Иван Боровиковский провел в родных местах — в селе Милюшки возле города Хорол. Это совсем недалеко от Миргорода, который стоит на речке того же названия (Хорол), да и от гоголевских мест тоже — Васильевки, Яресок, Диканьки и т. д.

Неизвестно, довелось ли Ивану Боровиковскому хотя бы еще раз встретиться со своим знаменитым соучеником после того, как они оба покинули школьную скамью полтавского учителя. Возможно, нет. Но все относящееся к жизни Гоголя даже косвенно важно нам как фон, как та среда, в которой проходило созревание его гения.

## НЕЖИН

Вернемся к хронологической последовательности гоголевской биографии.

Пока Николай учился в Полтаве, у Василия Афанасьевича созрел новый план.

Давно уже поговаривали, что на Украине будет открыто новое учебное заведение. Университета св. Владимира в Киеве тогда еще не было; существовал лишь Харьковский университет — один на весь край. Только что (в 1817 г.) был основан Ришельевский лицей в Одессе. Теперь настала очередь и для центральной Украины, а именно поветового (уездного) города Нежина Черниговской губернии.

Еще в 1805 году граф Илья Андреевич Безбородко, брат покойного князя Александра Андреевича Безбородко, знаменитого канцлера, сподвижника Екатерины II, предложил употребить «пожертвова-

ния» последнего (прибавив и свои средства) для учреждения «училища высших наук». Для этой цели он определил принадлежащую ему в Нежине обширную территорию с разбитым садом и уже завезенным для строительства кирпичом. Началось возведение массивного двухэтажного здания, украшенного по фасаду длинной колоннадой, и с двумя флигелями о трех этажах (автор проекта — Луиджи Руска; см. о нем: Александрова, с. 42—50). Строительные работы растянулись на тринадцать лет, и 19 апреля 1820 года был издан наконец высочайший рескрипт, объявивший об открытии в Нежине Гимназии вышних наук кн. Безбородко (позднее, в 1825 г., она была переименована в Гимназию *высших* наук). К этому времени граф И. А. Безбородко уже умер, и почетным попечителем Гимназии назначили его двадцатилетнего внука графа Александра Григорьевича Кушелева-Безбородко<sup>12</sup>.

Открытие Гимназии было отмечено трагическим событием, как бы предзнаменовавшим дальнейшие превратности в судьбе этого учебного заведения.

...Первым директором Гимназии стал Василий Григорьевич Кукольник. Выходец из Венгрии (род. в 1766 г.), карпато-росс (русин) по национальности, это был поразительно талантливый, разносторонний человек. (По другим сведениям, Кукольник был словак из дворян австрийского села Кокольники, находящегося на рубеже Червонной Руси, то есть Галиции, и Венгрии. — Шверубович, с. 9—10.) Окончив академию в Лемберге (теперь город Львов), он, по словам его сына Нестора Кукольника, мог с равным успехом занимать «кафедры прав ли, естественной истории, математики, наук политических, любого из древних (включительно с еврейским) и многих новых языков и литературы» (Лицей, 1881, с. 182). С течением времени Василий Григорьевич сумел действительно испытать себя чуть ли не во всех этих дисциплинах. В Замосцьском лицее (Польша) он был вначале профессором физики и естественной истории, а потом — заведующим кафедрой сельского хозяйства. Затем его пригласили в Петербург для заведования кафедрой римского права в Учительской гимназии (позднее переименованной в Педагогический институт); надо сказать, что труды по римскому праву и по российскому частному гражданскому праву составили большую долю в общем научном наследии Василия Кукольника; некоторые из этих трудов были приняты в качестве официальных учебных пособий. Но когда профессор приехал в Петербург, оказалось, что произошло недоразумение — кафедра римско-

го права была уже занята. Министр просвещения граф П. В. Завадовский с чувством неловкости спросил у Кукольника, может ли он преподавать что-нибудь другое. «Все, что прописано в докторских моих дипломах». — «Неужто и физику?» — «Охотно!» (Лицей, 1881, с. 184). И таким образом Кукольник стал профессором физики Педагогического института. Наряду с этим он читал еще студентам химию, технологию, сельское домоводство, а в Высшем училище правоведения, кроме того, — римское право.

В апреле 1813 года Кукольник стал преподавать римское и гражданское русское право великим князьям Николаю Павловичу и Михаилу Павловичу. Перед Василием Григорьевичем открывалось блестящее будущее. В марте 1819 года он был назначен председателем конференции только что открытого Петербургского университета и уже готовился занять пост его первого ректора, как вдруг неожиданно для окружающих сложил все свои обязанности и вместе с семьей покинул Петербург, чтобы направиться на Украину, в Нежин.

Дело в том, что среди учеников Кукольника в Петербурге был молодой граф Александр Григорьевич Кушелев-Безбородко, только что ставший почетным попечителем Гимназии высших наук: он-то и оказался «коварным соблазнителем». На беду, около этого времени заболела дочь Кукольника Мария, окончившая Екатерининский институт, и врачи говорили, что сырой петербургский климат будет иметь для нее губительные последствия. Иное дело — благословенный воздух Малороссии... Но, вероятно, на решение Василия Григорьевича повлияли не только эти соображения: его увлекла сама идея нового учебного заведения.

По своему назначению Гимназия была выше обыкновенных губернских гимназий, но ниже университетов; это значит, что она не давала специального образования, не учила одной определенной профессии, но зато должна была привить своим питомцам самые широкие знания, снабдить сведениями по различным дисциплинам. Только на этой основе, считал Кукольник, возможно дальнейшее образование или, как мы сейчас говорим, специализация. Эрудит и энциклопедист, он мечтал о новой, плодотворной постановке педагогического дела. Жизнь очень скоро развеяла его мечты.

Когда в августе 1820 года Кукольник приехал в Нежин, на него обрушилась гора неотложных дел и проблем. Не было эконома, бухгалтера, и директору пришлось самому исполнять их обязанности. Эконома вскоре отыскиали (из числа студентов Киевской духовной

академии), а бухгалтера, как выяснилось, не полагалось по штату. Кукольник оказался один на один со всеми хитросплетениями российской финансовой и бюрократической системы, да еще в ее самом уродливом, провинциальном обличье.

Другое разочарование было связано с абитуриентами, которые с разных сторон съезжались в Нежин. Иные из них были подготовлены неплохо, но многие едва-едва владели грамотой. Особенно хромала подготовка в области иностранных языков, что полиглоту Кукольнику казалось совсем уж нетерпимым. Чтобы поправить положение, директор еще до формального начала занятий разбил всех прибывших на две группы — более подготовленных и менее подготовленных — и принялся с помощью сына Платона сам обучать их, в первую очередь языкам.

Постепенно стали прибывать преподаватели и профессора, что принесло новое разочарование директору. Некоторых из них — чиновников от просвещения — Кукольник ни за что бы не подпустил к кафедре, а тут предстояло работать с ними всю жизнь.

Кукольник пришел в ужас от того шага, который он опрометчиво совершил. Склонный к ипохондрии, психически неуравновешенный, он тяжело заболел и 6 февраля 1821 года умер — при недостаточно выясненных обстоятельствах. Согласно официальной версии, Кукольник, будучи «одержим геморроидальной болезнью и сильным биением сердца», скончался «внезапною смертию... от апоплексического удара» (Лавровский, с. 11—12). Начальство Гимназии, по понятным причинам, усиленно настаивало именно на такой версии; даже спустя почти шестьдесят лет ее излагал директор Н. А. Лавровский. Но сын Василия Григорьевича Нестор Кукольник, находившийся с отцом в Нежине, определенно говорил о другой причине — самоубийстве: «...ником не замеченный, он выбросился из окна третьего этажа и убится до смерти на пятьдесят шестом году жизни» (Лицей, 1881, с. 188). Истинная причина смерти Кукольника была известна и ученикам, как о том свидетельствует позднейшее заявление питомца Гимназии Н. Ю. Артынова: вскоре по прибытии директор «заболел меланхолиєю, бросился из окошка третьего этажа и умер» (РА, 1877, кн. 3, с. 192). Так, по-видимому, оно и было<sup>13</sup>.

За две-три недели до трагического события, в январе 1821 года, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский отправил директору прошение о принятии его сына Николая в новооткрытую Гимназию. Не получив ответа и еще ничего не зная о смерти Кукольника, Василий

Афанасьевич пишет ему 12 февраля из Миргорода новое письмо: «Признаюсь вам, что я сына моего совершенно уже приготовил к отдаче в нежинской пенсион в число своекоштных воспитанников; но по слабости моего здоровья не решаюсь его представить к вам, покуда не буду уверен, что он будет вами принят» (Сборник, с. 313). Василий Афанасьевич хотел определенных гарантий, и временное правление такие гарантии, правда в очень осторожной форме, дало: 18 февраля Василию Афанасьевичу сообщили, что он может «представить... сына в какое угодно время для поступления его в число воспитанников Гимназии».

И вот 1 мая того же года Николай был принят в Гимназию.

Между тем смерть директора повлекла за собою «смутное время» в истории Гимназии, и происходило все это перед глазами новопринятых воспитанников, в том числе и Гоголя.

Очевидно, главным источником беспокойства была семья покойного, обвинявшая во всем случившемся других преподавателей; вмешались сюда и честолюбивые мотивы, стремление сохранить власть: по мнению Софьи Николаевны, вдовы Кукольника, место директора должен был занять ее старший сын Павел, поскольку он имел крупный чин и управлял одним из благотворительных заведений в Петербурге. Но профессора и учителя решительно выступили против такого порядка «престолонаследия». Софью Николаевну поддержал и ее брат И. Н. Пилянкевич, преподававший в Гимназии латинский язык, и сын Платон, учитель низших классов. О том, какими средствами велась борьба, свидетельствует жалоба учителя французского языка Амана и надзирателя Зельднера: мол, вдова директора приглашает к себе воспитанников и «внушает им неприличный для юношества образ мыслей». Пилянкевич же назвал собрание педагогов «шайкою» и «скопищем» и «таковую сколь неприличную, столь же и явно нарушающую общий порядок дерзость свою заключил самым грубым выходом из собрания и крепким при затворении дверей ударом...» (Лавровский, с. 14).

Не обошлось, как водится в таких случаях, и без угроз и ярлыков политического свойства. Пилянкевич, с шумом покидая собрание, сказал, что его сестра до тех пор «за всеми профессорами, учителями и гувернерами соглядатайствовать будет, доколе не получит чего-то желаемого...». А правление Гимназии, со своей стороны, доносило попечителю, что Платон Кукольник 29 августа 1821 года, проникнув «в виде некоего свободного франта» в зал, где воспитанники были

заняты чтением Нового завета, взял книгу и «стал декламировать со всеми актерскими жестами, дерзнув даже делать политические изъяснения на тексты, каковое изъяснение и в простом смысле совершенно воспрещено при одном чтении и самим учителем» (Лицей, 1881, с. 37—38).

Напряжение разрядилось лишь тогда, когда семейство Кукольника выехало из занимаемой в Гимназии квартиры и переселилось в частный дом (30 сентября), а позднее (3 декабря) и вовсе оставило Нежин, переехав в Виленскую губернию. Однако то, что произошло, не только на долгое время отравило атмосферу в Гимназии, но и явилось предвестием еще более крупного конфликта, вспыхнувшего в последний год пребывания здесь Гоголя и известного под названием «дело о вольнодумстве».

«Междущарствие» в жизни Гимназии подошло к концу лишь 1 ноября, когда вступил в должность новый директор Иван Семенович Орлай.

В это время Николай Гоголь, проучившийся в Гимназии два месяца, находился в так называемом втором *отделении*. Что означало это наименование, заменившее общепринятое разделение на классы?

Согласно уставу, полный курс обучения в Гимназии должен был продолжаться девять лет и состоять соответственно из девяти классов. Но состав абитуриентов оказался настолько неровным и разношерстным, что распределить их сразу по классам было очень трудно, и решили предварительно создать три отделения: третье — для более подготовленных, второе — для менее подготовленных и первое — для прибывших в Гимназию с опозданием. Гоголь был определен во второе отделение — для менее подготовленных.

Вступительные экзамены проходили с 21 по 28 июня. Гоголь получил следующие оценки: по священной истории и Закону Божьему — 4; по российскому языку, арифметике, географии, истории, латинскому и немецкому языкам — 2; по французскому языку и рисованию — 1.

Поскольку в Гимназии была принята четырехбалльная система, можно сказать, что самые большие успехи («превосходные») Гоголь обнаружил в двух предметах — священной истории и Законе Божьем: видимо, сказалось и царившее в семье религиозное уmonoнаправление, и интерес к этой сфере самого Николая. По большинству остальных предметов у Гоголя были посредственные оценки, в том числе и по латинскому языку. Как-никак этому скромному достижению Николай

был обязан своим занятиям с Гаврилой Сорочинским. Дело в том, что в уездных училищах латинскому языку обучали скверно, а в домашнюю подготовку этот предмет, как правило, вообще не входил; поэтому отметки по латинскому языку были «обыкновенно ниже отметок по новым языкам» (Лавровский, с. 29). Это видно и по вступительному экзамену: у четырех учеников, в целом успешнее выдержавших экзамены, чем Гоголь, по латинскому была единица, то есть неуд. А вот во французском Николай с его наставником не очень преуспел и тоже получил неуд.

Среди отметок Гоголя обращает на себя внимание единица по рисованию. Трудно сказать, что стояло за этой неудачей: или он действительно еще не сумел показать свои незаурядные способности в этой области, или он уже на экзамене оказался в той ситуации, которую затем опишет в статье «Несколько слов о Пушкине»: «Мне пришло на память одно происшествие из моего детства, — говорилось в этой статье. — Я всегда чувствовал маленькую страсть к живописи. Меня много занимал писанный мною пейзаж, на первом плане которого раскидывалось сухое дерево. Я жил тогда в деревне; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Один из них, взглянувши на картину, покачал головою и сказал: “Хороший живописец выбирает дерево рослое, хорошее, на котором бы и листья были свежие, хорошо растущее, а не сухое”».

В целом Гоголь набрал 22 шара из 40 возможных. Это был довольно скромный показатель. Из двадцати четырех экзаменовавшихся только у двух — неких Петра Соковича и Михаила Скоропадского была еще меньшая сумма шаров. В результате Гоголь был оставлен в том же втором отделении (Лавровский, с. 138).

Через полгода, в январе 1822 года, в Гимназии проводились новые испытания с целью распределения воспитанников по классам. Гоголь сдал эти экзамены более успешно: хотя по французскому языку остался неуд, зато по шести предметам получил высшую оценку — по логике, истории, географии, арифметике, латинскому и немецкому языкам. Общее количество шаров, которые он набрал, 33 из 40 возможных. В результате его определили в III класс. Но это был не высший класс, так как из учеников третьего отделения образовали IV и V классы.

Распределением на классы, произведенным после январских экзаменов 1822 года, объясняется тот факт, что ученики, поступившие в год основания Гимназии, заканчивали ее затем в разное время.

Впереди гоголевского класса следовали два других, поэтому его выпуск оказался третьим.

## В КЛАССЕ, МУЗЕЕ И ...БОЛЬНИЦЕ

Первые месяцы пребывания в Гимназии были для Гоголя очень трудными. Один из соучеников — В. И. Любич-Романович рассказывал, как он впервые увидел Николая: «В Гимназию... Гоголь был привезен родными, обходившимися с ним как-то особенно нежно и жалостливо, точно с ребенком, страдающим какою-то тяжкою, неизлечимую болезнью. Он был не только закутан в различные свитки, шубы и одеяла, но просто-напросто закупорен. Когда его стали облачать, то долго не могли докопаться до щедрого, крайне некрасивого и обезображенного золотухой Николая Васильевича. Мы чуть ли не всей Гимназией вышли в приемную взглянуть на это «чудовище», как быстро окрестили его всегда насмешливые школьники. Глаза его были обрамлены красным, золотушным ободком, щеки и весь нос покрыты красными же пятнами, а из ушей вытекала каплями материя. Поэтому уши его были крепко завязаны пестрым, цветным платком, придававшим его дряблой фигуре потешный вид» (ИВ, 1892, № 12, с. 695).

Ручаться за полную точность этого «моментального снимка» нельзя: в другом месте мемуарист говорил, что Гоголь приехал в Гимназию, сопровождаемый не родителями, а «только одним усачом-запорожцем» (что менее вероятно), и прозвали его «пигалицей» (ИВ, 1902, № 2, с. 549) — но эти детали не меняют дела. Болезненность Николая бросалась в глаза всем. Другой однокашник, А. С. Данилевский, вспоминал: «Лицо его было какое-то прозрачное. Он сильно страдал от золотухи; из ушей у него текло...» (Шенрок, т. 1, с. 102). Болезнь ушей была семейной у Гоголей; младшая сестра Николая Ольга рассказывала: «У меня постоянно текло из уха, и мне затыкали ухо корпией» (Головня, с. 6). Однажды так сильно заткнули ухо, что она чуть не оглохла.

Первые недели после зачисления выдались для Никоши еще не такими трудными. От тоскливых дум отвлекало ожидание экзаменов, а затем и сами экзамены; кроме того, мальчик знал, что июль — начало августа он будет проводить дома. Но когда после каникул Николая снова привезли в Нежин и он понял что на долгие месяцы обречен на разлуку с родными, им овладело глубокое отчаяние. В середине



августа он уже торопит родителей поскорее навестить его: «Прежде каникул писал я что мне здесь хорошо а теперь напротив того. О! естлибы Дражайшие родители приехали в нынешнем месяце тогда бы вы услышали что со мною делается. Мне после каникул сделалось так грустно что всякой Божий день слезы рекой льются и сам не знаю от чего, а особливо когда спмню об вас то градом так и льются. И те<пе>рь у меня грудь так болит что даже не могу много писать» (X, 34).

Единственное утешение — старик Симон, крепостной из Васильевки. По недостатку служащих гимназистам разрешалось иметь при себе домашних людей, с тем чтобы они безвозмездно выполняли общую работу. Симон целыми днями кашеварил на гимназической кухне. А по вечерам сидел у постели Никоши, утешал его, успокаивал. «...Часто просиживал по целой ночи надо мною уже его просил чтоб он пошел спать но никак не мог его принудить» (X, 35).

К началу сентября Гоголю стало легче — прошли боли в груди, поднялось настроение. Марья Ивановна, пославшая в Гимназию, в ответ на тревожные письма сына, специального человека, получила обнадеживающие сведения. «Возвратившийся из Нежина несколько успокоил меня на счет моего Николиньки, — писала она 3 сентября О. Д. Трошинской, — он затосковал было, а теперь начал привыкать и сделался веселее...» (РС, 1882, т. 34, с. 674).

Очень обрадовало Николая известие о назначении нового директора Гимназии, о чем он «с полным удовольствием» поспешил сообщить родителям.

Так же, как и первый директор В. Г. Кукольник, Иван Семенович Орлай (1771—1829) был карпато-россом по происхождению, переселившимся в Россию и поступившим на русскую службу. Широтой образования он почти не уступал своему предшественнику: в Унгарском народном училище Орлай обучался венгерскому и латинскому языкам; в Унгарской архигимназии и в Велико-Карловской гимназии высших наук прошел курс латинской словесности и других наук; в Велико-Варадской академии обучался чистой математике, логике и истории; в Львовском университете посвятил себя занятиям по прикладной и высшей математике, опытной физике, всеобщей истории, нумизматике, дипломатии, нравственной философии, естественной истории и технологии, немецкой словесности. Затем он еще занимался на богословском факультете Пештского университета, а позднее, по приезде в Петербург, в медико-хирургическом училище.

Вся его деятельность на русской службе протекала главным образом в сфере медицины — он был и гоф-хирургом, и гоф-медиком, и ученым секретарем медицинской коллегии, в 1820 году чуть было не стал ординарным профессором медицинского факультета Московского университета, но, получив приглашение от попечителя Гимназии высших наук графа А. Г. Куселева-Безбородко, без колебаний поменял обе столицы, и старую, и новую, на Нежин. Как и В. Г. Кукольника, его притягивал благодатный климат Украины (Лицей, 1881, с. 202—205)<sup>14</sup>.

Орлай был вспыльчивым, порою крутым, но не злым человеком. В его пользу говорит тот факт, что вскоре после вступления в должность он вернул в Гимназию Нестора Кукольника, сына трагически погибшего директора. Орлай видел в этом свой долг по отношению к памяти друга и земляка.

Гимназисты относились к новому директору неплохо, по утверждению Нестора Кукольника (возможно, преувеличенному), даже любовно. «...Этот по-видимому слабый, раздражительный, странный начальник, — вспоминал Кукольник, — умел снискать любовь к себе детей почти неограниченную. Никто в присутствии его никогда не забывался, но никто и не стеснялся его присутствием. Шалили напропалую, учились еще пуще и наблюдали только за тем, чтобы в шалости тля подлости не залезла». «Я сам шалил, — говаривал Иван Семенович, — и знаю, что степенный опаснее резвого» (Лицей, 1881, с. 198, 197).

Что касается Гоголя, то и он мог рассчитывать на некоторое покровительство нового директора: хотя и не единоплеменный, но все же знакомый. Орлай бывал в Кибинцах у Трошинского и встречался с гоголевской семьей, у него самого было крошечное имение в Миргородском уезде с шестью душами крепостных. Иван Семенович находил для Гоголя-гимназиста участливое слово, приглашал его к себе на квартиру.

Вскоре в положении Николая произошла перемена, более ощутимая, впрочем, для его родителей, так как она имела отношение к бюджету семьи.

Все ученики разделялись на пансионеров, состоящих на полном содержании и живших в здании Гимназии, и вольноприходящих, пользовавшихся лишь бесплатным обучением. В свою очередь, пансионеры делились на своекоштных, плативших за свое пребывание в Гимназии, казенных и пансионеров почетного попечителя. Казенные

пансионеры и пансионеры почетного попечителя содержались соответственно или за счет царской казны и инвалидного капитала, или за счет почетного попечителя графа А. Г. Кушелева-Безбородко.

Николай был принят в Гимназию свекоштным студентом, и, следовательно, родители должны были платить за него ежегодно 1200 рублей, — сумму по тем временам очень большую, особенно для безденежного полунатурального помещичьего хозяйства. Неудивительно, что Василий Афанасьевич тотчас принялся хлопотать о переводе сына на казенное содержание. Вскоре он добился своего: 3 марта 1822 года почетный попечитель сделал распоряжение включить Гоголя «в число воспитанников, содержимых на гимназиальном иждивении» (Лавровский, с. 52; Сборник, с. 318). Реальный же перевод Николая на казенное содержание состоялся к концу учебного года, то есть 1 июля. Из другого документа, письма Андрея Трощинского своей матери, мы узнаем, что все это удалось сделать «через ходатайство Дмитрия Прокофьевича» (РС, 1882, т. 34, с. 657) — могущественного покровителя гоголевского семейства.

Постепенно гимназическая жизнь вошла в привычную колею ежедневного, монотонно повторяющегося времяпрепровождения. Распорядок дня, разработанный Орлаем, был довольно жестким.

Вставали пансионеры рано — в половине шестого утра. Одевшись и приведя себя в порядок, они должны были приветствовать гувернеров.

В половине седьмого начиналась утренняя молитва, потом — чай и чтение Нового завета (полчаса).

С 9 до 12 — уроки.

По окончании занятий четверть часа отводилось для променада. Затем следовал обед.

После обеда один час предназначался «для свободного приготовления в классах, без обременения вольности отдохновения».

Во второй половине дня с трех до пяти вновь шли классные занятия.

Потом отдых, с пяти до половины шестого вечерний чай, до половины седьмого — повторение уроков, затем полчаса «для приятнейшего и благородно-шутливого препровождения времени, на чтение Лафонтеновых басен на французском или немецком языках».

Потом в течение пятнадцати минут пансионеры должны были приготовить классные принадлежности к следующему дню и столько же времени — для разминки перед ужином.

Ужин проходил с половины восьмого до восьми.

Затем — четверть часа — для движения после ужина.

Полчаса, с 8.15 до 8.45, отводилось на повторение уроков.

В 8.45 пансионеры вставали на вечернюю молитву.

А в 9 часов шли «к постелям для раздевания и положения себя в оных». Жизнь в Гимназии замирала — на восемь с половиной часов.

А на другой день в 5.30 все начиналось сначала...

В разработанном Орлаем распорядке ощущается стремление приноровиться к детскому возрасту: классные уроки чередовались с более свободными занятиями, предусматривалось время для променада или движений. Но всякий режим есть режим: стесняли однообразие и повторяемость всего происходящего, а также публичность или, как мы сейчас говорим, коллективность поступков. Ведь все, что гимназисты, и особенно пансионеры, делали, они делали вместе, почти не имея возможности побыть наедине с самими собою. Неудивительно, что Гоголь пытался уклониться от выполнения какой-либо обязанности и сбегал с уроков, с чем и связаны эпизоды, о которых рассказывал впоследствии Нестор Кукольник.

«Иван Семенович не жаловал, если ученики во время лекций оставляли классы и прогуливались по коридорам, а Гоголь любил эти прогулки, и потому не мудрено, что частенько натыкался на директора, но всегда выходил из беды сух и всегда одною и той же проделкой. Завидев Ивана Семеновича издали, Гоголь не прятался, шел прямо к нему навстречу, раскланивался и докладывал: «Ваше превосходительство! Я сейчас получил от матушки письмо. Она поручила засвидетельствовать Вашему превосходительству усерднейший поклон и донести, что по вашему имени идет все очень хорошо...» — «Душевно благодарю! Будете писать к матушке, не забудьте поклониться и от меня и поблагодарить...» Таков был обыкновенный ответ Ивана Семеновича, и Гоголь безнаказанно продолжал свою прогулку по коридорам» (Лицей, 1881, с. 195).

Для пансионеров, а следовательно, и для Гоголя однообразие и монотонность гимназической жизни усиливались и подчеркивались еще благодаря их одежде. Если вольноприходящие появлялись в Гимназии в своем «разнообразном одеянии», то пансионеры обязаны были носить мундир. А после очередного посещения Гимназии (18 сентября 1823 г.) почетный попечитель распорядился, чтобы и вольноприходящие носили мундиры, ничем не отличающиеся от мундиров пансионеров (Сборник, с. 340).

Но в верхнем платье гимназистов единообразия не было, что имело и хорошие, и плохие последствия. Можно было одеться на свой вкус, но если вовремя не случится необходимой одежды — беда. В разгар зимы, в январе 1822 года, Гоголь просит родителей прислать ему тулуп — «потому что нам не дают казенного ни тулупа, ни шинели, а только в одних мундирах несмотря на стужу» (X, 39). Деталь мелкая, но немаловажная — мальчик на своей коже узнал, что значит не иметь в суровую пору спасительной «шинели»...

Для удобства наблюдения во внеурочные часы пансионеров определяли в специальные помещения — так называемые музеи. Вначале музеев было, по-видимому, столько же, сколько и классов: в каждой комнате свой класс. Но затем (1 ноября 1824 г.) Орлай предложил сократить количество музеев до трех — «для удобнейшего и успешнейшего за ними (учениками) надзирания» (Сборник, с. 346). В каждом музее должно было располагаться по три класса — младшие, средние и старшие. Но поскольку девятого, последнего класса еще не было, а четвертый и пятый отличались многолюдством, то шестой класс передали из средней группы в старшую, то есть из второго музея в третий. Именно в шестом классе занимался в это время Гоголь. Надзирателями в этом классе были французы Аман и Перион и в их обязанности входило разговаривать с пансионерами по-французски.

Всего же надзирателей было пять, а потом шесть, по два на каждый музей. Функция надзора возлагалась и на инспектора.

Единообразный порядок устанавливался на всю неделю, лишь в воскресенье и праздники разрешалось от него отступать. В эти дни можно было выходить из Гимназии, но не куда угодно и не как-нибудь, а по определенному предписанию. 18 сентября 1823 года почетный попечитель распорядился «для сохранения в воспитанниках Гимназии доброй нравственности и для удаления от них вредной развлеченности» отпускать их «из пансиона в город» лишь «с срочным от инспектора билетом» «и не к сторонним каким-либо лицам, но к родителям их, ближайшим их родственникам или к тем, к коим родители их отпускать их просили» (Сборник, с. 338). Так гласила бумага; в действительности, конечно, складывалось все не так определенно и упорядоченно...

В качестве же наказания за тот или другой проступок или провинность в Гимназии предусматривалась целая шкала дисциплинарных мер — от замечания надзирателя, выговора «с кротким увещани-

ем» до наказания по усмотрению инспектора, внесения в «черную» книгу. «Если же кто и после упомянутых наказаний не исправляется и делает грубости, будучи замечен в том многократно, таковой инспектором, по усмотрению, наказывается более; о имени же того воспитанника инспектор доносит директору» (Лавровский, с. 39).

Выражение «наказывается более» подразумевало телесное наказание. Да, директор Орлай был гуманен и великодушен, но все же полагал, что сечь мальчиков и подростков, хотя и редко, но нужно — для их же пользы. В позднейшем докладе дирекции признавалось, что телесные наказания в исключительных случаях в Гимназии «употребляются» — «для малолетних за крайнюю лень и опасные шалости; для взрослых за бродяжничество по ночам, буянство, карточную игру и питье; для всех же возрастов за непослушание и грубость» (Лавровский, с. 121).

Обрекая провинившегося на порку, Иван Семенович Орлай, как вспоминал Кукольник, «долго страдал сам, медлил, даже хворал», но в конце концов «одолевал свою врожденную доброту и предавал преступника ликторам».

Однажды, по словам того же Кукольника, угроза телесного наказания нависла над Гоголем, который «еще в низших классах как-то провинился, так что попал в уголовную категорию». Если в низших классах, то, согласно шкале проступков, не за какое-либо зловерное прегрешение, но лишь «за крайнюю лень и опасные шалости». Так или иначе — расправа близилась. Но далее произошло неожиданное.

«Плохо, брат! — сказал кто-то из товарищей. — Высекут». — «Завтра!» — отвечал Гоголь. Но приговор утвержден, ликторы явились. Гоголь вскрикивает так пронзительно, что мы все испугались, — и сходит с ума. Подымается суматоха. Гоголя ведут в больницу; Иван Семенович два раза в день навещает его; его лечат; мы ходим к нему в больницу тайком и возвращаемся с грустью. Помешался, решительно помешался! Словом, до того искусно притворился, что мы все были убеждены в его помешательстве, и когда, после двух недель удачного лечения, его выпустили из больницы, мы долго еще поглядывали на него с сомнением и опасением, пока не попривыклось и текущие новости не вытеснили воспоминаний» (Лицей, 1881, с. 199).

О притворном сумасшествии Гоголя рассказывает и другой гимназист — Т. Г. Пашенко, приводя примерно те же подробности, что и Кукольник: мол, прибежал испуганный Орлай, Гоголя хватают и ведут в больницу, где он длительное время (у Пашенко вместо «двух

недель» «два месяца») с успехом разыгрывает свою роль. Совпадения у двух мемуаристов повышают достоверность рассказа. Однако Пашенко дает другую мотивировку случившегося: Гоголь прибегнул к мистификации, чтобы выкроить время для занятий, для написания своих произведений... Надо сказать, что версия Кукольника выглядит более убедительной: угроза телесного наказания скорее могла подтолкнуть Гоголя на такое внезапное притворство, чем литературные расчеты и соображения. Но вместе с тем понятно, почему у Пашенко могла зародиться подобная мотивировка — больница занимала в гимназической жизни особое место. Об этом говорит и Кукольник.

«Больница вообще играла важную роль в нашей студенческой жизни. Отлучаться из музеев <...> куда-нибудь подальше было затруднительно: губернёр долго не видит, как-нибудь заметит, станет искать, догадается; а больница, под непосредственным надзором любознательного сторожа Евлампия, представляла все удобства для экскурсий. Доктор зайдет раз в день, инспектор раз в день — и кончено; подсунул Евлампию мадам Радклиф со всеми ужасами разных аббатств и ступай себе куда хочешь. К тому же и местоположение от вседневной деятельности гимназической удаленное. На лестнице никто не попадет» (Лицей, 1881, с. 199).

Итак, больница была самым удобным средством, чтобы вырваться из повседневного тягостного коловращения дел и обязанностей, чтобы покинуть стены Гимназии, ускользнуть в город или куда-нибудь подальше — за речку Остер, в Мегерки... А если случится рядом кто-либо из приятелей, то больничная палата превращается в маленький клуб.

Возвращаясь же к притворному сумасшествию Гоголя, можно с большой долей вероятности датировать этот эпизод. За все время пребывания в Гимназии Николай лишь один раз получил единицу по поведению — в феврале 1824 года; он был тогда в V классе. В ведомости отмечено, что оценка снижена Яновскому «за неопрятность, шутовство, упрямство и неповиновение» (Лавровский, с. 44). Не подразумевается ли тот проступок, за который Гоголь должен был подвергнуться телесному наказанию? Но уже в мартовской ведомости отмечено, что мальчик вел себя «отлично-хорошо», и все последующие оценки его по поведению, в том числе и годовая, — наивысшие, то есть 4.

Все же характерно, что тихий и робкий Никоша уже достаточно освоился и мог при случае показать себя. Его непокорность, стрем-

ление самоутвердиться выражались прежде всего в розыгрышах, мистификациях, отвечавших пробуждающемуся комическому таланту. И в сферу действия последнего попадали не только преподаватели, но — прежде всего — товарищи и однокашники Гоголя.

## СРЕДИ ТОВАРИЩЕЙ И ОДНОКАШНИКОВ

Первые биографы Гоголя охотно писали об его приверженности культуре дружбы. «Надо заметить, что Гоголь в юности сближался довольно легко» (Лицей, 1858, с. 9). «Гоголь любил своих товарищей вообще, и до такой степени спутники первых его лет были тесно связаны с тем временем <...>, что даже школьные враги его, если только он имел их, были ему до конца жизни дороги» (Кулиш, 1854, с. 2). Напротив, С. Т. Аксаков сомневался, что у Гоголя существовали когда-нибудь друзья, что ему было знакомо чувство дружбы.

Как противоположные эти суждения весьма неточны; но в то же время каждое из них скрывает в себе часть истины, так как они восходят к различным проявлениям гоголевской природы. Гоголь умел поворачиваться к своим знакомым то одной, то другой стороной, ускользая от испытующего взгляда, от требований цельности.

В более позднем автобиографическом отрывке «Ночи на вилле», рассказывая о том, как он ухаживал в 1839 году за умирающим другом (И. М. Вьельгорским), Гоголь говорит, что переживал «повторение чего-то отдаленного, когда-то давно бывшего». «Ко мне возвратился летучий свежий отрывок моего юношеского времени, когда молодая душа ищет дружбы и братства между молодыми своими сверстниками, и дружбы решительно юношеской, полной милых, почти младенческих мелочей и наперерыв оказываемых знаков нежной привязанности; когда сладко смотреть очами в очи и когда весь готов на жертвования, часто даже вовсе ненужные». Это очень личное, сокровенное признание.

С одной стороны, в Гоголе, в пору его молодости, жило непреодолимое стремление к дружескому участию, взаимопониманию, к полной душевной откровенности и единению, простиравшимся до мелочей, до знаков внимания, чуть ли даже не избыточных в своей аффектированности («часто даже вовсе ненужных» — как... у Манилова!). А с другой стороны, Гоголь говорит о быстротечности, мимолетности этих чувств, исчезающих, подобно «жителям невозвратимого мира». Словно какая-то сила гасила порыв, сковывала чувства, и за



откровенностью следовали разочарование, сдержанность и холодность. Источник этой сдерживающей силы находился и вне Гоголя, и в нем самом.

Многие знавшие Гоголя в гимназическую пору набрасывают его портрет двумя красками. Гоголь тих, покорен, любим товарищами. И в то же время он насмешлив, колок, скор на прозвище или шутку. Биограф, собиравший материалы по свежим следам, писал, что «бывшие наставники Гоголя аттестовали его как мальчика скромного и добронравного», но «маленькие злые, ребяческие проказы были в его духе...» (Кулиш, 1854, с. 12). Комнатный надзиратель П. (под этой литерой, по всей видимости, скрывается упоминавшийся выше надзиратель III музея француз Перюн): «Поведения... он был прекрасного; смирнее его не было, хотя товарищи часто жаловались на него: он всех копировал, передразнивал, клеймил прозвищами; но характера был доброго и делал это не из желания обидеть, а так, по страсти» (МВд, 1853, № 71, с. 729). Соученик Гоголя А. С. Данилевский: «В Нежине товарищи его любили, но называли: *таинственный карла*<sup>15</sup>. Он относился к товарищам саркастически, любил посмеяться и давал прозвища» (Шенрок, т. 1, с. 102).

Важно и то, как рисовались позднее самому Гоголю его взаимоотношения с товарищами. Эти взаимоотношения не казались ему гармоническими и безоблачными, скорее, наоборот; но причину он видел в некоторой своей душевной потребности. «Когда я был в школе и был юношей, я был очень самолюбив <...> мне хотелось смертельно знать, что обо мне говорят и думают другие. Мне казалось, что все то, что мне говорили, было не то, что обо мне думали. Я нарочно старался завести ссору с моим товарищем, и тот, натурально, в сердцах высказывал мне все то, что во мне было дурного. Мне этого было только и нужно; я уже бывал совершенно доволен, узнавши все о себе» (XI, 182). Значит, выходки Николая против товарищей, в том числе и юмористические или, как выразился Данилевский, саркастические, преследовали провокационную цель — заставить разговариваться, открыть все, что думаешь... Зачем это было нужно Гоголю?

Признание его сделано в 1838 году, уже после того, как он написал и поставил «Ревизора», уехал из России, приступил к «Мертвым душам». Для работы над поэмой автору нужен соответствующий настрой, «гневное расположение», которое на расстоянии «начинает уже ослабевать, а без гнева — вы знаете — немного можно сказать:

только рассердившись говорится правда» (XI, 182). Гнев необходим ему для того, чтобы обличить «дурное» в России, точно так же, как некогда с помощью гнева других он хотел распознать «дурное» в себе. Гнев служит могучим средством к исправлению и самоисправлению, но этому состоянию предшествует другое — познание и самопознание, и оно также достигается с помощью откровенного, гневного слова. Такой видится картина Гоголю конца 30-х годов, а как обстояло дело в действительности?

Для духовного и умственного развития Гоголя характерны одновременно и чрезвычайная изменчивость, и постоянство (пройдет каких-нибудь два-три года, и автор «Мертвых душ» совсем иначе будет отзываться о роли «гневного расположения», но об этом разговор впереди). Кажется, что с новым этапом Гоголь совсем другой, а между тем предвстие нового слышалось уже раньше. Эту мысль можно выразить и по-другому: кажется, что Гоголь, вступивший в следующую пору своей эволюции, решительно рвет с порою предыдущей, однако между ними отыскивается поразительное сходство. Постоянство достигается общим звеном у той и у другой поры или стадии, а изменчивость — переносом акцента. В этом свете и надо понимать позднейшее признание Гоголя об отношениях его с товарищами.

По смыслу этого признания выходит, что спровоцированные Гоголем «ссоры» строго предопределялись этическими соображениями — потребностью увидеть в себе «дурное», чтобы от него избавиться. Однако мотивы морального исправления и тем более самоисправления еще не звучат у молодого Гоголя в полную силу (хотя они уже не совсем чужды ему). Но правда о себе самом ему все же была крайне нужна. Человеку с самолюбием свойственно испытывать острый интерес к тому, как воспринимает его чужое сознание. Гоголь же был не просто самолюбив, а «очень самолюбив»; в истинных суждениях товарищей он нуждался для самоутверждения и гармонического внутреннего состояния, хотя риск состоял в том, что узнанное грозило привести к еще большей дисгармонии...

Значительно позже, в середине 40-х годов, когда подход Гоголя к себе стал еще строже, чем в 1838 году, он находил, что «в обхождении» его «с людьми всегда было много неприятно-отталкивающего». «Отчасти это происходило оттого, что я избегал встреч и знакомств, чувствуя, что не могу еще произнести умного и нужного слова человеку (пустых же и ненужных слов произносить мне не хотелось), и будучи в то же время убежден, что по причине бесчисленного

множества моих недостатков мне было необходимо хотя немного воспитать самого себя в некотором отдалении от людей. Отчасти же это происходило и от мелочного самолюбия, свойственного только таким из нас, которые из грязи пробрались в люди и считают себя в праве глядеть спесиво на других» (VIII, 217).

В этом признании снова скрестились настроения различных эпох. Последовательная установка на самовоспитание, да еще чуть ли не в отшельничестве, в «отдалении от людей», — это, конечно, поздний Гоголь. Но «самолюбие» (которое теперь ему кажется «мелочным»), потаенное желание отличиться, сказать какое-то необыкновенное, «умное» слово — не свойственно ли это было уже Гоголю-мальчику, Гоголю-подростку? Он уже предчувствовал свою силу, хотя бы потому, что прекрасно разбирался в скрытых мотивах поступков окружающих («драгоценный дар слышать душу человека мне уже был издавна дарован Богом» — XIII, 169), но он вовсе не был уверен, признают ли его силу товарищи и сверстники. Скорее всего, не признают: ни во внешности, ни в походке, ни в манере поведения его не было ничего такого, что бы обнаруживало великого человека. А между тем это непризнание, сама даже мысль о возможности непризнания причиняли Гоголю мучительные страдания.

Из всех гимназистов Гоголь больше всего сблизился с Николаем Прокоповичем и Александром Данилевским. Обоих можно считать друзьями Гоголя, причем эта дружба, несмотря на некоторые размолвки и осложнения, сохранилась на всю жизнь.

Александр Семенович Данилевский (1809—1888) — земляк и одноклассник Гоголя; он родился 28 августа 1809 года в своем имении Семереньки, находившемся в 30 верстах от Васильевки. Быть может, потому, что пути обоих переплелись очень рано, Гоголь называл Данилевского своим «двоюродным братом», «кузеном», хотя кровного родства между ними, кажется, не было. По словам Александра Семеновича, родители обоих «вместе воспитывались в Киевской духовной академии», хотя это едва ли верно, так как о пребывании Василия Афанасьевича в этом учебном заведении ничего не известно. Но во всяком случае, оба соседа-помещика дружили домами, а однажды, «около Рождества», Данилевский-старший взял с собой в Васильевку семилетнего сына. «Тут я увидел в первый раз маленького Никошу, — вспоминал Александр Семенович. — Он был нездоров и лежал в постели. Мы играли с его младшим братом Иваном. Пробыли мы несколько дней» (Шенрок, т. 1, с. 99).

Потом в 1818 году Данилевский поступил в Полтавскую гимназию. Николай в этот же год вместе с Иваном был принят в поветовое училище; но позднее, будучи учеником Гаврилы Сорочинского, он, видимо, бывал и в стенах гимназии. «Тут после нескольких разговоров мы вспомнили друг друга», — рассказывает Данилевский.

В третий раз судьба свела обоих мальчиков уже в Нежине. Данилевский поступил в Гимназию высших наук в 1822 году, Гоголь — годом раньше, но вследствие принятой здесь системы распределения учеников, о которой говорилось выше, оба вскоре оказались в одном классе и так до конца обучения вместе и шли, исключая то время (с последних месяцев 1826 по декабрь 1827 г.), когда Данилевский уезжал из Нежина в Москву. «С тех пор мы были неразлучны», — говорил Данилевский. Сестра Гоголя Анна Васильевна подтверждает: «Особенно же был дружен [Николай] с детства с А. С. Данилевским» (Воспоминания, с. 462).

Данилевский рано лишился отца, еще до поступления в Гимназию, и его мать Татьяна Ивановна вторично вышла замуж за помещика Василия Ивановича Черныша. Черныш был коротким знакомым гоголевского семейства, а его имение Толстое находилось всего в 6 верстах от Васильевки. Поэтому на вакации отправлялись обычно в одной коляске — Гоголь, Данилевский и еще один гимназист — Петр Баранов.

А однажды прихватили с собой Щербака, тоже знакомого гоголевской семьи. Эта поездка запомнилась Данилевскому. «Дорога была продолжительной; мы ехали на своих и на третий день прибыли. Дорогой дурачились, и Гоголь выкидывал колена. Щербак был грузный мужчина с большим подбородком. Когда он, бывало, заснет, Гоголь намажет ему подбородок халвой, и мухи облепят его...» (Шенрок, т. 1, с. 101).

Достался Щербаку и «гусар», а каково действие «гусара», то есть бумажного кулечка, наполненного табаком, помнит каждый, читавший «Мертвые души»: «Протянувши впросонках весь табак к себе со всем усердием спящего, он пробуждается, вскакивает, глядит как дурак, выпучив глаза во все стороны, и не может понять, где он, что он, что с ним было, и потом уже различает озаренные косвенным лучом солнца стены, смех товарищей, скрывшихся по углам...»

Возвращаясь же к Данилевскому, надо еще сказать, что с Гоголем его сближал общий интерес к литературе и театру. Этот интерес отличал и Прокоповича, другого гимназического товарища Николая.

Николай Яковлевич Прокопович (1810—1857) был на полтора года моложе Гоголя; он родился 27 ноября 1810 года в Оренбурге, где его отец занимал место управляющего пограничной таможенной. По выходе отца в отставку в чине коллежского советника вся семья переехала в Нежин, и Николай вместе с братом Василием поступил в Гимназию высших наук. Произошло это 23 января 1821 года (Сборник, с. 317), несколькими месяцами раньше, чем в Гимназии появился Гоголь, но затем Николай Прокопович шел классом младше и закончил курс обучения годом позже.

Прокопович отличался румяным цветом лица, за что получил в Гимназии прозвище Красненькой. Гоголь охотно повторял это прозвище и, скорее всего, был его автором, но это не помешало сближению обоих воспитанников. П. Кулиш, явно со слов Прокоповича, писал, что тот «был неразлучным спутником Гоголя от самого вступления его в Гимназию» (Кулиш, 1852, с. 200). Это подтверждает и другой гимназист — Т. Г. Пашенко: «Гоголь и Прокопович — задушевные между собою приятели».

О дружбе с Прокоповичем свидетельствует и тот факт, что Гоголь прочитал ему наизусть стихотворную балладу «Две рыбки», в которой аллегорически изобразил свою судьбу и судьбу рано умершего брата Ивана. Стихотворение показалось Прокоповичу «очень трогательным» (Кулиш, 1854, с. 16).

Сравнивая отношение Гоголя к обоим друзьям, В. Шенрок говорил, что Прокопович лишь исполнял «преимущественно его поручения» и пользовался «до известной степени его расположением», а Данилевский был для Гоголя «истинно глубокой и нежной с раннего детства привязанностью» (Шенрок, т. 1, с. 302). Противоположность эта относительная: Гоголь до конца не был близок ни с тем, ни с другим и всегда от обоих что-то утаивал; но в то время он стремился к душевному общению с ними, и в словах его, обращенных к Прокоповичу, порою тоже звучали проникновенные, теплые ноты, как, например, в более позднем письме из Рима (от 2 июля 1838 г.): «Не совестно ли тебе, мой милый, не писать ко мне, позабыть меня! Не совестно ли тебе лениться! А я о тебе думаю часто, всегда. И ни роскошь этих стран, где я живу теперь, ни юг, ни чудные небеса, ничто не в силах помешать мне думать о тебе, с кем начался союз наш под аллеями лип нежинского сада во втором музее<sup>16</sup>, на маленькой сцене нашего домашнего театра...»

Дружбе Гоголя с Данилевским и Прокоповичем способствовали некоторые особенности того и другого. Оба были не чужды умственных, литературных и театральных интересов, но резко из гимназической массы не выделялись; к блестящим фигурам их не отнесешь. Оба учились довольно средне, примерно так же, как и Гоголь. Оба были покладисты, легки в общении; Данилевский располагал к себе природным юмором («человеком веселых нравов» называет его П. В. Анненков), — а в Прокоповиче некоторая угрюмость смягчалась робостью и постоянной неуверенностью в себе.

Будь оба они покрупнее и поновистее характером, дружба их с Гоголем едва ли сложилась бы.

В отношениях с другими своими сверстниками Гоголь был более скрытен, но в то же время ровен, благожелателен и — насмешлив.

Любил разыгрывать, имена заменял прозвищами. А Михаила Риттера, бывшего классом младше, наделил веером прозвищ: Барончик, Доримончик, фон-Фонтик-Купидончик, Мишель Дюсенька, Хопцики... Возможно, большинство этих прозваний, если не все, Гоголь сам и придумал.

Истоки гоголевского комизма коренятся в глубоких сферах его души, опосредованы потаенными переживаниями. Была тут и игра свежего ума, наслаждающегося силой своей пронизательности, властью над окружающими. Был и вызов, нарочитый эпатаж, граничащий с шутовством и юродством. «Забывая часто, что он человек, Гоголь, бывало, то кричит козлом, ходя у себя в комнате, то поет петухом среди ночи, то хрюкает свиньей, забравшись куда-нибудь в темный угол. И когда его спрашивали об этом, почему он подражает крикам животных, то он отвечал, что «я предпочитаю быть один в обществе свиней, чем среди людей»». (ИВ, 1902, № 2, с. 255). Было здесь, следовательно, и проявление совсем других чувств — не юмора и не веселости; было превратное, скрытое, сублимированное выражение этих чувств.

Гоголь впоследствии (в «Авторской исповеди») говорил о «некоторой душевной потребности», обнаружившейся у него еще в ранние годы: «На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать».

Склонность «размыкать хандру» весельем, рассеивать тоску веселой выдумкой принадлежит к общечеловеческим свойствам; здесь же

и источник обыкновенных бытовых проделок и розыгрышей, рождающих ощущение выхода из-под вседневного гнета условий и обстоятельств. Связанные материально и физически, мы получаем свободу в призрачном мире мечты и фантазии. В подобных психологических переходах и перепадах нет ничего необычного, но у Гоголя все это усугублялось «болезненным состоянием». Его рано пробудившаяся «тайная печаль», характеризуемая также навязчивым гоголевским словечком «ныть» («ныла душа моя...»), властно требовала разрядки и компенсации.

Пародируя, высмеивая, давая прозвища, Николай приобретал идеальную власть над людьми и обстоятельствами. Как-то после очередной поездки домой он передавал свои впечатления: «...и глубокомысленный Дорогой, и остроумная Пупура, и, наконец, всезнающая Чцющюшка — все так спестрилось в моем воображении, что я не знаю, к чему вперед обратиться: или к тому, что Дорогой поймал утку, или что княжна перерядилась в баронессу» (X, 107). «Спестрились» и перемешались явления самые разные: Дорогой и Пупура — это клички собак, а Чцющюшка — прозвище (возможно, изобретенное именно Гоголем) соседки Ксении Федоровны Тимченко; поимка утки равнозначна свадьбе внучки Д. П. Трошинского княжны Прасковьи Хилковой и барона С. К. Остен-Сакена («...княжна перерядилась в баронессу»). Из реальных деталей Гоголь творит новый, «смешной» мир, в котором он полный хозяин.

Однако у проблемы «молодой Гоголь и смех» есть еще одна сторона. Говорят обычно о том, что Гоголь высмеивал других, и забывают, что высмеивали и его самого. И прозвища ему давали — и не только романтически-неопределенное — «таинственный Карла». В. И. Любич-Романович, описавший в комических красках первое появление Никоши в Гимназии, утверждает, что его называли «пигалицей», а также еще «мертвой мыслью» по той причине, что «он часто... не договаривал того, что хотел сказать, если вступал с кем в разговор, опасаясь, что ему не поверят и что его истина, изреченная устами правды, останется непринятой» (о фактах уклонения от разговора, как мы знаем, упоминал и сам Гоголь, объясняя это опасением, что он не сможет «еще произнести умного и нужного слова», а «ненужных слов» произносить «не хотелось»).

По словам Любича-Романовича, высмеивалось неряшество Гоголя («...ему постоянно ставилась на вид его бесприческа»), что подтверждается отзывом надзирателя, снизившего Николаю оценку

по поведению «за неопрятность». Высмеивались и погрешности гоголевской речи, которые вместе с тем всегда были связаны с ее колоритностью и оригинальностью («...такое, бывало, словечко скажет, что над ним весь класс в голос рассмеется...»); высмеивались «физическая неприглядность» и «хуторное происхождение». Любич-Романович причислял себя к аристократической партии в Гимназии, хотя его отец Игнатий Антонович был всего лишь ротмистром (чин в кавалерии, соответствующий капитану), а Гоголя относил к плебейам, «однодворцам».

Мемуарист даже приходит к выводу, что «жизнь Николая Васильевича в школе была в сущности адом для него» (ИВ, 1902, № 2, с. 550).

Свидетельства Любича-Романовича не пользуются особым авторитетом в науке, поскольку они записаны другим лицом (С. И. Глебовым), и отношение мемуариста к Гоголю отличает «чувство недружелюбия». Но именно последнее обстоятельство делает их в своем роде интересными; ведь если не настроения всех, то, по крайней мере, нескольких лиц или, на худой конец, одного Любича-Романовича этот документ передает. Но более естественно думать, что Любич-Романович в своем снисходительно-презрительном отношении к Гоголю был не одинок. А. С. Данилевский тоже подметил, что над Николаем подтрунивали и его высмеивали.

Все это делает понятными слова Гоголя, сказанные матери перед окончанием Гимназии: «Я больше поиспытал горя и нужд, нежели вы думаете. Я нарочно старался у вас всегда, когда бывал дома, показывать рассеянность, своенравие и проч., чтобы вы думали, что я мало обтерся, что мало был прижимаем злом. Но вряд ли кто вынес столько неблагодарностей, несправедливостей глупых, смешных притязаний, холодного презрения и проч.» (X, 123).

Применительно к смеху это означает, что Гоголь рано ощутил его двойную, обоюдостороннюю природу. Смех как выражение превосходства и презрения. И смех как преследование, отвержение, исключение из общности тебя самого. Смех как моральная победа. И смех как унижение и поражение. Смех в этическом смысле позитивный (если осмеивается низкое) или, в крайнем случае, нейтральный. И смех проблематичный по своей этической направленности, а то и заведомо несправедливый.

У двузначности смеха была еще та особенность, что обе его стороны не имели четкой разграничительной линии, и самоутвер-



ждение нечувствительно переходило в агрессию, а позитивная моральная направленность — в проблематичную или определенно негативную.

Весь этот клубок противоречивых ощущений едва ли осознавался молодым Гоголем во всей своей глубине и значительности; но он уже был почувствован и замечен им. Заронилось зерно последующей духовной эволюции писателя и мучительных размышлений его о природе смеха и миссии комического автора...

Жизнь Гоголя в Гимназии, отношение к нему сверстников во многом определялись его невольным соперничеством с Кукольников. Товарищи иногда их сравнивали — и не в пользу Гоголя.

Н. Ю. Артынов, учившийся одно время в Гимназии, рассказывал о том, как Гоголь выполнял обязанности общественного библиотекаря. «Наделает, бывало, из бумаги пропасть сверточков, в виде наперстков, и предлагает студентам надевать на пальцы эти наконечники, для того чтобы при чтении и перелистывании книг не засаливать их пальцами». Гимназисты отнеслись к совету Гоголя иронически, увидев в этом еще один повод для насмешек: «Смеются, бывало, да и только... Таков был этот Гоголь...» И тут мемуарист противопоставляет ему Кукольника: «Вот Кукольник — совсем иная статья. Пред Кукольников все мы благоговели» (РА, 1877, кн. 3, с. 192). Нестор Васильевич Кукольник (1809—1868) родился 8 сентября 1809 года в Петербурге, где отец его занимал должность профессора в Педагогическом институте. Получив место первого директора нежинской Гимназии высших наук, Кукольник-старший решил поместить сына во вверенное ему учебное заведение. Нестор был зачислен в качестве сверхкомплектного воспитанника в то же второе отделение, в котором находился Гоголь. После смерти отца Нестор вместе с семьей покинул Нежин и возвратился в Гимназию, как мы помним, по настоянию Орлая, спустя два года, в результате чего он отстал от Гоголя на один класс. Однако по своей подготовке, знаниям Кукольник намного опередил и Гоголя, и многих других сверстников.

Еще до приезда в Нежин мальчик выучил латинский язык, умел на нем свободно изъясняться и, совершив шалость, чтобы поскорее смягчить сердце отца, составлял извинения по-латыни. В Гимназии, по словам Артынова, «он брал из основной библиотеки книги для чтения на языках: французском, немецком, итальянском, что было для нас в настоящую диковинку». Эти успехи особенно Гоголя вы-

ставляли в невыгодном свете, так как вскоре обнаружилась его неспособность к языкам.

Учился Кукольник легко, на вступительных экзаменах из 40 возможных шаров получил 34 (напомню, что у Гоголя было 22); впоследствии по причине нерадения, которое не раз отмечали преподаватели, имел разные оценки, но общий балл всегда у него был выше, чем у Гоголя. Кончил же Гимназию Кукольник блестяще — на выпускном экзамене по всем предметам получил высшую оценку — 4.

Уже в детстве, под влиянием отца, Нестор мечтал посвятить себя ученой деятельности: «Я еще мальчишкой прочил себя в профессору, мечтал только о профессуре, всякую службу, кроме ученой, презирал как занятие, недостойное человека — и хотя с немцами познакомился несколько позже, но уже в 1824 году был по инстинкту немцем и нередко выманивал у Ивана Семеновича [Орлая] различные сведения, относившиеся до ученого и учебного быта в Германии» (Лицей, 1881, с. 190—191). Но вместе с тем с молодых лет Кукольник сочинял стихи, и мечты о будущем поэтическом поприще ему тоже не были чужды.

Кукольник отличался неровным, впечатлительным характером. Психическая неуравновешенность отца усугублялась в мальчике некоторыми обстоятельствами его детства. Из семерых детей мать склонна была уделять наименьшее внимание именно Нестору. «Отец, заметив нелюбовь ко мне матери, старался вознаградить меня своею нежностью» (Кукольник, 1891, с. 90). Поэтому с потерей отца у мальчика обострилось ощущение сиротства, находившее порою выход в бурных шалостях и проказах. «Немецкое» начало, о котором упоминает Кукольник, не подчиняло себе все его поведение, определявшееся порою его страстным, почти южным темпераментом. «...Было соберет около себя толпу, — вспоминал Гоголь, — и толкует или о Моцарте и интеграле, или движет эту толпу за собою испанскими звуками гитары» (X, 261).

Гоголь называл Кукольника (возможно, он и изобрел это прозвище) Возвышенным — из-за его приверженности к эффектам.

Их отношения ни в Гимназии, ни позднее (о чем разговор впереди) вовсе не окрашивались в резкие, враждебные тона, как это иногда утверждают; они никогда не ссорились, по крайней мере, — не ссорились крупно. Более характерной нотой, определявшей эти отношения, была скрытая борьба за признание, так сказать, амбици-

озность, и то, вероятно, лишь с одной стороны, потому что Кукольник в эту пору едва ли видел в Гоголе серьезного соперника.

Но Гоголь с его пронизательностью уже подозревал в возвышенности своего сверстника что-то натужно-аффектированное; всеобщий же успех и признание Кукольника у окружающих подстегивали Николая к разным дерзким выходкам. Товарищи расценивали эти выходы как неуместно-дерзкие.

Н. Ю. Артынов, говоря о том, что Кукольник «стоял выше всех нас целою головою», добавлял: «И представьте себе, один Гоголь, эта, можно сказать, пешка, не хотел признавать достоинства Кукольника и называл его просто шарлатаном. Удивительно да и только! Из-за этого я как-то чуть не поссорился с ним, Гоголем. Начал он это мне, знаете, говорить против Кукольника разную чепуху, так я ему в ответ: ах, ты, говорю, ничтожность этакая! Что ты значишь против Кукольника! Ну и таки порядочно его сконфузил, хоть, конечно, это сказано было мною по-товарищески» (РА, 1877, кн. 3, с. 192).

Чувствуя себя в кругу гимназических товарищей неуютно, а порою стесненно, Гоголь порывался выйти за его пределы. Он заводил знакомства среди простых людей, охотно бывал в Магерках (или Мегерках), демократическом пригороде Нежина. «Гоголь имел там много знакомых между крестьянами. Когда у кого из них бывала свадьба или другое что, или когда просто выгадывался погодливый праздничный день, то Гоголь уж непременно был там» (РА, 1877, кн. 3, с. 191). Эти слова находят подтверждение и у Любича-Романовича: «Он искал сближения лишь с людьми, себе равными, например, со своим «дядькою» [Симоном], прислугою вообще и с базарными торговцами на рынке Нежина — в особенности. Это сближение его с людьми простыми, не претендующими на изящество манер, изысканность речи и на выбор предмета беседы, очевидно, давало ему своего рода наслаждение в жизни, удовлетворяло его эстетические потребности и вызывало в нем поэтическое настроение» (ИВ, 1902, № 2, с. 551).

«Эстетическую потребность» Гоголя здесь надо понимать в весьма широком смысле, обнимающем все его мироощущение и поведение, включая и житейскую, бытовую сферу. Своими предосудительными знакомствами и встречами он опрокидывал принятую иерархию, нарушал этикет; но подобной же цели служили иные его отклоняющиеся от нормы поступки и привычки. Гоголь любил вносить беспорядок в порядок, разнорядной в стройность. Выше уже говорилось о любви его

к садоводству в английском вкусе, когда деревья посажены «не по ранжиру», но произвольно и бессистемно. Но, оказывается, такое же стремление обнаруживал Гоголь и в устройстве интерьера: «В обиходе своем он не любил симметрии, расставлял в комнате мебель не так, как у всех, например, по стенам, у столов, а в углах и посредине комнаты; столы же ставил у печки и у кровати, точно в лазарете или в больнице». Подобное же пристрастие в... манере передвигаться по улицам! «Ходил он по улице или по аллее сада обыкновенно левой стороной, постоянно сталкиваясь с прохожими. Это давало случай обращать на него внимание всех посторонних и посылать ему вслед «невежа». Но Гоголь обыкновенно этого не слышал...» (ИВ, 1902, № 2, с. 556).

Нарушение порядка, симметрии, этикета, иерархии отвечало какой-то глубокой потребности гоголевской души.

### **«Я СОВЕРШУ СВОЙ ПУТЬ В СЕМ МИРЕ...»**

В марте 1825 года, когда Николай учился в VI классе, его постиг страшный удар — умер отец<sup>17</sup>.

После смерти Вани это была вторая тяжелая утрата в семье.

Двумя годами раньше умер друг гоголевского семейства, сосед В. В. Капнист. Родители тогда ничего не написали об этом в Нежин, и Никоша узнал о случившемся окольным путем. «Как будто бы еще о сю пору я ребенок и еще не в совершенных летах и будто бы на меня ничего нельзя положить» (X, 45).

Теперь ему действительно предстояло доказать, что на него можно положиться.

Марья Ивановна мучительно пережила смерть мужа. Впоследствии она рассказывала: «Муж мой болел в продолжение четырех лет, и когда пошла кровь горлом, он поехал в Кибинцы, чтобы посоветоваться с доктором. Я была тогда на последнем месяце беременности и не могла ехать с ним. Ему очень не хотелось уезжать и, прощаясь, он сказал, что, может быть, без меня придется умереть, но потом сам испугался и прибавил: «Может, долго там пробуду, но постараюсь скорее вернуться»» (Шенрок, т. 1, с. 54).

По дороге в Кибинцы Василий Афанасьевич почувствовал себя плохо и решил временно устроиться в Лубнах, чтобы избежать многолюдства и суеты, царящих в доме Трощинского. Но потом все же отправился в Кибинцы.

Марья Ивановна: «Я получала от него часто письма; он все беспокоился обо мне. Я не знала, что жизнь его в опасности и далека была от мысли потерять его».

19 марта Марья Ивановна родила дочку, которую назвали Ольгой, и едва стала ходить по комнате, как ей сообщили страшное известие.

«...По рассказу, она была убита горем, ничего не хотела есть и довела себя до того, что ее насильно заливали бульоном, и не могла раскрыть рта — стиснуты зубы — и ей чем-то разжимали зубы и вливали бульон» (Головня, с. 4).

Увидев мертвого мужа, Марья Ивановна впала в беспамятство. «Мне после говорили, — рассказывает она, — что я < ... > начала громко говорить к нему и отвечать за него. Я просила и для меня оставить место в склепе. < ... > Когда я вышла в первый раз в сад, мне так странно казалось, что все на том же месте, ничто не изменилось: мне казалось, что все должно было погибнуть. Я молила Бога оставить мне остальных детей и единственного сына, которого любила больше всей жизни...» (Шенрок, т. 1, с. 56—57).

Причина смерти Василия Афанасьевича недостаточно прояснена. По рассказу Марьи Ивановны, у него шла кровь горлом, наблюдалось «стеснение в груди и геморроидные страдания». Но впоследствии Гоголь говорил, что отец его умер, «угаснувши недостатком собственных сил своих, а не нападением какой-нибудь болезни» (XII, 493); отца погубило то, что на него «нашел страх смерти» (Кулиш, 1854, с. 192). Очевидно, без психического фактора здесь не обошлось. Николай Васильевич вспоминал все это, чтобы объяснить свое собственное состояние в пору кризиса, в середине 40-х годов, и в 1852 году, незадолго до смерти. И действительно, как будет ясно из дальнейшего, сходные явления налицо; сын унаследовал не только крайнюю мнительность своих родителей, но и некоторые более частные психические предрасположения отцовского характера...

О смерти отца Никоша узнал в Нежине, вскоре после Пасхи; возможно, это известие привез ему Петр Баранов, ездивший на праздники домой. 23 апреля Гоголь писал в Васильевку: «Не беспокойтесь, дражайшая маминька! Я сей удар перенес с твердостью истинного христианина. Правда, я сперва был поражен сим известием, однако ж не дал никому заметить, что я был опечален. Оставшись же наедине, я предался всей силе безумного отчаяния. Хотел даже посягнуть на жизнь свою. Но Бог удержал меня от сего — и к вечеру приметил я в себе только печаль, но уже не порывную, которая наконец превра-

тилась в легкую, едва приметную меланхолию, смешанную с чувством благоговения ко Всевышнему».

Замечательная особенность этого письма — его явная «педагогическая» направленность. Гоголь знает о глубоком отчаянии матери и поэтому говорит о том, как он *преодоле*л такое же состояние, как устоял даже перед искусом самоубийства, как он *ищет* и *находит* нечто такое, что возвратит ему волю к жизни. «...Меня беспокоит больше всего ваша горесты! Сделайте милость, уменьшите ее, сколько возможно, так, как я уменьшил свою». «Уменьшить» горе может только мысль об оставшихся родных: «...разве не осталось ничего, что б меня привязало к жизни? Разве я не имею еще чувствительной, нежной, добродетельной матери...»

И в следующем письме, написанном на другой день, Николай уверяет мать, что он «спокоен», что его «спокойствие» зависит от ее настроения, и просит пожалеть себя ради «несчастных сирот» — сестер Марьи, Анны, Лизы и новорожденной Оли.

В переживаниях Гоголя, вызванных смертью отца, впервые появился практицизм его религиозности, который позднее обернулся попыткой тесного «связывания творчества и жизни с церковью» (Зеньковский, с. 210). Утоление «своей горести» Гоголь ищет в «священной вере»; «отчаяние» вытесняется «печалью», а «печаль» — «меланхолией», смешанной с «чувством благоговения ко Всевышнему». Но все это оказывается возможным потому, что он не собирается ограничиваться одними переживаниями и намерен и в жизни поступать как «истинный христианин», внося добродетель в свои поступки и практические дела.

Николай, единственный мужчина в семье, чувствует теперь, что он ее опора. Проявляет интерес к различным хозяйственным делам, спрашивает мать, «продолжается ли <...> постройка дома? работают ли в саду? курится ли винокурня?». Дает советы: «...когда окончится полевая работа, то не худо бы приняться отыскивать глины, годной для черепиц. Я не знаю, что может быть полезнее, как завести этакой завод». Заверяет: «Я теперь сделался большим хозяином, умею различать хлеба и на каникулах покажу вам, где сено, овес, жито и прочее, и могу даже целый час спорить с житными панами о посеве озимой гречихи» (X, 66, 70).

Обдумывая свои различные обязанности, Николай вспоминает отца — «моего друга, благодетеля, утешителя... не знаю, как назвать этого небесного ангела, это чистое, высокое существо, которое оду-

шевляет меня в моем трудном пути, живит, дает дар чувствовать самого себя и часто в минуты горя небесным пламенем входит в меня...» (X, с. 90). Один из гоголевских биографов видит в этих словах лишь «риторическое отступление, из которого ровно ничего нельзя выяснить об отношениях сына к отцу» (Щеголев, с. 665—666). Однако Гоголю было свойственно облекать в риторические одежды глубоко пережитые им чувства; в данном же случае он высказывает очень дорогую ему мысль, что именно образ ушедшего родного человека побуждает его к практическим деяниям. «В сие время сладостно мне быть с ним, я заглядываю в него, т. е. в себя, как в сердце друга».

К этому надо добавить, что в одном отношении Николай чувствовал потерю отца невозполнимой — в отношении своих творческих занятий. Юноша сочинял стихи, рисовал картины, рассчитывая прежде всего на одобрение Василия Афанасьевича: в семье больше не было человека, который мог по достоинству оценить его успехи. «Я папинеке хотел было прислать несколько своих сочинений. Также своего рисования картинок. Но... ему не угодно было их видеть». В отношении же матери у Никоши на этот счет есть сомнения: «Я не знаю, прислать ли мне вам их и примете ли вы милостиво первые плоды ваших родительских обо мне попечений» (X, 55).

Возвращаясь к практицизму гоголевской религиозности, следует заметить, что он распространялся не только на семью, родных, но и на окружающих людей. Подмечен глубокий интерес Гоголя-гимназиста к бедным и обездоленным. «Так, например, — вспоминает Любич-Романович, — он никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему что мог. <...> Однажды ему даже случилось остаться в долгу у одной нищенки, которой ему нечего было подать в то время, когда он проходил мимо нее, и на ее слова «подайте Христа ради» ответил: «сочтите за мной»... И в следующий раз, когда та обратилась к нему с той же просьбой, как прежде, он подал ей вдвойне, добавив при этом: «тут и долг мой»...» (ИВ, 1902, № 2, с. 556).

Свидетельство мемуариста подтверждается письмом Марьи Ивановны к А. А. Трощинскому от 23 ноября 1830 года: «...человек, который был при нем в Нежине (род дядьки) (речь идет о Симоне. — Ю. М.), говорил мне <...> что когда я дам ему денег по праздникам на конфеты, до которых он большой охотник, то когда не успеет еще купить и встретится ему бедный, то так и старается, как бы увильнуть от меня и отдать ему свои деньги...» (РС, 1882, т. 34, с. 676).

«Вообще, Гоголь относился к бедности с большим вниманием, — говорит Любич-Романович, — и, когда встречался с нею, переживал тяжелые минуты». Если верить мемуаристу, Гоголь даже обдумывал план, как «извести нищету». «...Всем бы построил дома, дал бы им земли и заставил бы работать для себя... А то ведь им головы преклонить некуда, потому они и побираются. При доме же и земле они этого не захотели бы для себя...»

В то же время к обрядовой стороне религиозности Гоголь относился равнодушно, чтобы не сказать неприязненно. Мы знаем, что так повелось у него с самого раннего детства, с посещений храмов в Васильевке или Сорочинцах. «...Я ходил в церковь потому, что мне приказывали или носили меня; но, стоя в ней, я ничего не видел, кроме риз, попа и противного рвения дьячков. Я крестился потому, что видел, что все крестятся» (X, 282). В Гимназии продолжилось такое же формальное выполнение Гоголем обряда. «В церкви, например, Гоголь никогда не крестился перед образами святых отцов наших и не клал перед алтарем поклонов наравне с другими молящимися.... Дьячков он осуждал за гнусавость пения, невнятность чтения псалтыря и за скороговорку великопостной службы...»

В душе юноши жило и развивалось глубоко внутреннее, свое переживание религиозности, пробужденное тоже в детстве памятным рассказом матери о страшном суде, о награде праведникам и вечных муках грешников. Поэтому он «святые молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную литургию или литию...».

Особенно примечательны проявления гоголевского протеста против иерархии. Не одобряя «степеней градаций в церкви», он обычно толкал мужика, чтобы тот шел вперед, говоря: «Тебе Бог нужнее, чем другим, иди к нему ближе». «Это иногда вызывало нареkanie на него со стороны именитых граждан Нежина, но он не обращал на то никакого внимания и всегда оставлял протестантов без ответа... Не находя ничего лучшим для себя, как сделать что-нибудь для мужика полезное, он нередко обращался к нему в церкви с вопросом: «Есть ли у тебя деньги на свечку?» — и, получив отрицательный ответ, сейчас же вынимал из кармана какую-нибудь монету и отдавал ее мужику, говоря: «На, поди, поставь свечку, кому ты желаешь, да сам поставь, это лучше, чем кто другой за тебя поставит»... И мужик шел ставить свечку тому образу, которому он молился... Это постоянно вызывало толкотню в церкви, на что иные сетовали, предлагая пере-



давать свечи через руки других лиц, стоящих впереди подателя... Но Гоголь был счастлив... Он торжествовал, что его цель была достигнута и мужик подошел к алтарю, опередив все мундиры, стоящие перед амвоном... Ему только этого и нужно было; он только того и хотел, чтобы мужик потерялся своим зипуном о блестящие мундиры и попачкал бы их своей пылью...» (ИВ, 1902, № 2, с. 554—555).

Как тесно переплелось в подобных поступках самое разное — и внутренняя религиозность, и практицизм этой религиозности с его филантропическим уклоном, и демократическая неприязнь к иерархии и обряду, доходящая до озорства и эпатажа!

Вместе с тем в этом озорстве, учиняемом под сводами храма, проявлялось нечто родственное той душевной потребности, которая толкала Гоголя к веселым проделкам и мистификациям, заставляла его вносить асимметрию в интерьер комнаты или в разбивку сада. словно сам демон беспорядка таился на дне гоголевского мироощущения, заявляя о себе время от времени «толчками» и требуя выхода и внимания...

За несколько месяцев, прошедших со дня смерти отца, Гоголь повзрослел; он почувствовал, что его кругозор расширился, «понятия» «сделались гораздо пронизательнее, дальновиднее».

Пробудившаяся в нем с детских лет мысль о своем общественном служении окрепла, и в июне 1825 года он уже торжественно заявляет матери: «Что касается до меня, то я совершу свой путь в сем мире, и ежели не так, как предназначено всякому человеку, по крайней мере буду стараться сколько возможно быть таковым». По смыслу этой фразы ясно, что Гоголь предназначает себе не обычный путь «всякого человека». Мысль об общественном служении уже неотъемлема от ощущения избранности.

Но какое же конкретное содержание вкладывал Гоголь в эту мысль?

Позднее, перед окончанием Гимназии, 3 октября 1827 года, он доверительно сообщал своему двоюродному дяде Петру Косяровскому, что решил посвятить себя государственной службе. И прибавлял: «...Вы не почтете ничтожным мечтателем того, который около трех лет неуклонно держится одной цели...» «Около трех лет» — это примерно с весны или лета 1825 года, с рубежа, которым Николай пометил свое духовное возмужание. Есть все основания считать, что именно в это время возникла у него та мечта, та гражданская идея, которой он потом поделился в упомянутом письме к Косяровскому:

«Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции. — Я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодеем, что здесь только буду истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утратить, не сделав блага» (X, 111—112). Гражданская идея Гоголя неразрывно слилась с религиозной: в борьбе с «неправосудием», общественной коррупцией, в восстановлении законов видел он выполнение своих обязанностей «истинного христианина». Пусть не так четко оформилась эта мысль, как ее выразил Гоголь в приведенных словах, но она уже заронилась, овладела его сознанием.

К этому времени относится сближение Гоголя еще с одним гимназистом — Высоцким. Этот человек не стал спутником жизни писателя, как Данилевский или Прокопович, связи его с Гоголем по выходе последнего из Гимназии вообще оборвались. И тем не менее он сыграл заметную роль как раз в пору становления гоголевского самосознания. Было в этой личности для Николая что-то очень привлекательное и родственное.

Герасим Иванович Высоцкий был на пять лет старше Гоголя — он родился 17 декабря 1804 года (Супрунук, с. 156). Отец его — Иван Герасимович — военный, поручик (Сборник, с. 317). С 1 августа 1817 по 30 июня 1819 года Герасим обучался в Полтавском уездном училище (Федотов, с. 59—60), где в это время (в 1818—1819 гг.) находились Николай с Иваном; но в отличие от обоих братьев Высоцкий аттестовался весьма высоко и окончил училище, как гласил официальный документ, «с превосходными успехами — при хорошем поведении» (Заболотский, с. 22—23; Иофанов, с. 121).

Следовательно, Гоголь и Высоцкий могли познакомиться еще в самом раннем детстве, в Полтаве; однако неизвестно, сблизились ли они в ту пору. Едва ли, принимая во внимание столь большую возрастную разницу.

Затем пути привели их в нежинскую Гимназию высших наук, куда они поступили в один год (Высоцкий, правда, несколькими месяцами раньше, 29 января 1821 г.) и оказались в одном отделении — втором. Но Высоцкий гораздо успешнее выдержал вступительные экзамены — он получил 34 шара из 40 — и был переведен в третье отделение (Лавровский, с. 138). Это позволило ему затем двумя

классами опередить Гоголя. Но классы не были отделены непреодолимой перегородкой, что создавало почву для общения.

Биограф Гоголя, встречавшийся с его бывшими соучениками, собиравший материал по свежим следам, пишет: «Сходство вкусов сблизило их (Николая и Герасима. — Ю. М.), ибо тот и другой отличались мечтательностью и комизмом. Все юмористические прозвища, под которыми Гоголь упоминает в своих письмах о товарищах, принадлежат г. Высоцкому. Он имел сильное влияние на первоначальный характер гоголевских сочинений. Товарищи их обоих, перечитывая «Вечера на хуторе» и «Миргород», на каждом шагу встречают слова, выражения и анекдоты, которыми г. Высоцкий смешил их еще в Гимназии» (Кулиш, 1856, т. 1, с. 42).

Другой биограф, также отчасти на основе воспоминаний очевидцев (т. е. Данилевского), дополняет эту картину. Мы уже знаем о важной роли больницы в гимназической жизни как своего рода клуба, центра общения. «В больнице особенно фигурировал друг Гоголя Высоцкий, о котором А. С. Данилевский припоминал, что он вечно находился там, страдая от болезни глаз. Он сидел обыкновенно с зонтиком» (Шенрок, т. 1, с. 106). В больнице по причине действительных и мнимых болезней приходилось часто бывать и Гоголю. Там он и встречался с Высоцким. Кстати, в одном из более поздних писем к Высоцкому, передавая ему привет от общих нежинских знакомых, Гоголь упоминает и Евлампия (X, 103) — больничного сторожа, который, по известным нам уже воспоминаниям Кукольника, так способствовал вольготной жизни в палате...

Завершая свой пассаж о Высоцком, В. Шенрок говорит: «У него с Гоголем было много общего, но Высоцкий был гораздо авторитетнее».

Хотя невозможно сейчас проверить, действительно ли все гоголевские «юмористические прозвища» принадлежат Высоцкому (скорее всего это преувеличение), но его комическое умонастроение, роднящее его с Гоголем, подтверждается свидетельствами последнего. «С первоначального нашего здесь пребывания, мы уже поняли друг друга, а глупости людские уже рано сроднили нас; *вместе мы осмеивали их...*» (X, 80). Из этого можно заключить, что Высоцкий больше, чем кто бы то ни было другой, был вдохновителем, слушателем и, наверное, в какой-то мере и соавтором гоголевских комических импровизаций.

Но обоих гимназистов «сроднила» и другая черта, на которую не обратили достаточного внимания биографы писателя. Говоря об общих интересах с Высоцким, Гоголь в том же письме прибавляет: «...вместе обдумывали *план будущей нашей жизни*».

В 1825—1826 годах, когда в Гоголе совершалась глубокая внутренняя работа, Высоцкий находился в последнем классе. Это был первый выпуск в Гимназии: через месяц-другой несколькими ее питомцам предстояло вступить в самостоятельную жизнь, что еще более обостряло интерес Гоголя к Высоцкому, да и ко всему его классу. Мысленно он ставил себя в положение старших, «проигрывал» применительно к себе ситуацию окончания Гимназии и вступления на служебное поприще.

Все ли открыл Гоголь Высоцкому в своих планах? В упомянутом письме Косяровскому он замечает, что раньше, до Косяровского, никому не говорил ничего подобного: «Никому, и даже из своих товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно достойных». Это так и не так, многое Гоголь уже сказал Высоцкому, но кое-что, видимо, сказать не решился и утаил; такая открытость не до конца, или, что то же самое, полускрытность, проявлялась им не раз. Что́ было сказано, видно из последующего гоголевского письма Высоцкому, переехавшему в Петербург: «Половина наших дум сбылась: ты уже на месте, уже имеешь сладкую уверенность, что существование твое не ничтожно, что тебя заметят, оценят, а я... <...> Ты живешь уже в Петербурге, уже веселишься жизнью, жадно торопишься пить наслаждения, а мне еще не ближе полутора года видеть тебя...» (X, 80). Высоцкому известно о намерении Гоголя переехать в Петербург, поступить на службу, о желании выдвинуться, которое усиливалось ощущением своей избранности. Все это друзья обсуждали в Нежине, перед окончанием Высоцким Гимназии. «Половина» этих «дум», имеющих отношение к Высоцкому, уже сбылась; другая «половина», так сказать, гоголевская, — дело будущего.

В то же время нельзя не заметить, что мечты Гоголя, его «петербургские сновидения» несут на себе легкую гедонистически-эстетическую окраску; в них немалое место занимают «удовольствия» и «прелести жизни петербургской», в том числе театр и музыка: «Ты мне мало сказал про театр. <...> Я думаю, ты дня не пропускаешь, — всякий вечер там. Чья музыка?» Видимо, в таком ключе обсуждалась столичная жизнь обоими друзьями, что вовсе не исключает серьезности планов Гоголя. Но не в том ключе звучат эти планы в письме

к Косяровскому — торжественно, почти ригористически: «Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утратить, не сделав блага» и т.д. Очевидно, эту сторону Гоголь и не открыл другу; возможно, он не сказал и о своем желании посвятить себя именно юстиции.

Помимо Высоцкого, Гоголь сблизился в определенной мере и с другими гимназистами выпускного класса («...не могу без сожаления и вспомнить о вашем классе»). Из одиннадцати учеников этого класса, окончивших Гимназию летом 1826 года, наиболее интересны двое — Тарновский и Редкин.

Василий Васильевич Тарновский (1809—1866) — впоследствии энергичный деятель по подготовке крестьянской реформы 1861 года. Петр Григорьевич Редкин (1808—1891) — будущий знаменитый юрист, профессор Московского и Петербургского университетов. Хотя Тарновский ни разу не упоминается в сохранившихся письмах Гоголя-гимназиста, но более поздние письма к нему писателя позволяют думать, что между обоими давно установились доверительные отношения: Гоголь причисляет Тарновского к своим «одноборщникам», сообщает разные интимные подробности о гимназических приятелях и т.д. Что же касается Редкина, то еще в Гимназии определенно обнаружили его точки сближения с Гоголем. Биограф Редкина говорит: «...в тесной комнатке Редкина, на квартире губернатора Мышковского (т.е. надзирателя И. Г. Мышковского. — Ю. М.), надзору которого был он поручен, постоянно собирался кружок товарищей-журналистов, издателей рукописных журналов и альманахов...» (Лицей, 1881, с. 443). Среди этих лиц назван и Гоголь.

Впоследствии, знакомя Редкина с М. П. Погодиным, Гоголь писал последнему: «Рекомендую тебе доброго товарища моего Редькина» (X, 333). Редкину, или Редькину, тоже досталось от Гоголя прозвище: «Завтра в 3 часа к обеду нагрянет к тебе весь ученый мир, предводимый *растением Редькою*. Означенное *растение Редька* нарочно присылал к тебе человека узнать квартиру твою...» и т.д. (из письма к тому же Погодину — X, 371).

О тесных отношениях Гоголя с классом Высоцкого свидетельствует и такой факт. Среди учеников этого класса был Федор Бороздин, которого Гоголь за низкую стрижку волос прозвал «расстригою Спиридоном»; в одном из писем Высоцкому он так и пишет: «Спиридон, т.е. Федор Бороздин...» Однажды Гоголь решил справить Бороздину именины, но не в день Федора, как полагалось, а 12 декабря, в день св. Спиридона. «Гоголь выставил в гимназическом зале транспарант

собственного изготовления с изображением чорта, стригущего дервиша, и со следующим акrostихом...» (Кулиш, 1856, т. 1, с. 24). Далее следовал текст стихотворения, начинавшегося словами: «Се образ жизни нечестивой...» Первые буквы каждой из строк образовывали по вертикали, сверху вниз, имя Спиридон. И само стихотворение, и рассказ об обстоятельствах его возникновения были сообщены гоголевскому биографу не кем иным, как Высоцким; он же утверждал, что это было первое стихотворное произведение Гоголя («Охота писать стихи высказалась впервые у Гоголя по случаю его нападок на товарища...»).

Наконец, нужно напомнить, что из класса Высоцкого был и Любич-Романович. В последующих письмах Гоголя к Высоцкому Любич-Романович обычно упоминается в ироническом свете, но перед самым окончанием Гимназии, 10 мая 1826 года, Николай внес в его альбом запись, которая свидетельствует о некоторой доверенности и во всяком случае подтверждает нашу мысль, что между ними в этот период не было стойкой, постоянной неприязни.

Запись эта гласила: «Свет скоро хладеет в глазах мечтателя. Он видит надежды, его подстрекавшие, несбыточными, ожидания неисполнимыми — и жар наслаждения отлетает от сердца... Он находится в каком-то состоянии безжизненности. Но счастлив, когда найдет цену воспоминанию о днях минувших, о днях счастливого детства, где он покинул рождавшиеся мечты будущности, где он покинул друзей, преданных ему сердцем».

Надпись выдержана в тоне напутствия и одновременно предвосхищения будущего. Вступающего в самостоятельную жизнь ждет разочарование, ждет охлаждение и безжизненность — литературные веяния и мода накладывались здесь на реальные опасения и предчувствия. Где же найдет он опору и поддержку? В воспоминаниях о дружеском союзе. Эта мысль тоже подсказывалась литературной модой (ср. у Пушкина: изгнанник вспоминает «приют», «где дружбы знали мы блаженство»), но одновременно — и реальными дружескими связями под сенью Гимназии.

Конец 1825 и начало 1826 года — светлая пора в жизни Гоголя. Он уже в VII классе, и хотя оценки его в общем средние, даже ниже, чем обычно (особенно по языкам: в первом полугодии — единица по немецкому и ноль — по французскому; во втором — единица по латыни и по немецкому), но настроение приподнятое. Он выбрал жизненную цель, решил ехать по окончании Гимназии в Петербург, в его

планы, помимо Высоцкого, посвящен и Данилевский. Возможно, они уже решили ехать совместно, о чем можно догадываться по гоголевской записке своему другу (17 августа 1825 г.): ему не терпится «порассказать и пересказать много разных разностей», важных и для него, Данилевского, — «теперь я осветился новыми знаниями и новыми сведениями о нашем любезном С. Питере».

А 14 мая 1826 года, буквально через четыре дня после того, как Гоголь внес свою меланхолическую запись в альбом Любича-Романовича, он сообщал матери: «Касательно моего здоровья, смело могу вас уверить, что я еще никогда не был в таком хорошем состоянии, как теперь: весел, радостен...»

Но до осуществления своего плана Гоголю предстояло еще пробыть в стенах Гимназии два года, пережить события, оставившие по себе тяжелую память<sup>18</sup>.

## ГОРИЗОНТ ЛИТЕРАТУРНЫХ СВЕДЕНИЙ

Прежде чем перейти к этим событиям, постараемся полнее представить себе круг занятий и интересов Гоголя.

Состоявшийся выбор — государственной службы и юстиции — не мешал юноше посвящать себя литературным занятиям, рисованию и театру. Его художественные вкусы и наклонности складываются под влиянием различных сил — одни из них действовали на поверхности, другие проявлялись исподволь и скрытно.

Как во всяком учебном заведении того времени, преподавание русской литературы в Нежине было обращено преимущественно к прошлому. Главным учебником являлось «Основание российской словесности» А. Никольского (СПб., 1822, 4-е изд.), дававшее довольно широкое представление о русском XVIII веке: Ломоносов, Херасков, Хемницер, Дмитриев, Державин... В качестве популярной хрестоматии, которой постоянно пользовался Гоголь, служило «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах и прозе» (СПб., 1821—1824, 2-е изд., ч. 1—12), насыщенное огромным количеством примеров из литературы XVIII — начала XIX века, причем не только первого, но и последующих рядов отечественных писателей. Были представлены и новые писатели, но скромнее: Баратынский — «Финляндией», Рылеев — «Курбским», Пушкин — «Воспоминаниями в Царском Селе», и «Наполеоном на Эльбе». Кстати, многие произведения, которые Гоголь позднее назовет в своей

«Учебной книге словесности для русского юношества», приведены именно в этом издании; видимо, они запали в его сознание с гимназической поры.

Ориентацией на старую литературу, на XVIII век отличались и другие труды, которыми пользовался Гоголь на школьной скамье, — «Опыт краткой пиитики» И. Срезневского, предпосланный в качестве предисловия к упомянутому «Собранию...» (в начале каждого тома печаталась часть этого «опыта», рассматривающая тот жанр, образцы которого помещались в данном томе), «Опыт о русском стихосложении» А. Востокова (СПб., 1817), «Словарь древней и новой поэзии» Н. Остолопова (СПб., 1821, ч. 1—3).

Архаическое направление в преподавании литературы поддерживалось в Гимназии профессором Никольским, однофамильцем автора упомянутого учебника. Это был старовер, педант, но личность небезынтесная.

Парфений Иванович Никольский (1782 — ум. не позже 1851) происходил из духовенства, учился в Московской славяно-греко-латинской академии, а затем в Петербургском педагогическом институте. По окончании последнего больше десяти лет преподавал в Новгородской губернской гимназии, выполняя также обязанности директора. В начале 1821 года, еще при Василии Кукольнике, который, видимо, знал Никольского по Петербургскому педагогическому институту, Парфений Иванович приехал в Нежин, где получил место младшего, а затем старшего профессора российской словесности.

Профессору было около сорока лет, вкусы его уже прочно сложились, и при всей основательности знаний он не мог, да и не хотел поспеть за временем. Сослуживец Никольского учитель латинского языка И. Кулжинский называл его «почтенным стариком», который «за хлопотами жизни отстал от современного состояния литературы, остановился на Хераскове и Державине, Карамзину только из милости давал место в истории русской литературы — да и то уже после издания им первых томов «Истории российского государства» [так], а на Пушкина, Козлова, Дельвига и вообще на «всю эту молодежь» смотрел с видом негодования и сожаления, которое доказывал тем, что он вовсе не читал их» (М, 1854, т. 4, отд. 5, с. 8).

Никольский не только был страстным приверженцем русского классицизма, но и сам сочинял в торжественном и дидактическом духе. Известны названия двух его произведений (сами они до нас не дошли): поэмы «Ум и рок» и оды по случаю «ожиданного шествия



Его Имп. Вел. (т. е. Николая I. — Ю. М.) через г. Нежин». «Шествие» не состоялось, но Никольский успел продекламировать свою оду по завершении публичных экзаменов в 1828 году — год, в котором оканчивал Гимназию Гоголь.

Поэму же «Ум и рок» Никольский иногда почитывал гимназистам во время занятий и по их окончании, у себя дома. По словам Нестора Кукольника, произведение отличалось «непомерными длиннотами и тяжеловесным слогом», «а уж о морали и говорить нечего» — «это была сама нравственность». Гимназисты переименовали поэму «Ум и рок» в «Ум за разум».

И это происходило в то время, когда русская публика зачитывалась Пушкиным, когда стали появляться самые зрелые его произведения... Новые веяния проникали и в нежинскую Гимназию, но вопреки Никольскому.

Данилевский вспоминал о Гоголе: «Мы выписывали с ним и с Прокоповичем журналы, альманахи. Он заботился всегда о своевременной высылке денег. Мы собирались втроем и читали «Онегина» Пушкина, который тогда выходил по главам. Гоголь уже восхищался Пушкиным. Это была тогда еще контрабанда; для нашего профессора словесности Никольского даже Державин был новый человек» (Шенрок, т. 1, с. 102).

Свидетельство Данилевского подтверждается письмом Гоголя, датируемым 1 октября 1824 года. Едва прослышав «про Пушкина поэму Онегина», еще до выхода первой главы, Никоша просит родителей прислать ему новинку. Всего он мог прочесть в Нежине шесть глав «Евгения Онегина» (седьмая вышла в марте 1830 г., когда Гоголь уже жил в Петербурге).

В условиях, когда профессор и ученики имели разнонаправленные художественные интересы и вкусы, уроки превращались в тайное, а иногда и открытое противоборство. «... Он знакомил нас с так называемыми русскими классиками, — вспоминал Н. Кукольник, — а мы на каждой лекции подкладывали ему, для исправления, вместо своих, стихи Пушкина, Козлова, Языкова и других. Он марал их нещадно, причем мы не могли довольно надивиться изворотливости его от природы острого ума» (Лицей, 1881, с. 294—295). По свидетельству другого мемуариста, инициатором розыгрыша бывал Гоголь. «На одном уроке Гоголь подал ему (Никольскому) стихотворение Пушкина «Пророк» и с спокойной совестью ожидает профессорской резолюции... Никольский прочел... поморщился и, по привычке своей, начал

его переделывать». Возвратив стихи мнимому автору, то есть Гоголю, профессор пристыдил его за недостаточное усердие. Тут Николай сознался, что это произведение Пушкина и что он решил подшутить над Парфением Ивановичем, которому никак не угодишь. «Ну, что ты понимаешь! — воскликнул профессор. — Да разве Пушкин-то безграмотно не может писать? Вот тебе явное доказательство... Вникни-ка, у кого лучше вышло...» (ИВ, 1892, № 12, с. 697).

И все же Никольский внушал гимназистам уважение — своим «острым умом», последовательностью и в определенных пределах — в пределах русской литературы предшествующего века — обширными знаниями. Свою репутацию в глазах молодежи он сильно подорвал участием в «деле о вольнодумстве», но это произошло уже позднее...

Поэтому отношения профессора с классом строились, как принято сегодня говорить, диалогически: каждая сторона была убеждена в своей правоте, но в то же время осознанно, а чаще неосознанно, поддавалась противоположному влиянию и что-то из него усваивала. По крайней мере, это можно сказать о некоторых гимназистах.

«Он спорил с нами, что называется, до слез; заставлял нас сильно восхищаться Ломоносовым, Херасковым, даже Сумароковым; проповедовал ex cathedra важность и значение эпопеи древних форм...» — говорит Н. Кукольник. «Как бы то ни было, мы многим обязаны Парфению Ивановичу. Он положительно заставил нас изучить русскую литературу до Пушкина и отрицательно втянул нас в изучение литературы новейшей» (Лицей, 1881, с. 296, 294).

Гоголь, вероятно, согласился бы с этими словами. Во всяком случае, своей хорошей начитанностью в литературе предшествующего века, своим глубоким уважением к ее крупнейшим фигурам, особенно к Ломоносову и Державину, он был обязан гимназическим годам, а значит, и Никольскому. Правда, к этому предрасполагало и влияние, шедшее к Гоголю из домашней и родственной среды — через Капнистов, Трощинских, которые многими нитями были связаны с литературой XVIII века.

Что давал Гоголю этот пласт русской художественной культуры? Ощущение высокой гражданственности и приоритета государственной заботы перед личной, идею служения справедливости, уверенность, что начертанные цели осуществимы, если не жалеть сил и ничего не бояться:

Но слушай старика седого,  
Что с детства, с нижних степеней

Шел, без подпор и без покрова,  
Лишь правды, мужества стезей,  
Был щит отчизны, руль законов,  
Стоял пред троном трех царей...

(Г. Державин «Кубок»)

Возникал, если воспользоваться более поздним выражением Гоголя, «образ какого-то крепкого мужа, закаленного в деле жизни» (VIII, 373). А этот «образ» накладывался на реальных известных Гоголю людей — Дмитрия Трощинского или Виктора Кочубея, к которому — в поучение — обращены приведенные державинские строки, подкрепляя мечту о государственной службе, о поприще «юстиции».

Но кроме того, гражданские традиции русского XVIII века вносили стройность в сложное и противоречивое мироощущение юноши, укрощали того демона беспорядка, который таился на дне его души. Добро отделялось от зла; становилось ясно, что не надо, а что надо делать; образовывалась четкость критериев, намечались моральная направленность и ощущение просветительской пользы.

Сохранилась письменная работа Гоголя, озаглавленная «О том, что требуется от критики» с подзаголовком «Из теории словесности». «Первая, главная принадлежность, — говорится здесь, — без которой критика не может существовать, это — беспристрастие, но нужно, чтобы оно правилось умом зорким, истинно просвещенным, могущим вполне отделить прекрасное от не изящного. < ... >

Последнее: нужно, чтобы пером рецензента или критика правило истинное желание добра и пользы, оно должно одушевлять все его изыскания и разборы и быть всегда его неизменным водителем, как высокий, божеский характер просвещенного мыслителя».

Не следует преувеличивать творческое значение этого опуса, являющегося упражнением на заданную тему. Но он интересен именно тем, что показывает, чему учил Никольский Гоголя и чего от него ждал (сохранилась оценка сочинения: «Изрядно. П. Никольский» (IX, 616). Гоголевский ответ выдержан в общих фразах, однако его моральная и просветительская направленность очевидна.

Считается, что уже в этом сочинении «Гоголь сформулировал основные принципы литературной критики» (Иофанов, с. 170). Я бы сказал осторожнее: в суждениях Гоголя-гимназиста нет ничего, что бы противоречило его последующей литературной критике, хотя они не передают всего его эстетического мироощущения. Впрочем, это относится и к Гоголю гимназической поры, ибо его вкусы, как отме-

чалось выше, складывались под влиянием различных факторов. К этим факторам нужно прибавить еще немецкую литературу.

Профессором немецкой словесности в Гимназии был Фридрих Иосиф Зингер, переименованный на русский манер в Федора Осиповича. Родом из Львова (Лемберга), он получил отличное образование — вначале учился во Львовском университете, потом в Хемницкой горной академии в Венгрии, после чего в 1811 году выдержал экзамен в Венском университете. Затем по обычаю немецких студентов совершил большое путешествие — по Италии, Германии и Дании; исполнял обязанности домашнего секретаря у датского посланника при Вестфальском дворе; жил и в Риге, где был учителем в частных домах.

В нежинской Гимназии Зингер появился сравнительно поздно — в июле 1824 года, когда Гоголь перешел уже в VI класс. Невзрачный, маленький («ростом чуть не карлик»), он тем не менее сразу же понравился гимназистам. «До Зингера на немецких лекциях обыкновенно отдыхали сном после-обеденным. Он умел разогнать эту сонливость увлекательным преподаванием, и не прошло и года, у нового профессора были ученики, переводившие «Дон Карлоса» и другие драмы Шиллера, а вслед за тем и Гете, и Кернер, и Виланд, и Клопшток, и все <...> классики германской литературы, не исключая даже своеобразного Жан-Поль-Рихтера, в течение четырех лет были любимым предметом изучения многих учеников Зингера» (Лицей, 1881, с. 262).

Гоголь, по-видимому, не вошел в число ближайших «учеников» Зингера, поскольку не очень-то ладил с немецким языком — в отличие от того же Кукольника или, скажем, одноклассника последнего И. Д. Халчинского, который за каникулы сумел изучить «чуть не целый немецкий лексикон» и вместе с другими перевел «Историю Тридцатилетней войны» Шиллера. Но влияние профессора немецкой словесности распространялось и на Гоголя.

В апреле 1827 года Николай сообщает матери о важном книжном приобретении — он выписал себе Шиллера из Лемберга (кстати, возможно, не без помощи Зингера, ибо Лемберг был его родной город), отдав за него 40 рублей. «... Деньги весьма немаловажные по моему состоянию; но я награжден с излишком и теперь несколько часов в день провожу с величайшею приятностью» (X, 91)<sup>19</sup>. Видимо, эту покупку имела в виду Марья Ивановна, когда позднее жаловалась А. А. Трощинскому: мол, едва «выйдет новая книга, по названию

много обещающая, то он готов выписывать ее из чужих краев — что он и делал, будучи в Нежине, из выпрошенных у меня для платья денег...» (РС, 1882, т. 34, с. 676).

А в гоголевской юношеской поэме «Ганц Кюхельгартен» в описании домашней библиотеки заглавного героя, описании, которое отражает круг интересов и самого автора, «Шиллер своенравный» фигурирует вместе с другими немцами — Тиком, Винкельманом («по-забытый Винкельман») и не немцами — Платоном, Петраркой, Аристофаном. В эпилоге же упомянут еще Гете, чей облик сливается с поэтическим образом Германии:

Страна высоких помышлений!  
Воздушных призраков страна!  
О, как тобой душа полна!  
Тебя обняв, как некий Гений,  
Великий Гетте [так!] бережет,  
И чудным строем песнопений  
Свевает облака забот.

Спустя много лет в письме к М. П. Балабиной от 5 сентября (нового стиля) 1839 года Гоголь почти буквально повторит мысль, высказанную в эпилоге «Ганца Кюхельгартена», и тем самым еще раз подчеркнет, в каком направлении влияли на него «немцы»: «Немецкая поэзия далеко уносила меня тогда в даль, и мне нравилось тогда ее совершенное отдаление от жизни и существенности. И я гораздо презрительней глядел на все обыкновенное и повседневное».

В 1827 году, когда Гоголь уже завершал свое гимназическое образование, стал выходить «Московский вестник», журнал «любомудров», ревностный пропагандист и толкователь новейшей немецкой литературы и эстетики. Влияние этого журнала слилось с влиянием Зингера, усиливая преобладающее романтическое и философское умонастроение Гоголя. Позднее он скажет об этом С. П. Шевыреву: «Я вас люблю почти десять лет, с того времени, когда вы стали издавать Московский вестник, который я начал читать еще в школе, и ваши мысли подымали из глубины души моей многое, которое еще и донныне не совершенно развернулось» (X, 354). Довольно необычная для Гоголя форма обращения, необычный тон! «... Еще от детства, — говорил он, — вселил в меня Бог непонятное мне самому чувство бежать от всяких неумеренных излиятий, даже родственных и дружеских...» (VIII, 366). А тут настоящее признание в любви...

Таков был — в основных чертах — спектр художественных импульсов, «горизонт сведений» (собственное выражение Гоголя), в пределах которого возникли его первые литературные опыты.

## «ПЕРВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В СОЧИНЕНИЯХ»

Широко известна характеристика этих опытов самим Гоголем в «Авторской исповеди»: «Первые мои опыты, первые упражнения в сочинениях, к которым я получил навык в последнее время пребывания моего в школе, были почти все в лирическом и сурьезном роде. Ни я сам, ни сотоварищи мои, упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим...» Эти слова могут послужить отправным пунктом для того, чтобы подробнее разобраться в самых первых шагах Гоголя на его творческом пути.

Писатель говорит об упражнявшихся вместе с ним «сотоварищах» — и действительно, в Гимназии образовалась группа молодых литераторов, насчитывающая более десятка человек и выпускавшая почти такое же количество журналов и альманахов. Творческая деятельность Гоголя с самого начала протекала в обстановке острого соревнования и соперничества.

Что же касается рукописных изданий, то известны следующие: «Звезда», «Метеор литературы», «Северная заря», «Литературное эхо», «Парнасский навоз», «Литературный промежуток, составленный в один день +  $\frac{1}{2}$  с Николаем Прокоповичем 1826 года» и некое безымянное издание («литературное что-то»). Лишь один из этих журналов побывал пока в руках исследователей, а именно в руках С. Пономарева, — побывал и, к сожалению, бесследно исчез, так что нет никакой возможности проверить его вывод, что «тетradка писана вся одной рукой и, несомненно, рукою Гоголя» (Пономарев, с. 143). Но существование всех изданий подтверждает обнаруженный С. И. Машинским документ — «Реестр книгам и рукописям», который составил профессор Гимназии Н. Г. Белоусов (Машинский, 1959, с. 63—64). Только «Звезда» не упомянута в «Реестре...», но ее существование также представляется бесспорным, так как журнал фигурирует в трех не зависящих друг от друга источниках — воспоминаниях А. Данилевского, в восходящем к свидетельству Н. Прокоповича рассказе П. Кулиша и в биографии Н. Кукольника.

Существовало несколько центров литературной жизни в Гимназии. Один из них — тесная комнатка Редкина, которую он снимал у Белоусова (по другим сведениям, более достоверным — у губернатора Мышковского). Здесь «постоянно собирался кружок товарищей-журналистов, издателей рукописных журналов и альманахов, для чтения и критической оценки заключающихся в них статей. В этих ученических изданиях впервые началось литературное поприще <...> Гоголя, Кукольника, Базили и других, составивших себе имя в литературе» (Лицей, 1881, с. 443). Согласно биографу Редкина, именно здесь выпускался журнал «Звезда», который он, Редкин, и редактировал (там же, с. 403). О встречах у Редкина вспоминает его одноклассник Любич-Романович: «По субботам, вечером, у него собирались некоторые из приятелей, пописывавшие стишки. Постоянными посетителями этих литературных вечеров были — Гоголь, Кукольник, Константин Базили, Прокопович, Гребенка, я и другие. Происходило чтение наших произведений, критический разбор их...» (ИВ, 1892, № 12, с. 695).

Относительно Е. П. Гребенки, в будущем известного поэта и прозаика, здесь допущено явное преувеличение. Поступивший в Гимназию в 1825 году, он едва ли мог быть завсегдаем кружка, наряду с Любичем-Романовичем и Редкиным, которые в 1826 году уже окончили курс обучения. Но вот другой упомянутый гимназист, Базили, действительно был близок к классу Редкина, Любича-Романовича и Высоцкого: в письме к Высоцкому в Петербург (от 19 марта 1827 г.) Гоголь называет его в числе «наших», которые «совершенно кланяются тебе, благодарят, что не забываешь их». У Базили установились дружеские отношения с Гоголем, которые позднее укрепились; поэтому стоит сказать об этом питомце нежинской Гимназии несколько подробнее.

Константин Михайлович Бази́ли (1809—1884), в будущем известный дипломат и писатель, родился в греческой семье, проживавшей в Константинополе; на его глазах в 1821 году был учинен кровавый погром греческой общины, повешен патриарх Григорий V; мальчику же вместе с семьей чудом удалось спастись, спрятавшись в трюме корабля, среди тюков и иной поклажи. Обо всех этих ужасах Константин рассказывал впоследствии товарищам по Гимназии, в том числе и Гоголю. Вначале Базили проживал в Одессе; потом в возрасте 12 лет вместе с пятью другими спасшимися греческими мальчиками был принят в нежинскую Гимназию на казенный счет. К этому

времени он уже получил хорошее образование, изучая дома, а затем в Одессе древнегреческую литературу и владея с детских лет французским языком. Но по-русски он не знал «ни полслова». Однако, как вспоминает его одноклассник И. Халчинский, «воля преодолела трудность, и, к удивлению всех, через год Базили вдруг заговорил по-русски...» (Лицей, 1881, с. 328). Еще через какое-то время Базили почувствовал потребность не только говорить, но и сочинять по-русски, и вот мы встречаем его у Редкина среди «постоянных посетителей» литературных вечеров.

Больше того, есть сведения, что Базили вместе с Гоголем стал выпускать еще свой журнал — уже упоминавшуюся «Северную зарю». Название выдает явную ориентацию на петербургскую журналистику (ср. свидетельство Кукольника о том, что гимназисты «наслаждались» «петербургскими альманахами»), наверное, особенно на альманахах пушкинского кружка «Северные цветы». Подражание даже несколько комическое: «Северные цветы» выходили действительно на севере, а Нежин все-таки, скорее, юг...

Но предоставим слово Халчинскому: «Базили издавал вместе с Гоголем «Северную зарю», в желтой обертке с виньетками, которые сами они рисовали, и по воскресеньям это читалось в заседании всего литературного общества воспитанников» (Лицей, 1881, с. 329). Это подтверждает анонимный автор других воспоминаний, по-видимому, сам Базили: «В 1825, 26, 27 годах наш литературный кружок стал издавать свои журналы и альманахи, разумеется, рукописные. Вдвоем с Гоголем, лучшим моим приятелем, хотя и не обходилось без ссор и без драки, потому что оба были запальчивы, издавали мы ежемесячный журнал страниц в пятьдесят в желтой обертке с виньетками нашего изделия, со всеми притязаниями дельного литературного обозрения. В нем были отделы беллетристики, разборы современных лучших произведений русской литературы, была и местная критика, в которой преимущественно Гоголь поднимал на смех наших преподавателей под вымышленными именами. <...> По воскресеньям собирался кружок, человек в 15—20 старшего возраста, и читались труды и шли толки и споры» (Шенрок, т. 1, с. 250—251).

Что же поместил Гоголь в «Звезде», «Северной заре» и других изданиях? Что он вообще написал в нежинский период? Чрезвычайная скудость сведений побуждает исследователей отвечать на эти вопросы в основном с помощью простого перечисления: мол, сочинил уже упоминавшиеся выше стихотворную балладу «Две рыбки» и



акростих «Спиридон», затем стихотворение «Непогода», повесть «Братья Твердиславичи», поэму «Россия под игом татар», сатиру «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан»...

Между тем будущий писатель за семь лет пребывания в гимназических стенах прожил напряженную жизнь, вступил в пору созревания, и это не могло не сказаться в его литературных занятиях — в их *эволюции*. Попробуем же на нее хотя бы намекнуть — на большее рассчитывать трудно за неимением конкретного материала.

Прежде всего, гоголевские слова о литературных упражнениях, к которым он «получил навык в последнее время пребывания моего в школе», не означают, что до этого он *ничего не писал*. Сочинять стихи он начал в раннем детстве; баллада «Две рыбки» могла быть написана только под непосредственным впечатлением от смерти брата — в первый год в Нежине или еще раньше. Гоголь подразумевает другое — литературные усилия, выработку определенного «рода» или почерка, что имело место именно «в последнее время», при переходе в последние классы. Гоголь придавал большое значение этому рубежу своих литературных занятий, который, конечно, совпадает с рубежом его общего духовного развития, а пролегает упомянутый рубеж по 1825—1826 годам. Именно в это время заронилась в нем и оформилась мысль о высоком призвании к государственной службе.

В письме к матери от 23 ноября 1826 года Гоголь заявляет: «Сочинений моих вы не узнаете. Новый переворот настигнул их. Род их теперь совершенно особенный». Очевидно, это тот самый «род», который в «Авторской исповеди» определен как «лирический и сурьезный».

Большинство из упомянутых выше гоголевских вещей написаны до этого рубежа. «Первый опыт Гоголя, известный соученикам его, был трагедия «Разбойники», написанная пятистопными ямбами» (Кулиш, 1854, с. 15). Видимо, к раннему времени относятся стихотворение «Россия под игом татар», из которого Марья Ивановна запомнила двустишие: «Раздравши тучи среброрунны, // Являлась трепетно луна» (ЛН, т. 58, с. 770. Ср. Воспоминания, с. 459), а также прозаическая повесть «Братья Твердиславичи» (или Твердославичи).

П. Кулиш, опираясь, видимо, на свидетельство Н. Прокоповича, говорит, что «Братья Твердиславичи» были помещены в «Звезде», то есть в журнале, выпускаемом кружком Редкина. Это находит подтверждение в воспоминаниях Любича-Романовича: «Первая прозаическая вещь Гоголя была написана в Гимназии и прочитана публично

на вечере Редкина. Называлась она «Братья Твердославичи, славянская повесть»».

Что же касается характера этого произведения, то оно, по свидетельству, очевидно, того же Прокоповича, подражало повестям, «появившимся в тогдашних современных альманахах» и «написано было так называемым «высоким» слогом, из-за которого бились и все сотрудники редактора» (Кулиш, 1854, с. 16). Все это косвенно подтверждается другим соучеником Гоголя — А. С. Данилевским. «По словам А. С. Данилевского, Гоголь писал во вкусе Бестужева, и у него встречались пышные описания природы, леса и т. п. Все это помещалось в лицейском издании «Звезда»» (Шенрок, т. 1, с. 102).

Несмотря на то, что все участники кружка тоже стремились к «высокому слогу», повесть была признана ими неудачной, так как она, видимо, не до конца отвечала общим требованиям. «Наш кружок, — продолжает Любич-Романович, — разнес ее беспощадно и решил тотчас же предать уничтожению. Гоголь не противился и не возражал. Он совершенно спокойно разорвал свою рукопись на мелкие клочки и бросил в топившуюся печь» (ИВ, 1892, № 12, с. 696).

Это было первое из известных сожжений Гоголем своих произведений...

И оно протекало очень типично для всех последующих. Гоголь «не противился и не возражал» не потому, что решил подчиниться приговору слушателей или читателей, а потому, что в их осуждении он увидел неудачу своих собственных усилий и необходимость начать все сначала.

Поскольку настоящий эпизод происходил у Редкина и Любич-Романович рассказывает о нем как очевидец, то все это имело место не позже июня 1826 года, когда оба они уже закончили Гимназию, а скорее всего, и раньше. Журнал «Звезда», думается, потому и не фигурирует в упомянутом выше «Реестре», что он к этому времени прекратил свое существование.

«Переворот», который «настигнул» творчество Гоголя после неудачи с «Братьями Твердославичами», выразился прежде всего в том, что он оставил прозу. «В стихах упражняйся, — дружески посоветовал ему тогда (во время чтения «Братьев Твердиславичей». — Ю. М.) Базили, — прозой не пиши, очень уж глупо выходит у тебя. Беллетрист из тебя не вытанцуется: это сейчас видно» (ИВ, 1892, № 12, с. 696). Образцовым прозаиком в Гимназии слыл Прокопович; его авторитет в этой области был столь высок, что даже спустя много лет отозвался

чуть ли не восторженными словами Гоголя. «Из всех тех, которые воспитывались со мною вместе в школе и начали писать в одно время со мной, у него раньше, чем у других, показалась наглядность, наблюдательность и живопись жизни. Его проза была свободна, говорлива, все изливалось у него непринужденно-обильно, все доставалось ему легко и пророчило в нем плодовитейшего романиста» (VIII, 426). Относительно себя же Гоголь, по-видимому, решил, что у него нет необходимых для прозаика качеств и он должен писать лишь стихи.

Сохранилось стихотворение Гоголя «Непогода» — единственный автограф его художественного произведения нежинской поры. Полный список стихотворения под другим названием — «Новоселье» — известен по более позднему письму Петра Ивановича Мартоса, соученика Гоголя по нежинской Гимназии (ЛН, т. 58, с. 774). Очень важно то обстоятельство, что стихотворение, согласно замечанию Мартоса, было помещено в 1826 году в его журнале «Метеор» (т. е. «Метеор литературы»), когда, по всей вероятности, журнала «Звезда» уже не существовало. «Новоселье» можно рассматривать как отражение *новой манеры* Гоголя, о которой он в ноябре того же года с гордостью писал матери.

Стихотворение строится как ответ автора «друзьям», заметившим, что он стал «невесел»:

Я весел был, —  
Так говорю друзьям веселья, —  
Но радость жизни разлюбил  
И грусть зазвал на новоселье.  
Я весел был — и светлый взгляд  
Был не печален; с тяжкой мукой  
Не зналось сердце; темный сад  
И голубое небо скукой  
Не утомляли — я был рад...  
Когда же вьюга бушевала  
И гром гремел и дождь звенел  
И небо плакало — грустнел  
Тогда и я: слеза дрожала,  
Как непогода плакал я...  
Но небо яснило, гроза бежала —  
И снова рад и весел я...  
Теперь, как осень, вянет младость.  
Утром, не веселиться мне,  
И я тоскую в тишине,  
И дик, и радость мне не в радость.  
Смеясь, мне говорят друзья:

«Зачем расплакался? — Погода  
И разгулялась и ясна,  
И не темна, как ты, природа».  
А я в ответ: — «Мне все равно,  
Как день, все измененья года!  
Светло ль, темно ли — все едино,  
Когда в сем сердце непогода!

Стихотворение развивает типично элегическую тему разочарования, утраты надежд и идеалов юности: вспомним знаменитое «Разуверение» Баратынского («Не искушай меня без нужды...») или его же «Элегию» («Нет, не бывать тому, что было прежде!»). Использована типично элегическая лексика и словосочетания. Особенно заметна близость к поэтике Пушкина, так что почти к каждой гоголевской фразе можно подобрать соответствующий пушкинский пример: «радость жизни разлюбил» (ср. «вот *жизни радость*», «она мне *жизнь*, она мне *радость*», «я *разлюбил* свои мечты»), «вянет младость» (ср. «так *вянет младость!*»), «с тяжелой мукой» (ср. «в *тяжкой* горести», «теснится *тяжких* дум избыток», «в уныньи *тяжком* и глубоком») и т. д. Сам образ «непогоды» — довольно частый у Пушкина («в часы роковой *непогоды*...»). Об авторе «Непогоды», семнадцатилетнем Гоголе, можно сказать то, что сказано в «Евгении Онегине» о Ленском: «Он пел поблеклый жизни цвет // Без малого в осьмнадцать лет».

Но сходное настроение пронизывает и гоголевскую запись в альбоме Любича-Романовича («Свет скоро хладеет в глазах мечтателя...»), датируемую тем же временем — 10 мая 1826 года.

А затем это настроение, но, конечно, в усложненной форме перейдет в идиллию «Ганц Кюхельгартен», над которой Гоголь вскоре начнет, если уже не начал работать...

Все это дает представление о новой манере творчества молодого автора, о том, что подразумевалось под словами «лирический и сурьезный».

Эта манера, конечно, тоже грешила литературностью, но уже другой, чем прежние опыты Гоголя. Те, видимо, были аффективированы, ходульны, высокопарны; сюжеты и персонажи отличались экзотичностью, черпались из славянской старины и эпохи борьбы с татарами. Поэтому у слушателей они пробуждали ассоциации с А. А. Бестужевым-Марлинским, причем имелись в виду, конечно, не светские, а «исторические» его повести типа «Романа и Ольги» (опубликована в «Полярной звезде на 1823 год»). Новая же манера была приближена

к современности, к трудам и дням самого автора; хотя и в условно-элегической форме и во многом с чужого голоса, но он впервые заговорил о том, что наполняло его внутренний мир. Кстати, любопытная и, кажется, незамеченная деталь: именно от юношеского стихотворения Гоголя «Непогода» тоненьким пунктиром тянется ниточка к знаменитому лирическому зачину VI главы «Мертвых душ»: и здесь, в этом зачине, жизненный путь автора будет резко делиться на две фазы — «прежде» и «теперь» («теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне...»), и здесь состояние охлаждения и увядания выразится в безрадостном отношении к миру.

Литературность литературности рознь, и это проявилось в отношении Гоголя к Нестору Кукольникову. Кукольник посещал те же вечера у Редкина, а по другому свидетельству, принадлежащему Базили, он «издавал также свой журнал, в котором помещал первые опыты своих драматургических произведений» (Шенрок, т. 1, с. 251). И давнее соперничество двух гимназистов, Гоголя и Кукольника, приобрело теперь вид литературного соперничества.

Подробные отзывы Гоголя о Кукольнике и его произведениях, прежде всего трагедии «Торквато Тассо», относятся к более позднему периоду. Но эти отзывы сформулированы так, что они как бы продолжают уже сложившееся в Гимназии отношение к стилю поведения и творчества Кукольника, о работе которого над «Торквато Тассо» было хорошо известно.

«Возвышенный *все тот же*, — сообщает Гоголь А. С. Данилевскому 30 марта 1832 года, — трагедии его *все те же*. Тасс его, которого он написал уже в шестой раз, необыкновенно толст, занимает четверть стопы бумаги. Характеры все необыкновенно благородны, полны самоотверженья. <...> А сравненьями играет, как мячиками; небо, землю и ад потрясает, будто перышко. Довольно, что прежние: *губы посинели у него цветом моря*, или: *тростник шепчет, как шепчут в мраке цепи* ничто против нынешних. Пушкина все по-прежнему не любит». И в другом письме (от 8 февраля 1833 г.) Гоголь напоминает Данилевскому, как Кукольник в Гимназии, бывало, «повторял» «Поза, Поза, Поза» — то есть имя маркиза Позы, благородного энтузиаста из шиллеровской драмы «Дон Карлос».

Из писем Гоголя достаточно ясно, что ему уже тогда, в Гимназии, не нравилось в Кукольнике — аффектированность и напыщенность и в связи с этим отвращение от Пушкина. Его собственная «лирическая и сурьезная манера» строилась на преодолении этих качеств.

А с другой стороны, она строилась на отталкивании от стиля низового, вульгарного сентиментализма. Ноты чувствительности никогда не были чужды Гоголю, но при этом они выражались достаточно оригинально, так что скрытые ресурсы поэтичности он искал и находил в сфере самого тривиального. Эта проблема во весь рост станет перед писателем значительно позднее, но ее предчувствие и ощущение возникло еще в гимназические годы.

Весной 1827 года, когда Гоголь был в предпоследнем классе, в Нежин попала небольшая книжица под названием «Малороссийская деревня», изданная в Москве в 1827 году. Сочинителем ее являлся учитель латинского языка в Гимназии высших наук Иван Григорьевич Кулжинский (1803—1884). По своему материалу книга должна была бы увлечь Гоголя, ибо автор намеревался создать портрет украинского крестьянина, собрать «разбросанные черты национальности и из многих отдельных частей составить одно целое, полную картину нравов...» (с. IX; курсив в оригинале. — Ю. М.). Но выполнено это было в манере до приторности слезливой, представляя неуклюжие вариации ходячих сентиментальных сентенций. «О сердце! сердце! — вопрошал автор «Малороссийской деревни», — Что это значит, что все наилучшие радости твоей жизни бывают растворены слезами?.. Что это значит, что во всех наших радостях высочайшая степень сладости бывает уже горечь, а не сладость?.. Ах! счастье и слезы суть родня между собой — и кто не умеет плакать, тот не знает одного из лучших наслаждений нашей жизни!..» (с. 65—66). Когда Кулжинский осуждал «классика» Никольского, упрекая его в отставании «от современного состояния литературы», то он имел в виду «состояние» чувствительности и слезливости.

Порою же стилистическая неуклюжесть и безвкусице Кулжинского приводили к неожиданным комическим эффектам: «Уже и часы мои остановились и свечка догорает — а я все еще сижу над бумагой!.. Satis pro nobis, o Муза! дай мне свою руку, обнимемся с тобою и ляжем в постелю!..» (с. 20). Легко себе представить, сколько пищи для смеха дало это произведение гимназистам, в особенности Гоголю.

Сообщая Высоцкому в Петербург о книге Кулжинского, Гоголь добавлял: «Этот литературный урод причиною всех его бедствий: когда он только проходит через класс, тотчас ему читают отрывки из Малороссийской деревни, и почтенный князь бесится, сколько есть духу; когда он бывает в театре, то кто-нибудь из наших объявляет громогласно о представлении новой пьесы; ее заглавие:

Малороссийская деревня или закон дуракам не писан, комедия-водевиль» (X, 88).

Так между Сциллой и Харибдой — сентиментальной водевильностью Кулжинского и высокопарной аффектацией Кукольника — стремился Гоголь проложить курс своей новой лирически-серьезной поэзии.

В то же время его привлекал и другой «род» творчества — легкого, пародийного, насмешливого, сатирического. С помощью таких произведений Гоголь оборонялся и нападал; они способствовали его самоутверждению, давали выход стихии комизма, а также заглушали таящуюся в глубине души тоску. Они укрощали демона беспорядка, но на свой лад — не идеей регулятивности и разделения критериев, а проказливостью и шаловливостью. Они открывали также сферу применения для гоголевской наблюдательности и психологической интуиции. «От малых лет была во мне страсть замечать за человеком, ловить душу его в малейших чертах и движениях его, которые пропускаются без вниманья людьми...» (VIII, 445). Эта «страсть» требовала совершенствования и упражнения.

Из комедийных и сатирических вещей Гоголя-гимназиста, к сожалению, до нас дошла лишь одна — и то лишь в воспроизведении другого лица, Г. И. Высоцкого. Речь идет об уже упоминавшемся акростихе «Се образ жизни нечестивой...», посвященном Федору Бородину.

Высоцкий же сохранил в памяти название второго сатирического произведения Гоголя — «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан» — и даже привел его план, состоящий из пяти пунктов, или «отделов»: «1. Освящение церкви на греческом кладбище. 2. Выбор в греческий магистрат. 3. Всеедная ярмарка. 4. Обед у предводителя (дворянства). 5. Роспуск и съезд студентов» (Лицей, 1859, отд. 2, с. 33). Из всего этого видно, что произведение давало широкую панораму городской жизни: тут и Гимназия высших наук («студентами» назывались ученики последних классов), и сцена ярмарки, которая затем привлечет к себе специальное внимание автора «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (в «Сорочинской ярмарке»), и высшие лица местной иерархии (предводитель дворянства и его гости), и, наконец, целый клан городского населения — греки.

В Нежине была обширная греческая колония, поселившаяся здесь еще при Богдане Хмельницком около 1656 года и постоянно пополнявшаяся за счет беженцев, спасавшихся от турецкого преследования

(как и товарищ Гоголя Константин Базили). Столь видное место, отведенное грекам, объяснялось, очевидно, тем, что их образ жизни — греки имели свой орган самоуправления, магистрат, — в соединении с южным темпераментом открывал большие возможности для игры страстей, столкновения честолюбий и, следовательно, для комического изображения. В письме к тому же Высоцкому от 19 марта 1827 года, как бы продолжая тему своей сатиры «Нечто о Нежине...», Гоголь пишет: «В Нежине теперь беспрестанные движения между греками; шумят, спорят в магистрате, хотят нового образа правления и прошедшую субботу мятежные сенаторы самовольно свергнули архонта Бафу, а на его место и в сенаторское достоинство возвели до того неизвестного Афендулю. Базиль уже заключил с ним мирный трактат и открыл греческую лавку».

По словам П. Кулиша, «Высоцкий имел копию этого довольно обширного сочинения («Нечто о Нежине...» — Ю. М.), списанную с автографа; но Гоголь, находясь еще в Гимназии, выписал ее от него из Петербурга, под предлогом, будто бы потерял подлинник, и уже не возвратил» (Лицей, 1859, отд. 2, с. 33). Это свидетельствует о том, что сатира «Нечто о Нежине...», как и акrostих, тоже хранившийся у Высоцкого, написаны еще до окончания последним Гимназии, то есть до июня 1826 года. Комедийные и сатирические произведения Гоголя завершающих двух лет пребывания в Нежине нам неизвестны. Но это не значит, что он их больше не сочинял или, во всяком случае, что он перестал давать выход своему комическому дарованию. Скорее, наоборот. Об этом говорят острые сатирические зарисовки из писем Гоголя, одну из которых мы только что привели.

Не совсем ясно, что представлял собою еще один пародийный опыт Гоголя — «Парнасский Навоз». Первая версия такова: «Был в Гимназии один ученик с необыкновенною страстью к стихотворству и с отсутствием всякого таланта, — словом, маленький Тредьяковский. Гоголь собрал его стихи, придал им название «альманаха» и издал под заглавием: «Парнасский Навоз»» (Кулиш, 1854, с. 16). По другой же версии, восходящей к Любичу-Романовичу, в этом издании (в журнале «Навоз Парнасский») были помещены стихи самого Гоголя, правда, «в приятельской переделке Прокоповича», и обречены они были на эту расправу всем литературным кружком в силу своих, как считали, низких художественных достоинств. «И те из бойких стихослагателей, — включает мемуарист, — которые в стенах гимназии трунили над его неудачными литературными попытками, с какою



недоумевающею завистью смотрели впоследствии на славу талантливо-го сатирика!» (ИВ, 1892, № 12, с. 695).

За недостатком более точных сведений, очевидно, нельзя исключать ни ту, ни другую возможность — ни то, что в «Парнасском Навозе» Гоголь пародировал других авторов, ни то, что здесь могли быть помещены пародии на него самого. Нужно только добавить, что рассказ Любича-Романовича, если он верен, — приурочен к более раннему времени: в июне 1826 года Любич-Романович уже покинул Нежин<sup>20</sup>. Да и Гоголь в последние два года своей гимназической жизни чувствовал себя увереннее и меньше давал поводов для насмешек. Кроме того, подтрунивать над ним было уже небезопасно: силу его острого слова извели многие.

Комизм и сатира были органической потребностью Гоголя; тем не менее произведения этого рода ставились им пока очень невысоко. «Гоголь был комиком во время своего ученичества только на деле: в литературе он считал комический элемент слишком низким» (Кулиш, 1854, с. 16). «Ни я сам, ни сотоварищи мои, — говорится в «Авторской исповеди», — упражнявшиеся также вместе со мной в сочинениях, не думали, что мне придется быть писателем комическим и сатирическим».

Что же думал Гоголь о других своих «сочинениях» — не комических и не сатирических, какую роль отводил им в своем будущем? «Мысль о писателе мне никогда не всходила на ум», — утверждает Гоголь, — то есть «мысль о писателе» вообще. «Не всходила», так как он уже твердо выбрал «службу государственную».

Между тем у товарищей иной раз возникало и другое впечатление. А. Данилевский утверждает: «Сначала он [Гоголь] писал стихи и думал, что поэзия его призвание» (Шенрок, т. 1, с. 102).

Истинное же положение вещей, видимо, вырисовывалось несколько сложнее, чем это казалось товарищам. Да и слова Гоголя не следует понимать буквально. «Не думал» он быть писателем в том смысле, что твердо определил главное поприще своей деятельности. Но вместе с тем он вкладывал в свои литературные опыты столько душевных сил, придавал им такое значение, так упорно стремился к совершенству и к полноте самовыражения, что едва ли видел во всем этом лишь способ приятного времяпрепровождения или простые экзерсисы.

У молодого Гоголя (да и у более позднего) выстраивалась своеобразная иерархия жизненных задач и, соответственно, духовных способностей. Что-то выдвигалось на первый план, но что-то остава-

лось в тени и словно ждало своего часа. Гоголь позже скажет, что нужно испробовать все, испытать себя в разных направлениях. Это не отменяло главной жизненной цели, но как бы подстраховывало ее изнутри.

Да и в той традиции, которая так много значила для молодого Гоголя, — русского XVIII века, он находил опору для своих устремлений. Многие крупные литераторы того времени служили и занимали высокие должности. Г. Державин был губернатором олонекским и тамбовским, кабинет-секретарем Екатерины II, сенатором, министром юстиции. И. Дмитриев — обер-прокурором Сената, министром юстиции. М. Муравьев — товарищем министра народного просвещения. Д. Фонвизин — секретарем кабинет-министра И. П. Елагина, потом — секретарем руководителя Коллегии иностранных дел Н. И. Панина. Одно время служил и В. Капнист, будучи генеральным судьей в Полтаве. В сознании Гоголя все это оставило свой след, и предстоящая «служба государственная» рисовалась ему как бы в сопровождении литературных занятий и поэтической рефлексии, но пока, видимо, в обратном соотношении, не в таком, какое вышло в действительности: на первое место выступала служба, на второе — поэзия.

## «ПОД СЕНИЮ КУЛИС»

«Под сению кулис» (Пушкин) гимназического театра Гоголь нашел еще одну возможность для своей художественной одаренности — на этот раз артистической. Та любовь к сцене, которая зародилась в мальчишке еще в самые ранние годы, когда он присутствовал с родителями на спектаклях у Трощинского, теперь смогла проявиться деятельно, в первых самостоятельных опытах.

Увлечение театром в нежинской Гимназии, можно сказать, вспыхивало дважды. В первый раз это произошло в начале 1824 года, когда Гоголь был в V классе. В письме к родителям от 22 января он просит выслать «комедии», видимо, необходимые ему для театральных представлений: «Бедность и благородство души» и «Ненависть к людям и раскаяние» А. Коцебу и «Господин Богатов, или Провинциал в столице» М. Н. Загоскина. Это были весьма ходовые пьесы театрального репертуара тех лет, как столичного, так и провинциального.

Первый же спектакль, как сообщает Гоголь, должен быть поставлен по трагедии В. А. Озерова «Эдип в Афинах». Николаю поручена

роль Креона. Эдипа играл Базили (по другим источникам — Любич-Романович). Антигону — Данилевский: он был очень красив и строен, и ему всегда доставались роли девушек (Шенрок, т. 1, с. 104—105).

В том же письме к родителям Гоголь просит «прислать и сделать несколько костюмов, сколько можно, также хоть немного денег», из чего можно заключить, что в его обязанности входило и оформление спектакля.

Все это подтверждается воспоминаниями Любича-Романовича: «У нас, в гимназии, как-то на рождественских праздниках был устроен спектакль, наибольшее участие в котором принимал Николай Васильевич. Он расписывал роли, рисовал декорации, сооружал подмости, делал бутафорские вещи и даже шил костюмы. Сцена устроена была на чердаке, который ко дню представления приведен в порядок и изображал из себя очень порядочный зал. Шла трагедия «Эдип в Афинах». Гоголь играл Креона, я — Эдипа, остальных действующих лиц не помню. Многочисленные зрители состояли исключительно из товарищей, не успевших на праздники к родителям, профессоров и их семейств. Спектакль сошел хорошо, и Гоголя очень много хвалили...» (ИВ, 1892, № 12, с. 696).

Вторично театральная страда наступила в Нежине в начале 1827 года, когда Гоголь был уже в VIII классе. Вместе с товарищами он с радостным нетерпением ожидал это время. «Масленицу мы надеемся провести наилучшим образом, — сообщает он матери 1 февраля. — Театр наш готов совершенно, а с ним вместе сколько удовольствий». И спустя месяц, 26 февраля: «Масленицу всю неделю мы провели так, что желаю всякому ее провести, как мы всю неделю веселились без усталости. Четыре дня сряду был у нас театр...»

Новый театральный «сезон» выгодно отличался от предыдущего. Представления перенесли с чердака во второй музей, где располагались ученики средних классов. Оформлены спектакли были по всем правилам: «декорации были отличные, освещение великолепное»; «разыграли четыре увертюры Россини, 2 Моцарта, одну Вебера, одну сочинения Севрюгина и друг.» (X, 83, 85; Федор Емельянович Севрюгин — учитель музыки в Гимназии).

Расширился репертуар: были показаны «Недоросль» Д. Фонвизина, «Неудачный примиритель, или Без обеда домой поеду» Я. Княжнина, «Лукавин» А. Писарева и «Береговое право» А. Коцебу. Но кроме того, исполнялись пьесы на иностранных языках: как сообщает Гоголь, «две французские пьесы соч. Мольера и Флорияна,

одну немецкую соч. Коцебу» (X, 83; ср. 85). Новшество это произошло по инициативе дирекции, которая решила воспользоваться театральной страстью гимназистов, чтобы приохотить их к языкам.

И зрителей на этот раз собралось намного больше, причем не только из Гимназии. «Зрителями были, кроме наших наставников, — вспоминал Базили, — соседние помещики и военные расположенной в Нежине дивизии. В их числе помню генералов: Дибича (брата фельдмаршала), Столыпина (очевидно, Николая Алексеевича Столыпина. — Ю. М.), Эммануэля. Все были в восторге от наших представлений, которые одушевляли мертвенный уездный городок» (Шенрок, т. 1, с. 241). Гоголь писал матери «...посетителей много, и все приезжие, и все с отличным вкусом»; «к чести нашей, признали единогласно, что из провинциальных театров ни один не годится против нашего» (X, 83).

Последняя фраза особенно ценная: публике, собравшейся в гимназическом театре, было с чем сравнивать. На Украине хорошо знали много замечательных трупп, в том числе Штейна и Млатковского.

В театральных представлениях начала 1827 года ярко проявилось комедийное дарование Гоголя. Благодаря исполнению им роли Простаковой постановка «Недоросля» на гимназической сцене стала событием. «Видел я эту пьесу и в Москве, и в Петербурге, — говорит Базили, — но сохранил всегда то убеждение, что ни одной актрисе не удавалась роль Простаковой так хорошо, как играл эту роль шестнадцатилетний тогда Гоголь. Не менее удачно пятнадцатилетний тогда Нестор Кукольник, худощавый и длинный, играл недоросля, а Данилевский — Софью». Роль Стародума с его огромными нравоучительными монологами поручили Базили, благодаря его «необыкновенной в то время памяти». Опираясь на малоизвестные воспоминания Кукольника, можно назвать и других участников этого спектакля: Скотинин — А. А. Божко, Кутейкин — Н. П. Григоров, Цифиркин — Н. Н. Миллер, Вральман — В. М. Марков (Лицей, 1859, отд. 1, с. 21). Все они, кстати, одноклассники Гоголя.

Отличился Николай и в украинской пьесе. Что это за пьеса — не совсем ясно. Базили говорит, что ее сочинил сам Гоголь; согласно Т. Г. Пашенко, ее авторами были одновременно Гоголь и Прокопович. Кулиш же, опиравшийся на изустные предания и рассказы (в том числе и Прокоповича), пишет, что эту комедию «на малороссийском языке», игравшуюся на домашнем театре Трощинского, Гоголь привез в Гимназию из дома, после каникул, и что это была пьеса Василия

Афанасьевича «Собака-Вівця». К сожалению, пьеса известна нам лишь по очень краткому изложению сюжета, и мы не можем сказать, была ли там роль «немного старика-малоросса», которую с необыкновенным успехом сыграл Гоголь.

Т. Пашенко вспоминает: «Настал вечер спектакля, на который съехались многие родные лицейстов и посторонние. Пьеса состояла из двух действий; первое действие прошло удачно, но Гоголь в нем не являлся, а должен был явиться во втором. Публика тогда еще не знала Гоголя, но мы хорошо знали и с нетерпением ожидали выхода его на сцену. Во втором действии представлена на сцене простая малороссийская хата и несколько обнаженных деревьев; вдали река и пожелтевший камыш. Возле хаты стоит скамейка; на сцене никого нет. Вот является дряхлый старик в простом кожухе, в бараньей шапке и смазных сапогах. Опираясь на палку, он едва передвигается, доходит кряхтя до скамейки и садится. Сидит, трясется, кряхтит, хихикает и кашляет; да наконец захихикал и закашлял таким удушливым и сиплым старческим кашлем, с неожиданным прибавлением, что вся публика грохнула и разразилась неудержимым смехом... А старик преспокойно поднялся со скамейки и поплелся со сцены, уморивши всех со смеху» (Б, 1880, № 268).

Очень интересно упоминание Гоголя о том, что гимназисты поставили Мольера. Комментаторы академического издания считают: «...какие именно пьесы... игрались — неизвестно» (X, 406). Между тем Кукольник прямо называет эти пьесы — «*Medicin malgré lui*» («Лекарь поневоле») и «*Avare*» («Скупой»). А это проливает новый свет и на известное свидетельство Т. Пашенко: «В другой раз Гоголь взялся сыграть роль дяди-старика — страшного скряги. В этой роли Гоголь практиковался более месяца и главная задача для него состояла в том, чтобы нос сходил с подбородком... По целым часам просиживал он перед зеркалом и пригибал нос к подбородку, пока наконец не достиг желаемого... Сатирическую роль дяди-скряги сыграл он превосходно, морил публику смехом и доставил ей большое удовольствие» (Б, 1880, № 268).

Есть все основания предполагать, что «страшный скряга» — это Гарпагон, роль которого сыграл юный Гоголь<sup>21</sup>.

На театральном поприще продолжалось соперничество Гоголя и Кукольника. Нестор Кукольник с его нервным порывистым характером был неплохим актером, о чем свидетельствует успешное исполнение им роли Митрофанушки. Но не эта роль больше всего соот-

ветствовала его устремлениям. По словам А. Данилевского, Кукольник «обращал на себя внимание наклоном к драме и трагедии: когда он исполнял последнюю сцену трагедии Сумарокова «Дмитрий Самозванец», он, после эффектно произнесенных заключительных слов, падал на пол, как труп, чем производил сильное впечатление» (Шенрок, т. 1, с. 105).

Повинуясь господствовавшему вкусу, Гоголь тоже отдал дань драме и трагедии (вспомним роль Креона), что соответствовало «лирическому и сурьезному» направлению в сфере его литературного творчества. Однако на театре сильнее и откровеннее проявлялся его комический дар. Наметилась специфически гоголевская окраска юмора, состоящая в неподражаемой наивности и способности не обращать никакого внимания на зрителей или слушателей и полностью погружаться в самое дело, отчего комический эффект становился еще сильнее. С технической точки зрения Гоголь-комик идет по линии наибольшего сопротивления: ему нужно сыграть совсем «другого» — пожилую женщину (Простакову), пожилого скрягу, старика-украинца.

Как же смотрел сам Гоголь на свою актерскую деятельность, отводил ли ей какое-либо место в будущем?

Если в «Авторской исповеди» он утверждал, что «мысль о писателе» ему «никогда не всходила на ум», то это тем более должно было относиться к «мысли» об актерстве. Но я думаю, что и на этот раз дело обстояло не так просто.

Театр приносил Гоголю огромное, почти ни с чем не сравнимое удовольствие; он видел свою власть над другими; слышал восторженные отзывы товарищей, которые предрекали ему артистическое будущее. Т. Пашенко: «Все мы думали тогда, что Гоголь поступит на сцену, потому что у него был громадный сценический талант и все данные для игры на сцене: мимика, гримировка, переменный голос и полнейшее перерождение в роли, какие он играл. Думается, что Гоголь затмил бы и знаменитых комиков-артистов, если бы вступил на сцену». А. Данилевский: «Он был превосходный актер. Если бы он поступил на сцену, он был бы Щепкиным» (ВЕ, 1890, № I, с. 79). Все это знал и слышал Гоголь, и все это откладывалось в его сознании.

Повторяю, у него была своеобразная иерархия жизненных задач, во главе которой в это время находилась мысль о «службе государственной», но и другие «мысли», заронившись, продолжали скрытое

или полускрытое существование. Разумеется, это нельзя утверждать категорически, но далеко не случайно то, что спустя несколько лет, в Петербурге, на перепутье своей судьбы, Гоголь наряду с литературной карьерой попробует испытать счастье и «под сению кулис» императорского театра...

Вторая театральная страда в нежинской Гимназии заняла всю масленицу и должна была продолжиться на Пасху: «... к Светлому празднику заготавливаем еще несколько пьес» (X, 86). Ряд пьес удалось поставить: если на масленице, согласно Гоголю, театральные представления шли «четыре дня сряду», то к 16 апреля, как сообщал по начальству профессор Никольский, спектакли «уже шесть раз разыгрывались, при стечении немалой публики» (Лавровский, с. 58). Можно предположить, что в числе этих спектаклей были и малороссийские пьесы, и не упоминавшиеся прежде Гоголем «Чудаки» Я. Княжнина и «Хлопотун, или Дело мастера боится» А. Писарева, в которой Николай, по воспоминаниям, сыграл главную роль — Репейкина (Лицей, 1859, с. 21).

Готовился еще один спектакль — трагедия В. А. Озерова «Фингал». В этой оссиановской пьесе Гоголь должен был играть роль локлинского (т. е. скандинавского) царя Старна, человека коварного и мстительного; Кукольник — роль заглавного героя. Моину, возлюбленную Фингала и дочь Старна, представлял А. Л. Гинтовт, гимназист, шедший двумя классами младше, чем Гоголь.

Было проведено несколько репетиций, но затем дело внезапно приостановилось. «... Уже теперь не помню, что расстроило этот спектакль и весь наш домашний театр», — писал Кукольник.

А расстроили театр подспудные течения, интриги некоторых преподавателей. Больше всех ополчился против театральных представлений профессор Билевич. Так как этому человеку вообще довелось сыграть немалую роль в событиях, развернувшихся в Гимназии в последние годы, скажем о нем несколько подробнее.

Михаил Васильевич Билевич был уже в возрасте, он родился в 1779 году в Трансильвании, в городе Быстрица. Учился в Львовской гимназии, а затем продолжил свое образование в Львовском и Пештском университетах и в Пресбургской академии. В 1806 году был определен на должность учителя философии и латинского языка в Новгород-Северскую гимназию, откуда перебрался в Нежин.

Билевич был первым преподавателем, прибывшим в Гимназию по приглашению Ивана Семеновича Орлая, — уже 13 декабря 1821 года

он был утвержден профессором немецкой словесности. Помогло ему, по-видимому, его происхождение: у директора Орлая была маленькая слабость или, как выразился Н. Кукольник, «предилекция» к своим соотечественникам, карпато-россам, чем умели пользоваться сметливые люди. «Этой дорожкой влез на профессорскую кафедру простой сутяга, о чем потом много жалел Иван Семенович», — добавляет Кукольник, явно подразумевая Билевича. Очень скоро новый профессор показал себя в весьма неприглядном свете. Н. Ю. Артынов, бывший воспитанник Гимназии, называл Билевича «продажной душой» и говорил, что «он жил в разладе почти со всеми своими сослуживцами». «Студенты также терпеть не могли Билевича и не ходили к нему в гости, как к другим, хотя он неоднократно запрашивал их к себе, имея в виду замужество своих дочерей...» (РА, 1877, кн. 3, с. 193). Историк нежинской Гимназии Н. Лавровский, объясняя лаконизм и сдержанность биографической справки о Билевиче в «первом издании Лицейского сборника», пишет: «По всему видно, что дурного говорить не хотелось, а доброго не нашлось, или не нашло себе места, вследствие сохранившихся неблагоприятных воспоминаний» (Лицей, 1881, с. 231).

Одно из таких «неблагоприятных воспоминаний» связано с ролью Билевича в судьбе студенческого театра.

Однажды, проходя по коридору, профессор услышал стук молотков в одном из залов. Полюбопытствовав, что же там происходит, он увидел «различные театральные приготовления, как-то: кулисы, палатки и возвышенные для сцен особые полы». Все работы вели плотники под наблюдением надзирателя Адольфа Амана, который объяснил Билевичу то, что он и сам мог бы понять: гимназисты собираются ставить пьесы.

В тот же день, 29 января 1827 года, Билевич подал в конференцию прошение, в котором, описав все, что он увидел, заключал: «А как таковые театральные представления в учебных заведениях не могут быть допущены без особого дозволения высшего учебного начальства, то дабы мне, как члену конференции Гимназии, на которой лежит ответственность смотрения за нравственным воспитанием обучающегося юношества, безвинно не отвечать за мое о сем молчание перед высшим начальством, в случае нет от оногo особенного на это позволения [так!], почему, доводя о сем до сведения конференции, всепокорнейше оную прошу увольнить меня в том случае по сему предмету от всякой ответственности и, записав



сие мое прошение в журнал конференции, учинить о том надлежащее определение и донести о последствии сего гт. Окружному и Почетному Попечителям, ежели не имеется от оных на то позволения» (Сборник, с. 354).

Билевич не был ни нравонаблюдателем, ни надзирателем, ни инспектором; непосредственной ответственности он ни за что не нес; он сам отмечал, что заботит его все происходящее лишь как члена конференции, то есть как одного из многих. Иначе говоря, он боится, что пострадает из-за самого факта своего недоносительства, и спешит поскорее донести, по более поздней терминологии — *просигнализировать*, причем не только ближайшему начальству, но и высшему.

Исполняющий должность директора профессор Шапалинский (Орлай к этому времени оставил Гимназию, переехав в Одессу) не дал хода «прошению», пометив лишь на нем, что соответствующее разрешение «высшего начальства на театральные представления имеется». Тур спектаклей на масленице прошел благополучно, как и было задумано.

Но спустя несколько месяцев в театральную историю включилось другое лицо — старший профессор русской словесности П. Никольский. Отметив в своем рапорте, что гимназисты «не столько по-видимому учением преподаваемых предметов занимаются, сколько выучиванием театральных роль», Никольский также выразил сомнение, имеется ли разрешение о театре, поскольку ни ему, «ни другим членам конференции о том не известно». Беспокоил его и репертуар, который должен же кем-то рассматриваться и утверждаться, ибо пьесы «разыгрывались при стечении не малой публики и притом разыгрывались, как слышно, с какими-то собственными, только неизвестно чьими, дополнениями и прибавлениями». В заключение Никольский, так же как и Билевич, просит уволить его от всяких последствий — «в случае же какой-либо за упущение законного порядка конференциальных действий ответственности меня, как не участвовавшего в том, оной не подвергать и о сем представить на благоусмотрение обоим Господам Попечителям» (Сборник, с. 358).

На этот раз сигнал возымел свое действие. Рапорт Никольского датирован 16 апреля, а уже на следующий день Гоголь не без грусти сообщал матери: «Театр наш покуда остановлен...»

Прошло еще несколько недель, и всем стало не до театра, ибо спектакли на сценической площадке сменились жизненным спектаклем, куда менее безобидным и имевшим далеко идущие последствия.

## «Я ПРИМЕТИЛ У НЕКОТОРЫХ УЧЕНИКОВ НЕКОТОРЫЕ ОСНОВАНИЯ ВОЛЬНОДУМСТВА...»

Началось так называемое «дело о вольнодумстве». Вызревало оно медленно, подспудно, пока не разразилось громкими событиями, втянувшими в свой круговорот многих преподавателей и студентов, включая Гоголя, и отозвавшимися широко за пределами Гимназии. Но сначала — одно историографическое замечание.

Стараниями многих ученых — дореволюционных (Н. А. Лавровский, И. А. Сребницкий, В. И. Савва) и советских (Д. М. Иофанов, А. С. Стогнут, И. К. Кононенко, С. И. Машинский) — выявлено и проанализировано множество документов «дела о вольнодумстве», прослежен его ход. На эти материалы и выводы я буду в дальнейшем опираться. Однако сущность «дела» объяснена еще недостаточно и однобоко. Самый крупный дореволюционный биограф Гоголя В. Шенрок отодвинул эти события на периферию, чем вызвал упрек своего оппонента: история о «вольнодумстве» рассказана так, «как будто она разыгралась только из-за существовавших в Гимназии театральных представлений, которые одни из преподавателей одобряли, а другие — не одобряли» (Витберг, 1892, с. 14). С другой стороны, в работах советского периода заметно противоположное стремление — чрезмерно политизировать все происходившее, объяснять возникновение «дела» тем, что одна из сторон, а именно прежде всего профессор Белусов, «была единодушна с наиболее революционно настроенными декабристами», отстаивала «революционное учение» (Иофанов, с. 331, 319), словом, являла собою нечто вроде нежинского филиала декабристского общества в последекабристскую эпоху. Крайности этого взгляда были оспорены уже С. Машинским (Машинский, с. 118), однако подоплека имевших место событий остается непонятой.

Виновник «дела» Николай Григорьевич Белоусов (1799—1854) появился в нежинской Гимназии весной 1824 года. Он родился в Киеве в довольно благополучной семье, находившейся в родстве с Киселевским — директором так называемого «Капитула российских императорских и царских орденов». Пройдя курс философских наук в Киевской духовной академии, Белоусов поступил затем в Харьковский университет, который закончил очень рано, чуть ли не в девятнадцать лет, одновременно по двум специальностям — словесных и

юридических наук. В январе 1820 года Белоусов был определен в Киевскую гимназию старшим учителем русской словесности. По свидетельству Н. Кукольника, «Николай Григорьевич знал этот предмет превосходно. Одаренный необычайной памятью, он помнил годы рождения и смерти всех важнейших русских литераторов; но знание Белоусовым истории русской литературы от Кирилла и Мефодия до Пушкина не ограничивалось одной хронологией. Напротив, он разумел критический характер, достоинства, недостатки, склад слога каждого писателя, цитируя наизусть иногда отрывки из малоизвестных сочинений целыми страницами» (Лицей, 1881, с. 241).

Нет сомнения, что литературные знания Белоусова, современность художественных вкусов содействовали его популярности среди нежинских гимназистов, включая и Гоголя, а с другой стороны, возбудили ревность профессора словесности Никольского и толкнули этого в общем незлого и умного человека в стан противников Николая Григорьевича... Однако главным врагом последнего явился не Никольский, а Билевич. Он стал таковым еще до приезда Белоусова в Нежин, когда еще не знал о нем ничего, кроме имени. Произошло это так.

Несмотря на занятия словесностью, Белоусов считал основной своей специальностью юридические науки: в Харьковском университете, который он закончил, изучение этих дисциплин было поставлено весьма серьезно, прежде всего благодаря профессору Шаду. Поэтому когда Орлай (через преподавателя Мойсеева) стал приглашать Белоусова в Нежин для занятия места младшего профессора юридических наук, тот принял приглашение. Но с другой стороны, и Билевич решил сменить специальность и преподавать не немецкую словесность, а политические науки. Сделавшись старшим профессором еще до приезда Белоусова, он стал опасаться, что тот продвинется по службе и оттеснит его в сторону, хотя, по-видимому, это были ложные опасения: в Гимназии открылись две родственные кафедры — юридических и политических наук.

6 мая 1826 года Белоусов был утвержден младшим профессором юридических наук, а еще через несколько месяцев приступил к преподаванию. В 1825/26 учебном году он прочел в седьмом классе, в котором находился Гоголь, курс естественного права (Машинский, 1959, с. 112). Спустя год тот же курс прослушал Кукольник, бывший одним классом моложе Гоголя. Лекции произвели на Кукольника сильнейшее впечатление: «С необычайным искусством Николай Гри-

горьевич изложил нам всю историю философии, а с тем вместе и естественного права, в несколько лекций, так что в голове каждого из нас установился прочно стройный систематический скелет науки наук, который каждый из нас мог уже облекать в тело по желанию, способностям и ученым средствам» (Лицей, 1881, с. 242).

Кроме того, Белоусов читал государственное и народное право, а также римское право и историю римского права (Лавровский, с. 67). На его беду, старший профессор политических наук Билевич читал те же курсы, и сравнение выходило не в пользу последнего.

В июле 1826 года Белоусов получил еще одно назначение — стал инспектором, сменив в этой должности Мойсеева. По словам Кукольника, это еще больше увеличило популярность нового профессора. «Справедливость, честность, доступность, добрый совет, в приличных случаях необходимое одобрение — все это благодетельно действовало на кружок студентов...»

Гоголь не мог нарадоваться на происходившие под влиянием Белоусова перемены. 10 сентября он писал матери: «... теперь все приняло другой порядок. Пансион наш приметно начал улучшаться: стол теперь сделался у нас прекрасный, и этим всем обязаны мы нынешнему нашему инспектору». И через несколько дней, 16 ноября: «Пансион наш на самой лучшей степени образования, на степени такой, до какой Орлай никогда не мог достигнуть, и этому всему причина — наш нынешний инспектор; ему обязаны мы своим счастьем; стол, одяние, внутреннее убранство комнат, заведенный порядок, этого всего вы теперь нигде не сыщете, как только в нашем заведении».

Постепенно между Гоголем и новым профессором установились доверительные отношения. А. Данилевский рассказывал, что Николая «перед окончанием курса... заметил и стал отличать профессор Белоусов, которого он, в свою очередь, весьма уважал и любил» (Шенрок, т. 1, с. 102). Другой современник, черниговский помещик Н. Д. Белозерский, вспоминал о том, что, посещая в Нежине Белоусова, он «видал у него студента Гоголя, который был хорошо принят в доме своего начальника и часто приходил к его двоюродному брату, тоже студенту г. Божко, для ученических занятий» (Кулиш, 1856, т. 1, с. 100). Пожалуй, ни с кем из преподавателей Гоголь не имел таких хороших отношений, как с Белоусовым.

А вот отношение Гоголя к Орлаю заметно изменилось к худшему; юноша жалуется, что по вине директора авторитет Гимназии стал

падать и только теперь, с приходом Белоусова, положение исправляется. Орлай охладел к своим обязанностям: он собирался переехать в Одессу, чтобы занять там должность директора Ришельевского лицея. Возможно, он уже улавливал изменение атмосферы Гимназии, совершавшееся под влиянием Билевича (по словам Кукольника, он уже раскаивался в его приглашении), и предчувствовал недоброе...

Первое открытое столкновение Билевича и Белоусова произошло в июне 1826 года на частном экзамене по государственному хозяйству. Этот предмет вел Билевич, а Белоусов присутствовал на экзамене в качестве ассистента. Пользуясь своим правом, Белоусов стал задавать вопросы, которые повергли в затруднение и гимназистов и их наставника. Тогда Белоусов будто бы сказал: «Я вижу, что ни ученики, ни профессор ничего не знают» (Иофанов, с. 402). Может быть, слова были другие, но, во всяком случае Белоусов дал понять присутствовавшему на экзамене директору Орлаю и всем другим некомпетентность, а то и просто невежество Билевича. Такое уже не прощают. Все в Гимназии почувствовали изменение обстановки. По словам П. Редкина, с того времени, как Белоусов, не получив на свои вопросы «удовлетворительных ответов ни от студентов, ни от профессора ... Билевича, объявил во всеуслышание с запальчивостью и свойственной ему заносчивостью, в присутствии директора Орлая, что он находит недостаточными юридические познания окончивших курс юношей, долго таившаяся вражда... вспыхнула и между ними началась открытая война» (Лицей, 1881, с. 316).

Вскоре «открытая война» захватила и другую — внеучебную, бытовую сферу гимназической жизни. Надо сказать, что к концу пребывания Орлая на посту директора нравы в Гимназии стали более свободными. В работах советских исследователей это изменение толкуется однозначно — как распространение вольнолюбивых, чуть ли не революционных, «декабристских» идей и настроений. Но это не совсем так. Надзиратель Аман, например, доносил 28 августа, что пансионеры часто попадались пьяными, уходили в город, скрываясь у вольноприходящих, и т. д. (Лавровский, с. 47). Имели место и такие случаи, какие опишет позднее Гоголь во втором томе «Мертвых душ»: ученики «обзавелись какой-то дамой перед самыми окнами директорской квартиры». Наряду с этим фигурировали и «непозволенные стихи и книги», но к ним все дело не сводилось.

Назначенный инспектором, Белоусов повел борьбу с распущенностью нравов, при этом не очень отделяя вольности морального

свойства от чтения предосудительных произведений. 25 октября он доносил, что «некоторые воспитанники пансиона, скрываясь от начальства, пишут стихи, не показывающие чистой нравственности, и читают их между собою, читают книги, неприличные для их возраста, держат у себя сочинения Александра Пушкина и других подобных» (Лавровский, с. 48). А спустя несколько недель, 14 ноября, он представил и вещественное доказательство — оду Пушкина «на свободу» (т.е. «Вольность»), отнятую у пансионера Гребенкина (т.е. у Е. П. Гребенки, поступившего год назад в Гимназию).

Хотя Белоусов, по-видимому, искренне порицал чтение неподходящих для гимназистов произведений, но выдача обнаруженной рукописи была делом вынужденным. Почетный попечитель, уже имевший на этот счет какие-то сведения, распорядился провести строгое дознание. 6 ноября конференция вынесла решение отобрать «у воспитанников пансиона книги и рукописные сочинения, несообразные с делом нравственного воспитания» (Иофанов, с. 410), и только после этого Белоусов представил оду «на свободу».

Он заявил при этом, что отобрал и другие «книги и бумаги», однако от представления их всячески уклонялся, в чем его неоднократно обвинял Билевич. Очевидно, Белоусов стремился уберечь владельцев этих материалов — гимназистов от гнева начальства. Тем более, что над тремя учениками начальственный гром уже разразился: 26 октября пришло предписание почетного попечителя исключить из Гимназии Н. Прокоповича, А. Данилевского и П. Мартоса (Машинский, 1959, с. 68). Двое последних действительно покинули Гимназию, Прокоповичу же удалось избежать наказания. Правда, Данилевский, проучившись несколько месяцев в Московском университетском пансионе, в конце 1827 года вернулся в Нежин, и Гимназию он и Гоголь оканчивали вместе...

Что же касается отобранной у гимназистов литературы, то Белоусов попытался отнести «таковые книги и бумаги ко времени инспекторства профессора Мойсеева» (Иофанов, с. 410). Поступок не очень корректный, однако, по-видимому, он имел свою предысторию. Став инспектором, Белоусов занял место Мойсеева, чем возбудил его ревность — как перед этим возбудил недобрые чувства Билевича. Так у Николая Григорьевича появился еще один враг.

В январе следующего, 1827 года «открытая война» сконцентрировалась вокруг гимназического театра. В своем известном уже нам прошении от 29 января Билевич ни разу не упомянул имени Бело-

усова, но всем было ясно, в кого он метит, говоря о готовящихся театральных представлениях «без особого дозволения высшего учебного начальства».

Первую атаку Билевича на театр удалось отбить, спектакли состоялись; при этом гимназисты знали, чьими усилиями достигнута победа. Сообщая о театральных представлениях на масленицу, Гоголь писал 19 марта 1827 года Г. Высоцкому: «Все возможные удовольствия, забавы, занятия доставлены нам, и этим всем мы одолжены нашему инспектору. Я не знаю, можно ли достойно восхвалить этого редкого человека. Он обходится со всеми нами совершенно как с друзьями своими, заступает за нас против притязаний конференции нашей и профессоров-школяров».

После вторичного, принадлежащего Никольскому, рапорта о театральных представлениях, после их приостановки (в конце апреля того же года), после обмена с Белоусовым несколькими прошениями, которые по ритуалу читались в конференции, — Билевич решил нанести окончательный удар. 7 мая он подал рапорт, в котором собрал все предосудительные факты, какие можно было собрать. Мол, пансионер Григоров, прохаживаясь по коридору, толкнул нравонаблюдателя Персидского, а другой пансионер, также ученик 8-го класса, Гоголь-Яновский небрежно ответил на вопрос Билевича, показывая всем своим видом неуважение к наставнику; в классе еще была драка, а из музеев доносились «крик и пение неприличных... песен» — и все это подводило к выводу, что «действительно не имеется надлежащего смотра» «со стороны г. инспектора, по новости и малоопытности его в сем деле».

А затем Билевич переходил к самому главному: «Равномерно необходимою обязанностию для себя поставляю, как старший профессор юридических наук, сказать, что я заметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства, а сие, полагаю, может происходить от заблуждения в основаниях права естественного, которое, хотя и предписано преподавать здесь по системе г-на Демартини, он, г-н младший профессор Белоусов, проходит оное естественное право по своим запискам, следуя в основаниях философии Канта и г-на Шада...» (Сборник, с. 363—364).

Тут все доводилось до первопричины: оказывается, и неповиновение, и дерзость, и непозволительное увлечение театром вытекали из вольнодумного образа мыслей, а последний объяснялся порочностью преподавания, злонамеренным уклонением от предписанных

установок. Это уже было обвинение политическое. Билевич прекрасно сумел использовать специфику той дисциплины, которой занимались и он, и Белоусов. Коли эта дисциплина общественная и, как будут позднее говорить, идеологическая, то вот вам и разгадка всего: он, Билевич, преподает свой предмет правильно, а Белоусов — неправильно. И на памятном экзамене Белоусов придирался к Билевичу не просто так, но по причине вредного и опасного направления своих мыслей, в то время как он, Билевич, отстаивал дело правое и законное. И выходит, что вражда двух профессоров вовсе не личная и не случайная, а принципиальная и закономерная... Не все это было высказано в представленном рапорте «открытым текстом», но легко подразумевалось, выводилось из главного обвинения.

Мимо такого обвинения уже нельзя было пройти, и начальство на него отреагировало. Так официально началось «Дело о вольнодумстве».

После отъезда Орлая в Одессу обязанности директора Гимназии временно были возложены на Шапалинского. Казимир Варфоломеевич Шапалинский (1790 — ум. после 1843), старший профессор математических и естественных наук, приглашенный еще первым директором В. Кукольниковом, принадлежал к лучшим преподавателям Гимназии. По словам П. Редкина, он соединял «в себе отчетливое и стоящее в уровень с современностью знание своего предмета с любовью к нему, возбуждающею всегда любовь и в учениках» (Лицей, 1881, с. 315). У Гоголя с Шапалинским тоже установились довольно хорошие отношения, несколько даже выходившие за официальные рамки: Казимир Варфоломеевич бывал у Трощинского в Кибінцах. Естественно, что такой человек, как Шапалинский, с неодобрением наблюдал за развивающимися событиями и старался не обращать внимания на опасные инвективы Билевича. Впоследствии он за это поплатился...

Но на рапорт Билевича от 7 мая требовался ответ, тем более что Белоусов представил тетрадку, содержащую, по его словам, ученический конспект лекций естественного права. Того самого курса, в котором, согласно Билевичу, скрывались ядовитые семена вольномыслия. Белоусов надеялся, что эти обвинения будут опровергнуты самим текстом его лекций. И вот 4 июля конференция поручила разбор тетрадки протоиерею и законоучителю Павлу Ивановичу Волынскому.



«...Привлечение к делу законоучителя составляет оригинальную часть Нежинской истории, не находящую себе соответствия ни в Петербургской, ни в Харьковской историях», — отмечал дореволюционный исследователь (Лавровский, с. 97), сравнивая происходившее в Нежине с недавними репрессивными акциями в Петербургском и Харьковском университетах. Однако, по-видимому, Шапалинский не ждал от законоучителя ничего плохого. Волынский слыл добрым и снисходительным человеком; кроме того, его недостаточная компетентность (Волынский хотя и читал этику, или нравственную философию, но не пошел дальше традиционного руководства Баумейстера) позволяла надеяться, что он не будет слишком сильно вгрызаться в текст. Но вышло все наоборот. Через несколько дней Волынский представил в конференцию разбор (датировано 20 июля), в котором объявил многие суждения Белоусова целям «воспитания юношей несоответственными и с самым благочестием несообразными» (Иофанов, с. 369). По существу это подтверждало обвинение Белоусова в вольнодумстве.

Получив такую поддержку, Билевич усилил натиск. В начале нового учебного года специальным рапортом от 3 сентября 1827 года он потребовал от конференции запретить Белоусову преподавание юридических наук вообще, «ибо во всякой из этих наук при таковых ко заблуждению ведущих основаниях, коих он иначе читать, как сам сказал, не может, опасно для неопытного юношества всякое подобное преподавание оных» (Стогнут, с. 180). Это уже было равносильно объявлению человека политически неблагонадежным.

Спустя несколько дней вновь вспыхнул конфликт, так сказать, на театральной почве, причем в его центре оказался студент выпускного, 9-го класса Гоголь.

Проходя 26 сентября в начале 5-го часа по коридору, Билевич и Иеропес, профессор греческого языка, заметили юношу, скрывшегося за дверями того зала, в котором располагался театр. Профессора устремились по следам юноши, но оказались перед закрытой дверью. На помощь был призван экзекутор С. И. Шишкин. Наконец все трое проникли в помещение и установили, что бежавший по коридору был Яновский, а с ним еще находились его одноклассник В. Марков и гимназисты помоложе — братья Пашенко, Тимофей и Андрей, и С. Гютен. Возможно, они обсуждали театральные дела, готовились к возобновлению спектаклей (неизвестно, состоялось ли оно), однако Билевич истолковал все это иначе. В специальном рапорте в конфе-

ренцию он заявил, что подошел к пансионеру Яновскому и спросил его, «зачем они таились здесь и не отворяли дверей», на что «Яновский, вместо должного вины своей сознания, начал с необыкновенной дерзостью отвечать мне свои разные суждения и при этом более, нежели сколько позволяют ученические границы благопристойности. Я, видя сильное его разгорячение и даже наглость в преследовании меня, я вместо наставлений, ему до сего деланных, начал уже просить его, чтобы он оставил меня; но он, как бы не слыша сего, с упорством до дверей и за двери преследуя меня с необыкновенною дерзостью, кричал против меня и сим возродил во мне сомнение, не разгорячен ли он каким-либо крепким напитком» (Сборник, с. 368). Обвинение в пьянстве (опровергнутое, как мы увидим, последующим разбирательством) должно было рикошетом еще раз ударить по Белоусову. Мол, последний утверждает, что «крепкие напитки» водились при прежнем инспекторе и что теперь с этим покончено, а нет, все осталось по-прежнему... В действительности же Гоголь, наверное, просто дал волю своему комическому, пародийному таланту, позволив себе несколько поиздеваться над Билевичем. Таким образом Николай и его товарищи выразили свое отношение к этому педанту и кляузнику.

В тот же день исполняющий обязанности директора Шапалинский распорядился провести расследование эпизода. На заседание конференции один за одним были введены все пять гимназистов, а затем, как гласит протокол, «освидетельствованы от г. доктора медицины Фиблига и найдены не только трезвыми, но без малейшего признака хмельных напитков» (Сборник, с. 371). Клевета Билевича была опровергнута. Белоусову и Шапалинскому удалось на этот раз дать ему отпор. Но это была отнюдь не победа.

Через несколько дней, 8 октября 1827 года, в Нежин прибыл новый директор Гимназии Данило Емельянович Яновский, и «дело о вольнодумстве» вступило в заключительную стадию.

## **«...ТАМОШНИЕ ПРОФЕССОРА БОЛЬШИЕ БЕСТИИ»**

Но вначале — о сущности обвинений, предъявленных Белоусову.

Все советские исследователи, касавшиеся «дела о вольнодумстве», совершенно не обращали внимания на такой факт: главным компрометирующим материалом против Белоусова оказалась предъявленная

им самим тетрадка. Именно на основе этой тетрадки протоиерей Волынский сформулировал обвинения, которые стали затем варьироваться в других документах. Значит, Белоусов не сознавал грозившей ему опасности, не видел криминала в упомянутой тетрадке. Поэтому в дальнейшем ему пришлось оправдываться, говорить, что его слова извращены, и объяснять, в чем состоял их реальный смысл.

Например, по Белоусову, «предмет права есть то, чем человек посредством его права исключительно располагать может»; «предмет врожденных прав может быть только в самом человеке». Волынский увидел в этом опасность беззакония: «Такая неопределительная одним чувственным миром ограниченность ведет к заблуждениям материализма» (Иофанов, с. 366, 367). Но Белоусов вовсе не собирался отвергнуть «законы»; он лишь полагал, что «предмет нашего права, какого бы то ни было, должен быть определен прежде изложения науки о правах, дабы дать точное о них понятие и дабы мы тотчас усмотрели то, что не есть предметом нашего права».

Далее Волынский напоминал Белоусову, «что человек существует не в одном чувственном, но и в духовном мире». Но у Белоусова вначале «рассматриваются только такие права, кои человеку как существу чувственно разумному принадлежат по одному его существованию в чувственном мире <...> следовательно, что принадлежит к духовному миру (здесь) и касаться не должно, иначе все смешалось бы и преподающий и слушающие не выпутались бы из противоречий» (Иофанов, с. 395).

Белоусов выступал против смешения, за строгую постановку проблемы. Как известно, само понятие естественного права строится на таком разделении: положительное право существует в действительности, в конкретных обществах и государствах; естественное же — идеально, умозрительно. Поэтому естественное право противостоит положительному как совершенная норма несовершенной реальности и как нечто постоянное и твердое — изменчивому и текучему.

Именно по поводу такого разделения и законности существования права естественного Н. Кукольник позднее писал: «Кому из занимающихся науками теперь не известно, что теория многих знаний нередко стоит за пределами возможной действительности, но необходима как мета, к которой наука в применении своем должна стремиться постоянно, хотя и медленно, к ней приближаясь, постепенно совершенствоваться. Но тогда многие положения <...> показались чем-то возмутительным, опасным, предосудительным...» (Лицей, 1859,

с. 21). «Тогда» — это в Нежине, в Гимназии высших наук, в связи с «делом о вольнодумстве». Хотя в Гимназии признавалось естественное право как специальная дисциплина, но на практике от нее требовали, как говорил Волинский, «ограничения чрез понятие и разнообразности с законом». Услышав слова «права человека», Билевич и Волинский возмущенно восклицали: где же обязанности к Богу, к государству, обществу? Где обязанности «к наставникам, к начальству и вообще к ближнему, даже и к самому себе»?

На что Белоусов отвечал: «Нужно было рассмотреть, какие права принадлежат человеку по одному только его существованию в мире чувственном; потом, допустивши сии права, показать, что человек сих прав, хотя оные ему принадлежат по его природе, защитить и сохранить не может, доколе он не находится в обществе гражданском, в коем верхняя власть оберегает и защищает права всех и каждого, а потому без совершенного беспрекословного повиновения верховной власти не достигается состояние человека на праве основанном...» (Иофанов, с. 384).

Положение о естественном праве в принципе, конечно, отрицает привилегии «уже потому, что опирается на самую давнюю и прочно обоснованную из всех привилегий — привилегию быть человеком» (Леонтович, с. 4). Однако это положение не отвечает на вопрос, каким путем должна быть достигнута цель — консервативным, либеральным, радикальным или революционным. Противники же Белоусова не замечали или не хотели заметить различия цели и средств.

Сильно смущал их и логический, индуктивный способ выведения естественного права: «...если разум человеческий берется за начало правоучения естественного, без подчинения сего самого разума высшему закону, какова есть для всех творений и для самого человека воля Божия, то таковое начало легко быть может обращено в худое направление юных умов» (Иофанов, с. 366). Между тем, если можно так сказать, тенденция к интеллектуализации отличала развитие естественного права в Западной Европе. Эта тенденция пронизывала книгу немецкого ученого Ф. Шмальца «Право естественное» (русский перевод — 1820 г.), на которую, как установил С. Машинский, опирался Белоусов. Во введении к этой книге, написанном ее переводчиком Петром Сергеевым, отмечалась заслуга голландского юриста Гуго Гроция: «Он первый отделил правоучение от богословия, которые прежде сего были смешиваемы», однако действовал нерешительно, выводя начало права то из «разума», и «общежития», то «из опыт-

ности» (Шмальц, с. 13). Перелом осуществил Кант; его последователи «на основании началоположений великого преобразователя области умозрений верными признаками отличили правоучение от наук сродных и соприкосновенных <...> приняли и объяснили формальное начало права, в полной мере удовлетворяющее требованиям чистого разума» (там же, с. 21). Точно так же расценивал заслугу Канта Белоусов: «Кант своею критикою чистого и практического ума <...> сделал совершенный переворот в философии германской. Его критический метод философствования имел влияние на все науки и, следовательно, в особенности на этику и естественное право. Кант в метафизических начальных основаниях правоучения совершенно отличил и отделил этику от науки права» (Иофанов, с. 390).

Вот эту формально-логическую постановку вопроса никак не могли уразуметь Билевич и Волынский, которым виделось здесь покушение на законность и религию. Их более устраивал эклектизм и морализованное Де Мартини, чья книга «Positiones de lege naturae» была рекомендована в качестве официального учебника естественного права. Об этом самом Мартини во введении к книге Шмальца говорилось, что он искал начало познания естественного права «вне разума», а именно в «воле Провидения, в его целях» (Шмальц, с. 19–20). Добро бы еще Билевич твердо придерживался Мартини, но он смешал его систему с «системой новейшей», то есть кантовской. На упомянутом выше экзамене в июне 1826 года и еще на другом экзамене, по естественному праву, в июне следующего года, Белоусов ловил Билевича на противоречиях, непонимании сути предмета, а то и прямом невежестве; последний же представил дело так, будто бы он защищал устои, а Белоусов их подрывал. Но если бы это даже и отвечало взглядам Белоусова, не стал бы он подобное делать на экзамене в присутствии исполняющего обязанности директора и многих преподавателей.

Шапалинский старался, как мог, приглушить обвинения, чтобы не дать вспыхнуть пожару. Но с прибытием нового директора Яновского, как мы сказали, дело получило решительный оборот.

Вскоре после приезда Яновского пришли две бумаги от исполняющего обязанности попечителя Харьковского учебного округа графа Виельгорского. Наслышанный о происходящем в Гимназии, — очевидно, от тайно доносившего Билевича — попечитель потребовал доставить ему все материалы, включая и представленные в конференцию ученические тетради. В распоряжении конференции уже

находилась тетрадь студента Маркова, одноклассника Гоголя, на основе которой был учинен строгий разбор лекций Белоусова; тем не менее новому директору этого показалось мало. Билевич давно уже говорил, что тетрадь Маркова исправлена Белоусовым и что есть другие тетради — студентов Филипченкова и Новохацкого, подтверждающие зловредность лекций по естественному праву. Новый директор учел этот сигнал, но решил не ограничиваться представленными тетрадями.

Н. Кукольник, в эту пору студент предпоследнего класса, рассказывает: «В одно прекрасное утро, как говорится, ящики наших столов подверглись строжайшему осмотру. Это было в половине 1827 года (точнее, 27 или 28 октября. — Ю. М.). У многих, в том числе и у меня, забрали разные бумаги» (Лицей, 1859, с. 20). Искали не сочинения гимназистов, а «классные записки естественного права».

А затем с 29 октября по 3 ноября были проведены допросы студентов. Допрашивали по всем правилам: вызывали по одному в конференцию, показывали вещественные улики — отобранные тетради, — снимали показания, а потом требовали подписать: «Сие показание собственноручно подписал ученик такой-то». Всего допросили девять человек, в том числе и Гоголя.

Странное, мрачноватое впечатление оставляют эти протоколы Дотошное и пунктуальное фиксирование фактов: кто и кому передавал тетрадки, какие в них вносились записи и исправления — все заставляет думать, будто расследуется тяжкое преступление. Свидетелей и подозреваемых ловят на противоречиях, пытаются загнать в угол, чтобы они, наконец, раскрыли всю подноготную...

Если говорить конкретно, то «следствие» больше всего интересовало два вопроса: насколько соответствует текст тетрадей лекциям Белоусова и каким образом читались эти лекции — по книге или по запискам. Нужно было читать «по книге», то есть по официально рекомендованному учебнику Де Мартини. Но у начальства были все основания полагать, что Белоусов нарушает требование, так как он не раз публично критиковал книгу и говорил, что будет читать естественное право по своим «запискам» (Стогнут, с. 180).

На оба вопроса гимназисты дали разные ответы, из которых зачастую один перечеркивался другим. Ученик VIII класса Федор Михно, ссылаясь на своего одноклассника Александра Новохацкого, показал, что «тетрадь просматривана и исправлена рукою профессора Белоусова», но опрошенный через два дня Новохацкий опроверг это

утверждение. Он отметил также, что некоторые положения в тетради сформулированы им самостоятельно, «не теми словами, какими объяснял профессор Белоусов». А ученик того же класса Ефим Филиппенко к тому же показал, что Белоусов «во время лекций выговаривал ученикам часто за неправильное истолкование его слов при повторении», замечая, что «он боится им изъяснить, потому что они в противную сторону толкуют его слова; и сие говорил он при лекциях естественного права» (Иофанов, с. 372). Это были весьма выгодные для Белоусова свидетельства, так как они освобождали разбираемые материалы от требований аутентичности.

Что же касается характера лекций, то одни говорили: Белоусов читал «по тетради собственной», другие — «из книги», третьи — не помнили, «приносил ли профессор Белоусов книгу для одного изъяснения или нет».

В ходе расследования выяснилось, что одна из тетрадок по естественному праву и его истории принадлежала Гоголю, который отдал ее Кукольнику. Последний же сделал с нее для себя список, а сам тетрадь передал Новохацкому. Список в дальнейшем оказался среди материалов следствия (так называемая тетрадка «С»): очевидно, он был взят у Кукольника во время обыска.

Так возникла необходимость вызова в конференцию Гоголя. Произошло это 3 ноября 1827 года.

Гоголевское «показание» — самое короткое из всех других. Прежде всего он подтвердил свидетельство Новохацкого, что «тетрадь истории естественного права и самое естественное право отдал в пользование Кукольнику; сверх того, Яновский добавил, что объяснения о различии права и этики профессор Белоусов делал по книге» (Иофанов, с. 378).

Легко увидеть, что если первый пункт просто констатировал уже известное конференции, то второй — добавлял важный факт в пользу Белоусова. Поскольку противники Белоусова никак не могли постичь, как можно преподавать естественное право, не смешивая его с этикой, не впадая в морализацию и устраняя вопрос о Боге и о начальстве («ничего не было преподано о должностях к Богу... к начальству»), то они упорно доискивались, на каком основании проводилось «различие права и этики». Гоголь показал четко: на основании «книги», то есть проверенного на благонадежность Де Мартини<sup>22</sup>.

Весьма рискованно и даже экстравагантно повел себя на допросе Кукольник. Помимо списка с гоголевской тетрадки (тетрадь «С»), у него во время обыска нашли еще кипу каких-то других тетрадей — не меньше восьми. На просьбу дать объяснение Кукольник заявил, что это его собственные выписки из «Философского словаря» Вольтера, «Общественного договора» Руссо, «Духа законов» Монтескье, из «Вечного мира» Канта... Подбор имен, словно специально рассчитанный на то, чтобы привести начальство в ужас. При этом Кукольник добавил, что если Вольтером и Руссо его снабдил одноклассник Родзянко, то Монтескье он брал у Любича-Романовича, «замечания из Ж.Ж. Руссо и Гюме» — у Высоцкого. Оба гимназиста еще полтора года назад закончили обучение и переехали в Петербург, а значит, проверить показание было невозможно. И вообще Кукольник специально оговорил, что все это было читано им еще «в пятом и шестом классе, до преподавания естественного права» (Иофанов, с. 376), то есть до Белоусова. Кукольник самоотверженно брал всю вину на себя, но вместе с тем рикошетом он наносил удар и по зачинщикам «дела о вольнодумстве», старшему профессору политических наук Билевичу и особенно прежнему инспектору Мойсееву, ответственному за нравственность гимназистов. Мол, вы сами виноваты в том, в чем обвиняете Белоусова, — в распространении вредных идей...

В общем, результат допроса складывался скорее в пользу Белоусова. Если бы Шапалинский находился у власти, Билевич снова получил бы отпор — как после театрального эпизода 26 июня, когда не подтвердилось обвинение против Гоголя и других студентов. Но теперь времена изменились. Новый директор явно был недоволен результатами расследования.

В мае и июне следующего, 1828 года был проведен повторный тур допросов студентов, отличавшийся некоторыми новыми чертами. Показания давались не конференции, а лично Ясновскому. И главное внимание было уделено уже не столько записи лекций и их соответствию учебнику, сколько фразе, якобы сказанной Белоусовым во время занятий, — эта фраза звучала прямым призывом к цареубийству. Так, Егор Котляревский показал, «что в 1826 году, когда он < ... > был в 7 классе, профессор Белоусов, во время чтения права естественного, говоря о верховной власти, обратил свой вопрос к ученикам: “Что, если государь дурак, подлец, то что вы думаете с ним”, и когда ученики замолчали, то Белоусов сказал: “Ну, изгнать его, убить”» (Иофанов, с. 406—407). «При сем случае, — добавляет допрашивае-



мый, — были в классе все ученики, которые теперь в 9 классе», а это значит, был и Гоголь, который и упомянут в протоколе допроса как возможный свидетель случившегося.

В советской литературе о Гоголе упомянутое показание было принято за чистую монету: «Белоусов <...> был сторонником революционного действия — он признавал необходимость свержения и даже убийства монарха, деспотически злоупотребляющего доверием народа» (Иофанов, с. 331; ср. Машинский, 1959, с. 159). Но даже если бы у Белоусова были подобные мысли, невозможно представить себе, чтобы он решился говорить об этом в 1826 году при полном классе учеников. Скорее всего, речь шла об обязанностях высшей власти, вытекающей из идеи общественного договора (ср. у Шмальца: «Чрез договор подданства между правителем и членами общества постановляются права власти, которые разным образом и в разных родах могут быть различаемы» — с. 107), а кто-то из слушателей понял мысль Белоусова по-своему. Это был один из тех случаев, когда, как он замечал, его словам придавался превратный смысл, а недоброжелатели, тайные и явные, распространяли слухи далеко за пределы Гимназии. Согласно свидетельству студента Алексея Колышкевича, о призыве Белоусова к цареубийству говорили в Чернигове, где профессору предрекали скорую ссылку; когда же Колышкевич поинтересовался, откуда все эти сведения, ему сказали, «...что сие у них известно и что глас народа — глас Божий» (Иофанов, с. 406).

Готовящиеся преступления и заговоры мерещились гимназическому начальству со всех сторон. Ученик младшего класса Е. Гребенка еще 29 февраля 1828 года сообщал родителям: «У нас три ученика открыты масонами: Змиев, Колышкевич и Родзянка; но это и здесь тайна, а потому прошу Вас сего нигде не рассказывать» (Гребенка, с. 525).

Далее, для нового тура допросов характерно то, что компрометирующие факты все решительнее выдвигались и против других преподавателей — против младшего профессора немецкой словесности Ф.О. Зингера, который якобы «часто заменял лекции рассуждениями политическими»; и против профессора французской словесности И.Я. Ландражина, дававшего гимназистам читать сочинения Вольтера, Гельвеция, Монтескье и др. Знал Ландражин и о чтении и переписке учениками стихотворения Рылеева, «закрывающего в себе воззвание к свободе» (Машинский, 1959, с. 177), скрыв этот факт от начальства.

Бесспорно, в Гимназии циркулировали запрещенные или нежелательные произведения, но отсюда еще нельзя делать прямых выводов о «революционном» и «декабристском» умонаправлении преподавателей и гимназистов. Не претендуя на освещение этого вопроса в целом (для этого недостаточно материала), ограничусь лишь замечанием о Гоголе. А именно — о чтении им вольнолюбивых стихов Пушкина.

В черновиках гоголевской статьи «Несколько слов о Пушкине», написанной позднее, в Петербурге, есть следующие строки: «Он был каким-то идеалом молодых людей. <...> И если сказать истину, то его стихи воспитали и образовали истинно-благородные чувства несмотря на то, что старики и богомольные тетушки старались уверить, что они рассеивают вольнодумство, потому только, что смелое благородство мыслей и выражения и отвага души были слишком противоположны их бездейственной вялой жизни, бесполезной и для них и для государства» (VIII, 602). Эти строки явно восходят к переживаниям, испытанным Гоголем в недавнюю, гимназическую пору его жизни. Мы помним, что Белоусов осуждал чтение учениками произведений вроде пушкинской «Вольности», полагая, что они принесут вред как «неприличные для их возраста». Гоголь как представитель такого «возраста» не считал это вредным, ибо видел в пушкинской поэзии источник движения и заряд «благородных мыслей». В то же время он отвергает толкование ее как рассадника «вольнодумства», и в этом смысле противники Белоусова, Зингера и других вполне подпадают под категорию бесполезных «для государства», лицемерных «стариков», видящих опасность там, где ее нет. По мнению же Гоголя, вольнолюбивые стихи Пушкина играют преходящую, но благотворную роль в возмужании молодых людей. Здесь отразился юношеский опыт Гоголя, не совпадающий ни с осуждением музыки Пушкина официальными кругами, ни с восприятием ее радикальными декабристскими силами<sup>23</sup>.

Возвращаясь же к новому туру допросов и расследования, нужно сказать, что теперь в глазах начальства дело обрело все более определенные и угрожающие черты. Оказывается, действовал не один Белоусов, но еще Зингер, Ландражин и еще во всем потворствовавший им бывший исполняющий должность директора Шапалинский.

Еще не закончился вторичный допрос студентов, как в истории «дела о вольнодумстве» наметилось новое явление — отречение некоторых защитников Белоусова от своих прежних показаний. 21 мая,

за несколько дней до экзаменов, явился отец Николая Родзянко и объявил, что его сын не давал Кукольникову книг Вольтера и Руссо и что оговорил он себя по наущению Кукольника. А через год, в июне 1829 года (Гоголь в это время уже закончил Гимназию и жил в Петербурге), от своих показаний отказался и Кукольник.

Брат его Платон, преподававший некогда в нежинской Гимназии латинский язык, а теперь работавший в Виленском университете, явился к Ясновскому и представил письменное признание Нестора. Последний объяснял, что составил свои записки не до прихода Белоусова, а «с того времени, как начал... слушать естественное право», то есть при Белоусове, и что дал он свои ложные показания, так как находился «в ближайшем надзоре и власти инспектора» и боялся его мести. Кроме того, говорил Кукольник, на этот шаг его толкнул профессор Зингер, с которым он якобы советовался: Зингер «совершенно расположил меня к изъяснению вышеупомянутых показаний и уверял меня, что я не могу подвергнуться за то никакой ответственности». В заключение Кукольник выражал готовность подтвердить под присягой истинность своих новых показаний (Лавровский, с. 114—115).

Станный, неожиданный шаг... Как его объяснить? Сказались некоторые психологические особенности Кукольника, о чем Белоусов писал еще до возникновения всей этой истории: «Характер его исполнен величайших неровностей...» В порыве благородства Кукольник не рассчитал свои силы; не раздумывая, он бросился на защиту Белоусова и, решив взять на себя всю вину, наговорил такое, что не имело никакого вида правдоподобия. Кто мог поверить, что еще в младших классах, до преподавания естественного права, мальчик делает выписки из немецких и французских книг для будущей диссертации? Кукольник даже не потрудился согласовать даты: он заявил, что один из его источников — выписки из журнала «Московский телеграф» «за 1826 г.», но это уже могло иметь место не до Белоусова, а при нем. Неудивительно, что Мойсеев тотчас назвал показание Кукольника «совершенно несправедливым и даже невероятным».

Далеко не все фиксируют протоколы и официальные бумаги, многое происходило за кулисами, тайно. Нет никакого сомнения, что Билевич и поддерживавшие его преподаватели обрабатывали студентов, склоняя на свою сторону. Кукольник же дал против себя такие козыри, впал в такие противоречия, что воспользоваться всем этим было весьма удобно. С другой стороны, нельзя исключать и той

возможности, что Белоусов или Зингер в целях самообороны также уговаривали студентов не давать рискованных и опасных показаний. Взяла верх в конечном счете группа Билевича: ведь у нее теперь была поддержка дирекции и, следовательно, возможность угрожать слушникам карой на экзамене и при выпуске.

Свое второе признание Кукольник, как он специально подчеркивает, составил «по окончании полного курса наук» и, следовательно, «будучи совершенно свободен». Но это не совсем искреннее заявление: впереди еще было присуждение чина. И тут Кукольник поплатился-таки за все — и раскаяние и отступничество ему не помогли. Несмотря на отлично сданный окончательный экзамен, решением министра ему отказали в полагающемся чине XII класса и в золотой медали: он был выпущен с простым свидетельством об окончании Гимназии.

Суровое наказание постигло и главных участников «дела о вольнодумстве».

В феврале 1830 года в Нежин для секретного разбирательства прибыл член Главного правления училищ Э. Б. Адеркас. Подготовив необходимые материалы, он через два с лишним месяца отбыл в Петербург, а еще через несколько месяцев, 26 октября, Николай I утвердил предложение министра просвещения Ливена — «профессоров Шапалинского, Белоусова, Ландражина и Зингера отрешить от должности за худое поведение и вредное на юношество влияние». При этом Николай сделал еще добавление: «Тех из профессоров, кои нерусские, выслать за границу. Русских же выслать на места родины, отдав под присмотр полиции...» (Машинский, 1959, с.194, 195).

А еще через некоторое время, в 1832 году, Гимназия лишилась своего широкого энциклопедического профиля и была преобразована в Лицей со специальным физико-математическим направлением.

Так кляуза одного человека о том, что он «приметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства», привела к жизненной трагедии нескольких человек, к перетасовке всего преподавательского состава, к разгрому целого учебного заведения.

С Зингером, Ландражином и Шапалинским Гоголь, по-видимому, никогда уже больше не виделся: первый как австрийский подданный был выслан за границу; второй — в Вологодскую губернию, а третий — в Вятку. Но с Белоусовым связь Гоголя не пресекалась, и, возможно, они даже и встречались — в 1830 году в Петербурге, куда Белоусов приезжал хлопотать о смягчении наложенного на него

наказания, или летом 1835 года в Киеве, где жил Белоусов и куда заезжал Гоголь по дороге из Васильевки в Петербург<sup>24</sup>.

Во всяком случае Гоголь сохранил самые добрые заочные отношения со своим бывшим учителем. 2 июля 1833 года он советовал своему другу — писателю и ученому М. А. Максимовичу: «Если вы будете в Киеве, то отыщите экс-профессора Белоусова. Этот человек будет вам очень полезен во многом, и я желаю, чтоб вы с ним сошлись». Через год, 27 июня, Гоголь повторяет свой совет: «...приехавши в Киев, ты должен непременно познакомиться с экс-профессором Белоусовым. <...> Скажи ему, что я просил его тебя полюбить, как и меня. Он славный малый, и тебе будет приятно сойтись с ним».

Спустя некоторое время, 18 июля и 14 августа, Гоголь обращается к Максимовичу с просьбой содействовать в устройстве на службу одного его петербургского знакомого — С. Д. Шаржинского. Тот хотел бы получить место в Киеве или где-нибудь в другом городе «киевского же округа», только не в Нежине. «В Нежин не изъявляет желанья, зная, что там более трудностей, потому что гимназия имеет особенные права и постановления, да притом знает, что тамошние профессора большие бестии, от которых уже товарищи его, вместе с ним воспитывавшиеся и бывшие там профессорами, пострадали». Шаржинский «воспитывался» в петербургском Педагогическом институте — там же, где и бывший исполняющий должность директора нежинской Гимназии Шапалинский; следовательно, именно Шапалинского (как указывает Иофанов) Гоголь в данном случае и подразумевал. При этом он выразительно охарактеризовал всю ситуацию в Гимназии, нравственную физиономию тех, кто затеял и довел до конца это дело, — «тамошние профессора большие бестии».

Оценивая «дело о вольнодумстве» в целом, надо сказать, что левизна Белоусова была его противниками значительно преувеличена. Мы уже касались того факта, что главные обвинения были построены на основе тетрадки, которую Белоусов сам же предоставил в распоряжение конференции как свидетельство своей полной невиновности, ибо он не видел за собою никакой вины. Добавлю еще один важный штрих. Обвиняющую сторону очень интересовало, какое пособие взял Белоусов для своего курса естественного права взамен отвергнутого им Де Мартини. И вот в декабре 1827 года, после прибытия нового директора Ясновского, после первого тура допросов студентов, Белоусов приоткрыл карты — письменно сообщил, что за руководство принята им книга «Jus naturae», изданная в русском

переводе в Петербурге, посвященная переводчиком тому, кто воспитывал «всеавгустейшего монарха нашего», то есть Николая I, который, «как говорит общее мнение между учеными», и был инициатором перевода. Имени же автора и того лица, кому посвящена книга, Белоусов в рапорте не назвал, из чего исследователи сделали далеко идущие выводы.

С. И. Машинский, установивший, что автор книги — это Шмальц, а преподаватель, которому посвящен русский перевод — профессор Балугьянский, объяснил факт умолчания политическими причинами. В свое время М. А. Балугьянский, первый ректор Петербургского университета, противодействовал разгрому передовой профессуры мракобесом Руничем и вышел в отставку. Мол, поэтому и Белоусов отмалчивался «относительно источника своих лекций, явно стараясь запутать и сбить с толку своих обвинителей» (Машинский, 1959, с. 135). Но все это вызывает сильные сомнения.

Во-первых, Балугьянский вовсе не принадлежал к персонам «нон грата»: При Александре I он ушел в тень, но при Николае I вновь вышел на сцену, стал начальником II отделения Собственной его императорского величества канцелярии, занимался кодификацией законов<sup>25</sup>. Во-вторых, довольно странный способ конспирации — привести множество опознавательных знаков, включая и обширную цитату из предисловия, и рассчитывать при этом, что книга никем не будет узнана<sup>26</sup>.

Добавим к этому, что Балугьянский был довольно известной личностью. В Нежине его могли еще знать по несомненной общности его судьбы с судьбою Василия Кукольника, первого директора Гимназии: оба были приглашены из Австрии на русскую службу в Петербург, оба в одно и то же время — 1813—1817 годы — являлись домашними учителями будущего императора Николая и его брата Михаила, оба по национальности были карпато-россами. Последнее обстоятельство скорее всего должно было обратить внимание на него и со стороны Билевича. Но даже если противники Белоусова не знали ни о Балугьянском, ни о посвященной ему книге, получить необходимые сведения ничего не стоило. Не надо было даже списываться с Петербургом: Белоусов указал в своем рапорте, что эта книга принята в качестве руководства в Киевской гимназии.

И тем не менее, завершая разбор дела, директор Ясновский доносил начальству, что Белоусов читал естественное право «по

своим запискам, а из *какого автора оные извлечены не объявил*» (Иофанов, с. 418). Создается впечатление, что обвинителям выгоднее было не знать (или делать вид, что не знают), чем установить реального «автора», ибо с помощью такого приема Белоусов оставался в подозрении какого-то более страшного и предосудительного на него влияния.

Билевич и другие сознательно радикализировали позицию Белоусова, которая не выходила за рамки либерализма — им важно было представить его чуть ли не бунтовщиком. Но подобному же преобразованию подвергается эта позиция и в нашей литературе, разумеется, из других побуждений и с заменой оценочных знаков — с минуса на плюс.

Особенность «дела о вольнодумстве» состояла еще и в том, что «пострадавшие профессора, с инспектором Белоусовым во главе, были *лучшими* профессорами» (Витберг, 1892, с. 15), обладавшими хорошими профессиональными знаниями, педагогическим умением, обаянием. А противники их были людьми отсталыми и, как правило (может быть, за исключением одного Никольского,) ограниченными, недалекими. Дарование и успех вызывают зависть — эта истина стара, как мир, но так же хорошо известно и то, что завидующий никогда не откроет другим (да и себе тоже) затаенные мотивы своего чувства и постарается облечь их в приличные одежды. Общество же всегда готово предоставить желающим такие одежды, среди которых самые ходовые — доспехи радетеля социального блага и искоренителя крамолы. «...Нет сильнейшего против профессора обвинения, как обвинения в вольнодумстве» (Стогнут, с. 186—187), — сказал Белоусов в самый разгар дела.

Основные обвинения против Белоусова и других были выдуманы, не соответствовали действительности, в чем твердо убеждены были студенты. П. Редкин прямо говорит о «клевете». К такому же определению прибегает и Н. Кукольник, что особенно важно. Мы говорили об отречении его от своих первых показаний в острый момент разбора дела; но вот когда страсти улеглись, спустя много лет, он подвел всему случившемуся такой горестный итог: «Кто не испытал ядовитого жала клеветы на этом свете, который зачастую неправильно называют *белым*? Кто обвинит и высшее начальство, которое, по человечеству, также доступно заблуждению? Оправдание Белоусова налицо. Кто из молодых людей, бывших в Нежине под непосредственным его влиянием, поступком или словом подтвердил

клевету обвинителей?...» (Лицей, 1881, с. 242). Кукольник хочет сказать, что никто из питомцев Белоусова не стал подрывателем основ и поэтому не подтвердил «клевету обвинителей».

К последней фразе Кукольника, пожалуй, необходимо лишь то уточнение, что в обществе, где неустойчивы и шатки основы правопорядка и правосознания, сама граница между дозволенным и запрещенным постоянно стирается и ускользает. Обвинить гораздо легче, чем защититься, поскольку высказанная мысль и совершенный поступок идеально могут быть продолжены в область невысказанного и несовершенного. Именно такому толкованию подвергались лекции Белоусова, и в этом смысле все «дело о вольнодумстве», конечно, сродни осуществленным несколько ранее мракобесным акциям в Петербургском или Казанском университетах.

А какое значение имело «дело о вольнодумстве» для Гоголя?

Именно из этого дела вынес Гоголь первое горькое ощущение, что лучшие намерения и желания, притом вполне законные, отнюдь не «бунтарские», могут встретить непонимание, стать предметом вольного или невольного искажения, клеветы, жестоких нападок. Эффект расхождения, разрыва субъективных планов и объективного результата, которые затем писатель будет наблюдать на своем собственном примере, едва ли не впервые он пережил во время преследования Белоусова.

В «деле о вольнодумстве» Гоголь со всей наглядностью убедился в силе зла и бессилии добра, ощутил хрупкость, нестойкость, скоротечность прекрасного — опыт, который будет затем подтверждаться многими крушениями, потерями и утратами: «прекрасное должно было погибнуть, как гибнет все прекрасное на Руси»; «непостижимо странна судьба всего хорошего у нас в России!» (X, 235, 228).

Наконец, именно в «деле о вольнодумстве» усилилось гоголевское ощущение алогичности и спутанности, когда жизнь словно выходит из колеи, и высшая власть перечеркивает те самые принципы, которые, казалось бы, приняты ею за основу. Потом Гоголь увидит подтверждение этому, скажем, в деятельности цензуры.

Однако следует напомнить, что «дело о вольнодумстве» завершилось уже после окончания Гоголем Гимназии, и полный его итог обозначился позднее. При Гоголе все шло к этому итогу, угадывалось им и переживалось, но впереди еще были решающие события — окончание ученья, о чем юноша думал с волнением и надеждою.



## БЛИЗКОЕ И ДАЛЕКОЕ

Летние каникулы перед последним классом Николай, как всегда, проводил в Васильевке, где на этот раз гостили его двоюродная тетя Варвара Петровна и двоюродные дяди Петр Петрович и Павел Петрович Косяровские.

Гоголь очень подружился с ними, особенно с дядями. Втроем работали в саду, совершали дальние прогулки — до мельниц, возвращались поздно к чаю или «на богатую коллекцию дынь». Ночевать отправлялись по шаткой лестнице на верхний этаж.

О Павле Петровиче сестра Николая Ольга вспоминала, что он «приютился» в их доме, «пока не нашел себе службу в корпусе экономом». Человек веселого нрава, Павел Петрович много содействовал той жизнерадостной, легкой атмосфере, которая установилась в то лето в Васильевке.

Но ближе Гоголю был другой дядя — Петр Петрович. К сожалению, сведения о нем чрезвычайно скудны. Со слов его сына известно лишь, что он был военным-артиллеристом, дослужился до полковника, владел имением в селе Белое Лужского уезда и умер в 1849 году. По словам сына Петра Петровича, Гоголь питал к его отцу «глубокое искреннее расположение» (РС, 1876, т. 15, с. 37).

Вначале это «расположение» еще далеко было от откровенности. «...Во все время бытия моего с вами, — пишет Гоголь к Петру Косяровскому, вспоминая о совместной жизни в Васильевке, — я ни разу не давал себя узнать, занимался игрушками и никогда почти не заводил речь о выборе будущей своей службы, о моих планах и пр.» Но потом, уже по возвращении в Нежин, все внезапно переменялось: получив от Петра Косяровского ободряющий ответ на одно свое письмо, Гоголь почувствовал к нему такую теплоту и доверенность, что открыл ему свою душу. Не «до дна», конечно, — всего Гоголь никому никогда не говорил, — но больше, чем любому другому, исключая, может быть, Высоцкого. Но с Высоцким он беседовал как с товарищем, посвященным — до определенной степени — в его планы, а с Петром Косяровским как со взрослым, способным принять и оценить его признание с высоты своего душевного опыта. Обращения Гоголя к Косяровскому имеют характер исповеди, причем нечаянной, неожиданной — «что-то непонятное двигало пером моим, какая-то невидимая сила натолкнула меня...».

Именно Петру Косяровскому (в письме от 3 октября 1827 г.) Гоголь признался, что хочет посвятить себя юстиции и что эта мысль

зародилась в нем «около трех лет» тому назад, то есть примерно в 1825—1826 годах, когда он стал слушать лекции профессора Белоусова. «Два года занимался я постоянно изучением прав других народов и естественных, как основных для всех, законов, теперь занимаюсь отечественными». Строки эти, кстати, показывают, что Гоголь следовал идее Белоусова о постепенном переходе от естественного права к положительному и о том, что первое является точкой отсчета.

В последний год пребывания в Гимназии у Гоголя окрепла мысль о переезде в Петербург, возникшая еще два с лишним года назад. «Во сне и наяву мне грезится Петербург, с ним вместе и служба государству», — пишет он 26 февраля Марье Ивановне. Об этом же он сообщает 3 октября Косяровскому: «...Может быть, мне целый век достанется отжить в Петербурге, по крайней мере, такую цель начертал я уже издавна». Шаг вполне логичный, естественный: только столица могла предоставить необходимое поприще для исполнения его далеко идущих служебных планов.

Каким-то образом в эти планы вписалась и мысль о заграничном путешествии. Гоголь обсуждал ее с Высоцким еще в бытность того в Нежине. В Петербурге же вокруг Высоцкого, который с 7 февраля 1827 года служил в Департаменте разных податей и сборов, составилась кружок друзей, мечтавших о совместной заграничной поездке, и Гоголь был, так сказать, заочно приобщен к этому проекту. «Ты уже и успел дать за меня слово об моем согласии на ваше намерение отправиться за границу. Смотри только вперед не раскаяться! Может быть, мне жизнь петербургская так понравится, что я поколеблюсь и вспомню поговорку: не ищи того за морем, что сыщешь ближе. Но уже так и быть; ты дал слово — нужно мне спустить твоей опрометчивости. Только когда это еще будет? Еще год мне нужно здесь да год, думаю, в Петербурге; но, впрочем, я без тебя не останусь в нем: куда ты, туда и я» (X, 98).

Через год с лишним Гоголь сообщает Петру Косяровскому подробности относительно предстоящей поездки: «Я еду в Петербург непременно в начале зимы, а оттуда Бог знает, куда меня занесет, весьма может быть, что попаду в чужие края, что обо мне не будет ни слуху, ни духу несколько лет...» (X, 132). Обратим внимание: путешествие должно быть долгим, очень долгим и происходить оно будет в полной неизвестности. Гоголь словно канет в небытие, чтобы затем внезапно возникнуть перед близкими и друзьями.

С этим вполне согласуется то, что говорил писатель позднее, в «Авторской исповеди»: «...Странное дело, даже в детстве, даже во время школьного ученья, даже в то время, когда я помышлял только об одной службе, а не о писательстве, мне всегда казалось, что в жизни моей мне предстоит какое-то большое самопожертвование и что, именно для службы моей отчизне, я должен буду воспитываться где-то вдали от нее. Я не знал, ни как это будет, ни почему это нужно; я даже не задумывался об этом, но видел самого себя так живо в какой-то чужой земле тоскующим по своей отчизне, картина эта так часто меня преследовала, что я чувствовал от нее грусть. Может бы<ть> это было, просто, то непонятное поэтическое влечение, которое тревожило иногда и Пушкина, ехать в чужие края, затем, чтобы, по выражению его,

Под небом Африки моей  
Вздыхать о сумрачной России».

Приведенные слова взяты из первой главы «Евгения Онегина», которую Гоголь прочел вскоре после ее выхода из печати в 1825 году, и его мечта «увидеть чуждые страны» складывалась, конечно, не без влияния господствующего эстетического вкуса, многочисленных литературных примеров, в том числе и пушкинского «романа в стихах». Но это мечта была и сугубо гоголевской, вытекала из глубокой потребности в самообразовании. Тут не интеллектуальное самообразование, не накопление сведений и знаний выступало на первый план (хотя и оно было важно: Гоголь в последний год пребывания в Гимназии проявляет большой интерес к литературе путешествий, например к «Письмам о Восточной Сибири» Алексея Мартоса — М., 1827), но некая этическая потребность. Путешествие рисуется ему как важный момент духовного воспитания, преодоления сурового искусства на пути к цели. Оно мыслилось в перспективе его великого служебного поприща, хотя не совсем ясно, каким образом должно было с ним совместиться; будет ли это то, что называют деловой поездкой, пребыванием в заграничном университете или неким жизненным вариантом литературного романтического бегства. Гоголь, по-видимому, искренен, когда говорит о том, что «не знал, ни как это будет, ни почему это нужно». Но тем не менее знал, что это нужно непременно.

В приведенном письме Петру Косяровскому обращает на себя внимание и такая деталь, как дальность путешествия: «Я отлучусь и слишком далеко (это и есть мое намерение)...» «*Слишком далеко*» —

так, пожалуй, не скажешь о путешествии ни в Италию, ни во Францию. В связи с этим определенный вес приобретают слова, сказанные биографу Гоголя А. Данилевским, — о том, что Николай собирался ехать в Америку (Шенрок, т. 1, с. 180). И это косвенно подтверждается еще одним свидетельством: позднее в связи с поездкой Гоголя за границу в 1829 году В. Я. Ломиковский передает его фразу, якобы оброненную им в письме к матери: «Я удивляюсь, почему хвалят Петербург, город сей более превозносится, чем заслуживает, и я, любезная маменька, намерен ехать в Соединенные Штаты...» (КС, 1898, т. 62, отд. 9, с. 123). Земляк Гоголя и наблюдатель жизни его семейства (надо сказать, недоброжелательный наблюдатель), Ломиковский, очевидно, что-то слышал или догадывался о планах дальнего путешествия и затем сконтаминировал эти сведения со словами Николая о Петербурге, содержащимися в письме к матери: «...Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал...»

В первой четверти прошлого века понятие Америки, образ Америки все решительнее входят в русское общественное и литературное сознание. Все чаще мелькает упоминание Соединенных Штатов в прессе; в «Московском телеграфе» за 1825 год (№ 19) — журнале, который усердно читался в нежинской Гимназии, — появляется первая статья, посвященная северо-американской литературе — «Об успехах просвещения и литературы в Соединенных Штатах». Выходят первые путевые отчеты русских, побывавших за Атлантическим океаном — «Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним» (СПб., 1810) Г. И. Давыдова и «Опыт живописного путешествия по Северной Америке» (СПб., 1815) П. П. Свинына. Последнее сочинение, выдержавшее два издания (им предшествовали еще журнальные публикации в «Сыне отечества»), приобрело довольно большую известность. Кстати, именно путешествие в Америку послужило стимулом для основания «Отечественных записок» — петербургского журнала, в котором позднее печатался Гоголь<sup>27</sup>.

Важный момент, конструирующий русский образ Америки, — ее за-предельность, за-граничность. Америка — крайнее выражение «за-предельного», так же, как Сибирь — крайняя точка «своего». Поэтому-то капитан Копейкин в черновой редакции «повести», изверившись найти правду в своем отечестве, оказывается именно в Америке: «...видя, что дело, так сказать, заварил не на шутку <?> и что преследования ежеминутно усиливались <...> он, сударь мой, за гра-

ницу, и за границу прямо, можете представить себе, в Соединенные Штаты...» (VI, 529). В судьбе капитана Копейкина словно отозвалось — в несколько травестированном, ироническом ключе — несостоявшееся путешествие самого автора...<sup>28</sup>

Но как крайняя точка запредельного образ Америки скрывает в себе значение яркой новизны, обновления. По представлениям конца XVIII — начала XIX веков, Америка, с ее ландшафтом и людьми — утерянный рай, забытый и вновь обретаемый; в таком духе на читателей воздействовали, скажем, «Атала» Шатобриана. «Человек, который в катастрофе утрачивает цивилизацию и должен все начинать сначала — таков идеал эпохи...» (Онаш, с. 59)<sup>29</sup>. И тут Америка парадоксальным образом сходится с Россией: обе страны еще не знали «цивилизации», а значит, и ее катаклизмов и начинают сначала, с первых построек, возводимых на свободном пространстве. «Из всего просвещенного человечества два народа не участвуют во всеобщем усыплении: два народа, молодые, свежие, цветут надеждою: это Соединенные Американские Штаты и наше отечество» (Киреевский, с. 78—79) — так несколько позднее, в 1829 году, будет определено сходство двух стран в московском альманахе «Денница». Продолжая аналогию, отметим, что и Сибирь как крайняя точка «своего» сходится с Америкой: если Россия в целом еще «не участвовала» во всеобщей истории, то тем более «не участвовала» Сибирь, и там, на сибирских просторах, тоже можно начинать все сначала... Эта мысль впоследствии скажется в планах продолжения «Мертвых душ».

Действительно ли Гоголь мечтал о поездке в Америку или это был ложный адрес (такое нельзя исключать, зная его характер и склонность к мистификациям), но во всяком случае идея путешествия переживалась им как нравственно-этический подвиг. Отсюда предельность: если уж ехать, то *очень далеко* и на *очень долгое* время и поступаясь своей известностью, а значит, и продвижением на служебном поприще. Это был вид душевного испытания или, как скажет позднее Гоголь, «большого самопожертвования», совершаемого ради вящего успеха и большей известности.

Известность и неизвестность — одна из главных осей размышлений и всего мироощущения молодого Гоголя. «...Мне всегда казалось, что я сделаю человека известным...» («Авторская исповедь»). «Казалось» — но все же в раннюю пору он был не чужд и сомнений на этот счет, которые приносили ему ни с чем не сравнимые муки. «Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может

быть, мне доведется погибнуть в пыли...» (X, 111). «Не знаю, сбудутся ли мои предположения <...> или неумолимое веретено судьбы зашвырнет меня с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности, отведет мне черную квартиру неизвестности в мире» (X, 101). «Исполнятся ли высокие мои начертания? или Неизвестность зароет их в мрачной туче своей?» (X, 112). Характерно действие, совершаемое Неизвестностью: она «зарывает», погребает человека.

«Страх смерти принимает форму страха перед погребением заживо» (Мочульский, с. 13) — образ, который пройдет затем через все творчество писателя. В юные годы погребению заживо синонимична именно Неизвестность, чей гнет оказывается непереносимым. Ведь физическое существование не пресекается, но создается духовный вакуум; человек заживо задыхается от недостатка кислорода. «Как тяжело быть зарыту вместе с созданными низкой неизвестности в безмолвие мертвое!» (X, 98).

Страх смерти — страх потери своего высокого предназначения или непроявленности его, или, наконец, просто его отсутствия. Это страх мелкости, заурядности, ординарности; страх быть таким, как все, ничем от других не отличаться, жить и умереть тривиально, как живут или жили миллионы. Это страх незамеченности и неотмеченности никем и ничем — ни окружающими людьми, ни временем, ни историей.

Преодолеть этот страх — значит быть уверенным, «что тебя заметят, оценят...». Выстраивается синонимический ряд: жить, быть замеченным, означать. «...Быть в мире и не означать своего существования — это было для меня ужасно». В понятии «означать» соединены и достоинство и его проявляемость; непроявленное достоинство для молодого Гоголя не существует: «...все мои силы будут порываться на то, чтобы означить ее [жизнь] одним благодеянием, одною пользою отечеству». Примут ли и осознают ли соотечественники предлагаемый дар — другой вопрос. Возможно, не примут и не осознают, но не смогут пройти мимо. Гоголь готов к непризнанности, но не к неизвестности. Неизвестность возможна лишь как временное состояние, жертвоприношение, ценою которого будет достигнута настоящая, прочная известность. Что же касается признания, то оно придет вслед за известностью, со стороны если не современников, то потомков.

У альтернативы «известность — неизвестность» есть пространственные обозначения: для первого — это центр, Петербург, а для вто-

рого — периферия, глушь («в самую глушь ничтожности»). Отсюда почти физиологическое отталкивание Гоголя от провинции и страстное стремление в столицу. В провинции, то есть в Нежине, он чувствует себя заложником или, может быть, случайным пришельцем из другого мира — из столицы, в которой он еще никогда не был.. Вместе с тем ясно, почему временный отказ от известности, а значит, «самопожертвование» мыслится как обратное пространственное перемещение — в сторону центра, от Петербурга, куда-то в запредельную даль. Если верно предположение, что таким преобразенным образом *предела* Гоголю мерещилась Америка, то понятно парадоксальное совмещение в этом образе мотивов прозябания и обновления: через прозябание достигается обновление, бегство и удаление от родины в конце концов приближают к ней.

Борьба с Неизвестностью ради самопроявления приобретает еще вид противостояния окружающим. «Ты знаешь всех наших существователей, — пишет он Высоцкому, — всех, населявших Нежин. Они задавили корою своей земности, ничтожного самодоволия высокое назначение человека. И между этими существователями я должен пресмыкаться... Из них не исключаются и дорогие наставники наши» (X, 98). «Существователь» не хочет или не может «означить» свою жизнь, у него нет желания или сил подняться над поверхностью и быть замеченным, а поэтому и гоголевское отношение к нему граничит с ужасом. «То, что не имеет значения, — не существует. Это знаки, наделяемые выражением, но лишённые содержания. При чтении их следует отбрасывать» (Лотман, 1970, с. 45). Нужно только добавить, что вместе с возникновением этого чувства возникла и мучительная проблема: позднее Гоголь напряженно будет работать над тем, как придать право на существование именно тому, что лишено содержания, так, чтобы при чтении «книги жизни» нельзя было «отбросить» ни одного персонажа...

Пока же «существователь» резко противостоит ему, Гоголю, порою противостоит агрессивно — развивавшееся в это время «дело о вольнодумстве» рождает печальные предчувствия: «Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принести ему (государству) малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние» (X, III). Но не слабее тревога от простого соседства с «существователями», масса которых подобна «мрачной туче», способной заживо похоронить человека в Неизвестности.

Чтобы не поддаться, нужна огромная сила сопротивления. Гоголю давно уже, примерно с весны 1825 года, когда он пережил кончину отца, было свойственно претворять тоску в деятельное состояние души, собираться внутренними силами, преодолевать уныние. Теперь это стремление становится отчетливее. Еще звучат время от времени меланхолические ноты, знакомые нам по произведениям 1826 года — «Новоселью» или записи в альбом В. Любича-Романовича, но слышна и другая мелодия — решительная и энергичная. Упомянутые произведения фиксировали позу «мечтателя»: «Свет скоро хладеет в глазах мечтателя...» и т. д. Теперь становится под сомнение само это понятие: «...Вы не почтете ничтожным *мечтателем* того, который около трех лет неуклонно держится одной цели...» «Да и кому бы я поверил и для чего бы высказал себя, не для того ли ... чтобы считали пылким *мечтателем*, пустым человеком?» (X, 112). «Вы меня называете мечтателем, опрометчивым, как будто бы я внутри сам не смеялся над ними. Нет, я слишком много знаю людей, чтобы быть мечтателем» (X, 123). Свойства, противоположные мечтательности, которыми Гоголь, по его мнению, обладает, — это «непоколебимое намерение к достижению цели», «железное терпение», проявляемые и упражняемые ежедневно: «...за что я всегда благодарю Бога, это за свою настойчивость и терпение, которыми я прежде мало обладал, теперь ничего из начатого мною я не оставляю, пока совершенно не окончу» (X, 133).

В письмах Гоголя, фиксирующих его последний гимназический год, немало язвительности по поводу тех, кто составляет массу «существователей», кто так или иначе противостоит его высоким помышлениям. «Что тебе сказать об наших новостях? <...> Дураки все так же глупы. Барончик, Доримончик, фон-Фонтик-Купидончик, Мишель Дюсенька, Хопцики здоров и невредим, и час от часу глупеет. Демиров-Мишковский, Батюшечка и Урсо кланяются по поясу. Мыгалыч чуть-чуть было не околел» (X, 81).

Тут действительно не сделано никакой разницы между учениками и их «дорогими наставниками»: обладатель целого набора прозвищ, от Барончика до Хопцики, — это, как мы помним, М. Риттер, всегдашний объект гоголевских насмешек и мистификаций. Осип Демьянович Урсо — учитель фехтования; в другом месте Гоголь назовет его «дрянью». Мыгалыч — гимназический сторож; «чуть-чуть было не околел» он, видимо, от перепоя. Батюшечка — это протоирей Павел Иванович Волынский, который, по свидетельству А. Данилевского,



был «большой враг Гоголя»; их взаимному недоброжелательству могло содействовать участие Батюшечки в преследовании профессора Белоусова. Наконец, Иван Григорьевич Демиров-Мышковский — надзиратель; в одном из следующих писем Гоголь вернется к нему: «Демиров-Мишковский здравствует, духом бодр (знает подкреплять его), всегда дежурит у нас и всегда иллюминирован красными огнями, за которую, однако же, иллюминацию открывают ему обширный путь из гимназии во все закоулки многолюдного мира». (X, 86). Гоголь отгачивает зубки на ближнем своем.

Но в то же время — и, кажется, впервые, — у Гоголя появляются ноты смирения и всепрощения. Нет, в насмешках и язвительности он еще не раскаивается, всей моральной глубины проблемы, корнящейся в смехе, еще не затрагивает; но он уже старается укрощать свою заносчивость и преодолевать обиду. «Все выносил я без упреков, без роптания, никто не слышал моих жалоб, я даже всегда хвалил виновников моего горя...» Он готов претворять не только уныние в деятельное состояние, но и неприязнь — в любовь («полюби врага своего») и зло — в добро. «Вы увидите, что со временем за все их худые дела я буду в состоянии заплатить благодарием, потому что зло их мне обратилось в добро» (X, 123).

## АВТОР И ЕГО ГЕРОЙ

В последний год пребывания в Гимназии, тайком от однокашников, тайком от родных, сочиняет Гоголь свое большое произведение, которое появилось позднее под названием «Ганц Кюхельгартен».

Факт написания поэмы в полной тайне от окружающих биографами писателя недооценен. При всей своей скрытности («Недоверчивый ни к кому, скрытный, я никому не поверял своих тайных помышлений...») Гоголь не утаил от друзей названия и тексты иных своих произведений, поведал — пусть не полностью, не до конца — о будущей служебной деятельности, посвятил их в планы заграничного путешествия. Но о «Ганце Кюхельгартене» он буквально не сказал ни одному человеку, даже не обмолвился ни одним намеком. Потому ли, что он не придавал этой вещи никакого значения? Скорее упомянутый факт подтверждает нашу мысль, что Гоголь в глубине души взвешивал и возможность литературной, поэтической деятельности, но был очень неуверен в своих силах, тем более что новое произведе-

дение писалось уже после «переворота» и отражало самые последние его эстетические устремления.

Но вначале — о хронологическом приурочении поэмы или, как Гоголь называет ее, «идиллии в картинах». На то, что она создана перед окончанием Гимназии, указывают помета на титульном листе первого издания — «писано в 1827» и затем фиктивное издательское предисловие: «Это произведение его восемнадцатилетней юности...» (18 лет Гоголю исполнилось в 1827 г.).

С тех пор авторская датировка произведения многократно и оспаривалась, и подтверждалась. Поэтому сразу же выскажу свою точку зрения. Думаю, «Ганц Кюхельгартен» задуман и в основном написан действительно перед окончанием Гоголем Гимназии (скорее всего, в последнем классе, т. е. в 1827—1828 гг.), что не исключает возможности доработки его перед самой публикацией, то есть уже в Петербурге, в первые месяцы 1829 года.

Для датировки поэмы, как правильно указал Г. М. Фридендер, большое значение имеют немногие содержащиеся в ней реалии, в частности то место, где описываются разговоры персонажей: они, обитатели немецкой деревни, рассуждали

про новости газет,  
Про злой неурожай, про греков и про турок,  
Про Мисолунги, про дела войны,  
Про славного вождя Колокотрони,  
Про Канинга, про парламент,  
Про бедствия и мятежи в Мадрите.

Подразумеваемое здесь — это события, имевшие место после 1822 года, скорее всего в 1826—1827 годах, когда военные действия между турками и греками достигли своего апогея. «Про Мисолунги», то есть Миссолонги, вспомнили, вероятно, в связи с тем, что 22 апреля 1826 года греческий гарнизон этого города, осажденного турками, предпринял отчаянную попытку выйти из окружения, но потерпел неудачу, взорвал пороховой погреб и погиб под развалинами вместе с ворвавшимися в Миссолонги солдатами противника. «Славный вождь» Теодорос Колокотронис (1770—1843), командовавший греческими повстанцами с 1823 года, в первые месяцы 1825 года находился в тюрьме, но был выпущен в середине того же года под давлением общественного мнения и затем принял активное участие в военных операциях. Джордж Каннинг (1770—1827), вначале министр иностранных дел, а потом глава кабинета, был с 1822 по 1827 год самым

видным государственным деятелем Англии. Персонажи гоголевской идиллии произносят его имя в определенном контексте — «про Каннинга, про парламент»; о выступлениях же Каннинга в парламенте петербургская газета «Северная пчела» (откуда Гоголь черпал все сведения) часто писала в конце 1826 года. Например, в № 140 от 23 ноября: «С великим нетерпением ожидают открытия парламента, в котором на сей год решены будут самые важные вопросы касательно внутренних и внешних отношений Англии...» В это же время «Северная пчела» часто помещала сообщения и из Мадрида о различных заговорах и волнениях (см., например, № 17, 119, 134, 150 за 1826 г.; № 81 за 1827 г.).

Все это позволяет думать, что писались гоголевские строки под свежим впечатлением от событий 1826—1827 годов.

Для хронологического приурочения идиллии важно еще одно место: ее главный персонаж Ганц посещает Афины.

Везде читает смутный взор  
И разрушенье и позор.  
Промеж колонн чалма мелькает,  
И мусульманин по стенам,  
По сим обломкам, камням, рвам,  
Коня свирепо напирает.

Как указал Г. Фридлиндер, «картина, которую рисует Гоголь, — это картина Афин, захваченных турками», когда пал последний бастион — Акрополь; произошло же это 5 июня 1827 года, и спустя месяц о случившемся сообщила «Северная пчела» (№ 80). Это тоже служит в пользу довода, что гоголевские строки писались по свежим следам, после июня 1827 года.

Но какова же верхняя граница возможного хронологического приурочения поэмы? «Картина XVI», повествующая о возвращении Ганца на родину, начинается так: «Ушло два года. В мирном Люненсдорфе...» и т. д. Г. Фридлиндер полагает, что действие этой «картины» происходит через «два года» после посещения Ганцем Афин, то есть в 1828—1829 годах. А поскольку трудно предположить, что в 1827 году, еще в Гимназии, Гоголь обдумывает сюжет, относя его на два года вперед, то, по мнению исследователя, есть «серьезные основания датировать не только последние картины «Ганца Кюхельгартена», но и всю поэму 1828—1829 гг. Во всяком случае, окончательный план поэмы сложился у Гоголя лишь в Петербурге...» (Фридлиндер, с. 131, 134).

Мне кажется, упомянутая фраза истолкована неточно: «ушло два года» не *после посещения Афин, а со времени ухода Ганца из родной деревни*; следовательно, и его возвращение, а вместе с тем завершение поэмы вполне уместается в хронологические рамки пребывания Гоголя в Гимназии. Именно в это время не только сложился «план» идиллии, но она в основном была и написана, хотя, как я сказал, нельзя исключать доработку и шлифовку текста в первые петербургские месяцы.

Центральный персонаж — во многом *alter ego* юного Гоголя, но не подобие, не биографический, не бытовой автопортрет. Красноречивые текстуальные совпадения между «Ганцем Кюхельгартенем» и письмами Гоголя нежинской поры приводились многими исследователями, начиная с В. Шенрока; но, быть может, важнее сходство в самой обработке, подаче мотивов.

Неизвестность — страшный жупел для Ганца, так же, как и для его создателя:

Душой ли, славу полюбившей,  
*Ничтожность* в мире полюбить?  
Душой ли, к счастью не остывшей,  
Волненья мира не испить?  
И в нем прекрасного не встретить?  
Существованья не *отметить*?

«Отметить» — это синоним излюбленного гоголевского «означить».

Страх перед неизвестностью равносителен страху перед могилой, в которой погребают заживо:

Себя обречь бесславью в жертву?  
При жизни быть для мира мертву?

И те, кого Гоголь называл «существователями», или просто люди незаметной судьбы — «живые обломки», «как гробы холодны». Характерна и метафора — старый пастор, который «давно к живущему остыл», говорит о себе: «Себя погреб в себе давно я».

Ганц рвется из обиденного мира, его не прельщают больше невеста Луиза, семейные радости, тихая деревенская жизнь:

... тайная печаль  
Им овладела; взор туманен,  
И часто смотрит он на даль,  
И беспокоен весь и странен.  
Чего-то смело ищет ум,

Чего-то тайно негодует;  
Душа, в волненьи темных дум,  
О чем-то скорбная тоскует;  
Он как прикованный сидит,  
На море буйное глядит.

В «тайной печали» Ганца, в стремлении его вдаль, в уходе из дома — во всем этом отразился типично романтический мотив бегства, знакомый Гоголю, возможно, по многим произведениям: «Теону и Эскину» В. Жуковского, «Рене» Шатобриана (русский перевод опубликован в «Московском вестнике» за 1827 г.) и, конечно, по южным поэмам Пушкина. Но узнаем мы в этом мотиве и характерно гоголевские интонации. Географически Ганц перемещается из Германии в Грецию, затем еще куда-то (картины XIV и XV отсутствуют), скорее всего, на Ближний Восток и в Индию, о которой он грезит в IV картине. Логически же путешествие означает то, что герой перемещается из периферии, провинции в центр, туда, где, по его представлениям, совершается настоящая жизнь. Он оставляет «пустыню», «угол тесный», «позаброшенную страну», где «душно и пыльно», и направляется в «райские места», в заповедный край, куда стекаются страждущие («как пилигрим бредет к святыне...»). Это вполне соответствует устремлениям самого Гоголя, преломленным через условно-поэтическую призму: никто не станет ожидать, что герой идиллии отправится в Петербург, ведь и проживает он все-таки не в Нежине, а в немецкой деревне Люненсдорф.

Что же касается конкретного смысла странничества, то исследователи склонны видеть коренное различие между автором и его героем. «...Гоголь свои мечты ограничивает готовой формой (государственная служба)...» (Гиппиус, 1924, с. 19), в то время как на какое-либо намерение Ганца, хоть чем-то напоминающее «службу», нет и намека. Вдаль его влечет иное:

Творцы чудесных впечатлений!  
Резец ваш, кисть увижу я,  
И ваших пламенных творений  
Душа исполнится моя.

Ганц мечтает увидеть Парфенон, творения Фидия, Паррасия, Зевксиса, услышать речь Софокла и Эпикура. Им движет «эстетический энтузиазм» (Гиппиус), не без примеси энтузиазма гедонистического: в Греции его волнует зрелище убегающих «в священный лес» «вакхических дев» (явная вариация на темы «Вакханки» К. Батюшкова),

а в грезах об Индии — волшебная Пери с соответствующим антуражем — «дыханием амры и розы ночной», «плодами мангустана златыми», «эфиром голубым» и т. д. (установлено, что эта «картина» написана под влиянием русского перевода поэмы Томаса Мура «Свет гарема», опубликованного в «Сыне отечества» за 1827 г. — Алексеев, с. 669). Всего этого в собственных признаниях Гоголя мы действительно не слышим (или это звучит весьма приглушенно), но ведь опять-таки надо иметь в виду условно-поэтическую призму произведения.

Дело в том, что эстетический и гедонистический энтузиазм понимается Гоголем достаточно широко — как ощущение истины, переживание божества; поэтому исполнение мечты равносильно высшему откровению: «И он спадет, покров неясный, // Под коим знала вас мечта...» — характерный образ снятия покрыва с божества («покров Изиды»), известный и по «Ученикам в Саисе» Новалиса, и по произведениям многих романтиков, в том числе русских, например Жуковского.

«Прекрасное» — категория как нравственная, так и поведенческая; Афины, в которые устремляется герой, — «и славных дел, и вольности земля!». Поэтому недостижение цели переживается не только как неудовлетворенное эстетическое чувство, но гораздо шире — как некое тотальное разочарование в мироустройстве и в людях — опять-таки довольно знакомый романтический ход. Возвращаясь из странствий, Ганц

...зло смеется над собой,  
Что поверял своей мечтой  
Свет ненавистный, слабоумной;  
Что задивился в блеск пустой  
Своей душою неразумной;  
Что, не колеблясь, смело он  
Сим людям кинулся в объятья...

Мы не знаем, какие разочарования испытал Ганц в других странах, где он побывал, — известно лишь, что в Греции таким событием явилось поражение повстанцев от турок. В окружении Гоголя в Нежине, с его обширной греческой общиной, все это вызывало острую реакцию. Переживания и разговоры тех лет настолько глубоко врезались в память Гоголя, что греческие ассоциации отозвались много лет позднее (разумеется, в ином стилистическом преломлении) в «Мертвых душах» — в интерьере комнаты Собакевича, у которого «на картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравирован-

ные во весь рост: Маврокордато, в красных панталонах и мундире, с очками на носу, Колокотрони, Миаули, Канари»... В «Ганце Кюхельгартене» греческая тема взята вполне серьезно, даже трагично, так, как она освещалась в русской поэзии, например, в стихотворении О. Сомова «Греция. Подражание Ардану» (1822):

И странник, вкруг себя бросая взор прискорбный,  
Повсюду зрит следы ее тиранов злых.  
Он видит мхом седым обросшие могилы,  
Героев памятник — здесь были Фермопилы!  
И грек склонил хребет, на прахе сих мужей,  
Стеня под тяжкими ударами бичей!..

Без всякой натяжки можно было бы принять этого «странника» с «прискорбным взором» за героя гоголевской идиллии. Только для последнего трагедия перерастает греческие и любые другие региональные рамки и становится всемирной. Поэтому-то для нее непригодна «готовая форма» переживаний или желаний, которые испытывал реальный Гоголь. У Гоголя «мечта» являлась более конкретной, у его героя — более обобщенной и субстанциональной, ибо авторам свойственно передавать в отстраненной форме то, что не укладывается в форму личную. Но в обоих случаях «мечта» представлена как нечто жизненно важное, подверженное суровому испытанию. Гоголь, как он надеется, это испытание выдержит. А Ганц не выдержал. И тут возникает необходимость введения в поэму еще одной точки зрения, которая выражена в ее особом фрагменте — «Думе».

Фрагмент подан таким образом, что можно видеть в нем думу о себе самого героя (выше это слово соотносилось с ним не раз: «волнуем *думой* непонятной», «искал он *думою* неясной», «его глубоких *дум* не потревожит дневный шум» и т. д.), но можно считать ее и авторским отступлением. Иначе говоря, оно звучит или как самокритика персонажа, или как стороннее о нем слово автора, но в обоих случаях в ней на фоне сюжета обозначаются новые краски.

Благословен тот дивный миг,  
Когда в поре самопознания,  
В поре могучих сил своих,  
Тот, небом избранный, постиг  
Цель высшую существованья;  
Когда не грез пустая тень,  
Когда не славы блеск мишурный  
Его тревожат ночь и день,  
Его влекут в мир шумный, бурный;

Но мысль и крепка, и бодра  
Его одна объемлет, мучит  
Желаньем блага и добра;  
Его трудам великим учит.  
Для них он жизни не щадит.  
Вотще безумно чернь кричит:  
Он тверд средь сих живых обломков.  
И только слышит, как шумит  
Благословение потомков.

В «Думе» (кстати, пожалуй, самой совершенной части этой в целом ученической и подражательной вещи) как бы собрана в кулак вся энергия сопротивления: у героя «могучие силы», мысль его «крепка и бодра», у него, как сказано несколько ниже, «железная воля» (ср. гоголевскую автохарактеристику: «при моем железном терпении...»). Он слышит предопределение судьбы, в нем ощутимы черты богоизбранности («небом избранный»). Он готов поступиться признанием современников (но не своей «известностью»), готов ссориться с ними ради «благословения потомков». Возникает ценностный ряд: достоин уважения тот, кто уйдет от «суеты», от «черни» в поисках «яркой доли» и «славы», но еще достойнее тот, кто бесславию в современности предпочтет признание в потомстве.

В дальнейшем Гоголь как бы продолжил и построил этот ряд. В его «Выбранных местах из переписки с друзьями» есть строки, представляющие собой чуть ли не авторскую корректировку к приведенному месту из «Ганца Кюхельгартена». Ставится вопрос, отчего святые на всю жизнь сохраняли «разум речей своих»: «Оттого, что у них пребывала всегда та стремящая сила, которая обыкновенно бывает у всякого человека только в лета его юности, когда он видит перед собою подвиги, за которые наградой всеобщее рукоплесканье, когда ему мерещится радужная даль, имеющая такую заманку для юноши». Но «угаснула пред ним даль и подвиги — угаснула и сила стремящая». Однако «перед христианином сияет вечно даль, и видятся вечные подвиги», ибо «желанье быть лучшим и заслужить рукоплесканье на небесах придает ему такие шпоры, каких не может дать наисильнейшему честолюбцу его ненасытнейшее честолюбие».

Тут уже не «благословение потомков» видится высшей наградой для совершающего подвиги, а «рукоплесканье на небесах». Гоголь хочет искоренить в себе любые проявления честолюбия, поползновения к земной славе и признанию. Но в пору написания «Ганца



Кюхельгартена» до этого еще далеко, и все «заманки» юности и «радужная даль» еще имеют над ним большую власть...

Пока же корректировка высоких мечтаний («...подслушаем украдкой// Доселе бывшие загадкой// Разнообразные мечты») ведется Гоголем с точки зрения не вечности, но человеческой истории, в которую ему предстоит включиться. Немецкий писатель, пропагандист русской литературы Фарнгаген фон Энзе говорил, что в пушкинском романе в стихах авторская душа поделена между двумя главными персонажами — Онегиным и Ленским. Если позволительно сопоставлять вещи различного художественного достоинства, то можно заметить, что душа Гоголя тоже поделена между Ганцем и героем «Думы». Сладкие и тревожные мечтания свойственны Ганцу; стремление вдаль, к «яркой доле» — отличает обоих, а стойкое упорство и способность преодолеть нападки черни — преимущество лишь героя «Думы». Благодаря этому их жизненные дороги расходятся: один, подобно самому Гоголю, готов продолжить свой путь; другой — Ганц — возвращается к своей мирной деревне, дому, к Луизе:

Не лучше ль в тишине укромной  
По полю жизни протекать,  
Семьей довольствоваться скромной  
И шуму света не внимать?

Это один из ярких примеров «Entsagung», отречения — от иллюзий и надежд юности в пользу повседневной, скромной жизни. К такому отречению пришел и герой Жуковского Эсхин, который «долго по свету за счастьем бродил» и, разочарованный во всем, вернулся «к пенатам своим». Но странное дело: вкушая наслаждение домашнего уюта, прощаясь с «коварными мечтами», Ганц все же,

Как по старом друге верном,  
Грустит в забвении усердном.

«Как непонятен человек!» — замечает по этому поводу юный автор, завершая свое произведение грустной, диссонирующей нотой. Потом тот же звук, та же нота отзовутся в финале и «Сорочинской ярмарки» («Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему»), и «Повести о том, как поссорился...» («Скучно на этом свете, господа!»)...

Печальный финал гоголевской идиллии проистекает из столкновения в ней двух миров — малого и большого.

По всей видимости, стимулом для написания «Ганца Кюхельгартена» послужило «сельское» стихотворение немецкого поэта

И. Г. Фосса «Луиза» в русском переводе П. Теряева (экземпляр этой книги находился в гимназической библиотеке) (Сборник, с. 286). Отсюда заимствованы имя главной героини — Луизы, фигура пастора, некоторые детали. Но мир фоссовского произведения относительно замкнутый, далекий от треволнений большой жизни, типично идиллический. У Гоголя малый мир включен в рамы большого (в этом смысле «Ганц Кюхельгартен» ближе к таким вещам, как «Конец золотого века» Дельвига или «Герман и Доротея» Гете).

Малый мир однообразен, скучен, но его обитатели, подобные Луизе, способны на глубокое чувство. Ганц, прельщенный «заманками» большого мира, пренебрегает чувством девушки, получив за это от повествователя бранное определение — «тиран жестокий». «С самого начала видно, как двоится сочувствие поэта между странным Ганцем и добрым Вильгельмом Баухом и его добрыми домочадцами. Его обывательский уют нарисован красками даже соблазнительными ... клохчущие индейки, желтый вкусный сыр, сладкий бишеф, коричневые вафли...» (Гиппиус, 1924, с. 20—21). Добавлю: красками, предвосхищающими колоритность и плотность описаний материальной среды в «Старосветских помещиках» или «Мертвых душах». Но предвосхищено и другое: жить в этом мире тому, кто «постиг цель высшую существования», очень трудно. Соотношение большого и малого миров у юного Гоголя негладкое, конфликтное.

Впервые в «Ганце Кюхельгартене» означено и соотношение мира реальности и фантастики, существенного и потустороннего. После ухода Ганца Луизу посещают «ночные видения»:

Подымается протяжно  
В белом саване мертвец,  
Кости пыльные он важно  
Оттирает, молодец.  
С чела давнего хлад веет,  
В глазе палевый огонь,  
И под ним великий конь,  
Необъятный, весь белеет  
И все более растет,  
Скоро небо обоймет;  
И покойники с покою  
Страшной тянутся толпою.  
Земля колется и — бух  
Тени разом в бездну... Уф!

Уже обращалось внимание на то, что эти несколько неловкие строки, с «шероховатостью слога» и «лексическими сдвигами», явля-

ются наброском великолепной картины из «Страшной мести» (Коробка, с. 263—264; ср. Сивявский, с. 329). Данило плывет по Днепру мимо кладбища и вдруг видит: «Крест на могиле зашатался, и тихо поднялся из нее высохший мертвец. Борода до пояса; на пальцах когти длинные, еще длиннее самих пальцев. Тихо поднял он руки вверх. Лицо все задрожало у него и покривилось» и т. д. Надо, однако, отметить очень важное отличие: явление мертвецов в «Страшной мести» наблюдают и пан Данило, и жена его Катерина, и гребцы; это как бы наяву случившееся «старинное чудное дело». В «Ганце Кюхельгартене» все переведено в субъективный план, отдано сновидениям персонажа: испытавшая тяжкое потрясение разлуки с любимым, Луиза во сне не может устоять перед тревожными призраками:

Когда, рукою беспощадной,  
Судьба надвинет камень хладный  
На сердце бедное, — тогда,  
Скажите, кто рассудку верен?  
.....  
В несчастье кто не суеверен?

Это звучит как самоутешение, направлено к своим собственным переживаниям. Гоголь сызмальства был открыт тревожной, иррациональной, «ночной» стороне бытия; прорывалось в нем это чувство в раннем детстве (убийство кошки), не раз обнаружится в будущем. Но сейчас, прощаясь с Гимназией, вступая в новую жизнь, готовясь к разумному общественному служению, Гоголь словно хочет подавить в себе это чувство, рационализировать и упорядочить свой внутренний мир. Все иррациональное вытесняется из объективной сферы в субъективную, где оно получает мотивировку и объяснение: «В несчастье кто не суеверен?» Гоголь собирается быть предельно деятельным, сражаться же можно с реальным злом, а не с призраком.

## «В ДОРОГУ! В ДОРОГУ!..»

И вот пришло время окончания Гимназии. Испытания, проводившиеся в июне 1828 года, делились на частные и публичные. Первые носили деловой, практический характер; вторые — торжественный, парадный.

На публичные испытания приехали командир корпуса граф П. П. Фон дер Пален, действительный статский советник А. А. Лобанов-Ростовский, множество штаб- и обер-офицеров, начальники и

преподаватели других учебных заведений, чиновники, помещики, купцы и «знатнейшие граждане». Всего прибыло около ста персон, и все они, как записано в журнале конференции, «были директорами угощены».

Что же касается духовного «угощения», то есть самих публичных испытаний, то они, в свою очередь, разделялись на испытания по свободным искусствам и по наукам. Первые начались 25 июня, в день рождения императора Николая I, и включали в себя разнообразную программу: увертюру на фортепиано с оркестром, прелюдию на фортепиано с оркестром, гимн его императорскому величеству, французскую кадрили, мазурку с тамбурином, хор с музыкой, опять же в честь его императорского величества, хор, во время исполнения которого двое из младших гимназистов подносили цветы почетным посетителям, затем танец матлот, «разные большие танцы, как-то: экосез, кадрили, мазурка, вальс и пр.». Все номера исполнялись на фоне стоявшей посредине залы пирамиды с вензелем императора; пирамида была украшена гирляндами цветов, а по углам стояли четыре малолетних пансионера со знаменами.

В публичных испытаниях по свободным искусствам участвовали многие гимназисты. Григоров, Данилевский и Миллер, оканчивавшие Гимназию вместе с Гоголем, сражались на рапирах с учителем фехтования О. Д. Урсо. Тот же Данилевский вместе с учеником седьмого класса А. Пузыревским исполнили танец матлот. Кукольник сочинил и сам же пропел под фортепиано гимн в честь Николая I и т. д. Но Гоголя среди участников мы не находим: на его успехи по части фехтования, танцев и пения начальство не слишком рассчитывало, а то, в чем он действительно был силен — исполнение комических и характерных ролей, для публичных испытаний не подходило.

Через три дня, 28 июня, началось испытание по наукам: по Закону Божию, этике, римскому праву — всего по десяти предметам. Отвечали многие гимназисты, особенно часто — Кукольник. Хоть он находился не в выпускном, а в восьмом классе и, кроме того, в глазах дирекции был сильно повинен в заступничестве за Белоусова, участия в «деле о вольнодумстве», но благодаря своему артистизму, темпераментности, внешней эффектности и, конечно, обширным знаниям никак не мог быть обойденным организаторами зрелища. Кукольника экзаменовали четырежды — и по римскому праву, и по физике, и по российской и латинской словесности. А Гоголя не вызвали ни разу, считая более выгодным оставить его в тени.

Но каковы же были успехи Гоголя на частных выпускных экзаменах, проходивших до 23 июня, то есть до публичных?

В последний год пребывания в Гимназии Гоголь часто жаловался на низкий уровень обучения. Матери он писал, что «утерял целые 6 лет даром», что особенно плохо обстоит здесь дело с иностранными языками и что если он что-то и знает, то «этим обязан совершенно одному себе». «Но времени для меня впереди еще много, силы и старания имею. Мои труды, хотя я их теперь удвоил, мне не тягостны ни мало, напротив, они не другим чем мне служат, как развлечением...» (X, 122). Это написано всего за три месяца до экзаменов, когда времени на самом деле оставалось совсем немного. Но, судя по всему, Гоголь действительно трудится теперь необычайно интенсивно, стремясь наверстать упущенное. Он не едет домой в рождественские каникулы, усиленно занимается языками, поставив перед собой задачу: «в остальные полгода < ... > окончить совершенно изучение трех языков», то есть, очевидно, немецкого, французского и латинского. Намерение, конечно, не очень реалистичное для человека с малыми способностями к языкам, каким был Гоголь.

Другое его уязвимое место, которое тоже нельзя было исправить в мгновение ока, — низкая грамотность. Сохранилась письменная работа Гоголя, выполненная на выпускном экзамене по истории, — «В какое время делаются Славяне известными по истории, где, когда и какими деяниями они себя прославили до расселения своего и какое их было расселение» (Сборник, с. 391—392; ср. IX, 14—15). Это сочинение, как правильно говорит И. А. Скребницкий, представляет собой «со стороны грамотности нечто невозможное для человека, оканчивающего курс высшего учебного заведения, хотя бы и в то блаженное время» (Сборник, с. 301).

Но если оставить в стороне грамотность, то в других областях, в том числе и в изучении иностранных языков, усилия Гоголя принесли свои плоды. Это становится ясно, если сравнить его годовые оценки за выпускной класс с оценками на экзамене.

В годичной ведомости у Гоголя только по трем предметам выставлена высшая оценка «4» — по частной физике, минералогии и зоологии. Преобладают оценки «3» и «3 1/2», то есть «довольно хорошо» и «хорошо». Показатели по языкам заметно ниже: лишь по французскому выставлено «3», по латинскому и немецкому — «2» (т. е. удовлетворительно). Есть и неудовлетворительная оценка, единица — по дифференциальному и интегральному исчислению.

Средний балл — 2 ½. Из десяти экзаменовавшихся шесть человек имеют лучшие результаты, чем Гоголь.

На экзаменах — совсем другая картина. По девятнадцати предметам (из двадцати четырех) у Гоголя высшая оценка — «4», в том числе и по латинскому и французскому языкам; лишь по немецкому он дотянул только до «тройки». Общий балл — «4». Из десяти экзаменовавшихся лишь четверо имеют такой же результат. Гоголь определенно вошел в группу лучших учеников.

Это говорит о том, что он действительно очень напряженно и старательно занимался в самые последние месяцы. Признания Гоголя в письмах к матери, как правило, ставятся под сомнение, для чего иногда имеются реальные основания. Но в данном случае, мы видим, все верно и точно.

Тем не менее Гоголь по окончании не удостоился звания кандидата и права на XII классный чин, и ему было присвоено звание студента и дано право на последний чин XIV класса. То есть он снова попал в отстающую группу. Для сравнения напомним, что пятеро выпускников кончали кандидатами: А. Божко, В. Марков, А. Котляревский, Е. Котляревский, Я. Бороздин. И пятеро — студентами: помимо Гоголя, еще Н. Котляревский, Н. Григоров, Н. Миллер и А. Данилевский.

Почему так произошло? Отчасти Гоголю повредили его прежние неуспехи, то есть низкие годовичные оценки. Но не все предопределено было этими оценками; многое зависело от воли начальства, которое приняло решение не в пользу Гоголя. Дореволюционный исследователь И. А. Сребницкий убедительно показал, как это случилось.

Дело в том, что звания и классные чины присуждались на основе трех оценок: среднегодовой, среднеэкзаменационной и по поведению. В сумме 11 или 12 баллов давали право на XII класс и звание кандидата; 9 или 10 баллов — на XIV класс и звание студента.

У Гоголя среднегодовой балл, мы помним, равнялся 2 ½, но в таблицу перенесли только «2». Сделали это на законном основании: согласно разъяснению Министерства народного просвещения, в ведомость оканчивающих курс учеников дроби не вносились. «Во власти конференции было или отбросить эту дробь ½, или превратить ее в целую единицу и вместо 2 ½, выставить 3» (Сборник, с. 303). Последнее было сделано в отношении двух гимназистов — Данилевского и Николая Котляревского. Но Гоголю и Миллеру полбалла не набавили. В результате Гоголь имел в сумме 10 баллов (по поведению

и, как мы знаем, по экзаменам у него были «четверки»), не дотянув одного балла до необходимой для XII класса суммы.

Нет никакого сомнения, что Гоголь поплатился за свое участие в «деле о вольнодумстве», за непочтительное отношение к Билевичу и поддерживавшим его преподавателям. «Главным врагом Гоголя был профессор Билевич, частью по отношениям своим к профессору Белоусову, который был расположен к Гоголю, а частью и по личным мотивам» (Сборник, с. 310). Во время экзаменов и определения окончательных результатов Белоусов еще преподавал в Гимназии, но его позиции были значительно ослаблены, и он не имел реальной возможности противодействовать недоброжелателям Гоголя.

Отзвук произошедших в Гимназии событий слышен в письме Марьи Ивановны к Петру Косяровскому: «Никоша мой имеет чинок в ранге университетских студентов 14 класса. С ним несправедливо поступили, так же, как и с другими, в его отделении бывшими, по причине партий их наставников. Ему следовало получить 12 класс, но он нимало не в претензии, тем более что обе партии сказали, что он достоин был получить даже 10 класс, когда бы был плох он в том училище, а 12 по всем правилам должно было ему дать. Главное, что надо было более ласкаться к ним, а он никак не мог сего сделать» (Шенрок, т. 1, с. 147).

Значит, в семье Гоголя были твердо убеждены, что по отношению к Николаю учинили несправедливость и что произошло это в результате происков некоторых «наставников». Когда Гоголь впоследствии говорил, что «тамошние профессора большие бестии», подразумевалось и то, как они поступили с ним самим. Правда, на чин X класса он никак рассчитывать не мог; таковой чин никому из оканчивающих не присваивали. Тут уж не обошлось и без некоторого бахвальства Николая, поскольку письмо Марьи Ивановны, видимо, основывалось на его словах.

Какими же предстают успехи Гоголя-гимназиста в целом, в сравнении с другими учениками?

Очевидцы, начиная от близкого друга А. Данилевского и кончая не благоволившими к писателю Любичем-Романовичем или Кулжинским, рисуют в общем похожую картину.

Данилевский: «В школе Гоголь мало выделялся, разве под конец. <...> Сам он долго казался заурядным мальчиком» (Шенрок, т. 1, с. 102).

Н. Артынов: «Учился же Гоголь совсем не замечательно» (РА, 1877, кн. 3, с. 191).

П. (очевидно, Перион): «Н. В. Гоголь любил страстно рисование, литературу, но было бы слишком смешно думать, что Гоголь будет Гоголем» (МВд, 1853, № 71, с. 729).

Любич-Романович: «...мы в то время, когда знали Гоголя в школе, не только не могли подозревать в нем «великого», но даже не видели и малого. Хотя его школьные успехи и шли наравне с нашими, но это еще не давало нам повода думать, что в нем обнаружится литературный талант...» (ИВ, 1902, № 2, с. 552).

Кулжинский: «От Гоголя менее всех можно было ожидать такой известности, какую он пользуется в нашей литературе. Это была terra rudis et inculta [почва невозделанная и необработанная]. Чтоб грамматикальным образом оценить познания Гоголя при выпуске из Гимназии, я не обвиняясь могу сказать, что он тогда не знал спряжения ни на одном языке. Впрочем, это не помешало ему сделаться перво-классным писателем-художником» (Лицей, 1881, с. 271).

В работах же советских литературоведов 1950-х годов намечается стремление более высоко оценивать успехи Гоголя и опровергнуть всякие невыгодные для него суждения и свидетельства как «клеветнические» и извращающие «подлинный образ» будущего писателя (Июфанов, с. 145, 149). Но представляется, что ничего неточного и противоречащего истине в приведенных высказываниях нет.

Прежде всего, самые резкие отзывы о Гоголе (принадлежащие преподавателю латинского языка Кулжинскому) связаны с его «грамматикальными» неудачами. Это вполне соответствует действительности: о сложных отношениях Николая с иностранными языками и с русской грамматикой нам уже известно (вот еще свидетельство Артынова: «В сочинениях его по словесности бывала пропасть грамматических ошибок. Особенно плох Гоголь был по языкам»). В остальном же никто не говорит, что Гоголь учился хуже других; он учился именно как все («его школьные успехи шли наравне с нашими»), то есть был в средней группе. Только на выпускных экзаменах он вырвался вперед, но это не могло уже изменить общего впечатления, сложившейся репутации. Гоголь никогда не блистал успехами, в нем не было ничего от вундеркинда Кукольника, он не поражал основательностью и систематизмом знаний, как Редкин, и это задним числом ставилось ему в вину. Все дело в том, что фигура Гоголя-гимназиста невольно выделась в свете его последующей литературной судьбы, и



поэтому на первый план выступала неожиданность и резкость «превращения».

С конца июня Гоголь «уже совершенно свободен», живет в Васильевке, готовясь к дальней дороге.

В Гоголе поражает сочетание редкой беспечности и размашистости с такой же замечательной предусмотрительностью и практицизмом. В его планах на будущее — заграничная поездка, которая неизвестно каким образом и когда осуществится, и в то же время вполне конкретное проживание в Петербурге, к которому он деятельно готовится. Еще загадя выспрашивает он у Высоцкого все «касательно жизни петербургской»: «каковы там цены, в чем именно дороговизна», «каковы там квартиры? что нужно платить в год за две или три хорошенькие комнаты, в какой части города дороже, где дешевле, что стоит в год отопление их и проч. и проч.» Не забыт вопрос и о жалованье, получаемом Высоцким, чиновником Департамента разных податей и сборов, и о распорядке дня: «Сколько часов ты бываешь в присутствии и когда возвращаешься домой?» Гоголю нужно свободное время; это говорит о том, что он готовится и к самостоятельным творческим занятиям.

Но Гоголю нужна и хорошая, модная одежда: он собирается выходить на люди, делать визиты.

И. Кулжинский вспоминает: «Гоголь прежде всех своих товарищей, кажется, оделся в партикулярное платье. Как теперь, вижу его в светло-коричневом сюртуке, которого полы подбиты были какою-то красною материей в больших клетках. Такая подкладка считалась тогда *plus ultra* [пределом] молодого щегольства, и Гоголь, идучи по гимназии, беспрестанно обеими руками, как будто не нарочно раскидывал полы сюртука, чтобы показать подкладку» (М, 1854, № 21, отд. 5, с. 6).

Но этого показалось Гоголю мало. Тот же Высоцкий уполномочивается заказать фрак у самого лучшего портного и по самой последней петербургской моде: «Какой-то у вас модный цвет на фраки? Мне очень бы хотелось сделать себе синий с металлическими пуговицами, а черных фраков у меня много, и они мне так надоели, что смотреть на них не хочется» (X, 102—103). Гоголь проявляет неожиданную разборчивость и склонность к франтовству, что впоследствии даст Д. Мережковскому основание для вопроса: «Знаменитый фрак Чичикова «наваринского пламени с дымом» не родствен ли этому синему фракку юношеских мечтаний Гоголя» (НП, 1903, № 2, с. 11).

Сшитое по самой последней моде платье должно было облечь фигуру довольно неуклюжего, неловкого юноши. Встречавшийся с ним в Нежине Н. Д. Белозерский «описывает будущего поэта в то время немного сутуловатым и с походкою, которую всего лучше выражает слово *петушком*» (Кулиш, 1856, т. 1, с. 100).

В двадцатых числах августа Гоголь едет в Кременчуг на ярмарку, чтобы по сходной цене закупить всякой снеди: ожидалось прибытие в Васильевку Д. Трощинского. «Благодетель наш, — сообщала Марья Ивановна П. П. Косяровскому, — непременно будет со всеми, в том числе и Варинькой нашей (Варварой Косяровской. — Ю. М.), 7 сентября и проживет в Васильевке дней 3 или 4, а может быть и более...» (РС, 1887, № 3, с. 682—683). Но внезапно Дмитрий Прокофьевич отменил свой визит «вследствие дурной погоды».

К этому времени относится письмо Гоголя тому же Петру Косяровскому: «Недавно только вернулся из Кременчуга, где <...> была ярмонка и где более всего я промотался на вина и закуски. Но как теперь яресковских гостей не было, то весь этот запас остался нам на все годовое продовольствие». Кое-что было употреблено и без отлагательства. «В праздник храмовой нашей церкви мы пили-таки винцо доброе...» (X, 131). Данилевский поясняет, что́ это было за винцо: на всю жизнь запомнилось ему, что «Гоголь привез из Кременчуга бутылку великолепной мадеры» (Шенрок, т. 1, с. 101).

Надо заметить, что отношение Гоголя к Трощинскому в это время становится прохладнее. Его по-прежнему волнует стремительный взлет карьеры «благодетеля Малороссии», но коробят такие черты его личности, как барство и высокомерие. «Домашний незатейливый обед» кажется ему «гораздо веселее» и приятнее, чем «разноблюдный и огромный» обед в Кибинцах. В доме вельможи он чувствует себя стесненным. Передавая общие впечатления, свои и Николая, Данилевский рассказывал: «Мы много раз бывали в Кибинцах и Яресках (куда на лето приезжал Дмитрий Прокофьевич. — Ю. М.) и гостили подолгу, но Трощинский держал себя недоступно и едва ли промолвил с нами даже слово» (Шенрок, т. 1, с. 101).

Марья Ивановна тоже иногда тяготилась присутствием такого человека; тем не менее в пору предотъездной суеты и сборов пришлось прибегнуть снова к нему. Трощинский мог помочь больше всех, да и обычаем это не возбранялось. «...Двоюродный, троюродный дяди считались близкими родственниками, и обращаться к ним за помощью далеко не считалось зазорным» (Трахимовский, с. 44).

Дмитрий Прокофьевич заготовил два рекомендательных письма; одно Гоголь должен был взять с собою, другое загодя было послано в Петербург Логтину Ивановичу Кутузову, генерал-лейтенанту, крупному чиновнику, председателю Ученого комитета Морского министерства. Ответ на второе письмо успел прийти до отъезда Гоголя. Трощинский показал его Марье Ивановне, которая с радостью поведала обо всем Петру Косяровскому: генерал благодарит Трощинского «за доставление случая сделать ему угодное и заключает письмо тем, что он с нетерпением ожидает Николая моего, которому хочет быть другом и путеводителем в его жизни». Заверение Кутузова внушило Марье Ивановне самые светлые ожидания: «...Мой сын приедет в столицу не как бесприютный сирота, но как родственник будет принят в доме немаловажного человека» (Шенрок, т. 1, с. 225). Не приходится сомневаться, что и Николай узнал о содержании письма, которое и на него подействовало соответствующим образом<sup>30</sup>.

Перед отъездом в Петербург Гоголь предпринял попытку передать матери свою часть имения. Он подумывал об этом еще годом раньше, говоря, что оставил бы себе в Васильевке «только домик для своего приезда» — «приезду» из Петербурга. Теперь же он сообщил Петру Косяровскому, что занимается составлением «дарственной записи, по которой часть имения, принадлежащего по завещанию мне, с домом, садом, лесом и прудами, оставляется матери моей в вечное владение» (X, 132). Этот факт подтверждается письмом Марьи Ивановны, которая уже после отъезда Николая в Петербург сообщала Петру Косяровскому: «Назад тому месяца два он меня удивил, убеждая позволить записать мне свою часть имения, уверяя притом, что это будет полезно и даже необходимо для спокойной моей жизни, на случай если я не буду иметь добрых зятей, а он, может быть, будет слишком далеко от меня, и сим поступком тронул меня до слез...» (Шенрок, т. 1, с. 147). Но, по-видимому, «дарственная запись если и была составлена, то не была принята» (Коялович, с. 222), так как позднее, уже в Петербурге, Гоголь вновь взялся за ее составление. Однако в искренности и серьезности его намерений не приходится сомневаться. Гоголь действительно беспокоился о судьбе матери и сестры; но, кроме того, он совершал этим решительный шаг в своей судьбе, сжигая за собой мосты и заставляя полагаться только на свои силы и будущие успехи.

Незадолго до отъезда Гоголя его увидела Софья Скалон, дочь В. Капниста. «...Прощаясь со мной, он удивил меня следующими

словами: “Прошайте, Софья Васильевна! Вы, конечно, или ничего обо мне не услышите, или услышите что-нибудь весьма хорошее”. Эта самоуверенность, — заключает Скалон, — нас удивила в то время, как мы ничего особенного в нем не видели» (ИВ, 1891, № 5, с. 369).

Последние сборы. Последние тягостные дни. Отъезд все откладывался из-за непогоды. Наконец подморозило, выпал снежок.

Из своего имения Толстого приехал Данилевский — он направлялся в Петербург, чтобы поступить в Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, — и после небольшого отдыха в Васильевке — было это около 13 декабря — пустились в путь. До Кибинец провожала Марья Ивановна; после Кибинец, где взяли заготовленное рекомендательное письмо Трошинского, ехали втроем — помимо Николая и Данилевского, еще крепостной гоголевской семьи Яким Нимченко, которому предстояло опекать молодого барина в его новой жизни.

Дорога лежала на Москву, но Гоголь уговорил выбрать другой путь, через Белоруссию: он не хотел, чтобы впечатления от Москвы ослабили торжественность встречи с Петербургом.

В Нежине прожили несколько дней, простились с Гимназией, повидались с товарищами, в том числе и с Н. Прокоповичем, который заканчивал обучение в следующем году, и поехали дальше: через Чернигов, Могилев, Витебск... в Петербург!

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

## ОТРЕЗВЛЕНИЕ

К Петербургу подъезжали вечером. Со слов Данилевского гоголевский биограф рассказывает: «Обоими молодыми людьми овладел невыразимый восторг: они позабыли о морозе и, как дети, то и дело высовывались из экипажа и приподнимались на цыпочки...» (Шенрок, т. 1, с. 152). Гоголь простудился и отморозил нос.

Вспомним: Вакула в «Ночи перед Рождеством» тоже попадает в Петербург зимней морозной ночью; но в переживаниях этого персонажа, помимо одушевления и «восторга», появляется новое чувство — удивление, ошеломленность от всего увиденного: «Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзываются громом и отдавались с четырех сторон; дома росли и будто подымались из земли, на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, форейторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней...» Этот город страшен; он теснит, угнетает, раздавливает. Подобное чувство усилилось и осозналось Гоголем позднее, но, может быть, промелькнуло и заронилось в первые минуты встречи со столицей.

Разочарование началось с денежных трудностей. На последней станции перед Петербургом путники принялись изучать объявления, где можно остановиться, и выбрали дом купца Галыбина на Гороховой улице<sup>31</sup>. Здесь они сняли квартиру из двух комнат с правом пользоваться хозяйской кухней — и за все это должны были платить восемьдесят рублей, по сорок — на брата. Вскоре обнаружилось, что продукты в столице гораздо дороже, чем на Украине (в Васильевке же, естественно, все было свое); картофель и овощи продавались на счет, десятками; десяток луковиц стоил, к примеру, 30 копеек.

Гоголь взял с собой не менее тысячи рублей (Коялович, с. 222) — сумма для натурального, безденежного хозяйства огромная. Но две трети из нее ушло на дорогу и приобретение самых необходимых вещей. Николай Васильевич высчитывает до рубля: на фрак и панталоны — двести, на шляпу, сапоги и прочее — сотня,

«на переделку шинели и на покупку к ней воротника до 80 рублей». Последняя цифра прочно запомнилась Гоголю: именно в эту сумму («точно около восьмидесяти рублей») обойдется Акакию Акакиевичу шинель...

Словом, оставалась самая малость; приходилось возлагать надежды на новые денежные субсидии из дома или на скорейшее получение места.

Гоголь спешил в Петербург, так как рассчитывал определиться на службу до наступления Нового года. Ему казалось, что рекомендательные письма возымеют немедленное действие, что многообещающего юношу, о котором лестно отзывался сам экс-министр Трошинский, все примут с распростертыми объятиями. Увы, все вышло сложнее.

Первым делом Гоголь отправился к Логгину Ивановичу Кутузову, жившему близ Морского кадетского корпуса на 12-й линии Васильевского острова. Но тот не принял визитера, так как был болен.

Гоголь решил тем временем разыскать других адресатов рекомендательных писем, в частности Ивана Косяровского, брата Петра и Павла Косяровских и, следовательно, своего довольно близкого родственника — двоюродного дядю. Но тот ничем не смог помочь, даже не дал дельного совета. На Гоголя он произвел впечатление закоренелого провинциала, так и не сумевшего сориентироваться в новой обстановке: «... не понимаю, как они живут здесь, ничего не видя и не слыша» (X, 136).

В начале января — скорее всего это было 5 числа — Гоголь, наконец, попал к Кутузову. По словам Данилевского, тот «принял его очень хорошо, обласкал, сразу перешел на *ты* и пригласил его часто бывать у себя запросто, хотя этим почти все и ограничилось» (Шенрок, т. 1, с. 178). Гоголю была нужна не ласка, а практическая помощь; поэтому он в не дошедшем до нас письме матери пожаловался на Кутузова, а та, в свою очередь, рассказала обо всем Д. Трошинскому. Последний успокаивал Марию Ивановну: мол, Кутузов выискивает для Николая «хорошую и выгодную должность, что чрезвычайно трудно теперь по штатной службе, где совершенно набито людей» (Шенрок, т. 1, с. 226). Мария Ивановна обратилась с увещанием к сыну проявить терпение и не докучать лишний раз важному человеку, на что Николай Васильевич не без раздражения отвечал: «Оно бы и хорошо, когда бы я мог ничего не есть, не нанимать квартиры и не изнашивать сапог...» (X, 138).

21 февраля умер Д. Трощинский. Семья Гоголей лишилась своего влиятельного покровителя.

Не мог рассчитывать Гоголь и на помощь Высоцкого. По новейшим данным, Высоцкий служил в Департаменте разных податей и сборов до 19 марта 1828 года, а затем уехал на родину, в свое имение Недры (Супронюк, с. 157). Скорее всего это произошло еще до приезда Гоголя. Не приходится предполагать, что они поссорились: позднее, в 1833 году, Гоголь будет осведомляться у проживающего в Житомире В. Тарновского, не слышал ли тот что-нибудь о выпускниках Гимназии, особенно о Высоцком (X, 279). Вероятно, в связи с изменившимися обстоятельствами связи обоих друзей просто оборвались. Об этом говорит и тот факт, что, снабжая гоголевского биографа Кулиша материалом, Высоцкий ограничивается только нежинским периодом.

Скудные сведения о гоголевском приятеле собрал впоследствии другой биограф: Высоцкий «жил в Переяславском уезде Полтавской губернии еще в 60—70-х годах, в своем поместье. Он был тучного сложения, любил поестъ и часто разъезжал по соседям, среди которых пользовался славой большого насмешника и остряка; иногда свои шутки излагал и в стихах; между прочим, интересовался сочинениями по естественным наукам. Умер в начале 70-х годов. (Сообщено нам его соседями по поместью)» (Владимиров, с. 10).

Ничего более о ранних годах жизни Высоцкого «сообщено» также не было.

Разминувшись с Высоцким, Гоголь, естественно, не нашел пути и к его петербургским друзьям, которые якобы уже «внесли» Николая заочно в свой «круг» и с которыми было у него связано столько надежд и планов. И все это усугубляло чувство разочарования и одиночества, окрасившее общее восприятие столичной жизни.

«... Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал...» (X, 136). Теперь уже не «громозд», не хаотичность, не ошеломленность преобладают в этом впечатлении, а равнодушие и безликость. Отсутствует какая бы то ни было определенность — национальная, этнографическая, просто индивидуально-личная. «Тишина в нем необыкновенная...» Это в городе-то, где «мириады карет валяются с мостов» и где все превращается «в гром и блеск»... Но Гоголь видит «тишину» духовными очами как отсутствие истинно-характерных движений: «...никакой дух не блестит в народе, все служащие да должностные, все толкуют о своих департаментах да коллегиях, все подавлено, все

погрязло в бездельных ничтожных трудах, в которых бесплодно издерживается жизнь их. Забавна очень встреча с ними на проспектах, тротуарах; они до того бывают заняты мыслями, что, поравнявшись с кем-нибудь из них, слышишь, как он бранится и разговаривает сам с собой, иной приправляет телодвижениями и размахками рук» (X, 139). Людям свойственна отрешенность от внешней жизни и, следовательно, механичность реакции и поведения. Уже в этой сцене, набросанной Гоголем через четыре месяца после приезда в Петербург, таится зерно того парада марионеток, которым открывается «Невский проспект».

Вскоре судьба Данилевского устроилась — он поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, что помещалась на Вознесенском проспекте близ Синего моста. Оставшись один, Гоголь переехал в дом Иохима на Большой Мещанской, в квартирку на последнем, четвертом этаже, или, как скажет потом Я. П. Бутков, на дешевой «небесной линии» Петербурга. Приходилось отказывать себе в самом необходимом и между тем снова и снова просить у матери денег.

Но у Гоголя была особенность: если не удалось одно, тотчас брался за другое. И первое, к чему он обратился, помимо поисков службы, была литература. Это подтверждает мою мысль, что Гоголь еще в Гимназии взвешивал возможность литературной деятельности, отводил ей в своем будущем определенную, пусть не главную, роль. Но вот возникли осложнения со служебной карьерой, и художнические его устремления и заботы выдвинулись на более видное место.

В одной из книжек журнала «Сын отечества и Северный архив» за 1829 год (т. 2, № 12, с. 301—302) появилось без подписи стихотворение «Италия». По сведениям, источником которых был скорее всего Н. Прокопович, это стихотворение принадлежало Гоголю и написано оно было еще в Нежине (Кулиш, 1852, с. 200; Кулиш, 1854, с. 35—36). Высказывалось также предположение, что «Италия» представляет собою фрагмент первоначальной редакции «Ганца Кюхельгартена», поскольку восторженное обращение поэта к этой стране невольно напоминает «пышные грезы Ганца о Греции и Индии» (Жданов, с. 120).

Все это весьма реально: в том месте поэмы, где излагаются «думы» Ганца, связанные с его будущим путешествием, есть нарочитый пропуск (на что указывает отсутствующая V картина), и вполне возмож-



но, наряду с Грецией и Индией, здесь должна была находиться и Италия:

Италия — роскошная страна!  
По ней душа и стонет и тоскует<sup>32</sup>.

К именам великих мастеров культуры — Фидия, Паррасия, Зевксиса и других — «Италия» прибавляет новые имена; она углубляет «эстетический энтузиазм», помноженный на энтузиазм гедонистический, как это было и в «Ганце Кюхельгартене»:

Земля любви и море чарований!  
Блистательный мирской пустыни сад!  
Тот сад, где в облаке мечтаний  
Еще живут Рафаэль и Торкват!  
Узрю ль тебя я, полный ожиданий?  
Душа в лучах, и думы говорят,  
Меня влечет и жжет твое дыханье, —  
Я в небесах, весь звук и трепетанье!

Обращает на себя внимание дата цензурного разрешения книжки, в которой помещена «Италия», — 22 февраля 1829 года. Это значит, что уже буквально через несколько дней или недель после приезда в столицу Гоголь отослал или занес в редакцию свою рукопись, сделав таким образом первый шаг на литературном поприще.

Правда, шаг этот остается до некоторой степени проблематичным, поскольку авторство Гоголя в отношении «Италии», хотя и весьма вероятно, но не может считаться полностью доказанным.

Зато у нас есть другое, определенное свидетельство раннего пробуждения и оформления гоголевских литературных интересов — письмо, в котором высказана просьба к матери изобразить «обычай и нравы малороссиян наших». Гоголю нужно описание «полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов», «равным образом название платья, носимого нашими крестьянскими девками, до последней ленты, также нынешними замужними и мужиками». Нужно и наименование «платья, носимого со времен гетманских». Просит он прислать и «обстоятельное описание свадьбы», и «еще несколько слов о Колядках, о Иване Купале, о русалках» и т. д. Задания даются столь конкретные, что совершенно ясно: материал собирается не просто впрок или, по крайней мере, не только впрок, но в связи с конкретными, уже возникшими замыслами. Замыслами «Вечера накануне Ивана Купала» и, возможно, некоторых других повестей из будущих «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

И все это пробудилось и стало обдумываться и вынашиваться уже к апрелю 1829 года, то есть опять-таки в первые месяцы новой, петербургской жизни, еще до поступления на службу и разочарования в ней, до заграничной поездки, до литературных знакомств — с Сомовым, Жуковским, Плетневым, Дельвигом, Пушкиным...

В отличие от своего прекраснородного двоюродного дяди Ивана Косяровского, Гоголь мигом сориентировался, что выгодно и нужно делать в Петербурге. «Здесь так занимает всех всё малороссийское...» И он просит мать выслать «две папинькины малороссийские комедии: Овца-Собака и Романа с Параскою», так как собирается поставить их на здешнем театре. «За это, по крайней мере, достался бы мне хотя небольшой сбор; а по моему мнению, ничего не должно пренебрегать — на все нужно обращать внимания. Если в одном неудача, можно прибегнуть к другому, в другом — к третьему и так далее. Самая малость иногда служит большою помощью» (X, 142).

У Гоголя не один предполагаемый путь, а несколько. Он обнаруживает почти немецкую практичность — совсем как гончаровский Андрей Штольц, который перед отъездом в Петербург получил от отца наставление: «... перед тобой все карьеры открыты; можешь служить, торговать, хоть сочинять, пожалуй, — не знаю, что ты изберешь, к чему чувствуешь больше охоты...» «Да я посмотрю, нельзя ли вдруг во всем, — сказал Андрей». Гоголь тоже хочет испытать себя «во всем», в силу стечения обстоятельств перебирая разные возможности. Среди этих возможностей были и такие, которые диктовались преимущественно соображениями заработка (неосуществившееся намерение поставить комедии отца), но едва ли правильно выводить только из этого источника первые литературные шаги Гоголя. Нет, это была потребность души, голос призвания.

Не случайно на первые месяцы пребывания Гоголя в столице падает такое событие, как его попытка познакомиться с Пушкиным. «Гоголь движимый потребностью видеть поэта, который занимал все его воображение еще на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликера... Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: «дома ли хозяин», услышал ответ слуги: «почивают!» Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «верно всю ночь работал». — «Как же, работал, отвечал слуга, в кар-

тишки играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения» (Анненков, 1855, с. 368—369).

Анализируя это сообщение, В. Гиппиус показал, что оно весьма достоверно, так как восходит к «рассказу самого Гоголя», слышанному именно мемуаристом, то есть Анненковым. А приурочивался этот эпизод ко времени не позже 9 марта 1829 года, когда Пушкин был в Петербурге и действительно увлекался карточной игрой (Гиппиус, 1931, с. 65).

Добавлю к этому одно предположение: Гоголь отправился к Пушкину, движимый своими литературными планами и стремлениями. Скажу определеннее: он, возможно, хотел показать ему свое произведение, ибо с пустыми руками обычно к литературным знаменитостям не ходят. Если это так, то таким произведением скорее всего была рукопись «Ганца Кюхельгартена». Гоголь не объявил и не мог объявить этой причины Анненкову, так как скрывал свое авторство и полагал, что никто из его друзей и знакомых о нем не знает.

## **«ВЕЗДЕ СОВЕРШЕННО Я ВСТРЕЧАЛ ОДНИ НЕУДАЧИ...»**

Прошел еще месяц-два, и Гоголь по-прежнему концентрирует свои усилия на нескольких направлениях.

Он ожидает устройства служебной карьеры и говорит, что отказывается от какого-то «места с 1000 рублей жалованья в год» ради другого, которое «немного выгоднее и благороднее». Но интересно, что в первом и во втором случае привлекательность службы зависит от наличия свободного времени — «драгоценного времени». Очевидно, роль самостоятельных, литературных занятий в глазах Гоголя еще более повысилась. Продолжая выспрашивать у домашних разнообразный украинский материал, он сообщает, что «и самое отдохновение, если не теперь, то в скорости принесет» ему «существенную пользу», то есть явно подразумевает написание каких-то вещей. И вместе с тем у Гоголя есть какое-то непосредственное дело — не ближайшего будущего, не завтрашнего дня, а сегодняшнего. Для этого он просит срочно прислать определенную сумму: «Денег мне необходимо нужно теперь триста рублей». К этому времени в типографию

А. Плюшара поступила книга «Ганц Кюхельgarten», и деньги понадобились Гоголю для покрытия типографских расходов.

Как говорилось выше, поэма, по всей видимости, была написана до приезда в Петербург, но перед публикацией просматривалась и дорабатывалась. Появилось, в частности, предисловие.

«Предполагаемое сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только Автора, не побудили его к этому. Это произведение его восемнадцатилетней юности. < ... > Многие из картин сей идиллии, к сожалению, не уцелели; они, вероятно, связывали более ныне разрозненные отрывки и дорисовывали изображение главного характера. По крайней мере, мы гордимся тем, что по возможности споспешествовали свету ознакомиться с созданием юного таланта».

Предисловие принадлежит к давней традиции так называемых «формул скромности» (Э. Курциус), когда автор начинает произведение с нарочитого самоумаления. Вспомним знаменитые строки из «Войнаровского» (1825) К. Рыльева: «Как Аполлонов строгий сын, // Ты не увидишь в них искусства: // Зато найдешь живые чувства, — // Я не поэт, а Гражданин». Или пример, который не мог быть известен Гоголю, — предисловие к «Дмитрию Калинин» В. Белинского (написан в 1831 г.), где говорилось, что предлагаемая драма «есть не что иное, как первое, несвязное лепетание младенца», но несмотря на это читатели «удостоят своим вниманием первый опыт молодого студента».

Но, думается, непосредственно на Гоголя повлиял другой вполне конкретный пример. Дело в том, что Иван Косяровский, с которым он встречался по приезду в столицу, был начинающим поэтом; незадолго перед тем вышла его книжка «Нина. Стихотворная повесть» (СПб., 1826). Произведение это могло обратить на себя внимание Гоголя хотя бы потому, что было посвящено «двум братьям», то есть Павлу и Петру Косяровским — а значит, тому самому Петру Косяровскому, с которым юноша делился самыми сокровенными своими мечтаниями. Автор поэмы выражал желание в ближайшее время встретиться со своими братьями «в родной стране», в своем «приюте» — он имел в виду памятную для Гоголя летнюю пору 1827 года, когда действительно под одной кровлей, в Васильевке, собрались и Павел, и Петр, и Варвара Косяровские, но не смог по каким-то причинам приехать из Петербурга Иван Косяровский. Вполне воз-

можно, что Иван Косяровский передал Гоголю свою книгу при встрече в столице, если она не стала известна ему и раньше.

Далее в предисловии «Двум братьям моим» мы читаем: «Чтоб исполнить желание приятелей моих, я написал сию повесть; но сам много не доволен ею, более потому, что содержание оной может быть занимательно только для коротких моих знакомых... Но это первое произведение пера моего — и я ожидаю снисхождения Вашего, просвещенный Читатель». Знакомая нам по предисловию к «Ганцу Кюхельгартену» интонация «формулы скромности»!

Однако гоголевское предисловие на фоне упомянутых примеров имеет заметные отличия. Авторы обычно извиняют недостатки своего творения слабостью сил и дарования; Гоголь — только привходящими причинами, тем, что поэма дошла не полностью. Авторы сами объясняются с читателями; Гоголь ради вящей объективности поручает это фиктивному издателю, который «со стороны» удостоверяет его «талант»... Уже здесь, между прочим, впервые проявилось то стремление, которое не раз будет наблюдаться у Гоголя впоследствии — готовить читателя к восприятию и оценке каждой новой вещи с помощью как бы сторонних усилий и «чужих», беспристрастных приговоров.

Увы, никакие усилия «Ганцу Кюхельгартену» не помогли. Судьба его складывалась таким образом.

7 мая в Санкт-Петербургский цензурный комитет, как гласил реестр, поступила рукопись «на 36 листах под заглавием «Ганц Кюхельгартен» идиллия в картинах писана в 1827 соч. Алова от студента Гоголь-Яновского» (Гиллельсон, с. 31). В тот же день последовало цензурное разрешение.

5 июня книга была уже напечатана, и Гоголь получил от цензора К. С. Сербиновича билет на выпуск ее в продажу.

Из первых экземпляров книги Гоголь послал один Плетневу, а другой в Москву Погодину. Ни с тем, ни с другим он не был знаком. Книги были посланы инкогнито в расчете на то, что оба адресата их прочтут, высоко оценят, а там и выяснится, кто автор... Это говорит о том, сколь многого ожидал Гоголь от своего детища. (Ни Плетнев, ни Погодин, однако, поэмой не заинтересовались, и она так благополучно и пролежала в книжных завалах, пока после смерти Гоголя не выяснилось ее авторство.) Сведений о том, что Гоголь послал книгу и Пушкину, нет: возможно, так и не решился...

Через несколько дней книга поступила в продажу в Петербурге, а чуть позже — и в Москве. 26 июня «Московские ведомости» сообщили, что у Ширяева продается книжка В. Алова, «полученная на сих днях из Петербурга».

И почти сразу же появилась убийственная рецензия в журнале Н. А. Полевого «Московский телеграф» (1829, № 12). Критик обратил гоголевскую «формулу скромности» против самого автора и нанес удар наотмашь, со всею силой: «Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначено для печати, но что важные для одного автора причины побудили его переменить свое намерение. Мы думаем, что еще важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии. Достоинство следующих пяти стихов укажет на одну из сих причин:

Мне лютые дела не новость,  
Но дьявола отрекся я,  
И остальная жизнь моя —  
Заплата малая моя —  
За прежней жизни злую повесть...

Заплатою таких стихов должно бы быть сбережение оных под спудом».

Прошло около трех недель, и Гоголь получил новый удар — от петербургской газеты «Северная пчела». Ее отзыв, опубликованный в № 87 от 20 июля, казался поначалу чуть-чуть мягче: в сочинителе признавалось «воображение и способность писать (со временем) хорошие стихи»; но в итоге рецензент приходил к таким же неутешительным выводам, что и «Московский телеграф»: «В “Ганце Кюхельгартене” столь много несообразностей, картины часто так чудовищны, и авторская смелость в поэтических украшениях, в слоге и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия попытка юного таланта залежалась под спудом». И Гоголь понял, что это катастрофа. Вместе со своим слугой Якимом он отправился по книжным лавкам и у продавцов, которым только недавно отдал поэму на комиссию, отобрал все наличные экземпляры. Нести весь этот груз домой автор побоялся: в одной квартире с ним в доме каретника Иохима на Мещанской проживал Н. Прокопович, приехавший недавно в Петербург после окончания нежинской Гимназии. Как и ото всех остальных, Гоголь держал от Прокоповича в строжайшей тайне свое предприятие, хотя тот кое о чем догадывался... Он даже знал (или, вернее, узнал потом), где происходило истребление «Ганца Кюхельгартена».

Гоголь снял комнату в гостинице, находившейся на углу Вознесенской улицы у Вознесенского моста (Кулиш, 1854, с. 37; по указанию современных исследователей — это гостиница Неаполь — Гиллельсон, с. 33), заперся и сжег все до одного экземпляры. Способ действия для автора уже опробованный: в Гимназии он таким же образом обошелся с «Братьями Твердиславичами». Только теперь, как казалось Гоголю, он действует надежнее, уничтожая не только произведение, но и память о своем авторстве. Но он ошибся. После смерти Гоголя об учиненном им аутодафе Прокопович рассказал П. Кулишу, а Яким — писателю Г. П. Данилевскому. Яким назвал примерное число книжек, преданных им и Гоголем уничтожению, — около шестисот.

Есть еще одно забытое свидетельство. Петербургский книгопродавец И. Т. Лисенков — один из тех, кому Гоголь отдал экземпляры книги на комиссию, писал своим одесским знакомым Криворотовым: «Напечатал он в первый раз свое сочинение: “Ганц Кюхельгартен” или картины, принес ко мне на продажу и через неделю спросил, продаются ли. Я сказал, что нет, он забрал их — и только и видели, должно быть, печка поглотила, и тем кончилось, что и теперь нет этой книги и публика не знает и не видела его первого произведения» (РС, 1898, т. 94, с. 605). Эти слова интересны тем, что написаны при жизни Гоголя — 13 ноября 1850 года — еще до рассказов Прокоповича и Якима. Следовательно, слухи о первом неудачном опыте Гоголя могли подспудно распространяться в литературных кругах, но до авторских ушей они, видимо, не дошли<sup>33</sup>. Уничтожая книгу, Гоголь полагал, что он наглухо хоронит свою тайну.

Поскольку к 20 июля, как сообщала «Северная пчела», «Ганц Кюхельгартен» продавался «во всех книжных лавках по 5 рублей», то его сожжение имело место через день-два после этого срока. Но не позже. Потому что 24 июля Гоголь уже сообщает матери о своем внезапном отъезде за границу, а 1 августа прибывает в Любек...

Причина неожиданного гоголевского вояжа как будто бы единственна и лежит на поверхности: провал «Ганца Кюхельгартена». Посмотрим, однако, как объясняет этот поступок сам Гоголь в упомянутом письме к матери.

Он напоминает, что давно уже подумывал о заграничном путешествии, которое predetermined было высшей силой в целях его нравственного самосовершенствования. Бог «указал мне путь в землю чуждую, чтобы там воспитал свои страсти в тишине, в уединении, в

шуме вечного труда и деятельности...». Это вполне соответствовало действительности в том смысле, что поездка в «землю чуждую» будоражила воображение еще Гоголя-гимназиста. Марья Ивановна в некоторой мере, вероятно, знала или догадывалась об этой мечте, поэтому соответствующее напоминание в предотъездном письме должно было убедить ее (да и самого Николая) в законности и мотивированности его внезапного решения.

Но что звучало совсем неожиданно, так это полное дезавуирование петербургской идеи. Мало сказать, что в свете нового опыта чиновничья служба представляется Гоголю низкой и неблагодарной: «Что за счастье дослужить в 50 лет до какого-нибудь статского советника, пользоваться жалованьем, едва стающим [так!] Себя содержать прилично, и не иметь силы принести на копейку добра человечеству». Непонятно вообще, причем тут Петербург, если Гоголю преуказан был путь самовоспитания на чужбине: «И я осмелился откинуть эти божественные помыслы и пресмыкаться в столице здешней между сими служащими, издерживающими жизнь так бесплодно». Знакомая нам альтернатива — центр и периферия — видоизменяется. Теперь уже Петербург, который представлялся воплощением всего светлого, видится по отношению к прекрасному «далеко» периферией, глушью, а его обитатели — жалкими существователями. В Нежине он чувствовал себя заложником или случайным пришельцем из другого мира — из еще неведомой ему столицы, а теперь он ощущает себя странником, забредшим по ошибке... в столицу!

А потом Гоголь делает еще одно неожиданное признание, объявляя, что добивался служебного места в столь ненавистном ему Петербурге больше «в угодность» матери, чем из внутренних побуждений, добивался тщетно. «Везде совершенно я встречал одни неудачи, и, что всего страннее, там, где их вовсе нельзя было ожидать. Люди, совершенно неспособные, без всякой протекции легко получали то, чего я с помощью своих покровителей не мог достигнуть...» Этим заявлением, кстати, корректируется сообщение в предыдущем письме к матери о том, что ему «предлагают место с 1000 рублей жалованья в год». Гоголь делал вид, будто лишь от него зависит, принимать или не принимать выгодное предложение; но оказывается, это не совсем так...

А потом вдруг выдвигается еще одна причина внезапного отъезда за границу: мол, Гоголь встретил женщину необычайной красоты и во избежание беды должен ретироваться...



И, наконец, — в письме к матери из Любека от 13 августа нового стиля — обстоятельства освещаются уже более прозаическим образом: «Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, заставившей меня именно ехать в Любек. Во все почти время весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи <...> и присудили пользоваться водами в Травемунде, в небольшом городке, в 18 верстах от Любека...»

Клубок объяснений действительно непростой, запутанный, в котором, кажется, один мотив исключается другим. По логике так называемого здравого смысла выдвигать много причин — значит, заведомо говорить неправду; поэтому-то Гоголю обычно не верят, подозревая во всем неискренность и скрытую цель. Гоголю было свойственно приправлять правду «маленькой ложью», комбинировать и преувеличивать мотивы, но это не значит, чтобы у них совсем не было реальной подоплеки. Тут очень важно отделить буквальный, поверхностный смысл иных гоголевских утверждений от их функций, не претендуя при этом, конечно, на окончательную истину.

В письме матери от 22 мая, незадолго до отъезда, Гоголь сообщал о неожиданной смерти некоего богатого и «великодушного друга», с которым у него были связаны радужные ожидания. «Все состояло в следующем: мои небольшие способности были призрены, и мне представлялся прекрасный случай ехать в чужие края. Это путешествие, сопряженное обыкновенно с величайшими издержками, мне ничего не стоило, все бы за меня было заплачено...» Но теперь все расстроилось: «Мои предположения лопнули».

Сообщение об утрате «великодушного друга» не вызывает особого доверия («А. С. Данилевский не слыхал от него ни о чем подобном» — Шенрок, т. 1, с. 184). Но если вспомнить, что Гоголь действительно не встретился с Высоцким и его кругом, с которыми были связаны планы заграничного путешествия, то возникает вопрос, не являются ли гоголевские слова своего рода иносказательной формой выражения той мысли, что все разладилось и надеяться теперь не на кого. Разумеется, для матери предназначался прямой смысл высказывания, однако Гоголь при этом не просто «лгал», но превратным образом выражал свое реальное ощущение.

Далее. Замечено, что своим сообщением Гоголь подготавливал мать к своему внезапному отъезду за границу, равно как и к материальным затратам, которые были с этим связаны. Но тут надо

обратить внимание на хронологию: еще не было издевательского отклика Н. Полевого, неуспеха у книгопродавцов и читателей, поэма вообще не вышла из типографии, а Гоголь взвешивал или, может быть, даже принял свое решение. Значит, оно было результатом более долгого и глубокого процесса, чем только переживания по поводу «Ганца Кюхельгартена»; возможная неудача литературного предприятия представлялась Гоголю той каплей, которая переполнит чашу. Бывают в психологическом состоянии человека такие моменты, когда для сохранения душевного равновесия подспудно обдумывается перспектива некоей компенсации, когда более или менее осознанно формулируется условие: вот если и это не получится, тогда я решусь на то-то и то-то. Без запасного хода трудно порою перенести надвигающуюся или предчувствуемую новую неудачу, беду, и таким запасным ходом, отдушиной был для Гоголя его заграничный вояж.

Поэтому вполне реальный смысл видится мне в вырвавшейся у Гоголя жалобе: «*Везде* совершенно я встречал одни неудачи...» Это была действительно *полоса неудач*. Прежде всего — со службой: никак не удавалось получить необходимого места, а следовательно, и возможности устойчивого заработка. Ухудшилось физическое состояние Гоголя, усугубленное нравственными терзаниями. Привелось, видимо, испытать ему и сильное любовное чувство. Наконец надвинулась и катастрофа с «Ганцем Кюхельгартемом», которая увенчала все прежние беды.

Поскольку обычно признается только первая и последняя из них, то есть неудачи со службой и с книгой, остановимся несколько подробнее на других.

Гоголя ловят на противоречиях: мол, вначале он говорит о любви, а потом о болезни, да и о самой болезни сообщает взаимоисключающие сведения: в одном случае — это «большая сыпь» как следствие «золотухи», а в другом — «грудная болезнь». По мнению комментаторов академического издания, Гоголь просто запутался, «забыв подробности своего письма из Любека» (X, 423).

Но известно, что в течение года Гоголь действительно перемогал различные хворости, а к весне все это осложнилось моральным состоянием: он с тоскою вспоминал о вольном украинском воздухе, видя, что ему придется провести несколько месяцев в пыльном и душном городе. Об этом Гоголь писал матери еще 30 апреля, за три месяца до отъезда; год же спустя признавался, что именно ощущение оставленности и одиночества в раскаленном и обезлю-

девшем Петербурге толкнуло его на отчаянный шаг: «Я был утопающий, хватающийся за первую попавшуюся ему ветку» (X, 167). Физическое и моральное состояние усугубило другие переживания, явившись для них весьма активным фоном. Кстати, «указание на болезнь сделано Гоголем не для оправдания своей поездки, а для объяснений, почему он поехал именно в Любек, а не в какое-нибудь другое место» (Витберг, 1892, с. 29). Ведь рядом с Любеком находился источник необходимой ему целебной воды. Что же касается «золотухи», то Гоголь употреблял это слово не в смысле точного диагноза, а для передачи общего болезненного состояния слабости (ср. у В. Даля: золотуха — «прирожденная болезнь худосочия...»), поэтому последующее упоминание «грудной болезни» сказанному вовсе не противоречит.

Теперь о любовном переживании. Первый гоголевский биограф принял эту мотивировку («Он влюбился в какую-то девушку или даму, недоступную для него в его положении» — Кулиш, 1854, с. 40); большинство же последующих ее решительно отвергли, ссылаясь на то, что никаких подтверждений этой версии не находится. «... Сколько ни припоминал А. С. Данилевский, все его [Гоголя] душевное состояние и самое поведение в то время нисколько не подтверждали это невероятное сообщение» (Шенрок, т. 1, с. 182). Считалось, что Гоголь вообще был неспособен к любви, что за всю свою жизнь он не испытал «ни одной сильной привязанности к женщине» (Веселовский, 240). Говорилось и о физиологических аномалиях писателя, по причине которых он вообще не знал женщин. Вопросы деликатные, но обойти их в биографической книге невозможно.

Мы ничего не знаем об интимных чувствах Гоголя в юношеские годы; неизвестно, приходилось ли ему переживать увлечения. Лишь одно место из письма к матери проливает некоторый свет: «Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке... Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости». Это заставляет думать, что Гоголь прежде крепко держал на привязи свои чувства и страстное увлечение перед поездкой за границу — первое в своем роде.

Спустя три года Гоголь делает глухое признание, позволяющее думать, что он снова испытывает нечто подобное. В это время А. С. Данилевский, живший на Кавказе, увлекся замечательной красавицей, родственницей Лермонтова Эмилией Александровной Клингенберг (впоследствии Шан-Гирей). Надеясь на этот роман, Гоголь писал другу 10 марта 1832 года: «Может быть, ты находишься уже

в седьмом небе и оттого не пишешь. Чорт меня возьми, если я сам теперь не близко седьмого неба <...> Ни в небе, ни в земле, нигде ты не встретишь, хотя порознь, тех неуловимо божественных черт и роскошных вдохновений, которые <...> ensemble дышат и уместились в ее, боже, как гармоническом лице». Описание неведомой «северной» красавицы несколько напоминает незнакомку («это было божество...»), хотя чувство Гоголя заметно спокойнее, умиротвореннее. Он словно вышел уже из кризиса или, наоборот, не дал себя в него увлечь.

Через девять месяцев, в письме от 20 декабря 1832 года, Гоголь, касаясь любовных переживаний Данилевского, говорит, что у него самого «есть твердая воля, два раза отводившая... от желания заглянуть в пропасть». Если Гоголь «два раза» преодолевал роковое любовное чувство, то первый случай с некоторой долей вероятности можно приурочить к зиме или весне 1829 года, а второй — ко времени, о котором говорится в предыдущем письме. Кстати, состояние свое в первом случае Гоголь рисует именно так, что создается впечатление: не сумей он справиться со своей страстью, она превратила бы его в одно мгновение в прах.

В начале 30-х годов Гоголь вообще охотно рассуждает о силе любовного чувства, например в письме к тому же Данилевскому от 30 марта 1832 года: «Прекрасна, пламенна, томительна и ничем не изъяснима любовь до брака <...> она <...> сильный и свирепый энтузиазм, потрясающий надолго весь организм человека». Писателю, конечно, не обязательно в подобных рассуждениях подразумевать самого себя; но, сопоставляя все это с другими фактами, можно думать, что «энтузиазм» любви был известен Гоголю не понаслышке. Именно подобным образом — как «сильное» и «свирепое» чувство, потрясавшее весь его «организм», — описывает Гоголь свои переживания, вызванные встречей с красавицей.

Но здесь нельзя не сказать о том, способен ли был Гоголь к физической близости с женщиной. Врачу А. Т. Тарасенкову, лечившему писателя в последние месяцы его жизни, тот говорил, что «сношения с женщинами он давно не имел и что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовлетворения» (Тарасенков, с. 20). Свидетельство очень определенное: как бы ни было приглушено физиологическое чувство Гоголя, девственником он не был.

В литературных кругах притчей во языцех служила девственность Константина Аксакова, и весьма показательно в этом смысле, как относился к ней Гоголь. В письме к Сергею Тимофеевичу Аксакову Гоголь однажды с укоризной заметил, что многие крайности в суждениях его сына проистекают оттого, что тот не «перебесился». «Это невольно наводит на мысль, что у Гоголя самого были “грехи молодости”, которые уже отошли к этому времени от него, но какую-то физиологическую сторону которых он признавал» (Зеньковский, 223). И в более ранние годы Гоголь относился к этой стороне жизни весьма терпимо, без ложной скромности и лицемерия, с пониманием. В письме к М. Максимовичу, посланном в марте 1835 года из Петербурга на Украину, где уже вступила в свои права весна, Гоголь писал: «...Дай мне ее одну, одну — и никого больше я не желаю видеть, по крайней мере на все продолжение ее, ни даже любовницы, что казалось бы потребнее всего весной» (X, 358).

В свете всего сказанного весьма характерно то, как рисуется им эпизод встречи с красавицей. Когда Марья Ивановна решила, что сын ее стал добычей «гнусного разврата», тем более, что речь шла еще о какой-то болезни и сыпи, Гоголь поспешил ее успокоить: «Я готов дать ответ пред лицом Бога, если я учинил хоть один развратный подвиг, и нравственность моя здесь была несравненно чище, нежели в бытность мою в заведении и дома» (X, 158). В другом письме — от 22 ноября 1833 года — Гоголь предостерегает мать против губительного воздействия девичьей на воспитание его сестры Ольги: «Вы очень хорошо делаете, что отдаете Олиньку в пансион. <...> Особенно подтвердите и мадаме, чтобы она держала ее при себе или с другими детьми, но чтобы отнюдь не обращалась она с девками». За всем этим, можно предположить, стоял личный опыт Гоголя.

Иначе говоря, «грехи молодости» относятся скорее всего к гимназическому периоду или к пребыванию в Васильевке во время вакаций. В нежинской Гимназии нередко случалось такое, о чем сетовало начальство. В донесении директора Э. Адеркасу говорилось: «...не малое число нанятых для мытья белья молодых женщин и девок бывает причиною весьма соблазнительных происшествий, которых и предупредить невозможно» (Лавровский, 121). «Просвещение» же барчука со стороны «девок» — тоже явление для помещичьих семей обычное. Разумеется, по отношению к Гоголю все это говорится в порядке предположения, так как более твердых данных нет<sup>34</sup>.

Во всяком случае то испытание, которое Гоголь (повторяю: опять-таки предположительно) пережил весной 1829 года, было совсем другого свойства — идеальным. Но это не значит, что оно осталось свободным от сложных и в моральном смысле весьма мучительных чувств — наоборот. Эпизод этот явно недооценен в биографии писателя; он, собственно, и не занял в ней своего места, так как считается продуктом чистого вымысла, а между тем здесь завязывается один из важнейших узлов гоголевского бытия и его творчества.

Встреченная Гоголем женщина — само совершенство и в этом смысле свидетельствует о Боге: «Это было божество, им созданное, часть его же самого!» Но в то же время она свидетельствует и о человеческих страстях, пробуждает их и сама, кажется, несет на себе их печать: «Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и не к стати для нее. Ангел — существо, не имеющее ни добродетелей, ни пороков, не имеющее характера, потому что не человек, и живущее мыслями в одном небе». Здесь особенно интересно, что наименование «ангел» Гоголь почитает «низким» для женщины; он еще высоко ценит вещественное, плотское выражение красоты; он хотел бы примирить небесное с земным, добавить к небесному некоторую долю земного. «Это божество, но облаченное слегка в человеческие страсти».

Как божество и идеал красоты эта женщина не допускает даже мысли о физическом обладании; Гоголю достаточно «одного только взгляда» на нее; «взглянуть на нее еще раз — вот бывало одно-единственное желание». Но странное дело: не успокоение, не гармонию, не мир привносит в душу это созерцание... Непереносим прежде всего взор красавицы: «Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлеется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу. Но их сияния, жгущего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков». Чувства, которые пробуждает ее вид, ужасны: «Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен».

От неба, «божества» до преисподней — диапазон гоголевских переживаний. Гоголь жаждет красоты как божественного прорицания и боится как дьявольского искушения; возникает ощущение, что в самой красоте уже заключено губительное семя. Действие ее как будто бы только идеальное и благотворное, а на самом деле разрушительное и злое. Гоголь не знает пушкинского претворения мучительного лю-

бывшего чувства в умиление, тихую покорность красоте — может быть потому, что сама красота у него иная. Он мыслит именно противоположностями, переходами от одного состояния к другому. Гоголевское отношение к красоте равносильно отношению к соблазну, а соблазн требует защиты или преодоления. Гоголь преодолевает соблазн и тем самым реализует зароненную в нем с детства идею самовоспитания; но только самовоспитание на этот раз выражается не путем спокойного проявления терпения, «железной воли», которыми он имел обыкновение гордиться, а как бы импульсивно, резко, судорожно, отчаянно, панически. Гоголь спасается бегством, и в этом буквально географическом, пространственном действии выражен определенный психологический жест.

Гоголь бежит от красавицы, но тем самым и от себя, от скрытых опасностей своей души, от разрушительных сил, которые способны в ней обнаружиться. Это для него одно из первых ощущений катастрофичности и алогизма человеческой психики, почерпнутое из собственного опыта (или приуроченное к нему). «Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь, водворить хотя тень покоя в истерзанную душу». Сам Бог толкнул его на этот шаг, позаботившись таким образом не только об искушении, но и о способе найти противоядие.

О провале «Ганца Кюхельгартена» Гоголь не говорит ни слова — эта тема вообще не существует. Но отзвук и этой неудачи можно почувствовать в его жалобе матери на то, что Бог, вложив в него благие стремления, «одел все это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения». История с «Ганцем Кюхельгартеном» — первый из известных нам случаев, когда Гоголь, говоря его более поздними словами, «размахнулся Хлестаковым». Вспоминая все это, вспоминая факт посылки экземпляров именитым литераторам — Плетневу, Погодину и, возможно, другим, Гоголь испытывал чувство жгучего стыда за свою «дерзкую самонадеянность». Он с детства был склонен к острому раскаянию (история с кошкой), а тут все это еще осложнялось чувством уязвленного самолюбия.

Гоголь срывается с места, бежит — и при этом продумывает, когда и на какое время он едет. Поразительное сочетание импульсивности и расчетливости! В «Авторской исповеди» он вспоминал, что едва только «очутился в море, на чужом корабле, среди чужих людей», как ему стало не по себе и он «уже подумал о возврате». Гоголь

смещает хронологию: подумывать о возврате он стал еще *до отъезда*. Уже в первом письме матери (от 24 июля из Петербурга) Гоголь успокаивает ее: «Не ужасайтесь разлуки, я недалеко поеду». Гоголь обещал сообщить матери свой заграничный адрес, но так и не сообщил и велел писать к нему по старому адресу на имя Прокоповича. Показательно также, что он не отсылает Якиме домой, в Васильевку, но просит лишь прислать тому «пашпорт»: «...ему нельзя жить здесь без места». И через несколько дней, уже из Любека, Гоголь подтверждает, что «разлука» не будет «долговременной». В перспективе у Гоголя и более дальние планы: в упомянутом письме от 24 июля он сообщает, что приедет в Васильевку «не менее как через два или три года» — срок, который он выдержал, посетив родные места летом 1832 года.

Бросалось в глаза, что Гоголь отправляется в странствия как бы вслед за Ганцем Кюхельгартенем. «Сочинение это Гоголь сжег, но не мог удержаться от соблазна самому разыграть роль своего героя» (Овсяннико-Куликовский, с. 175). Сходство объясняют тесной сращенностью литературы и быта, вымысла и реального поведения в то время. И это верно, но только при перемещении из одной плоскости в другую мотивы видоизменяются, да и сама их последовательность, чередование прихотливы. Не Гоголь повторял путь своего героя, но Ганц воплощал его юношеское влечение в дальние страны, правда, в более эстетизированной, обобщенной и даже более катастрофической форме, если вспомнить о бесславном возвращении героя под родной кров и отречении от былых притязаний. А теперь Гоголь и воплощал свою собственную мечту, и повторял поступок своего героя, отступая одновременно и от того, и от другого образа.

Да, путешествие оказалось не таким, каким оно представлялось ему под сенью Гимназии высших наук. То путешествие должно было быть основательным, длительным, сопряженным с долгим трудом самовоспитания и работы над собой, а это вышло импульсивным, кратковременным и как бы скомканным. Там была потребность в накоплении мыслей и впечатлений, а здесь — в мгновенной встряске, разрядлении аффекта, спасительном переломе. Однако же осуществленное путешествие накладывалось на старые представления: «Я знал только то, что еду вовсе не затем, чтобы наслаждаться чужими краями, но скорей, чтобы натерпеться...» («Авторская исповедь»). Сохранялась идея испытания и жертвенности, причем угодных высшим силам, ниспославшим все это Гоголю для каких-то своих целей. У



Гоголя рано пробудилось ощущение избранности, в которое вписывалось все: и планы, и мечты, и насмешки товарищей, и удачи, и неудачи, и сами поражения, — вписалось и «истинно-фантастическое», как выразился Кулиш, путешествие. «В умилении я признал невидимую десницу, пекущуюся о мне, и благословил так дивно назначаемый путь мне» (письмо к матери от 24 июля 1829 г.).

Между тем в реальности путешествие Гоголя было не фантастическим, а вполне земным, или правильнее сказать — морским, учитывая, что большую часть времени он провел на корабле. Он терпел невзгоды, впитывал новые впечатления. В первые же часы плавания пережил «порядочную бурю», познакомившись со всеми неприятными ощущениями, которые с этим сопряжены. Через два дня увидел берега Швеции и с удовлетворением отметил: «Народ вообще хорош, особливо женщины стройны и недурны собою». Потом, вдалеке, Борнгольм, известный русскому читателю по повести Н. Карамзина, вместилище таинственных, фатальных сил (Гоголь записывает: «Вид острова Борнгольма с его дикими, обнаженными скалами и вместе цветущею зеленью долин и красивыми домиками восхитителен»). Через четыре дня — Дания. Потом Германия: Любек, Травемюнде, Гамбург.

Хотя Гоголь пережил полосу неудач, хотя в путь он отправился в смятенных чувствах, его общие ощущения от поездки, можно сказать, светлые. Ему по душе учтивость и благожелательность здешних жителей. «Простая крестьянка, у которой вы купите на рынке за какой-нибудь шиллинг фруктов или зелени, отвесит вам с такою приятностью кникс, которому позавидовала бы и наша горожанка». Новые впечатления разительно контрастируют с петербургским опытом и, наоборот, заставляют с тоскою вспоминать о родных местах, об Украине. Получается, что здесь все не так, как в столице русской империи, и так, как дома. Общительность, публичный образ жизни, сходение в трактире многих людей напоминают хлебосольные обеды в Кишиневе, еще при жизни Д. Трошинского.

За столом, наряду с немцами, занимают место «граждане всех наций». «Со мною вместе находились два швейцарца, англичанин, индейский набоб, гражданин из Американских Штатов и множество разноземельных немцев, и все мы были совершенно как лет 10 друг с другом знакомы. (Этого уже в Петербурге не водится.) Ужин всегда оканчивается пением...» (X, 157). Последняя деталь тоже многозначительна: разъединенные, погрязшие в своих заботах петербуржцы

вместе не поют. Зато, как скажет позднее Гоголь, вся «Украина звенит песнями». Очень интересуют Гоголя немецкие соборы. Его поражает «готическое великолепие», размеры храма, ровная высота потолка и огромной величины теряющийся в небе шпиль. А внутреннее убранство кафедрального собора просто восхищает его: «Знаменитое произведение Альбрехта Дюрера, изваяние Квелино, все было мною рассмотрено с жадностью»<sup>35</sup>.

Как ни кратковременно было путешествие Гоголя, оно расширило его опыт, причем многообразно, сразу в нескольких направлениях. Об этом можно судить по заграничным реминисценциям, которые вскоре станут появляться в его произведениях. Гоголь теперь еще более критично смотрит на облик Петербурга, осуждая его с архитектурно-эстетической точки зрения, в целом. Говоря о «гладко-однообразной куче» петербургских строений, о «новых городах» вообще, которые «так правильны, так гладки, так монотонны, что, пройдши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься от желания заглянуть в другую», он прибавляет: «Старинный германский городок с узенькими улицами, с пестрыми домиками и высокими колокольнями имеет вид, несравненно более говорящий нашему воображению» («Об архитектуре нынешнего времени»). Здесь ему всего дороже непохожесть и разнообразие; зато богослужение в готическом храме ценно тем, что соединяет разнородное — «тысячи поверженных на колени молельщиков стремится <...> в одно согласное движение, обнажает до глубины сердечные их помышления, кружит и несется с ними горé, оставляя после себя долгое безмолвие и долго исчезающий звук, трепещущий в углублении остроконечной башни» («Скульптура, живопись и музыка»). Потом это гоголевское ощущение разовьется в фундаментальную мысль об объединяющей роли религиозного переживания, о миротворческой и спасительной функции православной церкви. Но любопытно, что Гоголь еще связывает начало единения с западной церковью — прежде всего католической.

И наряду с этим совсем другая зарисовка, подсказанная тем же заграничным вояжем: «Представьте себе, какой-нибудь германский город в средние веки, эти узенькие неправильные улицы, высокие, пестрые, готические домики и среди их какой-нибудь ветхий, почти валяющийся...» Это дом алхимика, приводящий всех в ужас как обители дьявольских сил, но где на самом деле «вместо духов основало жилище неугасимое желание, непреоборимое любопытство, живущее только собою и разжигаемое собою же, возгорающееся даже от неу-

дачи — первоначальная стихия всего европейского духа, — которое напрасно преследует инквизиция, проникая во все тайные мышления человека...» («О средних веках»). В этот период Гоголь еще высоко ставит аналитическое, рациональное, «западное» начало, послужившее двигателем всей европейской цивилизации.

Пробыв за границей около двух месяцев, Николай Васильевич возвращался тем же путем и, по его словам, на том же самом пароходе.

О приезде Гоголя в Петербург — 22 сентября — рассказывает его первый биограф со слов Н. Прокоповича, жившего, как мы помним, в одной квартире с Николаем Васильевичем, в доме Иохима на Большой Мещанской. «Каково же было удивление Прокоповича, когда он, возвращаясь вечером от знакомого, встретил Якима, идущего с салфеткою к булочнику, и узнал от него, что у них «есть гости»! Когда он вошел в комнату, Гоголь сидел, облокотясь на стол и закрыв лицо руками. Расспрашивать, как и что, было бы напрасно...» (Кулиш, 1854, с. 41).

Со слов еще одного очевидца другой биограф дополняет: «Не менее удивлен был и А. С. Данилевский, когда он, входя к Прокоповичу, услышал звуки хорошо знакомого голоса. Хотя, по собственным словам его, он совершенно не верил в серьезность плана, составленного Гоголем, и предвидел его скорое возвращение, но все-таки никак не ожидал, что это случится так быстро» (Шенрок, т. 1, с. 187).

Гоголь вернулся, так сказать, в исходное положение и должен был начинать сначала, но при усложнившихся условиях.

Не говоря уже о душевном состоянии, путешествие Гоголя нанесло довольно ощутимый удар денежным обстоятельствам его и всей семьи: он воспользовался для поездки той суммой, которую прислала мать для уплаты за имение в Опекунский совет. Взамен Гоголь отказывался в пользу Марьи Ивановны от принадлежащей ему части имения (другая часть, согласно завещанию бабушки Татьяны Семеновны, была записана за его сестрами). Он и раньше, мы знаем, высказывал подобное желание, но теперь сделал для этого практический шаг: 23 июля, перед отъездом, явился в I Департамент Петербургской палаты Гражданского суда и предъявил свою доверенность (текст этой доверенности, засвидетельствованный некими заседателем Меняйловым и секретарем Деркачем, известен — ЛВ, 1902, кн. I, с. 60). На следующий день доверенность была выслана матери.

Однако необходимую сумму все же надо было внести в Опекунский совет: отсрочка длилась лишь четыре месяца, к тому же набегали

проценты (по пяти рублей за тысячу в каждый месяц). Откуда же взялись деньги? Точных сведений у нас нет, однако на основании письма гоголевского земляка можно заключить, что выручил Андрей Трощинский. Последний «заплатил» <...> в банк весь долг, лежащий на Марье Ивановне под залог всего имения» (КС, 1898, т. 62, отд. 9, с. 121).

Упомянутое письмо — интересный отклик на злополучный заграничный вояж Гоголя, да, собственно, на первые шаги его самостоятельной жизни вообще. Письмо показывает, в каком трудном положении оказался Гоголь. Но вначале надо сказать о самом авторе письма.

Василий Яковлевич Ломиковский (1778—1848) воспитывался в Шляхетском кадетском корпусе, был на военной службе. Выйдя в отставку, поселился на Миргородчине и устроил себе около дедовского села Шафоростовки хутор с говорящим названием — Парк-Трудолюб. Свою жизнь помещик Ломиковский посвятил усердному труду по собиранию и изучению памятников родной старины. Историки украинской культуры с похвалой отзываются об его деятельности: еще до появления знаменитой книги Н. А. Цертелева «Опыт собрания старинных малороссийских песней» (1819) Ломиковский в 1803—1805 годах сделал запись украинских дум; на рукописи сохранилась помета: «списаны из уст слепца Ивана, лучшего рапсода, которого я застал в Малороссии, в начале XIX в.» (Павловский, 1912, с. 114). Написал он также «Словарь малорусской старины», опубликованный посмертно (КС, 1894, кн. 7), вел дневник (КС, 1895, т. 51, № 11), свидетельствующий о литературной одаренности автора.

Ломиковский установил широкий круг знакомств — с Трощинскими (Кибинцы находились всего в восьми верстах от Парка-Трудолюб), с Капнистами (последнее известное письмо В. В. Капниста — от 13 августа 1823 г. — адресовано к нему), с Мартосами. Один из семьи Мартосов — Иван Романович (1760—1831), писатель, бывший кабинет-секретарь гетмана К. Разумовского, ревностный масон, увлек в мистику и своего друга Ломиковского.

Бывал Ломиковский и в Васильевке, где на все смотрел строгим, недоброжелательным взглядом. Главным объектом недоброжелательства, оказывается, являлся Николай.

Сообщая об уплате А. Трощинским долга, вызванного заграничной поездкой Гоголя, Ломиковский говорит (кстати, письмо написано в Парке-Трудолюб 9 января 1830 г. и адресовано И. Р. Мартосу): «И

здесь дьявол действует. Марья Ивановна весьма ошиблась заключениями своими о гениальном муже, сыне ее Никоше; он, быв выпущен из Нежинского училища, нигде не захотел служить, как в одном из министерств, и отправился в столицу с великими намерениями и вообще с общепользными предприятиями; *во-первых*, сообщить матушке не менее 6000 рублей, кои он имеет получить за свои трагедии; *во-вторых*, исходатайствовать Малороссии увольнение от всех податей. Таковые способности восхищали матушку, и она находит любимый разговор свой рассказами о необыкновенных дарованиях Никоши. Едва Никоша прибыл в столицу, как начал просить у матушки денег, коих она переслала выше состояния; наконец она, думаю, не без помощи А. А. <Трощинского> собрала 1800 рублей для заплаты процентов в банк; для исполнения сего вернее человека не могла найти матушка, как сына своего, и тем вернее было сие, что сыново же имение находится под залогом. Гений Никоша, получив такой куш, зело возрадовался и поехал с сими деньгами вояжировать за границу, но, увидевши границу, издержал все деньги и возвратился вспять в столицу. Но чтобы матушка не была в убытке, то он дал ей письменное позволение пользоваться его доходами с имения, а в том имении ныне оказалось великое изобилие в снеговых слоях и глыбах. Андрей Андреевич, будучи еще в Кибенцах (он приезжал в связи со смертью Дмитрия Прокофьевича, последовавшей 21 февраля 1829 г. — Ю. М.), узнав о таких подвигах Никоши, сказал: мерзавец! Не будет с него добра, и пошло бы имение в публичную продажу с пятью дочками, но теперь, как сказано выше, долг заплачен. Теперь же Никоша пишет к матушке: “я удивляюсь, почему хвалят Петербург, город сей более превозносится, чем заслуживает...”» (курсив в оригинале. — Ю. М.).

Письмо интересно тем, что написано осведомленным человеком, сообщающим всему происходившему предвзятое освещение. Ломиковский знает о задушевной мечте Гоголя продвинуться по службе, знает об его уверенности в своей высокой миссии, о торжественном обещании «быть благодеем» для соотечественников.

Посвящен Ломиковский и в литературные обстоятельства Гоголя. Еще не было опубликовано ни одно его произведение (кроме «Ганца Кюхельгартена» и «Италии», если это действительно гоголевская вещь), а Ломиковский уже знает о намерении Гоголя издать большие труды («трагедии»), которые принесут немалый доход. Очевидно, он основывается на сообщениях Гоголя о литературных занятиях, сообщениях, содержащихся в письмах к Марье Ивановне.

Осведомлен Ломиковский и о том денежном вспомоществовании, которое регулярно оказывала своему сыну Марья Ивановна.

Видно также, что Ломиковский не раз слышал ее рассказы о Никоше. Может быть, Марья Ивановна оставалась единственным человеком, который верил в его необыкновенное предназначение. Но она выражала свои чувства в преувеличенной форме, имевшей вид безудержного хвастовства. Можно было бы отнести это впечатление на счет недоброжелательства Ломиковского, если бы оно не подтверждалось другими. А. Данилевский рассказывал В. Шенроку: «Да ведь надо знать, как она всегда говорила о сыне. Она говорила о нем с гордостью любящей и счастливой матери, с восторгом, со страстью и, при всей беспредельной доброте, готова была за малейшее слово о нем поссориться с каждым». «В обожании сына, — продолжает гоголевский биограф, — Марья Ивановна, положительно доходила до Геркулесовых столпов, приписывая ему все новейшие изобретения (пароходы, железные дороги), и, к величайшей досаде сына, рассказывала об этом всем при каждом удобном случае» (Шенрок, т. 1, с. 202). Очевидно, приписка Гоголю «новейших изобретений» — это более поздний факт; пока же Марья Ивановна горько переживала неудачи сына, никак не могла понять, почему он не может устроить свою жизнь.

Уверенность Гоголя в своем призвании, а матери — в его гениальности — все это контрастировало с реальным течением дел. Отклик Ломиковского свидетельствует, что о нем уже стало складываться мнение как о молодом человеке с невероятными претензиями и малыми способностями, словом — неудачнике и пустоцвете. Интересно, что почти одновременно с Ломиковским некий Светличный, очевидно, земляк Гоголя, встречавшийся с ним в Петербурге, стал распространять слух, что тот истрачивает жизнь в кутежах и веселье.

## «ТЫСЯЧА ПУТЕЙ»

Неудачи, бегство за границу и бесславное возвращение нанесли сильный удар самолюбию Гоголя. «Бог унизил мою гордость — его святая воля!» В не дошедшем до нас письме от 14 октября Марья Ивановна, видимо, упрекнула сына в излишней гордости, причине всех его бед, на что тот отвечал: «Прошу вас, маминька, не думайте найти во мне хотя искру гордости. Если я прежде казался таковым, то теперь не покажусь верно им...» (X, 161). Он характеризует себя

как «кроткого, признательного, которого нужды и опыт переродили совершенно и сделали другим человеком» (X, 186).

Неопределенность положения, безденежье, зависимость от других заставляли Гоголя проявлять свойственную ему от природы хитрость и умение принаравливаться к людским слабостям. Один маленький, но характерный пример.

В письме к матери от 27 октября 1829 года, сообщая о своих текущих делах, Гоголь вдруг разражается благодарственным дифирамбом Андрею Трощинскому: «Я познаю теперь невидимую руку Всевышнего, меня охраняющую: он послал мне ангела-спасителя в лице нашего благодетеля, его превосходительства Андрея Андреевича, который сделал для меня все то, что может только один отец для своего сына; его благодеяние и драгоценные советы навеки запечатлеются в моем сердце». Затем он прибавляет, что надеется со временем загладить свой «безрассудный поступок (т. е. бегство за границу. — Ю. М.) и хотя несколько приблизиться к высоким качествам души нашего благодетеля, ангела между людей».

Из следующего письма к матери от 12 ноября выяснится, зачем понадобилось лирическое отступление об «ангеле-спасителе». Гоголь пересылал письмо через А. Трощинского, отдав ему (якобы по его просьбе) конверт незапечатанным. «Следовательно, вы не подивитесь, — пишет Гоголь матери, — если я в нем немного польстил ему; впрочем, он, точно, для меня много сделал: по его милости я теперь имею теплое на зиму платье, также заплатил должные мною за квартиру». С расчетом демонстрировал Гоголь и свое раскаяние по поводу заграничной поездки, а значит, и по поводу растраты денег: вспомним, что Трощинский осуждал этот поступок и что именно он в конце концов помог уладить возникшие денежные трудности.

А затем в том же письме на той же высокой ноте Гоголь переходит к похвалам Марье Ивановне: «Чем отплачу я вам, почтеннейшая маминька, за ваше материнское обо мне попечение? В каждом письме вашем я вижу доказательства тому вместе с драгоценными наставлениями вашими». Или вот еще пример стилистики гоголевских обращений к матери: «Как! столько пожертвований, с таким самоотвержением, и для кого? для того, который до сих пор не доставил вам ни одного еще утешения, не только помощи... Столько беспокойств, столько душевных тревог, столько печалей, и все об ком?.. Безумец! как я мог в часы, когда неудачи и несчастья подавляли меня, как я мог в эти часы отчаиваться и изливать желчь на весь мир, когда есть

одно существо, ангел со всеми ангельскими совершенствами, который любит меня со всеми моими слабостями, которому одному только моя жизнь дороже всего на свете — и я мог, в полном избытке счастья, почитать себя несчастливейшим!» (X, 175—176).

Подобные пассажи рождали подозрение в неискренности Гоголя. Однако поступки его говорят о том, что он действительно любил мать, заботился о ней. Испрашивая очередную денежную сумму, Гоголь каждый раз писал о своих душевных терзаниях, обещал, что в скором времени такие поборы прекратятся и он даже сможет что-то из своих доходов посылать домой. Гоголь в будущем сдержит свое слово. Поэтому П. Анненков писал, что определенная доля хитрости и настойчивости молодого человека, пробивающего себе дорогу, не может «бросить какую-то тень на известную страстную привязанность его к матери, на безграничную любовь к семейству, которого он был всю жизнь нравственным и материальным благодетелем...» (Анненков, 1983, с. 55).

Однако причина состояла не только в хитрости и настойчивости Гоголя, но и в верности этикету. Традиции его семейного воспитания и окружающей провинциальной среды рождали определенный характер общения между родственниками, при котором официальный стиль разнился от повседневного. Эпистолярный же жанр поневоле склонял скорее к первому стилю, чем ко второму, то есть к стилю, изобилующему гиперболами и сентиментальными штампами.

Выше уже приводились слова Гоголя из «Выбранных мест из переписки с друзьями»: «...еще от детства вселил в меня Бог непонятное мне самому чувство бежать от всяких неумеренных излиятий, даже родственных и дружеских, как от чего-то приторного и неприятного». Трудно сказать, как в отношении «излияний» к Гоголю, но в отношении «излияний» самого Гоголя эти слова не совсем точны. Он отнюдь не чурался чрезмерности и приторности, демонстрируя матери свою чувствительность и благодарность. Он знал, что так надо, что Марья Ивановна ждет от него этой благодарности. Он и без того достаточно отклонился от правильной колеи, не умея никак обрести необходимое положение, пусть же обычай будет соблюден, хотя бы в отношении формы.

Ждал благодарности, ждал выражения приличествующих чувств и дальний богатый родственник Андрей Трощинский. Об этом знала и Марья Ивановна, которая, со своей стороны, писала ему, как тронут Никоша и как он высоко ценит его поддержку.



По возвращении из-за границы, в октябре, Гоголь переезжает из дома Иохима в новую квартиру — в дом Зверкова у Кукушкина моста. Гоголь экономит деньги: «...теперь занимаем мы 3 комнаты, но на три человека вместе стоят, и комнатки очень небольшие» (X, 161)<sup>36</sup>.

Гоголь готов еще решительнее пробивать себе путь, он подбадривает себя и мать. «...Если мои ничтожные знания не могут доставить мне места, я имею руки, следовательно, не могу впасть в отчаяние — оно удел безумца». Что подразумевают эти строки? Перед самым отъездом в Петербург, в Васильевке, Гоголь уверял родственников, что никакие трудности не испугают его. «...Вы еще не знаете всех моих достоинств, — сообщал он Петру Косяровскому. — Я знаю кой-какие ремесла. Хороший портной, недурно раскрашиваю стены алфрескою живописью, работаю на кухне и много кой-чего уже разумею из поваренного искусства; вы думаете, что я шучу, спросите нарочно у маменьки...» Вспомнив об этом обещании, Гоголь говорит, что ему придется обеспечивать себя не с помощью «знаний», то есть «государственной службы», а с помощью «рук», то есть «ремесел». Трудно сказать, насколько серьезны были его намерения, но факт тот, что в это время — письмо датируется 24 сентября — он не имеет реальных видов на место чиновника.

И Гоголь делает новый шаг в неожиданном направлении. Но вначале скажем о шаге, которого он, по-видимому, не сделал, от которого воздержался.

Об этом эпизоде мы знаем только от Ф. Булгарина. Вначале он глухо упомянул о нем в письме от 21 марта 1852 года некоему Василию Васильевичу. «Гоголь в первое свое пребывание в Петербурге, — сообщал Булгарин, — обратился ко мне, чрез меня получил казенное место с жалованьем и в честь мою писал стихи, которые мне стыдно даже объявлять!» (КС, 1893, № 5, с. 321—322). Спустя два года Булгарин развил эту версию во всех подробностях, причем уже не в частном письме, а публично — в статье, опубликованной в «Северной пчеле».

«В конце 1829 или в начале 1830 года, хорошо не помню, один из наших журналистов, живших тогда в Почтамтской, в доме господ Яковлевых (ныне А. М. Княжевича), сидел утром за литературною работою, как вдруг зазвенел в передней колокольчик, и в комнату вошел молодой человек, белокурый, низкого роста, расшаркался и подал журналисту бумагу. Журналист, попросив посетителя присесть, стал читать поданную ему бумагу — это были похвальные стихи, в

которых журналиста сравнивали с Вальтер-Скоттом, Адиссоном и так далее. Разумеется, что журналист поблагодарил посетителя, автора стихов, за лестное об нем мнение и спросил, чем он может ему служить. Тут посетитель рассказал, что он прибыл в столицу из учебного заведения искать места и не знает, к кому обратиться с просьбою» (курсив в оригинале. — Ю. М.).

Далее сообщается, что «журналист», то есть Булгарин, внял просьбе «молодого человека», то есть Гоголя, и договорился со своим добрым знакомым фон Фоком, управляющим III отделением. Тот «дал место Гоголю в канцелярии III отделения. Не помню, сколько времени прослужил Гоголь в этой канцелярии, в которую он являлся только за получением жалованья; но знаю, что какой-то приятель Гоголя принес в канцелярию просьбу об отставке и взял обратно его бумаги. Сам же Гоголь исчез, куда неизвестно! У журналиста до сих пор хранятся похвальные стихи Гоголя и два его письма (о содержании которых почитаю излишним извещать); но более Гоголь журналиста не навещал. Вот истина, которую можно подтвердить стихами и двумя письмами» (СП, 1854, № 175).

Итак, Гоголь поступил на службу в III отделение, и это было его первое «казенное место», которого он так долго и безрезультатно добивался... Насколько достоверна подобная версия?

Прежде всего бросается в глаза, что сообщение Булгарина, сформулированное чрезвычайно категорично и безапелляционно, опирается как бы на реально не присутствующие, ускользающие факты. «Похвальные стихи» и «два письма» объявлены существующими, но до сведения читателей так и не доведены — ни полностью, ни в извлечениях. Что же помешало Булгарину это сделать — неужели действительно скромность и нелюбовь к похвалам? Единственное упоминаемое третье лицо — М. Я. фон Фок, умерший более двадцати лет назад, в 1831 году. Наконец, существенно и то, что версия выдвинута только после смерти Гоголя.

При жизни же писателя, в 1847 году, Булгарин заявлял в своей газете: «...Гоголь едва ли не с первыми нами (т. е. с Ф. Булгариным. — Ю. М.) познакомился, прибыв в Петербург из Малороссии, прежде чем напечатал первое свое сочинение, и если б не увлекся духом партии, то, верно, послушался бы наших советов, пошел бы в литературе чистым и светлым путем, проложенным Карамзиным и Жуковским, и теперь с своим оригинальным талантом стоял бы весьма высоко!» (СП, 1847, № 8). Отчасти это совпадает с последующим

заявлением Булгарина, но не в главном. Булгарин упоминает о своем знакомстве с Гоголем, о том, что он давал ему какие-то «советы», но все еще выдержано, так сказать, в сугубо литературном ключе, без всякого намека на посторонние обстоятельства, то есть службу в III отделении. Полезные «советы» Булгарина Гоголю можно понять лишь как призыв к объективности, которой тот якобы изменил, увлекшись «духом партии» и выбрав в своем творчестве ложный путь.

Совершенно очевидно, что сведения, сообщаемые Булгариным при жизни Гоголя в расчете на его реакцию, заслуживают большего доверия, чем то, что было сказано им впоследствии.

Каким же представляется «булгаринский эпизод» по имеющимся у нас данным (на исчерпывающее его разъяснение пока претендовать невозможно)?<sup>37</sup>

Гоголь, бесспорно, был знаком с Булгариным. Если «Италия» — действительно гоголевская вещь и если она была послана в «Сын отечества», по словам П. Кулиша, инкогнито, то около этого времени автор и лично явился к издателю. Произошло это не «в конце 1829 или в начале 1830 года», как запомнилось Булгарину, а еще до истории с «Ганцем Кюхельгартенем», то есть в первые месяцы 1829 года.

Возможно, встреча состоялась, как говорит Булгарин, именно на Почтамтской. Кстати, вспомним, что в «Ревизоре» мелкий журналист Тряпичкин, который «отца родного не пощадит для словца и деньгу тоже любит», проживает тоже на Почтамтской (эта деталь фигурировала уже в первом издании пьесы в 1836 г.). Выбор местожительства Тряпичкина обусловлен общим художественным строем комедии, так как мотивирует факт распечатывания письма почтмейстером («Взглянул на адрес, вижу: в Почтамтскую улицу... Ну, думаю себе, верно, нашел беспорядки по почтовой части...»), но в то же время мог быть подсказан гоголевскими личными ассоциациями; современниками же, в том числе и самим Булгариным, все это могло восприниматься как намек.

Не исключено, что во время визита Гоголь польстил или, как он выразился по другому поводу, «прислужился» Булгарину — его искусство на этот счет нам уже известно. Письменными материалами Булгарин едва ли располагал (иначе он их опубликовал бы), но устные «похвалы», вероятно, слышал, что давало ему психологическое основание говорить и о похвальных стихах и письмах.

Такой же психологический прыжок был совершен Булгариным и в суждениях о «казенном месте». Иначе говоря, вполне возможно, что он предлагал Гоголю службу в III отделении и тот вначале не дал отрицательного ответа. Следы колебаний В. Гиппиус обоснованно видит в следующих словах гоголевского письма к матери, написанного в Любеке 13 августа 1829 года: «Я в Петербурге могу иметь должность, которую и прежде хотел, но какие-то глупые людские предубеждения и предрассудки меня останавливали» (Материалы, т. 1, с. 293). Следовательно, окончательный ответ Гоголь откладывал до возвращения в Петербург, но так, видимо, его и не дал.

Между тем отношения Гоголя с Булгариным сохранились по крайней мере до начала следующего года: к январю 1830 года Гоголь делает для «Сына отечества и Северного архива» перевод с французского статьи «О торговле русских в конце XVI и начале XVII века». Хотя статья не была опубликована, Гоголь получил за нее гонорар — 20 рублей (X, 175).

Впоследствии картина резко изменилась. Нападки Булгарина на Гоголя шли с возрастающей силой. Гоголь, со своей стороны, не раз больно задевал Булгарина — и в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» и в эпилоге «Носа», и в «Портрете» (2-я редакция). Проследивать эту борьбу в данном случае нет необходимости — важно лишь подчеркнуть, что Булгарин не раз имел повод прибегнуть к самому чувствительному удару — обвинению морального свойства, или если не прямому обвинению, то хотя бы к намеку. То, что он этого не сделал при жизни Гоголя, существенно подрывает правдоподобие его версии<sup>38</sup>.

В период неудач и испробования различных средств Гоголь решил испытать еще один путь, благо, столица предоставляла для этого широкие возможности; тут, говорил Гоголь, для человека «тысячи путей». В Нежине он с большим успехом играл на сцене, товарищи предрекали ему славу актера; неудивительно, что в трудную минуту Гоголь вспомнил и об этом.

«Не снискав известности на поприще литературном, Гоголь обратился к театру. ...Он изъявил желание вступить в число актеров и подвергнуться испытанию. Неизвестно, какую роль должен он был играть на пробном представлении, только игру его забраковали начисто, и я не знаю, приписать ли это робости молодого человека, не видавшего света. Как бы то ни было, но Гоголь должен был отказаться от театра после первой неудачной репетиции...» (Кулиш, 1854, с. 40;

ср. Кулиш, 1852, с. 198). Нет, причина заключалась не только в провинциальной робости Гоголя...

П. Кулиш рассказал о театральном эпизоде со слов третьих лиц, очевидно — со слов Н. Прокоповича. Последний не присутствовал на «испытании», и Гоголь скорее всего ничего ему не говорил. Но Прокопович был связан с театральной средой, в 1832 году он вступил в труппу императорских Санкт-Петербургских театров, и о попытке Гоголя мог слышать от актеров. В свою очередь, от Прокоповича сведения мог получить гоголевский слуга Яким, который после смерти писателя рассказывал одному мемуаристу: «Сначала Николай Васильевич хотел поступить на театр» (Воспоминания, с. 81).

Но известно еще одно свидетельство, наиболее подробное и достоверное, так как оно принадлежит человеку, имевшему отношение к произошедшей истории, — Н. Мундту.

Николай Петрович Мундт (1803—1872), второстепенный беллетрист, переводчик, драматург, служил в канцелярии директора императорских театров С. С. Гагарина. В ноябре 1827 года он подал прошение на имя Николая I об определении его на вакантную должность архивариуса при театральной дирекции, а с 1 октября 1829 года был секретарем конторы<sup>39</sup>. В бытность его секретарем, то есть, очевидно, в первые недели октября, до получения Гоголем места чиновника, о чем мы будем говорить далее, и случился этот эпизод.

Канцелярия директора императорских театров и его квартира располагались тогда на Английской набережной, в доме Бетлинга (позднее Риттера) № 11, на углу Замятина переулка (Гиллельсон, 1961, с. 35). Однажды Мундту доложили, что его кто-то желает видеть.

«Приказав дежурному капельдинеру просить пришедшего, я увидел молодого человека, весьма непривлекательной наружности, с подвязанною черным платком щекою и в костюме, хотя приличном, но далеко не изящном.

Молодой человек поклонился как-то неловко и довольно робко сказал мне, что желает быть представленным директору театров.

— Позвольте узнать вашу фамилию? — спросил я.

— Гоголь-Яновский.

— Вы имеете к князю какую-нибудь просьбу?

— Да, я желаю поступить на театр» (Воспоминания, с. 65—66; первоначально — «С.-Петербургские ведомости», 1861, № 235).

Здесь нужно сказать несколько слов о внешности Гоголя. Мундт нашел его весьма непривлекательным, но это оттого, что он смотрел

на него сквозь театральные очки, то есть как бы с точки зрения сценичности. Но, скажем, «по словам Максимовича, Гоголь был тогда хорошеньким молодым человеком» (Кулиш, 1854, с. 57). Гоголь был белокур, с хохолком, придававшим ему задорный вид. Он старался одеваться по моде — стремление, которое он обнаружил еще в последнем классе Гимназии. — но не выдерживал стиля, срывался. «В Петербурге некоторые помнят его щеголем; было время, что он даже сбрил волосы, чтоб усилить их густоту, и носил парик. Но те же самые лица рассказывают, как у него из-под парика выглядывала иногда вата, которую он подкладывал под пружины, а из галстука вечно торчали белые тесемки» (там же, с. 30).

Гоголь словно был составлен из разных начал, которые никак не могли прийти в состояние равновесия. М. Н. Лонгинов, встретивший его чуть позже, в конце 1830 или начале 1831 года, говорит: «Небольшой рост, худой и искривленный нос, кривые ноги, хохолок волос на голове, не отличавшейся вообще изяществом прически, отрывистая речь, беспрестанно прерываемая легким носовым звуком, подергивающим лицо, — все это прежде всего бросалось в глаза. Прибавьте к этому костюм, составленный из резких противоположностей щегольства и неряшества, — вот каков был Гоголь в молодости» (Воспоминания, с. 70).

Как южанин, привыкший к ненатопленному теплу и к тому же плохо одетый — целую зиму Гоголь, по его словам, «отхватал в летней шинели», — он страдал зябкостью, чувствовал себя неуютно, стесненно, особенно среди незнакомых или в многолюдстве. Мелькающие в его петербургских произведениях позы, когда человек покрепче закутывается плащом своим, прижимается к стенам домов, старается вовсе не глядеть на окружающие предметы, — словом, всячески ступшевывается и ретируется — все это было личное, выстраданное.

Кстати, упомянутая Мундтом деталь — подвязанная черным платком щека — находит свое подтверждение у других мемуаристов. И. С. Тургенев вспоминал, что несколько позже, в 1835 году, «на выпускном экзамене из своего предмета он [Гоголь] сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли...».

И вот такой человек объявил о своем желании поступить в императорский театр — и не на какие-нибудь другие роли, а непременно драматические! Почему драматические? Хотя его успех на гимназической сцене был связан прежде всего с комедийным амплуа, но «лирический и сурьезный род» занимал в его сознании более высокое место, а драматические роли на театре были аналогом этого «рода».

Директор императорских театров С. С. Гагарин распорядился устроить Гоголю экзамен. Главным экзаменатором оказался инспектор русской труппы А. И. Храповицкий. Более неудачного оценщика дарования Гоголя трудно себе представить. Все знавшие Александра Ивановича Храповицкого характеризуют его совершенно одинаково. «Он был человек очень добрый, но принадлежал к старой, классической школе. Он сам часто играл в домашних спектаклях, вместе с знаменитой Е. С. Семеновой (княгиней Гагариной), считал себя великим знатоком театра и был убежден, что для истинного трагического актера необходимы: протяжное чтение стихов, декламация, дикие завывания и неизбежные всхлипывания, или, как тогда выражались, *драматическая икота*» (курсив в оригинале. — Ю. М.; Воспоминания, с. 67). К тому же Храповицкий имел склонность к наставничеству, был одно время учителем декламации в театральной школе, «в каждом мальчике видел будущего трагика — и заставлял их кричать напропалую» (Каратыгин, с. 302).

У Храповицкого во время экзамена Гоголя были и ассистенты. Н. Мундт называет М. А. Азаревичеву, И. П. Борецкого, В. В. Боченкова и — с некоторой неуверенностью — П. А. Каратыгина. П. Кулиш говорит, что присутствовали В. А. Каратыгин и Я. Г. Брянский. По-видимому, в отношении Каратыгина следует принять версию Кулиша: трагик Василий Андреевич Каратыгин более подходил к характеру экзамена, чем его брат Петр Андреевич, исполнитель комических ролей (показательно, что биограф вначале написал просто *Каратыгин*, а затем, видимо, после уточнения внес инициалы: В. А. — Ср. Кулиш, 1852, с. 198; Кулиш, 1854, с. 40). Но в остальном как участник события, хотя и не присутствовавший на самом экзамене, большего доверия заслуживает первый мемуарист.

Во всяком случае все упомянутые им актеры (кроме Каратыгина — если это действительно был Василий Андреевич) не отличались ярким талантом. Борецкий когда-то (в 1818 г.) обратил на себя внимание в роли Эдипа, но в ней «как бы истратил весь запас своего дарования и уже не пошел далее» (Каратыгин, с. 142). Азаревичева известна была эпизодическими ролями, Боченков слыл посредственным комиком.

Тон на экзамене задавал Храповицкий. Он попросил Гоголя прочесть монологи из «Дмитрия Донского» В. А. Озерова, «Андромахи» Ж. Расина в переводе графа Хвостова... Гоголь «читал просто, без всякой декламации», что никак не отвечало вкусам экзаменатора; к

тому же кандидат в актеры робел и часто останавливался. Храповицкий еще решил испытать Гоголя в комедии, предложив ему прочесть сцену из «Урока старикам» Казимира Делавиня<sup>40</sup>, но это не изменило общей картины.

Результатом этого испытания было то, что Храповицкий запискою донес князю Гагарину, «что присланный на испытание Гоголь-Яновский оказался совершенно неспособным не только к трагедии или драме, но даже к комедии. Что он, не имея никакого понятия о декламации, даже и по тетради читал очень плохо и нетвердо, что фигура его совершенно неприлична для сцены, и в особенности для трагедии, что он не признает в нем решительно никаких способностей для театра и что, если его сиятельству угодно будет оказать Гоголю милость принятием его на службу к театру, то его можно было бы употребить разве только *на выход*» (Воспоминания, с. 68).

Секретарь дирекции Мундт не помнит, чтобы Гоголь приходил за ответом. Очевидно, он и так понял, что провалился.

## СЛУЖЕБНАЯ УТОПИЯ

В конце октября 1829 года перед Гоголем, наконец, возникла реальная перспектива. 27 октября он сообщил матери: «В скором времени я надеюсь определиться на службу. Тогда с обновленными силами примусь за труд и посвящу ему всю жизнь свою». Чуть позже он пояснил, что получает «довольно порядочное место в министерстве внутренних дел».

Прошение о службе Гоголь подал в конце октября на имя министра внутренних дел генерал-адъютанта А. А. Закревского, который 15 ноября наложил резолюцию: «Употребить на испытание в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий и при первом докладе лично господину директору со мной объясниться» (Материалы, т. 1, с. 288).

И вот новоявленный чиновник ежедневно стал ходить в казенное здание на углу Мойки и Нового переулка, близ Синего моста (ныне Мойка, д. 66).

Главным начальником Гоголя был Иван Устинович Пейкер, участник сражения при Аустерлице, за которое он получил орден Анны 4-й степени, неоднократно раненный, бывший костромской и рязанский вице-губернатор. Директором департамента он сделался несколько месяцев назад, 5 марта.



Кто помог Гоголю получить место, точно неизвестно. Главные надежды, мы помним, возлагались на Л. Голенищева-Кутузова, однако после смерти Д. Трощинского тот, видимо, охладел к выполнению возложенного на него дела, чем объясняется жалоба Гоголя в письме к матери: «...важной протекции я не имел никакой, а мои покровители водили меня до тех пор, пока не заставили меня усумниться в сбыточности их обещаний». Гоголь говорит, что определение на службу потребовало от него «бесконечных исканий»: «Я не понимаю, как я до сих пор не сошел с ума». Новые заботы наложились на прежние неудачи и разочарования, но достигнутый результат не принес удовлетворения.

Очень скоро полученное место показалось ему «незавидным». Жалованья он получил «сущую безделицу»; по отчету, приложенному им к одному из писем, первая выплата последовала лишь в январе 1830 года и составила 30 рублей.

Наступивший новый год Гоголь встретил «холодно и безжизненно». Это говорит о степени его разочарования службой, которой он так мучительно и долго добивался.

А в феврале, 25 числа, он уже подает Пейкеру прошение об отставке: к этому времени у Гоголя возникла надежда на новое место.

Мы уже знаем об убеждении Гоголя: нужно испробовать самые разные средства, искать самые разные пути. Время покажет, какое его дарование сильнее, какая дорога надежнее. Гоголя привлекал сам фактор неизвестности, игры со случаем и с судьбой, в результате чего могут открыться совсем неожиданные возможности и один вид деятельности будет способствовать другому виду. Так и получилось с новым его служебным назначением.

Выполняя свои обязанности в Департаменте государственного хозяйства и публичных зданий, Гоголь не переставал собирать сведения об Украине и по-прежнему осаждал Марью Ивановну просьбами присылать ему самый разнообразный материал: и «забавный анекдот между мужиками» «или между помещиками», и описания «нравов, обычаев, поверьев», и сообщения о том, какие платья были в старину «у сотников, их жен, у тысячников, у них самих, какие материи были известны в их времена, и все с подробнейшею подробностью» — «не пренебрегайте ничем, все имеет для меня цену».

Интересуют его раритеты: древние монеты, старопечатные книги, антики, записки, «веденные предками какой-нибудь старинной фамилии», стрелы, которые, как хорошо помнит Гоголь, во множестве находили в Псле.

Сбор материалов Гоголь намеревается поставить на широкую ногу: пусть Марья Ивановна привлечет родственников и знакомых. Все это нужно ему не только для собственных литературных занятий, но и для передачи другим лицам.

В конце 1829 или в самом начале 1830 года Гоголь познакомился с Павлом Петровичем Свиньиным (1787—1839), писателем, художником, географом, путешественником, в частности автором уже упоминавшегося «Опыта живописного путешествия по Северной Америке». В своем журнале «Отечественные записки» он щедро знакомил читателей с бытом, историей, географией, фольклором различных регионов России, в том числе и Украины. Интерес Свиньиного к Украине, видимо, и послужил почвой, на которой произошло его знакомство с Гоголем. В апрельском номере журнала за 1830 год Свиньин опубликовал очерк «Полтава (из живописного путешествия по России издателя О. З.)»<sup>41</sup>. Печатал он и материалы, доставляемые Гоголем, хотя неизвестно точно, какие именно<sup>42</sup>.

А в февральской и мартовской книжках журнала без подписи появилось первое гоголевское прозаическое произведение «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть (из народного предания), рассказанная дьячком Покровской церкви».

Эта повесть, по-видимому, и открыла Гоголю двери новой службы — в Департаменте уделов.

Гоголь писал матери, что своим теперешним местом он «обязан своим собственным трудам». И позднее: «...одна из статей моих доставила мне место, ныне мною занимаемое». В то время «статьей» называли разные произведения, в том числе и художественные (повесть, рассказ и т.д.), так что Гоголь мог подразумевать и свой «Вечер накануне Ивана Купала». В таком случае он впервые на своем опыте убедился в силе воздействия писательского слова, которое способно приносить даже непосредственную, практическую пользу.

Кто же реально помог Гоголю получить место? Скорее всего сам начальник ведомства, в которое тот устроился.

Лев Алексеевич Перовский (1792—1856), внебрачный сын графа А. К. Разумовского, возглавлял Департамент уделов, имел придворный чин гофмейстера, впоследствии стал графом. Любовь к Украине была у него наследственной — его дед происходил из черниговских крестьян — и подкреплялась, так сказать, двойною профессией его брата Алексея, который был не только известным писателем Антоном Погорельским, автором книги «Двойник, или Мои вечера в

Малороссии» (1828), но и попечителем Харьковского учебного округа. Известны любознательность и живой ум Льва Перовского; по свидетельству его сослуживца, он «любил заниматься некоторыми науками, входящими в круг его служебных обязанностей, как-то: минералогией, ботаникой, археологией» (ВЕ, 1867, № 12, с. 129). По-видимому, именно Л. Перовского имел в виду Гоголь, прося Марью Ивановну присылать раритеты: «Я хочу этим прислужиться одному вельможе, страстному любителю отечественных древностей, от которого зависит улучшение моей участи». Едва ли Гоголь назвал бы «вельможей» Свинына, как полагают комментаторы академического издания (см. X, с. 425), хотя не исключено, что редактор «Отечественных записок» послужил здесь в роли посредника. Иначе говоря, Свинын помог обратить внимание Л. А. Перовского на молодого писателя.

В пользу предположения, что Перовский уже что-то слышал о Гоголе, говорит такой факт. Свое «прошение» об определении в департамент Гоголь начинает словами: «*Имея желание служить под лестным начальством Вашего превосходительства...*» и т. д. В рамках официального документа это более личный, заинтересованный тон, который словно должен продемонстрировать, что подчиненный «знает» своего будущего начальника. При поступлении в Департаменте государственного хозяйства и публичных зданий Гоголь обращался к министру А. Закревскому в другом стиле.

Упомянутое прошение Перовскому было подано 27 марта 1830 года. В тот же день прошение подписал начальник II отделения В. И. Панаев. 4 апреля был составлен черновик резолюции, согласно которой Гоголь определялся на службу в II отделение с жалованьем 600 рублей в год. 10 апреля зачисление было оформлено — Гоголь получил место писца (Материалы, т. 1, с. 296).

И вот он снова стал ходить в присутствие — в красивое трехэтажное здание на Миллионной (впоследствии ул. Халтурина, д. 9).

Настроение у него становится ровным, хорошим. Сложился более или менее постоянный распорядок дня. «В 9 часов утра отправляюсь я каждый день в свою должность и пробываю там до 3-х часов, в половине четвертого я обедаю...» Потом свободное время — занятия, встречи со знакомыми. «Три раза в течение недели отправляюсь я к людям семейным, у которых пью чай и провожу вечер. С 9 часов вечера я начинаю свою прогулку, или бываю на общем гуляньи, или сам отправляюсь на разные дачи; в 11 часов вечера гулянье прекра-

щается, и я возвращаюсь домой, пью чай, если нигде не пил...» (X, 179—180).

О своей прежней службе Гоголь говорил скупой. Теперь же он охотно перечисляет всех своих начальников: и главного — вице-президента департамента Л. А. Перовского, и начальника отделения — В. И. Панаева, и столоначальника — Д. И. Ермолова. Все они Гоголю нравятся, все удостаиваются его похвалы. В.И. Панаев, кстати, не только чиновник, но и известный писатель, автор многочисленных идиллий — «человек очень хороший, которого в душе я истинно уважаю»; Д. И. Ермолов — человек «недурной и не без воспитания». Словом, «начальники мои действительно хорошие люди, и я ими весьма доволен». Явно «доволен» он и местом в то время, как прежним местом был недоволен. Чем это объясняется?

Тут надо сказать несколько слов о Департаменте уделов. История его начинается в 1797 году, когда Павел I выделил часть недвижимого имущества, числившуюся в составе гударственных владений, в особые уделы и доходы с них назначил исключительно на содержание особ царского дома. Для управления же уделов создал специальное учреждение во главе с министром.

Благодаря своей важности удельное хозяйство получило ряд преимуществ как перед государственным, так и перед крупным помещичьим хозяйством. В отличие от первого оно более свободно располагало своими средствами, не будучи стесненным рамками государственного бюджета и постановлениями различных финансовых служб. В отличие же от второго, то есть частного землевладения, удельное хозяйство велось более последовательно и постоянно: оно «может рассчитывать свои действия на многие годы вперед и осуществлять предприятия в течение десятилетий, не останавливаясь перед временными материальными жертвами и затратами, не посильными для частного лица. В качестве казенного управления оно имеет возможность привлекать к себе на службу наиболее подготовленных деятелей по разным специальностям» (Уделы, с. 24).

Но дело не ограничивалось только финансовой самостоятельностью. Документ, подписанный Павлом I, так называемое «Учреждение», гласил, что Министерство уделов подчиняется непосредственно высочайшей власти — «имеет состоять под собственным нашим ведением; следственно во всех своих деяниях отчет дает токмо Нам самим» (там же, с. 90). На практике не всегда было так, и департаменту приходилось отстаивать свою самостоятельность. Против вме-

шательства общей администрации официально возражал Д. Трошинский, бывший (в 1802—1806 гг.) четвертым министром этого учреждения.

Прямая зависимость от двора, близость к царю, возможность, как сегодня говорят, «выйти» на царя — все это Гоголю должно было прийти по душе.

Не менее важна была для него и филантропическая сторона деятельности департамента. Двор был заинтересован, чтобы его благосостояние покоилось на достаточно твердой основе. «С самого начала на Уделы возложена была обязанность заботиться о благосостоянии вверенных им крестьян». «Внутреннее самоуправление сельских обществ ограждалось от всякого постороннего вмешательства» (там же, с. 24—25).

Хуже обстояло дело с образованием крестьян. Хотя в 1805 году состоялся указ об учреждении в селах церковно-приходских школ, но и двадцать два года спустя (в 1827 г.) таких школ для всей массы удельных крестьян насчитывалось только пять. Чтобы исправить положение, в 1828 году издали постоянные правила об удельных школах. По инициативе В. И. Панаева был разработан проект продажи хлеба с особого поля с целью определения выручки «на устройство и содержание больниц, богаделен и школ»; в мае 1827 года этот проект был представлен Перовскому (ВЕ, 1867, № 12, с. 133, 137). Все это также было далеко не безразлично Гоголю.

В 1826 году Министерство уделов присоединили к Министерству императорского двора, возглавлявшемуся кн. П. М. Волконским. Л. А. Перовский стал его помощником по управлению уделов и в 1828 году был назначен вице-президентом соответствующего департамента. Он «сделался душою удельного ведомства, и с именем его связан самый блестящий период в истории Уделов» (Уделы, с. 93). Таким образом, начало службы Гоголя в департаменте совпало с началом этого периода.

Остается еще представить себе внешнее устройство и обстановку того учреждения, в которое вступил молодой чиновник. Как раз незадолго перед тем, к концу 1827 года, дом был переоборудован в современном стиле. По словам В. Панаева, «столы, стулья, конторки, шкафы, все явилось новое, просто, но изящно сделанное. Для хранения дел придуманы форменные картонки; на столах однообразные чернильницы, пол паркё, ковровые дорожки чрез всю анфиладу ком-

нат. Это был первый пример благоприличного устройства присутственных мест, поданный князем Волконским».

Многие государственные мужи из других ведомств приезжали осматривать помещение. 21 января 1828 года департамент изволил посетить император, побывал он и в комнатах II отделения, возглавляемого Панаевым. Гоголя здесь еще не было; но когда он появился через два года, до него, несомненно, дошла весть о необыкновенном визите.

Близость ко двору, явные, а еще более скрытые возможности учреждения — все это оживило интерес Гоголя к служебной деятельности, который было погас в треволнениях первых месяцев петербургской жизни. Совсем еще недавно он приходил в уныние от одной мысли о необходимости большую часть дня «не отходить от стола и переписывать старые бредни и глупости господ столоначальников», а теперь он готов беспрекословно тянуть чиновничью лямку. Служба не бессмысленна «для того, кто имеет ум, знающий извлечь из этого пользу, предположивший впереди себя мету, ставши на которую, он в состоянии дать обширный простор своим действиям, сделаться необходимым огромной массе государственной...». Вот для чего стоит трудиться! Мысль Гоголя совершенно ясна: он хочет стать государственным человеком, иметь возможность влияния на политику, на управление. Он верен своей служебной утопии, сложившейся у него в последние годы пребывания в Гимназии.

И в связи с этим вновь возникает излюбленный и сокровенный гоголевский мотив — о воле и терпении. Человек, поставивший перед собой «мету» (Гоголь говорит о себе в третьем лице), «должен иметь железную волю и терпение, покамест не достигнет своего предназначения, должен не содрогнуться крутой, длинной — почти до бесконечности и скользкой лестницы, должен не упускать из виду малейшего обстоятельства, кажущегося посторонним, но способствующего сколько-нибудь к повышению его, должен отвергнуть желание раннего блеска, даже пренебречь часто восклицанием света: «Какой прекрасный молодой человек! как он мил, как занимателен в обществе!».

Так должен был поступать антипод Ганца Кюхельгартена, герой «Думы», у которого «железная воля», «мысль и крепка и бодра», который твердо стоит «среди суеты» и т.д. Но то была поэтическая картина. Теперь Гоголю видится проявление сильной воли «небом избранного» в конкретной обстановке петербургских канцелярий, ибо высокая и скользкая лестница — это вполне реальная лестница слу-

жебного продвижения, а восхищенные реплики окружающих — вполне определенная реакция влиятельных чиновников, возможно, и их жен (речь ведь о «свете»), реакция, к которой он, Гоголь, должен оставаться как бы безучастным ради вящего успеха и большей славы.

Для самочувствия Гоголя важно было и то, что в стенах департамента уделов (бывшего Министерства уделов) трудился некогда Д. Трощинский, добившийся самых высоких степеней. Теперь его дальний родственник, молодой чиновник, призван повторить подобный путь. Гоголь исполнен надежд, ожиданий, устремленности честного карьеризма.

Гоголь готов на лишения, на самоограничение — и где? — в столице, с ее соблазнами и удовольствиями! «Никакое желание рассеяния, забав и развлечений всякого рода не должно останавливать его; он может казаться занимающимся ими, но не на самом деле». Как это напоминает (вернее — превосхищает) самоограничение иных гоголевских героев, сосредоточившихся на своем деле, не желающих (или не имеющих возможности) ничего знать помимо него! Это, между прочим, характерный для Гоголя случай переадресованного переживания: нечто, органично свойственное ему, у персонажей получает другую цель, но сохраняет полностью или почти полностью свой вид. Так, Чичиков будет до поры до времени отказывать себе во всем ради воплощения своего плана. А в «Шинели» будет повторен и развернут даже тот только что приведенный стилистический оборот, который Гоголь применил к себе: «...словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению».

Марья Ивановна ждала от сына более осязаемого и быстрого успеха; в не дошедшем до нас письме она напомнила о некоем Гежелинском, очевидно, земляке, который, переехав в Петербург, скопил себе «довольно значительное состояние единственно стараниями и прилежанием по службе». Гоголь вынужден объясняться: мол, теперь время другое, чиновники едва сводят концы с концами. «Прежде человеку, прослужившему несколько лет верою и правдою, в награждение давали целые поместья, душ тысячу и более крестьян; теперь же вы сами знаете, этого ничего не дают уже». Перед глазами Марьи Ивановны маячил пример того же Д. Трощинского, получавшего из царских рук угодья и крепостных.

Такие подарки Гоголя не прельщали, но это не значит, что он был чужд вполне прозаическим интересам. Манящая его длинная

«лестница» терялась в заоблачных высях, но начиналась на земле. Едва ли случайное совпадение: письмо к матери, из которого мы приводили обширные отрывки и в котором Гоголь развивал свою служебную утопию, помечено 3 июня 1830 года — днем, когда указом Правительствующего Сената он был утвержден в чине коллежского регистратора со старшинством со дня вступления в службу (Сборник, 1857, с. 345). Чин самый младший, полагающийся Гоголю согласно его аттестату, но, как говорится, лиха беда начало.

«Через год, а может быть, и ранее, — сообщает Гоголь в том же письме к матери, — надеюсь я получить штатное место. Это составляет покамест единственное мое желание, и получение его будет для меня неизъяснимою радостью, потому что освободит от тягостной обязанности получать от вас вспоможения...» Случилось это значительно раньше: уже 22 июля 1830 года Гоголь был определен помощником начальника I стола по II отделению с жалованьем 750 рублей в год, то есть на 150 рублей больше, чем он получал прежде.

Гоголь надеется и на большее, не останавливаясь перед некоторыми вполне практичными шагами. 29 сентября он спрашивает Марью Ивановну: «Не будете ли видеться с Шамшевыми? Они хорошо знакомы с Панаевыми и ведут с ним переписку. В таком случае не мешало бы, если они упомянули и обо мне. Это, я думаю, ускорило бы мне прибавку жалованья. Слова два-три от хороших людей всегда не помешают». В записках В. И. Панаева, начальника Гоголя, действительно упоминается некий Шамшин, «коллежский (ныне тайный) советник», чиновник «из государственного контроля», проверявший Департамент уделов (ВЕ, 1867, № 12, с. 140). Возможно, через него и собирался действовать Гоголь.

Новый, 1831 год Гоголь встречает в приподнятом настроении, не так, как предыдущий. «Мои удвоившиеся труды, мои успешные занятия и лестное внимание ко мне — все заставляет меня думать, что участь моя к моему и вашему удовольствию переменится, и в наступающем 1831 году ... предвижу я для себя много хорошего» (X, 186—187). Бодрый тон этого письма передан Марье Ивановне, сообщавшей А. Трощинскому: «Сын мой продолжает службу счастливо, его начинают замечать с хорошей стороны и любят, и он надеется в новом годе получить для себя больше выгод и не столько будет нуждаться» (РС, 1882, т. 34, с. 677). Марья Ивановна не заметила только маленькой подробности из письма сына: она свела все к «выгодам» по службе, а тот, говоря об «удвоившихся



трудах» и «успешных занятиях», имел в виду и что-то другое, помимо службы...

Возвращаясь же к служебной утопии Гоголя, остановимся на его заметке о «Борисе Годунове». Мы еще поговорим о ней позже, пока же обратим внимание лишь на одну подробность. Но для начала надо подчеркнуть, что заметка написана во время службы Гоголя в Департаменте уделов, то есть в последних числах декабря, («Борис Годунов» вышел после 22—23 числа) или в первые дни следующего года.

Характерно, что из всех персонажей пушкинской трагедии Гоголем упомянут только один — заглавный герой, и в каком качестве? — в качестве стремившегося к добру, но не достигшего результата государственного деятеля. «О, как велик сей царственный страдалец! Сколько блага, сколько пользы, сколько счастья миру — и никто не понимал его...» Это те самые слова, в которые Гоголь облекал свои собственные чувства («...Я всю жизнь свою обрек *благу*», «...на *пользу* отечества, для *счастья* граждан...» и т. д.); новое лишь — ситуация непонимания, которую он к себе не применял, но которой, конечно, очень страшился.

Говоря о «счастье», которое мог принести «миру» Годунов, Гоголь имел в виду его планы обуздать боярство и улучшить положение народа:

...Высокий дух державный.  
Дай Бог ему с Отрепьевым проклятым  
Управиться, и много, много он  
Еще добра в России сотворит.

Говоря же о непризнании царя народом, Гоголь мог подразумевать его горькие слова:

Нет, милости не чувствует народ:  
Твори добро — не скажет он спасибо;  
Грабь и казни — тебе не будет хуже.

Но ведь Годунов пришел к власти через убийство и узурпацию трона. Гоголь как читатель трагедии это, конечно, отметил, но —

Но я достиг верховной власти... чем?  
Не спрашивай.

Гоголь и «не спрашивает». Момент преступления растворяется в понятии минувшего, властно заявляющего о себе. «Над головой его гремит определение... Минувшая жизнь, будто на печальный звон колокола, вся совокупляется вокруг него! Умершее живет!..» Момент вины не отменен, но на первом плане все же мысль о непонятом

«страдальце», о несостоявшемся «благе». Гоголь воспринимает пушкинского героя сквозь дымку мечты о своей государственной миссии.

Допустимы ли низкие средства для достижения благих намерений? С христианской точки зрения — ни в коем случае. «Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 7, 18). Но на практике случается всякое, и зачастую безнравственно поступают не злодеи, а люди, стремящиеся к добру.

Гоголевское отношение к Борису Годунову до некоторой степени близко к трактовке Шевыревым фигуры папы Сикста V. Будучи кардиналом Феличе Монтальто, он проявил и коварство, и хитрость, но, достигнув папского престола, все делал во благо своей страны и народа. Он вынужден был так поступать, принаравливаясь к духу времени. «Все нечистые стихии духовной жизни века звучат в этих словах Сикста: *грехом сотворю плод добрый!*» По Шевыреву, справедливость правления и достигнутый успех оправдывают Сикста V<sup>43</sup>.

Статья Шевырева «Сикст V. Историческая характеристика» не могла быть к этому времени известна Гоголю (она написана в 1833 г., а опубликована годом позже в «Библиотеке для чтения», 1834, т. VI), но, так сказать, проблема Сикста V возникла в русском обществе раньше. Она, в частности, обсуждалась в кружке Любоумров в 1826 году, после поражения декабристов в связи с предполагаемой новой тактикой — «служить, выслуживаться, быть загадкой, чтобы наконец, выслужившись, занять значительное место и иметь большой круг действия» (Барсуков, т. 2, с. 55).

Знал ли Гоголь в это время о деятельности Сикста V, точно не известно (скорее всего знал вследствие своего интереса к западной истории), но участи Годунова очень сочувствовал, воспринимал ее как трагическую неудачу. Неудачу, подстерегающую не только верховного властителя, самодержавца, но и государственного мужа, каким представлялся себе Гоголь в будущем.

## «СВЯТЫНЯ ИСКУССТВА»

Верный избранной тактике, он продолжал испытывать себя и на других поприщах.

В том же самом письме к матери (от 3 июня 1830 г.), в котором Гоголь с воодушевлением рассказывал о государственной службе, он сообщал, что регулярно бывает и в императорской Академии

художеств. Приходит сюда три раза в неделю к пяти вечера и занимается часа два.»... Здесь есть все средства совершенствоваться в ней (живописи. — Ю. М.), и все они, кроме труда и старания, ничего не требуют».

Возможно, дверь в Академию художеств Гоголю помог открыть П. Свинын, который сам рисовал, а в 1827 году как «живописец-любитель» стал «почетным вольным общником» упомянутой Академии (Кондаков, с. 321).

Гоголь сходится со многими художниками, добивается их расположения. «По знакомству своему с художниками, и со многими даже знаменитыми, я имею возможность пользоваться средствами и выгодами, для многих недоступными. Не говоря уже об их таланте, я не могу не восхищаться их характером и обращением; что это за люди!» Гоголя восхищает в них то, что так редко встретишь у своего брата-чиновника: «...об чинах и в помине нет, хотя некоторые из них статские и даже действительные советники».

Кого конкретно подразумевал Гоголь? Возможно, Алексея Егоровича Егорова и Василия Козьмича Шебуева, которые в 1830 году поочередно вели натурный класс, посещаемый Гоголем (Молева, с. 43). Оба были академиками, профессорами, Шебуев, сверх того, еще придворным живописцем; оба обладали соответственно высокими гражданскими чинами. У Шебуева, кстати, в свое время учился Капитон Семенович Павлов, преподававший рисование в Гимназии высших наук.

В том же 1830 году 23 сентября в Академии художеств открылась выставка произведений за три прошедших года. Гоголь не преминул побывать на выставке. «Это для жителей столицы другое гулянье», — сообщал он матери 29 сентября, — около тридцати огромных зал наполнены были каждый день до 27 числа толкающимися взад и вперед мужчинами и дамами, и здесь встречались такие, которые года по два не видались между собою. С 27 числа Академия открыта для простого народа».

Особенность академической выставки 1830 года в том, что «это был своеобразный триумф школы Венецианова» (Савинов, с. 141). Здесь было выставлено пять работ самого мастера и 32 работы его учеников. Среди произведений последних — «Удящие рыбу из беседки» В. М. Аврорина, «Внутренность крестьянского двора» Беллера, «Беседка в Приютине» Васильева, «Внутренность крестьянского двора» девицы Раевской и т. д.

Все это вызывало живой интерес Гоголя, откладывалось в его творческой памяти, находило встречный отклик. Без труда прочерчиваются параллели между иными из перечисленных сюжетов и пассажами из будущих гоголевских вещей. Так название картины «Внутренность комнаты, из открытого окна которой видна Нева» заставляет вспомнить строки из «Невского проспекта»: «Он [Пискарев] рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякой художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки <...> стены, запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках». Внимание к «непричесанной» натуре, к случайным, как бы хаотичным подробностям, а также лежащий «почти на всем серинький [так!] мутный колорит» (выражение из того же «Невского проспекта») — отвечало внутреннему художественному зрению Гоголя. Скажу для точности: *одному из аспектов* этого зрения, ибо последнее, еще не сложившись и формируясь, захватывало самые разные, нередко противоположные сферы бытия и сознания.

Сверх творческих схождения у Гоголя и Венецианова были и сближающие их биографические обстоятельства. Алексей Гаврилович Венецианов (1780—1847) происходил из нежинских греков, из той самой шумной колонии, которую с любопытством, иронией и теплотой наблюдал Гоголь в бытность учеником Гимназии высших наук и в которой у него были приятели вроде Константина Базили. Переехав в Петербург, Венецианов учился у В. Л. Боровиковского, с племянником которого Николай занимался вместе у полтавского преподавателя Гаврилы Сорочинского. Художник был вхож в дом своего земляка владельца Диканьки В. П. Кочубея и нарисовал его портрет в интерьере петербургского дома. Гоголь примерно в это же время — скорее всего, после выхода первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — тоже появится в апартаментах этого дома.

Точные сведения о знакомстве Гоголя и Венецианова относятся к 1834 году, когда художник создал его известный литографированный портрет. Предположительно это знакомство произошло еще раньше: 23 декабря 1833 года Венецианов по своим делам посещает некоего «Николая Васильевича» — скорее всего именно Гоголя (Машковцев, с. 20). Но вполне возможно, что их первые, пусть и беглые встречи имели место во время академической выставки 1830 года.

Среди важных знакомств, приобретенных Гоголем в академических стенах, следует упомянуть еще знакомство с Василием Ивановичем Григоровичем, историком искусства, занимавшим должность конференц-секретаря академии. Глубоко почтительное поздравительное письмо Гоголя к Григоровичу относится к январю 1833 года; но, возможно, встретились они также раньше.

Наконец, еще одно, кажется, не обратившее на себя внимание гоголевское знакомство. Значительно позднее, 5/17 февраля 1846 года граф Федор Петрович Толстой сделал в своих путевых записках помету о встрече с «Гоголем» [так!] в Риме у С. П. Апраксиной: «Я сначала его не узнал, он мне показался моложе и лучше, конечно, от того, что гораздо опрятнее, нежели прежде, как бывал у меня в Петербурге» (ЛН, т. 58, с. 698). Ф. П. Толстой, скульптор, живописец, рисовальщик и медальер, занимал место (с 1828 г.) вице-президента Академии художеств, и скорее всего Гоголь бывал у него именно как у должностного лица. Чуть позже, около 1833 года, Гоголь принимал участие в «Воскресных вечеринках» в доме Ф. П. Толстого<sup>44</sup>.

Гоголь посещал Академию довольно долго — в течение трех лет ему выписывали билеты в академические классы (Молева, с. 43). Это говорит о серьезности его устремлений.

В письме к матери Гоголь представляет дело так, будто живопись — только внеслужебное увлечение. Марья Ивановна, со своей стороны, сообщала О. Д. Трошинской: «...Еще положил [Николай] на себя занятие в Академии Художеств, желая усовершенствоваться в любимом своем искусстве рисовании» (РС, 1882, т. 34, с. 677). но не питал ли Гоголь втайне надежду, что это «занятие» со временем выйдет на первый план?

П. Анненков представлял такую панораму разворачивающихся усилий молодого Гоголя: «С 1830 по 1836 год, то есть вплоть до отъезда за границу, Гоголь был занят исключительно одной мыслью — открыть себе дорогу в этом свете <...> Гоголь перепробовал множество родов деятельности — служебную, актерскую, художническую, писательскую. С появлением «Вечеров на Хуторе», имевших огромный успех, дорога наконец была найдена...» (Анненков, 1983, с. 55—56). К 1830, году была «перепробована» и отброшена, в сущности, только одна разновидность деятельности — актерская. Художническая — только начата; служебная и писательская — продолжались.

К концу этого года ему удалось установить важные знакомства не только в художественной среде, но и с писателями. Одним из первых, с кем он познакомился, был, по-видимому, О. М. Сомов, критик, прозаик, журналист, выходец с Украины (Сомов родился в г. Волчанске Слободско-Украинской губернии и обучался в Харьковском университете).

Сомов был единственным, кто благосклонно отозвался о «Ганце Кюхельгартене». В своем «Обзрении российской словесности за первую половину 1829 года», опубликованном в альманахе «Северные цветы» за 1830 год, критик писал: «В сочинителе виден талант, обещающий в нем будущего поэта. Если он станет прилежнее обдумывать свои произведения и не станет спешить изданием их в свет тогда, когда они еще должны покоиться и укрепляться в силах под младенческою пеленою, то, конечно, надежды доброжелательной критики не будут обмануты». За такие слова Сомов получил выговор от рецензента «Московского телеграфа», где в свое время «Ганц Кюхельгартен» был изничтожен: мол, заступничество за поэму свидетельствует об отсталости вкуса (МТ, 1830, п. 1, с. 78). Но для Гоголя это была капля бальзама на рану. И поощрение к более обдуманному и неспешному литературному труду.

Летом Гоголь сообщает матери, что прекращает свое «участие в журналах»: «Теперь я собираю материалы только и в тишине обдумываю свой обширный труд». На самом деле обдумывался не один «обширный труд», а несколько: исторический роман, «малороссийская повесть», не говоря уже о работе над произведениями, составившими впоследствии «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Хотя Гоголь и предупреждал, что его труды готовятся не для журнала и «появятся не прежде, как по истечении довольно продолжительного времени», но все же к концу 1830 года он решил опубликовать отрывки из этих трудов. Сделал он это, по-видимому, с помощью Сомова, который был ближайшим помощником А. А. Дельвига по изданию «Северных цветов» и одно время редактором «Литературной газеты». В обоих этих изданиях одна за другой появились четыре гоголевских вещи.

В «Северных цветах на 1831 год» (цензурное разрешение 18 декабря 1830 г.) — «Глава из исторического романа».

В № 1 «Литературной газеты» за 1831 год — «Глава из малороссийской повести: Страшный Кабан» и кроме того, еще статья «Несколько мыслей о преподавании детям географии».

Наконец, в № 4 той же газеты — «Женщина».

В Гоголе пробуждается и крепнет самосознание литератора, что косвенно отражается в характере его подписи. Вначале он как бы кружит вокруг своей фамилии: «Глава из исторического романа» подписана «ОООО», что означает четыре буквы «О», встречающиеся в его имени и фамилии, — Николай Гоголь-Яновский. «Глава из малороссийской повести» скреплена подписью П. Глечик: полковник Глечик — персонаж «Главы из исторического романа», и таким образом читателю давался намек на принадлежность обоих произведений одному лицу. Статья «Несколько мыслей о преподавании детям географии» напечатана под именем Г. Янов — аббревиатура от Гоголь-Яновский.

Но статью-эссе «Женщина» автор впервые снабжает подписью «Н. Гоголь», видимо, уже не испытывая сомнений в достоинстве своего нового опыта.

К этому времени он познакомился с В. А. Жуковским и П. А. Плетневым. Возможно, Гоголь успел застать в живых и А. А. Дельвига (он умер внезапно 14 января 1831 г.).

О последовательности знакомств рассказывает первый биограф Гоголя: «Он достал от кого-то (возможно, от Сомова. — Ю. М.) рекомендательное письмо к В. А. Жуковскому, который сдал молодого человека на руки П. А. Плетнева с просьбою позаботиться о нем» (Кулиш, 1854, с. 42).

Встреча с Жуковским надолго запомнилась Гоголю; в конце 1847 года он писал ему: «Вот уже скоро двадцать лет с тех пор, как я, едва вступавший в свет юноша, пришел первый раз к тебе, уже совершившему полдороги на этом поприще. Это было в Шепелевском дворце (Жуковский имел здесь квартиру, будучи воспитателем наследника. — Ю. М.). Комнаты этой уже нет. Но я ее вижу как теперь, всю, до малейшей мебели и вещицы. Ты подал мне руку и так исполнился желаньем помочь будущему сподвижнику! Как был благосклонно-любовен твой взор!.. Что нас свело неравных годами? Искусство. Мы почувствовали родство, сильнеее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства» (XIV, 33).

Гоголь очень верно описывает то настроение, с которым он пришел впервые к Жуковскому; это настроение — исполненность «святыней искусства» — мы хорошо ощущаем в названных выше статьях, написанных чуть раньше или чуть позже упомянутой встречи.

Статья «Борис Годунов. Поэма Пушкина», посвященная, кстати, П. Плетневу, — вдохновенный гимн искусству. Мы помним излюбленную гоголевскую символику — обывательский быт, повседневность, провинция погребают в неизвестности, хоронят заживо. Подлинно поэтическое произведение воскрешает из небытия — в смысле олицетворенной метафоры — «серебряные тени в трепетании и чудном блеске тянутся бесконечным рядом из могил в грозном и тихом величии» и «отжившая жизнь отзывается во мне...». И вся гоголевская статья есть род своеобразного восхождения — от мертвенно-бледных, безжизненных или механических суждений по поводу пушкинского шедевра до его трепетно-вдохновенного, живого восприятия. Статья, как отметил еще первый ее публикатор И. Аксаков, замечательна «сочетанием юмористического таланта <...> с тем лиризмом (очень еще тогда молодым), который был всегда так сказать подпочвой художественного реализма нашего великого писателя» (Р, 1881, № 12, с. 19).

Стихии юмора Гоголь дает волю при описании книжного магазина, где идет бойкая продажа новинки: один неуклюже восхваляет «мастерство» Пушкина («посмотрите, посмотрите, как он искусно того...») — прямое предвосхищение косноязычной речи Акакия Акакиевича); другой, «сенатский рябчик», в «истертой шинели», чиновник, с которым теперь бок о бок трудится Гоголь, особо напирает на «чувствительность» произведения и т.д. Затем появляются Элладий и Поллиор — и тон резко меняется: это два друга, истинные любители искусства. Но все же не единомышленники. Элладия радует столь откровенное выражение интереса к пушкинскому творению, он и от друга требует душевных излияний; но тот уклоняется, ибо глубокое переживание невыразимо, а подлинное искусство неподвластно рассудку.

И все же Поллиор пускается в монолог, и из него можно узнать об искусстве нечто существенно важное. «Великий! когда развертываю дивное творение твое, когда вечный стих твой гремит и гремит ко мне молнией огненных звуков, священный холод разливается по жилам и душа дрожит в ужасе, вызвавши Бога из своего беспредельного лона... что тогда?» То есть искусство — посредник между человеком и Богом, ставит смертного перед лицом Всевышнего, заставляя переживать сокровенные, торжественные минуты земной жизни. И перед произведением искусства ощущаешь потребность поклясться, как перед самим божеством. Давать клятвенные заверения Гоголю



было свойственно с юношеских лет («Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утратить, не сделав блага» — из письма к Петру Косяровскому). И вот теперь Гоголь клянется... перед пушкинской трагедией (кстати, характерно, что он называет ее «поэмой» — знак высшего художественного совершенства; впоследствии это определение будет применено к «Мертвым душам»): «Великий! над сим вечным творением твоим клянусь!.. Еще я чист, еще ни одно презренное чувство корысти, раболепства и мелкого самолюбия не заронялось в мою душу. Если мертвящий холод бездушного света исхитит святотатственно из души моей хотя часть ее достоинства, если кремень обхватит тихо горящее сердце, если презренная, ничтожная лень окует меня, если дивные мгновения души понесу на торжище народных хвал, если опозорю в себе тобой исторгнутые звуки...» и т. д.

Но что подразумевает клятвенное заверение конкретно, к какому роду деятельности относится? Тут можно отметить любопытную двойственность. Ибо отвержение корысти, лени и раболепства, проклятие бездушному свету располагались в пределах общего лирического настроения Гоголя, проявившегося еще в его гимназических письмах или, скажем, в «Ганце Кюхельгартене» (в «Думе»). Это настроение относилось к будущей его деятельности вообще, под которой подразумевалась именно служба. Так мог сказать о себе неподкупный и деятельный государственный муж. Но нежелание нести «на торжище народных хвал» «дивные мгновения души» означает уже нечто другое. Ведь сценой подобного «торжища» открывается статья — шумное обсуждение книги Пушкина во время ее распродажи, что Поллиору представляется святотатством. И плод своей душевной деятельности, ее «дивные мгновения» Гоголь (вместе со своим героем) хотел бы уберечь от оскорбления поверхностными и бездушными суждениями, но, разумеется, не от восприятия истинных друзей искусства. Словом, подразумевается уже совсем другая, не чиновничья деятельность. «Эстетический энтузиазм» издавна одушевлял Гоголя, теперь он более отчетливо связался с собственными, если еще не профессиональными, то все же систематическими литературными усилиями. Заметка о «Борисе Годунове» существенно продвигает самосознание Гоголя как писателя.

У искусства есть только один равносильный соперник — женщина, которой Гоголь слагает гимн в одноименной статье. Искусство пробуждает в человеческой душе Бога из ее «беспредельного лона»: женщина есть сама «язык богов». Но прежде чем дать Платону

возможность высказать и аргументировать эту мысль, Гоголь представляет слово другому участнику диалога, платоновскому ученику Телеклесу; у того несколько иной взгляд на женщину: «Адское порождение! Зевс Олимпиец! О! Ты неумолим в своей ярости! Ты захотел наслать бич на мир, ты извлек весь яд, незаметно разлитый в недрах прекрасной земли твоей, сжал его в одну каплю, гневно бросил ее светодарною десницей и отравил ею чудесное творение свое: ты создал женщину!» Приступ гнева и отчаяния Телеклеса вызван изменой Алкиной, его возлюбленной.

Собственно, чувство, переживаемое Телеклесом, в точности повторяет переживания Гоголя, описанные им годом раньше в связи со встречей с незнакомкой. То была также «адская тоска», смятенность души, состояние непереносимое для смертного. Но есть и различие. Гоголь допускал божественную природу женщины, как бы списывая губительное, негативное начало на некую человеческую добавку («это божество, но облаченное в человеческие страсти»). Для Телеклеса негативное начало в женщине тоже божественного происхождения; женщина — некая капля яда, извлеченная и брошенная в мир самим Вседержителем. Ответственность Бога за свое создание, женщину, повышена: вместе с тем освящается высшей силой ее губительное воздействие и темное начало.

Но Платон не согласен с мыслью, будто женщина воплощает темное начало и ее воздействие губительно. Пусть Алкиной изменила Телеклесу, но как забыть то благодетельное воздействие, которое оказала ее любовь? «...Сколько новых тайн, сколько новых откровений постиг и разгадал ты своею бесконечною душою и во сколько придвинулся ближе к верховному благу!» Женщина не только говорит с мужчиной «языком богов», она составляет или, точнее, прививает к нему божественное начало. «Она поэзия! она мысль, а мы только воплощение ее в действительности». Она идея художника, поэтому процесс реализации идеи означает стремление «выразить божество в самом веществе, сделать доступною людям хотя часть бесконечного мира души своей, воплотить в мужчине женщину».

Красота очевидна и убедительна сама по себе. Как писал Платон (не гоголевский, а реальный — в «Федре», 250, d7), «только одной красоте выпала на долю способность быть зримой и внушать любовь», причем истинно любящий, воспринимающий красоту напоминает нечто такое, «что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу».

«Что такое любовь? — вторит Платон у Гоголя. — Отчизна души, прекрасное стремление человека к минувшему, где совершалось беспорочное начало его жизни. <...> И когда душа потонет в эфирном лоне души женщины, когда отыщет в ней своего отца — вечного Бога, своих братьев — дотоле невыразимые землею чувства и явления — что тогда с нею? Тогда он повторяет в себе прежние звуки, прежнюю райскую в груди Бога жизнь, развивая ее до бесконечности...»

Внявший своему учителю, раскаявшийся Телеклес при виде вошедшей Алкиной «в изумлении, в благоговении повергнулся <...> к ногам гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся над ним полубогини канула на его пылающие щеки». Телеклес поступает почти так, как истинно влюбленный в платоновском «Федре» при виде божественного лица — «смотрит на него с благоговением, как на бога, и если бы он не боялся прослыть совсем иступленным, то стал бы совершать жертвоприношения своему любимцу, словно изваянию или богу».

Платоновская идея красоты воспринята Гоголем в контексте романтического культа вечно женственного и его облагораживающего, цивилизующего, воспитывающего влияния; *Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan* [вечная женственность влечет нас ввысь] — (Гиппиус, 1924, с. 42). При этом Гоголь сохраняет и вполне телесные, даже чувственные подробности: «...стройная, перевитая алыми лентами поножия нога в обнаженном ослепительном блеске, сбросив *ревнивую* обувь, выступила вперед», «полуприкрывшая два прозрачные облака персей одежда трепетала» и т. д. Это едва ли не первое проявление эротизма, довольно отчетливо окрашивавшего гоголевское творчество 30-х годов.

Доля эротизма, надо полагать, подразумевалась и в том потрясающем действии, которое описывал Гоголь, говоря о своей встрече с красавицей весной 1829 года («человеческие *страсти*»). Но теперь он стремится эстетизировать и, можно сказать, гуманизировать это чувство, покорить его, ввести в благодетельное русло. Тоска сменяется спокойствием, смятенность — благоговением, отчужденность от Бога — возвращением в его лоно; увлечение мнимым и поверхностным уступает место приверженности вечному и высокому. Окончателен ли, прочен ли этот поворот? Едва ли. Во всяком случае, у гоголевских героев мы еще встретим проявление любовного чувства в той самой разрушительной форме, которую писатель хотел преодолеть и полагал уже преодоленной. Это говорит о том,

что всю сложность проблемы Гоголь ощутил буквально с первых шагов своей творческой жизни.

Красота, по известному выражению, спасет мир. Но она может и довести до пропасти, до гибели. Какая сторона возьмет верх, неизвестно, но Гоголь уже мобилизует духовные силы, чтобы верх одержало светлое начало. Для этого он ищет опору и надежду в самой красоте и женственности, не пряча глаз и глядя прямым взором и на телесное, чувственное.

В результате в гоголевском сознании рубежа 1830—1831 годов конкретизируется тот образ смелого мужа, который наметился еще в гимназическую пору. Это по-прежнему человек, следующий божественному предопределению, постигший «цель высшую существованья», с крепкой и бодрой мыслью, презирующий предрассудки «черни», преданный не сиюминутной, преходящей, но вечной славе; но в то же время его несколько отвлеченный облик уже связывается с определенной деятельностью — мыслительной или художнической. Как мыслитель, философ (Платон) он обладает силой проникновения в тайное тайных бытия; как художник (Пушкин) он материализует и оживляет своих героев и тем самым пробуждает и Бога «из своего беспредельного лона». Общее у философа и поэта то, что они будят «ответные струны души», действуют на своего собеседника или читателя, на Телеклеса или Поллиора, не просто в благотворном, но в высшем смысле, так как дают ему уроки божественной мудрости. Уже у раннего Гоголя любомудрие и искусство свободны и нескованны в своем протекании, но моральны и этичны в своем воздействии. Уже у раннего Гоголя учительный эффект входит составной частью в понятие мыслительности (философии) и искусства (поэзии).

## «СВЯТЫНЯ ИСКУССТВА» (окончание)

Я упомянул собственно беллетристические опыты Гоголя, появившиеся в тот же период, на рубеже 1830—1831 годов, — «Главу из исторического романа» и «Учителя». Они также свидетельствуют об укреплении его самосознания и позиции как писателя. Эти опыты продолжили усилия, запечатленные в первой прозаической вещи Гоголя «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала», и даже пошли несколько дальше этих усилий, так как осуществлялись в свете конфликта автора и его первого редактора П. Свиньина.

Дело в том, что публикация «Бисаврюка...» в «Отечественных записках» (1830, февраль, март) сопровождалась правкой, вызвавшей неудовольствие начинающего писателя. Об этом стало известно несколько позже, когда вышла первая часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки», где «Вечеру накануне Ивана Купала» (так теперь называлось произведение) было предпослано маленькое предисловие, проливающее свет на прежнюю публикацию. Мол, один из дельцов («писаки они не писаки, а вот то самое, что барышники на наших ярмарках») выманил у Фомы Григорьевича (мнимого рассказчика повести) «эту самую историю» и поместил в свое издание, представляющее собою «книжечки, не толще букваря», которые выходят в свет «каждый месяц или неделю». Это был более чем прозрачный намек на «Отечественные записки», с их малой форматностью и частой периодичностью.

Далее говорилось о том, как Фома Григорьевич увидел в печати свою повесть и не узнал ее. «Кто вам сказал, что это мои слова?» — «Да чего лучше, тут и напечатано: *рассказанная таким-то дьячком*». — Плюйте ж на голову тому, кто это напечатал! *бреше, сучый москаль*. Так ли я говорил? *Що-то вже, як у кого чорт ма клепки в голови!*» (курсив в оригинале. — Ю. М.). Хотя подобные речи велись от лица нецивилизованного «дьячка», но резкость и бранчивость выражений давали понять всю меру раздражения самого автора, то есть Гоголя.

Поскольку не сохранился автограф журнальной редакции, невозможно точно установить, какая именно правка принадлежит Свиныну. Но вполне реально предположение (в пользу его говорит словечко «москаль» в тираде Фомы Григорьевича), что издатель «Отечественных записок» освобождал текст «от просторечия и украинизмов, от чрезмерно «грубых», с точки зрения тогдашней школьной риторики, выражений и слов» (I, 522)<sup>45</sup>. Однако, возможно, у редакторской правки имелась и другая, еще не отмеченная цель.

В журнальной редакции есть строки, характеризующие жанр произведения, которое «дьячок Покровской церкви» (он еще не имеет имени Фомы Григорьевича), предлагает вниманию читателей: «...нам более всего нравились повести, имевшие основанием какое-нибудь старинное, сверхъестественное предание, которое нынешние умники без зазрения совести не побоялись бы назвать баснею...» В тексте «Вечеров на хуторе...» сказано лаконичнее и иначе: «...рассказы про какое-нибудь старинное чудное дело...» В этом различии есть тонкость, характеризующая отклонение гоголевской художественной

манеры от той установки, которая сопровождала господствующий интерес «ко всему малороссийскому».

Дело в том, что в этой установке заключалась значительная доля этнографизма и собирательства, неотделимых, впрочем, от предромантического и романтического тяготения к первоосновам культуры, к органическому, заповедному, своему, народному. В примечаниях к «Сказкам о кладах» О. М. Сомова, напечатанным в «Невском альманахе на 1830 год» (СПб., 1829), перед самым появлением гоголевского произведения, говорилось: «Читатели, конечно, поняли цель сей повести собрать сколько можно более народных преданий и поверий, распространенных в Малороссии и Украине между простым народом, дабы оные не вовсе были потеряны для будущих археологов и поэтов. < ... > Сочинитель, знакомый с нравами и обычаями тамошнего края, собрал, сколько мог, сих народных рассказов и, не желая составлять из них особого словаря, решился рассеять их в разных повестях». Это совпадает с целью, заявленной в журнальной редакции «Бисаврюка...»: «...предложить читателю повесть, в основе которой *предание*». Но фраза из «Вечеров на хуторе...», в которой опущено слово «предание», передает более литературную, независимую от первоосновы форму изложения. В ней сильнее творческая, писательская установка.

Повторяю, мы не вправе безоговорочно приписывать первоначальную формулировку правке Свинына; возможно, оба варианта отражают собственную волю Гоголя и, следовательно, то направление, в котором развивалось его самосознание. Во всяком случае, развивалось оно так, что Гоголь все более чувствовал себя художником, имевшим свои творческие задачи.

В «Главе из исторического романа» это развитие продолжается, может быть, даже усиливается. Уже отмечалось, что на фоне литературы с украинской тематикой гоголевские «Вечера на хуторе...» выделяются «глубоко личным отношением к своим темам» (Гиппиус, 1924, с. 30). Такое отношение проглядывало еще в «Бисаврюке...». Проявилось оно и в «Главе из исторического романа», что может быть продемонстрировано с помощью образа автора, уже достаточно определившегося в этом незаконченном произведении.

С одной стороны, автор — беспристрастный историк, восстанавливающий былые события и постоянно имеющий в предмете временную дистанцию. «Общих езжалых дорог *тогда* не было в Малороссии, но почти каждому известна была какая-нибудь особенная, по мнению его, самая ближайшая». «Из-за пояса торчали пищаль и изогнутая

татарская сабля, — оружие, которое в *тогдашние смутные времена* всякий козак, ратник и селянин считал необходимостью всегда иметь при себе».

Автор, поступая как этнограф и бытописатель, устаивает различия прошлого и настоящего; но в то же время он не преминет отметить и сходство, чтобы выявить некую общечеловеческую или, по крайней мере, общенациональную черту. «Малороссиянин, и доныне ничего не скажет наобум, но раз десять поправит себя, а иногда с умыслом запутает своего слушателя так, что тот, к изумлению своему, видит, что до такого-то места и далеко, и близко». Совершенно так же запутывают Чичикова, отыскивающего дорогу к Манилову, — но уже не украинские, а русские мужики, да и сам помещик: «Тут Чичиков вспомнил, что если приятель приглашает к себе в деревню за пятнадцать верст, то значит, что к ней есть верных тридцать».

Но с другой стороны, автор — не холодный наблюдатель, он всю душою входит в мир своих персонажей, делит их переживания.

Вот перед паном Лапчинским предстала древняя старуха, как выяснилось потом, теща легендарного полковника Глечика. «С каким-то грустным чувством рассматривал ее путник: казалось, перед ним стояла жертва могилы, в которой сильная природа нарочно удерживала жизнь, чтобы показать человеку всю ничтожность долголетия, к коему так жадно стремятся его желания. Могильное равнодушие разливалось на усеянных морщинами чертах ее. Ни искры какой-нибудь живости в глазах! мутные, они устремлялись порой на него; но тот бы обманулся, кто прочитал бы в них что-нибудь похожее на любопытство». От «грустного чувства» Лапчинского сделан незаметный переход к авторскому переживанию, а ведь последнее — одно из самых кардинальных, устойчивых на протяжении всей его жизни. Приведенное место прямо предвосхищает известные строки из финала «Сорочинской ярмарки» — о старухах, «на ветхих лицах которых веяло равнодушие могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком»; предвосхищает все, что напишет потом Гоголь о старости, в лирическом ли отступлении по поводу Плюшкина («Грозна, страшна грядущая впереди старость...») или в повторяющихся замечаниях о «том роковом возрасте жизни, когда все становится ленивей в человеке». Вот как рано стала беспокоить Гоголя эта тема!

Страшно погребение заживо. Но не менее страшно и гальванизирование умирающего. Старость неприглядна тем, что это обманчивая

жизнь, сохранение ее оболочки при утрате или выхолащивании сущности. Старость поэтому механистична, марионеточна, действует нелепо и невпопад, имитирует внешнее участие при полной внутренней опустошенности; источник старческих гримас и поступков не в человеке, а где-то за его пределами — в руках у кукловода, что ли («механик своего безжизненного автомата», скажет потом Гоголь в «Сорочинской ярмарке»).

Но ведь рядом с гальванизированием умирающего пролегает еще другая тема — оживление мертвого: как отличить одно от другого, то есть недолжное от должного? Гоголь уже нащупал и эту, вторую тему, хотя бы пока на примере творческой способности художника, вызывающего из небытия тени прошлого, и это снова служило предвестием того, что весь сложный комплекс проблемы неминуемо выдвинется со временем на первый план.

Пока же в «Главе из исторического романа» он подошел к теме искусства еще с одной, новой стороны. Сделано это опять-таки с помощью образа автора, вернее, с помощью расширения переживаний персонажа до авторских.

Перед паном Лапчинским — сосна, та самая сосна, на которой принял мученическую смерть дьякон и которая как бы стала центром всего окрестного «окаянного места». «Невольно вперил он [Лапчинский] на нее глаза свои: она одна только посреди обнаженного леса сохраняла, казалось жизнь. Но жизнь ли это? Это была мумия, которую с изумлением отыскивают между голыми скелетами, одну, не сокрушенную тлением. В ней видны те же черты, та же прекрасная форма человека объемлет ее. Но, Боже, в каком виде! Неотразимое, непонятное чувство тоски и ужаса врывается в душу при взгляде на жалкий обман, которым суетное искусство силится выхватить и удержать тень, одну только тень жизни из челюстей разрушения».

Сосна — некий аналог «старухи», ибо ее жизнь также призрачна; но в этом своем качестве она еще подобна «мумии», то есть продукту не природы и естества, а человеческой деятельности — ремесленничеству в сфере искусства. Между настоящим искусством и мнимым («суетным») такое же различие, как между жизнью и подделкой под нее или ее бесполезной гальванизацией. Гоголь впервые проводит грань между живым творчеством и мертвым копированием — тема, которая затем во весь рост встанет в «Портрете».

Казалось бы, различие естественное, не заключающее в себе ничего страшного: кого удивит или напугает то, что рядом с истинным



шедеврами существует масса подделок? Но Гоголь констатирует различие (равно как и различие между жизнью и имитирующей ее старостью) с таким, говоря его словами, «чувством тоски и ужаса», с таким сердечным сокрушением, что ощущаешь, какая значительная проблема скрывается за всем этим. Проблема, имеющая отношение к самому мироустройству, то есть проблема философская и онтологическая. Пока это все только чувствовалось и нащупывалось; попытки распутать и развязать клубок начались потом.

Сюжетное содержание «Главы из исторического романа» довольно неопределенно: проясниться оно должно было в развитии всего произведения, частью которого являлась «глава». Ясно только, что, выполняя волю польского короля Казимира, пан Лапчинский разыскивает некоего Глечика, миргородского полковника, «начальника какой-то шайки». Казимир, по-видимому, рассчитывал на союзничество Глечика, однако поведение встреченного Лапчинским незнакомца (тот не знает, что это сам Глечик), рассказ последнего о зверствах поляков, «огненный» взгляд, который он бросает при этом на пана, — все это ясно дает понять, на чьей он стороне. Действие главы обрывается в кризисной точке, когда Лапчинский узнает, что таинственный спутник, приведший его в свою хату, и есть полковник Глечик.

Незадолго до гоголевской публикации, в 1829 году, появился «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» М. Н. Загоскина, произведение, открывшее фактически эру отечественного исторического романа. Под влиянием Вальтера Скотта и его русских последователей понятие романа как жанра стало ассоциироваться преимущественно с историческим романом и при этом наполняться очень широким пространственным и временным смыслом. Разбирая произведение Загоскина, Пушкин писал в «Литературной газете» (1830, 21 января): «В наше время под словом *роман* разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании» (курсив в оригинале. — Ю. М.). Следуя господствующим веяниям, Гоголь намеревался «развить» в своем романе историческую эпоху борьбы Украины с Польшей за свою государственную и национальную самостоятельность. Это говорит об осознании им своей писательской миссии.

Но, пожалуй, еще характернее в этом смысле другое произведение — «Глава из малороссийской повести: Страшный кабан». Утверждение, которое может прозвучать неожиданно: велико ли значение ее темы и предмета изображения: вместо перипетий явной и тайной борьбы двух народов, украинцев и поляков, — мелкие домашние про-

исшествия в «благословенных местах голтвянских», в имени некоей помещицы Анны Ивановны; вместо колоритных героев, предводителя шайки, королевского посланника — бывший семинарист, теперь домашний учитель, а еще кухмистр, мирошник, то есть мельник, и т. д. И все это происходит не в далеком прошлом (как в «Бисаврюке...»), а во времена Гоголя. Но в подобных переменах — характерологических, временных и т. д. — заключался весь смысл.

В произведении на фольклорную тему писатель опирается на авторитет предания, легенды, обычая и т. д.; исторический романист — на авторитет истории. Народность и история уполномочивают автора, оправдывают его выбор. Пишущий о современности — бытовой, повседневной, с персонажами, не претендующими на историческое бытие, отвечает за свой выбор сам.

Правда, до некоторой степени внешний авторитет в упомянутом произведении Гоголя создается все той же ее украинской тематикой (напомню снова: «здесь так занимает всех все малороссийское»). Однако глава из «малороссийской повести» «Учитель» и появившийся вслед за тем другой отрывок из той же повести — «Успех посольства» («Литературная газета», 1831, № 17, 22 марта) разочаровали бы тех, кто ждал от них резкого и красочного этнографизма. Этнографическая окраска картины умеренна. На ней запечатлены, конечно, «малороссияне», но более со стороны общечеловеческих свойств. Это проявилось в характере комического в гоголевской повести.

В сферу комического попадают прежде всего женщины с теми их качествами, которые издавна служили в литературе объектом насмешки. По прибытии в село нового лица (учителя) тамошние жительницы «не ударили себя лицом в грязь: одаренные тем звонким и пронзительным языком, который по неисповедимым велениям судьбы, у женщин почти вчетверо быстрее, нежели у мужчин, они гибко развертывали его в опровержение и защиту достоинств учителя».

Затем предметом комического становится область физических отправлений человека, например, еда, описываемая как важное действие: «Ни слова постороннего, ни движения лишнего: весь переселялся он [учитель], казалось, в свою тарелку. Опорожнив ее так, что никакие принадлежащие к гастрономии орудия, как-то: вилка и нож, ничего уже не могли захватить, отрезывал он ломтик хлеба, вздевал его на вилку и этим орудием проходил в другой раз по тарелке, после чего она выходила чистою, будто из фабрики». Здесь начинается уже

вереница смачных и подробных сцен всяческих угощений и кормлений, которая пройдет через все творчество Гоголя, — бесконечные закусывания Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, поедание дыни Иваном Ивановичем или огромного осетра — Собакевичем, богатырский обед Петуха и т. д.

Впервые в главах из «малороссийской повести» источником комизма становится у Гоголя и сфера соприкосновения человеческого мира с миром животных, а также вещей. Линия, отделяющая эти миры, чрезвычайно подвижна и прихотлива; возможны уподобления, сходство одного с другим, фамильярные контакты, вроде того, который позволяет себе дворовый пес в отношении учителя: «...Едва только завидит, бывало, его, выходящего на крыльцо, как, ласково помахивая хвостом своим, побежит к нему навстречу и без церемонии целует его в губы...» (прямое предвестие той «дружбы», которую оказал Чичикову пес Обругай). В качестве же примера подвижности соотношения человеческого мира с вещным может фигурировать «какой-нибудь инвалид-горшок» среди прочей домашней утвари, «которому, несмотря на раны и увечья, не дают отставки и, в награду за ревностную службу, наливают помоями».

На комический эффект рассчитано и описание внешности персонажей, особенно главного, каким, по-видимому, является учитель Иван Осипович. Лицо его «и окладом, и цветом совершенно походило на бутылку». Огромнейший рот его, которого дерзким покушениям едва полагали преграду оттопырившиеся уши, поминутно строил гримасы, приневоливая себя выразить улыбку» (опять предвосхищение излюбленного гоголевского мотива — персонажи гримасничают, делают произвольные движения и т. д.). «Глаза его имели цвет яркой зелени, — глаза, какими, сколько мне известно, ни один герой в летописях романов не был одарен».

Авторская оговорка по поводу глаз весьма важна: Иван Осипович — не «герой романа». Это комический герой или, что то же самое, герой комического эпоса, — род литературы для Гоголя новый. Быть может, его начатки содержались в юношеской сатире «Нечто о Нежине...», но последняя не сохранилась. Характер учителя не обведен еще четкой, отграничивающей линией. В нем угадывается и что-то чичиковское (умение ко всем приноровиться), и одновременно нечто от Ивана Федоровича Шпоньки (скромность и застенчивость). Убожавшийся «бездны премудрости» и оставивший семинарию ради домашнего репетиторства, Иван Осипович явно не силен по части

чистого мышления; впрочем, и его некоторые практические свойства, например искусство нравиться женщинам, оказываются под вопросом. В «Успехе посольства» выясняется, что Катерина, к которой кухмистер отправился по просьбе учителя как «представитель его страсти», отдает предпочтение самому послу. Быть может, Ивану Осиповичу отводилась роль малороссийского Дон Кихота, вообразившего, что его любят местные Дульцинеи.

И все же такой персонаж — нескладный, некрасивый, нелепый — пользуется определенным авторским расположением. Можно было бы привести маленькую деталь — Гоголь «одаряет» своего героя скрутком того самого синего цвета, о котором страстно мечтал при окончании Гимназии («... мне очень бы хотелось сделать себе [фрак] синий с металлическими пуговицами...»); пуговицы, правда, у Ивана Осиповича другие, костяные), но деталь эта может быть и случайной. Куда важнее то, что некоторые авторские ощущения, которым предстояло затем играть существенную роль в его художественной философии, зарождаются как бы на границе внутреннего мира персонажа, сообщая этому миру некий более высокий смысл. «Скоро осмотрел он [учитель] обступившие в неровный кружок просторный господский дом <...>, с особенным удовольствием остановился на густо-разросшемся саде, которого гигантские обитатели, закутанные темно-зелеными плащами, дремали, увенчанные чудесными сновидениями, или, вдруг освободясь от грез, резали ветвями, будто мельничными крыльями, мятежный воздух, и тогда по листьям ходили непонятные речи, и мерные величественные движения всего их тела напоминали древних лицедеев, вызывавших на поприще Мельпомены великие тени усопших». Да ведь это прообраз знаменитого сада Плюшкина, скрывающего в своем «картинном запустении» некую тайну жизни! На сцене «малороссийской повести» (как и потом — первого тома поэмы) действуют все комические персонажи, но от бурно разросшегося сада пахнуло на эту сцену мрачным, таинственным духом, придающим всему происходящему более глубокую перспективу. И перспектива эта не без оттенка трагизма! Иначе зачем же понадобилось «вызывать на поприще» музу трагедии?

Опубликованные два фрагмента из «малороссийской повести» — «Учитель» и «Успех посольства» — свидетельствуют о том, что задумано большое произведение: между этими фрагментами есть сюжетные пропуски, которые или заполнены в не дошедших до нас частях, или же должны быть заполнены потом. Обращает на себя внимание

параллельная работа над «Гетьманом»<sup>46</sup> и «Страшным кабаном» — двумя различными по стилю вещами — условно говоря, историко-героической, высокой, и бытовой, низкой.

Такой параллелизм станет постоянным для Гоголя: во второй части «Вечеров на хуторе...» — «Страшная месть» рядом с повестью о Шпоньке, в «Миргороде» — «Тарас Бульба» рядом с повестью о ссоре, да и позднее, в интервале работы над «Мертвыми душами», пишется трагедия из жизни Запорожской сечи «За выбритый ус».

На рубеже 1830—1831 годов появились и первые сочувственные отклики на произведения Гоголя.

В «Северных цветах на 1831 год», в той самой книжке, в которой печаталась «Глава из исторического романа», О. Сомов в своем очередном критическом обзоре одобрительно отозвался о «Бисаврюке...». Критик скорее всего знал, кто является автором этой повести.

А спустя месяц появилась вторая книжка «Московского телеграфа», где из всей прозы «Северных цветов» выделялись лишь две вещи — «Последний квартет Бетховена» В. Одоевского и гоголевская «Глава из исторического романа». Рецензент заключал: «... что удерживает этих анонимов (повесть Одоевского также явилась без полного имени автора. — Ю. М.) заниматься литературою: робость или собственное сознание, что их не достанет на многое и большое? В сем случае не худо им помнить, что и упасть в труде лучше, нежели перешительно останавливаться на безделках, хотя бы сии безделки и доказывали неоспоримое дарование сочинителей». Даже такое нравочение со стороны критика не могло обидеть Гоголя: во-первых, в нем признавали «неоспоримое дарование», а во-вторых, поощряли на большой литературный труд, что шло навстречу собственным его устремлениям.

Рецензенту «Московского телеграфа» вторил критик «Телескопа» (это был, несомненно, Н. Надеждин). Интересно, что он также поставил гоголевскую вещь вслед за повестью В. Одоевского: «Квартет Беетговена [так!] прекрасен. <...> С удовольствием также можно прочитать «Главу из исторического романа» <...>, в коей быт мало-российский изображается вольною и широкою кистию» (Т, 1831, № 2, с. 229).

Похвалы хоть и беглые, но определенные. Они растворяли неприятный осадок, оставшийся у автора после разгромной критики «Ганца Кюхельгартена», укрепляли веру в свое писательское призвание.

И тем не менее он испытывает еще одно средство, чтобы, как говорил П. Анненков, «открыть себе дорогу в этом свете». К своим служебным, художническим, писательским занятиям, к своей актерской попытке Гоголь прибавляет еще профессию педагога.

## ПОД ЗНАМЕНАМИ ПЕДАГОГИКИ

Публикация гоголевской статьи «Несколько мыслей о преподавании детям географии» сопровождалась следующим редакционным примечанием: «Просим читателей смотреть на предложенную здесь статью, как на одно только начало. Автору, которой совершенно посвятил себя юным питомцам своим, более всего желательно знать о сем предмете мнение ученых наших преподавателей...».

Из слов М. Н. Лонгинова известно, что Гоголь стал домашним учителем «в начале 1831 года» (Воспоминания, с. 70), и эта дата принята в науке (см., например, X, 19). Между тем номер «Литературной газеты» с упомянутой статьей и редакционным примечанием вышел 1 января, и к этому времени, как видим, Гоголь уже имел «юных питомцев» и обнаружил интерес к своему новому делу. Значит, преподавание началось еще в 1830 году, может быть, в декабре. Этим косвенно подтверждается и тот факт, что знакомство Гоголя с Жуковским и Плетневым также состоялось не позже декабря. Ведь именно Плетнев и Жуковский помогли ему получить уроки. «Плетнев ввел его наставником детей в дома А. В. Васильчикова и П. И. Балабина...» (Кулиш, 1854, с. 42). М. Лонгинов: «Гоголь был рекомендован моим родителям покойным В. А. Жуковским и П. А. Плетневым, которые, по дружбе своей к ним, всегда принимали живое участие в деле нашего воспитания и образования» (Воспоминания, с. 70). Такая рекомендация, между прочим, показывает, что оба поручителя хлопотали об уроках Гоголя вовсе не только с целью поддержать его материально — они считали, что тот выбирает свое жизненное дело. Плетнев напишет позднее Пушкину: «Сперва он пошел было по гражданской службе, но *страсть к педагогике* привела его под мои знамена».

Примерно в одно и то же время — вначале у Лонгиновых и Балабиных и, видимо, несколько позже у Васильчиковых — Гоголь приобрел несколько учеников.

У генерал-лейтенанта Петра Ивановича Балабина Гоголь давал уроки его десятилетней дочери Марье.

У Николая Михайловича Лонгинова, статс-секретаря, заведовавшего учреждениями ведомства императрицы Марии, обучал трех его сыновей, в том числе и младшего из них, семилетнего Михаила, будущего библиографа и историка русской литературы, а также крупного чиновника. Благодаря воспоминаниям последнего мы несколько подробнее знаем о деятельности Гоголя-учителя.

Собственно, взяли его в дом для преподавания русского языка, но молодой учитель легко преодолевал границы своей дисциплины. «Немало удивились мы, когда в первый же урок Гоголь начал толковать нам о трех царствах природы и разных предметах, касающихся естественной истории. На второй урок он заговорил о географических делениях земного шара, о системах гор, рек и проч. На третий — речь зашла о введении во всеобщую историю. <...> После этого классы продолжались на прежнем основании и в той же последовательности, то есть один посвящался естественной истории, другой — географии, третий — всеобщей истории».

Нежелание Гоголя оставаться в рамках одной грамматики, стремление захватить побольше и сказать обо всем объяснялись его умонаправлением; последнее же вытекало из господствующего духа времени. Познать мир значит ощутить его цельность и универсальность; потом уже можно двигаться к частностям и подробностям. Именно так рекомендовал он построить курс географии.

«География, по моему мнению, должна быть преподаваема воспитанникам в два различные возраста их детства. В первом классе должен быть наброшен весь эскиз мира; все части земного шара должны составить одно целое, одну прекрасную поэму, в которой выразилась идея великого Творца. В поэме этой все должно быть ясно, все поставлено, утверждено на своем месте; в ней все должно быть живо, ярко, всякая часть должна соответствовать прочим и ни одна не должна принимать окончательной мелкой отделки. В другом классе или возрасте эта идея, начертанная в голове воспитанника, только раздвигается. Тут он рассматривает в микроскоп тот самый мир, который схватил он доселе простым взглядом».

Своих учеников, братьев Лонгиновых, Гоголь числил пока «в первом классе», поэтому набрасывал перед ними «весь эскиз мира», выходя при этом и за рамки географии в естественную и всеобщую историю. Дифференциацию и уточнение знаний он оставлял на следующие «классы». Получалось, что младший возраст мудрее старшего, так как прямее ведет к цели, к ощущению «идеи великого Творца».

Замечательно, что создаваемую наукой постройку, отражающую эту «идею», Гоголь именует «поэмой» — так же как пушкинского «Бориса Годунова». «Поэма» обозначает высшую степень совершенства, то есть как бы боговдохновенность произведения и искусства, и научной мысли.

В то же время обращает на себя внимание, сколь большую роль отводит Гоголь внешней форме, требуя от нее ясности и определенности. Он рекомендовал прибегать к различным картам и картонным вырезкам: «Положив одно государство на другое, например Францию на Россию, он [ученик] тотчас увидит, сколько раз содержится она в России». М. Лонгинов вспоминает, что Гоголь приносил на урок составленные им синхронистические таблицы «для преподавания истории по новой методе и, кажется, содействовал В. А. Жуковскому в составлении новой системы обучения этой науке, основания которой были изданы в свет впоследствии»<sup>47</sup>. Делалось это в целях дидактических, но не только поэтому.

Гоголевское стремление к наглядности отражает связь дисциплин, например, географии с историей. «... Если воспитанник проходит в это время и историю, тогда ему необходимо показать область ее действия; тогда география сливается и составляет одно тело с историей». Это та самая идея, которую впоследствии более четко формулирует П. Редкин, соученик Гоголя по нежинской Гимназии, профессор правоведения: «Справедливо называют хронологию и географию очами истории. Без знания времени и места исторического события оно превратится в безобразное отвлечение, ибо всякая мысль является бытием именно под историческими условиями пространства и времени» (Редкин, с. 63).

Географическая среда — подмостки исторических событий, но также и фактор, определяющий судьбу народа. У Гоголя мы встретим и отзвуки учения Монтеスキе о влиянии климата, почвы и состояния земной поверхности на национальный дух и характер общественного развития. «При исчислении народов преподаватель необходимо обязан показать каждого физиогномию и те отпечатки, которые принял его характер, так сказать, от географических причин: от климата, от положения земли...»

Но, быть может, особенно характерно для понимания гоголевской наглядности то, что он рекомендует преподавателю изготовить карты, отражающие «расселение просвещения по земному шару». «Места, где просвещение достигло высочайшей степени, означать светом и



бросать легкие тени, где оно ниже. Тени сии становятся чем далее, тем крепче и наконец превращаются в мрак, по мере того, как природа дичает и человек оканчивается бездушным эскимосом». В глубинах гоголевского сознания наглядность соединяется с просветительством. Он верит — хочет верить — в неуклонное развитие просвещения, чей ход поддается чуть ли не плакатному запечатлению. Он верит в мысль ученого, в убеждающее слово учителя; посредством мысли и слова можно овладеть истиной, а значит, и преодолеть хаотичность и неустроенность мира, подобно тому, как можно гуманизировать эротизм и любовное чувство. Для Гоголя начала 30-х годов это был единый процесс и одна духовная задача; при этом точку опоры для противодействующей тенденции он ищет в самой красоте и в самой науке.

Была ли эта задача окончательно решена? Прочитаем следующее место из той же статьи: «Не мешало бы коснуться слегка подземной географии. Мне кажется, нет предмета более поэтического, как она, хотя совершенно понять ее может только возраст высший. <...> Тут на всем отпечаток величественных потрясений земли; душа сильнее чувствует великие дела Творца. Тут лежат погребенными целые цепи подземных лесов. Тут лежит в глубоком уединении раковина и уже превращается в мрамор. Тут дышат вечные огни, и от взрыва их изменяется поверхность земли».

В подземном царстве совершаются созидательные превращения лесов — в каменный уголь, раковин — в мрамор, но не только превращения созидательные. Тут и землетрясения и извержения вулканов («...дышат вечные огни...»). Еще не появился «Последний день Помпеи» К. Брюллова, картина, по поводу которой Гоголь будет проникновенно говорить о земных катаклизмах; еще не написана «Страшная месть» с финальной сценой всеобщего бедствия («...и пошло от того трясение по всей земле... и много задавило народу»); не было еще языковского «Землетрясения» («лучшее <...> из всех русских стихотворений»), но уже обозначился интерес писателя, как он выразился, к «подземной географии». Замечательно, что эта тема даже поставлена на особое место («нет предмета более поэтического»).

Подземное сродни ночному, скрытому, таинственному, подсознательному. Их источник — Бог, в чьей премудрости Гоголь не сомневается: («душа чувствует великие дела Творца»). Но пройдет время, и рядом с эпитетом «великий» появится и другой — «страшный» («Страшная месть»).

Мысль и слово — анализирующее и убеждающее — должны высветить и покорить все неясное и темное, которые, однако, Гоголь уже ощущает как самостоятельную и могущественную сферу бытия.

Как учитель он хотел бы, чтобы эта сфера неуклонно сужалась, что одновременно будет означать расширение круга воспитанников. «Совершенной неспособности невозможно предполагать в дитяти, — заключает Гоголь статью. — Мне часто случалось быть свидетелем, как ребенок, признанный за неспособного ни к чему, обиженного природою, — слушал с неразвлекаемым вниманием страшную сказку, и на лице его, почти бездушном, не оживляемом до того никаким чувством участия, попеременно прорывались черты беспокойства и боязни. Неужели нельзя задобрить такого внимания в пользу науки?» Гоголь, вероятно, отталкивается от лично пережитого: его ведь тоже в иные времена склонны были считать не очень способным. Во всяком случае, внимание «дитяти» ко всему страшному и испытываемые при этом беспокойство и боязнь — черта определенно гоголевская. И Гоголь хочет действовать проверенным для него методом обращенного чувства, «задабривая» интерес к таинственному в пользу знания и претворяя тьму в свет.

Домашние уроки Гоголя протекали довольно удачно. «Это не мудрено, — говорит М. Лонгинов, — они так мало походили на другие классы; в них не боялись мы ненужной взыскательности со стороны учителя, слышали от него много нового, для нас любопытного, хотя часто и не очень идущего к делу» (Воспоминания, с. 71). О молодом педагоге-энтузиасте начинают говорить. «Мне любо, когда не я ищущу, но моего ищут знакомства» (из письма к Марье Ивановне от 10 февраля 1831 г.).

Среди знакомых Гоголя — матери его питомцев. По словам М. Лонгинова, он скоро и легко стал коротким знакомым его «матушки», да и вообще «сделался в нашем доме очень близким человеком». Познакомился Гоголь и с женой генерал-лейтенанта Балабина Варварой Осиповной, урожденной Paris, француженкой по происхождению, и с Александрой Ивановной Васильчиковой. Последняя была дочерью московского военного генерал-губернатора И. П. Архарова. Более Гоголь уже не чувствовал себя в городе таким одиноким.

Под впечатлением этих знакомств он писал матери 16 апреля 1831 года: «Более всего удивлялся я уму здешних знатных дам (лестным для меня дружеством некоторых мне удалось пользоваться). Они, можно сказать, еще вдвое образованнее мужей своих. Никогда не

думал я, чтобы женщина < ... > могла иметь столько самоотвержения, столько любви к своим детям, чтобы, отказываясь от всех посещений и даже зазывов во дворец, посвящать и проводить с ними все время».

Вскоре педагогическая деятельность Гоголя выходит за пределы частных домов. Будучи инспектором Патриотического женского института, П. Плетнев устроил его в это весьма солидное учебное заведение, находившееся под покровительством самой императрицы. 6 февраля начальница института Л. К. Вистингаузен подала представление, на которое 9 февраля императрица наложила резолюцию о назначении Гоголя младшим учителем истории (РС, 1887, № 12, с. 41). Это тотчас отразилось на приподнятом тоне письма Гоголя к матери, написанного на следующий день: «Верьте, что Бог ничего нам не готовит в будущем, кроме благополучия и счастья».

А еще через несколько дней, 23 февраля, он подает Л. Перовскому прошение об увольнении его «по домашним обстоятельствам» из Департамента уделов. Просьба была удовлетворена (Материалы, т. 1, с. 301), и таким образом Гоголь *навсегда распрощался с чиновничьей службой*, а вместе с ней и с той мечтой, которая вдохновляла его с гимназических лет.

Все это показалось бы естественнее, если бы гоголевскому решению предшествовал более или менее последовательный ряд симптомов. А то ведь после первых неудач и разочарований в Департаменте государственного хозяйства и публичных зданий он с поступлением на новое место, в Департамент уделов, испытывает душевный подъем, произносит страстный панегирик государственной службе, намеревается терпеливо и неуклонно подниматься по иерархической лестнице, — и вдруг заявляет, что «рад оставить ничтожную службу». Не прошло и девяти месяцев — и гоголевский энтузиазм развеялся в пыль. Откуда такая стремительность отречения и легкость перехода к новому? Понять это можно в свете тех особенностей его духовного и профессионального становления, которые отмечались выше.

Гоголь мысленно имел перед собой не один путь, а несколько; это позволяло ему сравнительно безболезненно отказываться от одних средств в пользу других, более предпочтительных. Вместе с тем у этих средств и путей существовала глубинная, с первого взгляда незаметная связь.

При всей страстности своей служебной идеи и государственной утопии Гоголь представлял себе их не столько административно, сколько поэтически. Нет, он вовсе не пренебрегал практической сто-

роной дела — поощрением начальства, продвижением по службе и т. д.; напротив, мечтал об этом, мечтал о получении высоких, может быть, высших должностей в государстве. Но каким образом? Прежде всего благодаря своей всеобъемлющей мысли, глубокому пониманию сущности законов (не зря же он посвящал себя естественному и отечественному праву на уроках Белоусова) и человеческой природы. Ему казалось, что он сумеет открыть и сформулировать нечто существенно важное, что сделает его необходимым всей государственной машине и вознесет его на самую вершину общества. В его мечте было что-то от грезы ребенка, который, меняя «профессии», все же рисует свое будущее примерно в одинаковом свете. У этой одинаковости, однако, есть более серьезная окраска — окраска времени, предромантического и романтического, стремившегося к универсальности, а значит, и подспудному родству всех отраслей знания и всех высоких человеческих занятий. В сущности, обращаясь к педагогике или к науке, например, к истории, Гоголь продолжает то, чем должен был, по идеальным его понятиям, заниматься на службе — испытывать, как он говорил, свой «многосторонний, деятельный ум», проникающий в тайное тайных Божьего творения. Отсюда возможность сравнительно легкого перехода от одной формы деятельности к другой, в данном случае от чиновничьей к преподавательской. То, что это было преподавание *истории*, повышало в глазах Гоголя привлекательность его нового назначения: история вмещает в себя результаты других дисциплин, относящихся к человеческому бытию, и прямее ведет к цели.

В мае 1831 года, когда А. Данилевский, оставив преждевременно Школу гвардейских прапорщиков, коротал дни на родине, Гоголь писал ему: «Я думаю нами обеими [так!] не слишком довольны дома — мною, что вместо министра сделался учителем, тобою, что из фельдмаршалов попал в юнкера». Гоголь не любил шутить над тем, что еще не отболело, еще кровоточило. Но о расставании с мечтой сделаться «министром» он говорит с легкостью и без огорчения.

П. Кулиш писал, что из своей службы Гоголь извлек «только разве ту пользу, что научился шивать бумагу. Об этом он упоминал не раз, показывая сшитые в тетради письма Пушкина, Жуковского...» (Кулиш, 1854, с. 42). Но «польза» была и другая. Помимо внутреннего знания чиновничьей жизни, которое отложилось в памяти и затем неоднократно служило творческим ресурсом и в «петербургских повестях», и в «Ревизоре», и в «Мертвых душах», помимо этого, важен

был и нереализованный стимул государственного служения, подспудно живший в писателе, хотя и проявлявшийся в разные времена в неодинаковой степени — то сходящий на нет, то занимавший доминирующее место.

С поступлением в Патриотический институт изменился к лучшему и образ жизни Гоголя. В институт, который располагался на Васильевском острове, между 10-й и 11-й линиями у Большого проспекта, он ходил не каждый день, как прежде в департамент. «Вместо мучительного сидения по целым утрам, вместо 42-х часов в неделю, я занимаю теперь 6, между тем как жалованье даже немного более...» (X, 194).

Не прошло и месяца со дня прихода в институт, как Гоголь получил повышение: его перевели на должность старшего учителя истории с правом на получение чина титулярного советника (РС, 1902, № 9, с. 652).

«Но между тем занятия мои, — сообщал Гоголь матери 16 апреля 1831 года, — которые еще большую принесут мне известность, совершаются мною в тиши, в моей уединенной комнатке: для них теперь времени много».

Гоголь продолжает роман «Гетьман» и повесть «Страшный кабан», а главное — пишет произведения, которые вскоре составят первую часть «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

К весне книга была собрана и, как свидетельствует письмо Гоголя к А. Данилевскому от 2 мая, уже находилась в типографии.

## **ПАСИЧНИК РУДЫЙ ПАНЬКО И ГРАФ КОЧУБЕЙ**

О происхождении псевдонима и названия книги рассказывает П. Кулиш. Рассказывает явно со слов участника этого события — П. Плетнева.

«Не зная, как распорядиться этими повестями, Гоголь обратился за советом к П. А. Плетневу. Плетнев хотел оградить юношу от влияния литературных партий и в то же время спасти повести от предубеждения людей, которые знали Гоголя лично или по первым его опытам и не получили о нем высокого понятия. Поэтому он присоветовал Гоголю, на первый раз, строжайшее incognito и придумал для его повестей заглавие, которое бы возбудило в публике любопытство. Так появились в свет «Повести, изданные пасичником Рудым Пань-

ком», который будто бы жил возле Диканьки, принадлежавшей князю Кочубею» (Кулиш, 1854, с. 45). Итак, заглавие книги выполняло одновременно две функции — защитную и интригующую. Возможно, была и третья функция, которую и Гоголь, и Плетнев подразумевали, но открыто не сформулировали...

Что касается защиты от «предубеждения людей, которые знали Гоголя лично», то среди таковых были вчерашние его сослуживцы, чиновники помельче и покрупнее, с которыми приходилось встречаться чуть ли не ежедневно. Зависть и недоброжелательство к выдающемуся человеку его сослуживцев — дело известное; об этом хорошо писал В. Ф. Одоевский, причем едва ли не имея в виду какие-то реальные факты отношения к Гоголю: «...сплошь да рядом великая мысль, гениальное произведение встречают у нас против себя даже какое-то непостижимое ожесточение; нам кажется странным, даже обидным, что человек, который вышел из нашей среды, что-то сделал. “Кто это великий писатель, Гоголь-то? — да помилуйте, мы с ним вместе служили!”» (Глинка, с. 201).

Хотелось обезопасить книгу Гоголя и от предвзятости, вызванной ранее опубликованными его вещами. Эти вещи понравились, заслужили одобрение, однако, видимо, не у всех, а кроме того, Плетнев сознавал, что новые повести сильнее и совершеннее фрагментов из «Гетьмана» и «Страшного кабана». Правда, с выходом «Вечеров на хуторе...» разоблачалось авторство «Бисаврюка...», появившегося в журнале П. Свиньина без подписи; но Гоголь полагал, что после доработки и освобождения повести от редакторской правки ему не придется за нее краснеть.

Инкогнито должно было обезопасить автора и в другом отношении — в отношении «литературных партий». Если не считать «Бисаврюка...», то прежние его вещи появились в изданиях пушкинского круга, «Северных цветах» и «Литературной газете», с которыми враждовали, с одной стороны, «Северная пчела» и «Сын отечества», а с другой — «Московский телеграф». Расписаться в своем участии в пушкинских изданиях — значит сделать книгу предметом литературной политики и сведения счетов, и Плетнев благоразумно посоветовал избежать этого.

Затем, как я сказал, «заглавие» должно было повесить интерес к книге. Нужно было подчеркнуть единство произведений, задуманных и написанных независимо друг от друга и не имеющих общего сюжета и персонажей. И притом сделать это в современном вкусе, отвечаю-

щем господствующим настроениям и ожиданиям читателя. Для этого очень пригодилось представление о цикле, весьма древнее, но получившее новую жизнь в предромантическую и романтическую эпоху. В «Серапионовых братьях» Гофмана, «Фантазусе» Тика и др. единство создавалось самим актом рассказывания, локализованным во времени и пространстве и объединяющим если не персонажей повестей, то «авторов» и рассказчиков. Если несколько человек собираются в условленные часы и в определенном месте, чтобы поведать друг другу нечто достойное внимания, то возникает род совместного действия, невольно бросающего свет и на содержание их рассказов и таким образом создающее или оттеняющее момент внутреннего единства. О внутреннем единстве гоголевской книги читатель мог судить лишь по ее прочтению; зато единство внешнее автор не преминул заявить немедленно — фигурой мнимого собирателя и издателя, а также точным указанием места и времени, в которые рассказывались предлагаемые истории.

И тут очень важно, что рассказывались они вечером, что это именно «Вечера...». Длинная вереница «вечеров» тотчас вставала в памяти читателя: «Деревенские вечера» Н. Карамзина (1787), «Славенские вечера» В. Нарезного (1809), «Сельские вечера» А. Буниной (1811), из зарубежных произведений, имеющих, однако, прямое отношение к России, — знаменитые «Санкт-Петербургские вечера, или Беседы о временном правительстве Провидения» Жозефа де Местра (1821), затем, конечно, уже упоминавшийся «Двойник, или Мои вечера в Малороссии» Антония Погорельского (1828), — не называю книг, появившихся уже после гоголевской, например, «Вечер на Хопре» М. Загоскина (1834) или «Вечера на Карповке» М. Жуковой (1837).

Вечер — время отдохновения, располагающего к задумчивости и мечтательности, единению с окружающим миром (в предисловии к «Славенским вечерам» сказано, что автор любит думать о прошлом на «берегах моря Варяжского... в отдалении от пышного града Петрова»). Вечер — также время встреч после занятий или службы, свободного общения, не скованного никакими заботами или правилами, время большей откровенности, эмоциональности. Все это обозначено в предисловии к «Вечерам на хуторе...» с добавлением откровенно полемической интонации по отношению к петербургскому, столичному миру. Мол, украинские «вечерницы» похожи на ваши балы; только нельзя сказать, чтобы совсем: «...на балы если вы едете, то

именно для того, чтобы повертеть ногами и позевать в руку», на вечерницах же нет места скуке и деланному веселью, правит искренность и безудержная радость: «...подымется крик, затеется шаль, пойдут танцы и заведутся такие штуки, что и рассказать нельзя».

Эпоха романтизма привнесла в понятие «вечера» свою окраску, захватившую как явления литературы, так и самой жизни. «Стало своеобразной традицией, а может быть, даже и модой, собравшись по вечерам, сочинять устные повести на манер гофмановских» (Ботникова, с. 13). В доме А. А. Дельвига, по воспоминаниям его двоюродного брата, А. Мицкевич «целые вечера импровизировал разные, большей частью фантастические повести в роде немецкого писателя Гофмана» (Дельвиг, с. 106).

Вечер — время таинственного, чудесного, иррационального. Это значение также указано предисловием к гоголевской книге: «Боже ты мой! Чего только ни расскажем! Откуда старины ни выкопают! Каких страхов ни нанесут!» Вечер неудержимо впадает в *ночь*, а это уже апогей таинственного и чудесного. Ночь — время высших философских откровений, но одновременно и пик иррациональности, когда сам древний хаос встречается с нашей душой. В первой части гоголевской книги действие уже несколько раз захватывает ночные часы (краешком в «Сорочинской ярмарке», больше — в «Вечере накануне Ивана Купала», «Майской *ночи*...» и в «Заколдованном месте»), но заглавием и предисловием закреплен именно *вечер*, время переходное, промежуточное (ср. перенос центра тяжести у В. Одоевского — «Русские *ночи*», 1844, случай, также имеющий свою традицию: «Флорентийские *ночи*» Г. Гейне, 1836; «Гимны к *ночи*» Новалиса, 1800, и т. д.).

Организация материала «Вечеров на хуторе...» потребовала введения нескольких рассказчиков. Один повествователь у Гоголя уже был — дьячок Покровской церкви, рассказавший «Бисаврюка...». Теперь рассказчик получил имя — Фома Григорьевич и более или менее подробную характеристику в общем введении к книге и введении к повести. В расчете на этого рассказчика, видимо, с самого начала писалась «Пропавшая грамота».

Зато более литературные, не ориентированные на сказ «Сорочинская ярмарка» и «Майская ночь» не имели своего повествователя и для выдержанности жанра книги потребовалось срочно вводить новое лицо — панича, привыкшего рассказывать «вычурно да хитро, как в печатных книжках». Ему-то, по-видимому, и была приписана задним



числом «Сорочинская ярмарка»; в отношении же «Майской ночи» положение так и оставалось не разъясненным: может быть, ее рассказал тот самый «панич в гороховом кафтане», а может быть, кто-то другой. Гоголю важно было создать впечатление множественности рассказчиков: за спиною панича и Фомы Григорьевича показался еще какой-то посетитель «вечеров», мастер рассказывать «такие страшные истории, что волосы ходили на голове». Эти истории оставлены до следующего случая, да и сам Рудый Панько сохранил за собою на будущее право поместить собственную «побасёнку».

Что же касается пространственной локализации «вечеров», то тут предоставлялись различные возможности. В тексте первой части упоминаются Сорочинцы, Гадяч, Миргород, из более дальних мест — Конотоп и Батурин; но Плетнев и Гоголь решили остановиться на Диканьке. Диканька в тексте повестей (речь идет о I части) упоминается только один раз — в «Вечере накануне Ивана Купала» (село располагалось «не дальше ста шагов от Диканьки»), причем интересно, что в журнальном варианте этого названия вообще не было. Едва ли отсутствие названия Диканьки объяснялось вмешательством П. Свинына, чья редакторская правка шла в другом направлении (приближение текста к сентиментальному бытописанию). Скорее всего, Гоголь вписал слово «Диканька» именно для книжной редакции, быть может, уже в связи с намечающимся названием всего сборника. Соответственно и Фома Григорьевич (во введении) представлен теперь как «дьяк *диканьской* церкви», а из заглавия повести снято название *Покровская* церковь. Дело в том, что в Диканьке Покровской церкви не было — существовали Николаевская церковь (в которой Марья Ивановна молилась о сохранении жизни ее будущего ребенка, Николая) и Троицкая. Гоголь не стал пояснять, какая церковь имелась в виду, заменив название звездочками («...\*\*\*ской церкви»).

Упоминание Диканьки приводило на память пушкинскую «Полтаву», незадолго перед тем увидевшую свет (в конце марта 1829 г.). Ход действия поэмы частично затрагивал это место, то есть, как пояснял автор в примечании, «деревню» В. Л. Кочубея; фигурировало и само ее название («Мы знаем: не единый клад// Тобой в *Диканьке* укрываем...») — страдал Кочубея Орлик, один из сподвижников Мазепы). Об этом я уже говорил (в главе «По ту сторону Диканьки и по эту сторону Диканьки...»), как и о том, что топографическое наименование заставляло вспомнить нынешнего владельца имения — графа, а с декабря 1831 года еще и князя В. П. Кочубея. Именно на

него в первую очередь было рассчитано включение слова «Диканька» в заглавие книги.

Виктор Павлович Кочубей находился в это время в апогее своей власти, будучи председателем Государственного совета и Комитета министров. Прикрыться именем такого человека было делом вовсе не лишним. По-видимому, своим советом Плетнев прежде всего преследовал цель создать у читателей впечатление, будто автор находится под покровительством своего влиятельного земляка, что книга, так сказать, выпорхнула из-под его крыла. При этом, вольно или невольно, заглавие книги должно было так же привлечь внимание самого Кочубея, потрафить ему, в чем состояла еще одна, необъявленная его функция.

Чуткий на подобные дела, Ф. Булгарин все это хорошо разгадал: «Заглавием книги заменялось посвящение ее просвещенному вельможе...» (СП, 1847, 11 января). И в другом месте: «Издав «Вечера на Диканьке», он был принят под покровительство князем В. П. Кочубеем...» (КС, 1893, № 5, 322). Если о встречах Гоголя с Кочубеем до издания «Вечеров на хуторе...» точных данных нет (хотя исключать их нельзя), то после выхода книги они подтверждаются документально: из письма Николая к матери от 10 марта 1832 года видно, что тот бывает в доме Кочубея<sup>48</sup>. Трудно поверить в то, что Гоголь при этом не поднес князю первую, а позднее и вторую части своей книги.

Но таково уж было свойство Гоголя, что, и выказывая кому-либо полную преданность, он всегда сохранял свое особое место. Всегда он оставался себе на уме, хотя не всегда козырял этим; скорее, прикрывал эту самостоятельность наивным лукавством: заметили — хорошо, не заметили — еще лучше. Фигура простодушно-хитрого пасечника пришлась для этого весьма кстати<sup>49</sup>.

Рудый Панько восхищается диканьским домом Кочубеев: «А про сад и говорить нечего: в Петербурге вашем, верно, не сыщете такого». Но он же и сознает дистанцию, отделяющую его «пасичников курень» от «покоев великого пана», куда заходить мужику накладно («Куда, куда, зачем? пошел, мужик, пошел!..» — эти строки уже приводились).

Рудый Панько выступает у Гоголя зачинателем «провинциально-го» сказа (Виноградов, с. 213), который, с одной стороны, строится на открытом противопоставлении провинциального столичному, деревенскому светского, своего чужому, а с другой — эту границу нарочито стирает, но так, что она комически еще более заостряется: «Пили ли вы когда-нибудь, господа, грушовый квас с терновыми ягодами

или варенуху с изюмом и сливами? Или, не случилось ли вам, подчас, есть путрю с молоком? Боже ты мой, каких на свете нет кушаньев!» Все бытовое, материальное подается крупным планом, поскольку повествователь убежден, что это имеет всеобщий интерес.

Мы видим, что какие бы внешние, тактические, конъюнктурные цели ни преследовало название книги, оно (заведомо или в конечном счете) сливалось с ее внутренней, поэтической сущностью. Это относится и к названию «Диканька». Сигнал для графа Кочубея, знак близости неизвестного автора к могущественному вельможе, слово начинало играть всеми своими явными и полускрытыми значениями. Диканька — нечто далекое, удаленное от центра, от «света». Диканька — первозданное, сохранившее свою самобытность, не затронутое цивилизацией, но Диканька — и нечто невероятное, «дикие речи, вздор, враки, пустяки, нисенитница», как определено понятие «дичь» у В. Даля, и не только «пустяки», но и невероятно страшное, пугающее. Кстати, значение необычного, странного было предуказано в предисловии: «...нигде, может быть, не было рассказываемо столько *диковин*, как на вечере у пасичника Рудого Панька».

Участием Плетнева гоголевская книга была соответствующим образом ориентирована, «одета» перед ее печатанием. Нужно вообще отдать должное Плетневу за его содействие писателю при начале его пути. О. Сомов и, не зная подлинного имени автора, Н. Полевой и Н. Надеждин уже признали его даровитость, но Плетнев увидел, что это талант самородный и выдающийся. Подбивая Гоголя на издание книги, он «говорил тогда не умеющим ценить этот талант: “В его произведениях хранятся цельные куски золота”» (Анненков, 1855, с. 366).

## ВСТРЕЧА С ПУШКИНЫМ

У Плетнева еще одна немалая заслуга: он познакомил Гоголя с Пушкиным.

После неудачного посещения дома Пушкина по приезде в Петербург Гоголь больше ничего не предпринимал, чтобы сблизиться с поэтом, но все его шаги неуклонно вели к этому. Он печатался в изданиях пушкинской ориентации, познакомился с людьми пушкинского круга, Жуковским и Плетневым; теперь настала очередь самого Пушкина.

22 февраля 1831 года Плетнев писал Пушкину из Петербурга в Москву: «Надобно тебя познакомить с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее. Ты, может быть, заметил в «Северных цветах» отрывок из исторического романа, с подписью ОООО, также в «Литературной газете» «Мысли о преподавании географии», статью «Женщина» и главу из малороссийской повести: «Учитель». Их писал Гоголь-Яновский <...> Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает». (Пушкин. Переписка, с. 142).

Пушкин, который находился в Москве по семейным делам (незадолго перед тем, 18 февраля, состоялось его бракосочетание), ответил на этот призыв не сразу, спустя полтора месяца, около 14 апреля: «О Гоголе не скажу тебе, потому что доселе его не читал за недосугом. Отлагаю чтение до Царского Села, где, ради Бога, найми мне фатерку...»

Пушкин, по всей видимости, не спешил со знакомством, так как полагал, что рекомендатель несколько преувеличивает. В том же самом письме от 22 февраля Плетнев отзывался о М. Деларю как «о прекрасном <...> таланте», что вызвало возражение Пушкина: «В нем не вижу я ни капли творчества, а много искусства». Может быть, и Гоголь из того же ряда?

Но Плетнев настаивал, и встреча состоялась. Где и когда?

Пушкин возвратился в Петербург в конце второй декады мая, числа 18-го, и пробыл до отъезда в Царское Село, по всей вероятности, по 25-е (Витберг, 1897, с. 612). Около недели Пушкин и Гоголь находились в одном городе, в столице. На это время, очевидно, и падает указанная встреча.

Обратив внимание на слова П. Анненкова о том, что Гоголь был «представлен ему [Пушкину] на вечере у П. А. Плетнева», — слова, которые, судя по контексту, восходят к воспоминаниям самого Гоголя,— исследователь более точно определил день встречи: *среда 20 мая* (Гиппиус, 1931, с. 71).

Вывод этот с полным на то основанием принят современной наукой — нужно только внести в него некоторый оттенок вариативности. Дело в том, что вечера у Плетнева проходили не только по средам, но, как указывает А. И. Дельвиг, и по воскресеньям. Кулиш со слов Плетнева также сообщал, что Гоголь бывал у последнего «по

средам и воскресеньям» (Крутикова, с. 290). Значит, в таком случае встреча могла состояться и 24 мая.

Кстати, в воспоминаниях А. И. Дельвига, двоюродного брата поэта Антона Дельвига, почему-то обойденных В. Гиппиусом, есть строки, касающиеся встречи Гоголя и Пушкина:

«...я бывал часто у Плетнева, у которого литературные вечера при жизни Дельвига были по субботам, а после его смерти по воскресеньям и средам. По этим дням литературные вечера Плетнева постоянно продолжались в течение 25 лет». И в другом месте: «На вечерах Плетнева я видал многих литераторов, в том числе А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Пушкин и Плетнев были очень внимательны к Гоголю. Со стороны Плетнева это меня несколько не удивляло, он вообще любил покровительствовать новым талантам, но со стороны Пушкина это было мне вовсе непонятно. Пушкин всегда холодно и надменно обращался с людьми, мало ему знакомыми, не аристократического круга и с талантами малоизвестными. Гоголь же тогда не напечатал еще своего первого творения «Вечера на хуторе близ Диканьки» и казался мне ничем более, как учителем в каком-то женском заведении, плохо одетым и ничем на вечерах Плетнева не выказывавшимся. Я не подозревал тогда в нем великой гениальности» (Дельвиг, с. 187, 198).

Логично сделать вывод, что мемуарист подразумевает именно первую встречу Гоголя с Пушкиным, в промежутке времени с 18 по 25 мая. В пользу этого вывода говорят два факта. Во-первых, «Вечера на хуторе...» действительно еще только находились в типографии, и для непосвященного А. И. Дельвига Гоголь был всего лишь преподавателем в «женском заведении», то есть в Патриотическом институте. Во-вторых, «Гоголь, — продолжает мемуарист, — жил в верхнем этаже дома Зайцева, тогда самого высокого в Петербурге, близ Кокушкина моста, а так как я жил в доме Дружинина, вблизи того же моста, то мне иногда случалось завозить его». Дом Зайцева — это, конечно, дом Зверькова близ Кокушкина моста, и поскольку Гоголь выехал отсюда сразу же по возвращении в Петербург из Павловска, 15 августа 1831 года, то очевидно, что указанные события могли происходить еще до того, как он и Пушкин покинули на лето столицу.

Однако всему этому противоречит тот факт, что во второй половине мая А. И. Дельвига не было в Петербурге; возвратился он только к 1 сентября, к началу занятий в Институте инженеров путей сообщения, где он учился<sup>50</sup>.

Мемуары А. И. Дельвига имеют репутацию «очень точных фактически» (Черейский, с. 134), однако от ошибок памяти не застрахован никто, и я думаю, что автор произвольно совместил два временных плана. Он встречал Гоголя на вечерах у Плетнева еще без *Пушкина*, до 20-х чисел мая 1831 года, а затем, после возвращения Пушкина из Царского Села (во второй половине октября), *вместе с Пушкиным*. Поэтому, кстати, подразумевается как бы не единичная встреча, а несколько.

Во всяком случае свидетельство А. И. Дельвига важно для характеристики отношения Пушкина к Гоголю.

Но вернемся к хронологической последовательности событий.

## ЦАРСКОЕ СЕЛО — ПАВЛОВСК

Лето 1831 года благоприятствовало дальнейшему сближению обоих писателей.

Приехав около 25 мая в Царское Село, Пушкин вместе с Натальей Николаевной поселился в доме А. К. Китаевой, вдовы придворного камердинера. А спустя несколько дней, очевидно уже в июне, в расположенном неподалеку Павловске оказался Гоголь. Он выехал на дачу в качестве домашнего учителя Васильчиковых.

К этому времени относится мемуарное свидетельство В. А. Соллогуба, студента Дерптского университета, в будущем известного писателя. Он приходился племянником Александре Ивановне Васильчиковой, пригласившей его на вакации в Павловск.

По словам Соллогуба, тетка попросила его познакомиться с Гоголем и «обласкать» его, так как «он тоже был охотником до русской словесности и, как ей сказывали, даже что-то пописывал».

Обязанности же, выполняемые Гоголем в доме Васильчиковых, были не из приятных: его воспитанник Василий страдал умственной неполноценностью. Тут уже теряла свою силу гоголевская мысль о том, что «совершенной неспособности невозможно предполагать в дитяти».

«Как теперь помню это знакомство, — рассказывает Соллогуб. — Мы вошли в детскую, где у письменного стола сидел наставник с учеником и указывал ему на изображения разных животных, подражая при том их бляению, мычанию, хрюканью и т. д. «Вот это, душенька, баран, понимаешь ли? баран, — бе, бе... Вот это корова, знаешь, корова, му, му». При этом учитель с каким-то особым ори-

гинальным наслаждением упражнялся в звукоподражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие» (Воспоминания, с. 75).

Однажды, по словам Соллогуба, он встретил в Царскосельском парке Пушкина, прогуливающегося с женой<sup>51</sup>. Пушкин «представил меня тут жене и на вопрос мой, знает ли он Гоголя, отвечал, что еще не знает, но слышал о нем и желает с ним познакомиться».

Последняя реплика противоречит факту встречи обоих писателей до отъезда из Петербурга, но если это не ошибка памяти мемуариста, то в свете всего сказанного должно восприниматься только в таком смысле: «1) или что отношение к Гоголю как к незнакомому могло сохраниться у Пушкина и после формального представления ему Гоголя на вечере Плетнева, 2) или что выражения «не знает», «познакомиться» могли означать <...> знакомство и незнакомство с Гоголем-писателем, с его литературными произведениями» (Гиппиус, 1931, с. 67).

Между тем в первые же недели своей загородной жизни Гоголь встретился с Пушкиным — и не раз. В письме от 27 июня он просит Марью Ивановну посылать ему письма не в Павловск, а в Царское Село, на имя Пушкина с последующей передачей адресату. Просьба отдает некоторой бравадой и явно рассчитана на эффект, но несомненно, что перед этим Гоголь переговорил с Пушкиным и заручился его согласием. (Спустя месяц, 24 июля, Гоголь настоятельно интересуется у матери: «Помните ли вы адрес? на имя Пушкина, в Царское Село».)

В начале июля в Царское Село прибыл двор, который по случаю холеры должен был задержаться здесь до поздней осени, а вместе с двором приехал В. Жуковский как воспитатель наследника. Присутствие Жуковского, с которым у Гоголя давно уже были теплые отношения, содействовало и его сближению с Пушкиным. «Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я», — сообщит он позднее (2 ноября 1831 г.) А. Данилевскому. Допустим, что Гоголь, бравируя, преувеличил; допустим, не «каждый вечер», но все равно его встречи с Пушкиным, а также с Жуковским становятся частыми.

К царскосельско-павловскому периоду относятся встречи Гоголя и со Смирновой-Россет.

Александра Осиповна (1809—1882), тогда еще не вышедшая замуж за Николая Михайловича Смирнова и известная под своей

девичьей фамилией Россет или Россети («Россети черноокая», как ее называл Пушкин), приехала в Царское Село вместе с двором, будучи фрейлиной. В это время она особенно подружилась с Пушкиным, который дорожил ее мнением и ценил острый и тонкий ум. По словам И. С. Аксакова, восходящим к рассказам самой Смирновой, поэт «часто заживал к ней <...> во время своих прогулок, делясь впечатлениями дня и прочитанной книги; часто случалось и ей заходить к Пушкиным на дачу (Китаева в Царском Селе), подниматься без церемоний прямо к нему наверх, в его кабинет, заставить за работой и выслушивать из уст самого поэта только что написанные вдохновенные произведения, во всей их свежести, *с пыла...*» (Р, 1882, № 37, с. 11).

Встречалась Россет и с Гоголем, возможно, в обществе Жуковского и Пушкина. Во всяком случае факт встречи с Гоголем подтверждается тем, что в сентябре по выходе первой книжки «Вечеров на хуторе...» Гоголь посылает в Царское Село экземпляр «с сентиментальною надписью для Розетти» (X, 206).

А когда они познакомились? По рассказу Смирновой, это случилось именно в Царском Селе: «Вы мне попадались, когда я гуляла вокруг озера, вы оборачивались и шли назад, вы были закутаны в альмавиву». — «Совсем не в альмавиву (возразил Гоголь), а просто в шинель». — «Ну, шинель, но я видела, что у вас белый нос, и спросила, кто вы, — он мне сказал, что Гоголь — хохол, он писатель, а потом, кажется, Плетнев привел вас ко мне». — «Совсем нет, вы меня встретили у Аркадия Осиповича (брата Александры Осиповны, выпускника Пажеского корпуса) и сами пригласили меня быть у вас, — а все-таки я и прежде был с вами знаком. Помните, как мы любили говорить о Малороссии...» (Смирнова, 1989, с. 488)<sup>52</sup>.

В диалоге Гоголя с Россет, так, как он ей запомнился, по-видимому, совместились два события, два временных плана. Гоголь и Россет встречались, и не раз, в Царском Селе, но беглое их знакомство, возможно, произошло несколько раньше, в конце 1830 или начале 1831 года в доме Балабиных, где Гоголь давал уроки. Это следует из ее «разговора» с Гоголем в присутствии И. С. Аксакова, записанного ее дочерью О. Н. Смирновой (Шенрок, т. 1, с. 332).

Ольга Николаевна Смирнова, дочь Александры Осиповны, — не очень надежный источник, но в данном случае ее сообщение косвенно подтверждается одной деталью. «...Кажется, Плетнев привел вас ко мне», — говорит сама Александра Осиповна. Это не могло случиться



в Царском Селе, так как Плетнева в это время здесь не было; но с другой стороны, именно Плетнев «привел» Гоголя в петербургский дом Балабиных, где, очевидно, и состоялось упомянутое знакомство.

Кстати, если придерживаться и версии Гоголя, «приглашение» не могло последовать в Царском Селе: с начала 1831 года Аркадий Осипович находился в польском походе; на 28 августа как раз приходится его письмо из Варшавы с сообщением о взятии города русскими войсками (РА, 1896, № 2, с. 284).

Возвращаясь к Пушкину, надо сказать, что его пребывание в Царском Селе совпадало с обострением интереса к русскому фольклору, к древней русской литературе. «Предания русские ничуть не уступают в фантастической поэзии преданиям ирландским и германским», — писал он еще из Москвы 14 апреля 1831 года. Когда же в Царском Селе появился Жуковский, между двумя поэтами возникло памятное в летописях литературы состязание: каждый обязался написать по русской сказке. Пушкин сочинил «Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», а Жуковский — «Сказку о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери». Жуковский начал и другую сказку, «Спящую царевну», которую закончил несколько позже, по отъезде Гоголя из Павловска в Петербург, а Пушкин прочитал «Сказку о попе и о работнике его Балде», написанную годом раньше в Болдине.

Гоголь оказался свидетелем этого состязания. Ему знакомы «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о царе Берендее», первые строки «Спящей царевны». Помимо того, Пушкин давал Гоголю прочесть в рукописи или сам прочел в его присутствии «Домик в Коломне», написанный также годом раньше в Болдине.

В приподнятом тоне рассказывается в гоголевском письме к А. Данилевскому от 2 ноября о «вечерах» Пушкина и Жуковского. «О, если бы ты знал, сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей. У Пушкина повесть, октавами писанная, в которой вся Коломна и петербургская природа живая. — Кроме того, сказки русские народные — не то что Руслан и Людмила, но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая (имеется в виду «Сказка о попе...». — Ю. М.). — У Жуковского тоже русские народные сказки, одне экзаметрами (так! Подразумевается «Сказка о царе Берендее». — Ю. М.), другие просто четы-

рехстопными стихами («Спящая царевна» — Ю. М.), и, чудное дело! Жуковского узнать нельзя. Кажется, появился новый обширный поэт и уже чисто русский. Ничего германского и прежнего».

А в письме к Жуковскому от 10 сентября 1831 года, возвращаясь мысленно к царскосельским встречам и трудам, Гоголь впадает в восторженный, почти экстатический тон: «Боже мой, что-то будет далее? Мне кажется, что теперь воздвигается огромное здание чисто русской поэзии, страшные граниты положены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены, и купол, на славу векам, да поклонятся потомки и да имеют место, где возносить умиленные молитвы свои. Как прекрасен удел ваш, Великие Зодчие! Какой рай готовите вы истинным христианам! И как ужасен ад, уготовленный для язычников, ренегатов и прочего сброду...»

Со своими «Вечерами на хуторе...» Гоголь вправе был считать себя одним из «зодчих», возводящих здание русской поэзии. Он ведь тоже приготовил нектар «из тмочисленного количества ведьм, чертей» (гоголевские слова о Жуковском), вволю дал поразгуляться вымыслу и фантастике в народном духе. То, что это были украинские повести, не меняло дела. Как правило, украинское в это время не противопоставлялось общерусскому, скорее, наоборот. Поскольку древний Киев мыслился истоком российской земли, а романтическая народность предполагала возвращение к основам, то обработка украинского материала означала вместе с тем высвобождение исконно-национальных русских потенций. «Таким образом, Малороссия, естественно, должна была сделаться заветным ковчегом, в коем сохраняются живейшие черты славянской физиономии и лучшие воспоминания славянской жизни» (Надеждин, с. 281). Интересы Гоголя объективно пересеклись с творческими устремлениями и Пушкина, и Жуковского; это не могло не сказаться на его самочувствии, внушая ему уверенность, что он не чужой на «состязании», на пиру мысли и воображения.

Впрочем, процесс становления народности был достаточно сложным; приведенные эпистолярные отклики Гоголя его нарочито схематизируют. Гоголь мог не знать, что одним из источников «Сказки о царе Берендее» послужила сказка братьев Гримм «Der liebste Roland», незадолго перед тем переведенная Жуковским прозой и опубликованная под названием «Милый Роланд и девица Ясный Цвет»; что «Спящая царевна» восходит к другим, немецким и французским источникам, к сказкам братьев Гримм и Шарля Перро, равно как он мог не знать реальных источников своих собственных сюже-

тов — то, что затем стало предметом особого внимания компаративистов. Однако «бездна новых баллад» Жуковского, то есть вышедшие в 1831 году двумя изданиями его «Баллады и повести», дышали ароматом средневекового, рыцарского, западного романтизма, и если не все эти произведения, то какая-то их часть Гоголю была уже известна. Он верно почувствовал, что в этих вещах Жуковский поднялся на новую ступень своего развития, однако определение «ничего германского» здесь бы уже не подошло. Да и гневный выпад Гоголя против «язычников и ренегатов» от народности звучал несколько риторически-абстрактно, ибо никто, в том числе и Ф. Булгарин, против народности не выступал. Напротив, все требовали народности, все клялись народностью. Дело было в самом понимании народности, в ее уровне и культуре.

Именно уровень и культура народности обсуждались в Царском Селе, о чем мы можем судить по более позднему отклику Гоголя. Его письмо Пушкину, отправленное через несколько дней по возвращении в Петербург, развивает темы, интересные для обоих. «Кстати о черни, знаете ли, что вряд ли кто умеет лучше с нею изъясняться, как наш общий друг Александр Анфимович Орлов». И дальше он довольно точно цитирует этого лубочного писателя — заключительные строки из его предисловия к роману «Церемониал погребения Ивана Выжигина, сына Ваньки Каина» (М., 1831): «Много, премного у меня романов в голове, только все они сидят еще в голове; да такие бойкие ребята эти романы, так и прыгают из головы. <...> Ох, вы, мои друзья сердечные! Народец православный!» От себя Гоголь добавляет: «Последнее обращение так и задевает за сердце русской народ. Это совершенно в его духе...» Тот вид народности, о котором идет речь, образован причудливой смесью литературной безграмотности, дешевого балагурства и примитивного патриотизма. Это народность черни, причем отнюдь не светской, народность площадная.

В свете проблемы народности поневоле воспринималась и гоголевская книга, которая тем временем набиралась в Петербурге. Если верить В. Соллогубу, то Гоголь в Павловске рассекретил свое авторство для обитателей дома Васильчиковой, прочитав им «Майскую ночь». Сведений о том, прочли ли Пушкин и Жуковский «Вечера на хуторе...» еще в Царском Селе, у нас нет, но несомненно то, что они заинтересованно следили за судьбой книги.

В августе, 15-го числа, Гоголь возвращается в столицу, посещает типографию Департамента народного просвещения, где печаталась

книга, и вскоре дает подробный отчет Пушкину: «Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он после некоторых ловких уклонений наконец сказал, что: *штучки, которые изволили прислать из Павловска для печатания, очень до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву.* Из этого я заключил, что я писал совершенно во вкусе черни». Пушкин, как известно, пересказал этот эпизод в своем письме-рецензии на книгу, добавив существенный нюанс: «Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков».

К пушкинскому отклику на книгу Гоголя мы еще вернемся; пока же лишь отметим, что поэтом указана та труднодостижимая вершина, где высокая литературность соединяется с простонародностью. При этом первая ничего не теряет от своего изысканного артистизма, а вторая ничуть не впадает в вульгарность. Соединение как бы взаимоисключающих вещей занимало мысль Гоголя; недаром его сообщение о реакции наборщиков на «Вечера...» соседствует с пассажем об Александре Анфимовиче Орлове. И там, и здесь фигурирует «чернь» как некая высшая читательская инстанция, но фигурирует по-разному. Гоголевское признание, что он писатель «во вкусе черни», смиренно-иронически умалчивает о другом — о том, что он еще хочет быть писателем «во вкусе Пушкина».

В Царском Селе Пушкин познакомил Гоголя со своей статьей о Булгарине, находившейся в редакционном портфеле надеждинского «Телескопа». Это был знаменитый памфлет «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», подписанный псевдонимом «Феофилакт Косичкин». Пушкин уже успел заметить гоголевскую восприимчивость ко всему смешному, и ему хотелось, чтобы тот оценил всю убийственную тонкость иронии его памфлета.

Памфлет строился на принципе притворной защиты, ложного восхваления, повторенного тоекратно. Восхвалялась «дружба» двух литераторов, Ф. Булгарина и Н. Греча, подающих пример «согласия, основанного на взаимном уважении, сходстве душ и занятий гражданских и литературных». Восхвалялся Булгарин, «сей великий писатель, равно почтенный и дарованиями, и характером». Восхвалялся и лубочный романист А. Орлов — и тут ирония достигала высшей точки.

Дело в том, что за несколько месяцев перед этим в «Телескопе» (1831, № 9) Надеждин опубликовал рецензию, в которой, так сказать, скопом оценивал произведения и Булгарина, и Орлова. Первый только что издал «Петра Ивановича Выжигина», а второй — книжки «Хлыновские степняки Игнат и Сидор, или Дети Ивана Выжигина», «Хлыновские свадьбы Игната и Сидора...» и «Смерть Ивана Выжигина». Рецензент писал: «В сие скудное время общего бесплодия нашей литературы семейство Ивана Ивановича Выжигина приумножается целою тройнею!!! Игнат-Сидор-Петр... молодец на молодец... один другого лучше!»

В ответ на это возмущенный Н. Греч («Сын отечества», 1831, № 27) стал вполне серьезно оспаривать сходство произведений Булгарина с «глупейшими» «книжонками, сочиненными каким-то А. Орловым», Феофилакт Косичкин же развернул ироническую защиту Орлова, доказывая, что он ничуть не хуже Булгарина. Затем он постарался «сравнить между собою сии два блистательные солнца нашей словесности».

«Фаддей Венедиктович превышает Александра Анфимовича пленительною щеголеватостию выражений; Александр Анфимович берет преимущество над Фаддеем Венедиктовичем живостию и острою рассказа.

Романы Фаддея Венедиктовича более обдуманы, доказывают большее терпение в авторе (и требуют еще большего терпения в читателе); повести Александра Анфимовича более кратки, но более замысловаты и заманчивы.

Фаддей Венедиктович более философ; Александр Анфимович более поэт».

Гоголь продолжил эту ироническую параллель, предложив (в упомянутом письме Пушкину от 21 августа) написать эстетический разбор романов обоих литераторов. «Начать таким образом, как теперь начинают у нас в журналах: “Наконец, кажется, пришло то время, когда романтизм решительно восторжествовал над классицизмом, и старые поборники французского корана на ходульных ножках (что-нибудь в роде Надеждина), убралась к черту. В Англии Байрон, во Франции необъятный великостью своею Виктор Гюго, Дюканж и другие, в каком-нибудь проявлении объективной жизни, воспроизвели новый мир ее нераздельно-индивидуальных явлений. Россия, мудрости правления которой дивятся все образованные народы Европы, и проч., и проч., не могла оставаться также в одном положении.

Вскоре возникли и у ней два представителя ее преображенного величия. Читатели догадаются, что я говорю о гг. Булгарине и Орлове. На одном из них, т. е. на Булгарине, означено направление чисто Байронское (ведь эта мысль недурна сравнить Булгарина с Байроном). Та же гордость, та же буря сильных, непокорных страстей, резко означившая огненный и вместе мрачный характер британского поэта, видна и на нашем соотечественнике; то же самоотвержение, презрение всего низкого и подлого принадлежит им обоим. Самая даже жизнь Булгарина есть больше ничего, как повторение жизни Байрона; в самых даже портретах их заметно необыкновенное сходство\*».

Далее Гоголь отыскивает зацепку в знакомом ему пушкинском памфлете, чтобы найти новую пищу для своей иронии. «На счет Алекс. Анфим. можно опровергать мнение Теофилакта Косичкина; говорят, что скорее Орлов более философ, что Булгарин весь поэт».

Впервые в этом письме мы наблюдаем столь яркую вспышку неотразимого гоголевского остроумия, умеющего ненавязчиво, почти незаметно втягивать в свою сферу самые широкие явления. Пушкин уже наметил этот прием, проведя к героям своего памфлета одну-две высокие параллели (так, к замечанию о «терпении» Булгарина сделана логически напрашивающаяся сноска: «Гений есть терпение в высшей степени», — сказал известный г. Бюфон»). Гоголь же наложил свою сравнительную характеристику Булгарина и Орлова на господствующую литературную ситуацию; его фразы об «объективной жизни» и «нераздельно-индивидуальных явлениях» блестяще пародируют жаркие споры о романтизме и классицизме, о новой поэзии, споры, в которых одним из застрельщиков был Надеждин. Оба героя, Булгарин и Орлов, поставлены в ряд самых крупных фигур европейского романтизма, французской «неистойвой словесности», что создает новый источник комических ассоциаций, причем не только эстетического свойства. Здесь Гоголь вновь подхватывает пушкинский мотив игры на широко известных моральных качествах Булгарина: действительно, совсем не дурна, можно сказать, оглушительна была мысль «сравнить Булгарина с Байроном», распространить на доносчика и пасквилянта байроновское «самоотвержение» и «презрение всего низкого и подлого».

Непременный признак иронии — серьезность, серьезность мнимая. Гоголь, доводя ее, кажется, до предела возможного, уснащал или готов был уснастить выдвинутый тезис множеством подробностей, «доказательств», как он это неоднократно делал впоследствии. Здесь уже наметился ведущий принцип гоголевской поэтики комизма.

«...Не дурно взять героев романа Булгарина: Наполеона и Петра Ивановича, и рассматривать их обоих как чистое создание самого поэта, натурально, что здесь нужно вооружиться очками строгого рецензента (каких, само по себе разумеется, не бывало в романе). Не худо присовокуплять: “Почему вы, г. Булгарин, заставили Петра Ивановича открыться в любви так рано такой-то, или почему не продолжили разговора Петра Ивановича с Наполеоном <...>” все это для того, чтобы читатели видели совершенное беспристрастие критика». Прекрасно вплетены в эту ткань формулы официально-патриотического мышления: «Россия, мудрости правления которой дивятся все образованные народы Европы...» (ср. в «Мертвых душах» в передаче речи Чичикова: «...по существующим положениям этого государства, в славе которому нет равного...»). И вся эта ироническая игра облечена уже в характерно гоголевскую стилистику, ведется с использованием излюбленных им оборотов и словечек, вроде «означить» («...На Булгарине *означено* направление...»; выше уже говорилось, какой вес имело это понятие) или «больше ничего, как» («...Жизнь Булгарина есть *больше ничего, как* повторение жизни Байрона»).

Пушкинское «Торжество дружбы...» и упомянутое место в письме Гоголя трагестируют принципы биографизма «Параллельных жизнеописаний» Плутарха, когда «настоящим замкнутым целым является, по сути, не отдельная биография, но пара биографий, «диада» (Аверинцев, с. 212). Через некоторое время эта традиция проявится в памятной всем «диаде» Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, в их сопоставительном описании в первой главе повести о ссоре (Гуковский, 1959, с. 131).

Пушкин вполне оценил гоголевский пассаж о Булгарине и Орлове. «Проект Вашей ученой критики удивительно хорош», — писал он ему из Царского Села 25 августа.

Для отношений Пушкина к Гоголю в царскосельскую пору характерно то, что перед отъездом последнего в столицу поэт поручает ему взять с собой рукопись «Повестей Белкина» — и передать Плетневу для печатания. Обстоятельства помешали Гоголю это сделать, но спустя два-три дня через Васильчикову рукопись была доставлена ему в Петербург и затем благополучно передана адресату (сведений о том, познакомил ли Пушкин Гоголя с повестями до их опубликования, у нас нет).

Рассказ о летних месяцах 1831 года будет неполным, если не упомянуть еще об одной теме, волновавшей в это время и Пушкина, и Жуковского, — о вступившем в заключительную фазу польском восстании. Считая, что восставших «надобно задуть, и наша медлительность мучительна», что «для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря» (письмо к П. Вяземскому от 1 июня), Пушкин в замечательных по поэтической силе стихах воспевал весьма сомнительное право Русского государства вершить судьбу другого народа. Стихотворение «Клеветникам России» написано 16 августа — на следующий день после отъезда Гоголя из Павловска (опубликовано в сентябре вместе с «Бородинской годовщиной» и стихотворением Жуковского «Старая песня на новый лад»).

Как отнесся Гоголь к этим стихотворениям в пору их появления и вообще к польской теме, — неизвестно. Лишь косвенные данные говорят о том, что он не прошел мимо этого события.

В апреле 1831 года, еще из Петербурга, Гоголь шутит в письме к матери: «Сестрице Марии не пишу потому, что должен бы был говорить о часто поминаемом ею в письме поляке, а они теперь люди подозрительные» (X, 196). Гоголь подтрунивает над увлечением сестры Павлом Осиповичем Трушковским, за которого она в следующем году выйдет замуж.

Кстати, отказ Гоголя от второй, «польской» части своей фамилии хронологически совпадает с началом восстания.

До конца сентября 1830 года, он, как правило, подписывался *Гоголь-Яновский* и изредка — *Гоголь*. 26 ноября Николай I объявляет о «возмущении в Варшаве» генералам и офицерам лейб-гвардии Павловского полка (Дельвиг, с. 161) — разумеется, эта весть тотчас широко распространилась. И, начиная с письма к матери от 19 декабря, Гоголь подписывается только первой своей фамилией. В письме к Марье Ивановне от 6 февраля 1832 года он просит адресовать ему письма как «просто Гоголю», потому что «кончик» фамилии он не знает, «где делся»: «Как бы то ни было, только я нигде не известен здесь под именем Яновского...»

Детали эти беглые, разрозненные, сопровождаются шуточной интонацией и не дают сколько-нибудь четкого представления об отношении Гоголя к польскому восстанию. Не исключено, что при общем неприятии восстания он отнесся к нему гораздо спокойнее и терпимее, чем Пушкин или Жуковский.



По возвращении из Павловска Гоголь поселяется в новой квартире — на Офицерской улице, выходящей на Вознесенский проспект, в доме Густава Ефимова, сына Брунста, № 153 (впоследствии это дом № 4 по улице Декабристов — Шубин, с. 192).

А в сентябре, 8 числа, Гоголь неожиданно встретился с Пушкиным. Через день Гоголь описывает Жуковскому, как это было: мол, Пушкин не побоялся карантина, «как дух пронесся его мимо и во мгновения ока очутился в Петербурге на Вознесенском проспекте и воззвал голосом трубным ко мне, лепившемуся по низменному тротуару под высокими домами. Это была радостная минута». Из письма видно (и это не отмечено его комментаторами), что Пушкин был у Гоголя на квартире, находящейся как раз на Вознесенском проспекте. Возможно, со стороны Пушкина это была не случайность, так как он направлялся к Гоголю; во всяком случае, они провели вместе некоторое время. Об этом свидетельствует продолжение письма к Жуковскому и особенно характерная цитата из «Евгения Онегина» об *опустевшем доме*: подразумевается явно уход Пушкина: «И к вечеру того же дня стало все снова скучно, темно, как в доме опустелом:

Окна мелом  
Забелены; хозяйки нет,  
А где? Бог весть, пропал и след.

Осталось воспоминание...» (X, 207).

Встреча с Пушкиным остро напомнила об ушедшем лете, о царскосельских беседах и чтениях.

Это была важная пора в жизни Гоголя. Отрезанные карантинами от столицы, лишённые журналов и газет («...Я не получаю ни единого журнала, кроме С.-Петербургских ведомостей...» — писал Пушкин Вяземскому 3 июля), обитатели Царского Села (особенно до прибытия двора) жили уединенно, «будто в глуши деревенской». Но все это способствовало самоуглублению, творческим занятиям, а с приходом Жуковского — и интенсивному литературному общению.

Гоголь оказался причастным к этому общению, с гордостью ощущая, что он находится среди избранного круга. Наверное, в это время зарождается в нем сознание элитарности, о котором он напишет чуть позже в статье о Пушкине: мол, понять Пушкина способно столь малое число «истинных ценителей», что их можно «перечесать по пальцам». Но при этом с чисто гоголевской парадоксальностью чувство элитарности совмещается с демократизмом, отвращением от свет-

ской напыщенности и ученого эзотеризма, с неприкрытым желанием быть «во вкусе черни».

Отношение Гоголя к Пушкину хорошо оттеняется его отношением к Жуковскому.

Гоголь очень хочет понравиться Пушкину, ловит его намеки, развивает темы, явно рассчитывая на одобрение (и в конце концов получает его). Он сознает силу своего юмора и охотно демонстрирует ее перед поэтом. Он держится с Пушкиным свободно, но при этом сдержанно-свободно; ощущение дистанции не покидает, когда читаешь гоголевские письма к поэту. Гоголь ни на минуту не забывает, *кто* перед ним, к *кому* он обращается.

Жуковскому он может сказать: «О, с каким бы я тогда восторгом возлег у ног Вашего поэтического превосходительства и ловил бы жадным ухом сладчайший нектар из уст ваших...» Но применить шутливо табель о рангах к Пушкину Гоголь не решился бы, понимая, что место гениального поэта на ней как бы за пределами. Жуковскому Гоголь может открыть свою страстную привязанность, тоску о встрече: «Боже мой, сколько бы экземпляров я отдал бы за то, чтобы увидеть Вас хоть на минуту». Чувства Гоголя перед Пушкиным как бы придержаны и внешне смягчены. Только после смерти поэта решился Гоголь на страстные монологи-признания...

В сентябре выходят «Вечера на хуторе...», и Гоголь принимается за рассылку экземпляров. Несколько книг отправлено в Царское Село — Пушкину, Жуковскому, Россет и несколько — для вручения по усмотрению Жуковского. Послана книга матери в Васильевку, А. Данилевскому — на Кавказ, где тот в это время находился. Дарит Гоголь книгу и петербуржцам, хотя точных сведений об этом нет: наверняка — Плетневу, возможно — графу Кочубею и другим влиятельным лицам. Один из экземпляров, посланных Жуковскому, надо думать, попал в руки самой высокой начальницы Гоголя по Патристическому институту — императрицы Александры Федоровны; по крайней мере, Гоголь сообщал матери 19 сентября, что его книга «понравилась здесь всем, начиная от государыни...».

Едва вышла первая часть, как Гоголь просит домашних возобновить присылку ему малороссийских «сказок, песен, происшествий». Все это нужно ему прежде всего для продолжения «Вечеров на хуторе...».

К концу 1831 года вторая часть уже составлена. 31 января следующего года она разрешена цензором к печатанию.

## «ХВОСТИКИ ДУШЕВНОГО СОСТОЯНИЯ»

Преобладающая нота, которую услышали все при выходе «Вечеров на хуторе близ Диканьки», — веселость. Можно сказать, что книга — да, собственно, обе книги — были восприняты под знаком веселости. Тон задал Пушкин: «Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности». «Поздравляю публику с истинно веселою книгою...» И позднее уже от имени читателей, подытоживая их впечатления: «Все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущегося. <...> Как изумились мы русской книге, которая заставила нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!»

Это мнение утвердилось в русском общественном сознании на десятилетия.

А. Герцен в брошюре «О развитии революционных идей в России» (1851, 1853) писал: «Рассказы, с которыми впервые выступил Гоголь, представляют собою серию подлинно прекрасных картин, изображающих нравы и природу Малороссии, — картин, полных веселости, изящества, живости и любви. Подобные рассказы невозможны в Великороссии...»

Критик-шестидесятник А. Рыжов: «Несмотря на дальние нравы, на областную жизнь, в них описанную, они возбудили смех во всей петербургской публике и даже в типографской артели, где с таким равнодушием набираются всевозможные повествования и трактаты, иногда до крайности смешные» (БЧ, 1855, № 10, отд. 3, с. 10).

М. Максимович в 1861 году: «Я и на старости люблю по-прежнему, как украинскую весну, веселость первых повестей Гоголя, которыми он заставил смеяться весь читающий русский мир. <...> Смех, возбужденный 20-летним Гоголем, был всеобщий, не зависящий от знания или незнания Украины читателями, не проходящий и доныне» (ЛВ, 1902, № 1, с. 105).

Создается впечатление, что вся Россия, по крайней мере Россия читающая, заходится от смеха над страницами «Вечеров...», начиная от наборщиков (гоголевское сообщение о встрече с типографией Пушкин пересказал в своем печатном отзыве) и кончая И. Крыловым, М. Щепкиным и самим Пушкиным. И все это, мол, наиболее точно передает саму суть книги.

Даже А. Григорьев, с его обостренным вниманием к драматическому и гротескному содержанию гоголевского творчества, делал ис-

ключение для «Вечеров на хуторе...». «...Все в них ясно и весело < ... >, еще не слышать того грустного смеха». «Легко и светло было на душе читателя, как легко и светло на душе самого поэта» (Материалы, т. 1, с. 254).

Увы, первым, кто опровергает мнение, будто «легко и светло было на душе» автора «Вечеров на хуторе...», является сам Гоголь. В «Авторской исповеди» он специально объясняет, откуда возникло ощущение «веселости»: «Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. < ... > Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставляли смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходиться в голову такие глупости».

Гоголевская самооценка, сделанная ретроспективно, вызывает некоторое недоумение. Если Голова из «Майской ночи», Чуб и Солоха из «Ночи перед Рождеством», не говоря уже о Шпоньке и его тетушке Василисе Кашпоровне, действительно принадлежали к лицам, которые, будучи поставленными в «смешные положения», отвечали преследуемой художественной цели, то как могли развлечь и позабавить герои и события «Вечера накануне Ивана Купала» или «Страшной мести»? А с другой стороны, под гоголевскую характеристику прекрасно подходят и более поздние его вещи, скажем, «Коляска», и особенно «Нос». Майор Ковалев... Вот о ком без всякого смущения можно сказать, что автор ставит его «мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза».

Дело в том, что гоголевское суждение суммарно; оно делит все творчество на два периода: до «Ревизора» и после «Ревизора» — и характеризует первый период в целом. Это не только «Вечера на хуторе...», но в *той числе* и «Вечера на хуторе...». Такой видится Гоголю конца 40-х годов преобладающая окраска всех его ранних вещей, что, конечно, неточно; но надо учесть, что его толкала на это

не только строгая переоценка всего своего писательского пути, но и суммарный подход со стороны критики и читателей. Те говорили о безоглядной «веселости» «Вечеров на хуторе...», и, как бы подхватывая установившееся мнение, Гоголь объяснял, откуда такое впечатление и что означает эта веселость на деле.

В то же время он чувствовал неадекватность понятия «веселость» применительно к «Вечерам на хуторе...» (речь сейчас только о них). Об этом свидетельствует его высказывание, что в «Вечерах на хуторе...» видны «хвостики душевного состояния». Подразумевается не то, что отразилось на поверхности, а то, что таилось в глубине; не то, что демонстрировалось и выставлялось напоказ, а то, что тщательно скрывалось, может быть, в первую очередь от самого себя, и вопреки ожиданию дало о себе знать. Это «хвостики» не веселости, а какого-то другого состояния, которое должно было быть побеждено веселостью, да сделать это до конца не удалось.

В гоголевских письмах периода работы над «Вечерами на хуторе...» наблюдается одна постоянная черта — настойчивый призыв к спокойному, веселому расположению духа. «Ради Бога, милая сестрица моя, береги свое здоровье, старайся сколько можно отдалять от себя печальные мысли...» (10 октября 1830). «Ради Бога, веселитесь побольше, это одно и самое верное лекарство против всех болезней» (16 апреля 1831). «Желая вам всегдашнего здоровья и счастья, заклиная не беспокоиться ни о чем и побольше веселиться, остаюсь вашим вечно признательным сыном...» (24 июля 1831). «Заклиная» — едва ли случайное здесь слово: все это действительно звучит как заклинание, в котором присутствует что-то от личного опыта, причем не давнего, а сиюминутного, переживаемого в настоящее время. Что-то от самовнушения или, если не бояться сегодняшнего словоупотребления, от аутогенной тренировки.

Довольно неожиданные вещи, если принять во внимание резкий поворот к лучшему в жизни Гоголя. У него теперь есть дело — педагогическая работа, завязались важные знакомства, осуществляются литературные замыслы. «Я теперь более, нежели когда-либо, тружусь и более, нежели когда-либо, весел. Спокойствие в моей душе величайшее...» Но Гоголь знал, каким образом достигается это состояние, какие тревоги и страхи скрываются в глубине; от того и не уставал расточать советы о пользе веселости.

Еще один такой совет был адресован им одному из друзей (М. Максимовичу) несколько позже, в марте 1835 года; этот совет

интересен тем, что открывает и обратную сторону дела. «Мы никак не привыкнем (особенно ты) глядеть на жизнь, как на трын-траву. <...> Пробовал ли ты когда-нибудь, вставши поутру с постели, дернуть в одной рубашке по всей комнате тропака?» И, высказав столь практичную рекомендацию, Гоголь объясняет: «Послушай, брат: у нас на душе столько грустного и заунывного, что если позволять всему этому выходить в наружу, то это чорт знает что такое будет. Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость» (X, 357). «Веселость» фигурирует здесь не как самодостаточное, независимое состояние, но как побежденные грусть и уныние, как средство и в то же время результат их преодоления. Но точно так же Гоголь объясняет «веселость» своих первых произведений в «Авторской исповеди»; это говорит о том, что его позднее толкование, при всей обобщенности и схематизации, основывалось на действительно протекавшем душевном процессе.

В конце 40-х годов Гоголь видит процесс крупнее и цельнее: он отмечает, что нечто подобное переживалось им еще в Гимназии, что при своем «меланхолическом от природы характере» он часто впадал в неуместную шутливость (надоедал «другим моими шутками»), что сочинение комических произведений как бы продолжает ту же линию, удовлетворяя глубокой внутренней потребности. Тут можно добавить (подробнее об этом говорилось в первых главах настоящей книги), что и ранние сатирические опыты будущего писателя, в конце концов вся владевшая им стихия пародирования, высмеивания, комикования вырастали на той же психологической почве и, в смысле творческих стимулов, предвосхищали последующие его произведения.

Это вовсе не значит, что у автора «Вечеров на хуторе...» не было никаких других стимулов, но значит лишь то, что многие из этих стимулов, являющихся обычно спонтанно, писатель не сознавал или не хотел сознавать. А вот мотив преодоления уныния осознал и, повторяю, ценою некоторой схематизации своего творческого пути выдвинул на первый план. И это преодоление уныния относилось не только к сфере генезиса произведений, но и к их объективной данности. Упоминая о «хвостиках душевного состояния», Гоголь, очевидно, подразумевал то, что они видятся ему в самом тексте как некий подлежащий преодолению, но так и не преодоленный остаток.

И в самом деле, можно обратить внимание на многие проявления этого «остатка», но остановимся только на одном. У всех повестей «Вечеров на хуторе...» есть некая общность финалов. Как бы ни

протекало действие, в какие бы разнообразные тона ни окрашивалось, от мажорного до трагического, но кончается оно всегда на грустной или, правильнее сказать, тревожной, озадачивающей ноте. Словно некий скрытый поток эмоций прорывается на поверхность.

Хорошо известна концовка «Сорочинской ярмарки»: оттремело веселье, опустела ярмарочная площадь. «Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостя, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые друзья бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют наконец одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему».

О «Вечере накануне Ивана Купала» и «Страшной мести» говорить не приходится. Тут сами события не сулят ничего хорошего. В селе, где происходило действие первой повести, еще совсем недавно показывался черт и «так всхлипывал жалобно в своей кануре, что испуганные гайвороны стаями подымались из ближнего дубового леса и с диким криком металась по небу». А в «Страшной мести» минорность финала как бы удвоена: в основном течении повести — кульминационным бедствием, землетрясением, которое «много задавило народу», а в рассказе о песне бандуриста — смятенностью чувств толпы, только что услышавшей «о страшном, в старину случившемся деле».

Отголосок смятенности персонажей — и в финалах «Пропавшей грамоты» и «Заколдованного места». Давно уже выручил дед у ведьм и чертей свою грамоту, но его «бабе ровно через каждый год, и именно в то самое время, делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что ни примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься в присядку». Давно уже дед избавился от наваждения «проклятого места», где хозяйничал черт, а это место все напоминает о себе, ибо на нем не росло «ничего доброго»: «...засеют как следует, а взойдет такое, что и разобрать нельзя: арбуз — не арбуз, тыква — не тыква, огурец — не огурец... чорт знает, что такое!» Непроизвольные движения и не укладывающиеся ни в какие природные формы явления — остаточный след влияния нечистой силы на людей и обстоятельства.

Повесть о Шпоньке, произведение совсем иного колорита, где, кажется, господствуют легкость и неприязнательность анекдота, заканчивается описанием сновидения главного персонажа, приведенно-

го в ужас мыслью о предстоящей женитьбе: во сне ему все кажется «странным», «его берет тоска», он просыпается «в страхе и беспамятстве», «пот лился с него градом». Замечательно, что и «гадательная книга», к которой он обратился поутру, никак не может его успокоить: «там совершенно не было ничего, даже хотя немного похожего на такой бессвязный сон», ибо сон Шпоньки так же выбивается из «природных» форм сна, как посеянное на «заколдованном месте» — из форм арбуза или тыквы.

Пожалуй, только в «Майской ночи» все складывается по-другому: прекратились проделки парубков, неуступчивый Голова согласился на свадьбу Левко и Ганны, и «все погрузилось в сон». «Изредка только перерывалось молчание лаем собак, и долго еще пьяный Каленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату». Но этот Каленик, который все делает невпопад, который бесконечно петляет по селу, так как, по его словам, «растянул вражий сын, сатана, дорогу», остающийся один на фоне водворившегося мира, согласия и если не самого свадебного веселья, то его «идеи», предстоящего осуществления — не является ли он и вся эта сцена редукцией финала «Сорочинской ярмарки», напоминанием об отставшем, «оставленном» («скудно оставленному...»)? А в более широком контексте — не являются ли бесконечные плутания Каленика редукцией древнего архетипа деформированного нечистой силой пути, обмороченного пространства (ср. у Пушкина: «В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам» — «Бесы», 1830)<sup>53</sup>.

В. Гиппиус говорил, что главная тема «Вечеров на хуторе...» — «вторжение в жизнь людей демонического начала и борьба с ним», но делал исключение для «Ивана Федоровича Шпоньки...» и «Сорочинской ярмарки». Первая повесть — «совершенно вне демонологии», а вторая — «почти» вне ее: рассказ о свитке здесь только ловкая выдумка...» (Гиппиус, 1924, с. 33). Это верно, если под «демологией» подразумевать лишь прямые контакты человека с ирреальными силами, вроде полета Вакулы в Петербург верхом на черте или сговора Петро Безродного с Басаврюком. Но помимо недвусмысленного вмешательства «демонического начала», есть еще всяческие влияния, скрытые намеки, есть следы подобного вмешательства с различной степенью определенности — и от всего этого не свободна ни одна из повестей «Вечеров». Поэтому указанную тему можно считать сквозной.



Да, в «Сорочинской ярмарке» рассказ о свитке черта — исходный момент интриги цыган против Черевика, согласившихся помочь влюбленному Грицько. Но проведение этой интриги в жизнь, осуществленное с почти невысказанной ловкостью и совпадением обстоятельств, нарушающих всякое правдоподобие; но внешний вид цыгана, так напоминающий облик обычного для Гоголя носителя злой силы... «В смуглых чертах цыгана было что-то злобное, язвительное, низкое и вместе высокомерное. <...> Совершенно провалившийся между носом и острым подбородком рот (ср. у колдуна в «Страшной мести»: «подбородок задрожал и заострился, как копьё...» — Ю. М.), вечно осененный язвительною улыбкой, небольшие, но живые, как огонь, глаза ...» и т. д. Все это далеко не «вне демонологии».

Говорящей является проведенная Гоголем в другом месте повести параллель «цыган» с гномами: «...они казались диким сонмищем гномов, окруженных тяжелым подземным паром, в мраке непробудной ночи». Гномы связаны с подземным царством, с «подземной географией», о которой Гоголь писал еще в своей педагогической статье, а значит, со всем подсознательным, таинственным, ночным, иррациональным. От цыган, через гномов, ведет ассоциативная нить не только к более позднему созданию писателя — Вию, «начальнику гномов», но — в русле «Вечеров на хуторе...» — и к «Страшной мести». Ведь обиталище гномов — преисподняя («адские гномы» сказано в другом месте — «Кровавом бандуристе»), бездонный провал, в котором мучается «великий грешник», а значит, и источник омертвения и смерти. По логике амбивалентности в «Сорочинской ярмарке» чудесные помощники приводят Грицько и Параску к свадьбе, то есть дарят обновление и новую жизнь. Но это не освобождает от страха, исходящего от всего подземного мира. «Есть что-то могильно-страшное во внутренности земли. Там царствует в оцепенелом величии смерть, распутившая свои костистые члены под всеми цветущими городами, под всем веселящимся, живущим миром» («Кровавый бандурист»).

Страшное, спрятавшееся «под всем веселящимся», — какой характерный для гоголевского мироощущения образ!

Смешное и ужасное — соседи; то смех переходит в ужас, то наоборот. «Деда, несмотря на *страх* весь, *смех* напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм...» Минуту спустя смех отзывается ужасом: «...все чудища выскалили зубы и подняли такой смех, что у деда на

душе *захолонуло*». Поэтому вид смеющегося внушает двойственное чувство: образ смеха — смеющийся рот, выражающий и безотчетность, легкость веселья, готовность к благорасположению и самоотдаче; но в то же время — это и судорожно искривленные губы, запечатлевшие ненависть или презрение; это раздвинутая полость, показывающиеся небо и гортань, ощерившиеся зубы, оскал, готовность пережевывать и глотать. Один из излюбленных мотивов «Вечеров на хуторе...» — смеющаяся нечистая сила.

Уже в главах «малороссийской повести», в «Учителе» и «Успехе посольства», комический эффект извлекался из соприкосновения человеческого мира с миром животных и вещей. Граница между этими мирами подвижна; вещи и животные способны вести себя примерно так же, как и люди (и наоборот). В «Вечерах на хуторе...» щедро используется тот же прием. По приезде Шпоньки в имение одна из встречающих собак бегала «взад и вперед, помахивая хвостом и как бы приговаривая: посмотрите, люди крещеные, какой я прекрасный молодой человек!». Тут же появилась свинья, которая, прохаживаясь «по двору с шестнадцатью поросенками, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного». Но помимо этого, в «Вечерах на хуторе...» сближаются и другие миры — естественный и ирреальный; граница между ними также подвижна, изменчива, капризна; возможны уподобления, фамильярные контакты, выходы из законного пространства в иное, заповедное.

В «Учителе», мы помним, к главному герою «без церемонии» лез целоваться дворовый пес. В «Пропавшей грамоте» такую же честь оказывают деду обитатели чертовского логова, куда он попал, — «свиные, собачьи, козлиные, дрофиные, лошадиные рыла»; «плюнул дед, такая мерзость напала!» (как сплюнул и Чичиков, которого один из ноздревских псов Обругай лизнул «языком в самые губы»). В людском мире и сверхъестественном — сходные инстинкты, привычки, «ценности». Тот же дед из «Пропавшей грамоты» перед тем как отправиться к нечистой силе, получает совет «набрать в карманы того, для чего и карманы сделаны»; «ты понимаешь, это добро и дьяволы, и люди любят». Порою же какой-либо этикетный признак — принятого обычая, «кодекса чести» берет верх над признаком ирреальности, а вместе с тем и признаком зла (ирреального зла). Когда старшая ведьма поставила деду условие: получишь шапку, если «сыграешь с нами три раза в дурня», тот возмутился: «Козаку сесть с бабами в дурня!» Позорно не то, что с ведьмами, а то, что с бабами...

Щедро питают комическое различные уподобления и сближения двух миров в сфере интимных отношений. «Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду». Чуть позже Оксана скажет Вакуле: «Все вы мастера *подъезжать* к нам». В свете того, что мы узнали, «все» включает в себя и нечистую силу.

Герои «Вечеров на хуторе...» живут в самом близком соседстве с чертями и ведьмами. «...Кто на веку своем не znalся с нечистым?» Родственные связи скрепляют оба мира, так что уж и не знаешь, у кого в крови нет бесовской примеси. «Правда ли, что твоя мать ведьма? — произнесла Оксана и засмеялась...» Оказалось, правда; значит, Вакула — сын ведьмы, а потом, выйдя за него, с ведьминым племенем породнится сама Оксана, да и отец ее, козак Чуб, равно как и Голова, и дьяк Осип Никифорович, и козак Касьян Свербыгуз, хаживая к Солохе по известным делам, причащались нечистой силе. Так что реплика Вакулы Пузатому Пацюку — «ты, говорят <...> приходишься немного сродни чорту» — может быть применена и к нему самому.

О Хивре из «Сорочинской ярмарки» нигде не говорится, что она ведьма, как Солоха. Но Грицько за глаза называет Хиврю «старой ведьмой», прибавляя, что готов перевешать «всех тех дурней, которые позволяют себя седлать бабам» (намек на способ действия ведьм, летающих верхом на своих жертвах). Чуть позже, после переполоха и паники, Хиврю застают лежащей без чувств на Черевике. «Баба взлезла на человека; ну, верно, баба эта знает, как ездить!» — говорил один из окружающей толпы». Кажется, Хивря «немного сродни» Солохе или, что то же самое, ее ожидает превращение в Солоху.

Подвижность пограничной линии между мирами, их взаимопроницаемость, повторяю, — источник забавного, жизнерадостного, светлого, и в этом смысле те, кто интерпретировал «Вечера на хуторе...» в духе веселости, имели на то основание. Но та же самая подвижность линии и проницаемость миров имели другую сторону, так как рождали чувство неопределенности и неустойчивости. Неустойчивости перед злом: «Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!»

В мерцающем, тревожном свете выступает в «Вечерах на хуторе...» и любовь, описание любви.

С одной стороны, Гоголь развивает сформулированную еще в «Женщине» (в речи Платона) мысль о бесконечной поэтичности женской красоты, мысль, которая переведена здесь на язык нежного и трепетного юношеского чувства. «...Я прикрою тебя свиткою, обмогаю своим поясом, закрою руками тебя — и никто нас не увидит. Но если бы и повеяло холодом, я прижму тебя поближе к сердцу, отогрею поцелуями, надену шапку свою на твои беленькие ножки. Сердце мое, рыбка моя, ожерелье!» О таких строках говорил Пушкин в «письме» о «Вечерах на хуторе...»: «А местами какая поэзия! Какая чувствительность!»

Любовь гоголевских героев исключительна — никто не может сравниться с ними по силе переживаний. Вакула: «Я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить». По сравнению с этим чувство пушкинского Ленского скромнее: тот превосходит силой любви лишь современников: «Ах, он любил, как в *наши лета*// Уже не любят; как одна// Безумная душа поэта// Еще любить осуждена...», а Вакула превосходит всех — и живших, и живущих, и будущих людей. Любовное чувство вытесняет все другие, даже родственные; любовь выше богатства, тщеславия и т. д.

Тот же Вакула: «Что мне до матери? Ты у меня мать и отец и все, что ни есть на свете. <...> Не хочу, сказал бы я царю, ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства. Дай мне лучше мою Оксану!» Любовь бескорыстна и всеобъемлюща. Поэтому отверженное или неудовлетворенное чувство непереносимо: «...ну вот так и жжет, так и жжет...» Примерно так же описывал Гоголь действие на него незнакомки, находя выход в бегстве, как Вакула в мысли о самоубийстве (неосуществленной). «Через эту глупую любовь я одурел совсем...» Открывается оборотная, рискованная сторона высокопоэтического любовного переживания. Впервые в «Вечерах на хуторе...» сформулирована мысль: под влиянием любви человек *на все* может решиться.

Достоин внимания факт: во всех пяти повестях цикла, описывающих любовные переживания, герой не может обойтись своими силами и прибегает к сторонней помощи. И это не обычная в ситуации хитроумных проделок влюбленных помощь находчивых и плутоватых слуг (Криспина, Скапена, Фигаро и т. д.), но помощь со стороны таких лиц, которые являются носителями ирреальной силы или находятся с ними в каких-либо связях. В «Сорочинской ярмарке» это менее явно ввиду проблематичных, но в то же время и определенным

образом уже намеченных отношений помощников Грицько, цыган, с подземным царством; в остальных же четырех произведениях такие отношения с ирреальной силой более чем явны (в «Страшной мести» соблазняет Катерину на преступную связь, кровосмешительство не помощник, а сам колдун, «антихрист»).

Далее, достойно внимание и то, что лишь в одном случае ирреальная сила добрая (утопленница-панночка в «Майской ночи...»), во всех остальных — откровенно злая, различен лишь ее калибр — от мелкого каверзничества черта в «Ночи перед Рождеством» до Басаврюка, «дьявола в человеческом образе», и колдуна, великого грешника, «антихриста». Значит, влюбленный обращается не просто к ирреальной силе, но к силе заведомо злой, дьявольской, и — в случае с Петро Безродным — закрепляет эту связь традиционным договором (правда, без столь же традиционной росписи кровью), за что и гибнет, превращаясь в прах. Благополучно выходит из подобной переделки лишь Вакула, отделавшись церковным покаянием — и то не за рискованное общение с чертом, а за то, что пропустил заутреню и обедню. Он спасся потому, что сохранил голову в самом смятении чувств и любовной тоске, и вместо заключения «контракта» (тут уже дело поставлено серьезнее: черт ждет от него, чтобы он расписался кровью), усмирил своего партнера крестом и заставил служить собственным целям. Получилось по пословице: Вакула и «капитал» приобрел, и невинность сохранил.

Вакула — высшее выражение любовного переживания, со всеми тревогами любви, и одновременно другой силы, способной противостоять первой. Гоголь уже не повторяет попытку найти опору в самой любви, как в «Женщине». Он теперь ищет опору стороннюю, помимо любовной эмоции. И тут оказывается, что Вакула не вполне точно характеризовал свой внутренний мир, говоря, что выше Оксаны для него ничего нет, — есть что-то и повыше, самое высокое, абсолютное.

Совсем не случайно, что герой, полнее всех в «Вечерах на хуторе...» переживший тревоги любви, оказавшийся на грани пропасти, наделен вместе с тем и высшей степенью благочестия. Как смиренный религиозный живописец появляется он в повести («Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образы святых...»), таковым же он и уходит (в церкви намалевал «чорта в аду такого гадкого, что все плевали»), а по ходу действия сотворяет крестное знамение, кладет поклоны, приказывает все свое добро в случае гибели передать церкви и т. д. Церковь — вот кто служит Вакуле надежным якорем в море соблазнов и бед.

Крест выручает и других героев: деда в «Пропавшей грамоте», выпутавшегося из рискованной карточной игры с ведьмами, деда в «Заколдованном месте» «...чуть только услышит старик, что в ином месте не спокойно: «а ну-те, ребята, давайте крестить!» и т. д. А если и не выручает, то, значит, слишком поздно обратились к его помощи, к помощи церкви. «Спасается тот, кто отдал себя под ее покровительство — заключив себя в стены монастыря, украсив церковную стену или хотя бы вовремя защитив себя церковным талисманом» (Гиппиус, 1924, с. 35). В самостоятельную способность человека противостоять злу автор «Вечеров на хуторе...» не верит.

Возвращаясь к реакции современников на книгу, следует сказать, что «веселость» понималась ими достаточно широко, в спектре других эмоций, таких, как поэтичность, чувствительность и т. д.

Мы уже видели это в отзыве Пушкина. Вот еще (более позднее) суждение Белинского: «Это комизм веселый, улыбка юноши, приветствующего прекрасный Божий мир. Тут все светло, все блестит радостью и счастьем; мрачные духи жизни не смущают тяжелыми предчувствиями юного сердца, трепещущего полнотою жизни» (Белинский, V, с. 566).

Чего не хватало в этом описании «полноты жизни», так это ее тревожной, подпочвенной, трагичной стихии. Вопреки только что приведенным словам Белинского, «мрачные духи» уже смущали Гоголя «тяжелыми предчувствиями» — и еще как! Однако понимание этого пришло к читателям и критикам позднее.

## **«ВСЕ ЭТО ТАК НЕОБЫКНОВЕННО В НАШЕЙ НЫНЕШНЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ...»**

Необыкновенность таланта Гоголя была уловлена и отмечена сразу же. В своем «письме», опубликованном в «Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду» от 25 сентября (№ 79) в рамках рецензии Л. Якубовича, явившейся первой печатной оценкой книги, Пушкин писал: «Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился». Гоголя уже хвалили за «исторический роман» или «малороссийскую повесть», хвалили Надеждин или рецензент «Московского телеграфа», «но Пушкин первый угадал в Гоголе явление» (Гиппиус, 1924, с. 41). Первый, но не единственный. Буквально через несколько недель сходные мысли стали выражать и другие.

Кстати, пушкинский отзыв позволяет думать, что в период царскосельского общения с Гоголем, то есть до выхода книги в свет, он ее целиком не читал. Хорошо знал о ее существовании, о ходе печатания, быть может, что-то слышал в чтении автора, но полностью не читал. Прочел же книгу целиком лишь по ее получении (послана, как мы упоминали, через Жуковского 10 сентября). «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня...» Отзыв Пушкина дышит всей непосредственностью сиюминутного прочтения, написан под неостывшим еще впечатлением первого знакомства.

Восторженное отношение к «Вечерам на хуторе...» Пушкин сохранил и впоследствии. Этому не противоречит и тот факт, что в связи со вторым изданием Пушкин в опубликованной в «Современнике» (1836, т. 1) специальной заметке упомянул и о недостатках: «Мы так были благодарны молодому автору, что охотно простили ему неровность и неправильность его слова, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов...»<sup>54</sup>

Легко себе представить, что значило для двадцатидвухлетнего Гоголя публичное пушкинское признание.

Помимо проблемы гоголевского смеха («веселости»), Пушкин выдвинул и другую проблему, которая вышла на первый план в толках и суждениях вокруг «Вечеров на хуторе...» Это — народность, а в ней — украинское начало. Именно соотношение народности и украинского начала вскоре приковало к себе широкое внимание. Пушкин сознает специфику гоголевского материала («...свежие картины *малороссийской природы*»), но не подчеркивает ее; он не говорит: автор «Вечеров на хуторе...» народен *потому*, что он украинец. Но затем такая причинная связь была проведена.

Второй после «Литературных прибавлений...» о книге Гоголя высказалась «Северная пчела» (№ 219, 220 от 29 и 30 сентября 1831). Отношение Ф. Булгарина, издателя газеты, к Гоголю еще не переменялось к худшему, хотя нужно учитывать, что рецензия написана не им, а критиком В. (т. е. В. Ушаковым), а помета «сообщено» несколько отделяет высказанное здесь мнение от позиции редакции<sup>55</sup>.

Гоголю в рецензии могло быть интересным прежде всего то, что его книга прямо связывалась с малороссийским бумом, который он с самого начала принял в расчет («здесь так занимает всех все малороссийское»). Прежде, говорит Ушаков, литераторы-украинцы (И. Котляревский, П. Гулак-Артемовский и др.) старались лишь «сохранить во всей чистоте особенность своего наречия и оригинальность

давнопрошедшего быта». Но теперь «малороссийская школа» обратилась к более важной задаче — «раскрывать народность во всей обширности этого понятия». Книга Рудого Панька — самое последнее выражение этого «умного и истинно народного усилия».

И тут, по мнению критика, выступает преимущество выбранного Гоголем художественного материала. «Элементы собственно русского характера до сих пор остаются неуловимы», «идея национальной литературы образовалась у нас, как и все, подражательно», «есть только ученое усилие». Не то Украина: «...малороссияне имеют свою особенную физиономию или, по крайней мере, живо помнят оную. Они тщательно сберегают свои предания и дорожат ими, как изображениями предков, в коих находят фамильное с собою сходство. Прошедшая история живет в устах их...» Сама «веселость» — атрибут украинской народности: это «запорожский юмор», когда «сквозь древнюю пошехонскую простоту проглядывает какая-то лукавая усмешка». Такая же национальная черта — демонстрируемая одним из рассказчиков, Фомой Григорьевичем, наивная вера в чудесное, или, как колоритно выражается критик, «пергаментная простота, от которой так уклонились мы...».

Последние слова — ключ к проблеме. По представлениям того времени, русское относится к украинскому не как изначально вненародное к изначально народному, а как нечто, утратившее народность, к обществу, которое его сохранило. Поэтому Украина — земля обетованная: «...Наши поэты улетают в нее мечтать и чувствовать; наши рассказчики питаются крохами ее преданий и вымыслов» (Надеждин, с. 280). Но Гоголю не пришлось никуда «улетать»: украинский дух и традиция в нем самом. Это означает, что он несет в себе и начало русской народности, какой она могла бы быть, если бы правильно развилась. На этой стороне проблемы особенно настаивал Н. Надеждин («Телескоп», 1831, № 20; 1832, № 17), говоря, что гоголевские повести «расцвечены украинскими красками, освещены украинским светом» — и «тем занимательнее посему должны быть для нас ее картины». Гоголь для русского читателя — и ободрение, и укор, и горечь, и надежда.

Лишь два критика заметно выпали из хора, один из них — Н. Полевой.

Пушкин писал Гоголю 25 августа 1831 года, что «с нетерпением» ожидает «отзыва остренького сидельца» (т. е. Полевого, купца по происхождению) в силу, очевидно, известных демократических сим-



пятий критика и его интереса к проблеме народности, в том числе и в украинском ее обличье. За год до появления «Вечеров на хуторе...» Полевой в связи с выходом «Истории Малой России» Д. Бантыш-Каменского напечатал в своем журнале, в двух номерах (№ 17 и 18), обширную статью «Малороссия: ее обитатели и история». Критик доказывал, что Украина владеет яркой и сильной печатью народности. А вот в «Вечерах на хуторе...» такой народности он не признал. Не признал, так как не поверил, что автор — действительно украинец.

В рецензии на первую часть книги («Московский телеграф», 1831, № 17) Н. Полевой решил вывести мнимого украинца на чистую воду с помощью стилистического анализа. Выписав и подчеркнув обороты явно литературного происхождения — «полдень *блещет в тишине и зное...*», «...*сладострастным куполом*» и т. д., — критик заключал: «Воля ваша, мы своим русским умом не понимаем этого высокопарения; но понимаем то, что это писал не пасичник и не малороссиянин, < ... > Мы видим, что вы самозванец — пасичник; вы, сударь, москаль, да еще и горожанин». Чтобы понять это место, нужно обратиться к упомянутой выше общей статье Полевого о Малороссии, к определению самобытности этого края: «Язык, одежда, облик, лица, быт, жилища, поверья — совершенно не наши! Скажем более: на нас смотрят там доньне неприязненно. Имя: *Москвитянин* (Москаль) показывает отчуждение наше от туземцев».

Критик говорит автору «Вечеров на хуторе...»: «...вы, сударь, москаль», — как бы от имени украинцев, заметивших подделку. А это уже вопрос не только стиля, способа выражения в поэзии и в быту, но и народной судьбы.

Историю может иметь тот, кто жил «своею более или менее резкою жизнью». «Какая яркая жизнь может осветить особую историю Новгорода!» (Полевой имеет в виду, конечно, особый республиканский статус Новгорода в прошлом, новгородское вече, борьбу с централизованным Русским государством). «Историю Смоленска, напротив, едва ли должно писать отдельно». Украина, фигурально говоря, ближе к Новгороду, а не к Смоленску, ибо она «долго и сильно жила отдельно от России жизнью». Полевой яростно сражается с официально-телеологическими представлениями о том, что всем частям Русского государства изначально предопределено было объединиться под имперским скипетром. «Малороссия, не сделавшись доньне *Русью*, никогда и не была *частью древней Руси*, точно так же, как Сибирь и Крым». Он высмеивает фразу Н. Карамзина, примененную

к казакам (в «Истории государства Российского»), — «витязи, умиравшие за веру и отечество». «Что за витязи, умиравшие за веру и отечество, были козаки, когда так же дрались они с татарами, турками, литвою, как и с русскими?» Вывод: «квасной патриотизм и тут вмешивался».

Очевидно, и «Вечера на хуторе...» Полевой воспринял как бы принадлежащими официальной концепции, не выходящими за ее границы. «Высокопарение», то есть литературность русского толка, было лишь производным от более глубокого изъяна.

По выходе второй части книги критик значительно смягчил свой приговор (рецензия его появилась в «Московском телеграфе», 1832, № 6). Мол, «во второй книжке <...> автор, во многих местах, очень хорошо воспользовался юмором *своих земляков* и многое представил в живописном, истинном виде». Критик уже знает, кто сочинитель, знает, что это не «москаль», а всамделишный украинец; он с похвалой отзывается о многих частностях, но по-прежнему не признает достоинства «целого». Интересно, что упрек в отсутствии «одной мысли», «целого» адресуется прежде всего «Страшной мести», единственному произведению цикла, в которое вторгается историческая тема национальных междоусобиц, борьбы казачества с поляками.

Вторым литератором, высказавшим сомнение в достоверности гоголевского письма, был А. Я. Стороженко (Андрий Царынный). Он подошел к книге с точки зрения своего, близкого ему материала, как украинец, что подчеркивалось уже названием его огромного разбора: «Мысли *малороссиянина* по прочтении повестей пасичника Рудаго Панька...» («Сын отечества и Северный архив», 1832, № 1—4; вскоре вышел отдельной брошюрой). Множество мелких и более крупных оплошностей нашел критик у Гоголя. Почему сватовство происходит среди ярмарки да еще во время уборки хлеба? Почему парубки и дивчата забавляются в будни? Почему Левко играет на бандуре, в то время как на том инструменте играют «или слепые, или козачки»? Почему тот же Левко в теплый летний день поет известную песню «Солнце низенько», повествующую о зимнем морозном вечере? и т. д.

Так широко обозначился диапазон проблемы: от признания гоголевской книги истинно «малороссийской» и потому истинно народной до сомнений в конкретно-национальной подлинности, а следовательно, и народности; от предположения о государственной ортодоксальности писательской точки зрения до мелкотравчатой стилистической и этнографической критики.

Очевиднее прочего была несостоятельность последней, то есть критики этнографического и стилистического толка. Гоголь по точности и полноте знания украинского материала уступал и Андрию Царынному, и, скажем, П. Кулишу, который позднее, в 60-е годы, в журнале «Основа» повел еще более массивную атаку на всяческие его промахи и огрехи. Но у гоголевского знания (или незнания) была своя логика; как заметил еще М. Максимович в полемике с Кулишом, автор «Вечеров на хуторе...» «действительную жизнь своевольно пересоздавал и преображал в новое бытие» (ЛВ, 1902, № 1, с. 104).

Совсем нетрудно, например, понять, почему в «Сорочинской ярмарке» ярмарочные сцены без всякого опосредования, без промежуточных «звеньев» переходят в сцену сватовства, предсвадебного веселья. Ярмарка — чрезвычайная пора, самой своей «теснотой», «физическим контактом тел» (М. Бахтин) выражающая праздничность и веселье. Свадьба — начало новой жизни, неуклонное ее развитие и обновление, и неудивительно, что одно событие перетекает в другое, образуя единую устремляющуюся вверх линию (я сейчас отвлекаюсь от осложняющих эту тему минорных мотивов, о которых шла речь выше).

Что касается общей гоголевской концепции Украины и Запорожской Сечи, то она еще только формировалась, и поэтому уместнее остановиться на ней позже. Пока же ограничимся самым необходимым.

«Ночь перед Рождеством» в составе гоголевского цикла — единственное произведение, основное действие которого развивается в Диканьке. При этом примечательно, что локализация производилась постепенно, по мере того как сознавалась смысловая роль этого понятия. По черновой редакции видно, что Оксана (как и Пацюк) живет в Диканьке: «...и за Диканькою и под Диканькою только и речей было, что про нее» (ср. более выразительную формулировку в окончательной редакции, помещающую Диканьку с Оксаной в центр: «...и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки»). Относительно же Вакулы автор словно еще колеблется: встречаемые Вакулой запорожцы вначале «проезжали осенью через Ярески», а чуть ниже: «через Диканьку» (в окончательной редакции в обоих случаях: «через Диканьку»). Соответственно и в других местах Диканька в первоначальном слое рукописи не упоминается: вместо: «Проезжая через Диканьку блаженной памяти архиереев...» — «всякий, кто ни проходил,

любовался»; вместо: «В *Диканьке* никто не слышал, как чорт украл месяц» — «На земле никто не видел, как чорт украл месяц».

Локализацией основного действия во вторую часть книги вносится некоторая двойственность: если точка зрения «издателя» по-прежнему несколько сторонняя («близ Диканьки»), то нечто существенно важное в жизни самих персонажей происходит именно в Диканьке, и появляется возможность столкнуть эту Диканьку с самим Петербургом (Немзер, с. 27), ибо чудесным перелетом кузнеца в столицу устанавливается, говоря современным языком, воздушный мост Диканька — Петербург. Получает смысл и то, что с этим путем частично совпадает дорога запорожцев, отправившихся через Диканьку в столицу защищать свои права.

Петербургский мир встречает запорожцев и Вакулу генералитетом, «самим Потемкиным» и, наконец, императрицей Екатериной II. Нарочито узнаваем исторический момент этой встречи, когда Запорожская Сечь после разгрома Крымского ханства в 1769—1774 годах потеряла свое значение и манифестом от 5 августа 1775 года была упразднена. «...Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? <...> Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию чрез Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..» — жалуются запорожцы Екатерине.

«Мамо», царица, изображена с тем сочетанием сказочного и бытового, которое отмечено Ю. Лотманом применительно к гоголевскому пространству (Лотман, 1988, с. 260). Она живет в сказочном дворце (Вакула: «вот говорят: лгут сказки! кой черт лгут!»), у нее, по предположению того же Вакулы, ножки «из чистого сахара»; но вместе с тем в ее облике сквозит что-то домашнее и почти затрапезное: кузнец видит «перед собою небольшого росту женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающуюся...».

Она способна одарить по-царски (этот мотив был намечен еще в «Пропавшей грамоте»: «сама царица» велела деду «насыпать целую шапку *синицами*...»), то есть пятирублевыми, синего цвета ассигнациями), способна выполнить желание простого мужика; она говорит с ним «ласково», спрашивает запорожцев «заботливо»; у нее такой «улыбающийся вид», «который так умел покорять себе все».

Симпатия автора «Вечеров на хуторе...» к Екатерине II не случайна, если вспомнить, как отзывались о ней Карамзин, Пушкин, затем Белинский (в «Литературных мечтаниях», 1834). «Главное дело

сей незабвенной монархини состоит в том, что ею смягчилось самодержавие, не утратив силы своей. <...> Екатерина очистила самодержавие от примесов тиранства» (Карамзин, с. 36–37). При Екатерине страна сделала большой шаг в направлении законности и либерализации. Однако для Украины эта пора совпала с роспуском запорожского войска, упразднением Сечи, позднее — законодательным прикреплением крестьян к земле. Отсюда двусмысленность фразы, которую в «Ночи перед Рождеством» императрица произносит при встрече запорожцев: «Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видала».

Гоголь не перечеркивает коллизии, но лукаво отодвигает ее в сторону, накладывая на большую трагедию запорожцев маленькую личную драму Вакулы. Получается, что кузнец своей наивной и простодушной настырностью никак не дает до конца высказаться запорожцам и, унося в Диканьку драгоценный трофей, навсегда отвлекает внимание от происходящего в Петербурге. Как осчастливила императрица Вакулу — известно, но что она сказала, чем ответила на жалобы своего «народа» — остается неясным, хотя, впрочем, неясным только в повести, так как читатель воспринимал события на фоне исторического финала Запорожской Сечи. Тем не менее в художественно-идеологическом смысле важна и недоговоренность гоголевской повести.

Гоголь не ставит точек над *i*, и в конце концов получается, что каждый из участников царской аудиенции ведет отдельную партию, имея на то свое право. Потемкин, главная сила в искоренении Запорожской Сечи, учит «козаков», что и как нужно говорить императрице, и очень сердится, видя, что советы не исполняются. Запорожцам выгоднее представиться необразованными и немудрящими людьми, говорить с царем «мужицким наречием» («Хитрый народ! — подумал он [Вакула] сам себе. — Верно, недаром он это делает»). Вакула, не собираясь даже и вникать в заботы своих спутников, думает лишь о том, как поскорее заполучить царские «черевички». Может быть, и Екатерина, «ласково» и «заботливо» обращаясь с просителями, всего лишь ведет свою роль?<sup>56</sup> Обнаружились разнородность и разноустремленность всех участников этого спектакля, причем грани проходят не только, фигурально говоря, между Петербургом и Диканькой, но и между Диканькой и Запорожской Сечью.

Но, обнаружив коллизию, повесть не углубляет ее, не дает решительного предпочтения какой-либо из сторон, что в общем соответ-

ствовало гоголевскому умонастроению. Украинофильство Гоголя — очевидно (интересно, что земляки писателя расценили книгу как некое заступничество и прославление родного края: «Здесь все просят ее прочесть, — писала Марья Ивановна О. Трошинской 31 октября 1831 года по поводу первой части «Вечеров». — Николай мой все стремится быть полезным для своего края, и я несколько понимаю его цель; в сей книге он коснулся ее; но в продолжении более будет...» — РС, 1882, т. 34, с. 678). Но столь же несомненна в целом общерусская ориентация Гоголя; он хотел быть деятелем российской государственной жизни, а затем, по мере выдвижения на передний план литературных устремлений, деятелем русской литературы, русским писателем. Собственно уже выбором языка он определил этот путь, а если быть более точным, то надо сказать, что такого выбора перед ним и не стояло: с самых первых литературных занятий и первых самостоятельных опытов в Гимназии он развивался в лоне русского языка.

Но это не мешало ему стремиться к художественной объективности и смотреть на происходящее более широко, чем любой из его персонажей. Уже это освобождает писателя от подозрений в официозности. Приходится признать, что народность Гоголя (вернее, мнимое ее отсутствие) была столь же односторонне понята Н. Полевым, как многими другими односторонне понята «веселость». Автор «Вечеров на хуторе...» и здесь давал непростые ответы, сохраняя их самостоятельность и неортодоксальность. И в этом отношении очень характерно появление в сцене аудиенции в «Ночи перед Рождеством» такой фигуры, как Фонвизин.

Императрица указывает Фонвизину на простодушного кузнеца: «Предмет достойный остроумного пера вашего!» «Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Лафонтена!» — отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами».

Не проводя никакого отождествления Гоголя с его персонажем, следует все же заметить, что все оттенки этой сцены окрашены личным отношением. Фонвизин находится в числе высших государственных лиц, возле самой императрицы, но его положение особенное — «скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных». При дворе его слушают, хвалят («...я до сих пор без памяти от вашего Бригадира»), дают советы, что писать; он смиренно принимает эти советы,

но — уклоняется от следования им; фраза о том, что Екатерина «слишком милостива», произнесена так, что в ней можно заподозрить и иронию. Автор «Вечеров» и здесь не собирается углублять коллизию; сцена буквально промелькивает в общем действии, но намеченная концепция придворного поэта, вернее, поэта при дворе, сохраняющего, однако, свою независимость, характерна для Гоголя начала 30-х годов — мы еще об этом будем говорить.

Между тем появление гоголевской книги стало злободневным литературным событием, которое обсуждалось не только в журналах и газетах, но и в частной переписке.

Самый первый из дошедших до нас откликов принадлежит (как отметил А. Чичерин) писателю, философу, критику В. Ф. Одоевскому. 23 сентября 1831 года, за два дня до появления первой рецензии Л. Якубовича с «письмом» Пушкина он сообщал литератору и чиновнику А. Кошелеву: «На сих днях вышли *Вечера на хуторе* — Малороссийские народные сказки. Они, говорят, написаны молодым человеком, по имени *Гогалем*, в котором я предвижу большой талант: ты не можешь себе представить, как его повести выше и по вымыслу, и по рассказу, и по слогу всего того, что доньше издавали под названием Русских Романов» (РЛ, 1975, № 1, с. 47). Одоевский уже знает подлинное имя автора: будучи близок к пушкинскому кругу, он, вероятно, отсюда и получил все сведения. Лично с Гоголем Одоевский еще не познакомился.

Чуть позже, 9 ноября, необычайными литературными новостями делится О. Сомов, делится на правах старого гоголевского знакомого с московским литератором и ученым М. Максимовичем: «Я познакомил бы вас заочно, если вы желаете того, с одним очень интересным земляком *Пасечником Паньком Рудым*, издавшим *вечера на хуторе*, т. е. Гоголем-Яновским, которому дуралей и литературный невежда и урод Полевой решился сказать: «Вы, сударь, москаль, да еще и горожанин». <...> У Гоголя есть много малороссийских песен, побасенок, сказок и пр. и пр., коих я еще ни от кого не слыхивал, и он не откажется поступиться песнями доброму своему земляку, которого заочно уважает. Он человек с отличными дарованиями и знает Малороссию как пять пальцев...» (РФВ, 1909, т. 61, с. 138).

Позднее, 11 ноября, поэт Н. М. Языков, которому предстояло стать одним из ближайших друзей Гоголя, писал из Москвы в Петербург В. Д. Комовскому, литератору и видному чиновнику: «...каков Гоголь-Яновский? Он мне очень нравится. Может быть, и за то, что жите-

быть парубков чрезвычайно похоже на студентское, которого я емь пророк!» (ЛН, № 19—21, с. 51). В. Комовский отвечает Языкову 17 ноября. Он уже прочел и «Вечера на хуторе...» и «Повести Белкина» и делает сравнение к выгоде Гоголя, который представил «мир фантазии»: «Потому-то и Гоголь-Яновский мне особенно по сердцу; не говорю уже (я хохол по происхождению, хотя ничего малороссийского никогда не видал и не знаю) — не говорю о родственной привязанности к малороссийскому и Малороссии, которая, вы согласитесь, есть самый поэтический член России и в географическом, и в историческом отношении. Может быть, повестей Пушкина не сумел я оценить по достоинству оттого именно, что читал их вслед за *Вечерами на хуторе*. Пожив в такой тесной связи с ведьмами и колдунами, не заслушаешься москаля, который думает, что и Бог весть как игриво его воображение, создавшее высокий вымысел о пьяном гробовщике, который во сне угощает мертвецов» (там же).

Сообщил Н. Языков о гоголевской книге и своему брату Александру. «“Вечера на Диканьке” сочинил Гоголь-Яновский, — писал он 22 декабря из Москвы. — Мне они по нраву, если не ошибаюсь, то Гоголь пойдет гоголем по нашей литературе: в нем очень много поэзии, смысленности, юмора <и> пр.» (РГБ, ф. 332, 66, 3, л. 39 об.; ср. РС, 1903, кн. 3, с. 530—531). Чуть позже, 6 января 1832 года, критикуя роман К. Масальского «Стрельцы», Языков выражал сожаление, что «исторические предметы — и самые важные, сверххарактерные, и действительные — попадают в руки бесталанных головушек», но, прибавляет поэт, есть отрадные исключения: Марлинский — «и “Вечера на Диканьке”, слава Богу...» (ЛН, т. 58, с. 107).

О впечатлении, которое произвели «Вечера на хуторе...», говорит и тот факт, что писатель и критик В. Ушаков, автор упоминавшейся выше рецензии в «Северной пчеле», на своей книге «Досуги инвалида» (М., 1832, ч. 1; ценз. разр. 3 июня 1832 г.) пометил: «Посвящаются Диканьскому пасичнику Рудому Паньку». А в предисловии автор объяснял свое решение: «Повести <...> посвящены вам, почтеннейший Панько, яко умнейшему из всех малороссийских, да едва ли и не великороссийских рассказчиков! Читайте на здоровье, или сна ради! но не взыщите. Я не могу писать так умно, как вы пишете» (с. VII).

Таким образом, мало сказать, что своей первой, известной общественности, книгой Гоголь добился признания — двадцатитрехлетний автор выдвинулся в первый ряд отечественных писателей. Привле-



кала внимание украинская тема, отмечалось, что она имеет преимущества и в географическом, и в историческом отношении; читатели-украинцы готовы были вывести отсюда свое особое к нему пристрастие, но при этом книга воспринималась в самом широком литературном контексте. Характерно, что ее сравнивали с распространяющимся потоком романов, в том числе и исторических, отдавая перед ними Гоголю решительное преимущество. Различие жанров получало при этом ироническую остроту: мол, гоголевские вещи малы, да удалы, а те велики, да безжизненны.

Наконец, бросается в глаза и тот факт, что уже с первой книги Гоголя сочли возможным сопоставлять с Пушкиным и порою даже выводить заключение не в пользу последнего. Пушкинские аналогии к автору «Вечеров» проникли в печать: рецензент «Северной пчелы» (В. Ушаков), говоря об умении Гоголя воспроизводить дух прошлого, прибавлял, что он не знает «ни одного произведения в нашей литературе», которое отличалось бы таким же достоинством, — разве что «Борис Годунов» «пойдет в сравнение».

К Гоголю пришла слава. Он понимал, что «черная квартира неизвестности» ему уже не грозит. Где бы он ни появлялся, на него смотрели с интересом, любопытством — и восхищением.

Собственно, перемену к себе он стал замечать и раньше, особенно после выхода первой части «Вечеров на хуторе...». Тем не менее, готовя вторую часть, в предисловии к ней, Гоголь позволил себе впасть в грустный, элегический тон: мол, «пройдет год, другой — и из вас никто после не вспомнит и не пожалеет о старом пасичнике Рудом Паньке».

Гоголь отказывался от своего обещания поместить в книге «побасенки самого пасичника»: «...хотел было это сделать [объясняет Рудый Панько], но увидел, что для сказки моей нужно, по крайней мере, три таких книжки. Думал было особо напечатать ее, но передумал. Ведь я знаю вас: станете смеяться над стариком. Нет, не хочу! Прощайте!»

Гоголь прощался со своей книгой, несмотря на ее огромный успех, сознавая известную исчерпанность ее рода, ее «жанра». В то же время он хотел сохранить с ней связь, вынося за скобки «сказку» самого пасечника и тем самым оставляя все-таки читателям надежду на ее последующее появление.

Гоголь не хотел повторяться. В его сознании уже созревали новые замыслы, соотносимые с «Вечерами на хуторе...» и вместе с тем тяготеющие уже к другому смысловому и эмоциональному центру.

## В ПОИСКАХ ГАРМОНИИ. КОНЕЦ 1831 — НАЧАЛО 1832-го ГОДА

В житейском смысле Гоголь теперь уверенней стоит на ногах. Когда Марья Ивановна, продолжая беспокоиться о полезных знакомствах, посоветовала нанести визит А. А. Фролову-Багрееву, полтавскому помещику, земляку, племяннику В. П. Кочубея, занимающему должность управляющего Государственного заемного банка, то Гоголь решительно отказался, дав понять, что он уже не тот. «Вы все еще, кажется, привыкли почитать меня за нищего, для которого всякий человек с небольшим именем и знакомством может наделать кучу добра. Но прошу вас не беспокоиться об этом. Путь я имею гораздо прямее и, признаюсь, не знаю такого добра, которое мне мог бы сделать человек» (X, с. 222). Вот если он встретится с Багреевым «у Кочубея или где-нибудь в другом обществе», то, пожалуй, не откажется познакомиться с ним, но совершенно бескорыстно, а не из каких-либо видов.

Гоголь дал понять попутно Марье Ивановне, что он теперь и сам вхож в дом председателя Государственного совета и Комитета министров Кочубея.

В другом месте он просит Марью Ивановну припугнуть почтовых чиновников за недоставку посланной из Петербурга посылки: «Скажите мошеннику полтавскому почтмейстеру, что я на днях, видевшись с кн. Голицыным (главноуправляющим Почтовым департаментом. — Ю. М.), жаловался ему о неисправности почт» (X, 218).

Несколько утрируя, можно сказать, что у Марьи Ивановны должно было создаться впечатление, будто ее сын, как Хлестаков, и «во дворец всякий день» ездит, и его «сам Государственный совет боится»...

Если насчет вельмож и крупных чиновников Гоголь и преувеличивал, то о литературных своих встречах говорил далеко не все. Ничего не написал, например, матери об участии в обеде у Смирдина, а ведь в этот день Гоголь лицом к лицу встретился буквально со всем петербургским литературным миром.

Обед этот состоялся 19 февраля по случаю переезда книжной лавки А. Ф. Смирдина в новое помещение — с Мойки (у Синего моста) на Невский (ныне д. 22). Приглашены были, как выразился впоследствии Н. Надеждин, «именитейшие литераторы» во главе с Пушкиным, и менее известные, и совсем неизвестные.

Один из участников обеда — драматург и переводчик М. Е. Лобанов рассказывает: «В просторной зале, которой стены уставлены книгами, — это зала чтения — накрыт был стол для 80 человек<sup>57</sup>. В начале 6-го часа сели пировать. Обед был обильный и в отношении ко вкусу и опрятности довольно хороший. Это еще первый не только в Петербурге, но в России по полному (почти) числу писателей пир и следовательно отменно любопытный...» (Пушкин и современники, с. 113).

От другого очевидца, репортера газеты «Русский инвалид, или Военные ведомости» (1832, № 46, от 22 февраля), мы узнаем порядок, в каком сидели за столом гости. «На одном конце стола сидели: И. А. Крылов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, князь П. А. Вяземский, барон Е. Ф. Розен, П. А. Плетнев. На другом — Б. М. Федоров, К. П. Масальский, И. Т. Калашников, В. И. Карлгоф, А. Г. Ротчев. «Средину стола занимали издатели журналов, между коими заседал старейшина русских журналистов Н. И. Греч < ... > и Булгарин...»

Гоголь сидел на том же конце стола, что и Федоров, Масальский и т. д. («Гоголь-Яснопольский, остроумный сказочник»). Из нескольких десятков лиц Гоголь попал в число 13 литераторов, достойных, по мнению репортера, упоминания. Характер этого упоминания говорит о том, что вторая часть его фамилии (Яновский) помнилась уже плохо.

По предложению Жуковского все собравшиеся обещали подарить издателю не опубликованные еще вещи, из которых впоследствии составилось два сборника «Новоселье» (1833, 1834). Среди подарков были недавно написанные, известные Гоголю произведения — пушкинский «Домик в Коломне», «Сказка о царе Берендее...» Жуковского. Гоголь тоже обещал внести свою лепту, хотя ничего готового у него к этому времени, по-видимому, не было. Все завершённые вещи вошли в «Вечера на хуторе...», вторая часть которых появилась в первых числах марта.

Гоголь теперь уже не выпрашивает у матери денег, но сам посылает домой 500 рублей к предстоящему большому семейному событию. Выходила замуж старшая сестра Николая Васильевича.

Марья Ивановна поначалу сдержанно относилась к выбору дочери — не столько из-за «подозрительного», то есть польского, происхождения жениха Павла Трушковского, сколько из-за его незнатности и скромных материальных возможностей; но затем вняла голосу благоразумия, за что удостоилась похвалы сына. «...Вижу в вас

настоящую мать, которую скоро будут приводить в пример везде, умевшую восторжествовать над мелочным честолюбием и сребролюбием, пренебречь ими для истинного счастья».

Поневоле мысли Гоголя занимает процедура свадьбы, обстоятельства семейной жизни. Он рад, что свадьба будет скромной, без лишнего шума («если бы я вздумал жениться, то жена моя по крайней мере две недели после свадьбы не показала бы ни к кому носа»); советует невесте помнить «о строгой бережливости и величайшем ограничении себя во всем» Он даже повлиял на ускорение дня бракосочетания, поддержав «суеверие бабушек», что венчаться в мае — значит век маяться (в результате свадьба состоялась 24 апреля). Интересно, что тут же Гоголь решительно разделяется с другой суеверной приметой: «Вы спрашиваете, — пишет он матери, — появилась ли точно комета в Петербурге. Охота же вам заниматься ею! Мало ли подобной дряни является каждый год!»

Гоголь обнаруживает стремление подходить к интимной сфере вполне трезво, оценивать ее с практической стороны, порою эпатируя этим своего собеседника.

В это время А. Данилевский, переживавший на Кавказе роман с красавицей Эмилией, будущей Шан-Гирей, излил в письме к Гоголю свое восторженное чувство. Гоголь ответил советом: не следует за «поэтической частью» забывать «практическую», ведь «если не прикрепить красавицу к земле, то черты ее будут слишком воздушны».

Данилевский, по-видимому, оскорбился таким охлаждающим замечанием, чем уже и вовсе рассердил своего друга: «Ты не понимаешь, что значит поэтическая сторона? Поэтическая сторона: “Она несравненная, единственная” и проч. Прозаическая: “Она Анна Андреевна такая-то”. Поэтическая: “Она принадлежит мне, ее душа моя”. Прозаическая: “Нет ли каких препятствий в том, чтобы она принадлежала мне не только душою, но и телом, и всем, одним словом — ensemble”» (X, 227). Слово Адуев-старший наставляет своего экзальтированного племянника...

И вдруг этот трезвый и практичный Гоголь в письме к Данилевскому же срывается в головокружительное признание (частично оно уже приводилось выше по другому поводу): «Чорт меня возьми, если я сам теперь не близко седьмого неба и с таким же сарказмом, как ты, гляжу на славу и на все, хотя моя владычица куды суровее твоей. Если бы я был ты, военный человек, я бы с оружием в руках доказал бы тебе, что северная повелительница моего южного сердца томи-

тельнее и блистательнее твоей кавказской. Ни в небе, ни в земле, нигде ты не встретишь, хотя порознь, тех неуловимо божественных черт и роскошных вдохновений, которые ensemble дышат и уместились в ее, Боже, как гармоническом лице» (X, 222). Это уже другой язык, язык той самой «поэтической» стороны, язык страсти, родственный признанию, сделанному три года назад, перед внезапным бегством за границу.

По смыслу гоголевских слов выходит, что ни о какой взаимной склонности, романе (как в случае с Данилевским и Эмилией) не может быть и речи («моя владычица куды суровее твоей»). Возможно, «владычица» даже не догадывалась о пробужденных ею чувствах; возможно, они даже не были знакомы... Как и в эпизоде 1829 года, чувства Гоголя идеальные и как бы сторонние, но их вполне доставало, чтобы заполнить его глубокий внутренний мир.

Возникает, правда, подозрение, что за всеми этими переживаниями вообще не было никакого реального лица, что это лишь мистификация, наподобие тех, которые так любил Гоголь (несколько шутливый тон признания как будто бы подкрепляет эту версию: «чорт меня возьми», «я бы с оружием в руках доказал тебе» и т. д.). Однако другое, более позднее признание Гоголя (в письме от 20 декабря 1832 г.) свидетельствует в пользу реальности упоминаемого им факта. Мы уже (по другому поводу) касались этого признания вскользь, приведем теперь его полностью.

Когда Данилевский понял, что он не может рассчитывать на брак «вследствие значительной разницы в положении» (Шенрок, т. 1, с. 352) и должен расстаться с Эмилией, Гоголь писал другу: «Очень понимаю и чувствую состояние души твоей, хотя самому благодаря судьбе, не удалось испытать. Я потому говорю: благодаря, что это пламя меня бы превратило в прах в одно мгновенье. Я бы не нашел себе в прошедшем наслажденья, я силился бы превратить это в настоящее и был бы сам жертвою этого усилия, и потому-то к спасенью моему у меня есть твердая воля, два раза отводившая меня от желанья заглянуть в пропасть. Ты счастливец, тебе удел вкусить первое благо в свете — любовь» (X, 252).

Из текста совершенно ясно: Гоголю «не удалось испытать» не само любовное переживание, а связанные с этим отношения. Но «два раза» случай к этому представлялся, и Гоголь уклонялся от него силою «твердой воли». Эти события сходны со «случаем» Данилевского в том смысле, что мешали какие-то непреодолимые препятствия,

не оставляющие никакой надежды влюбленному или — скажем применительно к Гоголю более осторожно — *увлеченному*. Расставаясь, Данилевский, по мысли его друга, может утешаться воспоминанием, сознавать, что это *было* (находить «в прошедшем наслаждения»); для Гоголя же подобное невозможно благодаря страстности его натуры и могуществу чувства («сидился бы превратить это в настоящее»). И вот мотивы его самообуздания.

Добавим, что обстоятельства и тон этого признания таковы, что уже не позволяют видеть в нем какую-нибудь мистификацию или выдумку.

Между тем знаменательна и та философия любви, которую развивает Гоголь в это время. Мы знаем, его давно занимала и тревожила разрушительная, энтузиастическая природа любовного чувства, для защиты от которой он искал опоры — в божественной природе самой женской красоты («Женщина»), а затем и в христианском благочестии («Ночь перед Рождеством»). Теперь такую опору он находит в эволюции самого любовного чувства, в развитии человеческой психологии, обусловленной естественным переходом из одной стадии в другую — «любовь до брака» и любовь *после* брака. Ряд внешних обстоятельств, видимо, побудили Гоголя к этой мысли: свадьба сестры, несостоявшиеся матримониальные планы Данилевского и — решаюсь высказать такое предположение — женитьба Пушкина. Ведь Гоголь в Царском Селе оказался свидетелем начала жизни *семейного* Пушкина. Но приведем гоголевское рассуждение о двух стадиях любви (письмо к Данилевскому от 30 марта 1832 г.).

«Прекрасна, пламенна, томительна и ничем не изъяснима любовь до брака; но тот только показал один порыв, одну попытку к любви, кто любил до брака. Эта любовь не полна; она только начало, мгновенный, но зато сильный и свирепый энтузиазм, потрясающий надолго весь организм человека. Но вторая часть, или лучше сказать, самая книга — потому что первая только предупреждение к ней — спокойна и целое море тихих наслаждений, которых с каждым днем открывается более и более, и тем с большим наслаждением изумляешься им, что они казались совершенно незаметными и обыкновенными. Это художник, влюбленный в произведение великого мастера, с которого уже он никогда не отрывает глаз своих и каждый день открывает в нем новые и новые очаровательные и полные обширного гения черты, изумляясь сам себе, что он не мог их увидеть прежде».

Рассуждения Гоголя необычны и даже несколько дерзки для его времени, для господствовавшего эстетического вкуса. Для романтика брак — камень преткновения любви; романтический дуализм вытекал из непримиримого столкновения любовной поэзии и семейной прозы. Герцен говорил о Гофмане: «У него юмор артиста, падающего вдруг из своего Эльдорадо на землю, — артиста, который среди мечтаний замечает, что его Галатея — кусок камня, — артиста, у которого в минуту восторга жена просит денег детям на башмаки» (Герцен, с. 72). Гоголь же стремится сохранить поэзию и в новой стадии: любовь после брака лишается беспокойной томительности, разрушительности («свирепый энтузиазм»), но не своей высоты. Больше того — в этой высоте она еще более обогащается и утончается. Влюбленный подобен художнику, но не Пигмалиону, открывающему, что «Галатея — кусок камня», а тому, кто не устает находить новые красоты в произведении «великого мастера». Кто же этот мастер, стоящий над другими художниками? «Гений всемирный», как скажет позднее Гоголь по другому поводу, или сам Бог, Творец всего сущего.

Затем Гоголь переводит развиваемую им антитезу на язык современных литературных понятий: «Любовь до брака — стихи Языкова: они эффектны, огненны и с первого раза уже овладевают всеми чувствами. Но после брака любовь — это поэзия Пушкина: она не вдруг охватит вас, но чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается и наконец превращается в величавый и обширный океан, в который чем более вглядываешься, тем он кажется необъятнее, и тогда самые стихи Языкова кажутся только частью, небольшою рекою, впадающею в этот океан» (X, 227). Так появляется имя Пушкина в качестве своеобразного художественного эквивалента высшей стадии любви. Позже в том же качестве он противопоставляется не Языкову, а Байрону: «Да зачем ты нападаешь на Пушкина, что он прикидывается? — спрашивает Гоголь Данилевского 20 декабря 1832 года. — Мне кажется, что Байрон скорее. Он слишком жарок, слишком много говорит о любви и почти всегда с исступлением. Это что-то подозрительно. Сильная продолжительная любовь проста, как голубица, то есть выражается просто, без всяких определительных и живописных прилагательных, она не выражает, но видно, что хочет что-то выразить, чего, однако ж, нельзя выразить, и этим говорит сильнее всех пламенных красноречивых тирад» (X, 252).

Чуть позже, в конце 1832 или, вероятнее, в начале 1833 года, Гоголь видоизменил антитезу, вернее, один из ее полюсов: Пушкину

противостоит не Языков или Байрон, а Иван Козлов, впрочем, как один из тех, кто подчинился влиянию Байрона. Поэт-слепец пожелал «обвиться около этой гордо-одиноким души», в то же время растворив ее субъективизм «кротким христианским величием веры». Поэтому, несмотря на отсутствие байроновской экспрессии, Козлов «весь в себе», «весь неразделенный мир свой носит в душе и не властен оторваться от него»; «лица и герои у него только образы, условные знаки, в которые облакает он явления души своей». Иначе и не может быть: «обнять во всей полноте внутреннюю и внешнюю жизнь — удел гения всемирного», то есть Пушкина, к которому Козлов относится «как часть к целому». И это немало: «... для кого не блистательна, кому не завидна участь: быть частью необъятного Пушкина!»

Пушкин выступает как высшее выражение полноты и гармонии, но спрашивается, в каком смысле? И тут открывается любопытная черта: Гоголь, как сказал бы один старый критик, мешает человека с поэтом, нарочито не оговаривая, когда имеется в виду первый, когда второй.

В начале знаменитой гоголевской статьи «Несколько слов о Пушкине» сказано: «Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет». Перед этим была заявлена тема о Пушкине как «русском национальном поэте»; между тем очевидно, что мысль выходит за пределы этой темы и касается Пушкина именно как человека, как своего рода искомый психологический и нравственный идеал.

Статья «Несколько слов о Пушкине», по мнению комментатора, написана значительно позже — в феврале 1834 года она, «по-видимому, не была кончена даже в черновом виде» (VIII, 757). Однако не случайно под текстом Гоголь поставил дату 1832 год: статья неразрывно связана с кругом гоголевских рассуждений именно этого года, когда она была скорее всего и задумана, если не написана. И житейская, как сегодня бы сказали, экзистенциальная окраска подобных размышлений возникла у Гоголя после Царского Села, когда в облике Пушкина, помимо всего, ему так важен был поведенческий аспект, служащий примером равновесия и устойчивости в противоречивом и хаотичном мире.

Говоря о полноте и гармонии, Гоголь затрагивает и Пушкина-художника («после брака любовь — это поэзия Пушкина»), и тут возникает своя двойственность аспектов. Но вначале попробуем пред-



ставить себе, какие произведения Гоголь имел в виду. Вполне возможно, пушкинские лирические шедевры, скажем «На холмах Грузии» («Северные цветы» на 1831 г.; здесь же, кстати, — гоголевская «Глава из исторического романа»), или «Я вас любил» («Северные цветы» на 1830 г.), или «Мадонну» («Сиротка» на 1831 г.). Но также имел в виду — и это уже точно — последнюю главу «Евгения Онегина» (по окончательной нумерации это VIII глава). Когда брошюра с главой вышла в свет (около 20 января 1832 г.), Гоголь послал ее Данилевскому со словами: «Может быть, у вас в глуши <...> еще не читали. В этом случае, ты обомлеешь от радости и верно не найдешь слов, чем выразить мне свою признательность» (X, 224).

Обозревая пушкинские произведения этого периода, видишь, что о некоторых из них можно действительно сказать словами Гоголя: их лирическая атмосфера спокойна, в них открывается «целое море таких наслаждений» (вспомним «Мадонну»: «Исполнились мои желания. Творец // Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна. // Чистой прелести чистейший образец»). Но чувство умиротворения, спокойной полноты не является единственным в пушкинских произведениях этого периода. Вот восхитившая Гоголя «Последняя глава Евгения Онегина»: здесь вспыхивает судорожная страсть Евгения; здесь происходит мучительное объяснение его с Татьяной; здесь мы расстаемся с героем, погруженным в «бурю ощущений», и с героиней, скрепя сердце смирившейся со своей судьбой. Здесь неуместны слова о «целом море *тихих* наслаждений». Можно говорить лишь о неаффертированности и жизненной правдивости чувств, но не их гармоничности.

Зато понятие гармонической полноты перемещается в другую сферу, где оно царит полновластно, — в сферу пушкинской поэтической манеры. Мемуарист подметил, что именно по признакам поэтики Гоголь противопоставлял Пушкина и Языкова как антиподов: «Он просто благоговел перед созданиями Пушкина за изящество, глубину и тонкость их поэтического анализа, но так же точно, с выражением страсти в глазах и в голосе, сильно ударяя на некоторые слова, читал и стихи Языкова» (Анненков, 1983, с. 62). Поэтика Языкова была внятна Гоголю и ценима им, но все-таки, вопреки мемуаристу, на правах явления, *уступающего* пушкинскому письму. Именно по отношению к пушкинской манере получают полный, неограниченный смысл слова: «чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается, разворачивается...»

Получается, что в целом Гоголь знаменательным образом смещает или, по крайней мере, двойит тему: на вопрос, заданный преимущественно о содержании, он дает ответ, касающийся преимущественно формы. Это была не хитрость, не самообман, а следствие естественного состояния художника, исполненного ощущения открывающихся перед ним возможностей и ищущего в них точку опоры.

И тут коснемся одного прямо-таки загадочного места в рассуждениях Гоголя о любви.

Говоря о двух стадиях любви, символизируемых поэзией Языкова и Пушкина, Гоголь приводит Данилевскому пример, «ибо без примера никакое доказательство не доказательство, и древние очень хорошо делали, что помещали его во всякую хрию». «Ты, я думаю, — продолжает Гоголь, — уже прочел Ивана Федоровича Шпоньку. Он до брака удивительно как похож на стихи Языкова, между тем как после брака делается совершенно поэзией Пушкина» (X, 227—228). Шпонька до брака — это стихи Языкова, которые «эффектны, огненны»? И это в то время, когда мы видим в поведении Шпоньки, в том числе и перед лицом предполагаемой невесты, только бесконечную робость, растерянность и боязнь перемен...

Гоголь задал своему другу ошарашивающую загадку, нарочито эпатирующую и сбивающую с толку. Потому что в смысле природы любовного переживания Шпонька до брака никакого отношения к поэзии Языкова не имеет, так же как после женитьбы (которая весьма проблематична ввиду проблематичности окончания повести вообще) вряд ли будет иметь какое-либо отношение к поэзии Пушкина. Шпонька и «величавый и обширный океан чувств»... Уж не издевается ли Гоголь над своим корреспондентом?

И все же, я думаю, в глубине парадокса таилось ощущение, которое и подтолкнуло Гоголя к его озорной параллели. Ведь проблема гармонии ставилась им очень широко, все более охватывая сферу изображения, поэтических и стилистических принципов. И тут образцом служил зрелый Пушкин, от которого, собственно, и должна была отправляться новейшая русская литература, Гоголь в том числе. «Потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина» (VIII, 54). В этом смысле Шпонька, в представлении его автора, персонаж вполне пушкинский, потому что он «обыкновенен»; но Шпонька

после свадьбы, случись ему выступить в таком качестве, превзошел бы сам себя, был бы, вероятно, дважды обыкновенен. В жизни холостого Шпоньки еще что-то происходит: военная служба, отставка, встреча с соседской дочкой, которую прочат ему в невесты, наконец, страшный сон — предвестие перемены. Женатый Шпонька скорее всего попал бы в круг ежедневно повторяющегося времяпрепровождения, вроде бесконечных закусываний и угощений четы Товстогубов. Возможно, Гоголь потому и оставил своего героя на пороге его нового состояния, что это выдвинуло еще более трудную художественную задачу: ведь «чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту...» Но спустя два-три года Гоголь взялся за эту задачу в «Старосветских помещиках».

У Гоголя в конце 1831 — начале 1832 года внешне ровное, спокойное душевное расположение; устоявшийся распорядок дня. Уроки в Патриотическом институте, литературные занятия, обдумывание новых вещей (каких — это выяснится через несколько месяцев, во время пребывания писателя в Москве); вечером — встречи с друзьями, преимущественно земляками, которые заходят к нему, «старика», — сообщает Гоголь Данилевскому 1 января 1832 года — «каждую среду и воскресенье».

Однажды собрание у Гоголя посетил А. Н. Никитенко, украинец по происхождению, литератор и ученый, адъюнкт-профессор кафедры русской словесности Петербургского университета, и сделал помету в дневнике (22 апреля 1832 г.): «Был на вечере у Гоголя-Яновского, автор весьма приятных, особенно для малороссиянина, «Повестей пасичника Рудого Панька». Это молодой человек лет 26-ти, приятной наружности. В физиономии его, однако, доля лукавства, которое возбуждает к нему недоверие». На самом деле Гоголю только исполнилось 23 года: просто трудно было поверить, что «Вечера на хуторе...» написал совсем еще молодой человек... Примечательна и другая деталь гоголевского портрета у Никитенко: именно после первых шумных успехов писателя мемуаристы стали замечать у него выражение лукавства и хитрости, которые словно должны были объяснить, каким образом он сумел так быстро всего этого добиться.

«У него, — продолжает Никитенко, — застал я человек до десяти малороссиян, все почти воспитанники нежинской гимназии. Между ними никого замечательного. <В. И. Любич-> Романович, правда, не без дарования, но, вспыхнув маленьким огоньком, он уже быстро

гаснет» (Никитенко, с. 116). Среди лиц, которых застал Никитенко у Гоголя, могли быть, помимо Любича-Романовича, Н. Прокопович, Н. Кукольник, А. Мокрицкий, А. Божко, М. Риттер, И. Пашенко...

Многие из них служили: Божко, кончивший Гимназию одновременно с Гоголем, — в Комиссариатском департаменте Военного министерства; М. Риттер — в правлении Государственного земельного банка; И. Пашенко — в Министерстве юстиции. Чиновником был и будущий известный художник Мокрицкий, кончивший Гимназию двумя годами позже Гоголя: вначале он служил канцеляристом при Департаменте горных и соляных дел, а с 11 февраля 1832 года — писарем при экспедиции Ссудной казны Петербургского опекунского совета. Все они занимали должности самые маленькие, как некогда и Гоголь в Департаменте государственного хозяйства и публичных зданий и Департаменте уделов. Никто еще не сделал карьеры, и, как острил Гоголь в письме к Данилевскому от 1 января 1832 года, «к удивлению, до сих пор еще ни один из них не имеет звезды и не директор департамента».

Кое-кто из нежинцев уже успел напечататься. Риттер, будучи еще гимназистом, поместил в «Дамском журнале» (1826, № 19) стихотворное послание к И. П. С<имоновско>му, тоже ученику Гимназии. Прокопович опубликовал в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» за 1831 год свое первое стихотворение «Мои мечты», а чуть позже в «Северных цветах» на 1832 год — стихотворение «Полночь» (Гоголь упомянул его иронически, перечисляя произведения Языкова, Пушкина, Жуковского: «Сюда затесалась и Красенького Полночь»). А Любич-Романович — единственный, кого выделил Никитенко среди гоголевских знакомых, — тот не только регулярно печатался в петербургской периодике, но и выпустил книгу: «Стихотворения Василия Романовича», СПб., 1832 (цензурное разрешение 29 декабря 1831 г.), открывавшиеся посвящением «Гимназии высших наук князя Безбородко» —

Тебе — святилище наук —  
Питомец вдохновенья юный,  
В златые ударяя струны,  
Свой первый посвящает звук!

Возвращаясь к Прокоповичу, надо еще сказать, что лишь он один сумел придать своим театральным увлечениям нежинской поры профессиональный характер. Гоголю поступить в труппу не удалось, а

Прокопович еще в 1831 году стал посещать театральное училище и год спустя был принят в труппу императорского театра. Он выходил на сцену в роли вестников или «так называемых *предводителей свиты Фортинбраса*» (Лицей, 1881, с. 424). То есть в ролях, поручаемых малоталантливым и неудачливым актерам.

В общем Никитенко был прав, довольно скептически отозвавшись о гоголевских однокашниках. Заметной фигурой среди них был Н. Кукольник, который, покинув Нежин, в течение двух лет преподавал русскую словесность в Виленской гимназии, а в 1831 году приехал в Петербург. Но Кукольник еще не опубликовал свое первое произведение — драматическую фантазию «Торквато Тассо» (появилась в 1833 г.) и, видимо, как писатель не обратил на себя внимание Никитенко.

А два других, самых талантливых питомца нежинской Гимназии, П. Редкин и К. Базили, в это время еще не входили в петербургский кружок «однокорытников». Базили в 1830 году отправился в Турцию и Грецию, находясь, как он сам говорил, «несколько лет при вице-адмирале Рикорде на императорской эскадре в греческих водах», и приехал в Петербург в конце 1833 года, Редкин же, по окончании нежинской Гимназии, поступил на отделение нравственно-политических наук Московского университета; в мае 1828 года «как один из отличнейших студентов» отправлен в Дерпт для преподавания права; осенью 1830 года причислен на службу по II отделению Императорской канцелярии, а в декабре того же года для завершения образования послан за границу, где слушал лекции в Берлинском и других университетах. Вернулся он в Россию только в 1834 году (Шимановский, с. 27).

Не было в это время в Петербурге, как мы знаем, и А. Данилевского, который в апреле 1831 года, оставив Школу гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, уехал на Украину, а затем на Кавказ; но если бы он и находился среди нежинских земляков, это едва ли бы изменило впечатление Никитенко к лучшему.

Товарищи Гоголя еще были на распутье; некоторых ожидали впереди успехи и известность; другие так и остались скромными, малозаметными тружениками. А тот, кого многие считали в Нежине посредственностью или чудачком, из которого не выйдет ничего путного, вдруг одним прыжком опередил их всех, сделавшись всероссийской знаменитостью.

Теперь с легким сердцем Гоголь мог совершить и давно обещанную поездку на родину, не опасаясь злорадных косых взглядов земляков вроде В. Ломиковского. Однако с приближением весны он почему-то стал колебаться в своем решении, — верный признак того, что, несмотря на успехи, на упрочившееся положение и внешнюю гармонию, внутренне он так и не обрел твердого спокойствия. «В то время переменчивость в настроении его души обнаруживалась в скором созидании и разрушении планов» (Кулиш, 1854, с. 49).

В марте он объявил матери, что нынешним летом приехать не сможет, но затем, видимо, поменял свое решение. К маю он стал было уже собираться в дорогу, приятели приходят к нему прощаться, но узнают, что тот переехал на дачу — на Поклонную гору, в дом некоего Гинтегра. Здесь его навестил Н. Д. Белозерский, черниговский помещик, знавший писателя еще в бытность его гимназистом. Со слов Белозерского гоголевский биограф рассказал об этом посещении.

«Гоголь занимал отдельный домик с мезонином. <... >

— Кто же у вас внизу живет? — спросил гость (Белозерский. — Ю. М.).

— Низ я нанял другому жильцу, — отвечал Гоголь.

— Где же вы его поймали?

— Он сам явился ко мне, по объявлению в газетах. И еще какая случайность! Звонит ко мне какой-то господин. Отпирают.

— Вы публиковали в газетах об отдаче внаем половины дачи?

— Публиковал.

— Нельзя ли мне воспользоваться?

— Очень рад. Не угодно ли садиться? Позвольте узнать вашу фамилию.

— Половинкин.

— Так и прекрасно! вот вам и половина дачи. — Тотчас без торгу и порешили» (Кулиш, 1854, с. 49—50).

О своем переезде на дачу Гоголь сообщил матери, заметив, что, возможно, в будущем месяце появится в родных местах: «впрочем, не советую вам слишком предаваться надежде: очень может случиться, что я вас обману». Однако Гоголь уже решил, что едет, и в тот же день, 9 июня, подал своему начальнику Н. Лонгинову прошение предоставить ему отпуск по домашним обстоятельствам для поездки в имение (X, 233). 13 июня последовало высочайшее согласие императрицы (РС, 1887, т. 56, с. 751). А 15 июня Гоголь написал Данилевскому на Кавказ письмо с предложением встретиться в родных

местах, а «сборное место положить хотя в Толстом (имении Данилевских. — Ю. М.) или в Васильевке».

Для некоторых из петербургских знакомых Гоголя его отъезд был неожиданностью. «Через несколько времени Белозерский опять посетил Гоголя на даче и нашел в ней одного г. Половинкина.» Гоголь съехал с дачи с такой поспешностью, что не позаботился о зимнем платье, оставленном в комод. «Потом уж он писал из Малороссии, к своему земляку Белозерскому, чтоб он съездил к Половинкину и попросил его развесить платье на свежем воздухе. Белозерский отправился на дачу и нашел платье уже развешанным» (Кулиш, 1854, с. 50).

Гоголь выехал из столицы после 20 июня, вместе с А. Божко и со своим крепостным Якимом. Божко сопровождал Гоголя до Москвы<sup>58</sup>.

## МОСКВА — ВАСИЛЬЕВКА — МОСКВА

Гоголь впервые прибыл в Москву. В свое время он уклонился от встречи с Москвой, чтобы не ослабить впечатления от новой столицы. За три с половиной года многое изменилось. В Петербург он приезжал безвестным, никому не нужным юношей; в Москву — восходящей литературной знаменитостью.

Почва в Москве для Гоголя была уже подготовлена — прежде всего стараниями Н. Надеждина, который сразу же причислил автора «Вечеров на хуторе...» к лучшим русским писателям, а затем еще стараниями университетской молодежи. «Московские студенты, — писал С. Т. Аксаков, — все пришли от него в восхищение и первые распространили в Москве громкую славу о новом великом таланте» (Воспоминания, с. 92). Речь идет в первую очередь о лицах, группировавшихся вокруг студента Московского университета. Н. В. Станкевича, главы философского и литературного кружка. В этот кружок входил и сын Сергея Тимофеевича Аксакова Константин, а также будущий знаменитый критик Белинский.

Одним из первых (или первым), к кому Гоголь обратился в Москве, был М. Погодин. Для этого имелись свои причины.

С. Т. Аксаков (а вслед за ним и ряд исследователей) считает, что они познакомились еще в Петербурге, куда Погодин ездил зачем-то, — но это не так.

Погодин находился в Петербурге с сентября по конец ноября 1831 года — он хлопотал о напечатании своей трагедии «Петр I» (Пушкин

и современники, 1928, с. 166—167). С Гоголем Погодин тогда не встретился, но, общаясь с Пушкиным и людьми его круга (В. Жуковским, В. Одоевским и др.), наверняка получил о нем достаточно подробные сведения: имя Гоголя, только что выпустившего первую часть «Вечеров на хуторе...», было у всех на устах. С другой стороны, и Гоголю Пушкин мог заочно рекомендовать Погодина, содействуя их будущей встрече.

Погодин интересовал Гоголя как редактор «Московского вестника» (1827—1830), журнала, которым он зачитывался еще в Нежине, интересовал как автор повестей и как историк. Гоголь, разумеется, не признавался, что в свое время послал ему инкогнито «Ганца Кюхельгартена», и в глазах Погодина он являлся литератором, почти мгновенно добившимся успеха.

Своему другу, поэту и критику С. П. Шевыреву, проживающему в это время в Италии, Погодин сообщил 30 июня: «Скоро приедет Гоголь-Яновский, написал две части повестей малорос<сийских> волшебных — много прекрасного. Он здесь...» (Гиппиус, 1931, с. 59). И одновременно пометил в дневнике (запись от 11 июня — 7 июля): «Познакомился с рудым пасечником Гоголем-Яновским и имел случай сделать ему много одолжения. Говорил с ним о малорос<сийской> истории и проч. — Большая надежда, если восстановится его здоровье» (X, 450).

Последняя фраза с точки зрения состояния и психологии Гоголя весьма любопытна. Дело в том, что он отправился в дорогу, чувствуя некоторое недомогание, и «в Москву приехал нездоровым» (письмо к матери от 4 июля). В Москве же, как нарочно, стояла пасмурная и холодная погода («Московские ведомости» за 1832 г., № 51, 52 и т. д.), что не способствовало быстрому выздоровлению. Однако у Погодина сложилось впечатление, будто речь идет не о простом недомогании, но о такой болезни, от течения которой зависит будущее Гоголя как литератора. Поправится — осуществится «большая надежда», не поправится — все пойдет прахом.

Конечно, такое впечатление основывалось на словах самого Гоголя. С. Т. Аксаков вспоминал, имея в виду те же дни: «...он [Гоголь] удивил меня тем, что начал жаловаться на свои болезни <...> и сказал даже, что болен неизлечимо. Смотря на него изумленными и недоверчивыми глазами, потому что он казался здоровым, я спросил его: «Да чем же вы больны?» Он отвечал неопределенно, что причина болезни его находится в кишках» (Воспоминания, с. 90).



Гоголь был расположен к хворостям с детских лет и жаловался часто. Находили на него и «приступы тоски», проистекающие из «болезненного состояния» — причина, как он говорил, обращения его к комическому изображению. Приезд в Москву совпал с обострением подобного состояния, которое, как видим, совсем не обуславливалось внешними неудачами и трудностями. Наоборот, литературные (да и служебные) обстоятельства Гоголя были, как никогда, благополучны; он добился признания и славы, и в этот момент его подстерег очередной приступ... Признаком такого состояния являлось и то, что оно наступало внезапно, никак не выражалось во внешнем, физическом его виде, даже контрастировало с ним. Характерно также, что сам Гоголь склонен был давать этому состоянию не душевное, а физиологическое, даже анатомическое объяснение («причина... находится в кишках»). Так впоследствии он будет говорить, что тот или другой орган расположен у него иначе, чем у других, то есть будет считать, что источник всего — некая допущенная высшими силами природная аномалия его телесной организации...

Несмотря на плохое самочувствие, Гоголь приоткрыл Погодину часть творческих планов, которые его теперь занимали, — это были планы научные — в области истории, особенно украинской. Видя в Погодине профессионального историка, собирателя и исследователя новых материалов, Гоголь был заинтересован в его советах и подсказках, которые тот охотно дал. Другую часть своих планов Гоголь открыл, вернее, дал почувствовать С. Т. Аксакову, в дом которого привел его Погодин.

Сергей Тимофеевич, его жена Ольга Семеновна да, видимо, и все взрослые члены семейства к этому времени уже прочитали обе части «Вечеров на хуторе...», выяснили, кто их автор, и имя Гоголя сделалось им «известно и драгоценно».

Тем более поразил их сюрприз, который случился в одну из «аксаковских суббот», а именно — 2 июля, — когда в его доме на Сивцевом Вражке, в Большом Афанасьевском переулке, д. 12 (ныне ул. Мясковского), собрались приятели и литературные друзья. Присутствовали профессор математики П. С. Щепкин (однофамилец знаменитого актера), преподаватель и литератор М. М. Карниолин-Пинский, П. Г. Фролов, еще несколько лиц, которых С. Т. Аксаков не запомнил. Сам хозяин играл в карты в четверной бостон.

«Вдруг Погодин, — рассказывает Сергей Тимофеевич, — без всякого предупреждения вошел в комнату с неизвестным мне, очень

молодым человеком, подошел прямо ко мне и сказал: “Вот вам Николай Васильевич Гоголь!” Эффект был сильный. Я очень сконфузился, бросился надевать сюртук, бормоча пустые слова пошлых рекомендаций».

С. Аксаков описывает внешность Гоголя: «...хохол на голове, гладко подстриженные височки, выбритые усы и подбородок, большие и крепко накрахмаленные воротнички», а в платье — «претензия на щегольство», выразившаяся в «пестром светлом жилете с большой цепочкой». Отмечена и черта, бросавшаяся в глаза многим в ту пору, — «что-то хохлацкое и плутоватое».

В общем отношения Аксаковых с Гоголем в этот раз не сложились и протекали несколько натянуто, несмотря на приход Константина, который бросился к Гоголю и заговорил с ним с большим чувством и пылкостью. Не подействовали на Гоголя и искренние похвалы Аксакова-старшего «Вечерам на хуторе...»; возможно, писатель увидел во всем этом, как предполагает Сергей Тимофеевич, дежурные «комплименты», а может, на него просто нашла хандра под влиянием болезненного состояния.

Через несколько дней С. Аксаков по просьбе Гоголя повел его к М. Н. Загоскину, жившему в собственном доме в Денежном переулке (теперь ул. Веснина. — Земенков, с. 13). Отношения хозяина и гостя развивались по той же схеме: со стороны Загоскина — чисто московское радушие, «отверстые объятия», «крики», «похвалы», даже поцелуи, а со стороны Гоголя — сдержанность и молчаливость. Аксаков подметил, что Гоголь скоро и хорошо разобрался в Загоскине, оценив его болтливость и хвастовство; но так же хорошо разобрался он и в Загоскине-писателе, чьи пьесы знакомы ему были еще с нежинской поры.

По дороге к Загоскину между Аксаковым и Гоголем произошел знаменательный разговор — не только о комедиографе, но и о русской сцене вообще: «Гоголь хвалил его [Загоскина] за веселость, но сказал, что он не то пишет, что следует, особенно для театра. Я [Аксаков] легкомысленно возразил, что у нас писать не о чем, что в свете все так однообразно, гладко, прилично и пусто, что

...даже глупости смешной

В тебе не встретишь, свет пустой, —

но Гоголь посмотрел на меня как-то значительно и сказал, что — “это неправда, что комизм кроется везде, что, живя посреди него, мы его

не видим; но что если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валяться со смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его". Может быть, он выразился не совсем такими словами, но мысль была точно та. <...> Из последующих слов я заметил, что русская комедия его сильно занимала и что у него есть свой оригинальный взгляд на нее» (Воспоминания, с. 90).

По словам Аксакова, он был озадачен высказанной его собеседником мыслью о русской комедии, особенно потому, что никак не ожидал ее услышать от Гоголя. Дело в том, что эта мысль уже выходила за пределы того художнического амплуа Гоголя, которое сложилось под влиянием «Вечеров на хуторе...». У множества читателей, в том числе и Аксакова, с этим амплуа связывались понятия яркого многоцветья, полноты жизни, народности, наконец, той же веселости, а тут вдруг писатель резко меняет тон и собирается погрузиться в унылую прозу «света пустого». Сергей Тимофеевич почувствовал, что это не простой теоретический интерес, но выражение определенного творческого направления, которое вскоре выльется, а может быть, уже и вылилось в конкретный замысел. И действительно, из более позднего письма Гоголя к Погодину мы узнаем, что уже в Москве «комедия» у него «не выходила из головы». Кстати, вновь заметим совпадение, о котором сказано в «Авторской исповеди»: замысел комического произведения зарождается в пору «болезненного состояния», когда автор, «чтобы развлекать себя самого», «придумывал себе все смешное, что только мог выдумать».

Но, верный себе, Гоголь одновременно думает и о практической стороне дела: по вполне обоснованному предположению В. Шенрока (Шенрок, т. 2, с. 114), он решил познакомиться с Загоскиным отнюдь не из простого интереса к личности комедиографа. Загоскин был влиятельным человеком в театральном мире: с 1830 года он занимал должность управляющего конторою императорских московских театров, а с 1831 года — директора этих театров.

Не без тайной мысли встретился Гоголь и с актером М. С. Щепкиным. Они познакомились в Москве в 1832 году (по возвращении в Петербург он уже просит передать Щепкину поклон — как знакомому лицу), в доме Щепкина в Большом Каретном переулке (теперь ул. Ермоловой), причем есть основания считать, что это произошло в первый приезд Гоголя в старую столицу — на пути в Васильевку.

Об обстоятельствах встречи сохранились воспоминания двух сыновей Михаила Семеновича — Петра и Александра, а также воспоминания литературоведа и фольклориста А. Афанасьева. Все три свидетельства почти идентичны. Приведу рассказ Александра Михайловича (за писанный его сыном М. А. Щепкиным, внуком актера): «О первом знакомстве Н. В. Гоголя со Щепкиным отец мой рассказывал так. Как-то все сидели за обедом. Вдруг стукнула дверь из передней в залу, все оглянулись и увидели, что вошел незнакомый господин небольшого роста, в длинном сюртуке; слегка склонив голову набок, с улыбочкой на губах и скороговоркой он проговорил известное четверостишие: «Ходит гарбуз по городу». Вскоре, конечно, все узнали, что это Н. В. Гоголь. Михаил Семенович бросился его обнимать, и все послеобеденное время они просидели вдвоем в диванной, о чем-то горячо беседуя» (Воспоминания, с. 527).

Некоторый свет на те предметы, о которых они горячо беседовали, проливает следующий документ. Когда Гоголь уже покинул Москву, Н. Надеждин поместил в своей газете «Молва», выходявшей в качестве приложения к «Телескопу», в № 67 (цензурное разрешение 18 августа), сообщение: «Рудый Пасочник [так!], которого прекрасные Малороссийские сказки приняты были с особенным удовольствием, недавно проехал чрез Москву на свою родину. Мы надеемся, что он соберет там нового меду для услаждения публики. Малороссияне, говорят, от него в восторге. Первое издание его сказок распродано было нарасхват, теперь готовится второе. Кроме повестей, у старика замышлено нечто важнейшее, но мы, опасаясь, чтоб он не обвинил москалей в нескромности, умалчиваем до времени».

Эти строки, которые, кажется, не обратили на себя внимания биографов Гоголя, позволяют сделать некоторые выводы. Во-первых, они подтверждают факт знакомства с Щепкиным именно в первый приезд писателя в Москву. Малороссиянин, пришедший «в восторг» от Гоголя, — это, конечно, Щепкин. У Щепкина и Надеждина издавна сложились дружеские отношения, и легко представить себе, что издатель «Телескопа», которому, кажется, еще не удалось лично познакомиться с Гоголем, жадно выпрашивал о нем Михаила Семеновича (помимо Щепкина, он мог получить сведения и у малороссиянина С. Т. Аксакова, с которым также был достаточно близок).

Во-вторых, мы узнаем кое-что и о литературных замыслах Гоголя. Писатель задумал новые повести, тоже на малороссийском материале и примыкающие к «Вечерам на хуторе...» — об этом го-

ворит фраза о «новом меде», который Рудый Панько должен собрать на родине. Не имелась ли в виду уже «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», которую Гоголь обещал Смирдину на «новоселье» и которая имела подзаголовок: «Одна из неизданных былей Пасичника рудаго Панька»? Но есть в замыслах Гоголя и нечто помимо повестей, «нечто важнейшее» — и это, конечно, его комедия. Если писатель дал понять об этом С. Аксакову, то он тем более не утаил свои мысли от Щепкина, великого комического актера, который мучительно страдал от скудости комедийного репертуара и с нетерпением ждал новых пьес. В сообщении Надеждина виден отблеск воодушевления, пробужденного в Щепкине услышанной новостью.

Можно восстановить еще одну подробность московской встречи Гоголя и Щепкина. Значительно позже А. Н. Афанасьев сообщил такой факт, записанный им со слов актера: «Случай, рассказанный в «Старосветских помещиках», о том, как Пульхерия Ивановна появление одичалой кошки приняла за предвестие своей близкой кончины, взят из действительности. Подобное происшествие было с бабкою М. С-ча. Щепкин как-то рассказал о нем Гоголю, и тот мастерски воспользовался им в своей повести» (БЧ, 1864, № 2, отд. 11, с. 8). Рассказать об этом происшествии Щепкин мог летом 1832 года или, что менее вероятно, в июне 1834 года, когда артист ненадолго приезжал на гастроли в Петербург. Когда же повесть (в сборнике «Миргород», 1835) увидела свет, то Щепкин, согласно тому же источнику, «при встрече с автором сказал ему шутя: «А кошка-то моя!» — «Зато коты мои!» — отвечал Гоголь...»<sup>59</sup>.

Познакомился Гоголь в Москве и с И.И. Дмитриевым. Знаменитый поэт, сподвижник Карамзина, бывший министр юстиции, смещенный на этом посту Д. П. Трощинским, он жил на Спиридоновке (ныне ул. Алексея Толстого), близ Тверского бульвара и Патриарших прудов, в деревянном большом доме, окруженном обширным садом, разбитым самим хозяином<sup>60</sup>. Обиталище Дмитриева воспел П. Вяземский:

Я помню этот дом, я помню этот сад:  
Хозяин их всегда гостям своим был рад,  
И ждали каждого, с радушьем теплой встречи,  
Улыбка светлая и прелесть умной речи.

В этот дом и пришел Гоголь, проведя час-другой в беседе с хозяином.

Некоторые сведения о визите можно почерпнуть из статьи Вяземского «Иван Иванович Дмитриев» (1866), вернее, из чернового варианта последней. «О-о! Да он-таки смотрит Гоголем, — сказал он [Дмитриев], проведивши почти до дверей автора «Мертвых душ», проездом в свою Украину обедавшего у него. — Завтра же пошлю за его сочинениями и перечту их снова. У него и теперь много авторского запаса. Он не говорит *Батевицина, Лагарповицина*. И Лагарп и Бате имели в свое время и всегда будут иметь свое место. Я благодарен, что меня ознакомили с этим молодым человеком. Я очень доволен, что его узнал: в нем будет прок» (Гиллельсон, 1961, с. 115).

Гоголь умел понравиться, умел быть почтительным. В письме к Дмитриеву, отправленном уже из Васильевки, он говорит о себе: «...еще не видавши вас лично, питал к вам благоговейное уважение и привязался к вам всею душой...» Очевидно, в сходных выражениях объяснялся Гоголь с Дмитриевым и при личной встрече. Но молодой писатель постарался продемонстрировать Дмитриеву и другое — что он уважает традиции, чужд литературного нигилизма и понимает исторические заслуги деятелей прошлого. В том же духе выскажется Гоголь позднее в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году», определив как один из важнейших пороков современной критики «литературное безверие и литературное невежество»: «Нигде не встретишь, чтобы упоминались имена уже окончивших поприще писателей наших, которые глядят на нас в лучах славы с вышины своей». Дмитриев тоже был в некотором роде окончивший свое литературное поприще, и старику было приятно, что молодой автор, почти юноша, воплощающий новейшие художественные устремления, оказывает ему полное уважение.

Дмитриев, со своей стороны, прочитал (или перечитал, как пишет Вяземский) «Вечера на хуторе...» и в письме к автору высказал свою похвалу. Об этом мы узнаем из сверхпочтительного гоголевского ответа: «Рад, что вам понравились мои несовершенные начатки; и если со временем произведу что-нибудь достойное, то виновником этого будете вы» (X, 242).

Наконец, среди московских знакомств Гоголя этой поры следует упомянуть и знакомство с И. Е. Дядьковским, известным врачом, профессором Московского университета. К Дядьковскому, жившему в Брюсовском переулке (теперь ул. Неждановой), Гоголь пришел скорее всего в сопровождении Погодина или с его рекомендацией. Пришел, чтобы проконсультироваться о своей болезни.

А вот своего адреса Гоголь новым знакомым не сообщил (он остановился в гостинице) — во всяком случае, не сообщил Аксаковым. И когда Сергей Тимофеевич решил было по долгу вежливости нанести ему ответный визит, то не смог этого сделать.

Пробыв в Москве полторы недели вместо предполагаемых двух-трех дней, Гоголь 7 июля продолжил свой путь на родину.

Из Подольска, где ему пришлось заночевать, а затем еще долго дожидаться лошадей, Гоголь отправляет письмо Н. Прокоповичу, приглашает его в Васильевку. Прокопович находился в это время в Нежине по случаю окончания его братом Василием Гимназии высших наук. Гоголь приглашает обоих: скоро приедет, если уже не приехал, А. Данилевский с Кавказа, соберутся самые близкие друзья. «...Ты будешь совершенный лошадиный помет, если все это не подействует на твою вялую душу», — убеждает он Прокоповича.

С каждым днем пути менялся ландшафт, воздух, небо, и настроение Гоголя подымалось. Он вспоминал путь из Петербурга в Москву: «серое, почти зеленое северное небо, так же, как и те однообразно печальные сосны и ели», которые гнались за ним по пятам. А теперь другое. «В дороге занимало меня одно только небо, которое, по мере приближения к югу, становилось синее и синее».

На десятый день Гоголь приехал в Полтаву и тотчас принялся объезжать докторов. Но те ему не помогли; состояние у Гоголя такое же, как в Москве. «Понос только прекратился, бывает даже запор; иногда мне кажется, будто чувствую небольшую боль в печенке и в спине, иногда болит голова, немного грудь» (X, 237). Больше доверенности у Гоголя не к местным медицинским светилам, а к Дядьковскому, и он просит прислать тот рецепт, который был в свое время выписан ему в Москве.

Около 20 июля — Гоголь уже в Васильевке. Навстречу высыпали родные, которых он не видел три с лишним года, — мать, сестры Лиза, Аня, Оля. Приехала старшая сестра Марья с мужем Павлом Осиповичем Трушковским.

А потом пошла проза деревенской, помещичьей жизни, с хозяйственными заботами, невыплаченными долгами, вечным безденежьем.

В письме к И. Дмитриеву (ок. 20 июля 1832 г.) Гоголь рисует контрасты малороссийской деревни: «Чего бы, казалось, не доставало этому краю? Полное, роскошное лето! Хлеба, фруктов, всего растительного гибель! А народ беден, имения разорены и недоимки неоп-

латные. Всему виною недостаток сообщения. Он усыпил и обленил жителей. Помещики видят теперь сами, что с одним хлебом и винокурением нельзя значительно возвысить свои доходы. Начинают понимать, что пора приниматься за мануфактуры и фабрики; но капиталов нет, счастливая мысль дремлет, наконец умирает, а они рыскают с горя за зайцами».

Марья Ивановна тоже пришла к выводу, что пора приняться «за мануфактуры и фабрики» и задумала устроить кожевенный завод. Эта мысль обсуждалась во время пребывания Гоголя в Васильевке.

Николай Васильевич принимал близко к сердцу семейные заботы, изо всех сил старался помочь. Сестра Лиза вспоминала: «Дома он очень входил в хозяйство и занимался усадьбой и садом; в самом доме он раскрасил красками стены и потолки в зале и гостиной; наденет, бывало, белый фартук, станет на высокую скамейку и большими кистями рисует — так он нарисовал бордюры, букеты и арабески» (Быкова, с. 6).

Еще известно, что Гоголь рисовал для дома узоры ковров своего собственного изобретения.

Но все это были полумеры, мелкие заплатки на платье; изменить положение к лучшему Гоголь не мог, для этого ему не хватало ни сил, ни времени. Понимая, что мать ждет от него большего, Николай Васильевич потом будет оправдываться в своей кажущейся «холодности»: «Это оттого, что у меня много разных занятий, между тем как у вас одно только — это попечение о детях ваших» (X, 245).

Гоголь жалуется на умственную лень, а между тем молча продолжает свои «разные занятия», обдумывает все то, что заронилось в сознание раньше. Погодину он сообщает 20 июля, что у него «родились две крепкие мысли о нашей любимой науке» — он продолжает свои исторические изыскания. Но в том же письме Гоголь роняет любопытную фразу, что вслед за предполагаемым вторым изданием «Вечеров на хуторе...» «выйдет новое детище». Это значит, что весьма интенсивно идет обдумывание новых повестей—произведений, которые, используя выражение Надеждина, будут настоены на малороссийском «меде». И, конечно, не оставлена мысль о современной комедии.

Внешне Гоголь ведет неторопливую, спокойную, растительную жизнь; «как добрый пес», вылеживает на солнце, наслаждается красками и запахами позднего украинского лета. «Может быть, нет в мире



другого, влюбленного с таким исступлением в природу, как я. Я боюсь выпустить ее на минуту, ловлю все движения ее, и чем далее, тем более открываю в ней неуловимых прелестей» (X, 242).

Здоровье Гоголя становится лучше, да вот напасть — изобильная плодovitость украинского лета. Большой любитель плотно поесть, он постоянно подвергается искушению, и желудок его, по его словам, «беспрерывно занимается варением то груш, то яблок».

К удовольствию растительного существования прибавилась радость дружеского общения. Приехал с Кавказа Данилевский («Жаль, нам дома так мало удалось пожить вместе», — скажет позднее Гоголь — X, 252). Приезжал, по всей видимости, Н. Прокопович, откликнувшись на настоятельное приглашение Гоголя. Побывал в Васильевке и двоюродный дядя Петр Косяровский, которому пять лет назад Гоголь торжественно поклялся всю свою жизнь посвятить благу отечества. Со смешанным чувством, вероятно, встретился Николай Васильевич с хранителем его юношеской тайны: государственным мужем, раторборцем правосудия он не стал, но и в неизвестность не канул, сделавшись человеком весьма знаменитым.

Петр Косяровский пробыл в Васильевке недолго — он уехал в Одессу, где лечился и где в это время проживали другие двоюродные братья и двоюродная тетка Гоголя. Через Петра Косяровского Гоголь передает им всем поклон — и Варваре Петровне, и Павлу Петровичу, и Ивану Петровичу. Последний продолжал свою деятельность третьестепенного литератора, издав вслед за «Ниной» новую книгу — «Переметчик. Историческая повесть, относящаяся ко второй половине прошлого столетия» (Одесса, 1832, цензурное разрешение — 6 января 1832 г.). По времени своего выхода в свет книга могла стать известна Гоголю; возможно, о ней вспоминали в Васильевке во время пребывания там Петра Косяровского.

Стремясь облегчить положение семьи и заботясь о воспитании сестер, Гоголь решил двух из них, Елизавету и Анну, взять с собой в Петербург и устроить в Патриотический институт. А это повлекло за собою и изменение в судьбе Якима Нимченко.

Марья Ивановна, подумывая о назначении горничной к уезжающим дочерям, пришла к выводу, что лучше всего для этого женить Якима: муж будет обслуживать Никошу, а жена — его сестер. Выбрали девушку, по имени Матрена, спросили мнение Якима, тот сказал: «Мне все равно-с, а это как вам угодно». «Видя такое равнодушие,

его женили за три дня до отъезда» (Быкова, с. 6), который был назначен на 29 сентября.

Проводы были трогательные. Мать и старшая замужняя сестра сопровождали отъезжавших до Полтавы, где задержались на два дня. Далее отправились впятером: Гоголь с двумя сестрами, Яким с Матреной.

По дороге случилась непредвиденная задержка: сломался экипаж. Несколько дней прожили в Курске, где Гоголь вкусил все прелести, вытекающие из его положения обыкновенного, незнатного просителя. Об этом он писал П. Плетневу: «Вы счастливы, Петр Александрович! Вы не испытали, что значит дальняя дорога. Оборони вас и испытать ее. А еще хуже браниться с этими бестиями станционными смотрителями, которые, если путешественник не генерал, а наш брат мастеровой, то всеми силами стараются сделать более прижимок и берут с нас, бедняков, немилосердно штраф за оплеухи, которые навешает им генеральская рука» (X, 242—243). Тут как бы проходило накопление материала для «Ревизора»: вспомним генеральские грезы городничего. «Ведь почему хочется быть генералом? потому, что случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: лошадей! и там на станциях никому не дадут, все дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты и в ус не дуешь...»

Наконец, 10 октября гоголевский экипаж вновь отправился в путь и через несколько дней достиг Москвы.

На этот раз Гоголь пробыл в Москве меньше времени, очевидно, до 23 октября (X, 244). «Возил по городу и в театр» своих сестер (Быкова, с. 6), вновь делал визиты. Побывал опять у Аксаковых, у Загоскина, встретился с Погодиным.

«Москва так же радушно меня приняла, как и прежде», — сообщает Гоголь матери 21 октября. Сам же он проявляет свое радушие весьма избирательно: с Сергеем Тимофеевичем был приветлив, но соблюдал дистанцию; над Загоскиным по-прежнему про себя посмеивался, что, впрочем, тот не заметил; но к Погодину питал высокое почтение, вызванное общностью научных интересов. Надо полагать, что во время новой встречи с ним Гоголь рассказал о своих замыслах, которые возникли у него в Васильевке.

Вторичное посещение совместно с Гоголем Загоскина дало Сергею Тимофеевичу возможность отметить замечательное комическое

дарование автора «Вечеров на хуторе...», проявляемое в быту, в повседневной жизни. Случилось так, что Загоскин, демонстрируя своим гостям какие-то раскидные кресла, прищемил Аксакову обе руки пружинами так, что тот вскрикнул от боли и «был похож на растянутого для пытки человека». «От этой потехи, — рассказывает Аксаков, — руки у меня долго болели. Гоголь даже не улыбнулся, но впоследствии часто вспоминал этот случай и, не смеясь сам, так мастерски его рассказывал, что заставлял всех хохотать до слез. Вообще в его шутках было очень много оригинальных приемов, выражений, складу и того особенного юмора, который составляет исключительную собственность малороссов...» (Воспоминания, с. 91).

К прежним московским знакомствам прибавились новые, одно из них — с М. А. Максимовичем, уроженцем Полтавщины, писателем и ученым, адъюнктом Московского университета и начальником Ботанического сада. Впоследствии Максимович рассказывал гоголевскому биографу, что виделись они еще раньше, в 1829 году, когда, посетив Петербург, он застал «Гоголя за чаем у одного общего их земляка, где собралось еще несколько малороссиян». «Гоголь ничем особенным не выдавался из круга собеседников, и он [Максимович] не сохранил в памяти даже наружности будущего знаменитого писателя». Но Гоголь обратил внимание на Максимовича, который в это время был уже человеком известным, и во время вторичного посещения Москвы решил нанести ему визит. Максимович жил тогда, так сказать, по месту своей службы — в Ботаническом саду, в доме 28 на Первой Мещанской (Землянков, с. 20).

«Гоголь не застал г. Максимовича дома, и г. Максимович, узнав, что у него был автор «Вечеров на хуторе...», поспешил к нему в гостиницу. Гоголь встретил своего гостя как старого знакомого, видел его три года тому назад не более как в продолжение двух часов, и г. Максимовичу стоило большого труда не дать заметить поэту, что он совсем его не помнит. По словам г. Максимовича, Гоголь был тогда хорошеньким молодым человеком, в шелковом архалуке вишневого цвета» (Кулиш, 1856, т. 1, с. 116—117).

Так же, как с Погодиным, Гоголя сближала с Максимовичем любовь к истории. «Оба они заняты были в то время Малороссиею: Гоголь готовился писать историю этой страны, а Максимович собирался печатать свои «Украинские народные песни», и поэтому они

нашли друг друга очень интересными людьми» (Кулиш, 1856, т. 1, с. 116—117). Гоголь упомянул в разговоре с Максимовичем одного петербургского художника-украинца, который мог бы сделать виньетку к сборнику песен, и обещал с ним договориться, но почему-то не смог сдержать своего слова (возможно, речь шла о Мокрицком, который после 1832 г. оставил службу в Департаменте горных и соляных дел и в Опекунском совете и уехал из Петербурга на родину).

Благодаря Максимовичу Гоголь познакомился еще с одним уроженцем Полтавщины — О. М. Бодянским, будущим славистом, в ту пору еще студентом отделения словесных наук Московского университета, жившим на квартире профессора. По возвращении в Петербург Гоголь писал Максимовичу: «Посылаю поклон также земляку, живущему с вами, и желаю ему успехов в трудах, так интересных для нас» (X, 250). Скорее всего, знакомство произошло таким образом, что Гоголь, не застав Максимовича дома, разговорился с его жильцом, которым и был Бодянский, а тот рассказал о необыкновенном визите своему профессору.

Встретился Гоголь и с Е. А. Баратынским, находившимся с сентября 1832 года в Москве. Встреча эта имела небольшую предысторию.

В письме, датированном 12 апреля 1832 года, Баратынский писал И. Киреевскому в Москву: «Вечера на Дикальке», без сомнения, показывают человека с дарованием. Я приписывал их Перовскому, хотя не вовсе в них узнавал его. В них вообще меньше толку и больше жизни и оригинальности, чем в сочинениях сего последнего. Молодость Яновского служит достаточным извинением тому, что в его повестях есть неполного и поверхностного. Я очень рад буду с ним познакомиться» (Баратынский, с. 239). Как видно, письмо продолжает разговор, начатый И. Киреевским: тот обратил внимание своего корреспондента на книгу Гоголя и, возможно, посоветовал познакомиться с ним. Баратынский с этим согласился. Затем он вернулся к той же теме в письме, отправленном из Казани до 25 мая. «Я очень благодарен Яновскому за его подарок. Я очень бы желал с ним познакомиться. Еще не было у нас автора с такою веселою веселостью, у нас на севере она великая редкость. Яновский — человек с решительным талантом. Слог его жив, оригинален, исполнен красок и часто вкуса. Во многих местах в нем виден наблюдатель, и в повести своей «Страшная месть» он не однажды был поэтом. Нашего полку

прибыло: это заключение немножко нескромно, но оно хорошо выражает мое чувство к Яновскому» (Баратынский, с. 241).

Один из биографов Баратынского, К. В. Пигарев уже обратил внимание на такой факт: *Гоголь послал поэту свою книгу*, а именно вторую часть «Вечеров на хуторе...»; именно поэтому Баратынский благодарит его за «подарок». А посредником оказался Иван Киреевский, который не только рекомендовал Баратынскому писателя, но сумел довести и до сведения Гоголя, что у него есть такой замечательный почитатель. Причем произошло все это еще до первого приезда Гоголя в Москву.

Возможно, Киреевский, в свою очередь, прибегнул к посредничеству Жуковского или Пушкина, и книга была выслана Гоголем еще из Петербурга. В октябре же, во время вторичного посещения писателем Москвы, состоялось, как замечено выше, его знакомство с Баратынским.

Встретился Гоголь с Иваном Киреевским, причем из всего сказанного видно, что их заочное знакомство имело место еще раньше. Человек замечательной искренности и обаяния, только что переживший большую беду — в феврале был закрыт его журнал «Европеец», — Киреевский сразу же вызвал у Гоголя чувство теплой симпатии. Пожалуй, среди новоприобретенных им московских друзей и знакомых Иван Киреевский занял одно из первых мест — вслед за Погодиным. Это видно из письма Гоголя к Погодину, написанного 28 сентября 1833 года: «Кланяйся особенно Киреевскому, вспоминает ли он обо мне? Скажи ему, что я очень часто об нем думаю и эти мысли мне почти так же приятны, как о тебе и о родине».

Об обстоятельствах московской встречи Гоголя с Киреевским точных сведений у нас нет, но, возможно, писатель побывал в знаменитом доме А. П. Елагиной, матери Ивана и Петра Киреевских. В этой «республике у Красных ворот», «привольной науке, сердцу и уму» (Н. Языков), собирался цвет московской, и не только московской, интеллигенции. Бывавший здесь после 1826 года отставной дипломат Д. Н. Свербеев упоминает и Гоголя: «...в первый раз явился там Гоголь еще до «Ревизора» (Свербеев, с. 497). Знакомство самого Свербеева с Гоголем произошло еще до отъезда последнего в Васильевку<sup>61</sup>.

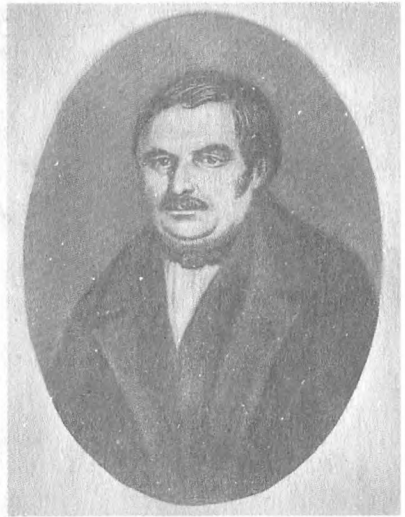
В целом Гоголь был воодушевлен и доволен оказанным ему в Москве приемом. «...Тамошние литераторы, кажется, порадовали его особенным вниманием к его таланту. Он не может нахвалиться По-

годиным, Киреевским и прочими», — сообщал позднее, 8 декабря 1832 года, П. Плетнев В. Жуковскому. По-видимому, своими впечатлениями поделился Гоголь и с Пушкиным. Последний, впрочем, в сентябре — начале октября, в промежутке между двумя приездами Гоголя, и сам побывал в Москве и мог почувствовать, как относятся «тамошние литераторы» к молодому писателю.

В конце концов, дело не сводилось к приобретению еще десятка доброжелателей и почитателей. Важно то, что это было одобрение со стороны Москвы. В сравнении с Петербургом старая столица имела более серьезную научную и литературную репутацию. «Ученость, любовь к искусству и таланты неоспоримо на стороне Москвы. < ... > Московская критика с честью отличается от петербургской», — писал Пушкин в статье «Путешествие из Москвы в Петербург» (1833—1835). Репутация Москвы была менее официальной, более стихийной, самобытной, спонтанной и, следовательно, народной. В большей мере, чем любой другой город или регион, Москва в это время считалась хранилищем национального духа и возможностей. Признание Гоголя Москвой закрепляло признание его как русского национального писателя. Все это отразилось в том воодушевляющем чувстве, которое сложилось у Гоголя в результате его летнего вояжа.



Марья Ивановна Гоголь, мать писателя. Портрет работы неизвестного художника. Первая четверть XIX в.



Василий Афанасьевич Гоголь, отец писателя. Портрет работы неизвестного художника. Первая четверть XIX в.



Церковь св. Николая в диканьском лесу



Дом доктора М. Я. Трахимовского в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии, где родился Н. В. Гоголь. Фотография 1900-х годов

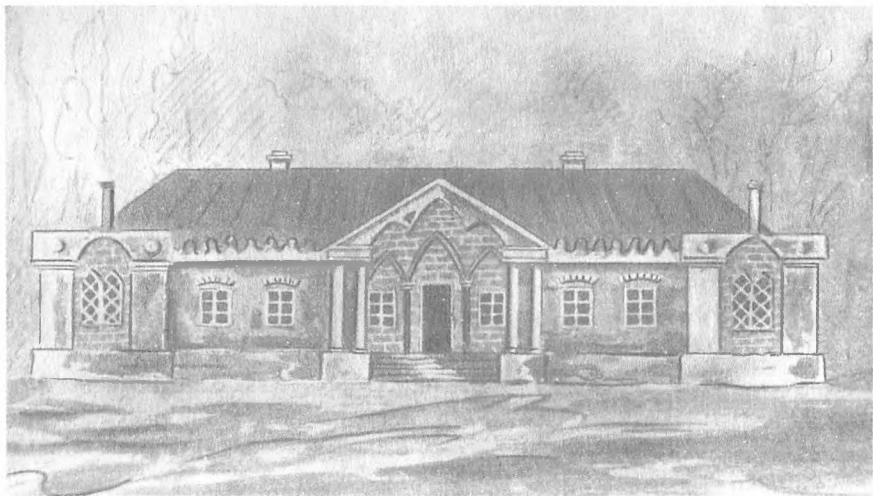
24.	17.	Маврина Сорочинская, Ульянчикова жена Здана родится дев. дурія и купчиха Молитва за н. и крестиль Общенно- наместникъ Троицк. Боговолодскій.	18.	Козырева и купчиха Сафронкина
25.	20.	У купчихи Василья Ямалова ро- дится сын купчая и купчиха Молитва за н. и крестиль Общенно- наместникъ Троицк. Боговолодскій.	22.	Богданов Полтавский мещанский трихтин Олей
26.	23.	Маврина Сорочинская, Ульянчикова жена и купчиха, родится сын купчая и купчиха Молитва за н. и крестиль Общенно- наместникъ Троицк. Боговолодскій.	24.	Подушан Т. Бурманов Якимъ мещанск.
27.	27.	Маврина Сорочинская, Ульянчикова жена и купчиха, родится сын купчая и купчиха Молитва за н. и крестиль Общенно- наместникъ Троицк. Боговолодскій.	28.	Подушан и купчиха Купчиха
28.	29.	Апрель.		
28.	29.	Маврина Сорочинская, Ульянчикова жена		

Запись о рождении Н. В. Гоголя в метрической книге Спасо-Преображенской церкви в Великих Сорочинцах





Спасо-Преображенская церковь в Великих Сорочинцах



Васильевка. Дом семьи Н. В. Гоголя. Акварель Н. В. Гоголя



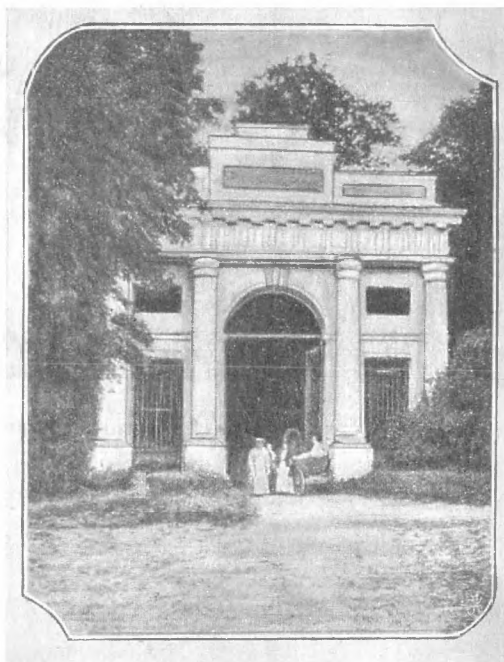
Пруд в Яновщине



Мазепинский дуб в Диканьке (14 аршин в обхват)



Усадьба Д. П. Трошинского Кибинцы. Фотография. 1900-е гг.



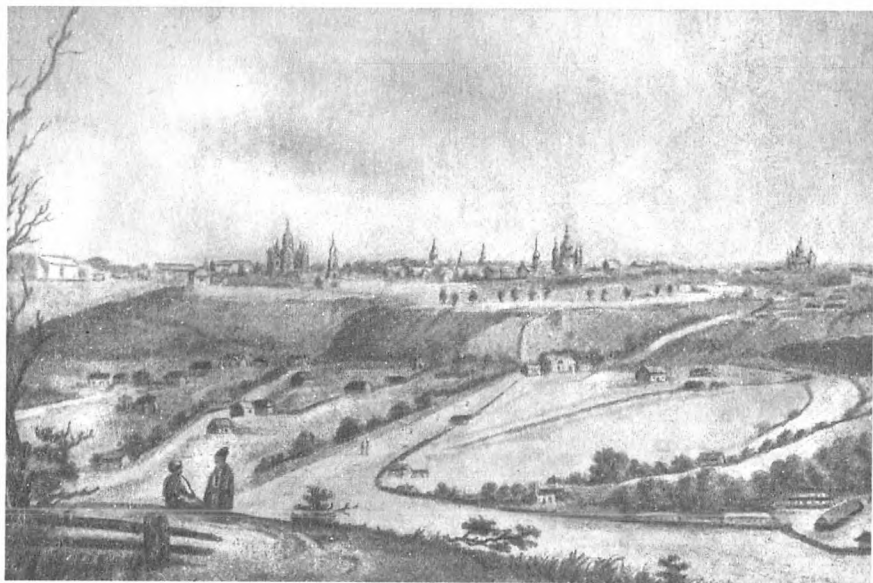
Въезд в Диканьку



Д. П. Трошинский. Гравюра И. Куликова. Конец XVIII в.



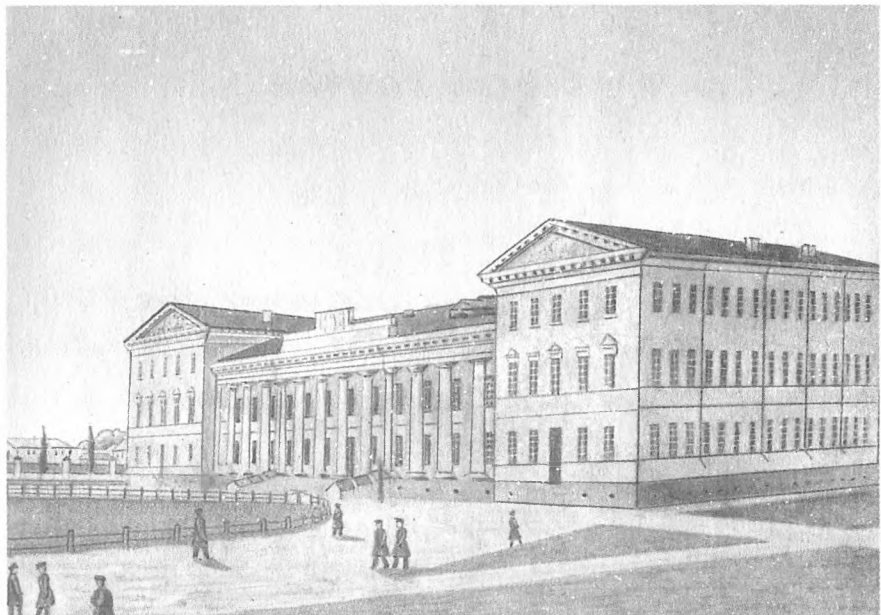
В. В. Капнист. Гравюра А. Осипова. Конец XVII в.



Полтава. Литография Игнатъева. Первая четверть XIX в.



Нежин. Литография П. Бореля. Середина XIX в.



Нежинская Гимназия высших наук. Акварель О. Визеля. 30-е гг. XIX в.



И. С. Орлай. Портрет работы неизвестного художника. Первая четверть XIX в.

Книга всякой всячины  
или  
подручная Энциклопедия

Составл. Н. Г.

МЪЖИМЪ

1826,





Н. В. Гоголь — гимназист. Гравюра по рисунку неизвестного художника. 1827 г.

Половина ноября 2<sup>го</sup> дня урочка 10<sup>го</sup> класа Школы Кавказской  
Кавказской 10<sup>го</sup> класа сего году судьи приехал в Конференцию  
исполнения, с представителем урочка 10<sup>го</sup> класа Кавказской  
школе, а также с представителями и там же, при этом же. С  
днем неосторожно ставил на введении в исполнение право  
в силу собственного истребования, как и там, как она  
была написана, как и якобы судья, обращаясь к не-  
му, и там же, и к другим, сказав: урочка, что во время  
написания Кавказской школы: Кавказской школы там же  
тоже от сего Судьи, это не исполнилось  
к тому показанию собственноручно подписанное урочка 10<sup>го</sup>  
Кавказской школы Кавказской.

1897<sup>го</sup> года ноября 3<sup>го</sup> дня урочка 10<sup>го</sup> класа Школы Кавказской  
Кавказской 10<sup>го</sup> класа сего году судьи приехал в Конференцию  
исполнения, с представителем урочка 10<sup>го</sup> класа Кавказской  
школе, а также с представителями и там же, при этом же. С  
днем неосторожно ставил на введении в исполнение право  
в силу собственного истребования, как и там, как она  
была написана, как и якобы судья, обращаясь к не-  
му, и там же, и к другим, сказав: урочка, что во время  
написания Кавказской школы: Кавказской школы там же  
тоже от сего Судьи, это не исполнилось  
к тому показанию собственноручно подписанное урочка 10<sup>го</sup>  
Кавказской школы Кавказской.

К тому показанию собственноручно подписан Николас  
Александрович Гоголь.

Показания Н. В. Гоголя по «делу о вольнодумстве». Автограф

I

№ 49830

Каз. 1873

Н. П.

№ 53

По означенному Генералу Адмиралу  
на Бенксдорфери беспорядки в  
непринадлежности Генерала и в  
оной Дирекции Генерала  
Современности Адмирала

тетради 4<sup>я</sup> апреля 1850.

тетради 7<sup>я</sup> сентября 1832

733 85  
49830

1830.

за 219 страниц

Книжка приписана в особую коллекцию  
книжки, под номерами А, В, В, С, Д, Е, F, G,  
H, I, K, L, M, N, O, P. —

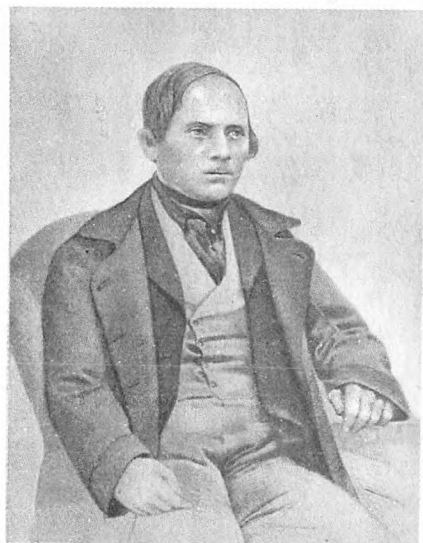
Книжка в том числе

отделена от остальных в 1850 г.

Дело «о беспорядках в Нежинской Гимназии». Обложка



Петербург. Невский проспект. Литография. 30-е гг. XIX в.



Н. Я. Прокопович. Литография.  
40-е гг. XIX в.



П. П. Свинин

**ГАНЦЪ**  
**КЮХЕЛЬГАРТЕНЪ**

И Д И Л Л И Я  
ВЪ КАРТИНАХЪ.

*Соч. В. Алова.*

(Писано въ 1827)

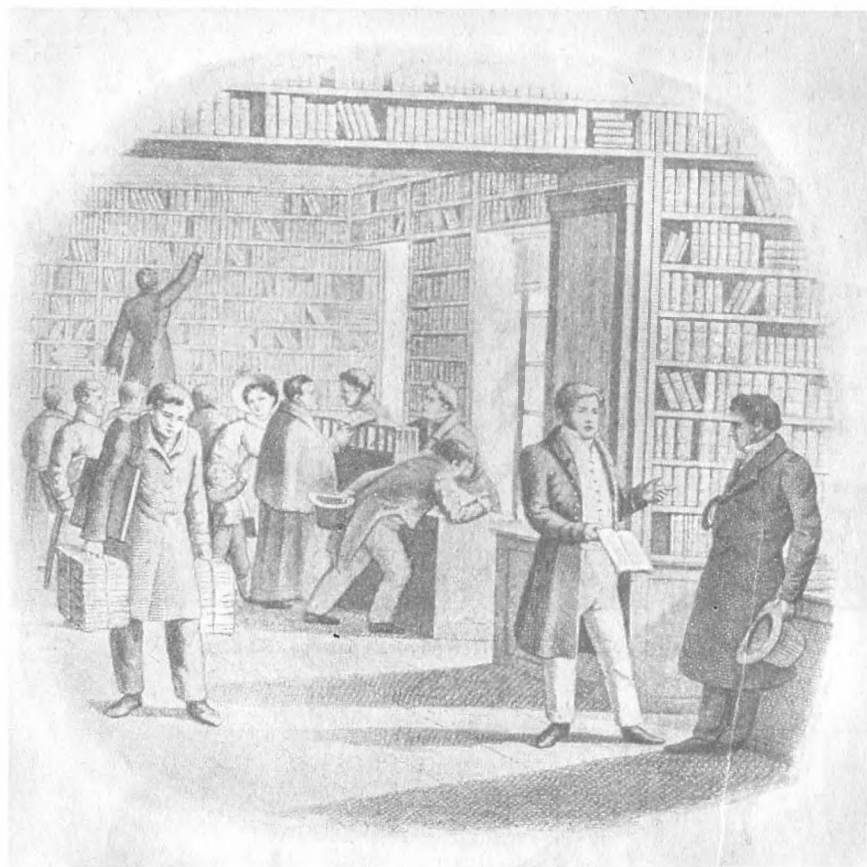
---

Ст. ПЕТЕРБУРГЪ  
Печатано въ Типографіи А. Плюшара  
1829 года.

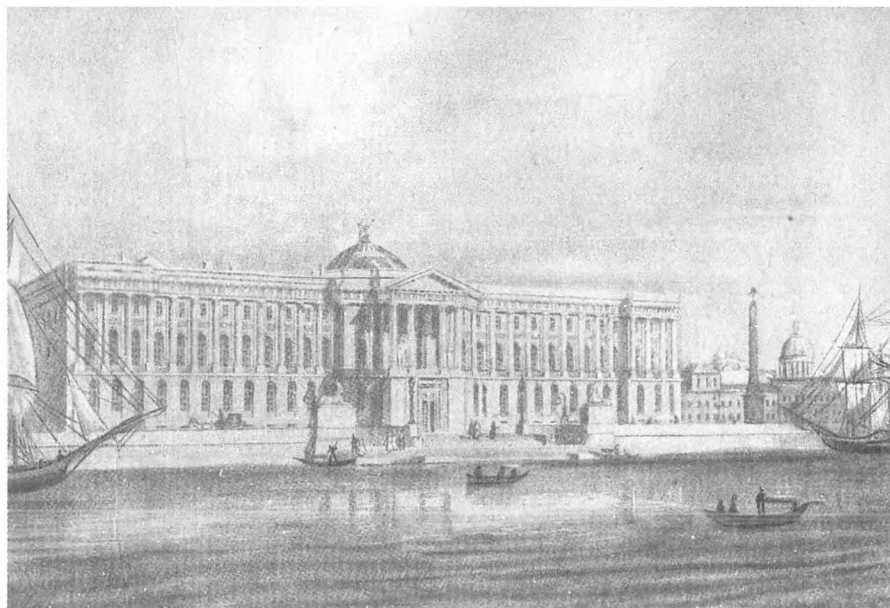
Титульный лист первой книги Н. В. Гоголя



Н. В. Гоголь. Автолитография А. Венецианова. 1834 г.



Книжный магазин Смирдина в 1832 г. Рисунок Сапожникова (на первом плане, справа, Пушкин и Вяземский)



Академия художеств. С.-Петербург. Гравюра. 30-е гг. XIX в.



А. С. Данилевский. Фотография. Середина XIX в.



М. П. Погодин



# В Е Ч Е Р А

НА ХУТОРѢ  
БЛИЗЪ ДИКАНЬКИ.

---

П О В Ъ С Т И,

ИЗДАНЫЯ

*Пасичникомъ Рудымъ Панькомъ.*

---

ПЕРВАЯ КНИЖКА.

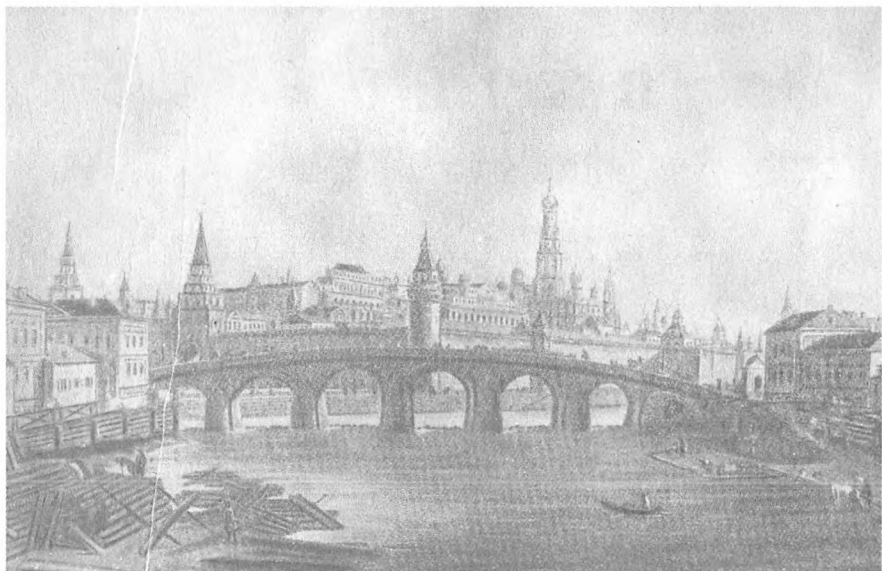
---

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФ. ДЕПАР. НАРОД. ПРОСВѢЩЕНІЯ.

1831.

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Титульный лист первого издания



Москва. Картина Ф. Алексеева. Первая четверть XIX в.

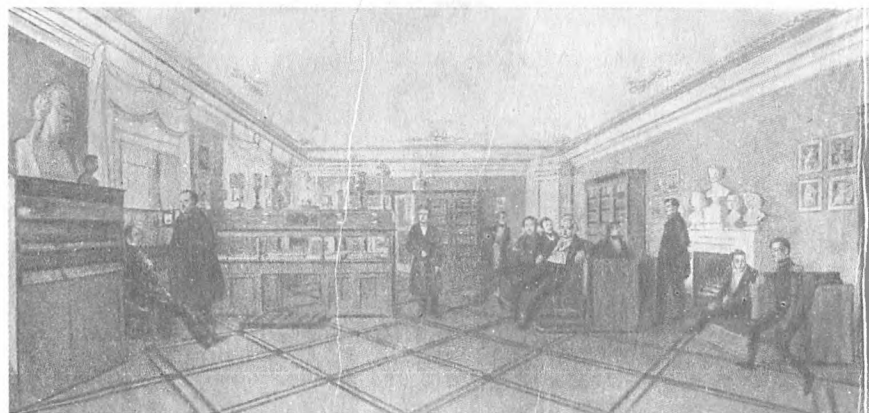


Н. И. Греч

С. Т. Аксаков. Акварель неизвестного художника. 30-е гг. XIX в.



Департамент уделов в Петербурге, где служил Н. В. Гоголь в 1830—1831 гг.  
Гравюра. 1834 г.



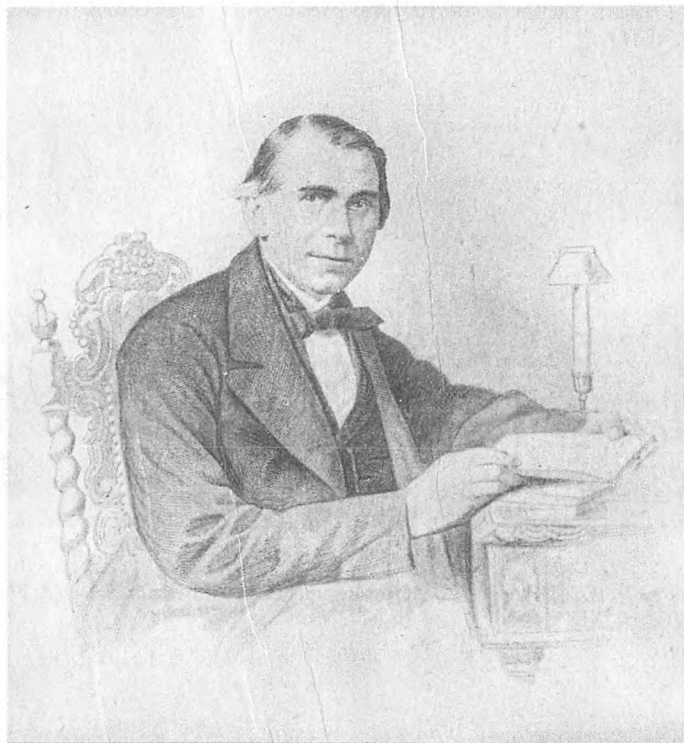
Субботы у В. А. Жуковского. Картина учеников А. Венецианова (А. Мокрицкого  
и др.). 30-е гг. XIX в.



В. И. Панаев



А. А. Дельвиг. Рисунок В. Лангера.  
1829 г.



П. А. Плетнев



А. С. Пушкин. Акварель П. Ф. Соколова. 1836 г.



А. С. Пушкин. Рисунок Н. В. Гоголя



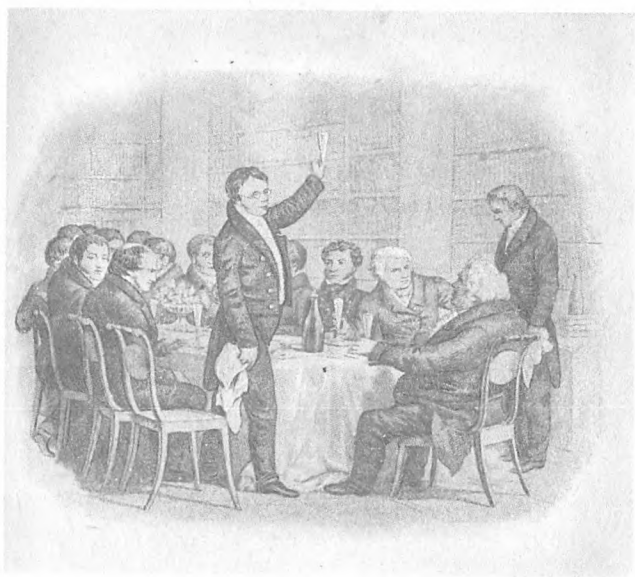
Н. В. Гоголь. Рисунок А. С. Пушкина



А. О. Смирнова. Акварель П. Ф. Соколова. 1834 г.



Малая Морская ул. в Петербурге, где жил Н. В. Гоголь в 1833—1836 гг. Деталь «Панорамы Невского проспекта» В. С. Садовникова и И. А. Иванова. 1830 г.



Обед у Смирдина в 1833 г. Рисунок К. Брюллова

# АРАБЕСКИ.

РАЗНЫЯ СОЧИНЕНІЯ

Н. ГОГОЛЯ.

—  
*Часть первая.*  
—



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ ВДОВЫ ПЛЮШАРЪ СЪ СЫНОМЪ.

1833.

«Арабески». Титульный лист первого издания



# МИРГОРОДЪ.

## ПОВѢСТИ,

Служащія продолженіемъ *Вестей на хуторѣ близъ Диканьки.*

**Н. ГОГОЛЯ.**

Миргородъ нарочито похвалитъ при  
рѣкѣ Хоролѣ городъ. Имѣетъ і ка-  
нашную фабрику, і кирпичный за-  
водъ, 4 водяныхъ и 48 вѣтряныхъ  
мельницъ.

*Географія Зблѣзскаго.*

Хотя въ Миргородѣ пекутся буб-  
лики изъ чернаго пшени, но довольно  
кусны.

*Изъ записокъ одного путе-  
шественника.*

---

*Часть первая.*

---

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1835.

«Миргород». Титульный листъ перваго изданія



Н. В. Гоголь. Портрет работы Горюнова. 1835 г.

# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## «БОЖЕ, СКОЛЬКО КРИЗИСОВ!»

Гоголь выехал из Москвы после 21 октября, возможно 23-го (X, 244), и прибыл в столицу около 30-го (дорога между двумя городами занимала в то время 5—6 дней). И тут его ожидали неприятности, причиной которых был он сам.

По условиям службы Гоголю дали отпуск на 28 дней, считая с 1 июля. А явился он к должности в первых числах ноября, опоздав на три месяца! И в продолжение этого времени не просил никакой отсрочки, не давал никаких объяснений. «Четыре месяца не было про него ни слуху ни духу. Оригинал», — жаловался Плетнев Жуковскому (Плетнев, с. 522). И прибыл не один, а с двумя сестрами, которых нельзя было принять в институт, так как, согласно положению, в него зачислялись лишь дочери военных чинов.

Благодаря заступничеству Плетнева как инспектора Патриотического института, благодаря доброте его начальницы Л. Вистингаузен все удалось уладить. Гоголь даже не получил взыскания. А сестер приняли на условиях сверхкомплектных воспитанниц — в счет его жалованья (1200 рублей в год). Для института это было даже выгодно: прокормить двух лишних человек в большом хозяйстве не представляло особых трудностей, сэкономленные же деньги можно было потратить на общие нужды.

Следует оценить и доброту Гоголя по отношению к матери и семье: чтобы устроить судьбу сестер, он согласился преподавать в институте безвозмездно. Правда, через некоторое время «это стеснение было устранено» (Шенрок, т. 2, с. 145).

Около месяца держал Гоголь сестер дома, готовя их к поступлению в институт. «Редкий был у нас брат, — вспоминала Елизавета Васильевна, — несмотря на всю свою молодость в то время, он заботился и пекся о нас, как мать» (Быкова, с. 6).

Способностями Лиза и Анна не отличались, были диковаты, необщительны, провинциальны. Поэтому, устроив сестер в институт, Николай Васильевич решил не торопить время — пусть они в одном классе посидят второй год, пусть привыкнут, освоятся.

По возвращении из Москвы Гоголь вновь переменял квартиру, поселившись в доме скульптора В. И. Демут-Малиновского в Новом переулке (впоследствии — переулок Антоненко). Дом находился на правой стороне и был вторым от Мойки (в 1839 г. его снесли, чтобы освободить место для Мариинского дворца. — Шубин, с. 194).

Первые месяцы петербургской жизни Гоголь полон московских впечатлений. Передает поклон Ивану Киреевскому, Сергею Тимофеевичу Аксакову, Дядьковскому «и всем нашим москвичам», справляется о Баратынском, извиняется перед И. Дмитриевым, что не смог нанести ему прощального визита, и сообщает новости о Пушкине (Гоголь повидался с ним в ноябре, вскоре по возвращении), об Одоевском. Особенно охотно пишет Погодину, с которым с начала следующего, 1833 года переходит на «ты».

«Однородность занятий», интерес к истории — вот что привязывает Гоголя к Погодину. «Главное дело всеобщая история, а прочее стороннее — словом, всё меня уверяет, что мы не должны разлучаться на жизненном пути» (X, 254).

Физически Гоголь чувствует себя лучше — отдохнувшим, поправившимся. Но вот беда — не думается, не пишется. Не посещает его «творческая сила», на которую он так надеялся.

От письма к письму жалуется он на «лень», на «бездействие» и «неподвижность», на «умственный запор». Гоголю хорошо известно, что от него ждут новых вещей. Многие знают об его больших планах, как ни был он скрытен и осторожен в своих высказываниях. Впрочем, кое-что он и сам дал почувствовать; на иные свои замыслы намекнул, даже решился похвастаться, и вот теперь пришло время отчитываться.

В Москве, при первой встрече с Погодиным, Гоголь стал нахвалять ему своих учениц, так что Погодин, сам педагог с большим опытом — он преподавал и в Московском благородном пансионе, и в университете, — пришел в изумление и записал в дневнике: «Он [Гоголь] рассказал мне много чудес о своем курсе истории в Педаг. [так!] инст. с. петерб. (Из его воспитанниц нет ни одной не успевшей.)» (X, 450). Естественно, что Погодин взял у Гоголя обещание прислать ему несколько тетрадей этих чудо-воспитанниц.

Но Гоголь не спешил сдерживать слово: мол, эти тетради «обезображены посторонними и чужими прибавлениями», выписками из разных книжек, и вообще он «только такое подносил им, что можно понять женским мелким умом». Пусть лучше Погодин подождет — и Гоголь вышлет ему нечто «чисто свое». Это будет «всеобщая история и всеобщая география», под названием «Земля и Люди».

Не надеясь на обязательность Гоголя, Погодин попросил и Плетнева прислать ему заинтриговавшие его тетради, на что инспектор Патриотического института отвечал: «Не думаю, чтобы тетради учениц Гоголя могли вам на что-нибудь пригодиться. Их рассказ уроков его очень приятен, потому что Гоголь останавливает внимание учениц больше на подробностях предметов, нежели на их связи и порядке. <...> Что касается до порядка в Истории или какого-нибудь придуманного Гоголем облегчения — этого ничего нет. Он тем же превосходит товарищей своих как учитель, чем он выше стал многих как писатель, т. е. силою воображения, которое под его пером всему сообщает чудную жизнь и увлекательное правдоподобие» (Барсуков, т. 4, с. 114). Плетнев, однако, не учитывал, что субъективно для Гоголя обе стороны были неразделимы — «подробности предметов» интересовали его в связи с «порядком», системой, общим взглядом, который он ставил, пожалуй, превыше всего. Гоголь полагал, что в записях учениц уже содержится скелет его труда «Земля и Люди», который надо облечь в живые формы, оснастить огромным материалом. Но не хватало для этого сил, решимости, целеустремленности, знаний.

К концу 1833 года в письмах Гоголя начинают звучать ноты страшной тоски, почти отчаяния. М. Погодину, 28 сентября: «Какой ужасный для меня этот 1833-й год! Боже, сколько кризисов! настанет ли для меня благодетельная реставрация после этих разрушительных революций? — Сколько я поначинал, сколько пережег, сколько бросил! Понимаешь ли ты ужасное чувство: быть недовольну самим собой. О не знай его! <...> Человек, в которого вселилось это ад-чувство, весь превращается в злость, он один составляет оппозицию против всего, он ужасно издевается над собственным бессилием». М. Максимовичу, 9 ноября: «Если б вы знали, какие со мною происходили страшные перевороты, как сильно растерзано все внутри меня. Боже, сколько я пережег, сколько перестрадал!»

Первый гоголевский биограф на основании этих признаний заключил, что причина всего — «забота юности любовь» (Кулиш, 1856, т. 1, с. 124). Вывод совершенно необоснованный: Гоголь говорит о своих трудностях совсем в иных выражениях, чем прежде говорил о любовных переживаниях. Вообще, видно, после тех «двух» случаев, о которых Гоголь упоминал в письме к Данилевскому от 20 декабря 1832 года, сердце его успокоилось, подобное уже не повторялось. То, в чем признается он теперь, определенно свидетельствует, что переживал он «кризис творчества, что мучился неудовлетворенностью

своими писаниями» (Мочульский, с. 24). Надо только добавить, что эта неудовлетворенность выходила далеко за пределы собственно художественной и технической сферы «писаний» и затрагивала всю глубину его внутренней жизни.

Одно из противоречий, мучивших его, Гоголь приоткрыл в письме к Погодину от 20 февраля 1833 года. Погодин не знал о замысле комедии, о котором догадывались (или знали) С. Аксаков, Надеждин и Щепкин, в который были посвящены Плетнев и Пушкин. С Погодиным Гоголь говорил преимущественно о своих исторических, научных планах, но теперь признался: «Я не знаю, отчего я теперь так жажду современной славы. Вся глубина души так и рвется наружу. <...> Я не писал тебе: я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет было на днях начал составляться, уже и заглавие написано на белой толстой тетраде: *Владимир 3-ей степени*, и сколько злости! смеху! соли!.. Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит».

В свете этого признания хорошо видно, как точно уловил С. Аксаков устремление Гоголя-комедиографа. Гоголь искал ресурсы комического в современной, светской, петербургской жизни (действие «Владимира 3-ей степени» разворачивалось в столице). Находимые им и мысленно проигрываемые ситуации брызжут смехом — откровенно злым, колющим. По поводу пьесы Погодина «Петр I» Гоголь советовал в то же время (1 февраля 1833 г.) прибавить «боярам несколько глупой физиогномии»: «Это необходимо так даже, чтобы они непременно были смешны. Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина! А доказательство в наше время». «Таким «доказательством» невольно и становилась, в глазах Гоголя, его комедия.

При этом ему очень важно, чтобы пьеса дошла до сцены, была сыграна; он слышит шум возбуждения, предвкушает «славу»; это отвечает его глубокой внутренней жажде, которую не могут удовлетворить более строгие научные труды. Здесь — только узкий круг посвященных ценителей. Там — масса народа, толпа, одержимая встречным чувством негодования или восторга. Гоголь хочет быть властелином многих с помощью той силы, которую рождает лицедейство.

И невозможность реализовать свой комедийный замысел парализует мысль и воображение в самих их истоках.

«Итак, за комедию не могу приняться. Примусь за историю — передо мною движется сцена, шумит аплодисмент, рожи высовываются из лож, из райка, из кресел и оскаливают зубы, и — история к чорту. — И вот почему я сижу при лени мыслей» (X, 263).

Наряду с комедией, Гоголь вынашивает и обрабатывает другие художественные замыслы. К концу года у него, наконец, готова повесть, настоянная на малороссийском «меде» и предназначенная для смирдинского «Новоселья», то есть «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 2 декабря Гоголь прочел ее Пушкину, который на следующий день пометил в дневнике: «Очень оригинально и очень смешно».

Одновременно Гоголь занят произведением другого рода, о чем дает представление письмо В. Одоевского к Пушкину от 28 сентября 1833 года: «Скажите, любезнейший Александр Сергеевич: что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко (т. е. сам Одоевский. — Ю. М.) и Рудый Панек по странному стечению обстоятельств описали: первый — *гостиную*, второй — *чердак*; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность — *погреб*, тогда бы вышел весь дом в 3 этажа с различными в каждом сценами; Рудый Панек даже предлагал самый альманах назвать таким образом: «Тройчатка, или Альманах в три этажа», сочинение и проч. — что на это все скажет г. Белкин?» (Пушкин, Переписка, с. 426—427).

Однако «Белкин» уклонился от этого предложения («...Не бывать ему на новоселье ни в гостиной Гомозейки, ни на чердаке Панка...» — там же, с. 429), и Одоевский с Гоголем решили продолжить дело вдвоем. «Я печатаю — ужас — что! — сообщал Одоевский Максимовичу, — с Гоголем «Двейчатку» [так!], книгу, составленную из наших двух новых повестей...» (КС, 1883, № 4, с. 846).

Хотя альманах так и не осуществился, но можно сделать некоторые выводы применительно к нашей теме. Гоголь на первых порах принял довольно активное участие в этом замысле, ему даже принадлежит название. Слово «тройчатка», между прочим, употреблено в «Вечерах на хуторе...», где ему дается такое пояснение: «Тройчатка — тройная плетъ»; но это не значит, что в название альманаха и соответственно в свое произведение Гоголь, как полагает С. А. Фомичев, непременно вкладывал сатирический смысл (Фомичев, с. 83). «Тройчатка» в данном случае передавала другое — тесную сращенность трех произведений, их плотную примыкаемость друг к другу (ср. орех-тройчатка, серьги-тройчатка и т. д.), вытекающие из харак-

тера замысла. Задуманный альманах должен дать вертикальный срез петербургского дома, с его различными уровнями, или этажами, которые соответствуют различию типологии, образа жизни, материального положения их обитателей. Так поступал уже Беранже в стихотворении «Пять этажей», затем Жюль Жанен в «Исповеди» (1830), Анри Монье как один из авторов альманаха «Париж, или Книга ста одного» (1831—1834); этот прием широко применялся и в русской литературе, особенно позднее, в так называемой натуральной школе, например в «Петербургских вершинах» (1845—1846) Я. Буткова.

Самому Гоголю при распределении этажей достался «чердак», что проливает некоторый свет на замысел его произведения. В каморках на чердаке селилась беднота; следовательно, чердак — показатель необеспеченности, но не только. Еще Я. Княжнин в «Отрывке толкового словаря» пометил: «Чердак — жилище стихотворцев» (Княжнин, с. 672). У М. Погодина в повести «Адель» (1830) перечислены предметы, имеющие, так сказать, знаковый характер: «это ива Шекспира, этот чердак Руссо или темницы Лутера, Галилея, Данта!» Чердак — приют художников, писателей, студентов; обиталище вдохновения и мечтаний (ср. у В. Филимонова в поэме «Дурацкий колпак»: «Я с чердака вселенной управлял...»). Именно в таком качестве должен был фигурировать чердак у Гоголя. Это значит, что он впервые обратился к персонажу иной душевной организации, чем герои его «Вечеров на хуторе...» или, скажем, «Гетьмана», человеку свободной профессии и при том только начинающему свой путь, пробивающемуся сквозь нужду и невзгоды.

Но это значит и то, что Гоголь впервые после «Ганца Кюхельгартена» обратился к персонажу, близкому ему субъективно и, кроме того, еще и профессионально, повторяющему его собственный жизненный путь. Гоголь по бедности тоже принужден был селиться довольно высоко, оригинально оправдываясь при этом перед тщеславной матерью: «Сам государь занимает комнаты не ниже моих; напротив, вверху гораздо чище и здоровее воздух» (X, 184). Зато в разговоре с единомышленником понятие «чердака» окрашивается у Гоголя иной, патетической интонацией: «Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой чердаку!» (X, 378). Такая интонация, по-видимому, должна была играть существенную роль в задуманном Гоголем произведении.



Из письма Одоевского к Пушкину видно, что и Гомозейко, и Рудый Панек (в отличие от Белкина) свой вклад в «Тройчатку» уже в значительной мере подготовили. Что касается Одоевского, то, возможно, подразумевалась его повесть «Княжна Мими», появившаяся позднее в «Библиотеке для чтения» (1834); с замыслом же Гоголя с наибольшей вероятностью связывают его фрагменты «Страшная рука» и «Фонарь умирал» (Виноградов, 1976, с. 79). Заглавие первого фрагмента, кстати, сразу же выдвигает на видное место понятие «чердак»: «Страшная рука, повесть из книги под названием: Лунный свет в разбитом окошке *чердака* на Васильевском острове в 16-ой линии».

Но произведение для «Тройчатки» так и не было закончено. 9 ноября Гоголь пишет Максимовичу, что у него «есть сто разных начал», среди них, очевидно, и фрагменты петербургской повести.

Внешне в положении Гоголя не происходит никаких перемен, разве что в апреле 1833 года у Марьи Васильевны родился сын, названный в честь ее брата Николаем.

Лето этого года выдалось жарким и душным, и Гоголь живет на даче в Стрельне до самой осени. А по возвращении в город поселяется в новой квартире на Малой Морской в доме Лепеня (впоследствии ул. Гоголя, д. 17), где живет три года, вплоть до отъезда за границу в июне 1836 года.

К концу 1833 года в занятиях Гоголя вновь на первый план выходят исторические труды. В упомянутом письме к Максимовичу он говорит, что теперь «принялся за историю нашей единственной, бедной Украины» и что в настроении его намечается перемена: «Ничто так не успокаивает, как история. Мои мысли начинают литься тише и стройнее». А за историей Украины встает еще другой колоссальный замысел — Всемирной истории. 11 января 1834 года Гоголь сообщает Погодину: «Я весь теперь погружен в Историю Малороссийскую и Всемирную; и та и другая у меня начинают двигаться. Это сообщает мне какой-то спокойный и равнодушный к житейскому характер. < ... > Ух, брат! Сколько приходит ко мне мыслей теперь! Да каких крупных! полных, свежих! мне кажется, что сделаю кое-что не-общее во всеобщей истории».

Подъем настроения, прилив творческих сил связаны с возникшим планом переезда в Киев. В Киеве готовится к открытию новый университет им. Св. Владимира, и у Гоголя заронила мечта получить там кафедру всеобщей истории. Он подбивает и Максимовича оста-

вить Москву и переселиться в Киев; при этом он не прочь и пофронтировать в определенном духе: «Бросьте в самом деле кацапию, да поезжайте в гетьманщину»; «туда, туда! в Киев! в древний, в прекрасный Киев! Он наш, он не их, не правда?» Но все же это скорее игра, в конце концов и русского Погодина он хотел бы взять с собой в Киев. Украинофильство Гоголя не носит сепаратистского характера прежде всего ввиду ощущаемой им своей главной жизненной задачи. Он по-прежнему видит перед собою поприще широкой, общероссийской деятельности — пусть эта деятельность будет научной и литературной.

Гоголь делится с Пушкиным своими планами, открывает ему свое воодушевление: «Я восхищаюсь заранее, когда воображу, как закипят труды мои в Киеве. Там я выгружу из-под спуда многие вещи, из которых я не все еще читал вам. Там кончу я историю Украины и юга России и напишу Всеобщую историю. <!..> А сколько соберу там преданий, поверьев, песен и проч.!» (X, 291). Обратим внимание на обещание продолжить вещи, которые он еще не читал Пушкину (как раз незадолго перед этим состоялось чтение «повести о ссоре»), — оно говорит о том, что, наряду с научными трудами, наряду с собирательской деятельностью, Гоголь рассчитывает с новыми силами приняться за художественные произведения.

Гоголь мечтает: «Да превратится он [Киев] в русские Афины, богоспасаемый наш город!»

Чтобы добиться назначения, Гоголь набрасывает на бумагу свои мысли о предстоящем курсе всемирной истории. Записка предназначена для С. С. Уварова, управляющего Министерством народного просвещения (позднее, с апреля 1834 г., — министра). Одновременно, в письме к Пушкину от 23 декабря 1833 года, Гоголь говорит весьма лестные слова об Уварове: мол, его речь о Гете отличается «исполненными ума замечаниями и глубокими мыслями»; в статье о гекзаметре «столько философического познания языка и ума быстрого» — и вообще «он у нас более сделает, нежели Гизо», бывший также министром народного просвещения. Гоголь рассчитывает, что Пушкин, находившийся еще в лояльных отношениях с Уваровым, сумеет довести до сведения последнего то, как его почитает претендент на киевскую кафедру.

Завершилась история с Киевским университетом лишь в следующем, 1834 году.

Что же касается года 1833-го, то почти весь он прошел у Гоголя в метаниях и кризисах. Гоголь разрывается между историей и литературой, между Петербургом и Киевом, между разными произведениями и замыслами. В глубине частных противоречий скрывается другое, более кардинальное, сформулированное самим Гоголем: «Мелкого не хочется! великое не выдумывается!» (X, 257). «Мелкое» в этот период для него равносильно маленькому, а «великое» — большому, пространному.

Гоголь прямо-таки одержим гигантоманией. «Земля и Люди» намечена «в трех, если не в двух томах». «История Малороссии» будет «или в шести малых, или в четырех больших томах». Надо думать, что во «Всеобщей истории» томов будет еще больше; ведь Гоголь задумал ее в таком виде, в каком «до сих пор, к сожалению, не только на Руси, но даже и в Европе» нет. И, работая, он все порывается ее расширить — жалеет, «что не взял шире, огромное объему...».

Упоминая о начатом, Гоголь говорит о «двух огромных творениях». Он мечтает написать «увесистую вещь». Погодину он тоже желает издать «том широкий, увесистый». В этом свете «Вечера на хуторе...» кажутся ему не стоящими внимания: «Да обречутся они неизвестности! покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня».

Пространственный объем зависит от объема содержания. Большое — это всеобъемлющее, воплощающее нечто существенное жизни и мироздания. Углубляясь в произведение, испытываешь ощущение, что остаешься «сам как будто на земли, а пред тобою небо открывалось» (X, 246), — Гоголь вольно цитирует гетевского «Фауста» в переводе Д. Веневитинова. Его стремление к всеобъемлющему совпало с господствующим романтическим и общефилософским настроением, всегда тяготевшем к предельному, к Универсуму.

Гоголь проявляет интерес и к экстраординарному, фрагментарному, частному, отклоняющемуся от нормы, но несущему в себе глубокий скрытый смысл. Поэтому его внимание привлекают повести В. Одоевского из задуманного цикла «Дом сумасшедших», в частности «Последний квартет Бетховена»: «...это ряд психологических явлений, непостижимых в человеке!» (X, 248). Гоголь и сам занят обдумыванием таких «непостижимых явлений» — в «чердачном» произведении для «Тройчатки» и в других фрагментах, из которых позднее вырастут «Невский проспект», «Записки сумасшедшего» и т. д. Но главные свои устремления он пока связывает с универсаль-

ным направлением. Проблему своего творчества он видит в том, чтобы подняться над уровнем психологических и иных «явлений» к объемному и многогранному труду.

Если с этой точки зрения посмотреть на исторические штудии Гоголя, то выясняется вопрос, почему его привлекают преимущественно две темы: всемирная история и история Украины; почему отсутствует, скажем, история России.

«Всеобщая история, в истинном ее значении, — читаем мы в гоголевской статье, созданной на основе его записки Уварову, — не есть собрание частных историй всех народов и государств без общей связи. < ... > Предмет ее велик: она должна обнять вдруг и в полной картине все человечество, каким образом оно из своего первоначального, бедного младенчества развивалось, разнообразно совершенствовалось и наконец достигло нынешней эпохи» (VIII, 26). Всеобщая история соединяет в одно целое континенты, народы — и дисциплины, например, географию с историей. Это излюбленная мысль Гоголя, развивавшаяся им еще в статье «Несколько мыслей о преподавании детям географии». Отсюда, между прочим, ясно, что задуманные им теперь «Земля и Люди» — это не два труда, по истории и географии, а один — по истории с географической, так сказать, подкладкой. «География должна разгадать многое, без нее неизъяснимое в истории. Она должна показать, как положение земли имело влияние на целые нации; как оно дало особенный характер им...» (VIII, 27—28). Это тоже излюбленные размышления Гоголя, возникшие под влиянием известной теории Монтескье.

Все, что не находится на уровне всемирной истории, исключается из ее пределов. «Происшествие, не произведшее влияния на мир, не имеет права войти сюда». Значит, и не каждый народ, не каждая страна — достойный объект историка. Малороссия имеет такое право — и вот почему.

Мало сказать, что народ южной Украины, а точнее, запорожцы, казачество, в течение продолжительного времени, четырех веков, жили самостоятельной самобытной жизнью; мало сказать также, что географическое местоположение и климат, как водится, наложили на запорожцев свой отпечаток. Главное то, что этот народ составил «одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное разлитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу» (VIII, 46). Затем, в новое время Украина «совершенно слилась с Россией», но свою роль она

уже выполнила и поэтому достойна войти во всеобщую историю. У России тоже есть всемирно-историческая заслуга — она сокрушила полчища Наполеона «о неприступные твердыни свои» и тем самым содействовала тому, что государства Европы восстановили свой «прежний вид и прежние формы» (VIII, 35). Но роль России еще не исполнена, еще в будущем, и это требует от исследователя известной сдержанности и осторожности; в отношении же Украины он вправе судить увереннее и решительнее, как о совершившемся факте.

Поставить перед собой задачу создания такой истории или, вернее, таких историй — всеобщей и украинской — значит обречь себя на огромные трудности касательно выработки концепции, собирания материала, поиска источников. Уже здесь проявилось характерное для Гоголя стремление чуть ли не к абсолютному, в то время как его силы были ограничены характером предшествующей подготовки, объемом знаний, наконец, просто скромным владением языками: он не без напряжения читал французские тексты и с еще большими трудностями — латинские и немецкие.

Нельзя отождествлять, конечно, научные замыслы Гоголя с художественными, но показательно, что и в этой области обнаружилось несколько похожие трудности. Пьеса «Владимир 3-ей степени», как можно судить по сохранившимся фрагментам, представляла собою развитие нескольких комедийных мотивов — здесь и честолюбивые устремления петербургского чиновника Ивана Петровича Барсукова, домогавшегося ордена Св. Владимира 3-ей степени и в результате неудачи, краха лишившегося рассудка и помешавшегося на том, что он и есть желанный орден; здесь и мотив родственной зависти, соперничества между Барсуковым и его братцем; здесь и матримониальные затеи Повалищевой, пытающейся женить своего сына на княжне Шлепехостовой, и многое другое. Гоголь действительно как бы одним махом решил доказать мысль, высказанную еще в Москве С. Т. Аксакову, что столичная светская жизнь (и не только столичная, поскольку братец Барсукова Хрисанфий Петрович является из провинции) скрывает в себе неистощимые источники подлинного комизма. Гоголевский замысел был в своем роде энциклопедичен или, правильнее сказать, эклектичен. В качестве причины остановки в работе над пьесой он ссылался лишь на цензурные опасения, но посвященный в ход дела П. Плетнев выдвигал и другое объяснение. «Его комедия не пошла из головы, — сообщал он Жуковскому 11 марта 1833 года. — Он слишком много хотел обнять в ней, встречал

беспрестанно затруднения в представлении и потому с досады ничего не написал» (Плетнев, с. 528).

В то же время и другой художественный замысел Гоголя этой поры — повесть для «Тройчатки» — таил немалые трудности. Еще В. Виноградов обратил внимание на «одну смущающую деталь»: в сообщении Одоевского о предполагаемой коллективной книге Гоголь фигурирует под маской Рудого Панька. Поскольку трудно было предположить, что повествование о петербургских «чердаках» хоть как-то связано с позицией диканьского пасечника, напрашивался вывод, что Одоевский имел в виду лишь «привычное для той поры литературное имя Гоголя — и несколько этим упоминанием не характеризовал стилистических форм повести о чердаке» (Виноградов, с. 79—80). С этим можно согласиться, но при одном уточнении.

В. Одоевский иносказательно характеризовал и авторство Пушкина — с помощью фигуры Белкина, при этом спрашивая, что думает об этом предприятии «сам Александр Сергеевич», он оттенял их несовпадение. Вместо себя он также выставлял Гомозейку — «собирателя» вышедшей в том же году книги «Пестрые сказки, с красным словцом, собранные Иринею Модестовичем Гомозейкою, магистром философии и членом разных ученых обществ, изданные В. Безгласным» (СПб., 1833). Общее у всех трех фигур было то, что они являлись *посредниками* между произведением и настоящим автором (у Одоевского он один из посредников, наряду с В. Безгласным), причем из них наименее подходящим для предполагаемого «столичного» материала был именно Рудый Панько, что, видимо, в немалой степени затрудняло Гоголя. Он еще сохранял упоминание о Рудом Паньке в заглавии создаваемой им в это время «Повести о том, как поссорился...», но в последующих своих книгах решительно отказался от какого-либо посредника. Скорее всего, это произошло уже в незавершенной повести для «Тройчатки».

Кончался 1833 год, такой трудный, мучительный. Киевские мечтания, выдвижение на первый план исторических замыслов не сняли противоречий, но разрядили напряжение, вдохнули новые надежды.

Гоголь чувствует, что наступающий год будет решающим и обращается к нему со страстной, вдохновенной речью. Четыре года назад он обращался с клятвенным заверением, с мольбой о поддержке к пушкинскому «Борису Годунову»; теперь его адресат — само время.

Гоголь еще не знает, где развернутся его труды — в Петербурге или в Киеве, «среди ли этой кучи набросанных один на другой домов,

гремящих улиц, кипящей меркантильности» или под южным украинским небом, где течет «мой чистый и быстрый мой Днепр», но он верит, что вдохновение не оставит его.

И он уповает на своего «гения»: «Ты, от колыбели еще пролетавший с своими гармоническими песнями мимо моих ушей, такие чудные, необъяснимые донине зарождавший во мне думы, такие необъятные и упоительные лелеявший во мне мечты...» Вот как далеко, к самой «колыбели», простирается гоголевское сознание своей предопределенности и отмеченности высшей силой («гением»), и мы, знающие его еще юношеские заверения о предстоящем подвиге, видим, что здесь не содержалось никакого хронологического смещения.

Сам, так сказать, жанр обращения к «гению» был не нов; Гоголю, видимо, он был подсказан В. Жуковским:

О Гений мой, побудь еще со мною;  
Бывалый друг, отлетом не спеши;  
Останься, будь мне жизнью земною,  
Будь ангелом-хранителем души.

(«К мимопролетевшему знакомому  
гению», опубл. 1820.)

Но Гоголь внес в это обращение столько экспрессии, задушевности, мольбы, что, кажется, само существование его немедленно пресечется, если в просьбе будет отказано; впрочем, отказать ему уже просто невозможно: «Я на коленях, я у ног твоих! О не разлучайся со мною! Живи на земле со мною хоть два часа каждый день, как прекрасный брат мой. Я совершу... Я совершу! Жизнь кипит во мне. Труды мои будут вдохновенны. Над ними будет веять недоступное земле божество! Я совершу... О поцалуй и благослови меня!»

## СРЕДИ «ОДНОКОРЫТНИКОВ»

С «арены», на которой Гоголь вел напряженную борьбу со всяческими препятствиями, он имел обыкновение сходить время от времени «в уединенный круг своих приятелей», где можно было если не отдохнуть — «в это время он не отдыхал почти никогда, но жил постоянно всеми своими способностями», — то, по крайней мере, отвлечься и переменить обстановку. Круг этот был составлен преимущественно нежинскими «однокорытниками», к которым, с большей или меньшей степенью близости, примкнули и другие лица. Среди них находился и автор только что процитированных слов Павел

Васильевич Анненков, молодой чиновник Министерства финансов (с 1833 г.), в недавнем прошлом студент Петербургского горного института и историко-филологического факультета Петербургского университета.

Согласно уточнению Анненкова, он познакомился с Гоголем еще в 1832 году, скорее всего под влиянием «Вечеров на хуторе...», когда их автор сделался литературной знаменитостью, подобно магниту притягивавшей к себе людей молодых и безвестных. По-видимому, вначале Анненков встречался с ним не часто и дома у него не бывал. Свой рассказ он начинает с квартиры Гоголя на Малой Морской, а это значит, что общение с писателем протекало в основном после лета 1833 года.

«...Я живо помню темную лестницу квартиры, маленькую переднюю с перегородкой, небольшую спальню, где он [Гоголь] разливал чай своим гостям, и другую комнату, попросторнее, с простым диваном у стены, большим столом у окна, заваленным книгами, и письменным бюро возле него» (Анненков, 1983, с. 59–60). По словам мемуариста, ему довелось не раз бывать в этой квартирке. Здесь он встречал двух самых близких друзей Гоголя — А. Данилевского и Н. Прокоповича.

Александр Данилевский, пережив свой неудачный кавказский роман, вернулся в Петербург около 23 марта 1833 года. Он оставил военную службу и поступил на гражданскую, в Министерство внутренних дел. Зная о литературных интересах своего друга, Гоголь постарался познакомить его с Плетневым и В. Одоевским; у Плетнева же «Данилевский встречал также нередко Крылова и Пушкина» (Шенрок, т. 1, с. 362).

Вместе с Александром Данилевским, на одной с ним квартире жил какое-то время его брат Иван, окончивший нежинскую Гимназию высших наук в 1833 году, Иван Данилевский тоже бывал у Гоголя, пока не уехал на родину в свои Семереньки.

Что же касается Н. Прокоповича, то он по-прежнему писал стихи, увлекался театром, появляясь на сцене в третьестепенных ролях, и в довершение всего влюбился в актрису. В декабре 1832 года Гоголь писал Данилевскому, проживавшему еще на Кавказе, что «Красенькой (т. е. Прокопович — Ю. М.) заходилась не на шутку жениться на какой-то актрисе с необыкновенным, говорит, талантом, лучше Брянского», а в октябре следующего года сообщал В. Гарновскому как уже о свершившемся факте: «Прокопович Николай женился на мо-



лоденькой, едва только выпущенной актрисе». Это, как сообщает биограф Прокоповича, Марья Никифоровна Трохнева, дочь коллежского советника (Лицей, 1881, с. 424).

К концу 1832 года в Петербург приехал и брат Николая Прокоповича Василий, только что окончивший Гимназию высших наук. Он тоже бывал у Гоголя, который называл его «драгуном» — «такой молодец с себя! с страшными бакенбардами и очками, но необыкновенный флегма». Чтобы продемонстрировать флегматичность Василия Прокоповича, Гоголь приводит эпизод, характеризующий свободные нравы «однокорытников».

Тотчас по приезде Василия Прокоповича в Петербург «братец, чтобы показать ему все любопытное в городе, повел его на другой день в бордель; только он во все время, когда тот потел за ширмами, прехладнокровно читал книгу и вышел, не прикоснувшись ни к чему, не сделав даже значительной мины брату, как будто из кондитерской». Это не помешало ему подхватить венерическую болезнь, как на то намекал Гоголь несколько месяцев спустя.

Позднее Василий Прокопович, так же как и его брат, сделался учителем и преподавал во втором кадетском корпусе в Петербурге. Умер он 11 ноября 1840 года.

Кто еще бывал на квартире Гоголя? Конечно, Иван Григорьевич Пащенко, служивший в Министерстве юстиции. Гоголь, хотя и подтрунивал над его страстью сочинять («известный лгунишка бумаги в юстиции пишет» — IX, 12), но ценил доброту, понятливость, ум и считал хорошим товарищем.

Бывал у Гоголя и В. И. Любич-Романович, который, как говорит Николай Васильевич, «идя в должность из Литейной на Гагаринскую (он служил в одном из департаментов Министерства юстиции. — Ю. М.), забегает по дороге ко мне в Малую Морскую» (X, 279). К его стихам, к его личности Гоголь относился терпимо, но иронически: «Романович не добыл ума ни на копейку...» (там же).

Появлялся у Гоголя и Николай Корнилович Бороздин, брат того самого Федора Бороздина, «Спиридона-Расстриги», который послужил предметом осмеяния в стихотворении «Се образ жизни нечестивой...». Николай Бороздин окончил Гимназию высших наук годом раньше Гоголя, служил в Министерстве иностранных дел. Он имел прозвище Благопристойный, был хром, что видно из гоголевского замечания, будто «его костыль получил такую гибкость, что он отваживается с ним даже плясать мазурку».

Встречался Гоголь и с Иваном Николаевичем Кобеляцким (или Кобелецким). В свое время они вместе поступали в Гимназию, причем Кобеляцкий выдержал экзамены весьма успешно, набрав 35 баллов (у Гоголя, напомним, — 22) и был переведен в третье отделение, в то время как Гоголь оставлен во втором (Лавровский, с. 138). Но в дальнейшем Кобеляцкий исчез с горизонта, видимо, не окончив Гимназии. Сообщая о встрече с ним в Петербурге, Гоголь упоминает лишь такой факт: «Кобеляцкий так же мастерски умеет плевать, как и прежде». Однако остальные не устаиваются даже такой характеристики: «Прочие лица так же бесцветны, как и прежде».

Словом, народ, собиравшийся вокруг Гоголя, его «однокорытники» или «одноборщники», был разношерстный. Большинство из них по-прежнему оставались скромными, незаметными людьми, но некоторые уже стали выбираться на поверхность, обратив на себя внимание литературными трудами, научной деятельностью. Это К. Базили, П. Лукашевич, П. Редкин и, конечно, Н. Кукольник.

К. Базили, вернувшийся из морской экспедиции в Петербург, поступил в декабре 1833 года в Азиатский департамент Министерства иностранных дел. Свободные часы посвящал литературной работе; еще находясь на военном корабле при вице-адмирале Рикорде, он вел журнал, который составил основу книги «Архипелаг и Греция в 1830 и 1831 годах» (СПб., ч. 1—2, 1834). Эта книга восполняла важный пробел: греческо-турецкие отношения привлекли к себе внимание всей Европы, «а у нас в России ни одно сочинение, никакие записки не говорят о сих происшествиях, как будто бы они были чужды России» (ч. 1, с. VI). Попутно Базили сообщал разнообразные сведения исторического и этнографического характера, с нескрываемым сочувствием рассказывал о греческом восстании, проводя параллель между современными событиями и героическим прошлым Греции: «Имя Греции невольно напоминает другую, лучшую эпоху ее существования; и путешественник, посещающий сию классическую страну, с любовью ищет на живописных ее пригорках древних храмов и памятников великого народа» (ч. 1, с. IV). В памяти Гоголя это место могло оживить строки из его «Ганца Кюхельгартена»:

Печальны древности Афин.  
Туманен ряд былых картин.  
Облокотясь на мрамор холодный,  
Напрасно путник алчет жадный  
В душе былое воскресить...

За первой книгой Базили последовали другие: «Очерки Константинополя» (СПб., ч. 1—2, 1835), «Босфор и новые очерки Константинополя» (СПб., ч. 1—2, 1836), которые укрепили репутацию их автора как дельного, добросовестного и даровитого писателя. Вот отзыв В. Белинского об «Очерках Константинополя», опубликованный в газете «Молва»: «Главное их достоинство заключается, без сомнения, в том, что они читаются с интересом, ни на минуту не ослабляющимся. <...> В его книге мы видим не сухой скелет, а живую Турцию, с ее угасшим, но еще по временам вспыхивающим фанатизмом, ее невежеством, варварским устройством, борьбою старого с новым...» (Белинский, т. 2, с. 112).

Гоголь и Базили, которые были дружны в нежинскую пору, встретились после возвращения последнего в Петербург (см. ниже свидетельство Мокрицкого), хотя период их наиболее тесного общения наступит значительно позднее (в феврале — апреле 1848 г., когда Гоголь в сопровождении Базили как русского консула в Сирии и Палестине посетит Иерусалим и другие ближневосточные города).

Около 1835 года появился в Петербурге еще один питомец нежинской Гимназии — П. Лукашевич.

Платон Акимович Лукашевич (1809—1887) вместе со своим братом Аполлоном поступил в Гимназию 24 августа 1821 года, в один год с Гоголем. Отец братьев Лукашевичей — майор Аким (Иоаким) Петрович (Сборник, с. 317). Одно время Платон Лукашевич был довольно близок Гоголю. Жалуясь Высоцкому 17 января 1827 года на то, что много его «товарищей удалилось», Гоголь называет Данилевского, отбывшего в Москву, и Лукашевича, переехавшего в Одессу. Последний перевелся в это время в Ришельевский лицей, который успешно окончил в 1828 году, получив право на чин X класса (Михневич, с. 153). Затем Лукашевич отправился за границу, где познакомился с выдающимися филологами и писателями Вацлавом Ганкой и Яном Колларом. Не без их влияния он занялся собиранием украинских песен.

Гоголь в первые годы петербургской жизни наводил справки о Лукашевиче: 2 октября 1833 года он запрашивает о нем проживающего на Украине В. Тарновского, равно как и о Высоцком и Редкине; 7 августа 1835 года он повторяет свой вопрос: «Не слышал ли чего-нибудь о наших, особенно о Лукашевиче старшем или о Высоцком?» Наконец Лукашевич приехал в Петербург — и увиделся с Гоголем (см. ниже запись Мокрицкого).

В это время Лукашевич готовил к печати собранные им произведения, которые вскоре увидели свет в книге «Малороссийские и червонорусские народные думы и песни» (СПб., 1836, ценз. разр. 6 мая). В предисловии «издатель», то есть Лукашевич, отмечал, что его сборник прибавляет новые образцы к имеющимся уже известным собраниям песен Срезневского и Максимовича. Все это находилось в русле интересов Гоголя, и легко представить себе, что при встречах они затрагивали общую тему, а возможно, и спорили, ибо придерживались разных взглядов на современное бытование украинских песен.

Гоголь (как и И. Срезневский в «Запорожской старине») говорит об украинских песнях как о живом явлении, продолжающем свое существование и по сей день, о явлении, как бы лично им услышанном и пережитом. Этот взгляд отразился в его статье «О малороссийских песнях», опубликованной в 1834 году в «Журнале Министерства народного просвещения» (ч. 2, № 4) и затем включенной в «Арабески» (1835): «...лучшие песни и голоса слышали только одни украинские степи: только там, под сенью низеньких глиняных хат, увенчанных шелковицами и черешнями, при блеске утра, полудня и вечера, при лимонной желтизне падающих колосьев пшеницы, они раздаются, прерываемые одними степными чайками, вереницами жаворонков и стеньжими иволгами».

У Лукашевича был другой взгляд на этот предмет; в предисловии к упомянутой выше книге он утверждал, что «народные песни давно уже не существуют; все они исключительно заменены солдатскими или великороссийскими песнями». «Проезжайте всю Малороссию вдоль и поперек, и я ручаюсь вам, что вы не услышите ни одной национальной песни. <...> Одни только свадебные и другие обрядные песни уцелели» (с. 5, 6—7). Поэтому изданные Лукашевичем песни подслушаны у «старцев, занесших одну ногу во гроб»; так дума о Самойле Кишке «списана в Полтавской губернии точь-в-точь со слов бандуриста-слепа» (с. 7, 15).

Во всяком случае, встречи и беседы с Лукашевичем были интересны Гоголю, и впоследствии, уехав за границу, Николай Васильевич справлялся о нем. Например, в письме к Прокоповичу из Парижа от 25 января 1837 года: «...Что делает Лукашевич? Уехал ли он за границу или нет? и если не уехал, то почему? и что делает он теперь? Пожалуйста, передай ему мой поклон и скажи ему, что я надеюсь с ним увидеться»<sup>62</sup>.

Продолжал встречаться Гоголь и с такими выдающимися питомцами нежинской Гимназии, как П. Редкин и Н. Кукольник. Однако в число ближайших друзей Гоголя они не входили — по разным причинам, конечно.

С Редкиным у Гоголя с давних времен сохранялись теплые отношения, была у них и некоторая общность научных интересов: с одной стороны, исторические штудии Гоголя, с другой — интенсивные (и притом более систематичные и профессиональные, чем у Николая Васильевича) занятия Редкина и в области философии, и в области истории и истории права (он, в частности, слушал лекции немецкого ученого Ф.К. Савиньи, главы исторической школы). Однако, едва возвратившись в 1834 году из-за границы и получив степень доктора прав в Петербургском университете, Редкин вскоре переехал в Москву, где с сентября следующего года начал читать курс законовения в Московском университете. Из этого еще надо вычесть летние месяцы, когда Редкин уезжал на родину, чтобы, как говорит Гоголь, после долгой отлучки «полобызаться с батюшкою». Поэтому, несмотря на взаимную симпатию, общение обоих приятелей было кратким и эпизодичным.

Что же касается Кукольника, то Гоголь встречался с ним довольно часто (к началу 1833 г. Кукольник вновь приехал в столицу, поступив 27 апреля в канцелярию Министерства финансов) — и у себя дома, и у общих знакомых; но по-прежнему их разделяло несходство характеров, темпераментов, а больше всего — художественных вкусов.

Кукольник мог быть и живым, остроумным, порою даже соперничая в этом отношении с Гоголем. М. Ф. Каменская, дочь вице-президента Академии художеств Федора Толстого, рассказывает о совместном посещении их дома Кукольником и Гоголем: «...воскресенья наши, с появлением у нас Кукольника, оживились еще больше. < ... > За ужином вместе с Николаем Васильевичем Гоголем и Василием Ивановичем Григоровичем (конференц-секретарем той же Академии. — Ю. М.) рассказывал такие хохлацкие анекдоты, что от них можно было умереть со смеху. < ... > Правду сказал про него папенька, он был именно “душа компании”» (Каменская, с. 210).

А то находили на Кукольника припадки тоски. «...Не терпит людности, — сообщал Гоголь Данилевскому 8 февраля 1833 года, — и выберет такое время прийти, когда я один, и тогда или душит трагедией, или говорит так странно, так вяло, так непонятно, что я решительно не могу понять, какой он секты, и не могу заметить никакого направления в нем».

Трагедией, которой Кукольник «душил» своего слушателя, возможно, был «Торквато Тассо», начатый еще в гимназическую пору и затем многократно переделанный и переписанный. В 1833 году произведение наконец вышло в свет; за ним последовали другие его драмы: «Рука Всевышнего отечество спасла» (1834), «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1835), «Роксолана» (1835) и т. д. Изобилующие эффектным сценами, броскими сравнениями и метафорами (ср. Гоголь: «сравненьями играет, как мячиками...»), эти пьесы имели шумный успех. В своем роде Кукольник сделался не меньшей знаменитостью, чем Гоголь. О. Сенковский в специальной статье, посвященной драматической фантазии «Торквато Тассо», назвал ее автора «юным нашим Гете» (БЧ, 1834, т. 1, отд. 5, с. 29).

Вскоре слава Кукольника приобрела несколько скандальный оттенок, поскольку из-за неодобрительного отзыва на понравившуюся самому царю пьесу «Рука Всевышнего...» был закрыт журнал Н. Полевого «Московский телеграф», где отзыв был опубликован. Но это не уменьшило популярности драматурга. Спустя много лет в некрологической заметке о Кукольнике известный литератор Н. Ф. Павлов писал: «Кто из людей той эпохи не помнит знаменитую в то время драму «Рука Всевышнего отечество спасла»? Кто не приходил в восторг от его «Тассы», «Князя Холмского», «Джулио Мости», «Роксоланы» и «Скопина-Шуйского»?» (РВд, 1868, № 277).

На этот вопрос можно ответить определенно: «не приходил в восторг» Гоголь, который издавна, с гимназических времен, питал неприязнь к самому стилю, к эстетике творчества Кукольника. Ненавидя «идеальничанье в искусстве», говорит Анненков, Гоголь «никак не мог приучить себя к трескучим драмам Кукольника». Но, собственно, он и не старался это сделать; неизвестно, кстати, посетил ли Гоголь хоть один спектакль по его пьесам, которые с шумным успехом шли на сцене Александринского театра, — кажется, он так их и не видел.

Гоголь избегал публично высказывать свое отношение к пьесам Кукольника; лишь несколько позднее в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» («Современник», 1836, № 1) он коснулся произвольности суждений Сенковского о Кукольнике и тем самым затронул творчество последнего: «Он [Сенковский] первый поставил г. Кукольника наряду с Гете и сам же объявил, что это сделано им потому только, что так ему вздумалось». Но, несмотря

на сдержанность Гоголя, Кукольник чувствовал, знал, как тот относится к его произведениям, и очень от этого страдал. Быть может, его странные визиты к Гоголю, докучливое чтение своей трагедии проистекали из упорного, но тщетного желания добиться признания своего бывшего однокашника.

Гоголя и Кукольника отдаляло друг от друга и то, что они вращались в основном в разных литературных сферах. Хотя Кукольник и был знаком с Пушкиным (с конца марта 1834 г.) и изредка встречался с ним у третьих лиц, но он не имел доступа в пушкинский круг. Причина заключалась опять-таки в несходстве характеров и художественных вкусов. 30 марта 1832 года Гоголь писал А. Данилевскому о Кукольнике: «Пушкина все по-прежнему не любит. Борис Годунов ему не нравится». Со своей стороны, Пушкин после первой встречи с поэтом зафиксировал в своем дневнике (запись от 2 апреля 1834 г.) противоречивое впечатление: «он, кажется, очень порядочный молодой человек», «хороший музыкант», но неизвестно, «имеет ли он талант». Никакого интереса к произведениям Кукольника Пушкин не обнаружил: «Я не дочел его «Тасса» и не видал его «Руки» etc.»

Обычная «среда обитания» Кукольника — совсем другая, в которой Гоголь не бывал или бывал весьма редко: это «четверги» у Греча и особенно собиравшаяся у К. Брюллова «братия». В нее входили еще брат Нестора Кукольника Платон, композитор М. И. Глинка и «их бессменный Фальстаф» художник Я. Ф. Яненко (РС, 1878, № 22, с. 667). Появлялся среди них и композитор А. С. Даргомыжский, многим обязанный Н. Кукольнику: «Пример Глинки и дельные советы Н. В. Кукольника заставили меня серьезнее заняться изучением теории музыки» (Даргомыжский, с. 5). В этом кружке порою обсуждались проблемы теоретические и художественные.

Гоголевский же кружок выглядел по-иному. Своеобразная установилась здесь атмосфера: хоть разговор порою затрагивал и весьма серьезные предметы, надо всем, казалось, безраздельно «царствовала веселость». Об этом есть несколько прямых и косвенных свидетельств; приведу малоизвестное: в 80-е годы прошлого века журналист А. Иванов сослался на воспоминания «современника г. К-го», «с которым, — говорит Иванов, — я на днях беседовал и которого благодарю здесь за любезное сообщение некоторых сведений о Гоголе». «...В то время господствующим качеством (*qualité maitresse*) Гоголя была необыкновенная сила общительного юмора при большой скрытности характера. Когда Гоголь читал или рассказывал, он вы-

зывает в слушателях неудержимый смех, в буквальном смысле слова — смешил их до упаду. Слушатели задыхались, корчились, ползали на четвереньках в припадках истерического хохота. Любимый род его рассказов в то время были скабрзные анекдоты, причем рассказы эти отличались не столько эротической чувственностью, сколько комизмом во вкусе Рабле. Это было малороссийское сало, посыпанное крупною Аристофановскою солью» («Порядок», 1881, № 28).

Автор этого весьма колоритного свидетельства — «г. К.» — не раскрыт. Полагаю, что это Андрей Александрович Краевский (1810—1889), выпускник Московского университета, с 1834 года помощник редактора «Журнала Министерства народного просвещения», впоследствии — известный журналист, издатель «Отечественных записок», «СПб. ведомостей» и «Голоса». Краевский общался с молодым Гоголем: около 1833 года он передал ему записку Погодина (X, 268); есть сведения, что он встречался с Гоголем у Плетнева и у себя дома. Свидетельство другого современника подтверждает, что Краевский судил о веселости Гоголя не понаслышке: «Вечер (3 января 1836 г. — Ю. М.) провел у Краевского. Там было довольно молодежи, был и Гоголь, всякую всячину рассказывал, множество анекдотов, очень замысловатых...» (Мокрицкий, с. 63). Дожив до глубокой старости, Краевский мог в 1881 году поделиться с журналистом своими воспоминаниями.

Участием слушателей «веселость» Гоголя поднималась и усиливалась. «Ему всегда нужна была публика. Случалось также, что в этих сходках на Гоголя нападала беспокойная, судорожная, горячая веселость — явное произведение материальных сил, чем-либо возбужденных» (Анненков, 1983, с. 62). Гоголевский биограф, опираясь на рассказы современников, отмечал, что писатель «любил проводить время в кругу земляков. Тут-то чаще всего видели его таким оживленным. < ... > Г. Прокопович вспоминает с восхищением об этой поре жизни своего друга. У него я видел портрет Гоголя, рисованный и литографированный Венециановым...» (Кулиш, 1854, с. 49). Этот единственный сделанный с натуры литографированный портрет Гоголя (Машковцев, с. 29) широко известен. Писатель предстает на нем жизнерадостным, веселым, но не без тени затаенного лукавства; он гонится за модой, стремится к шегольству, одет в узенький сюртучок, прическу венчает знаменитый кок, который С. Т. Аксаков назвал холком.



О веселом расположении Гоголя рассказывает со слов М. С. Щепкина А. Н. Афанасьев. Хотя эти зарисовки относятся преимущественно к пребыванию Гоголя в Москве (начиная с первого знакомства его с актером в 1832 г.), они, разумеется, сохраняют свою силу и применительно к петербургской поре. «В то время Гоголь еще был далек от тех мрачных аскетических взглядов на жизнь, которые впоследствии изменили его характер, <...> он бывал шутливо весел, любил вкусно и плотно покушать и нередко беседы его с М. С-м склонялись на исчисление и разбор различных малороссийских кушаний» (БЧ, 1864, № 2, отд. 11, с. 7). Гоголь придерживался «вкуса Рабле» не только в комизме и остротах, часто неприличных, но и в еде. Культ еды отмечает у Гоголя и его «однокорытников» и другой мемуарист: «Прятели сходились <...> также друг у друга на чайных вечерах, где всякий очередной хозяин старался превзойти другого разнообразием, выбором и изяществом кренделей, прибавляя всегда, что они куплены на вес золота. Гоголь был в этих случаях строгий, нелицеприятный судья и оценщик» (Анненков, 1983, с. 60). Свидетелями гастрономических увлечений Гоголя являлись и его сестры Лиза и Аня. Гоголь не прибегал к их женской помощи, обходился сам. «Вечерами у него бывали гости, но мы почти никогда не выходили; иногда он устраивал большие вечера по приглашению, и тогда опять всегда сам смотрел за всеми приготовлениями и даже сам готовил какие-то сухарики, обмакивая их в шоколад, — он их очень любил» (Быкова, с. 6).

Еда сопровождалась не только чаем, но и винным возлиянием, в котором Гоголь знал толк. «Винам он давал, по словам М. С. [Щепкина], названия «Квартального» и «Городничего», как добрых распорядителей, устрояющих и приводящих в набитом желудке все в должный порядок; а джонке (т. е. жженке. — Ю. М.), потому что зажженная горит голубым пламенем (цвет жандармских мундиров. — Ю. М.), — давал имя Бенкендорфа.

— А что? — говорил он Щепкину после сытного обеда. — Не отправить ли теперь Бенкендорфа? — и они вместе готовили джонку» (БЧ, 1864, № 2, отд. 11, с. 7)<sup>63</sup>.

Вдохновенно говорит Гоголь о вине в письме к Максимовичу: «Чем сильнее подходит к сердцу старая печаль, тем шумнее должна быть новая веселость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка доброго вина. Когда душа твоя потребует другой души, чтобы рассказать всю свою полугрустную историю, заберись в свою комнату и откупири

ее, и когда выпьешь стакан, то почувствуешь, как оживятся все твои чувства. Это значит, что в это время я, отдаленный от тебя 1500 верстами, пью и вспоминаю тебя» (X, 357). Гоголь несколько бравитует и преувеличивает, но он знает на собственном опыте, что вино, говоря его словами, есть средство, «не дурно действующее в рассуждении веселости».

Кажется, единственный, кому атмосфера гоголевского кружка виделась в другом свете, был А. Н. Мокрицкий. Вот характерная его запись, сделанная в 1835 году по поводу очередной годовщины открытия Гимназии высших наук: «1 октября положено у нас праздновать, и праздник этот ознаменовать не каким-нибудь добрым делом, а банкетом, где, кроме яств и напитков, ничего не употребляется. Такова наша молодежь! Собрались мы — я, Кукольник, двое Данилевских (Александр и Иван. — Ю. М.), Гоголь, двое Прокоповичей (Николай и Василий. — Ю. М.), Пашенко, Данченко, Лукашевич и Базили. И что же? Ели, пили, шумели и только. Веселости особенной не было, да и могла ли она быть? Разнохарактерность собравшихся во имя Нежинской гимназии не позволяла состояться банкету, как следовало. За обедом соединяло нас лишь одно вино, после обеда все разбрелось куда попало» (Мокрицкий, с. 44—45). Другая запись, 9 ноября 1835 года: «У Гоголя по-прежнему было шумно и скучно» (там же, с. 51).

Безрадостное настроение Мокрицкого во многом объяснялось его личными обстоятельствами. Прервавший из-за материальных лишений в конце 1833 года свои занятия в Академии художеств и уехавший на родину, Мокрицкий в ноябре следующего года вернулся в столицу, — но жизнь его не стала легче. Еще не добившийся признания, художник вел трудную и изнурительную борьбу за существование. Накануне упомянутой выше встречи однокашников «во имя Нежинской гимназии» он записывает в дневнике: «Ничто, кроме живописи, не радует меня. Нужда, нужда, скоро ли ты меня оставишь?» Встреча устраивалась вскладчину, но с Мокрицкого денег не взяли, и свои невеселые впечатления он закончил словами: «Я, присутствовавший там без платы, не должен быть неблагодарным, спасибо им, особливо моему доброму Нестору...»

Нестор Кукольник покровительствовал Мокрицкому, которого связывали с ним более сердечные отношения, чем с Гоголем. Несколько разнились и вкусы Мокрицкого и Гоголя. Художник благоговел перед великим Брюлловым, Karolus'om Magnus'om; когда в

Петербург доставили его «Последний день Помпеи», Мокрицкий разразился восторженной похвалой. Гоголь тоже, как мы еще будем говорить, восхищался этой картиной. Но вместе с тем Мокрицкий с удовольствием читал произведения Марлинского, проявил интерес к пьесе своего друга Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла» — и во всем этом он едва ли находил понимание со стороны Гоголя.

Для полноты картины отношений Гоголя и Мокрицкого нужно еще сказать об одном замысле художника. В августе 1835 года он решил «написать четыре головы — Кукольника, Редкина, Гоголя и Базили на одной холстине, заняв их чтением», — и «выполнить как можно лучше» (Мокрицкий, с. 42). Замысел интересен тем, что художник выбрал действительно самые значительные личности из числа питомцев нежинской Гимназии.

Кстати, благодаря дневниковым записям Мокрицкого мы можем несколько шире представить себе круг «однокорытников», чем это казалось раньше, и ввести в него ряд новых лиц. Так, среди участников праздничной встречи 1 октября 1835 года, помимо упоминавшихся уже выше Лукашевича и Базили, назван еще Данченко. Николай Федорович Данченко окончил Гимназию четырьмя выпусками позже Гоголя — в 1832 году — и служил в Министерстве государственных имуществ в Петербурге.

В другой раз (8 декабря 1834 г.) Мокрицкий встретил у Гоголя Халчинского. Иван Дмитриевич Халчинский (1810—1856) окончил нежинскую Гимназию в 1829 году вместе с Кукольниковым, на год позже Гоголя. В своем месте (в первой части этой книги) мы уже упоминали самую яркую черту Халчинского — способность к языкам, которая и определила его жизненный путь. По окончании Гимназии он переехал в Петербург и поступил в Министерство иностранных дел, в Департамент внутренних сношений. В 1832 году вместе с приехавшим в столицу другим нежинским «однокорытником» А. Бородиным принялся изучать английский язык (не преподававшийся в Гимназии) и перевел на русский язык «Восточные сказки» (т.е. «Альгамбру») Вашингтона Ирвинга (Лицей, 1881, с. 473; судьба перевода неизвестна). Этот факт мог обратить внимание Гоголя на американского писателя, особенно после того, как он уже слышал его имя в обидном для себя контексте: рецензент «Московского телеграфа», откликаясь на «Вечера на хуторе близ Диканьки», замечал, что он надеялся встретить в них хотя бы «пол-Вашингтона Ирвинга», да ошибся...

Впоследствии Халчинский, как и Базили, пошел по дипломатической части и служил генеральным консулом в княжествах Молдавии и Валахии.

Бывал в доме у Гоголя и Иван Павлович Симоновский; окончивший Гимназию в 1830 году Мокрицкий увидел его здесь 9 ноября 1835 года «после пятилетней разлуки»: Симоновский приехал из Москвы, где он служил чиновником особых поручений при Комиссариатской комиссии.

Таково было окружение Гоголя, действительно очень неровное, разноликое. Мокрицкий верно подметил, что именно разнохарактерность собравшихся мешала образованию более глубоких связей и выдвигала на первый план пиршественные интересы и атмосферу непритязательной веселости. В этом смысле кружок Гоголя, собственно, и не был кружком, каким бывали объединения единомышленников — Любомудров, потом Станкевича и его друзей, западников и т. д. В этих кружках шла напряженная жизнь, соответствовавшая тем трудам, которые осуществляли иные их участники. Творческая жизнь Гоголя не была равнозначна его пребыванию в кружке; первое неизмеримо выше второго; в кружок, по выражению Анненкова, он «сходил с шумного, трудового своего жизненного поприща», то есть как бы спускался сверху вниз. Это было место отдохновения, расслабления, собирания и восстановления сил. «Веселость» Гоголя неразлучна была с ощущением заслуженного превосходства, с осознанием уже сделанного и совершенного и верой в то, что предстоит нечто еще более значительное.

И все же атмосфера кружка, поскольку она определялась Гоголем, выглядела совсем не такой простой. Желание смешить и быть смешным — всегда лицевая сторона глубокого и сложного душевного процесса, означавшего одновременно преодоление грусти, уныния, смутности и спутанности ощущений. Это явственно обозначилось в первые месяцы и годы петербургской жизни, в пору создания «Вечеров на хуторе...». Теперь состояние Гоголя прояснилось и сделалось устойчивее, но не настолько, чтобы изменился весь его, как он любил говорить, душевный «состав». Тот же Анненков подметил «беспокойную, судорожную, горячечную» ноту в гоголевской «веселости» — в ней по-прежнему есть что-то от заклятия или заговаривания душевной боли. Именно в том письме к Максимовичу (от 22 марта 1835 г.), где упоминается о спасительном, освежающем действии «бутылки доброго вина», говорится и о том, что нельзя позволить «грустному и заунывному» «выходить

наружу». И Гоголь не позволял, он сдерживал злых духов — много успешнее, чем бывало раньше или будет впоследствии.

Кроме того, гоголевская «веселость» была преображенным выражением целого комплекса мыслей и ощущений — социальных, эстетических и т. д. Пусть серьезные вопросы обсуждались Гоголем среди «однокорытников» редко или приглушенно, — сама атмосфера давала понять об его умонаправлении. «На этих сходках царствовала веселость, бойкая насмешка над низостью и лицемерием, которой журнальные, литературные и всякие другие анекдоты служили пищей...» (Анненков, 1983, с. 60—61). В «веселости» таилось жало оппозиционности, происходило переименование принятой шкалы ценностей, подтачивание официальной иерархичности, что было родственно тому чувству, которое в связи с известной нам драмой Погодина Гоголь выразил открыто: «Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. < ... > А доказательство в наше время».

Иные свои «доказательства» и примеры Гоголь приводил в кругу одноклассников и в прямой форме, особенно если это была область литературная и эстетическая. О Вальтере Скотте, например, одном из самых злободневных и популярных в то время имен, Гоголь специально напишет в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» (опубликована в 1836 г.), но из воспоминаний П. Анненкова хорошо видно, что значение этого писателя он обсуждал еще и устно в своем кругу, причем обсуждал во вполне определенном духе: «Вальтер Скотт не был для него представителем охранительных начал, нежной привязанности к прошедшему, каким сделался в глазах европейской критики; все эти понятия не находили тогда в Гоголе ни малейшего отголоска. < ... > Гоголь любил Вальтер Скотта просто с художественной точки зрения за удивительное его распределение материи рассказа, подробное обследование характеров и твердость, с которой он вел многосложное событие ко всем его результатам» (Анненков, 1983, с. 63). Здесь у Гоголя был единомышленник в лице его ближайшего друга: еще в 1832 году в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» (№ 13) Н. Прокопович опубликовал стихотворение «К портрету Вальтер-Скотта», где тоже восхвалял шотландского романиста «просто с художественной точки зрения».

Твой мир естествен и прекрасен,  
Как радуга, и пестр и жив.  
Как майский день, беззлойно ясен  
И сердцу он красноречив!

В чем Гоголь действительно до конца был скрытен и избегал даже намеков, так это в своих творческих занятиях. «Он никогда не говорил с приятелями об ученых своих предприятиях и других замыслах, потому что хотел оставаться с ними искренним и таким, каким его знали сначала» (Анненков, 1983, с. 59). Но не говорил и в силу присущей ему скрытности и желания умолчать именно о том, что в настоящее время является самым важным. Зато внутренне он никогда не прекращал умственной деятельности: тот же мемуарист подметил на лице Гоголя «постоянную, как бы приросшую к нему наблюдательность». Она не покидала Гоголя в минуты рассеяния и отдыха, которые таким образом превращались в потаенную, протекающую в иных формах творческую работу.

Гоголь умел все обращать впрок. Как несколько лет назад в разговоре с Щепкиным в Москве он «подобрал» и отложил в тайники памяти эпизод с кошкой для будущих «Старосветских помещиков», так в беседах с петербургскими приятелями и знакомыми он запасался самым различным материалом для других своих произведений. Два случая П. Анненков называет с большой определенностью: один — рассказ некоего пожилого человека о привычках сумасшедших, рассказ, которым писатель воспользовался впоследствии в «Записках сумасшедшего»; второй — канцелярский анекдот о чиновнике, потерявшем ружье, преобразованный позднее в историю с шинелью. Эпизод с сумасшедшим мемуарист приводит как очевидец, и поскольку он слышал его в первое посещение им Гоголя на новой его квартире на Малой Морской, то хронологически все это можно приурочить ко времени после июля 1833 года, скорее всего к осени.

В кругу приятелей Гоголь умел быть одновременно откровенным и скрытным; то или иное его явное движение имело своей подкладкой другое, которое не выставлялось на обозрение, но лишь угадывалось, а иногда и не замечалось. Поэтому свидетельства очевидца, даже и такого пронизательного, как Анненков, поневоле односторонни, если верить их другими данными. Они более фиксируют конечный результат гоголевского поведения, нежели весь его глубокий душевный подтекст. Мы уже видели это на примере гоголевской «веселости» — нечто подобное происходило и с тем, что Анненков называл мистическим и дидактическим настроем писателя.

Возникновение такого настроения мемуарист относил к более позднему периоду, не замечая в раннем Гоголе никаких соответствующих симптомов. «Я все держусь <...> того мнения, что в первую пору

своего развития Гоголь был совсем свободным человеком, чрезвычайно искусно пробивавшим себе дорогу, а то, что кажется в нем порывами в иной мир, чем действительный, должно считать не более как маленьким, невинным плутовством, отводившим глаза и потешавшим людей, иначе настроенных, чем он. Лирическим субъектом он сделался вполне только тогда, когда успехи его внушили ему идею об особенном его призвании на Руси, не просто литературном, а реформаторском. Тогда он и заговорил с друзьями языком ветхозаветного пророка...» (Стасюлевич, с. 309).

П. Анненков не знал, что именно в то время, когда он, наблюдая Гоголя, приходил к подобному заключению, последний убеждал мать (письмо от 2 октября 1833 г.): «Я вижу яснее и лучше многое, нежели другие. В немногие годы я много узнал особливо по этой части, я исследовал человека от его колыбели до конца и от этого ничуть не счастливее. У меня болит сердце, когда я вижу, как заблуждаются люди. Толкуют о добродетели, о Боге, и между тем не делают ничего. Хотел бы, кажется, помочь им, но редкие, редкие из них имеют светлый природный ум, чтобы увидеть истину моих слов. Вы — другое дело, бесценнейшая маминька, вы понимаете меня в этом отношении».

Ни в каком «невинном плутовстве» автора этих строк не заподозришь; напротив, цель, которую он преследовал, была даже практической — подсказать правильный путь воспитания сестры Ольги, которое должно состоять в живых религиозных наставлениях и в напоминании о страшном суде и воздаянии. Свое избранничество Гоголь связывает уже с тем, что он лучше других знает это дело; знание же вытекает из различения истинного пути, равно как и постижения людской природы. Двадцатичетырехлетний молодой человек говорит тоном многоопытного мужа. Он уже ощущает внутреннюю потребность высказать добытое в тяжелом опыте сокровенное слово и, если еще не превращает эту потребность в обязанность, в свою миссию, то прежде всего в силу сомнений в том, захочет ли понять его каждый.

Гоголевское учительство еще не проявлялось в будничной жизни, среди знакомых, друзей, приятелей (поэтому-то Анненков его и не заметил), коснувшись лишь самых близких, может быть, пока только одной матери как единственной настроенной, по мнению Николая Васильевича, на ответную волну. Следовательно, гоголевское учительство было еще автономным, не пронизывая собою весь строй его чувств, настроений, связей с окружающими людьми, а также строй

его повседневных занятий. Значит, в большой мере автономным было и его творчество, научное и литературное — в разной степени, конечно, зависящим от направления деятельности и жанра. Ближе всего гоголевская учительная мысль придвигалась к его научным, историческим изысканиям (но отнюдь еще не сливаясь с ними); дальше же всего отстояла от сферы собственно художественного, и особенно комедийного, творчества. Писатель далек был еще от стремления слить свое творчество с некоей воспитательно-религиозной идеей, однако он уже имел ее предощущение, ее праобраз, как некий коррелят к своей деятельности. Повторю еще раз: гоголевская эволюция одновременно монотонна и прерывиста; каждая ее стадия находится внутри предыдущей, но осуществляется путем выдвижения вперед и усиления прежних элементов.

Возвращаясь к предмету этой главы — Гоголь среди своих друзей и знакомых, — следует еще отметить, что к началу 30-х годов восходит и обычай торжественно отмечать именины Николая Васильевича в летний Николин день, 9 мая. П. Анненков, участвовавший в таких торжествах, говорит, что обед давался обыкновенно вскладчину и что писатель являлся к нему в фантастическом наряде собственного изобретения. «Он надевал обыкновенно ярко-пестрый галстук, взбивал высоко свой завитой кок, облакался в какой-то белый, чрезвычайно короткий и распашной сюртучок, с высокой талией и буфами на плечах, что делало его действительно похожим на петушка, по замечанию одного из его знакомых [Белусова]».

Собиравшиеся у Гоголя наблюдали патриархальные отношения хозяина с его слугой. Яким Нимченко, «по воспоминаниям, был очень привязан к Гоголю, любил делать ему наставления в духе Осипа, но страдал слабостью к напиткам, чем иногда доводил поэта до раздражения» (Головня, с. 64). Примерно такую же картину рисует Анненков: «Гоголь обращался с ним [Якимом] совершенно патриархально, говоря ему иногда: «Я тебе рожу побью», что не мешало Якиму постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенных его пользах...» (Анненков, 1983, с. 60).

Иногда Гоголь обращался к более действенным средствам внушения, приводя в жизнь свою угрозу. Такой случай произошел еще в Васильевке, летом 1832 года, когда Яким с дружкой пошел за утками, пропадал три дня и вернулся пьяный не своим ходом, но так, что «чужие люди перенесли». «Я Акима больно»... — замечает по этому поводу Гоголь.



В Петербурге Яким приобщался и к другим удовольствиям, предоставляемым столичной жизнью. Однажды на масленицу он с Матреной ходил к балаганам, и Матрена, для которой все это было внове, по возвращении, крестясь от страха, рассказывала, «как при ее глазах разрезали человека на несколько частей, даже кровь лилась, и он, как ни в чем не бывало, ожил и начал ходить, кривляться и паясничать, как прежде; из маленькой девчонки вдруг сделалась огромная кухня с посудой, горшками и пр.» (X, 258).

Забегая вперед, добавлю, что по отъезде за границу в июне 1836 года Гоголь отправил Якима с женою и двумя детьми в Васильевку, а в своем духовном завещании перед смертью распорядился: «Якима отпустить на волю» (Шенрок, т. 4, с. 866).

## НА ПОДСТУПАХ К УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КАФЕДРЕ

Год, на который Гоголь возлагал столько надежд, к которому обращался с просьбой и мольбой, — наступил. «Уже 1834-го захлебнуло полмесяца», — а в положении его ничего не менялось.

Приподнятое настроение Гоголя тускнеет, вера в судьбу ослабевает. «Мне кажется, что судьба больше ничего не делает с нами, как только подтирается, когда ходит в нужник» (X, 292).

Тревожит медлительность и непонятные задержки с получением места в Киевском университете. Гоголь и Максимович, мы помним, решили отправиться в Киев вместе, первый — чтобы стать профессором всеобщей истории, второй — профессором русской словесности. Вначале у Гоголя все складывалось хорошо, а у Максимовича возникли трудности: управляющий Министерством народного просвещения Уваров высказал сомнение; как же это Максимович займет кафедру словесности, будучи только что избранным в Московском университете ординарным профессором ботаники. И Гоголь дает своему другу вполне практичные советы: «Бери кафедру ботаники или зоологии. А так как профессора словесности нет, то ты можешь занять на время и его кафедру. А там, по праву давности, ее отжилить, а от ботаники отказаться. А?» (X, 297).

Но вскоре положение изменилось: желание Максимовича было удовлетворено, а Гоголю все не давали окончательного ответа, и теперь уже Гоголь с той же практичностью просит своего друга оказать ему протекцию: «Когда будешь писать к Брадке (попечителю

Киевского учебного округа. — Ю. М.), намеки ему о мне вот каким образом: что вы бы, дискать, хорошо сделали, если бы залучили в университет Гоголя, что ты не знаешь никого, кто бы имел такие глубокие исторические сведения и так бы владел языком преподавания, и тому подобные скромные похвалы, как будто вскользь» (X, 310).

Неизвестно, выполнил ли Максимович эту просьбу, но у Гоголя и без того было немало ходатаев: помимо Пушкина и Жуковского, еще министр юстиции Д. В. Дашков, министр внутренних дел Д. Н. Блудов. Все четверо были знакомы с Уваровым еще по «Арзамасу», литературному обществу, в которое они входили. Да и сам Уваров, по словам Гоголя, был доволен его статьями, печатавшимися в «Журнале Министерства народного просвещения», «благоволил» к нему, и у нас нет оснований не верить этим словам.

А между тем дело все тянулось. Гоголь несколько раз бывал у С. Уварова, ставшего тем временем (в апреле 1834 г.) министром народного просвещения. Встречался он и с приезжавшим в Петербург Брадке — и безрезультатно.

Еще в марте Гоголь узнал, что на обещанное ему место прочат другого — некоего Цыха, который спустя месяц (21 апреля) прибыл в Киев и был назначен экстраординарным профессором всеобщей истории. Гоголю же предложили читать русскую историю. Он был раздосадован и оскорблен. «Чорт возьми, — писал он 8 июня Максиму, — они воображают, что у меня не достанет духу плюнуть на все. <...> Давши слово Жуковскому ожидать меня далее целый год и не отдавать никому кафедры всеобщей истории и через месяц отдать ее Цыху. Это досадно, право, досадно!»

Открытие университета Св. Владимира состоялось 15 июля в торжественной обстановке в присутствии многочисленных почетных гостей, среди которых был и знаменитый Иннокентий, в то время ректор Киевской духовной академии.

Максимович приехал в Киев буквально накануне торжества, 13 июля, и тотчас, помимо своей основной обязанности, получил другие: был назначен исполняющим должность первого ректора университета и избран деканом I отделения одного из двух факультетов — философского. Так высоко ценили в Киеве Максимовича! Чем же объяснялась неудача Гоголя?

Существует версия, что его отвергли по национальным мотивам: мол, один «упрямый немец», то есть фон Брадке, «предпочел Цыха,

тоже немца» (Степанов, с. 134). Или же по причинам чисто протекционного свойства: Бадке «резонно рассудил, что лучше поставить на теплое место своего человечка...» (Золотуский, с. 157).

А между тем ни тот, ни другой не были «немцами». Владимир Францевич Цых (1805—1837) происходил из чешской или венгерской семьи православного вероисповедания (Иконников, с. 726); родился он на Украине, в Харьковской губернии, и слыл «совершенно русским по натуре» (Буданов, с. 107). Сходное положение было и с Егором Федоровичем фон Бадке (1796—1861): происходя из шведских дворян, переселившихся в Россию во времена Петра I, он породнился с несколькими русскими фамилиями; если и была в нем немецкая кровь, то со стороны матери, ведшей свою родословную от пастора Глюка, основателя знаменитой школы в Москве. Словом, и Бадке «не был чужим в семье русского дворянства» (Буданов, с. 78). Подозревать его в антирусских или антиславянских устремлениях не приходится.

Не представлял собою Киевский университет и легкого поприща для службы, «теплого места»; скорее, наоборот — в напряженной национальной ситуации юго-западной России функционирование нового учебного заведения было чревато скрытыми конфликтами, которые и вышли на поверхность спустя всего несколько лет, причем именно Бадке поплатился за это своим местом. Следовательно, прежде всего надо сказать о ситуации, в которую был поставлен Киевский университет.

По мысли правительства, новый университет должен был стать оплотом русского просвещения на юго-западе империи; при этом в первую очередь принимались в расчет уроки только что подавленного польского восстания. Правительство стремилось нейтрализовать политические устремления поляков, а для этого деятельность в области образования, науки и культуры подготавливала соответствующую почву. «Слияние *политическое* не может иметь другого начала, кроме слияния *морального и умственного*» (курсив в оригинале. — Ю. М.). Исходя из этого, С. С. Уваров поставил перед университетом задачу — проводить «в пользу грядущих поколений умственное слияние сих начал [польского и русского] с надлежащим перевесом русского». «Новый университет должен был по возможности сглаживать те резкие характеристические черты, которыми польское юношество отличается от русского, и в особенности подавлять в нем мысль о частной народности, сближать его более и более с русскими поняти-

ями и нравами, передавать ему общий дух русского народа» (Буданов, с. 75, 76).

По существу это была программа подчинения одного народа другому («с надлежащим перевесом русского...»), однако подчинения не резкого, без эксцессов, постепенного. Постепенность и длительность ставились Уваровым во главу угла. Поэтому университет должен был привлекать к себе и поляков; вот почему многие (если не большинство) преподаватели были поляками — они перешли сюда из Волынского лицея (город Кременец), который считался «заведением совершенно польским и по учебному языку, и по составу преподавателей» (Рождественский, с. 151)<sup>64</sup>.

Брадке оказался идеальным человеком для проведения этой программы. Он был связан с высокими бюрократическими сферами (отец его одно время занимал должность вятского губернатора), участвовал в подавлении польского восстания 1830—1831 годов («совершил весь поход при Дибиче и Паскевиче»), что гарантировало его недвусмысленно официальную позицию в польском вопросе. В то же время Брадке был сторонником умеренной и осторожной политики в области просвещения; сказанные им на этот счет слова полностью соответствуют программе Уварова: «...сближение жителей западных губерний к русским правам и обычаям, уменьшение религиозного фанатизма в отношении к частному их вероисповеданию, содействие им любезным общего отечества» (Буданов, с. 83).

Первоочередным делом для Уварова и Брадке было создание сильной группы русских профессоров, представляющих, как говорили в свое время, «русский элемент». Таких преподавателей вначале насчитывалось всего четверо: помимо Максимовича и Цыха, еще профессор православного богословия И. М. Скворцов и профессор философии О. М. Новицкий (другие преподаватели: К. А. Неволин, С. О. Богородский и С. Н. Орнатский — прибыли в Киев годом-двумя позднее). Всех их объединяла, что называется, укорененность в местной жизни, а это соответствовало намерению Уварова — «обратиться к уроженцам южной России и, если возможно, к русским уроженцам самого юго-западного края, как к людям, более знакомым с местными условиями» (Буданов, с. 97). И действительно, Максимович был уроженцем Полтавской, Цых — Харьковской, Новицкий — Волынской губернии<sup>65</sup>. Скворцов, хотя и был выходцем из России (из Нижегородской губернии), но также связан с Украиной с молодых лет — он преподавал в Киевской семинарии и Киевской духовной академии.

Со всех этих точек зрения Гоголь вполне устраивал начальство — и как уроженец Полтавщины, и как представитель «русского элемента» (его украинское происхождение перед лицом польской проблемы отступало на второй план). Некоторую тень сомнения могла заронить лишь фамилия Яновский, однако к этому времени «прибавка» была уже отброшена<sup>66</sup>, все знали Гоголя именно как Гоголя (или как «пасичника Рудого Панька»); к тому же из его произведений, особенно из «Страшной мести», можно было отчетливо вычитать антипольскую ориентацию. Поэтому следует полагать, что Уваров имел вполне серьезные намерения относительно Гоголя. Вопрос решился именно сопоставлением с другим претендентом, то есть соревновательно.

Тут надо сказать, что Цых никак не заслуживает того пренебрежительного отношения, которое подчас проявляют к нему гоголевские биографы. Выпускник Харьковского университета, он был талантливым и знающим преподавателем. В Киеве он «пользовался громадным уважением у своих слушателей» (Иконников, с. 727). Этот вывод историка Киевского университета подтверждается другими свидетельствами, в том числе Ивана Боровиковского, племянника знаменитого художника (см. о нем выше, в главе «Учитель и соученик»). Иван Боровиковский, сокурсник Цыха, писал, что преждевременная смерть молодого профессора (он скончался в 1837 г. вызвала «всеобщее сожаление» (ХГВ, 1870, № 38).

Накануне прихода в Киевский университет, в 1833 году, Цых издал книгу, специально посвященную проблемам преподавания истории<sup>67</sup>. Книга, наряду с обширными знаниями, обнаруживает отчетливую ориентацию на достижения немецкого любомудрия: «Германия, рассадник истинных колоссов мира умственного, явила свету первое философско-историческое творение в известном сочинении великого Гердера» «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit» («Идеи к философии истории человечества»). «Лучшим руководством» по древней и новой истории Цых считал Герена, по средней — Раумера. Гоголь также испытывал пиетет перед Гердером, «уважал», как он говорил, Герена (несмотря на критические ноты по отношению к нему в письме к Погодину от 2 ноября 1834 г.), но — уступал Цыху в одном существенном пункте: тот успел защитить свою книгу в качестве магистерской диссертации. «Возможно, что именно наличие у Цыха ученой степени послужило главной и непосредственной причиной его предпочтения Гоголю» (Айзеншток,

с. 23). К этому мнению следует присоединиться с одним только дополнением: был принят в расчет облик претендента в целом.

Цых производил впечатление именно человека науки, склонного к систематическому, неспешному, целенаправленному труду. В речи, произнесенной на торжественном открытии университета, он выступил против утилитарных воззрений: «...нельзя требовать, чтобы сей новый рассадник просвещения принес полные плоды тотчас по своем насаждении... Дайте ему время созреть...» (Буданов, с. 89). Это соответствовало мысли Уварова и Брадке о длительности и постепенности «просвещения». Особую заинтересованность в подобном человеке проявлял Брадке, который отвечал за университет непосредственно, тем более что он, видимо, и лично знал Цыха гораздо лучше, чем Гоголя.

Гоголь недоумевал: почему Уваров все время тянет, играет с ним, как кошка с мышью. А потому, что министр лично против него ничего не имел, но прислушивался к задававшему тон Брадке.

Гоголь и сам прекрасно понимал, в чем невыгодность его положения, и пытался исправить дело. Эта невыгодность вытекала из конкретных обстоятельств, обуславливалась, как ни странно, его литературными достижениями.

Когда Гоголь в начале 1834 года опубликовал в «Северной пчеле» объявление о том, что он готовит «историю Малороссии», то И. И. Срезневский, молодой ученый-славист, откликнулся таким письмом: «...обрадован известием, что тот самый Писатель, который столь мило, столь искусно забавлял многочисленных читателей поэтическими рассказами об Украине под именем Рудаго Панька, хочет подарить украинцев и трудом важным — трудом, в котором, действительно, передается наша историческая литература...» (РС, 1892, № 3, с. 754).

В приведенных словах сквозит ощущение резкого контраста прежнего и нового Гоголя: с одной стороны — забавы, с другой — труд действительно «важный». Срезневский толкует этот контраст благожелательно, но были и такие, что воспринимали его с недоумением и недоверием по отношению к ученой деятельности Гоголя. Тут сам писатель оказался виноватым, создав свой собственный, необычайно впечатляющий, врезавшийся в сознание облик.

Поэтому, добиваясь кафедры, Гоголь позаботился о том, чтобы изменить в общественном сознании этот облик, как сказали бы сегодня — изменить свой имидж. Его статья «План преподавания все-

общей истории» заканчивалась так (цитирую первоначальный вариант, опубликованный в февральской книжке «Журнала Министерства народного просвещения» за 1834 г.): «Вот мой план, мои мысли и мой образ преподавания! Истинно понимающая душа увидит, что они не произведение мгновенной фантазии, но плод долгих соображений и опыта; что ни один эпитет, ни одно слово не брошено здесь для красоты и мишурного блеска, но их породило долговременное чтение летописей мира...» Под «истинно понимающей душой» Гоголь подразумевал в первую очередь Уварова, одоббившего статью к печати; писатель настойчиво убеждал влиятельного человека (а вместе с тем и других читателей), что не следует видеть в нем лишь творца произведений, кажущихся плодом стремительного вдохновения, что он способен на длительный, упорный, усидчивый труд.

В этом свете надо смотреть и на упомянутое выше извещение об «истории Малороссии», которое Гоголь поспешил опубликовать сразу в трех изданиях (помимо «Северной пчелы», еще в «Московском телеграфе» и «Молве»). Объявленная цель этого поступка — добиться широкого притока к нему, автору, необходимых рукописных материалов, что выглядело несколько утопично; по крайней мере, ни о каком таком широком потоке неизвестно. А необъявленная и куда более практичная цель состояла опять-таки в том, чтобы повлиять на его, Гоголя, репутацию, оттенить новые грани «образа автора» — как многолетнего и самоотверженного труженика науки: «Около пяти лет собирал я с большим старанием материалы. <...> Половина моей истории почти готова [вариант: уже готова]...» Это отнюдь не было хвастовством из гордости или тщеславия. Это была преднамеренная тактика, имевшая однако противоположный результат: и некоторые современники, и затем ученые заподозрили Гоголя в легкомыслии и «хлестаковщине».

Не удалось ему убедить и тех лиц, от которых зависело его определение в Киевский университет.

Для полноты картины упомянем, что существует и другая версия неудачи Гоголя, заключающаяся в его чрезмерных требованиях. Согласно А. Н. Никитенко, Гоголю «предложено было место экстраординарного профессора истории в Киевском университете. Но Гоголь вообразил себе, что его гений дает ему право на высшие притязания, потребовал звания ординарного профессора и шесть тысяч рублей единовременно на уплату долгов. <...> Однако ж министр отказал Гоголю» (Никитенко, с. 169). Другой мемуарист И. Г. Кулжинский

рассказывает сходную историю со слов «лица, уполномоченного пригласить Гоголя», то есть скорее всего со слов Брадке. «Пришедши к лицу <...>, он с первого слова очаровал его своим умным и красноречивым разговором». И при этом потребовал определить его сразу «в ординарные профессоры». Гоголю отказали. Дело дошло до министра, который «объявил молодому человеку, что охотно определит его адъюнктом. Но Гоголь не согласился, и дело расстроилось» (М, 1854, т. 6, разд. Смесь, с. 6—7). Можно было счесть все это за недостоверные свидетельства «недоброжелателей», если бы не подтверждение самого Гоголя. В марте он писал Максимовичу, что не едет в Киев, так как ему «дают только адъюнкта» вместо обещанного «ординарного». Связывал он с переездом в Киев и определенные материальные ожидания: «Прося профессорства в Киеве, я обеспечиваю там себя совершенно в моих нуждах, больших и малых...» (X, 325).

Очевидно, что эта версия никак не противоречит всему сказанному выше. Начальство предъявляло к Гоголю свои требования, Гоголь — к начальству свои. Он не вполне устраивал фон Брадке, который соглашался дать ему меньшую должность и меньшее жалованье; Гоголь же требовал максимума — не только потому, что имел о себе высокое мнение (такое время от времени с ним происходило), но и потому, что переезд грозил ему существенной переменой образа жизни, ослаблением установившихся литературных и дружеских связей, в том числе с Пушкиным и его кругом. «...Оставляя Петербург, знаешь ли, что я оставляю?.. — писал он 10 июня 1834 года Максимовичу. — Здесь все, что дорого, что было мило моему сердцу; люди, с которыми сдружился и которых алчет душа; все, что привычка сделала еще драгоценнейшим». Сознывая все это, Гоголь назначил высокую цену, которую начальство не приняло.

Тем не менее оно согласилось на некоторую компенсацию, и летом того же года попечитель Петербургского учебного округа князь М. А. Дондуков-Корсаков пригласил Гоголя в Петербургский университет. К этому решению привели хлопоты ряда лиц: Жуковского, который, кстати, состоял (с 1829 г.) почетным членом университета; возможно, Пушкина; хлопотал и Никитенко, ставший в 1834 году профессором университета; по словам Никитенко, именно он старался «сблизить» Гоголя с попечителем. Более чем вероятно помощь или, по крайней мере, благожелательное отношение и Уварова, для которого Дондуков-Корсаков был своим человеком. Так или иначе 24 июля 1834 года состоялось определение Гоголя на должность адъюн-



кта по кафедре всеобщей истории при С.-Петербургском университете (РМ, 1896, № 5, с. 173). На этот раз Гоголь довольствовался местом, которое не принял в Киевском университете.

## НА КАФЕДРЕ

И вот через несколько недель Гоголь стал ходить в университет. Располагался он тогда на углу Кабинетной улицы против Семеновских казарм, в узком двухэтажном продолговатом здании в виде буквы П. В помещении было тесно и неудобно. Переезд на новое место — в специально отстроенный для этой цели дом двенадцати коллегий, что на Васильевском острове, состоялся в 1838 году, когда Гоголь уже покинул университет.

Пребывание Гоголя на университетской кафедре — драматичный эпизод его биографии, вызвавший нелицеприятные отклики современников, а затем и исследователей. Большинство мемуаристов считало, что Гоголь потерпел неудачу, даже сокрушительное поражение, что труд ученого-педагога был не по нем. «Он был рожден для того, чтоб быть наставником своих современников; но только не с кафедры» (И. С. Тургенев). В потоке суровых суждений тонут голоса сочувствовавших. Сам Гоголь определенно подводил итог «общему мнению» — «общее мнение говорит, что я не за свое дело взялся...» (X, 378).

В советское время маятник качнулся в другую сторону: стали говорить о выдающихся достижениях молодого адъюнкт-профессора, которые не в состоянии было оценить реакционное начальство. «Да, начальство боялось лекций Гоголя...» (Степанов, с. 140).

В действительности же «линия успехов» Гоголя в Петербургском университете оказалась прерывистой и капризной, зависящей от разных обстоятельств.

Гоголь с воодушевлением приступил к лекционному курсу, открывшемуся в сентябре. О первой его лекции сохранилось несколько свидетельств, из них самое достоверное (как отмечал еще И. Я. Айзеншток) принадлежит Н. И. Иваницкому. Окончивший университет в 1838 году, он присутствовал на упомянутой лекции, пишет о ней как непосредственный свидетель, во всех подробностях.

«На первую лекцию он явился в сопровождении инспектора студентов. Это было в два часа. Гоголь вошел в аудиторию, раскланялся с нами и, в ожидании ректора, начал о чем-то говорить с инспектором,

стоя у окна. Заметно было, что он находился в тревожном состоянии духа: вертел в руках шляпу, мял перчатку и как-то недоверчиво поглядывал на нас. Наконец, подошел к кафедре и, обратясь к нам, начал объяснять, о чем намерен он читать сегодня лекцию. В продолжение этой коротенькой речи он постепенно всходил по ступеням кафедры: сперва встал на первую ступеньку, потом на вторую, потом на третью. Ясно, что он не доверял сам себе и хотел сначала попробовать, как-то он будет читать? Мне кажется, однако, что волнение его происходило не от недостатка присутствия духа, а просто от слабости нервов, потому что в то время, как лицо его неприятно бледнело и принимало болезненное выражение, мысль, высказываемая им, развивалась совершенно логически и в самых блестящих формах. К концу речи Гоголь стоял уж на самой верхней ступеньке кафедры и заметно одушевился».

Вдруг явился ректор, профессор истории А. А. Дегуров, Гоголь смутился, но затем справился со своим волнением — и лекция началась.

«Не знаю, прошло ли и пять минут, как уже Гоголь овладел совершенно вниманием слушателей. Невозможно было спокойно следить за его мыслью, которая летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной в этом мраке средневековой истории. Впрочем, вся эта лекция из слова в слово напечатана в «Арабесках» (еще раньше она была опубликована в сентябрьской книжке «Журнала Министерства народного просвещения» за 1834 год под названием «О средних веках. Вступительная лекция, читанная в С.-Петербургском университете адъюнкт-профессором Н. Гоголем». — Ю. М.)... Ясно, что и в этом случае, не доверяя сам себе, Гоголь выучил наизусть предварительно написанную лекцию, и хотя во время чтения одушевился и говорил совершенно свободно, он уже не мог оторваться от затверженных фраз и потому не прибавил к ним ни одного слова» (Воспоминания, с. 83—83)<sup>68</sup>.

Были у Гоголя еще удачные лекции. Одна из них состоялась в присутствии необычных посетителей. Тот же Иваницкий вспоминает: «...однажды — это было в октябре — ходим мы по сборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От швейцара, конечно, они уже знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в какой аудитории будет читать Гоголь? Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в сборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и

сели по местам. Гоголь вошел на кафедру и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого, начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая, в таком же роде, как и первая. Она вся из слова в слово напечатана в «Арабесках» (подразумевается статья «Ал-Мамун». — Ю. М.). Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать к нему на лекцию и потому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только слово: «увлекательно...» (Воспоминания, с. 85).

О посещении Пушкиным и Жуковским гоголевской лекции упоминают также Н. М. Колмаков, А. С. Андреев и С. И. Барановский. Однако Андреев и Колмаков не присутствовали на этой лекции и повествуют о случившемся «по рассказам других» (Колмаков); один лишь Барановский, поступивший в университет в 1833 году, свидетельствует как очевидец. Поэтому приведем его воспоминание. О профессорстве Гоголя, говорит мемуарист, «слышны были спорные мнения, и как бы для того, чтобы их проверить, В. А. Жуковский и А. С. Пушкин решили неожиданно побывать на его лекции. Зная день и час, они оба вместе пришли прослушать лекцию Н. В. Гоголя. Что их посещение было совершенною неожиданностью для нашего профессора, ясно выразилось в том, что обоим знаменитым посетителям пришлось вместе с нами, студентами, прождать с полчаса времени». Наконец, Гоголь появился и «произнес одну из лучших своих лекций, художественно охарактеризовав Норманских витязей, завоевателей Сицилии, заселителей Исландии...» (РА, 1906, № 6, с. 278).

В некоторых моментах Барановский расходится с Иваницким: по его версии, визит был неожиданным для Гоголя, и читал тот не об «аравитянах», а на другую тему — о норманнах (по-видимому, свидетельство Иваницкого надежнее). Но оба совпадают в том, что характеризуют эту лекцию как очень успешную.

Наряду со средней историей (4 часа в неделю), Гоголю с нового 1835 года поручили читать и древнюю историю (2 часа в неделю — ЖМНП, 1835, № 2, с. 317; X, 345). Среди этих лекций тоже бывали удачные. Так, студент юридического факультета Е. А. Матисен, окончивший университет в 1838 году, отмечал те лекции, «которые посвящены были идеальному быту и чистоте воззрений афинян»; эти лекции «имели на всех, а в особенности на молодых его слушателей, какое-то воодушевляющее к добру и к нравственной чистоте влияние» (РС, 1881, № 5, с. 157).

И все же такие удачи были для Гоголя исключением. Большинство лекций оказалось неинтересными: в этом сходятся все — и те, кто в целом имел невыгодное мнение о деятельности Гоголя-профессора, и те, кто признавал его достижения. По словам Иваницкого, уже вторую лекцию Гоголь прочел «так вяло, безжизненно и сбивчиво, что скучно было слушать, и мы не верили сами себе, тот ли это Гоголь, который на прошлой неделе прочел такую блестящую лекцию? <...> Следующие лекции были в том же роде, так что мы совершенно, наконец, охладели к Гоголю, и аудитория его все больше и больше пустела» (Воспоминания, с. 85).

В начале второго семестра, 21 февраля 1835 года, Никитенко записывает в дневнике: «Что же вышло? «Синица явилась зажечь море» — и только» (Никитенко, с. 170).

И в самом деле — «что же вышло?» Ведь Гоголь получил то, чего страстно желал — место преподавателя всеобщей истории! Ну пусть не в Киевском университете, как он хотел, но все же в учебном заведении не менее «престижном» — в университете столичном. И притом в совсем молодом еще возрасте — двадцати пяти лет. Или намерения его были несерьезны и мимолетны?

Неуспех Гоголя объясняется совпадением ряда причин. С первых же дней против Гоголя работал тот фактор, который помешал ему несколько раньше занять кафедру Киевского университета, а именно его сложившаяся и чрезвычайно яркая литературная репутация. Все знали Гоголя как творца «Вечеров на хуторе...». Как же было примирить это с амплу университетского специалиста? Сочинитель (или собиратель) забавных анекдотов выпытывает тайны миродержавного промысла? Пасечник Рудый Панько — профессор всеобщей истории? По словам В. В. Григорьева, «весь университет восхищался «Вечерами на хуторе» и с любопытством ожидал появления на кафедре пасечника Рудого Панька. На первую лекцию навалили к нему в аудиторию все факультеты» (РБ, 1856, № 3, отд. 5, с. 24—25). Устоявшийся облик никак не сочетался с новым, заявленным; И. С. Тургенев в заостренно-парадоксальной форме даже утверждал: «Мы все были убеждены <...>, что г. Гоголь-Яновский, наш профессор (он так именовался в расписании лекций), не имеет ничего общего с писателем Гоголем, уже известным нам как автор «Вечеров на хуторе близ Диканьки» (Воспоминания, с. 540). Репутация Гоголя создавала барьер, который для своего преодоления требовал дополнительных усилий души и ума.

Сказанное не означает, что из ампула ученого Гоголем исключалось начало художническое, писательское — наоборот. Это видно из тех представлений, какие сложились у него о современном историке. Вот В. Цых, мы помним, видел в Гердере образцового историка, так как он умел абстрагировать психологические особенности народов: «Принимая за главный зародыш умственного и гражданского развития народов генетические их свойства, Гердер старался схватить характеристику сих свойств и развития. Можно сказать, что Гердер снова создал народы, коих коснулся он, для истории» (Цых, с. 32). Гоголь же, напротив, хотел бы дифференцировать достигнутый Гердером результат: «У него владычество идеи вовсе поглощает осязательные формы. Везде он видит одного человека как представителя всего человечества». Гоголю не хватает в немецком мыслителе вещественности, материальности: мол, хотя его мысли «высоки, глубоки и всемирны», но «являются мало соединенными с видимою природою и как будто извлеченными из одного только чистого ее горнила». Нет также конкретности характеров. «Он [Гердер] мудрец в познании идеального человека и человечества, но младенец в познании человека, по весьма естественному ходу вещей, как всегда мудрец бывает велик в своих мыслях и невежа в мелочных занятиях жизни» (статья «Шлецер, Миллер и Гердер», включенная в «Арабески»).

Гоголь хочет «дополнить» Гердера (а также других историков — Шлецера и Миллера) поэтически, художнически, позаимствовав для этой цели средства и у других писателей: у Шиллера — «драматический интерес всего творения», у Вальтера Скотта — «занимательность рассказа» и «умение замечать самые тонкие оттенки», у Шекспира — «искусство развивать крупные черты характеров в тесных границах». Только тогда составитя «такой историк, какого требует всеобщая история». Возникает некий синтетический род — вместе роман и история, искусство и наука.

Такое объединение отвечало духу времени, отвечало романтической и отчасти постромантической эстетике, стремившейся к интеграции различных человеческих способностей и областей знания. Сам Вальтер Скотт, творец нового исторического романа, шел этим путем, что, кстати, отчетливо сознавалось Гоголем. К 1834 году — году начавшейся университетской карьеры Гоголя — относится нашумевшее выступление О. И. Сенковского против шотландского романиста. «Исторический роман, по-моему, есть побочный сынок без роду, без племени, плод соблазнительного прелюбодеяния истории с вообра-

жением. Я стою за чистоту нравов...» (БЧ, 1834, т. 2, отд. 5, с. 14). Гоголь запомнил эту выходку, отозвавшись на нее спустя два года в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году»: «Вальтер Скотт, этот великий гений, коего бессмертные создания объемлют жизнь с такою полнотою, Вальтер Скотт назван шарлатаном». Тут весьма важна похвала шотландскому романисту за «полноту», достигаемую в результате слияния поэзии и науки.

Словом, сама синтетическая манера исторических штудий не стала бы камнем преткновения, — но при одном условии: если бы Гоголь сумел убедить в своем праве на нее. Сделать этого он не смог: беллетристическая, фольклорная, анекдотическая, жанровая, «малороссийская» стихия забивала, в глазах его слушателей, стихию философическую, историософскую, «научную».

Не способствовал прочности успеха Гоголя и его лекторский стиль, строившийся на экспрессии, блеске, метафорической образности и стремительности. Матисен отмечал у Гоголя «идеализм и притом особую прелесть выражения, делавших его несомненно красноречивым». Вспомним также впечатление Иваницкого: его мысль «летела и преломлялась, как молния, освещая беспрестанно картину за картиной...». На высоту такого стиля удавалось подняться время от времени, но на ней трудно было держаться всегда.

Импровизации патетического и серьезного рода были, кажется, не в натуре Гоголя. Иное дело — комические импровизации: здесь он был свободен, как рыба в воде, неистощим, создавая все новые и новые вариации. В живом рассказе на исторические темы Гоголя надолго не хватало; отсюда подмеченная многими его слушателями нарочитая краткость лекций: чтобы ее добиться, Гоголь все время норовил прийти попозже и уйти пораньше. Причина заключалась не в недостаточности материала, которым при желании можно было заранее запастись, а в недостаточности его обработки. Только некоторым темам успевал он придать продуманную и художнически законченную форму; эти-то лекции — считанные! — и проходили успешно; остальные выдавались бесцветными или даже проваливались. По-видимому, успешными являлись те, которые уже вылились в форму статей и затем, как подметил Иваницкий, Гоголем были просто заучены и разыграны. Не случайно две из них: «О средних веках» и «Ал-Мамун» — были вскоре напечатаны, причем, согласно тому же Иваницкому, напечатаны «из слова в слово».

Как преподаватель Гоголь оказался меж двух огней, говоря его словами — ни то, ни се. Он не умел длительно увлекать студентов логикой, яркостью, последовательностью речи, но в то же время он и не давал достаточного запаса чисто материальных сведений, столь необходимых с чисто прагматической, учебной целью. Студенты были разочарованы, некоторые раздражены, посещали лекции все реже и реже.

Никитенко записывает в дневнике: «Начальство боится, чтобы они [студенты] не выкинули над ним какой-нибудь шалости, обыкновенной в таких случаях, но неприятной по последствиям».

Дело дошло до объяснения с попечителем Петербургского учебного округа князем Дондуковым-Корсаковым. По словам того же Никитенко, «попечитель призвал его к себе и очень ласково объявил ему о неприятной молве, распространившейся о его лекциях. На минуту гордость его уступила горькому сознанию своей неопытности и бессилия». Был Гоголь и у Никитенко «и признался, что для университетских чтений надо больше опытности» (Никитенко, с. 169).

После заграничной поездки 1829 года и предшествовавших этому событий, в том числе провала «Ганца Кюхельгартена», когда Гоголь признался: «Бог унизил мою гордость», — это было едва ли не самое чувствительное его поражение.

Мемуаристы часто вспоминают о том, какой жалкий, комичный вид имел Гоголь на кафедре. «Голова его, по случаю боли зубов или по другой причине, постоянно была подвязана белым платком». И еще одна характерно гоголевская деталь портрета: «Боже мой, что за длинный нос был у него. Я не мог на него прямо смотреть, особенно вблизи, думая: вот клюнет, и глаз вон. Вот почему на лекциях его я всегда садился сбоку, чтобы не подвергнуться такому мнимому впечатлению» (РС, 1891, № 5, с. 461). «Живо помню и последнюю его лекцию: бледное, исхудалое и длинноносое лицо его подвязано было черным платком от зубной боли, и в таком виде фигура его, а притом еще в виц-мундире, производила впечатление бедного угнетенного чиновника, от которого требовали непосильного с его природными дарованиями труда...» (РС, 1881, № 5, с. 158).

Запомнился Гоголь и на выпускном экзамене, все с тем же неизменным платком (только в цвете его мемуаристы расходятся: у одних — черный, у других — белый). Н. Иваницкий: «Наступил экзамен. Гоголь приехал, подвязанный черным платком: не знаю уж, зубы у

него болели, что ли. Вопросы предлагал бывший ректор И. П. Шульгин. Гоголь сидел в стороне и ни во что не вступался» (Воспоминания, с. 85). И. С. Тургенев: «На выпускном экзамене из своего предмета он сидел, повязанный платком, якобы от зубной боли, — с совершенно убитой физиономией — и не разевал рта. Спрашивал студентов за него профессор И. П. Шульгин. Как теперь, вижу его худую, длинноносную фигуру с двумя высоко торчавшими — в виде ушей — концами черного шелкового платка. Нет сомнения, что он сам хорошо понимал весь комизм и всю неловкость своего положения...» (там же, с. 540).

Одинокó чувствовал себя Гоголь и среди преподавателей: все знали, что пришел он на факультет, пользуясь высокими связями. «...Самое вступление его в университет путем окольным отдаляло нас от него как от человека. По всему этому сношения с ним у меня были весьма форменные, и то весьма редкие» (Воспоминания, с. 225), — пишет Ф. В. Чижов, в будущем известный общественный деятель, славянофил, в 1834 году — адъюнкт-профессор Петербургского университета, преподаватель начертательной геометрии. С этим свидетельством сопоставим последующий отзыв Плетнева, переданный гоголевским биографом Кулишем: «Вспоминал Плетнев с досадой о том, как устроил Гоголь свою профессуру в университете, будучи вовсе к ней неприготовленным...» (Крутикова, с. 284).

В одном из писем Погодину (от 22 января 1835 г.) Гоголь сообщает, что у него, «кажется, завелись какие-то ученые неприятели». Возможно, подразумевается И. П. Шульгин, с 1833 года профессор новой истории в Петербургском университете.

Университетская эпопея Гоголя неумолимо шла к своей развязке. После упомянутого выше экзамена весной 1835 года, после летних вакаций он проработал еще кое-как один семестр.

Подводя итоги своей профессорской деятельности, Гоголь писал 6 декабря Погодину: «Неузнанный я взошел на кафедру и неузнанный схожу с нее. Но в эти полтора года — годы моего беславия <...> я много вынес оттуда и прибавил в сокровищницу души. Уже не детские мысли, не ограниченный прежний круг моих сведений, но высокие, исполненные истины и ужасающего величия мысли волновали меня... Мир вам, мои небесные гости, наводившие на меня божественные минуты в моей тесной квартире, близкой чердаку! Вас никто не знает. Вас вновь опускаю на дно души до нового пробуждения, когда вы исторгнитесь с большею силою и не посмеет устоять бесстыдная дерзость ученого невежи, ученая и неученая чернь, всегда соглашающаяся публика... и проч. и проч. ...»



Поражает контраст между реальным неуспехом, можно сказать, провалом, который Гоголь сам отчетливо сознает, и отношением его к своей научной и педагогической деятельности. От самой ее основы, сердцевины, он не собирается отказываться, ибо это было не «увлечение», не случайный зигзаг, а глубокая потребность. Свои ученые изыскания Гоголь видит в длительной перспективе — как некие совершающиеся открытия, которые со временем приобретут стройный вид. В этом тоже источник его странного, почти чудаческого поведения на кафедре: когда Гоголь ощутил завесу между собой и большинством слушателей, он перестал обращать на последних какое-либо внимание и решил читать «для себя»: «Я выражаюсь отрывками и только смотрю в даль и вижу его в той системе, в какой оно явится у меня вылитое через год» (X, 344).

«Через год» — это к концу 1835 — началу 1836 года. Интересно, что в «Отчете по Санктпетербургскому учебному округу за 1835 год» сообщалось, что «адъюнкт по кафедре истории Гоголь-Яновский < ... > принял на себя труд написать Историю средних веков, которая будет состоять из 8 или 9 томов», что «первые три тома надеется он издать в следующем году», что сверх этого он пишет «Историю малороссиян, которой два тома уже готовы», и готовит к печатанию работу «о духе и характере народной поэзии славянских народов» (Машинский, 1951, с. 65). Гоголь, конечно, форсировал срок, преувеличивал степень готовности своих разработок, но он верил в них и хотел их осуществить.

Ограниченность исторических занятий Гоголя вытекала из его универсализма, в котором искусство и литература подпочвенно соприкасались с наукой и философией. «В это время Гоголь, по свидетельству В. В. Григорьева, был побежден мыслию, что он «создан историком и призван к преподаванию *судеб человечества*» (курсив в оригинале. — Ю. М.; Барсуков, т. 4, с. 144). Если красота (искусство) содействует самопознанию, то и наука вносит в сокровищницу души тот капитал, который не пропадет и скажется многообразно. Поэтому и как писатель, художник Гоголь ждал от своих научных штудий вящей пользы, запасаясь впрок «высокими, исполненными истины и ужасающего величия мыслями». Создавался тот плотный интеллектуальный слой, на котором проросли и созрели впоследствии и «Ревизор» и «Мертвые души»...

В гоголевском универсализме находилось место и для практической, государственной деятельности. Давно уже была оставлена и

забыта мечта о чиновничьей службе, о поприще юстиции, развеялась в прах служебная утопия, но в каком-то особом, высшем смысле идея государственного служения не оставляла Гоголя. В лекции, посвященной Ал-Мамуну, которую, согласно Иваницкому, Гоголь прочел в присутствии Пушкина и Жуковского, говорится о соотношении государственной власти и «философов и поэтов». У большинства из них своя сфера: «...они пользуются верховным покровительством и текут по своей дороге». Но есть и отступление от правила: «...отсюда исключаются те великие поэты, которые соединяют в себе и философа, и поэта, и историка, которые выпытали природу и человека, проникли минувшее и прозрели будущее, которых глагол слышится всем народом. Они — великие жрецы. Мудрые властители чувствуют их своею беседою, берегут их драгоценную жизнь и опасаются подавить ее многосторонней деятельностью правителя. Их призывают они только в важные государственные совещания, как ведателей глубины человеческого сердца».

Обратим внимание: «поэты, которые *соединяют в себе и поэта, и философа, и историка*», то есть являются художниками в синтетическом смысле. Вряд ли Гоголь намекал на Жуковского, или Пушкина, или вообще на кого-либо из реальных русских писателей. Это был искомый идеал, подобный составленному в воображении Гоголя образу истинного историка. Но идеал, к которому надо стремиться, о котором явно или тайно думал и он сам. Не заронила ли уже в это время в сознание Гоголя мечта о таком произведении, которое, будучи отмеченным высшим знанием «природы и человека», «минувшего» и «будущего», окажет соотечественникам такую пользу, что превзойдет подвиг любого самого мудрого государственного деятеля? В качестве реального замысла, конкретного произведения — едва ли, но как предощущение, как генеральная жизненная эмоция — вполне возможно.

## «Я ТРУЖУСЬ КАК ЛОШАДЬ»

Параллельно с преподавательской деятельностью и историческими штудиями Гоголь продолжает свои литературные занятия. Поразительно, как много он успел сделать в этот решающий для него 1834 год! Верный себе, он испытывает себя в разных жанрах, пробует идти одновременно несколькими путями.

Это, во-первых, литературная и художественная критика — направление, намеченное еще набросками о пушкинском «Борисе Годунове», о поэзии Козлова и т. д. 7 апреля Пушкин записывает в дневнике, что Гоголь по его «совету начал Историю русской критики». Более определенных сведений об упомянутой работе не сохранилось. Но известно, что в этот год Гоголь завершил ряд статей, задуманных или начатых ранее, в том числе «Несколько слов о Пушкине», и написал «Последний день Помпеи» (под статьей — дата «1834. Август», видимо, соответствующая действительности: картина К. Брюллова была привезена в Петербург и выставлена в Академии художеств в конце лета этого года).

Во-вторых, Гоголь продолжает усердно трудиться на драматургическом поприще. Согласно тому же дневнику Пушкина, 3 мая в его присутствии Гоголь читал «свою комедию» у бывшего арзамасца, министра юстиции Д. В. Дашкова. Идея «Ревизора» еще не возникла, «Владимир 3-ей степени» отодвинут в сторону; следовательно, скорее всего Гоголь читал новую пьесу «Женихи» (будущую «Женитьбу») или же одну из «маленьких комедий», возникших, так сказать, из обломков «Владимира 3-ей степени»<sup>69</sup>.

Работу над комедиями Гоголь продолжает все лето в разгар хлопот о кафедре в Киевском университете и при получении места адъюнкта в университете Петербургском. 14 августа он сообщает Максимовичу, что «на театр здешний» ставит «пиесу» да еще готовит «из-под полы другую». Речь, по-видимому, идет о тех же произведениях — «Женитьбе» и одной из «маленьких комедий».

Но это еще не все. В том же письме к Максимовичу он с некоторой таинственностью обещает: «...в эту зиму я столько обделаю, если Бог поможет, дел, что не буду раскаиваться в том, что остался здесь этот год». И 23 августа тому же Максимовичу: «Я тружусь как лошадь, чувствуя, что это последний год, но только не над казенною работою, т. е. не над лекциями, которые у нас до сих пор еще не начались, но над собственно своими вещами». Эти «вещи» — повести, которые Гоголь пишет или дописывает, чтобы составить новые книги.

И уже через месяц-полтора две книги составлены, и каждая — из двух частей! 10 ноября получают цензурное разрешение «Арабески» (куда наряду с повестями вошли статьи и беллетристические отрывки), а спустя несколько недель, 29 декабря, — «Миргород».

Достаточно вспомнить, что в «Арабесках» впервые увидели свет «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего», а в «Мир-

городе» — «Тарас Бульба», «Старосветские помещики», «Вий», — достаточно вспомнить это, чтобы представить, какую колоссальную работу осуществил Гоголь в короткие сроки. Ведь хотя замыслы иных произведений (например, трех «петербургских повестей») возникли, возможно, раньше, но основная, главная работа над обоими циклами пала на 1834 год. Предчувствия не обманули Гоголя: этот год в его творческой судьбе стал решающим.

Первой ласточкой одного из этих сборников, «Миргорода», стала «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Написанная для смирдинского «Новоселья», повесть появилась в составе второй части этого альманаха еще в начале 1834 года и затем была включена в «Миргород». Тем самым она явилась предвестием и некоторых последующих споров вокруг произведений Гоголя и вызванных этим его переживаний. Тут мы должны вдуматься в одно свидетельство П. Анненкова.

Характеризуя молодого Гоголя, Анненков рассказывает: «Как далеk еще тогда он был от позднейшей самоуверенности в оценке собственных произведений, может служить то, что на одном из складчинных обедов 1832 года он сомнительно и даже отчасти грустно покачал головой при похвалах, расточаемых новой повести его “Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем”. “Это вы говорите, — сказал он, — а другие считают ее фарсом”» (Анненков, 1983, с. 61). Попробуем восстановить реальный контекст этого эпизода.

Он мог случиться не в 1832, а в 1834 году, по напечатании «Повести о том, как поссорился...». Это подтверждается тем, что «складчинный обед» — один из знаменитых складчинных обедов, которые Гоголь имел обыкновение устраивать ежегодно в день своих именин, 9 мая. В мае предшествующего года Гоголь еще не переехал в квартиру на Малой Морской (которую описывает Анненков), а в мае 1835 года писатель был в Москве; следовательно Анненков мог быть участником обеда, имевшего место именно 9 мая 1834 года.

Но как раз в это время О. Сенковский в рецензии на II часть «Новоселья» раскритиковал автора «Повести о том, как поссорился...». «Судя по роду его таланта, это Малороссийский Поль-де-Кок». «Главный недостаток творений Поль-де-Кока — это выбор предметов повести, которые всегда почти у него грязны и взяты из дурного общества. <...> Если б Поль-де-Кок описывал малороссийские нравы, он описывал бы их с той же стороны и таким же образом, как г. Панько-Рудый: как у него вкус несколько образованнее и такт более

парижский, он, может быть, и не употребил бы иронии г. Панько-Рудаго или употребил бы иронию удачнее и точнее, — и хорошо бы сделал!» (БЧ, 1834, т. 3, отд. 5, с. 31—32). Гоголь — это Поль де Кок, но Поль де Кок сниженный, еще более вульгарный, не парижский, а малороссийский...

Журнал с рецензией Сенковского вышел 5 мая (СП, 1834, 7 мая), за четыре дня до гоголевских именин. Во время «складчинного обеда» Гоголь вспомнил ее, так как она глубоко его уязвила. Это был, кажется, первый случай прикрепления к Гоголю имени Поль де Кока, одна из первых попыток поместить его в приземленный, вульгарный литературный ряд как писателя грязного или, по слову одной из его современниц, «запачканного» (Соханская, с. 173). Со временем подобное наименование станет распространенным. Уже 11 мая «Северная пчела», которая еще довольно благожелательно относилась к Гоголю, в библиографическом извещении о новом романе Поль де Кока отметит, что французский писатель «породил великое множество неудачных подражателей во Франции и даже... и даже кое-кого в России». После только что прозвучавшей критики Сенковского этот намек рецензента В. Б. (очевидно, В. Бурнашева) выглядел вполне определенным.

Зерно подобной критики таилось еще в сетованиях по поводу «Вечеров на хуторе...» — о том, что Гоголю изменяет вкус, чувство языка и т. д. Но от более серьезных обвинений удерживала сама поэтическая фактура «Вечеров...» с их фольклоризмом, народностью, экзотичностью, яркостью, цветистостью. В «Повести о том, как поссорился...» все это отпало, и перед лицом нагой действительности не один читатель или критик почувствовал смущение или неловкость. Им виделся уже новый облик писателя, не добрый и лукавый Рудый Панько, а кто-то другой, хотя на первых порах еще в маске того же пасечника, и это казалось или неуместным, или беззаконным, или — в лучшем случае — загадочным.

Что для читателя выглядело загадкой, то для Гоголя было задачей — задачей жизненной, ибо он чувствовал немимолетность и важность обретаемого им творческого стиля. В конце концов, это был не только стиль «Повести о том, как поссорился...», но и комедий, над которыми он теперь работал, стиль повседневного, житейского комизма, как он определил его два года назад в беседе с С. Т. Аксаковым. Гоголь чувствовал, что с этим стилем ему еще «жить и жить», — потому так болезненно и подействовали на него обвинения в «фарсе».

Гоголь всю жизнь будет бороться с этими обвинениями — но бороться по-разному. Чуть позже (после «Ревизора») он займется теоретическим обоснованием эстетики смеха в глубину, подведением под верхний этаж комизма и веселости фундаментальных философских и этических значений. Пока же сила его художественной рефлексии действовала как бы вширь, сосредоточившись на том, чтобы рядом с одним авторским ликом выдвинуть другой и, таким образом, самим их соседством и взаимодействием опровергнуть плоское о себе представление.

Мы уже отчасти знакомы с усилиями Гоголя трансформировать свой образ, мы видели, как подле автопортрета вдохновенного художника он выставлял другой автопортрет — вдумчивого, пытливого ученого, корпящего над ветхими и пыльными фолиантами. Вместе с тем Гоголь дифференцирует и обогащает свой авторский образ как писателя, художника. У него разные лики, иногда контрастирующие, иногда плавно переходящие один в другой.

В художественно-историческом повествовании это человек, всю душою, всеми чувствами входящий в мир забот и переживаний своих персонажей, и в то же время лицо беспристрастное, стороннее, принадлежащее новой эпохе и созерцающее все происходящее сквозь дымку времени. Такой контраст был намечен еще в «Главе из исторического романа», которая вместе с «Пленником», другим отрывком из того же романа, вошла теперь в «Арабески». В «Тарасе Бульбе» вполне сохранена двойственность угла зрения. С одной стороны, мы читаем: *«Так вот Сеча! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы! Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украйну!»* С другой стороны: *«Я не стану смущать читателей картиною адских мук, от которых дыбом поднялись бы их волосы. Они были порождение тогдашнего грубого, свирепого века...»* Сквозь нынешнее время видятся и прежний пейзаж, топография и т. д. *«Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою девственною пустынею». Или: «Иногда он забирался и в улицу аристократов, в нынешнем старом Киеве...»* Хронологические переходы должны были убедить читателя, что автор не только отдается своему художественному воображению — он умеет сравнивать, сопоставлять, анализировать; знание и размышление являются составными слагаемыми творческого акта.

Параллельно в «Тарасе Бульбе», а еще больше в произведениях «неисторических», дифференцировалась и обогащалась стилистиче-

ски-эмоциональная гамма повествования. Подобный процесс наметился также еще раньше — в «Вечерах на хуторе...», где насмешник и балагур оказывался человеком чувствительным, мечтательным, а то и исполненным тоскливых ощущений и мрачных предчувствий. Многогранность лика рассказчика или — что то же самое — множественность рассказчиков, как бы подменяющих один другого, продолжала существовать и в «Повести о том, как поссорился...»: то это типичный обыватель, лицо того же круга, что и персонажи повести, простодушно выбалтывающий домашние, «миргородские» тайны; то нейтральный интеллигентный рассказчик, непредвзято и спокойно воссоздающий события; то человек, субъективно близкий автору, печально наблюдающий все происходящее и не удержавшийся в заключение от холодно-безотрадного вывода: «Скучно на этом свете, господа!» Все это не было услышано критиками и читателями, подобными Сенковскому, так как заглушалось «мелочностью» и «низостью» материала. Эффект же материала, темы, «мысли» оказывался на поверку гораздо сильнее эффекта «формы», построения, что очень огорчало Гоголя в начале 30-х годов, в пору осознания им своего оригинального стиля. В статье «О малороссийских песнях» (вошедших в те же «Арабески») есть на этот счет откровенно личное сетование: «Поэзия мыслей более доступна каждому, нежели поэзия звуков, или, лучше сказать, поэзия поэзии. Ее один только избранный, один истинный в душе поэт понимает; потому-то часто самая лучшая песня остается незамеченною, тогда как незавидная выигрывает своим содержанием».

## «ВЕЧНЫЙ РАЗДОР МЕЧТЫ С СУЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

С точки зрения образа автора и его диапазона особенно показательны три из новых повестей Гоголя, а именно «петербургские повести», те, которые вошли в «Арабески»: «Невский проспект», «Портрет» и «Записки сумасшедшего». Реализуя более ранние наброски — «Страшная рука» и другие, — писатель впервые обратился здесь к персонажу, психологически и профессионально близкому к нему самому — художнику, человеку искусства, городскому бедняку, интеллигенту, утверждающему себя вопреки всяческим лишениям, в том числе и материальным. (Упоминаю «Записки сумасшедшего» ввиду, главным образом, первоначального их замысла, когда центральным персонажем был музыкант; с изменением типажа, заменой

музыканта чиновником произошла трансформация всего стилистического строя произведения.)

Типичное чувство этого персонажа — отъединенность от других, чуждость всему окружающему («Художник петербургский! Художник в земле снегов, художник в стране финнов, где все мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно»), выражаемые в характерном жесте закутывания в плащ и стремлении побыстрее проشمыгнуть мимо домов и людей. Этот жест — жест студента в отрывке «Фонарь умирал...» («который в этом чинном городе был тише воды, без шпаги и рапиры, закутавшись шинелью, пробирался под домами...»); жест героя из другого фрагмента «Дождь был продолжительный...» («теперь раздолье мне закутаться крепче в свой плащ»). Но это и жест повествователя в «Невском проспекте» («О, не верьте этому Невскому проспекту: я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы»); это жест «автора», знак, что ли, его эскепизма, приобретенного душевного опыта, глубокого разочарования и отчаяния и невозможности поддаться каким-либо новым соблазнам и обольщениям.

При этом открытое негодование, жесты отвержения, проклятия не свойственны «автору» «Невского проспекта», что отражало новое качество гоголевской повествовательной манеры, достигнутое примерно к рубежу 1834 года. В одном из предшествующих отрывков («Дождь был продолжительный...») ключом било мстительное чувство по отношению к пошлым существователям: «Сильнее, дождик, ради Бога сильнее. < ... > Кропи их, дождь, за все, за наглое бесстыдство плутовской бороды, за жадность к деньгам, за бороду, полную насекомых, и сыромятную жизнь сожительницы...» Правда, открытость негодования здесь, возможно, связана с тем, что повествование ведется от лица героя (ср. такую же, не меньшую экспрессию в «Записках сумасшедшего», где рассказ также ведется от лица героя: «Мать, отца, Бога продадут за деньги, честолюбцы, хриstopродавцы!»), но, во всяком случае, факт тот, что в «Невском проспекте» подобная экспрессия преломилась в иронию. Возьмем еще одно место из отрывка «Дождь был продолжительный...»: персонаж упоминает «одного из тех господ, которые останавливаются для того, чтобы посмотреть на сапоги ваши, на штаны, на фрак или на шляпу и потом, разинувши рот, поворачиваться несколько раз назад для того, чтобы осмотреть задний фасад ваш». В «Невском проспекте» это место



приобрело такой вид: «Создатель! Какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но однако же ничуть не бывало: они большею частью служат в разных департаментах...» Что же добавлено в тексте «Невского проспекта»? Притворное удивление и восхищение («Создатель! Какие странные характеры...»), лукавая версия относительно профессии встречаемых («сапожники») — словом, все окутывается дымкой иронии, все приобретает двойственный, колеблющийся смысл.

Толика иронии добавляется к различным лицам рассказчика, в том числе рассказчику, находящемуся на «срединном» уровне завсегдаев Невского проспекта. «Целый ряд черт и черточек говорит о том, что рассказчик сродни Пирогову, что он — плоть от плоти того пошлейшего мира благополучных господ, которые так восхищают его» (Гуковский, с. 376). Замечание верное, но слишком категоричное: сплошь и рядом как раз и невозможно определить, искреннее ли «восхищение» рассказчика или наигранное, как нельзя было это сделать и относительно панегириков в «Повести о том, как поссорился...»: «Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки!» и т. д.

Но есть и более сложные случаи, которые тем же исследователем также трактуются несколько односторонне. «Иной раз этот рассказчик пускается в глубокомыслие и изрекает пародийные идеи, предсказывающие Козьму Пруткову: «Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно»: напомним, что это изречение заключает исчисление «достоинств» не кого иного, как поручика Пирогова» (Гуковский, с. 378). Для исследователя низостью объекта исключается серьезность, пародийность несовместима с каким-либо позитивным смыслом. Между тем приведенное место является аналогом уже знакомой нам мысли о недостаточности идеального (гердеровского) взгляда на человеческую природу, при котором опускаются «все бесчисленные оттенки характеров, все смешение и разнообразие качеств». Различая уровни — условно говоря, уровень Пискарева и уровень Пирогова, — повествователь тем не менее и во втором случае отказывается от нивелировки и суммарности.

Статья «Шлецер, Миллер и Гердер», где критикуется абстрактный метод суждения, предшествует в «Арабесках» «Невскому проспекту». Такое следование, как и вообще прослаивание художественных произведений научными и критическими, создает в «Арабесках» межтекстуальные связи, в том числе и в плоскости образа автора. «Художник» углубляет и одухотворяет «мыслителя», а «мыслитель» — историк, этнограф, фольклорист и т. д. — дисциплинирует и упорядочивает «художника». Все должны увидеть, что автор способен как на высокое парение, так и на углубленный анализ. Скрытая цель «Арабесок» состояла в том, чтобы многими средствами совокупно сформировать новую, более основательную авторскую репутацию.

Но задержимся еще немного на повествовательной системе «Невского проспекта». Автору, как это легко понять, ближе не Пирогов, а его антипод Пискарев; автор разделяет напряженную патетику его переживаний, так что авторская «речь становится в ряде мест внутренним монологом Пискарева, легко переходя от носителя-рассказчика к носителю-герою» (Гуковский, с. 382). Пример: «Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него». Далее следует описание вызванных этим взглядом переживаний; описание не маркировано кавычками, дано как бы от лица повествователя, но применительно к персонажу; это *общее* переживание Пискарева и автора: «Боже, какие божественные черты! <...> Все, что остается от воспоминаний о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампе, — все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах. <...> Как утратить это божество и не узнать даже той святыни, где оно *опустилось гостить?*» Только последние подчеркнутые мною два слова чуть-чуть выдают авторскую иронию<sup>70</sup>, слегка нарушая полноту слияния с персонажем, но не дезавуируя высоты его переживаний. Если в сфере изображения Пирогова ирония оставляет нетронутым некий позитивный истинный в себе смысл, то это тем более верно в отношении художника Пискарева.

Контраст порыва и осуществления, идеальных стремлений и окружающих условий, высокости и пошлости — «вечный раздор мечты с существенностью!» — вот та краска, которую берет автор с душевной палитры героя или, наоборот, наделяет его этой своей краской. Ибо это их единое, общее достояние. Автор может, в отличие от Пискарева, сознавать незащищенность своего героя и детскую наивность его грез; автор, как свидетельствует об этом статья «Несколько слов о Пуш-

кине», включенная в те же «Арабески», признает поэтичность «обыкновенного», в конце концов вседневного и пошлого (чего не чужд, впрочем, и Пискарёв с излюбленным «сериньким мутным колоритом» его картин), — но он при этом ни на йоту не подвергает сомнению значительность и трагическую наполненность возникшей коллизии — «мечты с существенностью».

Формулируя эту коллизию, Гоголь реагировал на складывающуюся репутацию его как писателя «фарсового», недостаточно возвышенного и недостаточно глубокого, приверженного низким рядам жизни вне ее идеального, вечно ускользающего и недостижимого смысла. Своими новыми повестями, особенно «Невским проспектом», Гоголь как бы врзался в ворох близоруких и предубежденных мнений. Он мог бы, конечно, апеллировать и к прежним своим вещам, начиная буквально с «Ганца Кюхельгартена», где уже сквозила неудовлетворенность вседневной «суею» и тоска по идеалу. Однако «Ганца Кюхельгартена» как литературного факта не существовало, в последующих же гоголевских произведениях коллизия «мечты с существенностью» заглашалась в глазах читателей всяческими сопутствующими обстоятельствами: в «Вечерах на хуторе...» (например, в «Вечере накануне Ивана Купала») — мифологизмом и фольклорностью; в «Повести о том, как поссорился...» — обыденностью и изменностью материала. Теперь Гоголь выразил эту коллизию открыто, увенчал афористической формулой и притом, что было немаловажно, обосновал все это традиционно высоким материалом — жизнью, мечтами, любовью художника.

Но тем самым Гоголь открыто присягал и новейшим европейским художественным течениям, романтизму и постромантизму, к которым подспудно принадлежал, конечно, и раньше. Ибо «вечный раздор мечты с существенностью» — означал не только их излюбленную коллизию, но и стал их паролем. Паролем целой литературной эпохи — разочарования, «мировой скорби», сокрушения, отчаяния, переживания всеобщего кризиса, подобного тому, который Гоголь, вслед за К. Брюлловым, изобразил в своей статье, и, наконец, ощущения покинутости и отъединенности...

То, что повести появлялись в «Арабесках» в окружении разных статей и штудий, очевидно, и в этом отношении имело большой смысл. «Арабески» должны были продемонстрировать, что автор во всех сферах находится на уровне европейской мыслительности — и как художник, и как теоретик, трактующий о проблемах красоты,

искусства, разделения его различных отраслей («Скульптура, живопись и музыка»), о соотношении религиозных эпох — язычества и христианства («Жизнь») — к этому надо прибавить и многочисленные рассуждения на собственно исторические темы.

Гоголь писал и дописывал произведения для «Миргорода» и «Арабесок» и собирал оба сборника в тайне от большинства друзей. Широко оповещая Максимовича и Погодина о ходе дел с Киевским, а затем с Петербургским университетами, он ничего не говорил им определенного о своей литературной работе. Максимовичу лишь глухо сообщил, что трудится «над собственно своими вещами». Столь же несловоохотлив был он и с Погодиным («печатаю кое-какие вещи»), и когда тот попросил разъяснений, Гоголь прибавил немного: «Печатаю я всякую всячину. Все сочинения и отрывки, и мысли, которые меня иногда занимали. Между ними есть и исторические, известные уже и неизвестные. — Я прошу только тебя глядеть на них поспускательнее. В них много есть молодого» (X, 345). Гоголь даже не говорит, какие и сколько сборников он издает, не называет ни одной своей повести.

Его лаконизм не свидетельствовал о том, что своим новым художественным вещам он придавал меньшее значение, чем историческим студиям и преподавательской деятельности. Гоголь обычно был скрытен тогда, когда связывал с теми или другими своими замыслами особенно большие надежды. Косвенно это подтверждается сказанным им мельком в письме Погодину: «...теперь мое имя не слишком видно; но, после напечатания моих небольших мараний, все-таки лучше» (X, 341). Автор знаменитых «Вечеров на хуторе...» верит, что новые книги namного приумножат его славу.

С Пушкиным Гоголь был более откровенен. Известно, что перед сдачей в цензуру «Арабесок» Гоголь давал читать ему «Невский проспект». Фраза Пушкина из его ответного письма — «перечел с большим удовольствием» — говорит о том, что читал он эту повесть (а может быть, и другие) раньше.

В библиографической заметке в связи со вторым изданием «Вечеров на хуторе...» Пушкин оценивал новые произведения Гоголя, вышедшие после первой его книги: «Он с тех пор непрестанно развивался и совершенствовался. Он издал «Арабески», где находится его «Невский проспект», самое полное из его произведений. Вслед за тем явился «Миргород», где с жадностью все прочли и «Старосветских помещиков», эту шутовую, трогательную идиллию, которая

заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и «Тараса Бульбу», коего начало достойно Вальтера Скотта». Заметка появилась в 1836 году («Современник», т. 1), но выраженное здесь впечатление восходит к первому знакомству Пушкина с «Невским проспектом» и, возможно, с другими гоголевскими вещами. И очень важно — в свете всего сказанного выше, — что «Невский проспект» оценивается как «самое полное» произведение Гоголя. Эта оценка соответствовала внутреннему ощущению Гоголем своего таланта, подкрепляла ту литературную репутацию, которой он добивался и которую утверждал.

В 20-х числах февраля 1835 года в Петербург приехал Погодин. На этот раз Гоголь подробно посвятил его в свои литературные дела, начиная с драматических сочинений. В «Письме из Петербурга», датированном 11 марта, Погодин сообщал москвичам, что Гоголь читал ему «отрывки из двух своих комедий. Одна под заглавием — Комедия! Другая — Провинциальный жених». «Провинциальный жених» — это будущая «Женитьба», действие которой еще не было перенесено в столицу. Что же касается первого произведения, то им скорее всего являлись переработанные сцены из «Владимира 3-ей степени». Гоголь еще не выбрал для них окончательного названия, озаглавив по формально-жанровому признаку («Комедия»), как он это сделал впоследствии с одним из фрагментов — «Отрывок». Передавая общее впечатление от обеих пьес, «Комедии» и «Провинциального жениха», Погодин восхищенно писал: «Что за веселость, что за смешное! Какая истина, остроумие! Какие чиновники на сцене, какие Канцелярские служители, помещики, барыни! Талант перво-классный!».

Познакомил Гоголь своего друга и с выходящим из печати «Миргородом» («Арабески» вышли двумя месяцами раньше, и Погодин успел познакомиться с ними еще в Москве). Новые повести восхитили его не менее драматических произведений. В том же письме москвичам Погодин писал: «На днях вы получите его Миргород и должны будете поклониться этим повестям, со всеми нашими повествователями без исключения, стихотворными и прозаическими. Вот рассказ, вот живость, вот поэзия, истина, мер! Вы прочтете там повесть «Старосветские помещики». Старик со старухой жили да были, кушали да пили, и умерли обыкновенною смертию, вот все ее содержание, но сердцем вашим овладеет такое уныние, когда вы закроете книгу; вы так полюбите этого почтенного Афанасия Ивано-

вича и Пулхерию [так!] Ивановну, так свыкнетесь с ними, что они займут в вашей памяти место подле самых близких родственников и друзей ваших, и вы всегда будете обращаться к ним с любовью. Прекрасная идиллия и элегия. А «Тарас Бульба»! Как описаны там казаки, казачки, их набеги, жида, Запорожье, степи. Какое разнообразие! Какая поэзия! Какая верность в изображении характеров! Сколько смешного и сколько высокого, трагического! О! на горизонте русской словесности восходит новое светило, и я рад поклониться ему в числе первых» (МН, 1835, ч. 1, кн. 2, с. 445).

Обращает на себя внимание, что критик отмечает у Гоголя не только «живость», но и «меру»; не только «смешное», но и «высокое», «трагическое». Это также содействует расширению и обогащению литературной репутации Гоголя, признанию в нем писателя из ряда вон выходящего. Погодин был действительно «одним из первых», кто это почувствовал; в печати же еще никто не произносил о Гоголе таких слов, и это делает немалую честь критику.

## ЦЕЛОЕ И АРАБЕСКИ

В обоих названиях новых сборников заключалась столь свойственная Гоголю двусмысленность.

Заголовок «Миргород», два эпитафия на титульном листе — из «Географии Зябловского» и «Из записок одного путешественника», характеризующие с разных сторон, официальной статистической и неофициальной домашней, миргородскую жизнь, — все это заставляло думать, что книга будет посвящена именно этому городу. Между тем лишь действие «Повести о том, как поссорился...» определенно происходит в Миргороде. События «Старосветских помещиков» разворачиваются где-то в «хуторке», может быть, в Миргородском уезде, а может быть, и нет. Действие же «Тараса Бульбы» и «Вия» определенно происходит не в Миргородщине. Если говорить о сборнике в целом, то события как бы смещаются в сторону от Миргорода, как они смещались в сторону от Диканьки в первом гоголевском сборнике<sup>71</sup>. А между тем и Диканька, и Миргород по степени своей наглядности и выразительности приближаются к топографическим символам. Но оба символа, оказывается, обозначают понятия, которые выходят за пределы географического пространства произведений.

Еще более сложно обстоит дело со вторым названием. «Арабески» — это слово говорит само за себя. Отсутствие единства, разно-

бой, разлад Гоголь декларировал в предисловии к книге, а затем и в письмах, сопровождающих дарственные экземпляры. «Посылаю тебе *всякую всячину* мою» (М. П. Погодину, 22 января 1835 г.). «Посылаю тебе *сумбур, смесь всего, кашу*, в которой есть ли масло, суди сам» (М. А. Максимовичу, в тот же день).

И это тот самый сборник, сквозь который, через многие составляющие его произведения, проходит мысль о необходимости единства и цельности. Всеобщая история не должна представлять события «без общего плана, без общей цели»; «она должна обнять вдруг и в полной картине все человечество», соединить все — «в одно стройное целое». География также должна представить «великий очерк всего мира». То же самое делает и живопись, если она следует «вкусу нашего века, который вообще, как бы сам чувствуя свое страшное раздробление, стремится совокуплять все явления в общие группы...» («Последний день Помпеи»). Так же должен поступать большой писатель в отличие от мелких: «...поэт, не имеющий обширного гения, всегда недоволен одним простым сюжетом и вместо того, чтобы развить его и сделать огромным, он привязывает к нему множество других; его поэма обременяется пестротой разных предметов, но не имеет одной господствующей мысли и не выражает одного целого» («Об архитектуре нынешнего времени»).

Год-два назад, особенно в кризисном 1833-м, Гоголь всеми помыслами стремился к «увесистому», цельному объемному произведению, преодолевающему раздробленность и отрывочность. Это стоило ему огромных сил, приводило к тяжелым переживаниям и неудачам. Выход из кризиса Гоголь нашел в том, чтобы дать право голоса частям, не сведенным в целое, как бы подводя черту под прошлым. Вот почему он многократно говорил, что «Арабески» отражают «разные эпохи» его жизни и что приводить все к одному знаменателю он не может, да и не хочет. «Арабески» — это нарочитая и узаконенная разноголосица.

Но, узаконивая ее, Гоголь вновь присягал широкой общеевропейской традиции, ибо понятие «арабески» было столь же значимым в жанровом отношении, как и формула «раздор мечты с существенностью» в отношении коллизии. Согласно учению немецких романтиков, арабески — самая древняя, первоначальная форма человеческой фантазии, поднятая на высший уровень в новом искусстве. «Если в классическом искусстве художественный порыв ведет к живому образу, то в романтическом — к арабескам» (Штрих, с. 177). Ф. Шлегель

относил к «арабескам» романы Жан Поля, «Годви» Брентано, а также сказки Тика, считая, что в арабесках «самое прекрасное» — это «богатство фантазии и легкость, чувство иронии и особенно сознательное различие и единство колорита» (Шлегель, с. 312). Арабески отождествлялись или ассоциировались с теми или другими родами искусства в целом: Новалис называл арабески видимой музыкой, а Шеллинг связывал это понятие с индийской архитектурой, построенной на растительных мотивах. Сходные мысли развивал в России С. П. Шевырев, говоря о стиле испанцев: «Эти узоры слов, эту пеструю ткань метафор, можно очень справедливо сравнить с причудливыми арабесками, которые, как известно в истории искусства, заимствованы от роскошных узорчатых ковров Востока» (Шевырев, с. 57—58). На смысловое наполнение понятия «арабески» влияло соседство его — а порою и взаимозаменяемость — с понятием «гротеск» (у Ф. Шлегеля, Гофмана; ср. также название одного из сборников Э. По — «Гротески и арабески» и т. д.). Ведь гротеск, получивший свое наименование от особого рода настенной живописи, найденной Рафаэлем и его учениками в древнеримских подземных сооружениях — гrotтах, стал обозначением причудливого, странного. Если и есть в них своя цельность, то она скрывается в самой прихотливости переходов одних форм в другие — растительных в животные и наоборот, в неуловимости и ускользающей от глаза повторяемости, в завораживающем многообразии и запутанности. Влияли на идею арабесок и близкие Гоголю формы садово-паркового искусства конца XVIII века, основанные на принципах иррегуляртивности и лабиринта (Фуссо, с. 112—125).

Все это отвечало глубоким переживаниям Гоголя, давало выход строю чувств, заложенному еще в юности и в детстве; но в то же время и глубоко омрачало его внутреннее состояние, так как шло наперекор сознательно вынашиваемым жизненным установкам. Для Гоголя идея упорядоченности была идеей внутренней опоры, следовательно, идеей фундаментальной, не только идеологической, но и интимной. В «поединке роковом», который буквально с «Ганца Кюхельгартена» питал его литературную деятельность, верх брала то одна, то другая сила, хотя ни одна из них никогда не одерживала (и не одержит) окончательной победы. Своеобразие этого процесса заключалось в том, что разноголосица проявлялась под покровом единства, а «сумбур» и «смесь» должны были компенсировать отсутствие стройности. Гоголь обращал слабость в силу; так он поступил



в «Арабесках», как бы сознавшись в своем поражении, но в то же время питая надежду, что последнее, с одной стороны, освободит душу от тяжелого груза и откроет примиряющую перспективу, а с другой — выразит и нечто существенно важное, а следовательно, и осмысленное.

«Невский проспект» и в этом отношении явился «самым полным» его произведением — и не только как повесть в целом, но и как сквозной образ, как символ, как Невский проспект. Ибо это не просто улица, пусть самая главная, самая знаменитая, — она несет в себе объединяющее начало. Она связывает каждого со всеми, «она есть всеобщая коммуникация Петербурга». «Здесь житель Петербургской или Выборгской части, несколько лет не бывший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно». Городское пространство, лабиринты улиц и переулков, стены, замкнутость домов, этажей, квартир, дворов и двориков — все разъединяет людей. Невский проспект вновь приводит их в соприкосновение, дает им сведения о всех и о каждом. «Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект.»

Невский проспект соединяет людей не на почве практического интереса, а как бы совершенно бескорыстно и идеально. Ведь «эта улица — красавица нашей столицы!» Здесь «пахнет одним гуляньем». «Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес.» «Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах...» Кажется, Невский проспект осуществляет ту самую цель, которую ставил Гоголь перед всемирной историей — соединить все и всех «в одно стройное целое». Но органично ли такое соединение?

Неугомонное и многоликое шествие по Невскому проспекту от рассвета и дотемна подобно карнавальной процессии, разряженной, пестрой, яркой. Однако это явление далеко не во всем совпадает с феноменом карнавала, как он описан М. М. Бахтиным. Создавая «контакт тел», превращая последнего в первого, а первого в последнего, карнавал действительно мешает людей разных профессий, состояний и званий. Невский же проспект сохраняет между ними перегородки и дистанцию. Те, кто вступает на улицу в ранние и утренние часы и для кого «Невский проспект не составляет <...> цели», но «служит только средством», исчезает к 12 часам; те, кто появляется в пол-

день — «гувернеры всех наций со своими питомцами в батистовых воротничках», — уходит со сцены к 2-м, прогуливающиеся между 2-х и 3-х отличаются от тех, кто вступает на проспект в три часа; и т. д. Движение разбито на временные отрезки, напоминающие театральные явления, но если на театре переход персонажа из одного явления в другое не исключен (одно время, по сценическим правилам, это считалось даже обязательным — для сохранения преемственности действия), то «перемена декораций» на Невском проспекте влечет за собою полную смену действующих лиц.

Собственно фабульная часть повести подтверждает и развивает то, о чем говорит ее экспозиция. Контакты различных по психологическому складу и состоянию персонажей, завязавшиеся было на Невском проспекте, оказались оборваны не только на своем трагическом, высоком уровне (Пискарев и незнакомка), но и на уровне комедийном и низком (Пирогов и немочка). И произведение, начавшееся апофеозом всеобщего, так сказать, всегородского единства, коммуникативности, кончается ее полным дезавуированием: «Он лжет во всякое время, этот Невский проспект...» и т. д. Лжет, когда обещает согласие, единение, гармонию, цельность, любовь.

Любовь и женская красота подвержены особенно сильному воздействию противоположных сил — это одна из главных арен их приложения. Тут Гоголь продолжает тему, почерпнутую еще в личном опыте таинственного биографического эпизода начала 1829 года.

В любви скрыт могучий стимул к единению, к слиянию, душевному и телесному; в ней непререкаемость, природная и божественная, но в ней же и страшная бездна. Гоголь уже намекнул на нее в письме, связанном с переживаниями по поводу упомянутого эпизода, а затем в «Вечерах на хуторе...». Теперь он заглядывает в эту бездну еще глубже.

Гоголь видит различные виды красоты; он переходит от одного ее вида к другому, а с этим связано и усиление ее суггестивности.

Начальный ее вид — красота античная, красота скульптурных форм. «Чувственная, прекрасная, она прежде всего посетила землю» (статья «Скульптура, живопись и музыка», вошедшая в «Арабески»). Она дышит «негою», как женщины на полотне Брюллова, но в то же время исполнена спокойного достоинства и гордости, сохранив «одну мысль: красоту, гордую красоту человека». Чувственный момент на первом месте; женщина «обещает роскошь блаженства», она неприкрыто сладострастна. О сладострастии говорится с подчеркнутым эро-

тизмом и недвусмысленной определенностью ассоциаций: Гоголь воспевает «купол, это лучшее, прелестнейшее творение вкуса, сладострастный, воздушно-выпуклый», который должен был обнять все строение и роскошно отдыхать на всей его массе белую, облачную свою поверхность»; он выделяет купол из всех архитектурных форм: «...ничто не может так сладострастно, так пленительно украсить массу домов, как такой купол»; он не стесняется откровенно личных признаний: «...я люблю купол, тот прекрасный, огромный легко-выпуклый купол...» («Об архитектуре нынешнего времени»). Перед такой красотой невозможно устоять; хотя «в ней не прочитаешь всей долгой, исполненной потрясений и переворотов жизни», но «она прекрасна, мгновенна, как красавица, глянувшая в зеркало, усмехнувшаяся, видя свое изображение, и уже бегущая, влача с торжеством за собою толпу гордых юношей» («Скульптура, живопись, музыка»). Это напоминание о «Ночи перед Рождеством», парафраз к ней: так Оксана, глянувшая в зеркало и с удовлетворением решившая, что такой, как она, точно «нет и на свете», увлекла за собой Вакулу, готового ради нее на все.

Но обратим внимание на эпитет, который с минусовым знаком применен к античной красоте: в ней (а также и в Оксане из «Ночи перед Рождеством») нет отражения «всей *долгой*, исполненной потрясений и переворотов жизни». Эпитет становится отличительным признаком другого вида красоты — средневекового, христианского, романтического, олицетворенного не скульптурой, но живописью. Живопись является «выражением всего того, что имеет таинственно-высокий мир христианский. Взгляните на нее <...> как вдохновенен и *далог* ясный взор ее!». Долгота — знак трансцендентальности, протяжения жизни «за границы чувственного», когда похищаются «явления из другого безграничного мира, для названия которых нет слов». Этот знак постоянно сопровождает «прекрасную полячку» из «Тараса Бульбы», глаза ее «бросали взгляд *долгий*, как постоянство»; «ресницы ее, *длинные* как мечтания»; к Андрию она обратила «взгляд *долгий*, сокрушительный» и т. д. (цитирую везде редакцию «Миргорода»). Придание этого взгляда (и этого типа красоты) полячке имеет важный смысл, ибо с западноевропейским, католическим (в данном случае польским) миром Гоголь, согласно принятой историко-философской типологии, связывает фазу романтического искусства и романтического мироощущения. Такая красота также чувственна, но сокровенно, скрытно и оттого она еще пленительнее и неотразимее.

Высшее выражение захваченности красотой — ощущение укола, пронзенности. Отсюда постоянное подчеркивание остроты, резкости: «...резкая красота усопшей (панночки-ведьмы. — Ю. М.) казалась страшною»; черты лица ее «были образованы в такой резкой и вместе гармонической красоте»; в них виделось «что-то страшно-пронзительное»; грудь Андрия при встрече с полячкой «была проникнута самым пронзительным острием радости». Отсюда выбор «острых» деталей внешности красавицы: «...ресницы ее, длинные как мечтания, были опущены и темными тонкими иглами виднелись резко на ее небесном лице».

Любовь приводит к самозабвению, к рыцарскому обожанию предмета страсти. Пискарев «не сомневался, что <...> от него, верно, будут требоваться значительные услуги, и он чувствовал уже в себе силу и решимость на все». Андрий, пробираясь к полячке, не ощущает «ни сердца, ни земли, ни себя, ни мира». Поприщин: «Как взглянула она направо и налево, как мелькнула своими бровями и глазами... Господи, Боже мой! пропал я, пропал совсем». Так чувствовал себя и Вакула перед Оксаной («...Что мне до матери? ты у меня мать и отец, и все, что ни есть на свете...»), и сам Гоголь перед незнакомкой...

Под влиянием любви человек на все может решиться. «Ночь перед Рождеством» только намекнула на такую возможность: Вакула вступил в союз с нечистой силой, но в конце концов веру не утратил и еще большее благочестие приобрел. Андрий же пошел до конца — до вероотступничества и измены.

Любовь грозит смертью. Вакула опять-таки поиграл с мыслью о самоубийстве, а в новых повестях, в трех из них — «Невском проспекте», «Вице», и «Тарасе Бульбе» любовные перипетии приводят к гибели.

Прежде влюбленный мог прибегнуть к помощи сверхъестественной силы, доброй или злой ( в «Майской ночи», «Сорочинской ярмарке» и т. д.), и добиться своего. В новых повестях этого не происходит; лишь как остаточный, «пародийный» момент чудесного содействия можно рассматривать разрешение любовной коллизии в умопомешательстве (Поприщин) или опиумном забвении и грезах (Пискарев).

Поскольку сила любви непреложна и надлична, пораженного ею трудно в чем-либо винить, так же, как несправедливо ставить ему целиком в заслугу полноту или всеобъемлемость любовного переживания. От него лишь зависят психологическое расположение к чув-

ству, готовность к индивидуальному почину, но не исход коллизии. В описании казни Андрия есть многоговорящее сравнение: «...как молодой барашек, почувствовавший смертельное железо, повис он головою и повалился на траву...» Исследователь комментирует это место: «Смерть Андрия сопровождается трогательными словами сочувствия и сострадания, он даже отождествляется с ягненком — метафора, в религиозной окраске которой не приходится сомневаться. Андрий пожертвован на алтарь любви...» (Чижевский, с. 350). Добавлю к этому сравнение из статьи «О малороссийских песнях», включенной в «Арабески»: «Взвизги ее [песни] иногда так похожи на крик сердца, что оно вдруг и внезапно вздрагивает, *как будто бы коснулось к нему острое железо*». Благодаря повествовательной форме от лица Я вся символика жертвоприношения, страдания, символика Христа передвинута в откровенно личный план как автора, так и читателя.

А женщина-красавица? Свободна ли она от действия злых внешних сил? Только в одной повести («Записках сумасшедшего») эти отношения не прояснены. В «Тарасе Бульбе» красавица полячка во власти несчастий, что кажется противоестественным: «И это создание, которое, казалось, для чуда было рождено среди мира <...> это небесное создание терпело голод и все, что есть горького для жителей земли». В «Последнем дне Помпеи» женщина также во власти страшной стихии: «И эта прекрасная, этот венец творения, идеал земли, должна погибнуть в общей гибели наряду с последним презренным творением...» В «Невском проспекте» же злое начало проникает в саму красоту, оскверняет и разрушает ее; незнакомка-проститутка «была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину». А в «Вие» красота сама становится вместилищем и источником злой, демонической силы.

И все это без сколько-нибудь заметного сопротивления самой красавицы, но как бы с ее согласия (здесь приобретает смысл безумная реплика Поприщина: «Женщина влюблена в черта. И она выйдет за него, выйдет»). И становится ли она от этого менее прекрасной, менее обольстительной? Согласно гоголевской идее о богоподобности красоты этого не должно быть (вспомним слова Платона из «Женщины»: «Мы зреем и совершенствуемся: но когда? когда глубже и совершеннее постигаем женщину»). Но это происходит. Красота двузначна, а действие ее рискованно-противоречиво. «Он чувствовал *бесовски-сладкое* чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то *томительно-страшное наслаждение*» («Вий»).

К моменту издания «Миргорода» и «Арабесок» Гоголь уже пришел к твердому выводу, что «никакого единства красоты и моральной правды нет» (Зеньковский, с. 128). Может быть, именно поэтому в «Арабески» не попала статья «Женщина» (хотя в первоначальном плане она значится): ее напряженная патетика, вытекающая из идеи богоподобности и моральной однозначности красоты, больше уже не гармонировала с миросозерцанием писателя. Лишь гоголевскому герою оставлена в удел подобная вера: «Пусть бы еще безобразие дружилось с ним (с «развратом». — Ю. М.), но красота, красота нежная... она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях». Вот именно: только «в наших мыслях», то есть мыслях Пискарева, но не в самой действительности.

Больше того — Гоголь как автор «Миргорода» и «Арабесок» готов заподозрить теперь и «страсть» вообще; он отваживается на такой с точки зрения господствующей эстетики, да и обыденного сознания, дерзкий, умопомрачительный шаг, что ставит выше страсти «привычку»: «Что же сильнее над нами: страсть или привычка?» («Старо-светские помещики»). Страсть не может устоять перед временем (пассаж о юноше, влюбленном «нежно, *страстно*, бешено, дерзко, скромно»), а привычка устояла. Привычка гораздо сердечнее, добрее, гуманнее. Страсть — это эпизод в человеческой жизни, а привычка — сама жизнь. Интересно, что подобный эпизод (умыкание невесты, Пульхерии Ивановны, которую «родственники не хотели отдать за него») был некогда и у Афанасия Ивановича, «но и об этом уже он очень мало помнил».

Итак, красота несет в себе страшную опасность, ибо в ней заключено семя аморальности и злого соблазна. Но оказывается, что внутренне противоречиво, опасно-проблематично и искусство. Искусство, на верность которому Гоголь присягал перед лицом пушкинской трагедии, которому теперь посвящал свои силы все с большей и большей профессиональной отчетливостью и определенностью... Разуверился ли в нем писатель, спал ли его «эстетический энтузиазм»? Не спал, не преуменьшился, но как-то омрачился тяжелыми предчувствиями. Последние вытекали из самой профессионализации, а также из той творческой задачи, которую Гоголь при этом поставил: работать с жизненным материалом, с обыкновенными предметами («чем предмет обыкновеннее...» и т. д.), не избегать обыденного и эстетически несовершенного. Во весь рост эта проблема встала в «Портрете» (говорю только о первой редакции повести, вошедшей в «Арабески»).

Та дилемма, в пределах которой развернуто действие повести и сопряжены его полярные фигуры, Черткова и религиозного живописца, — это, говоря несколько схематично, дилемма приближения или удаления от действительности. Согласно расхожему мнению, Чертков — бескрылый натуралист, и его трагедия состоит в рабском подражании природе. Но на самом деле Чертков «не подражал природе — он сочинял ее, он копировал не природу, а схемы, произвольно созданные им для грубых глаз черни» (Анненский, с. 15). Он поставщик идеальных портретов, представляющих собою бесстыдную лесть и неправду, откровенное удаление от прообраза.

Направление же творческих усилий религиозного живописца (из второй части) прямо противоположное — к прообразу (в данном случае к ростовщику-дьяволу), к максимально полному и точному его фиксированию. Преступление художника в том, что он не знал границы в своем движении, вырвал «что-то живое из жизни», похитил «несоздаваемое трудом человека». Если кто-то повинен в «чересчур близком подражании природе», так это не Чертков, а религиозный живописец (к которому и относятся только что приведенные слова), но это не натурализм, а дерзкая, максимальная степень истины: чувствовалось, «что это *верх истины*, что изобразить ее в такой степени может только гений, но что этот гений уже *слишком дерзко* перешагнул границы воли человека».

Итак, преступление одного (Черткова) в том, что он отдаляется от истины; другого (религиозного живописца) в том, что приблизился к ней непозволительно близко. Один не видел или не хотел видеть; другой увидел слишком много. Действия первого с моральной точки зрения определены: чем больше его удаление от истины, тем сильнее вина. Но как подойти с подобными мерками к религиозному живописцу? Приближаясь к действительности до определенной границы, он прав; но, перейдя эту границу, совершает преступление. До какой же степени можно приближаться? И где заповедная граница? Сказать трудно, легче оставить проблему в форме вопроса, «непостижимой задачи»: «...какая странная, какая непостижимая задача! Или для человека есть такая черта, до которой доводит высшее познание и чрез которую шагнув, он уже похищает не создаваемое трудом человека...»

Тот же исследователь констатирует, что религиозный живописец, «не дал настоящей картины, не потому, однако, чтобы он рабски подражал природе, а потому, что, напротив, природа победила его в

данном случае своей эстетической неразрешимостью» (Анненский, с. 15). Эта «эстетическая неразрешимость» есть одновременно неразрешимость онтологическая, ибо роковая трещина (в категориях Гоголя — «черта») прошла через само устройство бытия — трещина все расширяющаяся и все более опасная. «...С каждым днем законы природы будут становиться слабее и оттого границы, удерживающие сверхъестественное, приступнее». Поэтому переходящий заповедную границу искусства похищает нечто заповедное, сверхъестественно-злое из самой действительности <sup>72</sup>.

Роковая черта пролегла через понятие действительности, через ее субстанцию и, соответственно, через само искусство, что и является источником драматизма и чрезвычайной напряженности переживаний. Молодой писатель жаждет всемерного овладения прозой жизни, его художественное направление уже четко наметилось, если не сложилось. Но в то же время его страшит приближение к действительности, таящей в себе нечто неведомо-ужасное, роковое. Сходное отношение мы видели у Гоголя и к любви, к женской красоте: с одной стороны, это высокое, небесное, божественное переживание; с другой — оно скрывает в себе элемент бесовского наваждения, обмана и гибели.

Где же найти прочную опору? Одолевает дьявольскую силу живописец тогда, когда спасается за стенами монастыря, выдерживает искус, осеняется вдохновением свыше — впервые Гоголь дает тип художника, который «весь обратился в религиозный пламень», всецело отдался религиозному направлению творчества. Если говорить о карьере религиозного художника как таковой, то изображено все это было еще «со стороны, как нечто лично еще не пережитое, как мелькнувшая сознанию в художественном образе возможность» (Гиппиус, 1924, с. 58). Более определенное и более личное выражение эта возможность приобретет много позднее... Но само призывание религии как спасительного якоря встречается у Гоголя не в первый раз — крест выручал и Вакулу, и деда в «Пропавшей грамоте», и деда из «Заколдованного места», и т. д.

Увы, на стадии «Арабесок» и «Миргорода» все стало сложнее и напряженнее. Молитвы и крест не спасли Хому Брута от гибели; осквернение храма в «Вие» осталось неотомщенным; религиозное рвение живописца уничтожило зло в одном индивидуальном проявлении (в портрете), но Антихрист уже «нарождается» и «бесчисленны будут жертвы этого адского духа...». Внутренне Гоголь стал пессимистичнее, его «хвостики душевного состояния» обозначились определеннее.



## МОСКВА — ВАСИЛЬЕВКА — МОСКВА

Внешне же Гоголь весной 1835 года выглядел спокойным и безмятежным.

Около 1 мая, взяв отпуск в Петербургском университете и Патриотическом институте, где он также продолжал числиться учителем истории, писатель выехал через Москву на родину. Его сопровождал А. С. Данилевский (X, 364; Шенрок, т. 1, с. 363).

Предыдущая, первая поездка Гоголя в Москву, мы помним, состоялась весной 1832 года, сразу же после выхода второй части «Вечеров на хуторе...». Гоголь встретил тогда в старой столице сочувствие и признание.

Теперь он ехал как автор «Арабесок» и «Миргорода» и готовился к новому взлету своей славы. Так оно и случилось. Москвичи благоволители к Гоголю и с нетерпением ждали его появления. Еще в начале 1834 года его избрали членом Общества любителей российской словесности. «Венчание», как говорит Гоголь, произошло, по видимому, по инициативе М. Погодина, секретаря этого общества.

Новые произведения Гоголя были на слуху у московской публики. С. Т. Аксаков отмечал: «Свежи, прелестны, благоуханны, художественны были рассказы в «Диканьке», но в «Старосветских помещиках», в «Тарасе Бульбе» уже являлся великий художник с глубоким и важным значением. Мы с Константином, моя семья и все люди, способные чувствовать искусство, были в полном восторге от Гоголя».

И вот Гоголь появился в Москве.

«В один вечер, — продолжает С. Т. Аксаков, — сидели мы в ложе Большого театра; вдруг растворилась дверь, вошел Гоголь и с веселым дружеским видом, какого мы никогда не видели, протянул мне руку со словами: «Здравствуйте!» Нечего говорить, как мы были изумлены и обрадованы. Константин <...> забыл, где он, и громко закричал, что обратило внимание соседних лож. Это было во время антракта. Вслед за Гоголем вошел к нам в ложу Александр Павлович Ефремов, и Константин шепнул ему на ухо: «Знаешь ли, кто у нас? Это Гоголь». Ефремов, выпуча глаза также от изумления и радости, побежал в кресла и сообщил эту новость покойному Станкевичу и еще кому-то из наших знакомых».

Так среди первых, кто увидел Гоголя, оказались члены московского философско-литературного кружка: Станкевич, Ефремов, Константин Аксаков, а для них-то, обожавших нового писателя, эта встреча была истинным праздником.

Публику в театре тем временем охватило возбуждение. «В одну минуту несколько трубок и биноклей обратилось в нашу ложу, и слова «Гоголь, Гоголь» разнеслись по креслам. Не знаю, заметил ли он это движение, только сказав несколько слов, что он опять в Москве на короткое время, Гоголь уехал» (Воспоминания, с. 92).

Позже выяснилось, что по прибытии в Москву Гоголь вначале отправился к Аксаковым домой и, узнав, что они в театре, поспешил туда. Сергея Тимофеевича очень тронул этот поступок, означавший, что гоголевское отношение к его семейству, прежде довольно сдержанное, заметно потеплело. Благотворную роль в этом «обращении» сыграл Погодин, сумевший убедить Гоголя, что в лице Аксаковых он имеет дело с искренними ценителями его таланта.

О хорошем настроении Гоголя свидетельствует и тот факт, что в этот свой приезд в Москву он решил устроить чтение своей новой вещи — комедии «Женихи» («Женитьба»), которую взял с собой на родину для доработки. Чтение проходило в доме Погодина на Девичьем поле, как установил Н. И. Мордовченко — 4 мая (Материалы, т. 2, с. 118). «Довольно большая комната была буквально набита битком» (С. Т. Аксаков) — Гоголь дал разрешение хозяину пригласить всех его знакомых. Кого же из них можно назвать конкретно? В. П. Андросова, литератора, ученого-статистика, редактора только что открывшегося журнала «Московский наблюдатель»; затем Константина Аксакова, очевидно М. Щепкина (XI, 38). По-видимому, к этому времени относится и первая встреча Гоголя с Шевыревым, с которым он вступил в переписку раньше — в марте 1835 года.

В числе приглашенных были Е.А. Баратынский, познакомившийся с Гоголем еще в первый приезд его в Москву, и поэт Денис Давыдов, но оба прийти не смогли. В письме Погодину Баратынский говорит: «Знаю, что я пропускаю случай познакомиться с новым произведением нашего веселого и глубокого Гоголя, и несказанно сетую на встретившееся препятствие» (Баратынский, с. 256)<sup>73</sup>.

Не смог прийти к Погодину из-за болезни и Сергей Тимофеевич Аксаков, но со слов очевидцев, прежде всего своего сына Константина, он составил довольно полное представление о том, как проходило чтение.

«Гоголь до того мастерски читал или, лучше сказать, играл свою пьесу, что многие, понимающие это дело люди, до сих пор говорят, что на сцене, несмотря на хорошую игру актеров, особенно господина Садовского в роли Подколесина, эта комедия не так полна, цельна

и далеко не так смешна, как в чтении самого автора. < ... > Слушатели до того смеялись, что некоторым сделалось почти дурно...» (Воспоминания, с. 93).

К упомянутому чтению комедии относятся и воспоминания хозяйки дома: «Читал он [Гоголь] однажды у меня, в большом собрании, свою Женитьбу. < ... > Когда дело дошло до любовного объяснения у жениха с невестой — в которой церкви они были в прошлое воскресенье? какой цветок больше любите? — прерываемого троекратным молчанием, он так выражал это молчание, так оно показывалось на его лице и в глазах, что все слушатели *à la lettre* [буквально] показывались со смеху и долго не могли прийти в себя, а он как ни в чем не бывало молчал и поводил только глазами». Гоголь продолжал и совершенствовал ту манеру комедийного исполнения, которую усвоил еще в молодые годы во время спектаклей в нежинской Гимназии высших наук, — манеру, состоящую в предельной наивности, простодушии и как бы полном внешнем отключении от аудитории. В целом М. Погодин подтверждает вывод С. Т. Аксакова: «Читал Гоголь так < ... > как едва ли кто может читать < ... > Скажу даже вот что: как ни отлично разыгрывались его комедии или, вернее сказать, как ни передавались превосходно иногда некоторые их роли, но впечатления никогда не производили они на меня такого, как в его чтении» (РА, 1865, № 7, столб. 891—892).

И все же, несмотря на успех, большинство слушателей не оценило всей глубины комедии. С. Т. Аксаков, рассказывая о том, какой заразительный хохот сопровождал чтение, прибавляет: «...но, увы, комедия не была понята! Большая часть говорила, что пьеса неестественный фарс, но что Гоголь ужасно смешно читает». Это наблюдение иллюстрируется письмом участника встречи Андросова, который спустя несколько дней, 19 мая, сообщал Краевскому о Гоголе: «Уморил повеса всю честную компанию, которая собралась к Погодину. В нем, по моему мнению, дар малороссийский — передразнивания в высшей степени, нежели дар наблюдения» (Материалы, т. 2, с. 121). Едва ли критическая нота укрылась от внимания Гоголя, в чьем сознании болезненно отзывались упреки в карикатурности и фарсе. Увы, пусть и в ослабленной форме, этот упрек в духе Сенковского повторили теперь даже расположенные к нему люди, его друзья.

Поскольку Сергей Тимофеевич не смог быть в доме Погодина, Гоголь согласился вторично прочитать комедию у Аксаковых. В назначенный день Сергей Тимофеевич пригласил в дом Штюмерера на

Сенном рынке (в советское время Красноворотный проезд), где теперь жило его семейство, новых гостей — тех, «которым не удалось слышать комедию Гоголя». И среди них были Белинский и Станкевич; между ними и кругом «Московского наблюдателя», в частности Шевыревым, уже наместились трения, и, видимо, по этой причине оба они не получили приглашения к Погодину.

Однако задуманное вторичное чтение «Женитьбы» не состоялось. «Гоголь сказал, что никак не может сегодня прочесть нам комедию, а потому и не принес ее с собой.» Это несколько охладило восторг Сергея Тимофеевича по поводу изменившегося отношения к нему Гоголя. Аксаков понял, что хотя это отношение и улучшилось, но до открытости, радушия, сердечности, столь свойственных ему самому, еще очень и очень далеко.

Возможно, Гоголя удержало от чтения комедии присутствие новых лиц, прежде всего Белинского. Это была, по-видимому, первая их встреча, но имя последнего должно было быть уже знакомо Гоголю. Незадолго перед тем Белинский опубликовал в надеждинской «Молве» свои «Литературные мечтания», обратившие на себя всеобщее внимание и означавшие появление на сцене яркого, неординарного критика. Но в отношении к нему не было единодушия: одни восторгались, другие бранили, третьи питали смешанные чувства. К третьим можно отнести и членов пушкинского кружка, где Белинского осуждали за безапелляционность и категоричность суждений и неуважение к литературной традиции. Такое отношение к Белинскому, надо думать, складывалось и у Гоголя.

Но не мог Гоголь не заметить и того, что молодой критик сразу же выступил как горячий поклонник его творчества. В последней главке «Литературных мечтаний», появившейся под новый, 1835 год, говорилось: «Г-н Гоголь, так мило прикинувшийся Пасичником, принадлежит к числу необыкновенных талантов. <...> Дай Бог, чтобы он вполне оправдал поданные им о себе надежды!..» По выходе «Арабесок» и «Миргорода» Белинский в апрельском номере «Молвы», незадолго до появления Гоголя в Москве, твердо заявил: новые его произведения «принадлежат к числу самых необыкновенных явлений в нашей литературе» — и обещал дать «подробный отчет» об этих произведениях в майском номере «Телескопа». Следовательно, к моменту приезда писателя критик уже обдумывал свою большую статью, но, возможно, именно этот приезд и полученные новые впечатления задержали осуществление замысла — знаменитая статья «О

русской повести и повестях г. Гоголя» появилась спустя несколько месяцев.

Гоголь, впрочем, мог не обратить внимание на маленькую библиографическую заметку об «Арабесках» и «Миргороде» или не знать, кому она принадлежит, но мимо его внимания едва ли прошла напумевшая статья Белинского «И мое мнение об игре г. Каратыгина», появление которой совпало с приездом писателя в Москву (статья была подписана довольно прозрачным псевдонимом: -он-инский). В ней Гоголь выдвигался как пример «таланта природного» (в отличие от «случайного», представляемого Марлинским), который «берет естественностью и простотой».

Но в этой же статье как очевидное поражение расценивалась повесть «Портрет». Мол, вздумалось Гоголю «написать фантастическую повесть à la Hoffmann, и вышло нечто несуразное — повесть решительно никуда не годится». Хотя Белинский видел у Гоголя не те недостатки, что Сенковский (не фарсовость и отсутствие глубины, а рационалистическую, головную фантастичность), но его безапелляционный тон едва ли мог понравиться писателю. Словом, у него были мотивы, удержавшие его от чтения комедии в присутствии Белинского.

Среди лиц, окружавших Гоголя в Москве, мы не встречаем имя Надеждина, что может показаться странным. Профессор Московского университета и редактор «Телескопа» и «Молвы» принадлежал к числу самых пылких почитателей молодого писателя. В свое время он одним из первых приветствовал «Вечера на хуторе...».

Чуть позже, по выходе «Повести о том, как поссорился...», он поспешил оспорить в «Молве» (1834, № 22) утверждение Сенковского о сходстве Гоголя и Поль де Кока, «ибо между Поль де Коком, пустым, наглым болтуном, и между вами [Гоголем] находим такую же бесконечную разницу, как между г. Кукольниковом и Байроном, хотя в «Библиотеке для чтения» сии два поэта также ставятся на одну доску». Н. И. Надеждин защищал Гоголя от самого чувствительного для него обвинения в фарсовости и изменности и одновременно наносил столь же чувствительный удар соперничавшему с ним Кукольнику.

В бытность Гоголя в Москве весной и в конце лета 1832 года Надеждину, видимо, не удалось коротко сойтись с ним, разве что познакомиться. Весною 1835 года, незадолго до нового приезда Гоголя в Москву, Надеждин побывал в Петербурге и здесь встречался

с ним. В дневниковой записи Надеждина от 31 марта есть такие строки: «Честь и слава Гоголю!.. Сегодня пойду, обойму его — расцелую... О, врач всех телесных и душевных болезней... всемогущий Гоголь!.. Разбойник! А ведь у меня сидит, как (чумной — неразб.)... Нет, чтоб полечить и меня... чтоб заставить быть также *очень веселым!* Диплом ему, диплом — на звание Доктора!.. Что перед ним Дядьковский с братией?» (подчерк. Надеждиным; ИРЛИ, ф. 199. оп. 2, № 49, л. 26—26 об.)<sup>74</sup>.

Приведенное место требует пояснений. В это время Надеждин переживал трудный роман со своей ученицей Елизаветой Васильев-ной Сухово-Кобылиной. Родители — знатные московские бары, генерал и генеральша — не соглашались на брак своей дочери с человеком из низов, поповичем и семинаристом. Надеждин постоянно находился в мрачном, подавленном состоянии духа. И тут он получает из Москвы письмо от С. Т. Аксакова, сообщающего, что Елизавета Васильевна читала Гоголя и очень смеялась. Настроение Надеждина поднялось, он хочет благодарить Гоголя... Из дневниковой записи видно, что они встречались не единожды, причем и Надеждин заходил к Гоголю, и Гоголь — к Надеждину.

По возвращении в Москву, в дни, когда здесь был Гоголь, дела Надеждина пошли совсем плохо, а 10 мая он получил формальный отказ. Надеждин замкнулся в уединении, «старательно избегал встреч со своими знакомыми, кроме самых близких: М. Г. Павлова или Дядьковского» (Козмин, с. 495—496). Поэтому-то он и держался в отдалении от Гоголя.

В середине мая Гоголь покидает Москву и направляется в Васильевку. Здесь его встретили мать, сестры Ольга и Марья, муж Марьи, Павел Осипович Трушковский, — и новый член семейства: в апреле 1833 года у Трушковских родился сын. Мальчика, как мы знаем, назвали Колей — в честь дяди Николая Васильевича.

Куча домашних забот сразу же свалилась на голову приехавшего. Года два назад Марья Ивановна пустилась в рискованное хозяйственное предприятие — продала часть земли и на вырученные деньги решила завести в Васильевке кожевенный завод с фабрикой. Николай Васильевич давал в письмах подробные инструкции, как наладить дело: не хвастаться перед соседями, чтобы не возбуждать зависть, вести строгий счет деньгам, а главное, не очень доверять приглашенному «фабриканту». «Мы не можем поручиться за один час вперед», и «разве этого не может случиться, что фабрикант, взявши деньги,

вдруг вздумает улизнуть, что тогда?» (X, 303). Фабрикант действительно «улизнул», оставив Марью Ивановну с большими долгами.

Пришлось Николаю Васильевичу думать о том, как раздобыть лишних денег, где выгоднее продать хлеб, сало и другие продукты натурального хозяйства.

В июне Гоголь едет в Крым, чтобы отдохнуть и полечиться. Хотел было направить путь на Кавказ, но — «проклятых денег не стало и на половину вояжа». Пришлось ограничиться Крымом и тамошними грязевыми ваннами. «Впрочем, здоровье, кажется, уже от одних переездов поправилось», — сообщает он 15 июля 1835 года В. А. Жуковскому, вернувшись в родные места. Это одно из первых признаний Гоголя о том, как благотворно действует на него дорога.

Гоголь еще несколько недель, до конца лета, живет в Васильевке, занимается хозяйством, разбирает свой «запасец» старинных рукописей, «большой частью относящийся к малороссийской истории», обдумывает новые вещи. У него была с собой тетрадка с «Женитьбой», но, кроме того, он сочиняет новую пьесу — не комедию, а драму и не из русской жизни, а из западноевропейской, средневековой. В центре драмы — англо-саксонский король Альфред Великий, реформатор, просветитель. Интерес писателя к таким историческим фигурам был постоянен: вспомним Ал-Мамуна, а еще раньше — Бориса Годунова, как он был интерпретирован в одноименной гоголевской статье. Для работы над произведением Гоголь просит Прокоповича выслать ему на родину первый том русского перевода «Английской истории» Рапена.

Несмотря на поездку в Крым, на поправление здоровья, Гоголь к концу лета начинает жаловаться на недостаточное расположение к труду. Кажется, никто из встречавшихся с Гоголем в эту поездку в Москву и на родину не упоминает о болезненном угнетенном состоянии, какое было у него в предыдущую поездку, три года назад. Но из более позднего признания Гоголя матери мы узнаем, что и на этот раз не все было гладко. «Когда я был последний раз у вас (т. е. летом 1835 г. — Ю. М.), вы, я думаю, сами заметили, что не знал, куда деваться от тоски, и напрасно искал развлечений. Я сам не знал, откуда происходила эта тоска...» (XI, 119).

К середине августа Гоголь собирается в обратный путь. Подумывает, не взять ли с собой Ольгу, чтобы она, как и две другие его сестры, Аня и Лиза, воспитывалась в Петербурге. Старшая сестра Марья Васильевна стала отговаривать, ссылаясь на глухоту Оли,

следствие перенесенной болезни уха, на плохую память. Но Гоголь верил в свою педагогическую методику. «Это ты не хочешь с нею заниматься, и мать ее балует, у меня будет у нее памяти!» — сказал он и задал Ольге целую страницу французского текста. «И я до самого обеда учила, не уставая, — рассказывает Ольга, — а когда подали обед, брат спрашивает, я не могла ни одного слова ответить. Он оставил меня без обеда, потом до вечернего чая тоже не знала уроков, а до ужина одно или два слова ответила. Тогда брат удостоверился, что нет памяти; кроме того, порешили, что золотушные не переносят петербургского климата, и кончилось тем, что брат сказал матери: «Воспитывайте ее сами!» — и уехал» (Головня, с. 8).

По дороге он решил завернуть в Киев, чтобы уладить «кое-какие гербовые заботы» и повидаться с М. А. Максимовичем, посмотреть, каково тому на новом месте в должности профессора и ректора университета Св. Владимира.

Гоголь нашел друга в доме Катеринича, на Печерке, недалеко от Никольского монастыря.

«Он пробыл у меня, — говорит Максимович, — пять дней или, лучше сказать, пять ночей, ибо в ту пору все мое дневное время было занято в университете, а Гоголь уезжал с утра к своим нежинским лицейским знакомцам и с ними странствовал по Киеву. Возвращался он вечером, и только тогда начиналась наша беседа. Нельзя было мне не заметить перемены в его речах и настроении духа: он каждый раз возвращался неожиданно степенным и даже задумчивым. Ни крепкого словца, ни грязного анекдота не послышалось от него ни разу. Он, между прочим, откровенно сознавался в своем небрежении о лекциях в Петербургском университете и жалел очень, что его не принял фон-Брадке. < ... > Я думаю, что именно в то лето начался в нем крутой переворот в мыслях — под впечатлением древнерусской святыни Киева, который у малороссиян 17-го века назывался русским Иерусалимом» (курсив в оригинале. — Ю. М.).

Однажды Максимович вместе с Гоголем побывали у храма Андрея Первозванного. «Гоголю особенно полюбился вид оттуда на Кожемяцкое удолье и Кудрявец. Когда же мы снова обходили с ним вокруг той высоты, любуясь ненаглядною красотой киевских видов, стояла неподвижно малороссийская молодлица, в белой свитке и намитке, опершись на балкон и глаза на Днепр и Заднепровье. — «Чого ты глядишь там, голубко?» — мы спросили. «Бо гарно дивиться», — отвечала она, не переменяя положения, и Гоголь был очень доволен



этим выражением эстетического чувства в нашей землячке» (Максимович, с. 55—57).

Словом, в глазах друга Гоголь предстал в несколько новом свете. В юные годы среди товарищей, однокашников, он отличался любовью к циничным выражениям и шуткам. Особенно хорошо знал его с этой стороны Максимович: письма Гоголя к нему пестрят нецензурными словами. Теперь Гоголь казался сдержаннее, «степеннее».

Это был признак других, более глубоких изменений, которые Максимович называет «крутым поворотом». Однако «поворот» к чему? К украинской народности? Но интерес к ней пробудился у Гоголя еще раньше. Скорее всего, Максимович, описывавший «киевские каникулы» Гоголя в свете его последующей судьбы и ее заключительной фазы, имеет в виду изменения общего, религиозно-нравственного характера (не случайно упоминание о роли для писателя Киева как «русского Иерусалима» — это сказано в параллель к паломничеству Гоголя в настоящий Иерусалим, которое он совершит в 1848 г.). Правда, о «крутом повороте» говорится преждевременно — происходило скорее накопление симптомов, не слившихся еще в цельную, непрерывную линию и внятных пока лишь самым близким людям. Три года назад в письме матери Гоголь обнаружил явное поползновение к религиозному учительству; теперь он поразил Максимовича особенной религиозной сосредоточенностью своего настроения.

В конце августа Гоголь вместе с А. С. Данилевским и И. Г. Пащенко (по-видимому, именно их подразумевает Максимович, говоря о «нежинских знакомцах» писателя) отправился из Киева в Москву.

По дороге было разыграно действо, о котором гоголевский биограф рассказывает со слов одного из участников — Данилевского.

Гоголь в очередной раз решил прибегнуть к столь любезной его сердцу мистификации и выдать себя за важную персону; с этой целью Пащенко ехал первым и распространял слух, что следом едет ревизор. «Когда Гоголь с Данилевским появлялись на станциях, их принимали всюду с необыкновенной любезностью. В подорожной Гоголя значилось: адъюнк-профессор, что принималось обыкновенно сбитыми с толку зрителями чуть ли не за адъютанта Его Императорского Величества» (Шенрок, т. 1, с. 364).

В. Шенрок считает, что состоялась «оригинальная репетиция «Ревизора», которым тогда Гоголь был усиленно занят». Но скорее это была не «репетиция», а пролог, причем пролог невольный, стихийный: идея комедии, зерно ее сюжета еще не были подсказаны Пушкиным,

но исподволь в гоголевском сознании накапливались и вызревали, так сказать, встречные впечатления.

В последних числах августа Гоголь приехал в Москву и вскоре отправился в Петербург.

Новая поездка в Москву, как и предыдущая, три года назад, принесла Гоголю удовлетворение. Московское радушие, открытость, непритворные знаки внимания действовали на него благотворно. Связи его расширились.

В Москве (на пути в Васильевку или по возвращении — неизвестно) Гоголь сделал еще несколько знакомств — с другом Пушкина Павлом Воиновичем Нащокиным и его женой Верой Александровной (НВ, 1898, 7 окт.), с критиком, педагогом и историком литературы Алексеем Дмитриевичем Галаховым (Воспоминания, с. 403)<sup>75</sup>.

1 сентября Гоголь возвратился в Петербург.

## «ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»

В тот же день в «Москве» была подписана цензором к печати 7-я книжка «Телескопа» с началом статьи Белинского «О русской повести и повестях г. Гоголя», а еще через несколько дней — следующая книжка с окончанием этой статьи. Гоголь прочитал статью вскоре после ее опубликования — в сентябре и октябре.

П. Анненков рассказывает: «Я имел случай видеть действие этой статьи на Гоголя. Он еще тогда не пришел к убеждению, что московская критика, то есть критика Белинского, злостно перетолковывала все его намерения и авторские цели, — он благосклонно принял заметку статьи, а именно что «чувство глубокой грусти, чувство глубокого соболезнования к русской жизни и ее порядкам слышится во всех рассказах Гоголя», был доволен статьей, и более чем доволен: он был осчастливлен статьей, если вполне верно передавать воспоминания о том времени» (Анненков, 1983, с. 161).

Хотя некоторые детали сообщения мемуариста можно прокорректировать другими фактами, что мы сделаем ниже, он, без сомнения, «вполне верно» передает реакцию Гоголя. Гоголь имел все основания быть «осчастливленным» статьей. Статья обозначила высший пункт его литературного признания, по крайней мере, признания печатного. По тому времени была достигнута наибольшая мера понимания гоголевского творчества, хотя мера и не абсолютная — но можно ли говорить о таком понимании в отношении художника великого и,

следовательно, неисчерпаемого? Лучший пролог к новому петербургскому периоду, к последним полутора с небольшим годам пребывания Гоголя на родине, когда его творческое развитие достигло своего апогея, лучший пролог представить себе трудно.

«Я близко знал Гоголя в это время, — говорит Анненков, — и мог хорошо видеть, как, озадаченный и сконфуженный не столько яркими выходками Сенковского и Булгарина, сколько общим осуждением петербургской публики, ученой братии и даже приятелей, он стоял совершенно одинокий, не зная, как выйти из своего положения и на что опереться». Тут можно внести обещанный корректив: таланта Гоголя в это время уже почти никто не оспаривал, особенно в печати, но важна была квалификация этого таланта.

После выхода в свет «Арабесок» и «Миргорода» А. В. Никитенко записывает в дневнике (21 февраля 1835 г.): «Талант его чисто теньеровский. <...> Там, где он переходит от материальной жизни к идеальной, он становится надутым и педантичным или же расплывается в ребяческих восторгах» (Никитенко, с. 168). «Теньеровский» — это несколько облагороженный синоним «поль-де-коковско-го», пущенного в оборот Сенковским еще в связи с опубликованием «Повести о том, как поссорился...».

После выхода «Арабесок» Сенковский пишет о Гоголе в том же ключе: «...кариатура — преимущество и недостаток его дарования. Недостаток — когда он желает говорить как знаток о предметах важных. <...> Преимущество — когда захочет он быть без притязаний и занимается веселыми вещами». «Очень забавные» сцены критик нашел в «Невском проспекте», в «Записках сумасшедшего», прибавив, впрочем, что последние «были бы еще лучше, если б соединялись какою-нибудь идеей» (БЧ, 1835, т. 9, отд. 6, с. 13—14). Говоря же о статьях, включенных в «Арабески», и особенно об авторском предисловии, критик впадает в откровенно издевательский тон (который затем не раз применит против Гоголя, в частности против его «Мертвых душ»): «Только Гете и только г. Гоголь могут говорить с публикою таким образом. <...> Они проникнуты той истиной, что всякий лоскуток бумаги, который освятили они пером своим, когда еще учились писать, есть собственность целого рода человеческого...» Словом, автор «заслуживает, чтобы ему откровенно показали место его в умственном мире...» (там же, с. 9—10).

Когда же появился «Миргород», Сенковский даже несколько обрадовался, увидев подтверждение своего взгляда на гоголевский та-

лант: «Вот это совсем другое дело! <...> Н. В. Гоголь, у которого мы уже в прошлом месяце (т. е. в рецензии на «Арабески». — Ю. М.) заметили особенное дарование рассказывать шуточные истории, является повествователем занимательным, умным, оригинальным. Малороссийская повесть — настоящая его сфера». Это не помешало критике вновь подтвердить свой отрицательный приговор «Повести о том, как...» («мы всегда были того мнения, что она очень грязна»), а по поводу «Вия» сказать, что в нем «нет ни конца, ни начала, ни идеи, — нет ничего, кроме нескольких страшных, невероятных сцен» (БЧ, 1835, т. 9, отд. 6, с. 30, 33).

Сенковскому пробовали возражать — в меру своего слабого голоса — «Литературные прибавления к Русскому инвалиду». Перепечатав отрывок из «Записок сумасшедшего», В. (т. е. редактор А. Воейков) в подстрочном примечании не преминул вспомнить «Повесть о том, как поссорился...», которая своим «неподдельным, чисто малороссийским юмором» отличается от «фальшивого юмора» Сенковского (1835, № 27). Поместили «Литературные прибавления...» и специальную рецензию на «Миргород» (1835, № 33; подп.: А. в. м. л., Дерпт), где отмечалось, что Гоголь достиг нового качества в своем творческом развитии — «простоты» и что «он в этом случае диаметрально противоположен Брамбеусу», то есть тому же Сенковскому.

Только одна «Северная пчела» судила о Гоголе в унисон с Сенковским. П. М-ский (П. Юркевич?) в рецензии на «Миргород» произнес свои ставшие знаменитыми слова, что в «Повести о том, как поссорились...» изображена «неопрятная картина заднего двора человечества» (СП, 1835, № 115); в отклике же газеты на «Арабески» отмечались упущения Гоголя по части «вкуса» и выбора «предметов», хотя при этом признавалось, что «отрывок из исторического романа и две повести его «Портрет» и «Невский проспект» — создания замечательные во многих отношениях» (СП, 1835, № 73).

Почти все упомянутые отклики появились еще до поездки Гоголя в Москву, сразу же после появления двух сборников. Как видим, картина складывалась довольно пестрой: звучали не только брань, но и похвалы, к безоговорочному осуждению не прибегал никто, даже Сенковский. Однако Гоголю свойственна была способность улавливать прежде всего негативные суждения, порою очень их преувеличивая и сгущая (это сполна проявилось позднее в связи с реакцией на «Ревизора»). Кроме того, конечно, чувствовал поразительную неадекватность критических мнений, в том числе и самых доброже-

лательных, его произведениям. Гоголю важна была не похвала, а понимание.

Гораздо больше понимания он нашел у двух москвичей — Погодина и Шевырева, чьи отклики появились в одной и той же книжке «Московского наблюдателя», как раз накануне отъезда писателя из столицы. С отзывом Погодина, провозгласившего Гоголя «новым светилом» русской литературы, мы уже знакомы. Теперь обратимся к Шевыреву. В статье, озаглавленной «Миргород...», он также рассматривал Гоголя как замечательного писателя, чуждого той одно-сторонности, которую ему приписывал Сенковский или рецензенты «Северной пчелы». Так, персонажи «Старосветских помещиков» служат явным обличением тем критикам, которые ограничивают талант автора одною карикатурою. Автор изобразил нам их не с одной смешной стороны» (МН, 1835, март, кн. 2, с. 405). Все это помогало Гоголю, утешало его — но полностью ли?

Обратим внимание: Шевырев посвятил свою статью только «Миргороду», хотя ему хорошо были известны и «Арабески». Умолчание объясняется словами самой рецензии: «...в новых повестях, которые читаем мы в «Арабесках», этот юмор малороссийский не устоял против западных искушений и покорился в своих фантастических созданиях влиянию Гофмана и Тика — и мне это досадно» (там же, с. 404). Тут можно вспомнить, что Гоголь послал для напечатания в «Московском наблюдателе» повесть «Нос» и, будучи в Москве, узнал, что произведение не понравилось. По-видимому, не понравилось потому, что Шевырев увидел здесь еще одно подражание «фантастическим созданиям» немецких романтиков.

Подобные мнения Шевырева разделяли и другие москвичи, которые в целом глубоко уважали талант Гоголя. Даже благоговевший перед Гоголем С. Т. Аксаков в письме к Надеждину в Петербург от 26 марта 1835 года, выражая свое восхищение «Старосветскими помещиками» и «Тарасом Бульбой», прибавляет: «Но к чорту гофманщину: он писатель действительности, а не фантазмагорий» (Машинский, 1961, с. 231). Имеются в виду те же повести из «Арабесок».

Отсюда видно, в чем Анненков был прав, а в чем неточен. Гоголь не был обделен похвалами и сочувствием своих доброжелателей, скорее, наоборот, но он не находил у большинства из них понимания своих творческих усилий и своей эволюции в целом. Эта эволюция мыслилась ими как прямой путь от «Вечеров...» к «Миргороду» и далее к еще большему погружению в самобытную, без примеси «гоф-

манщины» русскую жизнь. Петербургские повести на этом пути казались отступлением в сторону, капризным зигзагом. Отсюда рекомендации Гоголю (со стороны Шевырева, например), к каким сферам русской действительности следует обращаться, а чего избегать.

Но для Гоголя опыт «Арабесок» был не менее органичен и важен, чем опыт «Миргорода». Разработка коллизии «мечты и существенности», усвоение атмосферы большого города с ее контрастами, гротескными изломами, дух европейского романтизма и постромантизма, дух современных историософских концепций — все это нашло преимущественное выражение именно в «Арабесках» (хотя косвенное, своеобразное — и в «Миргороде» тоже) и никак не могло быть отодвинуто Гоголем в сторону. Да, ему нужны были не похвалы, а понимание — и именно недостаточное понимание со стороны ближайших друзей претворялось в то чувство одиночества, о котором говорит Анненков.

Из сказанного также видно, что пушкинское определение «Невского проспекта» как «самого полного» произведения Гоголя имело полемический смысл. Но это определение прозвучало позже, в 1836 году, со страниц первого тома «Современника».

Получалось так, что Белинский встал горой за Гоголя сразу же после возвращения писателя из Москвы, когда еще в его памяти слышны были голоса Шевырева и других сотрудников «Московского наблюдателя». Встал и за «Невский проспект» («“Невский проспект” есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное...») и «Записки сумасшедшего», и за все своеобразие гоголевского творчества. «Он не давал <...> советов автору, не разбирал, что в нем похвально и что подлежит нареканию, не отвергал одной какой-либо черты <...> не одобрял другой как полезной и приятной, — а, основываясь на сущности авторского таланта и на *достоинстве его мирозерцания*, просто объявил, что в Гоголе русское общество имеет будущего *великого писателя*» (курсив в оригинале. — Ю. М.; Анненков, 1983, с. 161).

Впервые творчество Гоголя было поставлено в столь широкую перспективу — с одной стороны, как высшее достижение русской повести, от Карамзина до Н. Ф. Павлова, а с другой — как факт общеевропейского художественного развития, а именно развития реальной формы поэзии, начатой Шекспиром, продолженной Вальтером Скоттом и т. д. Все это и подводило критика к выводу, что «в настоящее время он [Гоголь] является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным».

Гоголевская «карта» и раньше уже разыгрывалась против Пушкина, разыгрывалась сразу же после появления «Вечеров на хуторе...». Теперь же во всеуслышание было заявлено, говоря современным языком, о смене лидера. И хотя, вопреки Белинскому и господствовавшему мнению, Гоголь не считал, что пушкинский талант уже исчерпал себя и отстает от времени (вспомним статью «Несколько слов о Пушкине»), но столь решительное заявление, вероятно, было ему приятно, так как укрепляло веру в себя, способствовало самоутверждению.

Автор статьи «О русской повести...» по-прежнему не принимал «Портрета», он отрицательно отзывался о гоголевских «ученых» сочинениях, но это не колебало общего его вывода, который вполне отвечал творческой устремленности писателя. Ведь именно весь приобретенный им к середине 30-х годов богатый эстетический опыт сделает возможным впоследствии появление «Ревизора» и «Мертвых душ».

... По возвращении в Петербург Гоголь уже не приступал к занятиям в Патриотическом институте. Помня о его опоздании после предыдущей поездки на родину, начальница института подала прошение об определении на должность другого учителя, ибо Гоголь, «будучи одержим болезнью, может пробыть в отпуске весьма долгое время и тем поставит институт в затруднение...» (РС, 1887, № 12, с. 755).

А затем, 31 декабря, кое-как дотянув последний семестр, Гоголь уволился и от должности адъюнкт-профессора, как гласил официальный документ, — «по случаю преобразования С.-Петербургского университета» (РМ, 1896, № 5, с. 173)<sup>76</sup>.

Новый, 1836 год Гоголь встречал «беззаботным козаком». Отныне все его силы будут отданы литературному труду.

\* \* \*

Гоголю оставалось прожить на родине не многим более полугода. Небольшой отрезок времени — с осени 1835 по июнь 1836 года — новый важный этап его творческой биографии. Так же, как и 1833 год, о чем говорилось в этой книге, он может быть назван кризисным. Да, собственно, сам Гоголь впоследствии так его и назвал: «Это великий перелом, великая эпоха моей жизни...» (XI, 49). Именно тогда был написан, поставлен и издан «Ревизор», начаты «Мертвые души»; именно тогда оформляется новая эстетика Гоголя, новое его представление о своей жизненной миссии и творческих задачах.

Но обо всем этом — в другой книге.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> *Braun M. N. W. Gogol. Eine literarische Biographie. The Hague. Paris, 1967; Magarshak D. Gogol. A life. London, 1957; Troyat H. Gogol. Paris, 1971* и др.

<sup>2</sup> «Викарный» — в данном случае помощник приходского священника в католической церкви. В православной церкви это слово обозначает более высокое лицо — епископа, являющегося заместителем или помощником архиерея. Вот еще суждение человека, близкого духовной среде и знатока российских церковных установлений: «В нашу церковь звание викариев вошло не прежде времен Петра Великого. У нас оно дается епископу, который не имеет епархии собственной и помогает местному святителю в исправлении его обязанностей, в отсутствие же заменяет его» (*Н. Надеждин. «Викарий» — Энциклопедический лексикон, т. 10, СПб., 1837, с. 116.*

<sup>3</sup> В. Вересаев вообще оспаривает дворянское происхождение Гоголя, так как род его представлен священниками, «что немножко странно для дворян» (Вересаев, с. 290—291). Однако известно немало случаев, когда украинские священники были выходцами из дворян. Историк, составлявший биографии преподавателей Киевского университета Св. Владимира, отмечает: «В прошлом столетии, когда Западный край принадлежал еще Польше, большинство духовенства, и католического и православного, а также униянского, принадлежало к сословию дворянскому» (Иконников, с. 489). Украинские священники, служилые люди, чиновники и другие принялись доказывать свое дворянское происхождение после издания Екатериной II Жалованной грамоты дворянству и распространения ее действия на Украину (1785). Обычно это оформлялось с помощью соответствующего документа, подписанного губернским предводителем дворянства и несколькими депутатами. Известен ряд таких документов, составленных так же, как и упомянутый дворянский протокол Гоголя, например, документ о дворянском происхождении отца О. М. Новицкого, профессора Киевского университета: «В подтверждение этого, согласно указу Екатерины II от 25 апреля 1785 г., по рассмотрении его прав, выдан ему в царствование Александра I, именно 4 декабря 1802 г., патент за подписью предводителя дворянства Волынской губернии и депутатов девяти ее уездов» (Иконников, с. 489). Еще один пример — «Свидетельство Киевского наместничества» от 12 декабря 1788 г.



о «принятии в число дворян священника Феодора Тихоновича и его братьев». При этом было постановлено внести их «в дворянскую родословную книгу», выдать им «грамоту на благородное их достоинство», а до ее изготовления — «сие свидетельство». Документ имеет 11 подписей — губернского предводителя дворянства, депутатов, секретаря (КС, 1885, № 5, с. 176—177). Правда, А. Ефименко, автор исследования «Малорусское дворянство и его судьба», отмечает, что при выдаче подобных документов допускались злоупотребления: «...депутаты завели чуть ли не открытую торговлю дворянскими правами и дипломами» (ВЕ, 1891, № 8, с. 562). Однако отсюда еще нельзя категорически заключать (как это делает В. Вересаев), что именно такое ложное свидетельство было выдано Афанасию Демьяновичу Яновскому.

<sup>4</sup> Книга эта сохранилась и находится в настоящее время в книжном собрании Череповецкого краеведческого музея Вологодской области. Как гласит владельческая запись, она была подарена Н. В. Гоголем в Петербурге 28 июня 1833 года курскому мещанину Василию Михайловичу Лагочеву (Н. Т. Морозова. Книга из библиотеки Гоголей//Итоги и проблемы изучения русской литературы XVIII века. XVIII век, <вып.> 16, Л., 1989, с. 252).

<sup>5</sup> О популярности Трахимовского свидетельствует современник: «В первую четверть нынешнего столетия искусство и слава Михаила Яковлевича Трофимовского привлекали в Сорочинцы недужных всей Малороссии» (Максимович, 1854, с. 7).

<sup>6</sup> Выписка из метрической книги Спасо-Преображенской церкви местечка Сорочинцы впервые опубликована А. И. Ксензенко (РС, 1888, № 10, с. 392); фотокопия появилась несколько позже в 1908 г. Опубликование этих документов внесло ясность в вопрос о дате рождения Гоголя — 20 марта 1809 г. (ранее назывались другие даты: 19 марта 1809 г., 20 марта 1810 г.).

<sup>7</sup> Существует и другой вариант рассказа (Смирнова, 1989, с. 70—71). Оба варианта отличаются некоторыми деталями, но совпадают в передаче сущности эпизода и вызванных им переживаний Гоголя.

<sup>8</sup> Известно описание этого дома, сделанное дочерью писательницы Е. Ган и относящееся к 40-м гг. прошлого века: «Меня поразили красивый дом и сад; но еще гораздо больше изумил старик лакей, в белом галстуке и с белыми волосами...» (РС, 1887, № 3, с. 761).

<sup>9</sup> Биографические сведения об А. А. Трошинском приводятся в кн.: *Марин А.* Краткий очерк истории лейб-гвардии Финляндского полка..., кн. 2, СПб., 1846, с. 3—5.

<sup>10</sup> Думается, что хронология (и, следовательно, порядок расположения) упомянутых трех писем Гоголя из Полтавы должны быть изменены следующим образом: № 3, 2, 1. Письмо № 3 написано в конце лета 1820 г.: здесь говорится, что учение в гимназии начнется через неделю. Письмо

№ 2 написано уже в разгар занятий, в конце 1820 или в начале 1821 г.: Гоголь сообщает, что он «успел в науках то, что в первом классе гимназии». Наконец, письмо № 1 написано ближе к весне 1821 г. («Вакации быстро приближаются»).

<sup>11</sup> Уже после сдачи в редакцию настоящей книги я нашел беглое (без мотивировки) упоминание имени В. Л. Боровиковского как возможного прототипа героя «Портрета»: *Amberg L. Kirche, Liturgie und Frömmigkeit im Schaffen von N. V. Gogol, Bern—Fr. am Main—New York—Paris, 1986. S. 150.*

<sup>12</sup> См. также: *Михальский Е. Н., Самойленко Г. В.* Основание Гимназии высших наук князя Безбородко в Нежине // Литература та культура Полісся. Випуск I, Ніжин, 1990, с. 6–35.

<sup>13</sup> Не нужно специально объяснять, почему факт самоубийства, почтившегося страшным грехом, следовало по возможности скрыть. По правилам, В. Г. Кукольник не мог быть даже похоронен на кладбище; между тем, как сообщалось в донесении почетному попечителю, «во всем наблюдено свойственное чести умершего мужа благоустройство» (Лавровский, с. 11). Тело покойного было отпето в Благовещенском монастыре и затем погребено в Ветхом монастыре (близ Нежина). Можно увидеть, как версия о самоубийстве постепенно прокладывала себе дорогу. В 1859 г. Нестор Кукольник в статье об отце обходит непосредственную причину смерти последнего: «Он впал в гипохондрию быстро и неотразимо увлекшую его в преждевременную могилу» (Лицей, 1859, с. 69). Зато в труде о Гимназии, изданном в 1881 г., факт самоубийства первого директора признан: помимо Н. Кукольника, об этом упоминает, например Н. Гербель, автор биографической справки о Редкине и, что очень важно, выпускник той же нежинской Гимназии, переименованной в Лицей (Лицей, 1881, с. 443).

<sup>14</sup> Об Орлае есть книга, написанная венгерским историком медицины Лайошем Тарди; книга вышла в 1959 г. на венгерском и русском языках и впоследствии переиздана у нас в составе монографии: *Тарди Л., Шультес Э.* Главы из истории русско-венгерских медицинских связей [перев. с венгр.]. М., 1976. Книга не свободна от фактических ошибок. Например, утверждается, что Орлай Янош учился «с 1785 г. в Нежинской гимназии (Нежинской князя Безбородко гимназии высших наук)» (с. 181), что «Кибинцы — поместье семьи Гоголя» (с. 216) и т. д. в том же духе (см. также: *Виленский Ю., Звиняцковский В.* Наставник Великого ученика // Медицинская газета, 1989, 31 марта. Здесь же указано, что «недавно закарпатский краевед Ю. Качий обнаружил архивные материалы, из которых следует, что Орлай происходил из духовенства...»).

<sup>15</sup> Как указал В. А. Воропаев, «Таинственный Карло» — персонаж романа Вальтера Скотта «Черный карлик» («The black dwarf»; русск. перев.: «Таинственный карло», М., 1824). Добавлю, что А. А. Шаховской написал ко-

медию «Таинственный Карло. Романтическая комедия в английском роде, в пяти действиях, с пением, хорами, танцами, старинными шотландскими играми и праздником, взятая из сочинений Валтера Скотта, автора «Иванное». Рукопись не издана, хранится в Ленинградской Гос. Театр. библ. (отдел 1, шкаф 2, полка 3, место 105, № 1277). Премьера — в Петербурге, 23 окт. 1822 г. Представление этой пьесы содействовало известности имени «Таинственный Карло».

<sup>16</sup> К моменту образования музеев Гоголь, как мы говорили, находился в III музее. II музей упоминается именно потому, что здесь была устроена сцена гимназического театра (Б, 1880, № 268).

<sup>17</sup> Точная дата смерти Василия Афанасьевича, как установил И. Золотусский, — 31 марта 1825 г. (Золотусский, с. 60).

<sup>18</sup> Среди учеников, окружавших Гоголя, выделяется еще одно лицо, о чем можно судить по гоголевскому письму к Высоцкому от 19 марта 1827 г.: «Ты видел Герарда, сделай милость, напиши, где он теперь; он был когда-то из числа немногих друзей моих...» Лицо это малоизвестно; в комментариях к академическому изданию Гоголя даже не называется его имя и отчество (X, 508). Между тем, по материалам, опубликованным еще в 1902 г. И. Скребницким, видно, что Николай Герард, сын полковника Ивана Ивановича Герарда, поступил в число своекоштных воспитанников Гимназии 11 января 1821 г. (Сборник, с. 316). В экзаменационном списке он числится вместе с Гоголем по II отделению, но набрал он большую сумму шаров — 29 (у Гоголя, напомним, только 22) и был переведен в III отделение (Гоголь оставлен во II — Лавровский, с. 138). Новейшее исследование дополняет эту картину. Герард родился в 1808 г. и учился в Гимназии по июнь 1823 г. — вместе с Высоцким, Редкиным, Любичем-Романовичем и т. д., т. е. в том старшем классе, с которым особенно сблизился Гоголь. В марте 1825 г., по примеру отца, стал военным, определился в лейб-гвардии Егерский полк. Участвовал в русско-турецкой войне и в подавлении польского восстания 1830—1831 гг. В феврале 1832 г. уволился со службы и поселился в своем имении в селе Демьянках Гомельского уезда Могилевской губернии. Умер в 1839 г. (Супронюк, с. 160—161). К этому надо добавить, что умер он, очевидно, в Петербурге: картотека Б. Л. Модзалевского в ИРЛИ РАН сообщает, что Николай Иванович Герард, отставной гвардии поручик, родившийся 1 февраля 1808 г. умер 16 июня 1839 г. и похоронен на Волковом кладбище. Сведений о каких-либо встречах Гоголя с Герардом после окончания последним Гимназии не имеется.

<sup>19</sup> П. Кулиш к словам Гоголя сделал примечание: «Прокопович говорил мне, что у Гоголя скоро не стало терпения добиваться смысла в Шиллере и что это было только минутное увлечение» (Кулиш, 1854, с. 28). Однако это, по-видимому, относится к немецкому языку, который вынужден был «преодолевать» Гоголь.

<sup>20</sup> «Парнасский навоз» фигурирует также в составленном Белоусовым «Реестре книг и рукописям», где, как правило, называются издания 1826 г. (Машинский, 1959, с. 63). Н. Кукольник говорит, что при обыске в половине 1827 г. у него был изъят «шуточный альманах “Парнасский навоз”» (Лицей, 1859, с. 20).

<sup>21</sup> Что касается упоминаемой Гоголем немецкой пьесы «соч. Коцебу», то возможно, именно о ней идет речь в следующем рассказе Кукольника: «Гоголь должен был также участвовать в одной из иностранных пьес. Он выбрал немецкую. Я предложил ему роль в 20 стихов, которая начиналась словами: “O mein Vater”, затем шло изложение какого-то происшествия. Весь рассказ заканчивается словами: “Nach Prag”. Гоголь мучился, учил роль усердно, одолел, выучил, знал на трех репетициях, во время самого представления вышел бодро, сказал: “O mein Vater”, запнулся, покраснел... но тут же собрался с силами — возвысил голос, с особым пафосом произнес: “Nach Prag”, махнул рукой и ушел... И слушатели, большею частью не знавшие ни пьесы, ни немецкого языка, — остались исполнением роли совершенно довольны!» (Лицей, 1859, отд. 1, с. 21).

<sup>22</sup> С. Машинский отметил: в окончательном тексте протокола была вычеркнута фраза о том, что Гоголь подтверждает факт изготовления Новохацким списка о его тетради «по приказанию профессора Белоусова». Исследователь видит в этом сознательное намерение Гоголя умолчать о связи тетради с Белоусовым (Машинский, 1959, с. 123). Объективно это, конечно, шло Белоусову на пользу; однако намеренного шага Гоголя здесь скорее всего не было: от него требовалось подтвердить лишь ту часть показания Новохацкого, чему он был свидетель; «приказ» же о списывании был дан, очевидно, одному Новохацкому, без Гоголя.

<sup>23</sup> В связи со взглядами Гоголя-гимназиста часто ссылаются на нелестную характеристику, данную им генералу Роту — «проклятый» (X, 113). Генерал Л. О. Рот, командир 3-го пехотного корпуса, руководил подавлением восставшего Черниговского полка, а затем участвовал в допросе декабристов (Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955. Т. 2, с. 377; Декабристы и их время. М., 1932. Т. 2, с. 398). Гоголевский эпитет отражает репутацию Рота в общественном мнении, однако отсюда нельзя делать вывод о сочувствии будущего писателя взглядам декабристов.

<sup>24</sup> 24 ноября 1836 г. в Петербурге с Белоусовым неожиданно повстречался соученик Гоголя по Гимназии художник А. Н. Мокрицкий. Спустя два дня они вместе смотрели картину К. Брюллова «Последний день Помпеи», нанесли визит автору. Белоусов «был в восторге, рассматривал работы и квартиру вел<икого> человека» (Мокрицкий, с. 92, 93). Встречались они и позже. Но Гоголя в это время в Петербурге уже не было (он уехал за границу 6 июня 1836 г.).

<sup>25</sup> Еще один любопытный факт. В 1828 г. (в разгар «дела о вольнодумстве») Балугьянский, одновременно с С. С. Уваровым и В. П. Кочубеем, был избран почетным членом Санкт-Петербургского университета (Григорьев, с. III—IV).

<sup>26</sup> Примечательный факт: Орлай с гордостью писал о том, что два его соотечественника, «карпаторусские ученые» В. Г. Кукольник и «нынешний тайный советник И. В. Балугьянский» были «наставниками по правоведению» императора Николая I. Это сказано в 1828 г. — в разгар «дела о вольнодумстве» (Орлай в это время проживал в Одессе, будучи директором Ришельевского лицея). См.: Флоровский А. Заметки И. С. Орлая о Карпатской Руси// Карпатский свет. Ужгород, 1928. № 9, с. 332—339. Конечно, Орлай не писал бы этих слов, если бы Балугьянский был хотя бы в малой степени «неугодным человеком».

<sup>27</sup> Зарождение и развитие интереса к Америке в России в этот период подробно освещено в кн.: *Николюкин А. Н.* Литературные связи России и США. Становление литературных контактов. М., 1981.

<sup>28</sup> Американские интересы Гоголя в последующие годы — особая тема. От Пушкина он якобы слышал резкую критику Соединенных Штатов, не имеющих «полномочного монарха», без которого государство превращается в «автомат». Поэтому Соединенные Штаты — «мертвечина», «человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит» (VIII, 253). Вместе с тем в 1847 г. Гоголь утверждал: «В Соединенных Штатах действительно вырабатывается теперь видней общественное дело, а потому не мудрено, что глаза наблюдающего большинства обращены теперь туды» (XIII, 388).

<sup>29</sup> Характерно высказывание Н. И. Надеждина: «На изнанке нашего ветхого полушария, в Новом Свете Америки, разгоряченное воображение мечтателей любило созидать утопию совершенства, к коему должна, по их мнению, стремиться Европа» (Т, 1833, № 1, с. 12).

<sup>30</sup> Помимо Д. Трошинского, Марья Ивановна обратилась с просьбой о рекомендательном письме к И. В. Капнисту, сыну писателя. Письмо было отправлено в феврале 1829 г. — уже после отъезда Гоголя в Петербург (ЛВ, 1902, кн. 2, с. 59).

<sup>31</sup> В. Шенрок, со слов А. Данилевского, говорит, что был выбран дом Трута на Екатерининском канале. Но тут Данилевский запямятовал: это была их вторая квартира.

<sup>32</sup> Обработка автором стихотворения «итальянской темы» и само обращение к Италии весьма характерны для литературы того времени. Импульсы исходят от известного стихотворения Гете «Kennst du das Land...» (русский перевод В. А. Жуковского, озаглавленный «Мина», опубликован в 1818 г.). Назовем, в частности, стихотворение Д. В. Веневитинова «Италия» (Моск. вестник, 1827, № 8): «Италия, отчизна вдохновенья!» и т. д. Показательно,

что примерно так же, как и его соученик по Гимназии Гоголь, начинает свое стихотворение «Италия» Любич-Романович:

О дивная страна очарованья,  
Италия! поэзии земля!  
Давно к тебе, на крыльях мечтанья,  
Несытая летит душа моя!

(опубликовано в его кн. «Стихотворения» — СПб., 1832).

<sup>33</sup> В связи с литературной судьбой «Ганца Кюхельгартена» следует упомянуть эпизод, описанный Ал. Лазаревским: летом 1855 г. московский «книгопродавец-библиоман» И. Г. Кольчугин показал ему книгу «Разные стихотворения Иосифа Олова» (М., 1832), прибавив, «что настоящий автор этой книжки — Н. В. Гоголь, отдавший будто бы сам г. Кольчугину эту книжку на комиссию, но потом отобравший все экземпляры назад» (Сборник, 1857, с. 347). Содержание и стиль этой книги исключают ее принадлежность Гоголю, что было показано в свое время В. Каллашом (ЛВ, 1902, кн. I, с. 11). Последний, однако, оставил открытым следующий вопрос: «Если Кольчугин смешал Олова с Оловым, то как вообще он мог узнать про Олова и его тождество с Гоголем?» На возникновение подобной версии могли повлиять уже появившиеся к тому времени публикации Кулиша; однако возможно, что она возникла и под влиянием каких-то слухов об авторстве и обстоятельствах продажи и уничтожения первой книги Гоголя.

<sup>34</sup> К первым месяцам пребывания Гоголя в Петербурге относятся воспоминания В. П. Бурнашева, описывающего связь Гоголя и его соученика по Гимназии Любича-Романовича с некоей «мещанской девкой». Свидания проходили якобы в Варваринской гостинице. «Романович, страстный и плотоядный любитель этого рода грязных наслаждений, невзирая на то, что Гоголь о теперешней Гетере отнесся с такой гадливостью, хотя и неудачно каламбуя, упросил Гоголя угостить его на даровщину эту дивчатой. Гоголь, хохоча и жаргуя по-хохлацки, из чего я не все понимал, согласился ввести Романовича за перегородку, а сам стал на комод, стоявший у перегородки, предложил мне сделать то же, чтобы видеть «подвиги Любича», как он выразился. Я стал на комод и видел гнусную сцену, после которой я уже никогда ни с Романовичем, ни с Гоголем не встречался, хотя обожал творения последнего» (ИРЛИ, ф. 412, № 14). В. Бурнашев — ненадежный источник (ср. ниже примеч. 45), однако склонность молодого Гоголя к грубым, скабрёзным выражениям, как мы увидим, подтверждается другими источниками. Это не исключает возможности переживаний иного, высокого плана.

<sup>35</sup> По-видимому, Гоголь имел в виду не Дюрера, а Г. Мемлинга. Впоследствии его триптих в кафедральном соборе Любека видел и описал Анненков (Анненков П. В. Парижские письма. М., 1983, с. 6).

<sup>36</sup> Согласно комментарию академического издания в доме Иохима «вместе с Гоголем жили Н. Я. Прокопович и И. Г. Пашенко» (X, 424). Но И. Г. Пашенко был еще в Нежине — он окончил Гимназию весной следующего, 1830 г. Очевидно, третьим лицом был А. С. Данилевский, который «готовился к школе (гвардейских подпрапорщиков и юнкеров. — Ю. М.), живя у Иохима» (X, 253).

<sup>37</sup> «При всем моем старании отыскать что-нибудь в делах III отделения по экспедиции личного состава, не удалось найти ровно ничего — дела эти уничтожены даже и за гораздо более поздние годы... Таким образом, нет пока возможности или опровергнуть, или принять рассказ Булгарина, как факт...» (*Лемке М. К. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг.*, СПб., 1908, с. 135). А. И. Кирпичников, ссылаясь на лиц, в «подобных вопросах очень компетентных», указывает, что дела в аналогичных случаях могли и не заводиться (Изв. ОРЯС императорской Академии наук, 1900. Т. 5, кн. 2, с. 615). Ср. в новейшей работе: *Рейтблат А. И. Служил ли Гоголь в III отделении // Филологические науки. 1992, № 5—6, с. 23—30.*

<sup>38</sup> Любопытна реакция на публикацию Ф. Булгарина такого современника, как И. С. Аксаков. В письме родителям (от 27 августа 1854 г.) он писал: «Очень могло быть <...> что мальчик Гоголь, попавши в Петербург и не имея ни о чем верного понятия, ни о Булгарине, ни о III отделении, последовал совету какого-нибудь приятеля, уверившего его, что таков обычай и порядок, что так у практических людей заведено и проч. Вообще люди с натурами чисто художественными способны делать страшные глупости и простым, ясным, здравым умом не отличаются — большею частью» (Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1892. Т. 3, ч. 1, с. 64—65). Следует заметить, что свое предположение Аксаков сделал, так сказать, в ожидании подтверждающих документов («...Булгарин обещает, в случае нужды, напечатать и стихи, и письмо Гоголя — последнее чуть ли не о деньгах...»), чего, как мы знаем, не последовало.

Публикация Ф. Булгарина обратила на себя внимание высших чиновников Министерства народного просвещения и III отделения. Министр народного просвещения А. С. Норов и управляющий отделением генерал-лейтенант Дубельт обменялись секретными отношениями, в которых сообщение Булгарина было названо «совершенно неуместным» (Литературный музей. Цензурные материалы 1-го отд. IV секции Государственного Архивного фонда. <вып.> 1. Под редакцией А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана. Петербург, б. г., с. 176—180). Высказывалось мнение, что, поскольку III отделение не опровергло версию Булгарина, оно тем самым косвенно подтвердило причастность Гоголя к службе в этом отделении. Однако в переписке шла речь именно о *неуместности* подобных публикаций; подтверждать или опровергать соответствующие факты III отделение не считало в данном случае нужным.

<sup>39</sup> Дело Н. П. Мундта находится в Центральном историческом архиве в Петербурге ф. 497, оп. 1, ед. хр. 3318 (за предоставление этих сведений выражаю признательность А. Я. Альтшуллеру).

<sup>40</sup> «Урок старикам» К. Делавиня (Мундт называет комедию «Школой стариков») поставлен впервые в Петербурге в 1828 г. (Вольф, ч. 2, прил. 34, с. 11).

<sup>41</sup> По поводу этого произведения П. Кулиш писал: «Я знаю от Н. Я. Прокоповича, что статья "Полтава" писана Гоголем, и, может быть, только переделана издателем журнала, подобно тому, как и "Басаврюк"...» (Кулиш, 1854, с. 43; эту мысль Кулиш высказывал и раньше, в 1852 г.). Однако если от «Бисаврюка, или Вечера накануне Ивана Купала» Гоголь, несмотря на вмешательство Свинына, и не думал отказываться, то в отношении авторства «Полтавы» он высказался совершенно определенно. 3 июня 1830 г. он писал матери: «Рекомендую вам прочесть описание Полтавы господина Свинына, в котором я, хотя и природный жилец Полтавы, много однако ж нашел для меня нового и доселе неизвестного». Действительно, в очерке рассказывается о событиях, которые имели место именно с приехавшим в Полтаву Свиныным, — встрече и беседе с И. П. Котляревским, посещении его дома, встречах с другими полтавцами и т. д. Утверждение П. Кулиша об авторстве Гоголя оспорил еще Н. С. Тихонравов в статье «Библиографические поправки и дополнения...» (МВд, 1853, № 51, с. 521). Более сложное решение проблемы предложил в 1934 г. В. В. Данилов. Не оспаривая в целом авторства П. Свинына, он видит все же в тексте очерка «следы художественной руки Гоголя» (Данилов, с. 39—44). Помимо уже известной ссылки на Прокоповича, в качестве аргументов служит то, что в книге П. В. Быкова «Силуэты далекого прошлого» (1930) упомянуто, будто бы Гоголь говорил своему знакомому Н. Мизко, что «собирается печатать это свое произведение». Сведения эти недостоверны: Николаю Дмитриевичу Мизко к моменту написания очерка было всего 12 лет; встреча его с Гоголем произошла значительно позднее — в 1851 г. в Одессе. Серьезнее другой аргумент исследователя — о наличии в «Полтаве» характерно гоголевских стилистических оборотов («...Величественный дуб торжественно и одиноко возносится среди необозримой пустоты»; «Скаты косогора <...> спускаются к лугу садами, нагнувшимися от тяжести вишен, яблок, слив, груш и прочих плодов, произрастающих во всей красе под теплым украинским небом»; «Это ничего больше, как одна ровная и безлесная степь...»), к которым находятся параллели, в частности в «Сорочинской ярмарке». Совсем недавно версию об авторстве Гоголя вновь выдвинул Василий Осокин (см. его статью «Все-таки Гоголь!» // Сов. культура, 1976, № 53, с. 6), оперируя теми же аргументами, что и Данилов. Последний аргумент в защиту авторства Гоголя граничит с курьезом: мол, репликой Коробочки в «Мертвых душах» о соседских помещиках писатель отомстил Свиныну за присвоение очерка



(«Бобров, Свиньин, Каналатъев, Харпакин, Трепакин, Плешаков»): «Это ли не лучший способ ответить плагиатору!» Но как можно говорить о «плагиате», если сам же Гоголь в упоминавшемся письме к матери указывает на авторство Свиньи́на! Наиболее вероятная картина, по моему мнению, та, которую предлагает Данилов: очерк в основном и целом написан Свиньи́ным, но последний мог воспользоваться материалами Гоголя. Кстати, одна не обратившаяся на себя внимание особенность очерка: все случаи стилистических совпадений с гоголевскими текстами находятся в самом начале, описывающем дорогу «от Решетилковки до Полтавы». Это начало и может восходить к Гоголю.

<sup>42</sup> М. И. Гиллельсон, В. А. Мануйлов, А. Н. Степанов, не приводя, к сожалению, доказательств, указывают на принадлежность Гоголю следующих материалов из «Отечественных записок» за 1830 г.: «Наставление Выборному от Малороссийской коллегии в комиссию о сочинении проекта нового уложения г. Коллежскому советнику и члену той коллегии Наталину» (ч. 41, № 119, с. 347—376; № 120, с. 44—74); «О прежних правах, вольностях и преимуществах Малороссии» с примечанием: «Извлечено из экстракта, сочиненного в 1751 году Войсковою канцеляриею» (ч. 42, № 122, с. 324—356); «Нигде не напечатанное доселе письмо Петра I к нежинскому наказному полковнику Жураковскому» (ч. 43, № 124, с. 355—356); «Историческая запорожская песня» (ч. 42, № 123, с. 253). Однако говорить о принадлежности Гоголю этих материалов можно пока только предположительно (ср. Гиллельсон, 1961, с. 53). Заметим, кстати, что на упомянутые материалы как на гоголевские указывал еще В. В. Данилов, основываясь на принятом тогда прочтении следующих строк из письма Гоголя к матери от 10 октября 1830 г.: «В них (в книжках журнала. — Ю. М.), выключая разве некоторых, мало занимательных статей, предупреждаю вас, чтобы и не искали там чего-нибудь моего» (Данилов, с. 39—40). Современное прочтение в корне меняет смысл: «Посылаю вам, бесценнейшая маминька, три следующие книжки Отечественных записок, в них однако ж, выключая разве некоторых, мало занимательных статей. Предупреждаю вас, чтобы и не искали там чего-нибудь моего...» (X, с. 185). То есть Гоголь имеет в виду *не свои* статьи.

<sup>43</sup> Характерна и параллель (правда, более поздняя — 1845 г.) между Сикстом V и Борисом Годуновым (Белинский, т. 7, с. 518).

<sup>44</sup> Летом 1831 г. Ф. П. Толстой встречался с Пушкиным в Царском Селе. Гоголь проживал в это время в Павловске, бывал у Пушкина; следовательно, возможна была и его встреча с Толстым. Однако М. Ф. Каменская, дочь Толстого, рассказывая о пребывании в Царском Селе, Гоголя не упоминает (Каменская, с. 175). Говоря об участии Гоголя в «воскресных вечеринках», мемуаристка описывает присущую ему комическую манеру: «...Рассказывая такие вещи, от которых слушатели его лопались от смеха, сам никогда не

смеялся: сидит серьезно, как на похоронах, и даже ни разу не улыбнется...» (Каменская, с. 188).

<sup>45</sup> В. Бурнашев рассказывает, что в одну из пятниц у А. Воейкова он был свидетелем разговора между В. И. Карлгофом и бароном Розеном по поводу только что вышедшей первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Карлгоф сказал, что он уже читал повесть «Вечер накануне Ивана Купала» в «Отечественных записках». «Обратите внимание, Вильгельм Иванович, — заметил барон Розен, — на примечание, сделанное в этой повести ее автором. Оказалось, что почтеннейший Павел Петрович Свиньин, не поняв всех наивных прелестей малороссийского неподдельного юмора, позволил себе сделать в этой повести разного рода переделки какого-то канцелярского цвета. Автор по поводу этих не прошенных им переделок заставляет двух лиц вести между собою разговор, в котором одно, щирый хохол, выражается очень мило по-хохлацки» (Бурнашев, с. 166). Воспоминания Бурнашева весьма сомнительны с фактической стороны (он явно придумывает сцены и диалоги, которых не было), однако в данном случае важны не факты, а отношение: современники подметили полемику Гоголя против Свиньиного и против его нивелирующей правки.

<sup>46</sup> В письме к матери от 21 августа 1831 г. Гоголь сообщал, что «Глава из исторического романа», являющаяся частью «Гетьмана», написана «еще в нежинской Гимназии» (X, 205). Это утверждение правомерно оспаривается биографами. Возможно лишь то, что к гимназической поре относится первоначальный замысел произведения, на историческую тему, который затем получил воплощение. О новонайденном автографе «Гетьмана» см.: *Чарушникова М. В.* Фрагмент незавершенного романа Н. В. Гоголя «Гетьман» // Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина. Записки отдела рукописей, вып. 37. М., 1976, с. 185–208.

<sup>47</sup> Речь идет об изданной А. Краевским книге: Об исторических таблицах В. А. Жуковского / Соч. А. Краевского. СПб., 1836. В обширном предисловии издателя говорится о преимуществах этой таблицы в сравнении с уже существующими (Лесажа, Ниссена и других): «на малом пространстве» изображаются «все важнейшие факты (курсив в оригинале. — Ю. М.) какого-либо исторического отдела», «так, чтоб на одном листе или карте учащийся мог окинуть весь такой отдел одним взглядом...» (с. 11–12). Это близко точке зрения Гоголя.

<sup>48</sup> Кстати, следует принять во внимание, что В. П. Кочубей с 1822 г. был почетным любителем Академии художеств (Кондаков, с. 293), которую посещал Гоголь.

<sup>49</sup> По мнению А. И. Маркевича («Заметка о псевдониме Н. В. Гоголя «Рудый Панько»» // Известия ОРЯС имп. Академии наук, 1898, т. 3, кн. 4), Рудый Панько — иносказательное обозначение самого Гоголя: Рудый — на-

мек на цвет его волос, которые в молодости «имели заметный рыжеватый оттенок», а Панько — прозвище его по деду Афанасию: Афанасий — по-украински Панас (с. 1270). Однако, как указывал В. Гиппиус, Гоголь соотносил имя Панько не с Афанасием, а с Пантелеймоном (см. IX, 513; Гиппиус, 1941, с. 5). Кроме того, современники, описывая белокурый цвет волос Гоголя, не упоминают об их рыжеватом оттенке. Все это делает сомнительной версию Н. А. Маркевича.

<sup>50</sup> А. И. Дельвиг выехал в Москву 7 мая, в день рождения его племянницы, дочери покойного Антона Дельвига. Приезд Сергея Баратынского, сватовство его к вдове Софье Дельвиг в конце мая — все это происходило в отсутствие мемуариста. Ошибки здесь не может быть, так как имеется датированное письмо С. Дельвиг (Дельвиг, с. 196).

<sup>51</sup> «Летом 1831 в Царском селе многие ходили нарочно смотреть на Пушкина, как он гулял под руку с женою обыкновенно около озера» (РА, 1882, кн. 1, с. 245).

<sup>52</sup> С. В. Житомирская считает хронологическое приурочение, сделанное Смирновой-Россет, правильным: знакомство ее с Гоголем «началось летом 1831 г. в Царском селе» (Смирнова, 1989, с. 642, 601).

<sup>53</sup> Подробнее об искаженном пространстве у Гоголя см. в моей книге: «Поэтика Гоголя» (2-е изд. М., 1988, с. 113 и далее). Анализ этой проблемы содержится также в новейшем исследовании (Вайскопф, с. 61 и далее).

<sup>54</sup> В. И. Любич-Романович приводит слова Пушкина, якобы сказанные им в связи с «Вечерами на хуторе...»: «Живые типы, им выведенные, далеко не натуральны, напротив, они сказочны...» (ИВ, 1902, № 2, с. 553). В версии мемуариста акцент несколько смещен: недостатки вышли на первый план (ср. у Пушкина: «...мы... охотно простили ему...»).

<sup>55</sup> Вскоре после публикации рецензии Ф. Булгарин отграничил свою позицию более определенно: в «Письме из Петербурга в Москву к В. А. У<шакову>» он писал: «Книгу “Вечера на хуторе близ Диканьки” я не успел еще прочесть. Прочел предисловие — и утомился. Развертываю в нескольких местах, и описательная проза с необыкновенным многословием ужасает меня. Не терплю многословия и длинного описания бугров и рощей; но, как многие хвалят эти повести, то удосужусь прочесть и скажу об них свое мнение» (СП, 1831, № 289). Булгарин высказал свое мнение о книге по выходе 2-го издания (СП, 1836, № 26).

<sup>56</sup> Для генезиса «Ночи перед Рождеством» интересна запись высказывания Екатерины II, сделанная ее кабинет-секретарем А. В. Храповицким в его «Памятных записках...»: «При чтении Москов<ских> газет объявление об опере «Черевика»; вопрос о том слове?» («Сын отечества», 1821, ч. 7, № 16, с. 148). На эту запись обратил внимание Кулиш в письме к В. Шенроку

от 14(26) июля 1890 г. (Крутикова, с. 296). Все это могло подготовить, говоря современным языком, оппозицию «Украина и Петербург», в ее специфическом выражении: «черевика» и «Екатерина II».

<sup>57</sup> По другим сведениям (Русский инвалид, или Военные ведомости, 1832, № 46), было 120 гостей. Н. Греч (Сев. пчела, 1832. № 45) называет цифру 51, что по-видимому, ближе всего к истине.

<sup>58</sup> Из Москвы А. Божко отправился на Украину, в родные места (ср. в письме Гоголя к А. Данилевскому от 15 июня 1832 г.: «Наши нежинцы почти все потянулись на это лето в Малороссию...»). Из Москвы Гоголь пишет Н. Прокоповичу, находившемуся также на Украине: «Я думаю, ты уже слышал от Божка, что путь мой был не слишком благополучен» (Х, 234; Гоголь имеет в виду то, что он приехал в Москву больной). Есть сообщение Т. Пащенко, что Гоголь приехал в Москву в сопровождении его брата, И. Пащенко, и А. Данилевского (Б, 1880, № 268), но это исключено, так как Данилевский в это время находился на Кавказе. Ошибочны и другие сообщаемые Т. Пащенко сведения относительно пребывания Гоголя в Москве, например, то, что писатель читал у Дмитриева свою «Женитьбу», работа над которой еще даже не начиналась (см. об этом ниже).

<sup>59</sup> Ср. запись в дневнике Н. Иваницкого (от 16 сентября 1844, Петербург): «Между прочим, Краевский упомянул, что «Старосветские помещики» Гоголя написаны с рассказа Щепкина» (Шукинский сборник. М., 1909. Т. 8, с. 320). Возможно, подразумевается именно эпизод с кошкой.

<sup>60</sup> Описание дома Дмитриева, в котором бывала «вся пишущая братия, от Прокоповича-Антонского (профессора Московского университета. — Ю. М.) до Гоголя включительно» — см. П. Б. «Дом И. И. Дмитриева» (РА, 1893, № 11).

<sup>61</sup> Доказательством может служить запись Н. М. Языкова: «18-го июля (1832) Свербеев познакомился с двумя петербургскими литераторами, проезжавшими через Москву: с князем Одоевским и с Гоголем» (РС, 1903, кн. 3, с. 531; очевидно, именно это место «приблизительно, на память» приводит В. Шенрок — см. Шенрок, т. 2, с. 117). Что касается самого Языкова, то он, по-видимому, разминулся с Гоголем. А. Д. Свербеев в собрании писем поэта делает пометку: «За май и июнь 1832 г. нет писем. Должно полагать в это время выезд Языкова из Москвы, к родным, в Симбирскую губернию» (РГБ, ф. 332, 51, 22, с. 32). Нет сведений и о встрече с Гоголем во время вторичного пребывания его в Москве, после возвращения из Васильевки. Знакомство обоих писателей произошло в Ганау 30 июня 1839 г. (Шенрок, т. 3, с. 351).

<sup>62</sup> Впоследствии Лукашевич вновь побывал за границей. В 1839 г. М. Погодин встретил его в Праге, куда Лукашевича, очевидно, привели славяноведческие интересы. Новые работы Лукашевича («Греческий кор-

неслов», «Объяснение ассирийских имен» и т. д.) носят явно графоманский, псевдонаучный характер, что было связано с усиливающимся психическим расстройством. По словам биографа Лукашевича, «амбары его деревенской усадьбы (в местечке Березани Полтавской губернии. — Ю. М.) и полки киевских книжных магазинов завалены были этими книгами, которых не брал никто, а если брал, то выбрасывал с негодованием» (КС, 1889, № 1, с. 246). Гоголь, возможно, был осведомлен о развивающейся болезни Лукашевича. Получив о нем известие от Погодина, Гоголь писал 25 марта 1839 г. н. ст.: «Этот приятель наш и чудак будет нынешнее лето в Мариенбаде».

<sup>63</sup> Приводимое свидетельство А. Афанасьева слово в слово повторено в опубликованных позже «Рассказах М. С. Щепкина» (ИВ, 1898, № 10, с. 216). Очевидно, записавший эти рассказы А. М. Щепкин (сын артиста) или публикатор М. А. Щепкин (внук артиста) просто вставили опубликованный текст Афанасьева в свой «рассказ».

<sup>64</sup> До Гоголя дошли слухи о переводе преподавателей из Волынского лицея в Киев: «Говорят, уже очень много назначено туда каких-то немцев. <...> Хотя бы для святого Владимира побольше славян» (X, 288). Возможно, эти неточные слова и побудили советских исследователей считать Цыха «немцем».

<sup>65</sup> Есть сведения, что вначале Брадке возражал против назначения Новицкого, предпочитая ему более подготовленных, по его мнению, немецких «докторов» Поссельта или Штейна, но Максимович настоял на Новицком — и Брадке «впоследствии сам радовался приобретению этого блестящего преподавателя» (Максимович, 1871, с. 40).

<sup>66</sup> Двойная фамилия Гоголя вновь «всплыла» бы в связи с подачей аттестата, но, по-видимому, до этого дело не дошло. Зато в Петербургском университете, куда Гоголь был позднее принят, он по этой же причине фигурировал именно как Гоголь-Яновский.

<sup>67</sup> Полное название этой книги таково: «Решение вопроса: по причине беспрестанного умножения массы исторических сведений и распространения объема истории не оказывается ли нужным изменить обыкновенный способ преподавания сей науки, и какой он должен быть именно, как вообще, так и особенно в университетах? Рассуждение, написанное кандидатом Владимиром Цыхом для получения степени магистра по части исторических наук». Харьков, 1833.

<sup>68</sup> Высокая оценка первой лекции содержится и в других воспоминаниях Иваницкого: «Первая его лекция, напечатанная после в Арабесках, была превосходна» (Шукинский сборник. М., 1909. Т. 8, с. 243). Два других мемуариста А. С. Андреев и В. В. Григорьев характеризуют гоголевский дебют

совсем иначе. По словам первого, Гоголь опоздал на полчаса, а через четверть часа после начала лекции «сказал, что продолжать более не может, потому что не успел подготовиться. <... > Что было со студентами, отгадать не трудно!» (Сегодня, М. 1927. Т. 2, с. 164). Однако сам А. С. Андреев (1792—1863), воспитатель и преподаватель математики в Петербургском училище правоведения (с 1835 по 1850 г.), не присутствовал на лекции; он передает мнение других лиц, очевидно, распространяя их суммарное впечатление о Гоголе-преподавателе на первую его лекцию. Мнение В. В. Григорьева («...Сконфузился наш пасечник, читал плохо и произвел весьма невыгодный для себя эффект» — РБ, 1856. Т. 2, с. 25), также, по-видимому, распространяет общую оценку преподавательской деятельности Гоголя на его вступительную лекцию.

<sup>69</sup> А. М. Языков писал В. Д. Комовскому из села Языкова (письмо относят к осени 1833 г.): «Вчера был у нас Пушкин, возвращавшийся из Оренбурга... Знаете ли вы, что Гоголь написал комедию «Чиновник»? Из нее Пушкин сказал нам несколько пассажей, чрезвычайно острых и объективных» (Садовников, с. 537). Значит, еще до отъезда из Петербурга, летом 1833 г. Гоголь (как отметили Н. Петрунина и Г. Фридендер) познакомил Пушкина с драматическим произведением, предшествовавшим «Утру делового человека», которое драматург называл также «Утро чиновника» (опубликовано в 1836 г. — Пушкин. Исследования. с. 205).

<sup>70</sup> Соответствующий глагол употреблялся и во вполне серьезных контекстах в применении именно к божественным существам (ср. у Жуковского в стихотворении «На кончину ее величества королевы Виртембергской»: «Ты улетел, небесный посетитель; // Ты *погостил* недолго на земли...»). Гоголевский эффект (как это часто происходит у него) состоит в нюансах, то есть в семантике словосочетания («опустилось гостить»).

<sup>71</sup> Характерно недоумение рецензента: Гоголь назвал «свою книгу, не знаем почему, именем уездного городка Полтавской губернии...» (СП, 1835, № 115, с. 459).

<sup>72</sup> Подробнее о «Портрете» в связи с гоголевской онтологией — в моей статье «Художник и “ужасная действительность”» (Динамическая поэтика. М., 1990). В настоящей книге повторены некоторые положения указанной статьи.

<sup>73</sup> Письмо Баратынского, датированное комментаторами «началом мая 1835» (Баратынский, с. 256), можно приурочить к более определенному времени. Поэт говорит о «невозможности *сегодня* воспользоваться вашим (Погодина. — Ю. М.) приглашением». Значит, письмо написано в день чтения «Женитьбы» — 4 мая.

<sup>74</sup> Фраза из отзыва Надеждина о Гоголе была приведена надеждинским биографом (Козмин, с. 488). В полном виде отзыв опубликован С. Осовцовым

в его статье «А.Б.В. и другие» (РЛ, 1962, № 3, с. 89). Цитирую по автографу ввиду имеющихся здесь некоторых (незначительных) разночтений.

<sup>75</sup> К пребыванию Гоголя в Москве по возвращении из Васильевки и следовало бы приурочить эпизод, о котором сообщает брат Ивана Пашенко Тимофей Григорьевич. Согласно этому сообщению, в гостиницу, где остановились Гоголь, Данилевский и И. Г. Пашенко, явился И. И. Дмитриев, выразил желание «лично познакомиться с Гоголем» и пригласил всех троих к себе домой. «Гостеприимный хозяин и все просили Гоголя прочесть «Женитьбу». Гоголь сел и начал читать. По одну сторону Гоголя сидел Дмитриев, а по другую Щепкин» (Воспоминания, с. 46). Однако здесь явные хронологические смещения. Гоголь познакомился с Дмитриевым еще в первый приезд свой в Москву в 1832 г. Факт посещения Гоголем Дмитриева в 1835 г. и чтения у него «Женитьбы» пока не представляется возможным ни подтвердить, ни опровергнуть.

Исправим, кстати, неточность, содержащуюся в хронологической канве жизни Гоголя академического издания, где сказано, будто бы в Москве, на обратном пути из Васильевки, он встречался с Погодиным (X, 28). Но Погодин в это время был за границей — он выехал из Москвы 1 июля 1835 г. и в октябре через Вену приехал в Киев (Барсуков, т. 4, с. 309, 329).

<sup>76</sup> Увольнению Гоголя из университета содействовало вышедшее в конце 1835 г. постановление, «по которому он должен был выдержать испытание на степень доктора философии, если бы пожелал занять профессорскую должность» (Кулиш, 1854, с. 53). М. И. Гиллельсон предполагает, что пушкинский совет Гоголю написать историю русской критики связан с предстоящим публичным испытанием (РЛ, 1875, № 4, с. 156—159). Согласно опубликованному в конце 1835 г. «Общему уставу императорских российских университетов» для получения звания адъюнкта надлежало «по крайней мере иметь степень магистра» (которой Гоголь не имел), а для приобретения последней нужно было выдержать специальное «испытание» (ЖМНП, 1835, № 8, с. LXVI, LXXIV).

## УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ

Произведения и письма Гоголя цитируются (с указанием тома и страницы) по: *Гоголь Н. В.* Полное собрание сочинений: В 14 т. М. 1937–1952. В тексте в скобках указаны том (римской цифрой) и страницы.

Ниже приводится перечень сокращений других источников. Курсив в цитатах во всех случаях, кроме специально оговоренных принадлежит автору книги.

Аверинцев — *Аверинцев С. С.* Плутарх и античная биография: К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., 1973.

Айзеншток — *Айзеншток И. Я.* Н. В. Гоголь и Петербургский университет // Вестн. Ленингр. ун-та. 1952. № 3.

Александрова — *Александрова Л. Б.* Проекты архитектора Л. Руска для провинциальных городов // Проблемы синтеза искусств и архитектуры. Л., 1979. Вып. 9.

Алексеев — *Алексеев М. П.* Русско-английские литературные связи: XVIII век — первая половина XIX века // Лит. наследство. М., 1982. Т. 91.

Алексеева — *Алексеева Т. В.* Боровиковский на Украине // Ежегодник Института истории искусств, 1960. М., 1961.

Анненков, 1855 — *Анненков П. В.* Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина // *Пушкин А. С.* Сочинения. СПб., 1855. Т. 1.

Анненков, 1983 — *Анненков П. В.* Литературные воспоминания. М., 1983.

Анненский — *Анненский И. Ф.* Книги отражений. М., 1979.

Б — Берег.

Багaley, 1904 — *Багaley Д. И.* Опыт истории Харьковского университета. Харьков, 1904. Т. 2.

Багaley, 1912 — *Багaley Д. И., Миллер Д. П.* История города Харькова за 250 лет его существования. Харьков, 1912. Т. 2.

Баратынский — *Баратынский Е. А.* Стихотворения. Письма. Воспоминания современников. М., 1987.

Барсуков — *Барсуков Н. П.* Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1888–1910. Кн. 1–22.

Белинский — *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959.



Ботникова — *Ботникова А. Б.* Э.Т.А. Гофман и русская литература (первая половина XIX века). Воронеж, 1977.

Буданов — *Владимирский-Буданов М. Ф.* История императорского университета Св. Владимира. Киев, 1884. Т. 1.

Бурнашев — *В. Б<урнашев>*. Мое знакомство с Воейковым в 1830 году и его пятничные литературные собрания// Рус. вестн., 1871. Т. 96.

Быкова — *Быкова Е. В.* Отрывок из записок Елизаветы Васильевны Быковой, родной сестры Гоголя // Русь. 1885. № 26.

БЧ — Библиотека для чтения.

Вайскопф — *Вайскопф М.* Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. <М.>, 1993.

ВЕ — Вестник Европы.

Вересаев — *Вересаев В.* К биографии Гоголя: Заметки// Звенья. М.; Л., 1933. Вып. 2.

Веселовский — *Веселовский Ал. Н.* Этюды и характеристики. 4-е изд., значит. доп. М., 1912.

Виноградов — *Виноградов В. В.* Избр. труды: Поэтика русской литературы. М., 1976.

Витберг, 1892 — *Витберг Ф. А.* Н.В. Гоголь и его новый биограф (по поводу книги г. Шенрока «Материалы для биографии Гоголя...»). СПб., 1892.

Витберг, 1897 — *Витберг Ф. А.* К вопросу о времени знакомства Гоголя с Пушкиным и А. О. Россет// Рус. старина. 1897. № 6.

Владимиров — *Владимиров П. В.* Из ученических лет Гоголя. Киев, 1890.

Вольф — *Вольф А. И.* Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года. СПб., 1877—1884. Ч. 1—3.

Воспоминания — Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952.

Герцен — *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 1.

Гиллельсон, 1961 — *Гиллельсон М. И., Мануйлов В. А., Степанов А. Н.* Гоголь в Петербурге. Л., 1961.

Гиппиус, 1924 — *Гиппиус В. В.* Гоголь. Л., 1924.

Гиппиус, 1931 — *Гиппиус В. В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным// Учен. зап. Перм. ун-та. Отд. обществ. наук, 1931. Вып. 2.

Гиппиус, 1941 — *Гиппиус В. В.* Заметки о Гоголе// Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. 1941. Вып. 11.

Глинка — Глинка в воспоминаниях современников. М., 1955.

Гоголь, 1913 — *Гоголь М. И.* Из воспоминаний матери Гоголя (письмо М. И. Гоголь к С. Т. Аксакову)// Современник. 1913. Кн. 4.

Головня — *Гоголь-Головня О. В.* Из семейной хроники Гоголей/ Ред. и примеч. В. А. Чаговца. Киев, 1909.

Горленко — *Горленко В.* Художник В. Л. Боровиковский// Киев. старина. 1884. Т. 7. № 4.

Гребенка — *Гребинка Е. П.* Твори у трьох томах. Київ, 1981. Т. 3.

Григорьев — *Григорьев В. В.* Императорский С.-Петербургский университет в течение первого пятидесятилетия его существования. Приложения. СПб., 1870.

Гриц — *Гриц Т. С.* М. С. Щепкин: Летопись жизни и творчества. М., 1966.

Гуковский — *Гуковский Г. А.* Реализм Гоголя. М.; Л., 1959.

Данилов — *Данилов В. В.* Следы творчества Н. В. Гоголя в очерке П. П. Свинына «Полтава»// Сб. статей к сорокалетию ученой деятельности ак. А. С. Орлова. Л., 1934.

Даргомыжский — *Даргомыжский А. С.* Автобиография. Письма. Воспоминания современников. Пб., 1921.

Дельвиг — *Дельвиг А. И.* Полвека русской жизни. Воспоминания, 1820—1870. М.; Л. <1930>. Т. 1.

Дурылин — *Дурылин С. Н.* Из семейной хроники Гоголя. Переписка В. А. и М. И. Гоголь-Яновских. Письма М. И. Гоголь к Аксаковым. М., 1928.

Жданов — *Жданов И. Н.* История русской литературы. Н. В. Гоголь. СПб., 1904.

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.

Заболотский — *Заболотский П. А.* К биографии Гоголя в полтавский период// Изв. ОРЯС имп. Акад. наук. 1912. Кн. 2.

Земенков — *Земенков Б. С.* Гоголь в Москве. М., 1954.

Зеньковский — *Зеньковский В., проф., протоиерей.* Н. В. Гоголь. Париж, б. г.

Золотусский — *Золотусский И. П.* Гоголь. М., 1984.

ИВ — Исторический вестник.

Иконников — *Иконников В. С.* Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского университета Св. Владимира (1834—1884). Киев, 1884.

Иофанов — *Иофанов Д. М.* Н. В. Гоголь: Дет. и юнош. годы. Киев, 1951.

ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР.

Каменская — *Каменская М.* Воспоминания. М., 1991.

Капнист — *Капнист В. В.* Собр. соч. М.; Л., 1960. Т. 2.

Карамзин — *Карамзин Н. М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914.

- Каратыгин — *Каратыгин П. А.* Записки. Л., 1929. Т. 1.
- Киреевский — *Киреевский И. В.* Критика и эстетика. М., 1979.
- Княжнин — *Княжнин Я. В.* Сочинения. СПб., 1848. Ч. 2.
- Козмин — *Козмин Н. К.* Николай Иванович Надеждин: Жизнь и науч.-лит. деятельность. СПб., 1912.
- Кондаков — Юбилейный справочник императорской Академии художеств, 1764—1914. Сост. С. Н. Кондаков (Пг., 1914).
- Коробка — *Коробка Н. И.* <Примечания редактора> в кн.: *Н. В. Гоголь.* Полн. собр. соч. СПб., <1912>. Т. 1.
- Коялович — *Коялович А.* Детство и юность Гоголя: Биогр. очерк// Московский сборник. М., 1887.
- Крижанівський — *Крижанівський С. А.* (Предисловие)// *Боровиковский Л.* Твори. Київ. 1957.
- Крутикова — *Крутикова Н. Е.* Н. В. Гоголь. Исследования и материалы. Киев. 1992.
- КС — Киевская старина.
- Кукольник — Из воспоминаний Н. В. Кукольника// Ист. вестн. 1891. Т. 45.
- Кулиш, 1852 — *Кулиш П. А.* Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя// Отеч. зап. 1852. № 4, отд. 8.
- Кулиш, 1853 — *Кулиш П. А.* Выправка некоторых биографических известий о Гоголе// Отеч. зап. 1853. № 2, отд. 8.
- Кулиш, 1854 — *Кулиш П. А.* Опыт биографии Н. В. Гоголя, со включением до сорока его писем. СПб., 1854.
- Кулиш, 1856 — *Кулиш П. А.* Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем. СПб., 1856. Ч. 1—2.
- Кулиш, 1862 — *Кулиш П. А.* Несколько предварительных слов [предисловие к комедии В. А. Гоголя «Простак»]// Основа. 1862. № 2, отд. 6.
- Лавровский — *Лавровский Н. А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820—1832. Киев, 1879.
- Лазаревский — *Лазаревский А. М.* Сведения о предках Гоголя// Памяти Гоголя: Науч.-лит. сб., изд. Ист. об-вом Нестора-летописца. Киев, 1902.
- ЛВ — Литературный вестник.
- Леонтович — *Leontovitsch V.* Geschichte des Liberalismus in Russland. Fr. am Main, 1957.
- Лицей, 1859 — Лицей князя Безбородко. СПб., 1859.
- Лицей, 1881 — Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1881.

ЛН — Литературное наследство.

Лотман, 1970 — *Лотман Ю. М.* Из наблюдений над структурными принципами раннего творчества Гоголя// Учен. зап. Тарт. ун-та. 1970. Вып. 251.

Лотман, 1988 — *Лотман Ю. М.* В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.

М — Москвитянин.

Максимович, 1854 — *Максимович М.* Родина Гоголя// Москвитянин. 1854. Т. 1. № 2, отд. 8.

Максимович, 1871 — *Максимович М. А.* Письмо о Киеве и воспоминание о Тавриде. СПб., 1871.

Маркевич — *Маркевич Н. А.* Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян: Извлеч. из нынешнего нар. быта. Киев, 1860.

Материалы — Н. В. Гоголь: Материалы и исслед. М.; Л., 1936. Т. 1—2.

Машинский, 1951 — *Машинский С. И.* Гоголь, 1852—1952. М., 1951.

Машинский, 1959 — *Машинский С. И.* Гоголь и «дело о вольнодумстве». М., 1959.

Машинский, 1961 — *Машинский С. И.* С. Т. Аксаков. Жизнь и творчество. М., 1961.

Машковцев — *Машковцев Н. Г.* Гоголь в кругу художников. М., 1955.

МВд — Московские ведомости.

Михневич — *Михневич И. Г.* Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 по 1857 год. Одесса, 1857.

МН — Московский наблюдатель.

Мокрицкий — *Мокрицкий А. Н.* Дневник художника. М., 1975.

Молева — *Молева Н.* Загадка «Невского проспекта»// Знание — сила. 1976. № 4.

Мочульский — *Мочульский К. В.* Духовный путь Гоголя. Paris, 1934.

МТ — Московский телеграф.

Надеждин — *Надеждин Н. И.* Литературная критика. Эстетика. М., 1972.

Назаревский — *Назаревский А. А.* Из архива Головни// Н. В. Гоголь. Материалы и исслед. М.; Л., 1936. Т. 1.

НВ — Новое время.

Немзер — *Немзер А.* Становление Гоголя// *Н. В. Гоголь.* Вечера на хуторе близ Диканьки. М., 1985. Т. 2.

Никитенко — *Никитенко А. В.* Дневник. М., 1955. Т. 1.

НП — Новый путь.

Овсяннико-Куликовский — *Овсяннико-Куликовский Д. Н.* Собр. соч. СПб., 1909. Т. 1.

- Онаш — *Onasch K. Dostojewski als Verführer...* Zürich, 1961.
- ОЗ — Отечественные записки.
- Павловский, 1910 — *Павловский И. Ф.* Полтава. Исторический очерк... Полтава, 1910.
- Павловский, 1912 — *Павловский И. Ф.* Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1912.
- Петровский — *Петровский Ал. Свящ.* К вопросу о предках Н. В. Гоголя. Письма из Гоголевщины// Полтав. губ. ведомости. 1902. № 36.
- Плетнев — *Плетнев П. А.* Сочинения и переписка. СПб., 1885. Т. 3.
- Пономарев — *Пономарев С.* Нежинский журнал Н. В. Гоголя// Киев. старина. 1884. № 5.
- Пушкин и современники — Пушкин и его современники: Материалы и исслед. Л., 1927. Вып. 31–32.
- Пушкин и современники, 1928 — Пушкин и его современники: Материалы и исслед. Л., 1928. Вып. 37.
- Пушкин. Исследования. — Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1969. Т. 6.
- Пушкин. Переписка — *Пушкин А. С.* Переписка: В 2 т. М., 1982. Т. 2.
- Пыпин — *Пыпин А. Н.* История русской этнографии. СПб., 1891. Т. 3.
- Р — Русь.
- РА — Русский архив.
- РБ — Русская беседа.
- РВ — Русский вестник.
- РВд — Русские ведомости.
- РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки.
- Редкин — *Редкин П. Г.* Какое общее образование требуется современностью от русского правоведа? М., 1846.
- РЛ — Русская литература.
- РМ — Русская мысль.
- Рождественский — *Рождественский С. В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902.
- РС — Русская старина.
- РФВ — Русский филологический вестник.
- С — Современник.
- Савинов — *Савинов А. Н.* Алексей Гаврилович Венецианов. Жизнь и творчество. М., 1955.

Садовников — *Садовников Д. Н.* Отзывы современников о Пушкине// Исторический вестник. 1883, декабрь.

Сборник — Гоголевский сборник, изданный состоящей при Историко-филологическом институте кн. Безбородко Гоголевской комиссией/ Под ред. проф. М. Сперанского. Киев, 1902.

Сборник, 1857 — Сборник, изданный студентами Императорского Петербургского университета. СПб., 1857. Вып. 1.

Свербеев — *Свербеев Д. Н.* Записки. М., 1899. Т. 1.

Синявский — *Абрам Терц (Андрей Синявский)*. В тени Гоголя. London, б. г.

Смирнова, 1902 — *Смирнова А. О.* Из рассказов А. О. Смирновой о Н. В. Гоголе// Рус. старина. 1902. № 9.

Смирнова, 1989 — *Смирнова-Россет А. О.* Дневник. Воспоминания. Изд. подготовила С. В. Житомирская. М., 1989.

Соханская — *Соханская (Кохановская) Н. С.* Автобиография. М., 1896. СП — Северная пчела.

Стасюлевич — М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке. СПб., 1912. Т. 3.

Степанов — *Степанов Н. Л.* Гоголь. М., 1961.

Стогнут — *Стогнут А. С., Кононенко И. К.* Новые страницы к «делу о вольнодумстве» в нежинской Гимназии высших наук// Учен. зап. Нежинского пед. ин-та. 1954. Т. 4/5.

Супрунюк — *Супрунюк О. К.* Из комментариев к письмам Н. В. Гоголя// Рус. лит. 1989. № 1.

Т — Телескоп.

Тарасенков, 1902 — *Тарасенков А. Т.* Последние дни жизни Н. В. Гоголя. М., 1902.

Трахимовский — *Трахимовский Н. А.* Мария Ивановна Гоголь. По поводу статьи Н. А. Белозерской// Рус. старина. 1888. № 7.

Труды — Труды Полтавской ученой архивной комиссии, 1907. Вып. 3.

Труды, вып. 5 — Труды Полтавской ученой архивной комиссии, 1908. Вып. 5.

Уделы — Столетие уделов, 1797—1897. СПб., 1897.

Федотов — *Федотов В. В.* Новые материалы о пребывании Н. В. Гоголя в Полтавском училище// Вестн. Моск. ун-та. Филология. 1988. № 3.

Фомичев — *Фомичев С. А.* Пушкин и Гоголь: К вопросу о соотношении их творческих методов// Zeitschrift für Slawistik, 1987. В. 32, Н. 1.

Фридлиндер — *Фридлиндер Г. М.* Из истории раннего творчества Гоголя// Гоголь: Ст. и материалы. Л., 1954.

Фуццо — *Fusso Susanne.* The Landscape of Arabesques//Essays on Gogol. Logos and the Russian World. Evanston. Illinois. 1992.

ХГБ — Харьковские губернские ведомости.

Цых — *Цых В. Ф.* Решение вопроса: по причине беспрестанного умножения массы исторических сведений и распространения объема истории, не оказывается ли нужным изменить обыкновенный способ преподавания сей науки... Харьков, 1833.

Черейский — *Черейский Л. А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1989.

Чижевский — *Tscziżewskij D. J.* Gogol's Ja und Nein// Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 1978. Bd. 215.

Щверубович — *Щверубович А. И.* Братья Кукольники. Очерк их жизни... Вильна. 1885.

Шевырев — *Шевырев С. П.* История поэзии. М., 1835. Т. 1.

Шенрок — *Шенрок В. И.* Материалы для биографии Гоголя. М., 1892—1897. Т. 1—4.

Шимановский — *Шимановский М. В.* Петр Григорьевич Редкин: (Биогр. очерк). Одесса, 1891.

Шлегель — *Шлегель Ф.* Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983. Т. 1.

Шмальц — *Шмальц Т.* Право естественное. СПб., 1820.

Штрих — *Strich Fr.* Deutsche Klassik und Romantik. München, 1928.

Шубин — *Шубин В.* «Квартира моя... в доме Брунста»// Нева. 1982. № 12.

Щеголев — *Щеголев П. Е.* Из школьных лет Н. В. Гоголя. Отец Гоголя// Ист. вестн. 1902. № 2.

## ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ\*

- Аверинцев С. С. 267  
 Аврорин В. М. 223  
 Аддисон (Адиссон) Дж. 20, 206  
 Адеркас Э. Б. 144, 193  
 Азаревичева М. А. 211  
 Айзеншток И. Я. 385, 389  
 Аксаков И. С. 228, 260, 443  
 Аксаков К. С. 193, 307, 421, 422  
 Аксаков С. Т. 27, 76, 193, 307—313,  
 315, 318, 319, 342, 352, 354, 361,  
 372, 401, 421—424, 426, 432  
 Аксакова О. С. 309  
 Александр I 40, 51, 146, 436  
 Александра Федоровна, имп. 270,  
 306  
 Александрова Л. Б. 62  
 Алексеев М. П. 162  
 Алексеев Ф. Я. 342  
 Алексеева Т. В. 58, 59  
 Ал-Мамун 398, 427  
 Альшуллер А. Я. 444  
 Альфред Великий 427  
 Аман А. 65, 73, 129  
 Amberg L. 438  
 Амфилохий (архимандрит)  
 39, 47  
 Андреев А. С. 391, 449, 450  
 Андросов В. П. 422, 423  
 Анненков П. В. 82, 183, 204, 225,  
 242, 255, 256, 301, 364, 370, 372,  
 373, 376—380, 400, 430—433, 442  
 Анненский И. Ф. 419, 420  
 Апраксина С. П. 225  
 Аракчеев А. А. 41  
 Ардан 163  
 Аристофан 105  
 Артынов Н. Ю. 64, 85, 87, 124, 172  
 Архаров И. П. 246  
 Asselin 38  
 Афанасьев А. И. 312, 373, 449  
 Афендуля 116
- Багалей Д. И. 56, 61  
 Базили К. М. (Константин) 107,  
 108, 110, 113, 116, 119, 120, 224,  
 305, 366, 374—376  
 Байрон Дж. Н. Г. 265, 266, 299, 300,  
 425  
 Балабин П. И. 242, 260, 261  
 Балабина В. О., урожд. Paris 246  
 Балабина М. П. (дочь Марья) 105,  
 242  
 Балугьянский М. А. 146, 441  
 Бантыш-Каменский Д. Н. 285  
 Баранов П. А. 80, 89  
 Барановский С. И. 391  
 Баратынский Е. А. 99, 110, 320, 321,  
 352, 422, 450  
 Баратынский С. А. 447  
 Барсуков Н. П. 222, 353, 397, 431  
 Бате (Батте) Ш. 314  
 Батюшков К. Д. 161  
 Баумейстер Ф. Х. 133  
 Бафа 116  
 Бахтин М. М. 287, 413  
 Безбородко А. А. 40, 61, 62, 304,  
 438  
 Безбородко И. А. 61  
 Белинский В. Г. 184, 282, 288, 307,  
 367, 424, 425, 430, 433, 435, 445  
 Беллер 223  
 Беловольский И. 29  
 Белозерский Н. Д. 128, 174, 306,  
 307  
 Белоусов Н. Г. 106, 107, 126—150,  
 157, 168, 171, 248, 380, 440  
 Бенкендорф А. Х. 373  
 Беранже П. Ж. 356  
 Бестужев-Марлинский А. А. 112,  
 375, 425  
 Бетлинг 209  
 Бетховен Л. ван 44  
 Билевич М. В. 123—125, 127—138,  
 140, 143, 144, 146, 147, 171  
 Блудов Д. Н. 382  
 Богородский С. О. 384  
 Бодянский О. М. 320

\* Составила И. Е. Рязанова



- Божко А. А. 120, 128, 170, 304, 307, 448  
 Борель П. 330  
 Борецкий И. П. 211  
 Боровик И. Л. 58  
 Боровик Л. 58  
 Боровиковские 58  
 Боровиковский В. Л. 57—60, 224, 438  
 Боровиковский И. И. 58—61, 385  
 Боровиковский Л. И. 60  
 Бородин А. 375  
 Бороздин Ф. К. 97, 115, 365  
 Бороздин Н. К. 365  
 Бороздин Я. 170  
 Ботникова А. Б. 252  
 Боченков В. В. 211  
 Брадке Е. Ф. 381—383, 386, 388, 428, 449  
 Браун М. 436  
 Брентано К. 412  
 Брюллов К. П. 245, 347, 371, 374, 399, 407, 413, 440  
 Брянский Я. Г. 211, 364  
 Буданов М. Ф. 383, 384, 386  
 Булгарин Ф. В. 205, 206—208, 254, 263—267, 283, 295, 431, 443, 447  
 Бунина А. П. 251  
 Бурнашев В. Б. 401, 442, 446  
 Бутков Я. П. 180, 356  
 Быков П. В. 444  
 Быкова Е. В., урожд. Гоголь — см. Гоголь Е. В.  
 Бюффон Ж. Л. Л. 266  
 Бэкон (Бакон) Ф. 20  
  
 Вайскопф М. 447  
 Васильев 223  
 Васильчиков А. В. 242  
 Васильчикова А. И. 246, 258, 263, 267  
 Варфоломей 45  
 Вебер К. М. 119  
 Веневитинов Д. В. 359, 441  
 Венецианов А. Г. 223, 224, 338, 372, 343  
 Вережкин М. И. 24  
 Вересаев В. В. 436, 437  
 Веселовский Ал. Н. 191  
 Виельгорский 137  
 Визель О. 331  
 Виланд Х. М. 104  
 Виленский Ю. 438  
 Винкельман И. И. 105  
 Виноградов В. В. 254, 357, 362  
 Вистингаузен Л. К. 247, 351  
 Витберг Ф. А. 126, 147, 191, 256  
 Владимиров П. В. 179  
 Воейков А. Ф. 432, 446  
 Волконский П. М. 217, 218  
 Вольтер (наст. имя Ф. М. Аруэ) 140, 141, 143  
 Вольф А. И. 444  
 Вольнский П. И. 132, 133, 135—137, 156, 157  
 Воропаев В. А. 438  
 Востоков А. Х. 100  
 Вьельгорский И. М. 76  
 Высоцкий Г. И. 52, 94—99, 107, 114—116, 131, 140, 149, 150, 155, 173, 179, 189, 367, 439  
 Высоцкий И. Г. 94  
 Вяземский П. А. 268, 269, 295, 313, 314, 339  
  
 Гагарин С. С. 209, 211, 212  
 Галахов А. Д. 430  
 Галилей Г. 356  
 Галыбин 177  
 Ган Е. А. 437  
 Ганка В. 367  
 Геевский С. Л. 56  
 Жежелинский 219  
 Гейне Г. 252  
 Гельвеций К. А. 141  
 Герард И. И. 439  
 Герард Н. И. 439  
 Гербель Н. В. 438  
 Гердер И. Г. 393, 406  
 Герен (Гереен) А. Г. Л. 385  
 Герцен А. И. 271, 299  
 Гете И. В. 104, 105, 166, 358, 370, 431, 441  
 Гизо Ф. 358  
 Гиллельсон М. И. 185, 187, 209, 314, 445, 451

- Гиляровский В. А. 29  
 Гингер 306  
 Гинтовт А. Л. 123  
 Гиппиус В. В. 24, 161, 166, 183, 208,  
 231, 234, 256, 257, 259, 276, 282,  
 420, 447  
 Глинка М. И. 250, 371  
 Глюк Э. 383  
 Гоголь Андрей — см. Гоголь Е.  
 (Остап)  
 Гоголь А. В. (сестра Анна, Аня) 28,  
 35, 80, 90, 315, 317, 351, 373,  
 427  
 Гоголь А. Д. (дед Афанасий)  
 13—17, 19, 21, 447  
 Гоголь В. А. (отец, Гоголь отец) 14,  
 17, 20—31, 33, 35, 38, 41—44, 46,  
 49, 50, 54, 61, 64, 65, 71, 79, 88,  
 89, 91, 120, 323, 439  
 Гоголь Е. (Остап) 15—19  
 Гоголь Е. В. (сестра Лиза) — в заму-  
 жестве Быкова 32, 35, 43, 90,  
 315—318, 351, 373, 427  
 Гоголь И. В. (Иван, Ваня) 30, 35,  
 49, 50, 52—54, 79, 80, 88, 94  
 Гоголь М. В. (сестра Марья, в заму-  
 жестве Трушковская) 35, 90,  
 268, 295, 298, 315, 318, 357, 426,  
 427  
 Гоголь М. И. (мать, Марья Иванов-  
 на), урожд. Косярковская 17, 21,  
 23, 26—33, 35, 36, 38, 42, 43, 46,  
 47, 53, 69, 84, 88—91, 104, 109,  
 120, 125, 128, 150, 169, 171, 174—  
 176, 178, 180, 182, 187, 188, 190,  
 191, 193, 195—197, 199, 200—  
 205, 208, 212—215, 219, 220, 222,  
 223, 225, 246, 253, 254, 259, 268,  
 270, 290, 294, 295, 306, 308, 315—  
 318, 323, 351, 356, 379, 426, 427—  
 429, 441  
 Гоголь О. В. (сестра Ольга, Оля)  
 33, 35, 68, 89, 90, 149, 193, 315,  
 379, 426—428  
 Гоголь П. Е. 16  
 Гоголь Т. В. (Таня) 35  
 Годунов Борис Федорович, царь  
 222, 427, 445
- Голицын А. 51  
 Голицын А. Н. 294  
 Головная О. В. 21, 26, 68, 89, 380,  
 428  
 Гординский С. 26  
 Горленко В. 59  
 Горюнов 350  
 Гофман Э. Т. Л. 251, 252, 299, 412,  
 425, 432  
 Гребенка (Гребенкин) Е. П. 107,  
 130, 141  
 Греч Н. И. 264—266, 295, 342, 448  
 Григорий V, патриарх 107  
 Григоров Н. П. 120, 131, 168, 170  
 Григорович В. И. 225  
 Григорьев А. А. 271  
 Григорьев В. В. 392, 397, 441, 449,  
 450  
 Grimm Я. и В., братья 262  
 Гриц Т. С. 50  
 Гроций Г. 136  
 Гуковский Г. А. 267, 405, 406  
 Гулак-Артемовский П. П. 283  
 Гюго В. 265  
 Гюме 140  
 Гютен С. 133
- Давыдов Г. И. 152  
 Даль В. И. 191, 255  
 Данилевская Т. И. 80  
 Данилевский А. С. 26, 45, 53, 55, 68,  
 77, 79—82, 84, 94, 95, 99, 105,  
 106, 113, 117, 119, 120, 122, 128,  
 130, 152, 156, 168, 170, 171, 174,  
 176—178, 180, 189, 191, 192, 199,  
 202, 248, 249, 259, 261, 270, 296,  
 297—299, 301—304, 306, 317,  
 340, 353, 364, 369, 371, 374, 421,  
 429, 441, 443, 448, 451  
 Данилевский Г. П. 30, 187  
 Данилевский И. С. 364, 374  
 Данилевский С. 79, 80  
 Данилов В. В. 444, 445  
 Данте (Дант) А. 356  
 Данченко Н. Ф. 374, 375  
 Даргомьжский А. С. 371  
 Дашков Д. В. 382, 399  
 Дегуров А. А. 390  
 Делавинь К. 212, 444

- Деларю М. Г. 256  
 Дельвиг А. А. 100, 166, 182, 226,  
 227, 252, 257, 344, 447  
 Дельвиг А. И. 252, 256—258, 268,  
 447  
 Дельвиг С. М. 447  
 Де Мартини — см. Мартини  
 Демиров-Мышковский (Демиров-  
 Мишковский) И. Г. 157  
 Демут-Малиновский В. И. 352  
 Державин Г. Р. 38, 39, 99—102, 118  
 Деркач 199  
 Дибич-Забалканский И. И. 120, 384  
 Дмитриев И. И. 41, 99, 118, 313,  
 315, 352, 448, 451  
 Дондуков-Корсаков М. А. 388, 395  
 Дружинин 257  
 Дубельт Л. В. 433  
 Дурылин С. Н. 20, 22, 23  
 Дьякова Д. А. (Милена) — в заму-  
 жестве Державина 38  
 Дюканж В. 265  
 Дюрер А. 198, 442  
 Дядьковский И. Е. 314, 315, 352, 426
- Евлампий 75, 95  
 Егоров А. Е. 223  
 Екатерина II 40, 48, 58, 60, 61, 118,  
 288, 436, 447, 448  
 Елагин И. П. 118  
 Елагина А. П. 321  
 Ерьсько П. М. 29  
 Ермолов Д. И. 216  
 Ефименко А. Я. 437  
 Ефимов Г., сын Брунста 269  
 Ефремов А. И. 421
- Жан Поль 104, 412  
 Жанен Ж. Г. 356  
 Жданов И. Н. 180  
 Житомирская С. В. 447  
 Жукова М. С. 251  
 Жуковский В. А. 161, 182, 206, 227,  
 242, 244, 248, 255, 256, 259, 260—  
 263, 268—270, 283, 295, 304, 308,  
 321, 322, 343, 351, 361, 363, 382,  
 388, 390, 391, 398, 427, 441, 446,  
 450
- Заболотский П. А. 51, 52, 94  
 Завадовский П. В. 63  
 Загоскин М. Н. 118, 237, 251, 310,  
 311, 318, 319  
 Закревский А. А. 212, 215  
 Зверьков 205, 257  
 Звизняцкий В. 438  
 Зевксис 161, 181  
 Зельднер Е. И. 65  
 Земенков Б. С. 310, 319  
 Зеньковский В. В. 90, 193, 418  
 Зингер Ф. О. 104, 105, 141—144  
 Змиев А. 141  
 Золотусский И. П. 383, 439  
 Зябловский Е. Ф. 410
- Иван 200  
 Иван Яковлевич 13, 16, 17  
 Иваницкий Н. И. 389—395, 398,  
 448, 449  
 Иванов А. 371  
 Иванов И. А. 347  
 Игнатъев 330  
 Иконников В. С. 383, 385, 436  
 Иннокентий (Борисов И. А.) 382  
 Иофанов Д. М. 22, 24—27, 43, 50,  
 52—55, 94, 103, 126, 129, 130,  
 133, 135—137, 139—141, 145,  
 147, 172  
 Иохим 180, 186, 199, 205  
 Ирвинг В. 375
- Казимир Ян, польск. король 15, 16  
 Калашников И. Т. 295  
 Каллаш В. В. 442  
 Каменская М. Ф. 369, 445, 446  
 Камлишинский В. С. 57  
 Канари К. 163  
 Канинг Дж. 158, 159  
 Кант И. 131, 137  
 Капнист А. А., урожд. Дьякова 38  
 Капнист В. В. 30, 37, 38, 42—44, 49,  
 58—60, 88, 118, 175, 329  
 Капнист Е. В. (Катерина) 42  
 Капнист И. В. 441  
 Капнисты 21  
 Карамзин Н. М. 38, 100, 197, 206,  
 251, 285, 288, 313, 434

- Каратыгин В. А. 211  
 Каратыгин П. А. 211, 425  
 Карлгоф В. И. 295  
 Карнеев З. Я. 51  
 Карниолин-Пинский М. М. 309  
 Катеринич 428  
 Качий Ю. 438  
 Квелино (Квелинус) 198  
 Квятковский 56  
 Кернер К. Т. 104  
 Киреевский И. В. 320—322, 352  
 Киреевский П. В. 321  
 Кирпичников А. И. 443  
 Киселевский 126  
 Китаева А. К. 258, 260  
 Клингенберг Э. А. (Эмилия) — в мужестве Шан-Гирей 191, 296, 297  
 Клопшток Ф. Г. 104  
 Княжевич А. М. 205  
 Княжнин Я. В. 119, 123, 356  
 Кобеляцкий И. К. (Кобелецкий) 366  
 Козлов И. И. 100, 101, 300, 399  
 Козмин Н. К. 426, 450  
 Козьма Прутков 405  
 Кок (Поль-де-Кок) П. Ш. де 400, 401, 425, 431  
 Колар (Коллар) Я. 367  
 Колмаков Н. М. 391  
 Колокотронис (Колокотрони) Теодорос 158, 163  
 Кольчугин И. Г. 442  
 Кольшкевич А. 141  
 Комовский В. Д. 291, 292, 450  
 Кондаков С. Н. 223, 446  
 Кононенко И. К. 126  
 Коробка Н. И. 107  
 Косяровская А. М. 42  
 Косяровская В. П. 149, 174, 184, 317  
 Косяровский И. П. 178, 182, 184, 185  
 Косяровский Павел П. 149, 178, 184, 317  
 Косяровский Петр П. 93, 96, 97, 149—151, 171, 174, 175, 178, 184, 205, 229, 317  
 Котляревский А. 170  
 Котляревский Е. 140, 170  
 Котляревский И. П. 283, 444  
 Котляревский Н. 170  
 Коцебу А. 118—120, 440  
 Кочубей 254  
 Кочубей В. Л. 36, 253  
 Кочубей В. П. 36, 37, 103, 224, 253, 254, 270, 294, 441, 446  
 Кочубей М. (Мария) 36  
 Кошелев А. И. 291  
 Коялович А. И. 47, 175, 177  
 Краевский А. А. 372, 423, 446, 448  
 Криворотовы 187  
 Крижанівський С. А. 60  
 Кронеберг И. Я. 56  
 Крутикова Н. Е. 23, 257, 396, 448  
 Крылов И. А. 44, 271, 295, 364  
 Ксензенко А. И. 437  
 Кудрявцева О. Д. 43  
 Кукольник В. Г. (Кукольник — старший, отец) 62—64, 66, 69, 85, 86, 100, 132, 146, 438, 441  
 Кукольник М. В. (Мария) 63  
 Кукольник Н. В. (Нестор) 64, 70, 72, 74, 75, 85—87, 95, 101, 102, 104, 106—108, 113, 120—124, 127—129, 135, 138—140, 143, 144, 147, 148, 168, 172, 304, 305, 366, 369, 370, 371, 374, 375, 425, 438, 440  
 Кукольник П. В. (Павел) 65  
 Кукольник П. В. (Платон) 64, 65, 371  
 Кукольник С. Н., урожд. Пилянкевич 65  
 Кулжинский И. Г. 100, 114, 115, 171—173, 387  
 Куликов И. 329  
 Кулиш П. А. 15, 21, 25, 53, 76, 77, 81, 89, 95, 98, 106, 109, 110, 116, 120, 128, 174, 179, 180, 187, 191, 197, 199, 207—209, 210, 211, 227, 248—250, 256, 287, 306, 307, 319, 353, 372, 396, 439, 442, 444, 447, 451  
 Курциус Э. 184  
 Кутузов Л. И. (Голенищев-Кутузов) 175, 178, 213

- Кушелев-Безбородко А. Г. 62, 69, 71
- Лавровский Н. А. 64, 65, 67, 71, 74, 75, 94, 123, 124, 126, 128—130, 133, 143, 193, 366, 438, 439
- Лагарп Ф. 314
- Лагочев В. М. 437
- Лазаревский А. М. 13—16, 442
- Лангер В. П. 344
- Ландражин И. Я. 141, 142, 144
- Лафонтен Ж. 71, 290
- Лемке М. К. 443
- Леонтович В. 136
- Лепень 357
- Лермонтов М. Ю. 191
- Лесаж 446
- Ливен К. А. 144
- Лизогуб С. С. 14, 18
- Лизогуб Т. С. 14, 18, 21, 24, 33, 54, 199
- Лизогубы 21
- Лисенков И. Т. 187
- Лобанов М. Е. 295
- Лобанов-Ростовский А. А. 167
- Ломиковский В. Я. 152, 200—202, 306
- Ломоносов М. В. 99, 102
- Лонгинов М. Н. (Михаил) 19, 210, 242—244, 246
- Лонгинов Н. М. 243, 306
- Лонгиновы 243
- Лотман Ю. М. 155, 288
- Лукашевич А. А. 367
- Лукашевич А. П. 367
- Лукашевич П. А. 366—368, 374, 375, 448
- Лукин В. И. 24
- Любич-Романович В. И. 68, 83, 84, 87, 91, 98, 107, 109—111, 116, 117, 119, 156, 171, 172, 303, 304, 365, 439, 442, 447
- Любич-Романович И. А. 84
- Лутер (Лутер) М. 356
- Маврокордатос (Маврокордато) А. 163
- Magarshak D. 436
- Мазепа И. С. 36, 39
- Максимович М. А. 145, 193, 210, 271, 273, 287, 291, 319, 320, 353, 357, 368, 373, 376, 381, 382, 384, 388, 399, 408, 411, 428, 429, 437
- Марин А. Н. 437
- Мария Федоровна, имп. 243, 247
- Мария-Антуанетта, королева 42
- Маркевич Н. А. 32, 446, 447
- Марков В. М. 120, 133, 138, 170
- Маркович Я. М. 43
- Мартини К. А. де 131, 137—139, 145
- Мартос А. И. 151
- Мартос П. И. 111, 130, 200
- Мартос И. Р. 200
- Масальский К. П. 292, 295
- Матисен Е. А. 391
- Машинский С. И. 106, 126, 127, 130, 136, 141, 144, 146, 397, 433
- Машковцев Н. Г. 299, 372
- Мемлинг Г. 442
- Меняйлов 199
- Мережковский Д. Н. 173
- Местр Ж. М. де 251
- Метлинский А. Л. 60
- Миаули (Миаулис) А. В. 163
- Мизко Н. Д. 444
- Миллер Н. Н. 120, 168, 170, 393, 406
- Мильтон Дж. 20
- Михаил Павлович, вел. кн. 63, 146
- Михальский Е. Н. 438
- Михневич И. Г. 367
- Михно Ф. 138
- Мицкевич А. 252
- Млатковский Л. Ю. 120
- Модзалевский Б. Л. 439
- Мойсеев (Моисеев) К. А. 127, 128, 130, 140, 143
- Мокрицкий А. Н. 304, 343, 367, 372, 374—376, 440
- Молева Н. 223, 225
- Мольер (наст. имя Ж. Б. Поклен) 119, 121, 264
- Монтескье Ш. Л. де 140, 141, 244, 360
- Монье А. 356
- Мордовченко Н. И. 422

- Морозова Н. Т. 437  
 Моцарт И. В. 44, 86, 119  
 Мочульский К. В. 35, 154, 354  
 Мундт Н. П. 209—212, 444  
 Мур Т. 162  
 Муравьев М. Н. 118  
 Мыгалыч 156  
 Мышковский И. Г. — см. Демиров-Мышковский
- Надеждин Н. И. 241, 255, 262, 265, 266, 282, 284, 294, 307, 312, 316, 354, 425, 426, 432, 436, 441, 450  
 Назаревский А. А. 24  
 Наполеон I 361  
 Нарезный В. Т. 251  
 Нащокин П. В. 430  
 Нащокина В. А. 430  
 Неволин К. А. 384  
 Немзер А. С. 288  
 Нечкина М. В. 440  
 Никитенко А. В. 303—305, 387, 388, 392, 395, 431  
 Николаев А. С. 443  
 Николай I 63, 101, 144, 146, 168, 218, 268, 441  
 Николай Павлович, вел. кн. — см. Николай I  
 Никольский А. 99  
 Никольский П. И. 100—103, 114, 123, 125, 127, 131, 147  
 Николюкин А. Н. 441  
 Нимченко М. (Матрена) 317, 318, 381  
 Нимченко Я. (Яким, Аким) 176, 186, 187, 196, 199, 209, 307, 317, 318, 380, 381  
 Ниссен 446  
 Новалис (наст. имя Ф. фон Харденберг) 162, 252, 412  
 Новицкий О. М. 384, 436, 449  
 Новохацкий А. 138, 139, 440  
 Норов А. С. 443
- Овсянко-Куликовский Д. Н. 196  
 Огнев И. Д. 50—52, 56  
 Одоевский В. Ф. 241, 250, 252, 291, 308, 355, 357, 359, 362, 364, 448
- Озеров В. А. 118, 123, 211  
 Оксман Ю. Г. 443  
 Онаш (Onasch K.) 153  
 Ореус И. И. 40  
 Орлай И. С. 66, 69—72, 74, 85, 86, 123—125, 127—129, 132, 331, 438, 441  
 Орлов А. А. 263—267  
 Орнатский С. Н. 384  
 Осипов А. 329  
 Осовцов С. 450  
 Осокин В. 444  
 Остен-Сакен С. К. 83  
 Остолопов Н. Ф. 100
- Павел I 40, 216  
 Павлов К. С. 223  
 Павлов М. Г. 426  
 Павлов Н. Ф. 434  
 Павловский И. Ф. 50, 60  
 Пален П. П. 167  
 Панаев В. И. 215—218, 220, 344  
 Панаевы 220  
 Панин Н. И. 118  
 Паррасий 161, 181  
 Паскевич И. Ф. 384  
 Пащенко А. Г. 133  
 Пащенко И. Г. 304, 365, 429, 448, 451  
 Пащенко Т. Г. 45, 74, 75, 81, 120—122, 133, 374, 448, 451  
 Пейкер И. У. 212, 213  
 Перион 73, 77  
 Перовский А. А. (псевд. Антоний Погорельский) 214, 251, 320  
 Перовский Л. А. 214—217, 247  
 Перро Ш. 262  
 Персидский К. А. 131  
 Петр I 36, 383, 436, 445  
 Петрарка Ф. 105  
 Петровский А. 13  
 Петрунина Н. Н. 450  
 Пилянкевич И. Н. 65  
 Пиндар 49  
 Писарев А. И. 119, 123  
 Платон 105, 230, 232  
 Плетнев П. А. 182, 185, 195, 227, 228, 242, 247, 249, 250, 253—261,

- 267, 270, 295, 318, 322, 344, 351,  
353, 354, 361, 362, 364, 396
- Плутарх 267
- Плюшар А. А. 184
- По Э. 412
- Погодин М. П. 97 185, 195, 307, 308,  
314, 316, 318, 319, 340, 352—354,  
356—359, 372, 377, 385, 396,  
408—411, 421—424, 432, 448—  
450
- Полевой Н. А. 186, 190, 255, 284—  
286, 290, 291
- Половинкин 306, 307
- Пономарев С. 106
- Понятовский Станислав Август,  
польск. король 43
- Поссельт 449
- Прокопович В. Я. (Василий) 81,  
365, 374
- Прокопович Н. Я. 79—82, 94, 101,  
106, 107, 109, 110, 116, 120, 130,  
176, 180, 186, 187, 196, 199, 209,  
304, 305, 317, 336, 364, 365, 368,  
372, 374, 377, 427, 439, 443, 444,  
448
- Прокопович-Антонский А. А. 448
- Пузыревский А. 168
- Пушкин А. С. 36, 98—102, 113, 118,  
127, 130, 142, 151, 161, 182, 183,  
185, 228, 229, 232, 237, 242, 248,  
255—264, 266—271, 276, 282,  
283, 288, 292—295, 299—304,  
307, 321, 322, 339, 345, 346, 352,  
354, 355, 357, 358, 371, 382, 388,  
390, 391, 398, 399, 408, 409, 429,  
430, 433—435, 441, 445, 447, 450
- Пушкина Н. Н. 258, 259
- Пыпин А. Н. 43
- Рабле Ф. 372, 373
- Радклиф А. 75
- Раевская 223
- Разумовский А. К. 214
- Разумовский К. Г. 200
- Рапен де Тоарас П. 427
- Расин Ж. 211
- Раумер Ф. Л. Г. 385
- Рафаэль Санти 412
- Редкин П. Г. 97, 107—110, 113, 129,  
132, 147, 172, 244, 305, 366, 367,  
369, 375, 438, 439
- Рейтблат А. И. 443
- Репнин Н. Н. 39, 40
- Рикорд П. И. 305, 366
- Риттер М. А. 82, 156, 209, 304
- Рихтер Ж.-П. — см. Жан Поль
- Родзянка Н. 141, 143
- Рождественский С. В. 384
- Розен Е. Ф. 295, 446
- Роман Иванович 45
- Россет А. О. 260, 261
- Россини Дж. 119
- Рот Л. О. 440
- Ротчев А. Г. 295
- Румянцев П. А. 14
- Рунич Д. П. 146
- Руска Л. 62
- Руссо Ж. Ж. 140, 143, 356
- Рыжов А. И. 271
- Рылеев К. Ф. 99, 141, 184
- Савва В. И. 126
- Савинов А. Н. 223
- Савинский А. А. 51
- Савиньи Ф. К. 369
- Садовников В. С. 347
- Садовников Г. Н. 450
- Садовский П. М. 422
- Самойленко Г. В. 438
- Сапожников 339
- Свиньин П. П. 49, 152, 214, 215,  
223, 232, 234, 250, 253, 336, 444—  
446
- Свербеев Д. Н. 321, 448
- Светличный 202
- Севрюгин Ф. Е. 119
- Семенова Е. С., в замужестве княги-  
ня Гагарина 211
- Сенковский О. И. 370, 393, 400,  
401, 403, 423, 425, 431, 432
- Сербинович К. С. 185
- Сергеев П. 136
- Сикст V (кардинал Феличе Мон-  
тальто) 222, 445
- Симон 69, 87, 91
- Симоновский И. П. 304, 376

- Снявский А. Д. 167  
 Скалон С. В., урожд. Капнист 30,  
 38, 41, 45, 47, 57, 175, 176  
 Скворцов И. М. 384  
 Скоропадский И. И. 18  
 Скоропадский М. 67  
 Скотт В. 206, 237, 377, 393, 409,  
 434, 438, 439  
 Скребницкий И. А. 126, 169, 170,  
 439  
 Смирдин А. Ф. 294, 339, 347  
 Смирнов Н. М. 259  
 Смирнова О. Н. 260  
 Смирнова-Россет А. О. 31, 32, 259,  
 260, 270, 346, 437, 447  
 Собеский Ян, польск. король 16  
 Сокович П. 67  
 Соколов П. Ф. 346  
 Соллогуб В. А. 258, 259, 263  
 Сомов О. М. 163, 182, 226, 227, 234,  
 241, 255, 291  
 Сорочинский Г. М. 53—56, 67, 80,  
 224  
 Софокл 161  
 Соханская Н. С. 401  
 Спасский (Спаский) М. И. 53, 54  
 Срезневский И. И. 100, 386  
 Станкевич Н. В. 307, 376, 421, 424  
 Стасюлевич М. М. 379  
 Степанов А. Н. 445  
 Степанов Н. Л. 383, 389  
 Стогнут А. С. 126, 133, 138, 147  
 Столыпин Н. А. 120  
 Стороженко А. Я. (псевд. Андрий  
 Царынный) 286, 287  
 Сумароков А. П. 102  
 Супрунюк О. К. 94, 179  
 Сухово-Кобылина Е. В. 426  
  
 Танский В. 18, 24  
 Тарасенков А. Т. 192  
 Тарновский В. В. 97, 179, 364, 367  
 Тарди Л. 438  
 Тенирс (Теньер) Д. 431  
 Теряев П. А. 166  
 Тик Л. 105, 251, 412, 433  
 Тимченко К. Ф. 83  
 Тихонравов Н. С. 444  
  
 Тишевский 55  
 Толстой Ф. П. 225, 369, 445  
 Трахимовский М. М. 29, 58  
 Трахимовский (Трофимовский)  
 М. Я. 28, 29, 324, 437  
 Трахимовский Н. А. 28, 174  
 Тредьяковский В. Л. 116  
 Трохнева М. Н. 365  
 Трощинская А. М. 26  
 Трощинская О. Д. 69, 225, 290  
 Трощинский А. А. 40, 41, 42, 46, 49,  
 50, 71, 104, 200, 201, 203, 204,  
 220, 437  
 Трощинский А. П. 42  
 Трощинский Д. П. 20, 23, 38—49,  
 58, 60, 70, 71, 83, 88, 91, 102,  
 118, 120, 132, 174—176, 178, 179,  
 197, 200, 201, 213, 217, 219, 313,  
 328, 329, 441  
 Тройат Н. 436  
 Трут 441  
 Трушковский Н. П. (Николай, Ко-  
 ля) 357, 426  
 Трушковский П. О. 268, 295, 315,  
 426  
 Тургенев И. С. 210, 389, 392, 396  
  
 Уваров С. С. 358, 381—384, 386,  
 387, 441  
 Урсо О. Д. 156, 168  
 Ушаков В. А. 283, 292, 293, 447  
  
 Фарнгаген фон Энзе К. А. 165  
 Федоров Б. М. 295  
 Федотов В. В. 94  
 Фиблиг К. 134  
 Фидий 161, 181  
 Филдинг Г. 264  
 Филимонов В. 356  
 Филипченко (Филипченков) Е.  
 138, 139  
 Флориян (Флориан) Ж. А. К. 119  
 Флоровский А. 441  
 Фок М. Я. 206  
 Фомичев С. А. 355  
 Фонвизин Д. И. 118, 119, 271, 290  
 Фосс И. Г. 166  
 Фридлендер Г. М. 158, 159, 450



- Фролов П. Г. 309  
Фролов-Багреев (Багреев) А. А. 294  
Фуссо (Fusso Susanne) 412
- Халчинский И. Д. 104, 108, 375, 376  
Хвостов Д. И. 211  
Хемницер И. И. 99  
Херасков М. М. 22, 99, 100, 102  
Хилков И. М. 41, 43  
Хилкова Н. Д., урожд. Трощинская 41, 43  
Хилкова П. И. (Прасковья) 41, 83  
Хмельницкий Богдан 15, 115  
Храповицкий А. И. 211, 212, 447
- Цертелев Н. А. 43, 200  
Цых В. Ф. 382, 384—386, 393, 449
- Чарушникова М. В. 446  
Черейский Л. А. 258  
Черныш В. И. 80  
Чижевский (Tscizewskij D. J.) 417  
Чижов Ф. В. 396  
Чичерин А. В. 291
- Шад И. Б. 127, 131  
Шамшин (Шамшевы) 220  
Шан-Гирей Э. — см. Клингенберг Э. А.  
Шапалинский К. В. 125, 132—134, 137, 140, 142, 144, 145  
Шаржинский С. Д. 145  
Шатобриан Ф. Р. де 153, 161  
Шаховской А. А. 438  
Шверубович А. И. 62  
Шебуев В. К. 223  
Шевырев С. П. 105, 222, 308, 412, 424, 432, 433  
Шекспир В. 356, 393, 434  
Шеллинг Ф. В. Й. 412  
Шенрок В. И. 20, 28, 45, 53, 54, 68, 77, 79—81, 88, 89, 95, 101, 110, 113, 117, 119, 120, 126, 128, 152, 160, 171, 174, 175, 177, 178, 191, 199, 202, 297, 311, 364, 381, 421, 429, 441, 447
- Шиллер Ф. 104, 105, 113, 393, 439  
Шимановский В. М. 305  
Ширяев А. С. 186  
Шишкин С. И. 133  
Шлегель Ф. 411, 412  
Шлецер А. Л. 393, 406  
Шмальц Т. 136, 137, 141, 146  
Штейн И. Ф. 50, 120, 449  
Штрих (Strich Fr.) 411  
Штюрмер 423  
Шубин В. 269, 352  
Шульгин И. П. 396  
Шультес Э. 438
- Щеголев П. Е. 90  
Щепкин А. М. 312, 449  
Щепкин М. А. 312  
Щепкин М. С. 50, 122, 271, 311—313, 373, 378, 422, 449, 451  
Щепкин П. М. 312  
Щепкин П. С. 309  
Щербак 80
- Эммануэль 120  
Эпикур 161
- Юркевич П. 432
- Языков А. М. 292  
Языков Н. М. 101, 291, 292, 299, 300—302, 304, 448  
Яковлевы 205  
Якубович Л. А. 282, 291  
Яненко Я. Ф.  
Яновский В. С. 13, 14  
Яновский Д. И. 13  
Яновский К. Д. 13, 14  
Яновский С. К. 13, 14  
Яновский Д. Е. 134, 137, 140, 145, 146

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Биография как исследование. <i>С. Бочаров</i> . . . . .	8
Вместо предисловия . . . . .	9
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	
Род Гоголя . . . . .	12
Отец . . . . .	20
Мать . . . . .	26
Никоша . . . . .	28
«По ту сторону Диканьки и по эту сторону Диканьки...» . . . . .	36
Украинские Афины . . . . .	39
Полтава . . . . .	49
Учитель и соученик . . . . .	55
Нежин . . . . .	61
В классе, музее и ...больнице . . . . .	68
Среди товарищей и однокашников . . . . .	76
«Я совершу свой путь в сем мире...» . . . . .	88
Горизонт литературных сведений . . . . .	99
«Первые упражненья в сочинениях» . . . . .	106
«Под сению кулис» . . . . .	118
«Я заметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства...» . . . . .	126
«...Тамошние профессора большие бестии» . . . . .	134
Близкое и далекое . . . . .	149
Автор и его герой . . . . .	157
«В дорогу! В дорогу!...» . . . . .	167

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Отрезвление . . . . .	177
«Везде совершенно я встречал одни неудачи...» . . . . .	183
«Тысяча путей» . . . . .	202
Служебная утопия . . . . .	212
«Святыня искусства» . . . . .	222
«Святыня искусства» (окончание) . . . . .	232
Под знаменами педагогики . . . . .	242
Пасичник Рудый Панько и граф Кочубей . . . . .	249
Встреча с Пушкиным . . . . .	255
Царское Село — Павловск . . . . .	258
«Хвостики душевного состояния» . . . . .	271
«Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе...» . . . . .	282
В поисках гармонии. Конец 1831 — начало 1832-го года . . . . .	294
Москва — Васильевка — Москва . . . . .	307

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«Боже, сколько кризисов!» . . . . .	351
Среди «однокорытников» . . . . .	363
На подступах к университетской кафедре . . . . .	381
На кафедре . . . . .	389
«Я тружусь как лошадь» . . . . .	398
«Вечный раздор мечты с существенностью» . . . . .	403
Целое и арабески . . . . .	410
Москва — Васильевка — Москва . . . . .	421
«Глава литературы, глава поэтов» . . . . .	430
Примечания . . . . .	436
Условные сокращения источников . . . . .	452
Именной указатель . . . . .	460

**Юрий Владимирович Манн**  
**„СКВОЗЬ ВИДНЫЙ МИРУ СМЕХ...”**

**Жизнь Н. В. Гоголя**  
**1809 – 1835 гг.**

Редакторы *Н. В. Вербицкая, Т. Е. Сергеева*  
Художник *А. Г. Свердлов*  
Корректоры *Л. С. Чухраева, О. В. Мишина*

Н/К

Изд. № Ф30(03). Подп. в печать 11.06.94.  
Формат 60x84/16. Бумага офсетная. Гарнитура „Петербург”.  
Печать офсетная. Объем 29,5 печ. л. Тираж 20000 экз.  
Заказ № 628. Цена договорная.

Московский институт развития образовательных систем.  
109004, Москва, Нижняя Радищевская ул., д. 10.

Компьютерная верстка ТК „Зебра”.

Издание подготовлено совместно  
с ассоциацией „Полиграфист”.  
(Лицензия ЛР № 040577 от 26.01.93.).

Московская типография № 6  
Комитета Российской Федерации по печати,  
109088, Москва, Ж-88, Южнопортовая ул., 24.

